ЭМИЛЬ

ЗОЛЯ

Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая**

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота П. З.

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

ТЕРЕЗА РАКЕН

●

ЖЕРМИНАЛЬ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1975

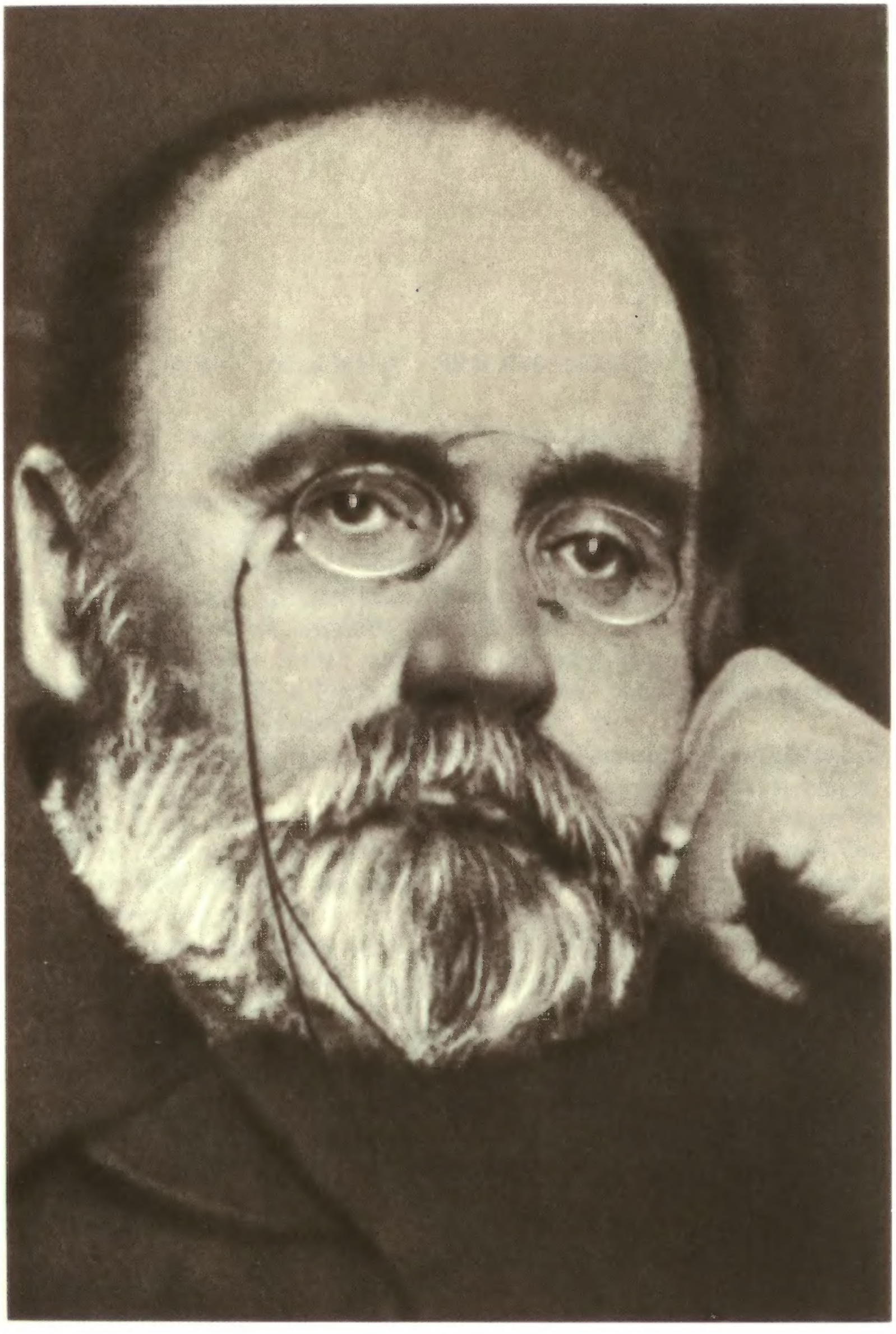
Вступительная статья
С. Брахман

И (Фр)
З—81

Иллюстрации
Г. Филипповского

З $\frac{70304—224}{028(01)—75}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.



ДВА РОМАНА ЭМИЛЯ ЗОЛЯ

В настоящем томе представлены два романа Эмиля Золя: «Тереза Ракен» и «Жерминаль». Первый из них — это первый шаг большого писателя на пути литературного новаторства; второй — вершина его творчества и общепризнанный его шедевр.

Во французской литературе последней трети XIX века Золя, пожалуй, самая заметная фигура. Современник таких выдающихся писателей, как Флобер, Гонкуры, Мопассан, молодой Анатоль Франс, Золя сказал свое неповторимое слово в искусстве и был наиболее читаемым романистом у себя на родине и за ее пределами; в России не было более популярного французского писателя, чем автор «Ругон-Маккаров».

После Бальзака нельзя назвать во Франции художника, который создал бы такую же широкую и беспощадно правдивую картину действительности, как Эмиль Золя. После Виктора Гюго трудно назвать пример такой же благородной и непримиримой гражданской позиции писателя, такой бесстрашной и стойкой защиты идеалов гуманизма и демократии. Влияние личности и деятельности Золя на его поколение было огромно. Над могилой Золя Анатоль Франс определил его как «этап в сознании человечества» и заявил, выражая мнение многих современников, что «по тому размаху, которого достигло его творчество, Золя можно сравнить только с Толстым». Мопассан назвал Золя «революционером в литературе», восхищался его «добротным, понятным, могучим языком». Литературное наследие Золя не утратило своего значения и в наши дни, потому что, как выразился один из крупных прогрессивных писателей XX века Генрих Манн, Золя «не только создавал произведения, но и утверждал истины. Истина стала душой его творчества».

Как личность и писатель Эмиль Золя (1840—1902) принадлежал новому времени. Сын инженера, строителя одной из первых во Франции железных дорог, он ребенком был увезен из Парижа и провел детские и отроческие годы в живописном Провансе, в городке Эксе (впоследствии послужившем моделью для городка Плассана, где развертывается действие многих его ро-

манов). Рано лишившись отца, Золя восемнадцатилетним юношей вернулся в Париж без гроша в кармане, но полный решимости завоевать себе место под солнцем. Годы нищенского существования на столичных окраинах, невозможность получить образование в высшей школе, одиночество, унизительные поиски заработка, никчемная служба в парижских доках — все многократно изображенные во французских романах XIX века мытарства молодого талантливого бедняка не сломили волю будущего писателя. В 1862 году, получив наконец скромную должность в отделе рекламы крупнейшей книготорговой фирмы Ашетт, он оказался причастным к литературной жизни Парижа, завязал знакомство с видными писателями и стал пробовать собственное перо. С этого времени для Золя началась жизнь профессионального литератора, журналиста, потом романиста, полная борьбы и полемики, потому что он прокладывал в искусстве новые пути. Убежденный демократ и республиканец, он вел в прессе борьбу против бонапартистского режима Второй империи, а затем обличал буржуазную реакцию периода Третьей республики. Главным делом его жизни было создание обширного цикла романов «Ругон-Маккары» (1871—1893), за которым последовали еще два цикла «Три города» (1894—1898) и незавершенное «Четвероевангелие» (1900—1902). К концу 1870-х годов Золя получил во Франции признание как романист. В 1890-е годы ему принесла славу мужественная борьба в защиту демократии против объединившихся реакционных сил монархистов, церковников и военщины. Открытое письмо Эмиля Золя президенту Франции по поводу «дела Дрейфуса», опубликованное под заглавием «Я обвиняю!», имело резонанс во всем мире, привело, с одной стороны, к судебному преследованию и травле Золя и завоевало ему уважение всех прогрессивных сил — с другой. Умер Золя от несчастного случая — отравления угарным газом.

Годы литературного ученичества Золя прошли в русле романтизма. Молодой писатель, резко отрицательно настроенный по отношению к реакционной Второй империи, естественно, искал опоры в мечтах о прекрасном мире любви и справедливости, в гуманистических идеалах, которые он находил у романтиков демократического крыла: у Виктора Гюго — тогда политического изгнанника, у Жорж Санд, а также в низовых, демократических жанрах романтизма, социально-приключенческом газетном «романе-фельетоне» (типа романов Эжена Сю и А. Дюма) и мелодраме. В таком духе написаны ранние произведения Золя. Однако его все больше привлекали новые веяния в литературе. В те годы во Франции завершался промышленный переворот, бурно развивалась техника, естественные науки, и это, казалось, открывало неожиданную перспективу перед искусством: опираясь на науку, глубже проникнуть в жизнь. Социально-исторический анализ бальзаковского типа теперь представлялся недостаточным. Исходя из философии позитивизма, новое искусство стало смотреть на человека как на часть биологического мира, стремилось объяснить его поступки и душевные движения физиологической организацией, влиянием внешней среды, раздражающей

нервы, инстинктами, передающимися из поколения в поколение. Физиологическая сторона страстей интересовала уже автора «Госпожи Бовари» (1857). А в 1864 году появилось программное произведение братьев Гонкур, роман «Жермини Ласерте», построенный главным образом на анализе «невроза», физиологического отклонения от нормы, которое составляет трагедию служанки Жермини и доводит ее до полной деградации и гибели. Книга Гонкуров, вызвавшая травлю авторов ханжеской буржуазной критикой, ободрила молодого Золя на том пути, на который влекло его собственное творческое развитие.

Именно в это время стала складываться литературная теория Золя, получившая наименование «натурализма», которая поставила его во главе школы и во многом определила характер его зрелого творчества. Пропаганду натурализма Золя считал своей высокой миссией и выполнял ее с большим упорством и темпераментом на протяжении многих лет. Его статьи по этому вопросу были объединены в сборники «Что мне ненавистно», «Экспериментальный роман», «Романисты-натуралисты», «Натурализм в театре» и другие, опубликованные в разные годы. Формированию теории Золя способствовало также личное его общение с выдающимися писателями реалистического направления — Флобером, Гонкурами, И. С. Тургеневым, подолгу жившим тогда в Париже [1], и близость к молодым художникам-импрессионистам — Полю Сезанну (который был другом детства Золя), Э. Мане, К. Моне, Дега и другими.

Натурализм для Золя — это искусство, отражающее объективную действительность, искусство жизненной правды, которую он отстаивал от всякого рода нереалистических течений, начиная с классицизма и романтизма и кончая декадентством, укреплявшимся в последней четверти XIX века (когда у импрессионистов стали проявляться декадентские черты, Золя порвал с ними). Искусство — по мысли Золя — должно быть поставлено на твердую научную основу; подобно науке, оно должно изучать только факты,— ведь реальная действительность дает художнику неисчерпаемый материал и служит неиссякаемым источником вдохновения. Для художника нет запретных сфер, он имеет право вторгаться в любые стороны жизни, даже самые низменные, прежде считавшиеся «неэстетическими». В теории Золя

---

[1] Известно, какую большую роль сыграли в жизни Золя его отношения с Россией. Через Тургенева он связался с петербургским журналом «Вестник Европы», где начиная с 1875 года печатались переведенные прямо с рукописи или с корректуры многие его романы и статьи. Часто русские читатели знакомились с новыми произведениями Золя прежде, чем его соотечественники. Впоследствии, в предисловии к «Экспериментальному роману», Золя выразил горячую благодарность «великому народу, благосклонно пожелавшему принять меня в число своих корреспондентов в ту пору, когда ни одна газета в Париже не печатала моих статей и не одобряла моих литературных битв. В один из переживаемых мною ужасных дней нужды и упадка духа Россия вернула мне веру в себя, всю мою силу, дав мне трибуну и публику, самую образованную, самую отзывчивую публику».

содержался страстный призыв служить истине, вера в творческие силы человека. Но, увлекшись философией позитивизма, он уподоблял человеческое общество неорганическому и животному миру и не различал особых закономерностей общественной жизни. «Те же законы управляют камнем на дороге и мозгом человека»,— утверждал он. В теории человек сводился для него к «общему механизму природы», становился рабом своей биологической сущности, например, наследственности и воздействующей на него «внешней среды»; в этом позитивистском понятии не расчленялись природная среда и среда социальная, чье решающее влияние на формирование человеческой личности с такой глубиною исследовал Бальзак. Научный пафос, пронизывающий литературную теорию Золя, терял свою научность при попытках объяснить жизнь общества биологическими законами в эпоху, когда уже были сделаны великие открытия марксизма.

Золя настойчиво уподоблял художника естествоиспытателю, тщательно записывающему данные опыта, либо хирургу, склонившемуся над больным; на этом основан принцип «экспериментального романа», составляющий важнейшую часть натуралистической теории: писатель производит «опыт» над человеком, исследуя взаимодействие его биологических данных и среды, в которую тот помещен. Натурализм в принципе отвергает вмешательство художника в произведение искусства, открытую авторскую оценку происходящего,— дело романиста честно изобразить детали жизни, которые будут говорить сами за себя. Однако, вопреки всему изложенному, Золя тут же требует пропускать увиденные факты «сквозь темперамент художника», не может отказаться от типизации и не раз повторяет, что хочет «исследовать причины и следствия», то есть средствами искусства объяснить жизнь. Самый термин «натурализм» для Золя совпадает с реализмом, и употребляет он его скорее в том смысле, который придавали ему философы XVIII века (как преклонение перед могуществом природы), а не в значении губительного для искусства рабского копирования явлений действительности, какое приобрел этот термин в XX веке. Золя очень высоко ставил великих реалистов — своих предшественников, но считал, что сделал шаг вперед в искусстве, сблизив его с наукой и обогатив реализм теорией, которой у него прежде не было. В действительности же теория натурализма, особенно в первых программных статьях Золя, была полна вопиющих противоречий и полемических крайностей, так что от некоторых формулировок он потом отказался сам. Художественное его творчество, по сравнению с реализмом первой половины XIX века, имело не только достижения, но и потери. Но знаменательно, что лучшее из созданного Золя как художником прорывало его собственную натуралистическую схему и поднималось над ней.

Первое выступление Золя на новом поприще натурализма было шумным. В 1867 году вышел его роман «Тереза Ракен», представляющий собою дерзкий физиологический эксперимент средствами литературы. Поле наблюдений здесь сознательно сужено до крайности, приметы времени почти отсутствуют, социальные и политические вопросы отметены. Автор как бы

расчищает себе место для проведения опыта. Поместив своих персонажей в определенные обстоятельства, он хочет составить бесстрастный отчет об их «реакциях». Как гласит предисловие ко второму изданию романа, Золя видел «весь смысл книги» в том, чтобы «изучить не характеры, а темпераменты», и радовался, что читатели не обнаружили у его героев ничего похожего на душу. «Я просто-напросто исследовал два живых тела, как хирург исследует два трупа»,— вызывающе заявляет он. Поэтому он отказывается от нравственных оценок и, дразня буржуазных моралистов, ставит эпиграфом к отдельному изданию романа изречение искусствоведа-позитивиста Ипполита Тэна: «Порок и добродетель такие же продукты, как купорос или сахар».

Воспользовавшись распространенным сюжетом буржуазной драмы и романа своего времени — семейный «треугольник», супружеская измена и преступление ради любви,— Золя построил на его основе историю «индивидов, которые всецело подвластны своим нервам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти». Темная плотская страсть с роковой неотвратимостью бросает Терезу в объятия Лорана и столь же неотвратимо ведет к убийству мужа, мешающего утолению этой страсти. В центре романа проблемы физиологии: неосознанные инстинкты и влечения, неврозы, истерия, внезапные вспышки ненависти и страха. Золя всячески подчеркивает животное начало в своих героях — тупость Лорана, нравственную невменяемость Терезы; тень убитого Камилла встала между ними и погасила их страсть, сделала вчерашних любовников врагами-сообщниками, боящимися взаимного разоблачения, но никакой нравственной драмы они не переживают, у них «никогда не хватило бы мужества на признание и искупление в возмездии». В этом смысле Золя пошел дальше Гонкуров, чья несчастная героиня, не в силах бороться со снедающим ее недугом, все время терзается сознанием своего человеческого падения. Вслед за Гонкурами, открывавшими новые, еще не освоенные искусством пласты реальности, «экзотику» большого города (в их «Дневнике» наряду с импрессионистическими пейзажами Парижа имеются зарисовки больничной палаты, морга, анатомического театра), Золя рисует в «Терезе Ракен» темный сырой пассаж Нового моста с его жалкими лавчонками, чердачную каморку Лорана с окном, пробитым в крыше, морг с холодными плитами и струйками воды, стекающей на мертвые тела, подробно описывает полуразложившийся труп утопленника. Это «среда», с которой взаимодействуют его герои.

Но несмотря на то, что «Тереза Ракен» явилась своего рода манифестом «экспериментального» натуралистического метода, уже в этом первом романе Золя не смог избежать социальных мотивировок. Больше того, противореча своей программе «бесстрастности», он написал, по сути, антибуржуазный роман. Драма Терезы и Лорана прямо вытекает из отношений и морали собственнического общества, в котором царит своекорыстие, эгоизм и ложь. Тереза с детства приучена к лицемерию и привыкла подавлять свои истин-

ные чувства; долгие годы, до встречи с Лораном, она прячет отвращение к мужу под маской равнодушия и покорности. Положение сироты-бесприданницы отдало ее в полную власть тетки, и теперь, замыслив убийство, она «мстит» за свою загубленную юность. Лоран сперва идет на связь с женою приятеля из соображений корысти,— эта любовница ничего не будет ему стоить,— а затем приходит к мысли о преступлении, чтобы занять место Камилла и обеспечить себе беззаботное существование. Собственническая мораль движет им и в дальнейшем: он с нетерпением ждет смерти отца, чтобы получить наследство, после убийства не решается порвать с Терезой, чтобы не лишиться ее сорока тысяч франков; его внутренний мир так же ограничен и пуст, как и у его жертвы, он тяготится трудом и лелеет чисто буржуазный идеал жизни, заполненной бездельем и удовольствиями. Эгоизм кроется и под внешней безобидностью и добродушием госпожи Ракен и Камилла, которые распоряжаются Терезой, как своей собственностью, даже не отдавая себе в этом отчета. С флоберовским сарказмом рисует Золя «отупевших чиновников с пустой головой», которые собираются по четвергам в столовой Ракенов. Беспросветная глупость, духовное убожество, бессмысленное полуживотное существование всех этих мещан — вот почва, на которой расцветают себялюбие, жажда наживы и низменных наслаждений. Едкой иронией пропизана одна из последних сцен романа, когда гости Ракенов, равнодушные к разыгравшейся в доме трагедии, спешат вернуться к привычному жалкому удовольствию — еженедельной партии в домино — и называют преступный дом «святилищем мира», говорят, что в нем «пахнет честностью». Авторская интонация в «Терезе Ракен» порой совсем не походит на бесстрастность стороннего наблюдателя. Самым парадоксальным образом эмоциональная атмосфера первого натуралистического романа Золя связывает его с романтизмом. Зловещие, мрачные краски, живописные эффекты — игра черных, рыжих и кроваво-красных тонов в пейзажах и интерьерах; тусклый свет и ночные тени в пассаже Нового моста, создающие настроение тоски и страха; четверговые гости Ракенов, похожие в желтом луче лампы на коллекцию паяцев; «жестокие» сцены на реке и в морге в духе «неистового романа» 30—40-х годов XIX века (а не только натурализма), нагнетание ужасов, как в «готических» романах: «зеленоватое лицо утопленника» на портрете, заранее предвещающее трагедию и затем глядящее на убийц в брачную ночь, таинственная сила, заставляющая руку художника против воли снова и снова выписывать лицо своей жертвы; кот Франсуа — соглядатай преступников, достойный собрат Черного кота Эдгара По; наконец, романтическая символика: образ тюремной цепи, сковывающей сообщников, незаживающий укус на шее убийцы, составляющий лейтмотив до самого финала романа, когда мертвая Тереза прикасается к нему губами, некая «стигма», отметина вины,— все это скорее атрибуты романтического романа-фельетона (которому Золя отдал дань в «Марсельских тайнах», писавшихся одновременно с «Терезой Ракен»), чем «научного» жанра.

В «Терезе Ракен», так же как и во втором натуралистическом романе

Золя «Мадлена Фера» (1868), уже ощущается то противоречие между фактографией и повышенной эмоциональностью, которая составит стилистическую особенность «Ругон-Маккаров». И в дальнейшем Эмилю Золя окажется близка демократическая эстетика газетного романа-фельетона 30—40-х годов XIX века, мимо которого по-своему не прошли ни Жорж Санд, ни Бальзак, ни Гюго. Золя тоже будет писать для широкого читателя, для народа, и заботиться об увлекательности, остроте сюжетов, доступности художественных средств. В «Ругон-Маккарах» будут и тайны, и злодейства, и сложная интрига, и прямые противопоставления черного и белого, добра и зла, и упрощенные характеры, и, наряду с животной страстью, «идеальная любовь» («Мечта»), и романтические ужасы, и даже наказание порока и вознаграждение добродетели. Разумеется, все эти элементы, переплавленные в лаборатории натуралистического метода Золя, приобретут иное творческое значение, но романтическая «оптика», проявившаяся в «Терезе Ракен», останется характерной и для «Ругон-Маккаров».

Роман «Тереза Ракен», задуманный как литературный эксперимент, оказался более содержательным в идейном и художественном отношении, чем предполагал сам автор. Поэтому он понравился современникам разных литературных позиций: с одной стороны, позитивисту Ипполиту Тэну, которого Золя в те годы считал своим учителем, а с другой — корифею революционного романтизма Виктору Гюго. Реакционная критика обрушилась на роман как на явление «растленной литературы» (газета «Фигаро»), почуяв его антибуржуазный заряд. Но на творческом пути Золя «Тереза Ракен» была только этапом, который скоро остался позади. Не прошло и года, как он назвал свою книгу «исследованием случая чересчур исключительного» и заявил, что для того, чтобы написать хороший роман, следует «наблюдать общество с более широкой точки зрения, описывать его в различных, более разнообразных аспектах».

Замысел большой серии романов, которые должны были составить панораму современной эпохи в духе «Человеческой комедии», окончательно сложился к 1868 году. Золя подошел к этой задаче как новатор. Он не собирался повторять Бальзака, он брался за изображение жизни во всеоружии своего «научного» метода и твердо верил, что откроет неизведанные ее глубины. Как истинный сын нового времени, зачарованный его динамикой и размахом, бурным развитием промышленности, техники, стремительной сменой жизненных укладов, Золя хочет построить мост между искусством и наукой, предоставить в распоряжение ученых ценные факты, подсказать им путь к освоению еще не изученных сторон действительности. В этом, как и во многом другом, он предвосхитил некоторые тенденции литературы XX века. Трудность состояла в том, чтобы, глядя на жизнь сквозь призму натурализма, найти прием, который позволил бы объединить отдельные части задуманной эпопеи сквозной мыслью и действием. Золя выбрал оригинальный ход: построил будущий цикл романов как «Естественную и социальную историю одной семьи во время Второй империи», решая таким

образом двойную задачу — изучить «физиологического человека» и исследовать современное общество. Семья была в его понимании одновременно и первоначальной ячейкой буржуазного общества, и ареной действия биологического закона; и, прослеживая изменение наследственных признаков на протяжении нескольких поколений, а также судьбы членов этой семьи, которых жизнь бросает вверх или вниз по ступеням общественной лестницы, Золя получал возможность описать все слои общества и общественные состояния, все профессии, Париж и провинцию, город и деревню на широком отрезке времени,— то есть с другого конца прийти к тому, что сделал Бальзак в «Человеческой комедии».

Идея проследить жизнь нескольких поколений одной семьи была плодотворной и также предвосхитила некоторые литературные явления XX века — «Будденброков» Томаса Манна, «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, «Семью Тибо» Р. Мартен дю Гара и т. д.

Начиная работу над «Ругон-Маккарами», Золя, как и в «Терезе Ракен», хотел оставаться лишь бесстрастным наблюдателем, добросовестным ученым, протоколирующим факты. «Мое произведение будет больше научным, чем социальным... Я не хочу, как Бальзак, принимать решения о делах человеческих, быть политиком, философом, моралистом. С меня довольно и того, что я останусь ученым»,— писал Золя в том же 1868 году в заметке «Различие между Бальзаком и мною».

Однако его замысел с самого начала был построен на противоречии. Скованный натуралистической теорией, он противопоставлял социальное научному, отказывался от суждений и выводов, но вместе с тем вынужден был сразу же определить свою идейную позицию. Думая сосредоточиться на коллизиях наследственности, он оказался захвачен развернувшейся перед его глазами исторической драмой и, замышляя «историю одной семьи», одновременно замыслил «заклеймить каленым железом» ненавистный режим Второй империи, «нелепую эпоху безумия и позора», которую переживала Франция. Уже первый роман, «Карьера Ругонов» (1871), преисполнен высокого гражданского и обличительного пафоса; голос автора, республиканца и демократа, слышится за каждой строчкой этого романа и не смолкает на протяжении всего громадного цикла даже там, где больше всего сказался натурализм Золя. «Ругон-Маккары» — это столько же серия «научных» романов, сколько социальная эпопея.

Золя строго придерживался принципа фактографии и с необычайным упорством и добросовестностью собирал материал для «Ругон-Маккаров». Он накапливает «человеческие документы», изучает целые горы книг, справочников, исследований по истории, физиологии, психологии, медицине; он штудирует «Происхождение видов» Дарвина, «Введение в экспериментальную медицину» Клода Бернара, составляет конспекты, делает выписки, создает предварительные наброски, планы, проспекты будущих романов. Прежде чем взяться за перо, он выезжал на место действия и скрупулезно его описывал; он начертил подробный план вымышленного города Плассана и пе-

которых кварталов Парижа, где развертывается ряд эпизодов; знакомился с организацией торговли на Центральном рынке и в больших магазинах, с оплатой продавцов и условиями их жизни, изучал подробности различных ремесел и профессий, быт столичных окраин и богатых особняков. Он сам спускался в шахту, беседовал с бастующими рабочими, совершил поездку на локомотиве, а под конец жизни даже рискнул отправиться из Парижа в Версаль в неслыханном экипаже с бензиновым двигателем. Из романов Золя можно узнать, как накладывается грим на лицо актрисы и как происходила в его время биржевая игра; в них содержится громадный познавательный материал.

По первоначальному плану цикл должен был состоять из десяти томов, но впоследствии был доведен до двадцати книг. В первом романе «Карьера Ругонов» (1871) показано возникновение семьи. Ругон-Маккары поднимаются из народа. Их родоначальница, полубезумная Аделаида Фук, дочь огородника, умершего в сумасшедшем доме, выходит замуж за крестьянина Ругона, а овдовев, становится сожительницей бродяги и пьяницы Маккара. Ее законные дети от первого брака положили начало семейной линии Ругонов, которые в последующих романах серии возвышаются до класса новой буржуазии, делаются финансистами («Деньги»), политическими деятелями («Его превосходительство Эжен Ругон»), коммерсантами («Дамское счастье»), великосветскими прожигателями жизни («Добыча»). Всех их отличает передающаяся по наследству «безудержность вожделений». Незаконные дети Аделаиды основывают семейную линию Маккаров, которые хранят из поколения в поколение темные атавистические инстинкты и потомственный алкоголизм и в дальнейшем все ниже опускаются по общественной лестнице, становятся рабочими («Западня», «Жерминаль», «Человек-зверь»), крестьянами («Земля»), наемными служащими («Дамское счастье») или падают на самое дно общества («Нана»).

Новые браки, усложняющие наследственность, и превратности судьбы разбрасывают их по всем уголкам общества, и таким образом Золя добивается полноты картины.

Двойственность замысла сказалась и на композиции «Ругон-Маккаров». Чтобы завершить биологическую историю семьи, Золя достаточно было образа ученого Паскаля, который, после многолетних трудов, составил генеалогическое древо этой семьи (в графическом изображении оно обычно прилагается к роману «Доктор Паскаль», 1893). Но социальная история эпохи требовала иного финала. Начиная работу в 1868 году, Золя еще сам его не знал, но едва он окончил первый роман, рисующий воцарение бонапартизма, как история сама дала ему необходимую развязку: рухнула Вторая империя, то есть произошло именно то, что предсказывалось всей логикой литературного замысла Золя. Поэтому истинным завершением цикла «Ругон-Маккары» является не «Доктор Паскаль», а вышедший за год до него роман «Разгром», рисующий военную катастрофу при Седане в 1870 году, падение Империи и события Парижской коммуны.

Наконец, чутье художника подсказало Золя такие наследственные признаки для его героев, которые были характерны для социальной психологии эпохи и легко объяснялись общественно-историческими, а не биологическими причинами. Для того чтобы понять «безудержность вожделений» финансового хищника Саккара или трагическую судьбу прачки Жервезы, не обязательно знать о принадлежности их к семье Ругон-Маккаров. Усиленное внимание к животному, биологическому началу в человеке, смелые, откровенные описания низменных и грубых сторон жизни составляют важную сторону цикла, и все же, по мере осуществления грандиозного замысла, произведение Золя все больше вырисовывалось именно как социальная эпопея.

«Ругон-Маккары» — вторая после «Человеческой комедии» гигантская фреска XIX века, и Золя отчетливо сознавал свою преемственность от Бальзака. Он постоянно пишет о Бальзаке — в специальных статьях, в подготовительных заметках к романам, то восхищаясь, то споря с ним. У обоих писателей нередко совпадают темы, герои, некоторые элементы композиции; Золя воспользовался изобретением Бальзака — приемом повторяющихся персонажей, переходящих из романа в роман. Наконец, самый размах охвата жизни сближает Золя и его великого предшественника.

Но Бальзак и Золя — это не только различные творческие индивидуальности, но и разные эпохи. За полвека, отделяющие «Ругон-Маккаров» от «Человеческой комедии», произошел важный исторический сдвиг. Бальзак наблюдал буржуазное общество на подъеме, только что вышедшее из горнила революции 1789—1793 годов, еще полное сил и потенциальных возможностей; Золя запечатлел начавшийся упадок этого общества. Романы Бальзака наполнены кипением мыслей и страстей, он рисует глубокие и яркие характеры, несущие в себе громадный заряд социальной энергии, воплощающие типические черты жизни общества. «Для него герой никогда не бывает достаточно громаден,— писал Золя,— могучие руки этого созидателя умеют выковывать одних только великанов». Сам Золя, так же как и Флобер, а потом Мопассан, был свидетелем измельчания личности, духовной деградации человека буржуазного общества, и характеры людей меньше интересуют его, чем общая панорама жизни, которую он рисует с необычайной пластической яркостью. Уже современники отмечали, что книги Золя оставляют впечатление чего-то «увиденного воочию», зрительное впечатление ряда застывших картин. Золя стремился достигнуть эпичности другим путем, чем Бальзак. «Меньше заниматься персонажами, чем группами, различными видами социальной среды»,— записывает он и не случайно называет свои книги не «Гобсек», «Отец Горио», «Кузина Бетта», а «Деньги», «Чрево Парижа», «Земля». Личность как бы растворяется у Золя средой, к которой она принадлежит, поглощается ею. Персонажи «Ругон-Маккаров» не живут такой напряженной и глубокой жизнью, как герои «Человеческой комедии», их характеры упрощены, раскрыты не до конца и по большей части проясняются только через окружающий их видимый мир, как на картинах импрессионистов, с которыми соприкасается художественная манера

Золя. Невозможно отделить Нана от ее разззолоченного будуара, а Лизу Кеню от ее сверкающей белым кафелем колбасной лавки, так же как персонажей «Жерминаля» от каменноугольной шахты. Со времен Бальзака человек гораздо больше попал под власть им же созданных вещей, и это отразилось в том одушевлении предметного мира, которое характерно для «Ругон-Маккаров». Громадные «натюрморты», как горы снеди на Центральном рынке («Чрево Парижа»), оранжерея со сладострастными ароматами тропических растений («Добыча»), многоцветье шелков и кружев модного магазина («Дамское счастье»), живут самостоятельной поэтической жизнью, становятся почти равноправными человеку героями романов Золя. Своеобразие его стиля состоит в том, что фактографические описания у него то и дело «взрываются,— по меткому слову советского исследователя [1],— экстатическими дифирамбами титанических обобщений», и ожившие «натюрморты» вырастают до степени поэтических символов. Если Золя упрекал Бальзака в преувеличении характеров людей, то сам он преувеличивал образы вещного мира. «Да, я преувеличиваю,— писал Золя своему другу А. Сеару по поводу романа «Жерминаль»,— но делаю это иначе, чем Бальзак, равно как Бальзак преувеличивает иначе, чем Гюго. И в этом все дело: творческая манера заключена в особенностях зрения. ...Мне свойственна гипертрофия выхваченной из жизни детали: я заношусь в небеса, отталкиваясь от трамплина непосредственного наблюдения. Единым взмахом крыл жизненная правда взмывает ввысь и становится символом». Через такие символы Золя крупными мазками с памфлетной силой рисует растленное общество предимпериалистической поры, скрывающее под мишурным блеском гниль и разложение. Буржуазия, как алчная гончая стая, рвет на части труп убитой республики («Добыча»), вчерашний журналист-хамелеон, а ныне крупный спекулянт Саккар играет на бирже на что придется, «на женщин, честь, мостовые, совесть», пока в его доме происходит кровосмешение; лицемерный авантюрист в рясе плетет сеть политических интриг, подчиняя своей власти целый город («Завоевание Плассана»); сановный граф Мюффа ползает на четвереньках у ног ликующей проститутки («Нана»). Золя осознает, «до какого чудовищного падения мы докатились», с болью и гневом рисует «невероятную трясину, в которой захлебывается Франция»; изображенное в «Ругон-Маккарах» буржуазное общество стоит на грани катастрофы, и многие романы завершаются поэтическими образами крушения и гибели. Так, взращенная гнилостным обществом «золотая муха» Нана умирает от оспы, покрывшей гнойниками ее тело куртизанки в момент, когда охваченные националистическим безумием толпы валят по улицам Парижа вслед за марширующими войсками с воплями: «На Берлин! На Берлин!» Неуправляемый паровоз мчит состав, набитый солдатами, навстречу неминуемой гибели, предвещая роковую для Второй империи войну («Человек-зверь»).

---

[1] С. Эйзенштейн. Избранное, в 6-ти томах, т. 3. М., «Искусство», 1964, с. 92.

Восприятие современной жизни у Золя окрашено трагически; он остро ощущает неустойчивость, переходность своего времени, и хотя неясно представляет себе реальный исторический путь к будущему, все же этот путь для него лежит через потрясения. Не раз он определяет современность как «тревожный час, полный напряженного ожидания», «час ломки духа, когда с треском рушатся развалины и пыль от штукатурки носится в воздухе». К восьмидесятым годам он убеждается, что «буржуазия закончила свою роль», и все чаще возлагает «всю надежду на энергию народа» (письмо 1886 г.). Результатом была группа романов из народной жизни: «Западня» (1877), «Жерминаль» (1885), «Земля» (1887).

Как живописец погрязшего в пороках и захлебывающегося от жажды наслаждений мира буржуазии Золя имел гениальных предшественников, здесь же он вспахивал нетронутое поле. Под его пером картина жизни неизмеримо расширилась, потому что в нее вошли такие явления, которые во времена Бальзака еще исторически не сложились. Рабочий был для автора «Человеческой комедии», если воспользоваться выражением французского критика, «жителем другой вселенной»; романтики создавали условные либо, как Гюго, символические образы людей из народа. Можно с полным правом утверждать, что впервые правдиво изобразил жизнь тружеников Золя в «Западне».

Смелость и прямота в обрисовке быта и нравов рабочего пригорода, бесправного и униженного положения бедняков, картина невежества и пороков, процветающих в рабочей среде, настолько поразили современников, что на Золя посыпались обвинения в клевете на народ. Золя предвидел это и заранее защищался в предисловии к роману: из его книги, писал он, «ни в коем случае не следует заключать, что весь народ плох», его персонажи «только невежественны и испорчены средой, в которой живут, обстановкой беспощадного труда и нищеты». Как реплику «Западне» Золя написал роман «Накипь» (1882), рисовавший действительно глубокую порочность высших классов.

«Западня» имела неслыханный успех, «успех испуга», по язвительному замечанию М. Салтыкова-Щедрина; буржуа, еще не оправившиеся от недавнего страха перед Коммуной, содрогнулись при этом неприкрашенном зрелище «низов, как они есть». Но в те годы Золя был далек от политики и рабочего движения, и это сказалось на книге,— в ней содержится только одна сторона правды. В «Западне» действует самая отсталая, изолированная часть рабочего класса, еще не втянутая в крупное машинное производство; это, по сути, ремесленники — прачки, кровельщики, шапочники,— которые хранят мелкособственнический идеал своей лавочки или мастерской. Золя кажется, что судьба этих людей во многом зависит от них самих, от их трудолюбия и трезвости, и рядом с опустившимися Жервезой и Купо он рисует назидательный образ работящего и непьющего кузнеца Гуже.

Но с середины 70-х годов во Франции начинается подъем массового рабочего движения, которое после Коммуны некоторое время находилось в

плену реформизма. Экономический кризис 1875 года, особенно усилившийся к 1878 году, привел к росту социалистических идей и вызвал волну стачек по всей стране. В 1880 году, на Гаврском съезде было оформлено создание Французской рабочей партии, руководимой Жюлем Гедом и Полем Лафаргом, с марксистской, в основном, программой; в следующем, 1881 году произошел раскол Рабочей партии; полемика лидеров различных направлений — сторонников Геда, анархистов и «мнимых социалистов», поссибилистов, широко освещалась в прессе. Амнистия коммунарам, которой в 1880 году, после десятилетней борьбы, добилась прогрессивная общественность Франции, привлекла еще большее внимание к социализму. Золя, чутко откликавшийся на все новое в жизни, после «Западни» собирался написать еще один рабочий роман, «по преимуществу политический и революционный», отнесенный к маю 1871 года, с рабочим-коммунаром в качестве главного героя. Но тем временем в 1878 году произошла стачка в шахтах Анзена, в 1880 и 1884 годах — две стачки в копях Па-де-Кале, в 1882 году — стачка в Монсо-ле-Мин. И Золя, захваченный драматизмом пролетарской борьбы, изменил первоначальный замысел: вместо романа о коммунаре появился роман об углекопах — «Жерминаль». Окончательно это произведение оформилось во время пребывания Золя в Анзене, где он лично наблюдал забастовку двенадцати тысяч рабочих, продолжавшуюся пятьдесят шесть дней и окончившуюся поражением.

«Жерминаль» — уникальная книга в творчестве Золя и во всей французской литературе XIX века. В ней впервые с громадной художественной силой изображено столкновение труда и капитала как двух враждебных общественных классов, затронут тот конфликт, которому, по прозорливому замечанию Золя, предстояло стать «главным вопросом XX века». С необычайной для его времени смелостью Золя положил в основу сюжета не семейные коллизии или деловую карьеру героя, а эпизод классовой борьбы пролетариата — историю стачки. Роман рисует ее возникновение, перипетии, мужество и стойкость бастующих, их борьбу против штрейкбрехеров, наконец, кровавую бойню, устроенную брошенными против рабочих войсками, и горечь поражения. Открытие этой темы было величайшей заслугой Золя как писателя. В «Жерминале» он поднялся над своими натуралистическими схемами и, опередив литературных современников, создал эпическое полотно народной жизни и народного возмущения, исполненное высокой правды, гуманности и суровой поэзии.

Действие «Жерминаля» отнесено к 1865 году и основано, как всегда у Золя, на тщательном изучении документов. Но он не ставил себе задачу написать исторический роман. Как и в других книгах «Ругон-Маккаров», он проецировал прошлое на современность и обратно, выверял и освещал одно другим, жертвуя исторической точностью ради широты художественного обобщения. В «Жерминале» документы 1860-х годов соединены с фактами, относящимися к рабочему движению 1880-х годов, когда создавался роман, и это усиливало его актуальность.

С беспощадной правдивостью изображены в романе чудовищные условия жизни и труда французских пролетариев. Перед потрясенными читателями «Жерминаля» встали картины социальной трагедии, о которой они и не подозревали,— трагедии каждодневного существования рабочего класса, узаконенной, ежечасной, повторяющейся из года в год, из поколения в поколение. Вот в предутренней мгле, дрожа от холода в своих лохмотьях, угрюмые вереницы рабочих стекаются к шахте — мужчины, старики, женщины, дети; людей, «как скот, грузят в клети»; забойщики, откатчицы задыхаются от жары в узких забоях, среди рудничного газа, потоков подземной воды, под постоянной угрозой гибели, измученные нечеловеческим трудом, доведенные до крайней степени унижения, полуголодные, голые, как животные, на всю жизнь прикованные к шахте, словно те лошади, которых поднимают на поверхность только после смерти. Так же, как в «Западне», Золя откровенно рисует невежество и пороки, неизбежно бытующие в рабочей среде, но он неизмеримо поднимается над своим первым рабочим романом, потому что рисует героев «Жерминаля» как *класс*. Их объединяет не случайное соседство по дому, улице или мастерской, а общее положение наемных рабочих, определяющее их судьбу. Если в «Западне» прилежная и непьющая семья Гуже процветает, то в «Жерминале» такая же трезвая и работящая семья Маэ гибнет, как и все остальные: годы непосильного труда и лишений приводят их к физическому вырождению, целая рабочая династия, пять поколений этой семьи находят смерть под землей.

И тут никто лично не виноват: таково само общественное положение пролетария, он должен кормить Капитал — этого «тучного идола, восседающего в далеком капище», чей символический образ проходит через весь роман. В мире «Ругон-Маккаров», как и в мире «Человеческой комедии», владычествует «всемогущая пятифранковая монета», но капитал уже не совпадает в сознании людей с личностью его владельца; во времена Золя капитализм дошел до стадии анонимных промышленных и банковских обществ, и вместо Гобсека или Нусингена действует таинственная Биржа («Деньги») или столь же таинственная Компания, которой рабочие «Жерминаля» никогда в глаза не видали. Они имеют дело только со второстепенными лицами. Золя сознательно нарисовал персонажей из лагеря эксплуататоров не какими-то злодеями, а самыми обыкновенными людьми,— как деятельный и смелый инженер Негрель, изнемогающий в борьбе с конкурентами мелкий шахтовладелец Денелен, директор шахты Энбо, затаивший в душе глубокую личную драму. Никто из них не хочет рабочим зла, но они помимо воли становятся орудием классового угнетения, и рабочие с полным правом смотрят на них как на врагов. Многочисленные сцены романа с плакатной наглядностью противопоставляют праздный класс классу тружеников. Таков изысканный завтрак у Энбо, составляющий контраст со скудным ужином в шахтерской семье Маэ, стоившим матери стольких трудов и унижений; таков «заурядный адюльтер» в доме директора шахты, который, по признанию Золя, понадобился ему, чтобы показать ничтожность страданий

Энбо «на фоне грозного рева толпы, в котором рвется наружу боль целого класса»; прогулка дам к месту обвала шахты, когда они восторгаются живописностью пейзажа, пока рабочие откапывают засыпанных товарищей. Обобщенное значение приобретает семья добродушных и по видимости таких безобидных Грегуаров, которые, пребывая в совершенном безделье, вот уже целых сто лет кормятся одной-единственной акцией угольных копей и считают само собой разумеющимся, что «их добрые рабочие» обеспечивают им сытость и уют. И, наконец, все эти противопоставления сводятся к символической сцене, в которой старый шахтер Бессмертный — архитип рабочего класса, душит Сесиль Грегуар — архитип класса праздного.

Новаторство «Жерминаля» проявилось и в том, что здесь впервые предметом художественного изображения стал труд. Рисуя пролетария, Золя не мог нарисовать его вне трудовой деятельности. Труд составляет в романе содержание жизни рабочего, определяет его личность, психологию, физический облик, его заботы и мечты, его отношение к окружающим — сама его человеческая сущность сводится к труду. Именно коллективный труд создает общность интересов, заставляющую рабочих объединиться против имущего класса, который тоже объединяется для защиты своих богатств. С большой убедительностью Золя показывает, что только в открытой борьбе против хозяев возникает новое явление — рабочая солидарность, чувство братства, совсем незнакомое героям «Западни». Солидарность поднимает рабочего до уровня человека, помогает преодолеть вековую покорность, учит ставить общее дело выше личных интересов. Супруги Маэ, не согласные с идеей стачки, присоединяются к бастующим только потому, что «нельзя же бросать товарищей!». Замечательна сцена робкого и трудного пробуждения человеческого достоинства в шахтере Маэ, который выступает перед директором как представитель забастовщиков: «Он поднял глаза и говорил, устремив взгляд на директора. Теперь уж его было не остановить». Даже в жестоком и грубом Шавале в трудную минуту пробуждается «благородное желание помочь товарищу», а после катастрофы в шахте рабочие проявляют массовый героизм, ведя спасательные работы. Опустившись в толщу трудящегося народа, Золя обнаружил там совсем новые для литературы характеры и отношения, каких он никогда не наблюдал в буржуазной среде. Это «отъявленная бунтовщица» Горелая, с ее седыми космами и орлиным носом, возглавляющая голодную толпу забастовщиков и гибнущая от солдатской пули; Бессмертный, у которого через полвека примерной работы внезапно прорывается подсознательная ненависть к угнетателям; робкая, забитая Катрин, сумевшая сохранить среди почти животного существования нежность и поэтическую женственность; простой рабочий парень Захарий, которому кажущаяся душевная примитивность не мешает пожертвовать собой ради спасения сестры. Наконец, самый значительный и жизненный образ «Жерминаля» — мать Маэ, душа и глава рабочей семьи, страдалица и труженица, у которой шахта постепенно отнимает детей и мужа. Выведенная стачкой из состояния безнадежной покорности, она «меняется

на глазах», в ходе тяжкой борьбы становится одной из самых стойких, а после поражения сохраняет веру в завтрашний день. Эта величественная, полная долготерпения и мужества фигура женщины из народа приобретает символическое значение материнства, продолжения жизни, надежды на будущее и предвосхищает многие образы матери в прогрессивной литературе XX века.

С горячим сочувствием рисуя стачку шахтеров, Золя, однако, изобразил ее как слепой бунт темной массы, движимой скорее животным инстинктом голода, чем сознательным протестом против угнетателей. Даже для 1860-х годов он преувеличил стихийность рабочего движения, тем более для 1880-х годов, когда у рабочего класса Франции был уже опыт Парижской коммуны. В романе очень точно исследованы экономические причины стачки: промышленный кризис и снижение расценки на вагонетку угля, на которое пошла Компания шахтовладельцев, спасая за счет рабочих свои дивиденды. Но политическая сторона рабочего движения выглядит гораздо менее достоверно. Презрение к буржуазному политиканству, заклейменному во многих романах и статьях Золя, внушило ему недоверие к политике вообще, в том числе и к революционной политической борьбе народа. Убежденный сторонник демократии, с таким мужеством вставший на ее защиту в девяностые годы, не понял Парижской коммуны и опасался революционных потрясений будущего. В соответствии со своей позитивистской философией, Золя понимал жизнь природы и общества как неудержимую эволюцию, независимо от воли людей ведущую к прогрессу. Здоровое начало жизни рано или поздно преодолеет порочный общественный строй, все социальные болезни и приведет человечество к победе разума и справедливости. Эта оптимистическая концепция бытия, ярко выразившаяся в таких романах, как «Радость жизни» (1884) или «Проступок аббата Мурэ» (1875), с его символическим образом «земного рая» — сада Параду, побуждала Золя даже идеализировать некоторые стороны буржуазного прогресса (например, в романах «Дамское счастье», «Деньги»).

Ко времени написания «Жерминаля» надежды на будущее окончательно связываются у Золя с народом, в котором он усматривает здоровую жизненную силу; исследуя общество, он, по собственному признанию, «каждый раз наталкивается на социализм», но воспринимает его сквозь туман мелкобуржуазных предрассудков и иллюзий. В «Жерминале» действуют представители главных направлений во французском рабочем движении: социалист Плюшар, проповедующий идеи Жюля Геда, анархист Суварин, которого Золя наделил внешностью Петра Кропоткина (находившегося в те годы в парижской эмиграции), и поссибилист Раснер. Однако их взгляды изложены крайне упрощенно, а ссылки на Маркса показывают, что Золя имел весьма приблизительное представление о научном социализме (он знакомился с марксизмом из вторых рук, по книгам буржуазных экономистов). Этьен Лантье, возглавляющий стачку, колеблется между различными идеями, которые по ходу романа обнаруживают свою несостоятельность. Обманутыми

оказываются надежды рабочих на немедленное крушение капитализма в результате стачки, которое будто бы обещает посланец социалистического Интернационала Плюшар; действия анархиста Суварина приводят лишь к новой трагедии; Золя склонен думать, что ближе всех к истине поссибилизм, который устами Раснера утверждает, что «насилие никогда не приводило к добру» и что надо терпеливо ждать, пока в обществе созреет будущее, как зреют в свой срок брошенные в землю семена. По существу, в романе нет ни одного правдивого образа рабочего вожака. Этьен Лантье по мере своего умственного и политического развития все больше отдаляется от товарищей, попадает во власть честолюбия и обнаруживает признаки буржуазного перерождения.

Но пусть Золя неясно представлял себе истинные законы истории, пусть в его словаре во времена «Жерминаля» еще не было термина «классовая борьба» и для него оставалось закрытым действительное значение организованной политической борьбы пролетариата. На страницах «Жерминаля» встает «красный призрак Революции», и весь эмоциональный строй романа подтверждает ее нравственную правоту. Стихийный бунт нескольких тысяч углекопов вырастает под могучей кистью Золя в некое предвестие апокалипсической катастрофы, которая «в жестокой схватке сметет старый мир». И рассказ о конкретном, документально подтвержденном событии выливается в экстатическую поэму народных страданий, борьбы и мщения, выраженную в простых и гигантских образах, достойных древнего эпоса. Грозное шествие голодной толпы через замерзшую равнину, увиденное дважды — сперва сочувственными глазами автора, потом расширенными глазами перепуганных буржуа,— описано торжественной ритмической прозой, звучащей, как гомеровский гекзаметр, и ритм этот подчеркивается трагическим рефреном: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Почти каждый образ, каждая сцена романа получают символическое значение: шахта, ненасытное чудовище, «поглощающее ежедневную порцию человеческого мяса»; черные плевки Бессмертного, выхаркивающего уголь из съеденных легких; погибающая в затопленной шахте лошадь; разгром продовольственной лавки обезумевшими от голода людьми и издевательства над трупом лавочника — символ слепого кровавого бунта; и страшная, одна из первых в мировой литературе, сцена расстрела безоружных рабочих, и описание провала в бездну строений шахты, олицетворяющего грядущий конец преступного мира.

Но Золя не ограничивается социальной символикой; за жизнью общества для него всегда стоит вечная жизнь природы, и вера в ее непреложные законы внушает писателю надежду на будущее. Поэтому поэтические символы «Жерминаля» разрастаются в своего рода мифы, выражающие главные вопросы человеческого бытия: жизнь, любовь, смерть, обновление, которые по художественной логике Золя соответствуют круговороту природы.

Эта символика заложена в самом названии книги: жерминаль — весенний месяц по календарю французской революции, месяц прорастания посевов в предвидении будущей жатвы. И образ семени, брошенного в землю и

поднимающегося из нее в виде ростка, образ зимы и весны, гибели и возрождения, прошлого и будущего настойчивым лейтмотивом проходит через весь роман, вплоть до его последней страницы. В «Жерминале» происходит встречное движение образов: вниз и вверх. Рабочие непрестанно спускаются вниз, под землю; под землей находят смерть целые поколения и многие персонажи романа; земля разверзается под рухнувшей шахтой. Но под землей расцветает любовь Катрин и Этьена; в земле, «подобно зерну пшеничному», прорастают «семена гражданского сознания», «из глубины шахт поднимается целая армия бойцов», в земле зарождается новая жизнь, зреет завтрашний день. После трагических картин страдания, смертей и катастрофы возникает светлая мелодия финала, и она разрастается в гимн весеннему обновлению природы и грядущему торжеству справедливости, которое Золя провидит за всеми бедствиями, бурями и беспощадной социальной борьбой. «По всей равнине набухали брошенные в землю семена, и, пробивая ее корку, всходы тянулись вверх, к теплу и свету... К земле, залитой сверкающими лучами солнца, вернулась молодость... Из недр ее тянулись к свету люди — черная армия мстителей, медленно всходившая в ее бороздах и постепенно поднимавшаяся для жатвы будущего столетия, уже готовая ростками своими пробиться сквозь землю». По этим весенним полям, под которыми слышится неумолчный стук шахтерских обушков, Этьен Лантье уходит вдаль, навстречу новой борьбе и надежде.

Огромная художественная сила «Жерминаля» состояла в пророчестве и оправдании народной революции. Но сам Золя возражал против революционного истолкования этой книги; он уверял, что «в его намерения не входило поднять Францию на баррикады», а лишь призвать «к состраданию и справедливости» и, «пока не поздно, предупредить новую катастрофу» (письмо от декабря 1885 г.). Через несколько лет в романе «Труд» (1901) он нарисовал фурьеристскую утопию мирного врастания капитализма в социализм, достойную наивных романтических мечтаний первой половины XIX века. Его биологическая концепция истории на поверку оказывалась не меньшей иллюзией, чем концепция нравственного прогресса, которую до конца своих дней проповедовал Виктор Гюго. «Жерминаль» остался в творчестве Золя художественным прозрением, до какого он больше не поднялся ни в одной другой своей книге.

Чем дальше мы уходим от Золя, тем в более истинном свете вырисовывается его фигура. Для современников был ошеломителен его натурализм, который затмевал другие грани его огромного дарования, и Золя, хоть и сам немало способствовал этому, огорчался, что критики «не замечают в нем поэта». Но историческая дистанция помогает освободиться от предвзятости, от гипноза натуралистических формул, и сегодня Золя предстает как великий художник, вобравший в свое творчество традиции идейного, правдивого, гуманистического искусства своих предшественников и сделав-

ший шаг навстречу искусству нового столетия. Один из «бородатых мотыкал XIX века», обличитель и поэт своего времени, он утратил многое из философского богатства классического реализма; но он смотрит на мир под своим особым углом зрения, открывающим искусству новые грани действительности, и предвосхищает черты реализма XX века. Современный западноевропейский и американский реалистический роман многим обязан Эмилю Золя.

Как художник он не только создал литературную аналогию новаторским для его времени принципам изобразительного искусства, но и предугадал будущее искусство кино (принцип монтажа, чередования крупных и мелких планов, символика детали, замедление и убыстрение ритма и т. д.); недаром романами Золя так интересуются кинематографисты,— по одной только «Терезе Ракен» снято уже пять фильмов.

Современный читатель воспринимает произведения Золя не как бесстрастное или нарочито грубое описание «человека-животного», порабощенного средой и наследственностью, а как патетическую, полную динамики и сочувствия к людям картину жизни его эпохи, в ее борьбе и устремленности к более справедливому будущему.

С. БРАХМАН

ТЕРЕЗА РАКЕН

ПЕРЕВОД Е. ГУНСТА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я простодушно полагал, что этот роман не нуждается в предисловии... Имея обыкновение излагать свои мысли полным голосом и недвусмысленно обрисовывать в своих произведениях даже мелочи, я надеялся, что буду понят и судим без предварительных разъяснений. Оказывается, я ошибся.

Критика встретила эту книгу яростным, негодующим воем. Некоторые благонамеренные люди из столь же благонамеренных газет брезгливо поморщились и, взяв ее щипчиками, бросили в огонь. Даже мелкие литературные газетки, ежедневно оповещающие о том, что произошло в альковах и отдельных кабинетах, зажали носы, воня о зловонии и гнили. Я отнюдь не жалуюсь на такой прием; наоборот, я в полном восторге от сознания, что у моих собратьев столь девически чувствительные нервы. Спору нет, произведение мое — достояние моих судей, и если они находят его тошнотворным, я не имею права против этого возражать. Но я сетую на то, что ни один из стыдливых журналистов, которые краснели при чтении «Терезы Ракен», по-видимому, не понял этого романа. Если бы они его поняли, они, быть может, покраснели бы еще гуще, зато я по крайней мере испытывал бы теперь чувство внутреннего удовлетворения от мысли, что действительно вызвал у них отвращение. Нет ничего досаднее, как слышать крик честных писателей о разврате, в то время как ты глубоко убежден в том, что они кричат, даже не зная о чем.

Следовательно, мне надлежит самому представить свое произведение моим судьям. Я сделаю это в нескольких строках, с единственной целью — избегнуть в дальнейшем каких-либо недоразумений.

В «Терезе Ракен» я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги. Я остано-

вился на индивидуумах, которые всецело подвластны своим нервам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти. Тереза и Лоран — животные в облике человека, вот и все. Я старался шаг за шагом проследить в этих животных глухое воздействие страстей, власть инстинкта и умственное расстройство, вызванное нервным потрясением. Любовь двух моих героев — это всего лишь удовлетворение потребности; убийство, совершаемое ими,— следствие их прелюбодеяния, следствие, к которому они приходят, как волки приходят к необходимости уничтожения ягнят; наконец, то, что мне пришлось назвать угрызением совести, заключается просто в органическом расстройстве и в бунте предельно возбужденной нервной системы. Душа здесь совершенно отсутствует; охотно соглашаюсь с этим, ибо этого-то я и хотел.

Теперь, надеюсь, становится понятным, что я ставил перед собою цель прежде всего научную. Создав два своих персонажа, я занялся постановкой и решением определенных проблем: так, я попытался уяснить странное взаимное тяготение друг к другу, возможное у двух совершенно различных темпераментов, я показал глубокие потрясения сангвинической натуры, пришедшей в соприкосновение с натурой нервной. Всякий, кто прочтет этот роман внимательно, убедится, что каждая его глава — исследование любопытного психологического казуса. Словом, у меня было одно-

единственное желание: взяв физически сильного мужчину и неудовлетворенную женщину, обнажить в них животное начало, больше того — обратить внимание только на это животное начало, привести эти существа к жестокой драме и тщательно описать их чувства и поступки. Я просто-напросто исследовал два живых тела, подобно тому как хирурги исследуют трупы.

Согласитесь, что по окончании такого труда, когда еще находишься под впечатлением суровых радостей, связанных с поисками истины, очень тяжело слышать упреки в том, будто единственной твоей целью было изображение непристойных картин. Я оказался в положении живописца, который пишет нагую натуру, не испытывая при этом ни малейшего соблазна, и который глубоко изумлен, когда некий критик заявляет, что он возмущен изображенной на картине наготой. Пока я писал «Терезу Ракен», я забыл весь свет, я с головой погрузился в точное, тщательнейшее изображение жизни, всецело отдавшись исследованию человеческого механизма, и уверяю вас, что перипетии жестокой любви Терезы и Лорана не представляли для меня ничего безнравственного, ничего такого, что может поощрить низменные страсти. Человеческое начало моих моделей исчезло для меня так же, как оно исчезает для живописца, когда перед ним лежит обнаженная женщина и когда он по-

мышляет только о том, как бы лучше изобразить ее на холсте, правдиво передав очертания и колорит ее тела. Поэтому я был крайне изумлен, когда услышал, что мое произведение называют лужей грязи и крови, сточной канавой, мерзостью и тому подобным. Я знаком с приемами критики, я сам был критиком; но единодушие нападок, должен признаться, несколько смутило меня. Неужели среди моих собратьев не нашлось ни одного, который если бы и не защитил, то по крайней мере объяснил бы мою книгу. Среди голосов, кричавших: «Автор «Терезы Ракен» — жалкий маньяк, которому доставляют удовольствие порнографические сцены»,— я тщетно надеялся услышать голос, который возразил бы: «Да нет, этот писатель — просто исследователь, который хоть и погрузился в гущу человеческой грязи, но погрузился в нее так, как медик погружается в изучение трупа».

Заметьте, что я отнюдь не требую от прессы сочувствия к произведению, которое, как она утверждает, оскорбительно для ее утонченных чувств. У меня нет столь высоких притязаний. Я только удивляюсь, что мои собратья объявили меня каким-то литературным мусорщиком, причем это сделали люди, которым, казалось бы, достаточно нескольких страниц, чтобы понять намерения писателя, и я ограничиваюсь тем, что скромно прошу их в дальнейшем воспринимать меня только таким, каков я есть, и судить меня только за то, что я собою представляю.

А между тем нетрудно было понять «Терезу Ракен», стать на почву наблюдений и анализа, указать на действительные мои ошибки, вместо того чтобы во имя морали кидать мне в лицо комки грязи. Для этого достаточно было известной понятливости и некоторых общих идей, необходимых для критика. Упрек в безнравственности не доказывает в области науки решительно ничего. Не знаю, безнравствен ли мой роман; признаюсь, я никогда не задавался целью сделать его ни более, ни менее целомудренным. Знаю только, что у меня отнюдь не было намерения наполнить его той мерзостью, какую находят в нем люди добродетельные; что каждую сцену, даже самую острую, я писал, руководствуясь лишь научным интересом; и я бросаю моим судьям вызов — пусть они укажут мне хотя бы одну действительно непристойную страницу, написанную в расчете на читателей тех розовых книжечек, тех рассказов о будуарах и закулисных тайнах, что печатаются в двух тысячах экземпляров и горячо рекламируются теми самыми газетами, у которых правдивость «Терезы Ракен» вызвала тошноту.

Несколько оскорблений, уйма благоглупостей — вот все, что я прочел до сегодняшнего дня о моем произведении. Я говорю это здесь спокойно, как сказал бы другу, который в непринужденной

беседе спросил бы меня о том, что я думаю об отношении ко мне критики. Один очень талантливый писатель в ответ на мою жалобу на то, что я не нахожу сочувствия у критики, мудро ответил мне: «У вас есть существенный недостаток, который закроет перед вами все двери: вы и двух минут не можете поговорить с дураком, не дав ему понять, что он дурак». Вероятно, так оно и есть; я сознаю, что врежу себе, когда обвиняю критику в непонимании, и все же я не могу скрыть презрения, которое вызывает у меня ее узкий кругозор и суждения, высказываемые вслепую, при полном отсутствии какого-либо метода. Я имею в виду, разумеется, критику повседневную, ту, что судит, вооружившись всеми литературными предрассудками глупцов и не умея стать на общечеловеческую точку зрения, какая требуется для понимания человеческого произведения. Никогда еще не наблюдал я подобной неуклюжести. Несколько ударов кулаком, адресованных мне ничтожными критиками в связи с «Терезой Ракен», угодило, как всегда, мимо. Критика бьет обычно невпопад, она восхваляет выверты какой-нибудь нарумяненной актрисы и тут же вопит о безнравственности в связи с физиологическим исследованием, ничего в нем не поняв и не желая понимать, и бьет напропалую, едва только ее трусливая глупость подскажет ей, что надо бить. Досадно оказаться наказанным за проступок, в котором ты не виноват. Временами я жалею, что не написал непристойностей; мне кажется, я был бы рад заслуженной взбучке, если бы она обрушилась на меня вместе с тем градом ударов, которые, как черепицы с крыши, бессмысленно сыплются на мою голову неведомо за что.

В наше время найдется всего-навсего два-три человека, которые могут прочесть книгу, понять ее и вынести о ней суждение. Я охотно выслушаю их замечания, ибо убежден, что они не станут высказываться, не вникнув в мои намерения и не оценив плодов моих стараний. Они не стали бы произносить пустопорожних громких слов о морали и литературном целомудрии; они признали бы за мною право выбирать,— в наше время, когда искусство свободно,— те сюжеты, которые мне по душе, и стали бы требовать от меня лишь добросовестности, зная, что достоинству словесности вредит только глупость. И, конечно, их не удивил бы научный анализ, который я пытался применить в «Терезе Ракен»; они увидели бы в нем современный метод, орудие всестороннего познания, которым наш век так настойчиво пользуется для того, чтобы проникнуть в будущее. Каковы бы ни были их окончательные выводы, они нашли бы вполне допустимой мою отправную точку — изучение темперамента и глубоких изменений в человеческом организме под влиянием среды и обстоятельств. Тогда я оказался бы перед лицом истинных судей, людей, которые добросовестно, без ребячества и

ложного стыда добиваются истины и не считают себя обязанными выказывать отвращение при виде живых обнаженных тел, служащих предметом исследования. Искреннее изучение, как огонь, очищает все. Конечно, перед лицом судилища, о котором я сейчас мечтаю, мое произведение окажется весьма посредственным; я просил бы этих критиков отнестись к нему с беспощадной строгостью, мне хотелось бы, чтобы оно вышло из их рук испещренным пометками и помарками. Тогда я по крайней мере испытал бы глубокую радость от сознания, что меня критикуют именно за то, что я пытался сделать, а не за то, чего я не делал.

Мне чудится, будто я уже теперь слышу приговор этой истинной критики, критики методической и натуралистической, которая обновила науку, историю и литературу: «Тереза Ракен» — исследование случая чересчур исключительного; драма современной жизни проще, в ней меньше ужасов и безумия. Такие явления не должны стоять на первом плане в книге. Желание ничего не упустить из своих наблюдений привело автора к тому, что он подчеркивает любую деталь, а это придало произведению в целом еще большую напряженность и остроту. С другой стороны, его стилю недостает той простоты, какой требует аналитический роман. Следовательно, чтобы написать хороший роман, писателю теперь следовало бы наблюдать общество с более обширной точки зрения, описывать его в более многочисленных и разнообразных аспектах, а главное — пользоваться языком ясным и естественным».

Я намеревался в нескольких строках ответить на нападки, возмущающие своей наивной недобросовестностью, а между тем замечаю, что пускаюсь в рассуждения с самим собою, как это случается со мною всегда, когда я слишком долго держу в руках перо. Я умолкаю, зная, что читатели не любят этого. Если бы у меня хватило воли и досуга написать манифест, я, пожалуй, попытался бы защитить то, что один журналист, говоря о «Терезе Ракен», назвал «гнилой литературой». Впрочем, к чему защищать? У группы писателей-натуралистов, к которой я имею честь принадлежать, достанет мужества и энергии, чтобы создать крепкие произведения, в самих себе несущие свою защиту. Только предвзятость и ослепление определенного рода критики может вынудить романиста написать предисловие. Раз уж из любви к ясности я совершил ошибку — написал предисловие, то прошу за это прощения у умных людей, которые хорошо видят и не нуждаются в том, чтобы среди бела дня для них зажигали фонарь.

Эмиль Золя

I

В конце улицы Генего, если идти от набережной, находится пассаж Пон-Неф — своего рода узкий, темный проход между улицами Мазарини и Сенской. Длина пассажа самое большее шагов тридцать, ширина — два шага; он вымощен желтоватыми, истертыми, разъехавшимися плитами, вечно покрытыми липкой сыростью; стеклянная его крыша, срезанная под прямым углом, совсем почернела от грязи.

В погожие летние дни, когда неумолимое солнце накаливает улицы, сюда проникает через свод грязной стеклянной крыши какой-то белесый свет, скупо разливающийся по проходу. А в ненастные зимние дни, туманными утрами, с крыши спускается на скользкие плиты густой мрак,— мрак беспросветный и гнусный.

На левой стороне пассажа ютятся сумрачные, низенькие, придавленные лавочки, из которых, как из погреба, несет сыростью. Здесь расположились букинисты, продавцы игрушек, картонажники; выставленные вещи, посеревшие от пыли, вяло дремлют в сумраке; витрины, составленные из мелких стеклышек, отбрасывают на товары расплывчатые зеленоватые отсветы; за витринами еле видны темные лавочки — какие-то мрачные каморки, в которых движутся причудливые тени.

Справа по всей длине пассажа тянется стена, на которой лавочники пристроили узкие шкафчики: здесь на тонких полочках, выкрашенных в отвратительный коричневый цвет, лежат какие-то невообразимые товары, выставленные лет двадцать тому назад. В одном из шкафов разместила свой товар торговка фальшивыми драгоценностями; она продает колечки по пятнадцать су, которые заботливо разложила на голубом бархатном щитке в ларце из красного дерева.

«Тереза Ракен».

Над витринами высится стена — черная, кое-как оштукатуренная, словно покрытая проказой и вся исполосованная рубцами.

Пассаж Пон-Неф не место для прогулок. Им пользуются, только чтобы сократить дорогу, чтобы выгадать несколько минут. Тут проходят люди занятые, которым важно поскорее добраться до места. Здесь видишь подмастерьев в рабочем фартуке, мастериц с их изделиями, мужчин и женщин со свертками под мышкой; здесь видишь стариков, которые бредут в унылом сумраке, льющемся со стеклянной крыши, и ватагу ребятишек, только что вырвавшихся из школы,— они пользуются случаем пошуметь и изо всех сил топают деревянными башмачками по каменным плитам. Весь день тут не умолкает дробное постукивание торопливых шагов, и эти звуки раздражают своей беспорядочностью; никто здесь не останавливается, никто не беседует; каждый бежит по своим делам, понурив голову, торопится и даже не бросит взгляда на лавочки. Торговцы с недоумением взирают на прохожего, который чудом задержится перед их витриной.

По вечерам пассаж освещается тремя газовыми рожками, вставленными в массивные квадратные фонари. Фонари эти, подвешенные к стеклянной крыше, бросают на нее светлые рыжеватые блики и излучают круги бледного трепещущего света, готового вот-вот померкнуть. Тогда зловещий пассаж уж совсем кажется каким-то логовом; по каменным плитам стелются длинные тени, с улицы долетают порывы сырого ветра; здесь чувствуешь себя словно в узком подземелье. Торговцы вынуждены довольствоваться слабыми отблесками фонарей, падающими на их витрины; только в лавках хозяева зажигают лампы с абажурами — они ставят их на конторку,— и тогда прохожие могут различить, что делается в этих каморках, где и средь бела дня царит ночь. В темном ряду витрин выделяется ярко освещенное окно картонажного мастера: две лампы с рефлекторами прорывают мрак желтыми язычками пламени. А по соседству свеча, воткнутая в резервуар старой лампы, зажигает яркие звездочки в ларчике с фальшивыми драгоценностями. Торговка дремлет, прикорнув в уголке своей будочки, запрятав руки под шаль.

Несколько лет назад против этой торговки находилась лавочка, сколоченная из досок и выкрашенная в бутылочно-зеленый цвет, причем из всех ее щелей просачивалась сырость. На вывеске — длинной узкой доске — черными буквами было выведено: «Галантерея», а на стеклянной двери красными буквами значилось имя: «Тереза Ракен». Справа и слева от двери виднелись глубокие витрины, выложенные синей бумагой.

Днем, в неясном полусвете, взгляд мог различить только витрину.

С одной ее стороны было выставлено немного белья: плоеные тюлевые чепцы по два и три франка, муслиновые манжеты и воротнички, фуфайки, чулки, носки, помочи. Все эти вещи, пожелтевшие и мятые, уныло висели на железных крюках. И так вся витрина, снизу доверху, была заполнена выцветшими тряпками, принимавшими в прозрачных сумерках какой-то зловещий облик. Новые чепцы, выделяясь более яркой белизной, выступали резкими пятнами на синей бумаге, устилавшей доски. А развешенные на железном пруте цветные носки создавали темные блики на расплывчатой, белесой мути муслина.

На другой стороне, в более узкой витрине, громоздились большие клубки зеленой шерсти, черные пуговицы, нашитые на белый картон, коробки всевозможных цветов и размеров, бисерные сетки для волос, натянутые на синеватые бумажные круги, связки вязальных крючков, образцы вышивок, мотки лент, целые горы каких-то выцветших, тусклых предметов, покоившихся здесь по крайней мере пять-шесть лет. На этих полках, пропыленных и сгнивших от сырости, все некогда яркие цвета превращались в один, грязно-серый.

Летом, около полудня, когда солнце заливало площади и улицы жгучими рыжеватыми лучами, за чепчиками, выставленными в витрине, можно было разглядеть бледное и строгое лицо молодой женщины. Это лицо смутно выступало из потемок, царивших в лавке. Под низким гладким лбом вырисовывался длинный, прямой, тонкий нос; губы представляли собой две узкие бледно-розовые полоски, а подбородок, короткий и энергический, соединялся с шеей гибкой, мягкой линией. Туловища не было видно — оно терялось в сумраке; виднелся только профиль — матово-бледный, с черным широко открытым глазом, как бы придавленный густой темной шевелюрой. Он вырисовывался здесь часами, неподвижный и тихий, между двумя чепцами с рыжими полосками, проступившими от ржавого железного прута.

По вечерам, когда горела лампа, можно было рассмотреть и внутренность лавки. Она была широкая, но неглубокая; в одном ее конце стояла конторка, на другом виднелась винтовая лестница, которая вела в комнаты второго этажа. Вдоль стен тянулись витрины, шкафы, стопки зеленых картонок; обстановка состояла из четырех стульев и стола. Помещение казалось пустынным, холодным; товары были запакованы и сложены по углам, а не лежали на виду, радуя яркими красками.

За конторкой обычно сидели две женщины: молодая с серьезным лицом и пожилая, улыбавшаяся сквозь дремоту. Последней было лет шестьдесят; ее жирное, неподвижное лицо, освещенное

лампой, выделялось белым пятном. Толстый полосатый кот, примостясь на конторке, наблюдал, как она спит.

Подальше на стуле сидел мужчина лет тридцати и то читал, то вполголоса разговаривал с молодой женщиной. Он был маленький, хилый, на вид болезненный; русые тусклые волосы, редкая бородка, лицо в веснушках — все в нем изобличало больного и избалованного сынка.

Незадолго до десяти пожилая женщина просыпалась. Закрывали лавку, и все семейство переходило наверх, спать. Полосатый кот плелся за хозяевами, мурлыча и почесывая голову о каждый столбик перил.

Наверху помещалась квартира из трех комнат. Лестница вела прямо в столовую, которая служила также и гостиной. Слева, в нише, виднелась фаянсовая печь, против нее — буфет; вдоль стен стояли стулья, а посреди комнаты круглый раздвинутый стол. В глубине, за застекленной перегородкой, находилась темная кухня. По сторонам от столовой были расположены две спальни.

Пожилая женщина, пожелав сыну и невестке спокойной ночи, уходила к себе. Кот засыпал на стуле в кухне. Супруги отправлялись в спальню. В этой комнате имелась вторая дверь — на лестницу, по которой можно было спуститься в темный узкий коридор, выходивший в пассаж.

Муж, которого постоянно знобило, укладывался в постель; тем временем молодая женщина отворяла окно, чтобы закрыть ставни. Она задерживалась здесь на несколько мгновений перед высокой, черной, грубо оштукатуренной стеной, которая уходила ввысь и ширилась над пассажем. Она рассеянно скользила взглядом по стене, затем тоже ложилась — молча, с пренебрежительным безразличием.

II

Прежде г-жа Ракен торговала галантереей в Верноне. Четверть века прожила она там в маленькой лавочке. Несколько лет спустя после смерти мужа она почувствовала усталость и ликвидировала дело. Благодаря сбережениям, к которым прибавились деньги, вырученные от продажи лавки, она стала обладательницей капитала в сорок тысяч франков; она поместила его в банк и получала две тысячи ренты. Этой суммы ей хватало. Она вела жизнь отшельницы, не ведая ни тревог, ни радостей, потрясающих мир; она обеспечила себе существование тихое и невозмутимо-счастливое.

Она снимала за четыреста франков домик с садиком, который спускался к самому берегу Сены. Это было уединенное, укромное жилище, от которого веяло чем-то монастырским; к домику, стояв-

шему среди обширных пастбищ, вела узкая тропинка; окна его выходили на реку и на пустынные холмы на другом берегу. Почтенная женщина, которой к тому времени уже перевалило за пятьдесят, замкнулась в этом убежище и вкушала здесь радость безмятежной жизни в обществе сына — Камилла и племянницы — Терезы.

Камиллу тогда было двадцать лет. Мать еще баловала его как ребенка. Она обожала сына, потому что ей пришлось долгие годы отвоевывать его у смерти. Мальчик переболел одной за другой всеми болезнями, какие только можно вообразить. Г-жа Ракен пятнадцать лет боролась со страшными недугами, которые являлись один за другим, чтобы отнять у нее сына. Она все их одолела благодаря своему терпению, заботливости, любви.

Спасенный от смерти, подросший Камилл все еще чувствовал последствия тех постоянных опасностей, которым подверглось его здоровье. Рост его задержался, и он остался маленьким и тщедушным. Его хилые руки и ноги двигались медленно, вяло. Мать еще больше любила его из-за слабости, которая постоянно угнетала его. Она с торжествующей нежностью взирала на его бледное лицо и думала при этом, что даровала ему жизнь больше десяти раз.

Во время редких передышек, которые давала ему болезнь, он занимался в Вернонской коммерческой школе. Здесь он научился письму и счету. Вся наука ограничилась для него четырьмя правилами арифметики и поверхностными сведениями по грамматике. Позже он брал еще уроки чистописания и счетоводства. Г-жа Ракен приходила в ужас, когда ей советовали отдать сына в коллеж, она знала, что вдали от нее он умрет, и уверяла, что книги убьют его. Камилл оставался невеждой, и это невежество делало его еще слабосильнее.

В восемнадцать лет, ничем не занятый и смертельно скучающий в атмосфере нежности, которою его окружала мать, он поступил в качестве приказчика к торговцу полотном. Он получал шестьдесят франков в месяц. У него был беспокойный нрав, и он не переносил безделья. Он чувствовал себя гораздо лучше, когда был занят одуряющей работой, когда просиживал целыми днями над огромными накладными и счетами, каждую цифру которых ему приходилось терпеливо учитывать. Вечером, разбитый, с опустошенной головой, он упивался своим отупением. Чтобы поступить к торговцу полотном, ему пришлось поссориться с матерью; ей хотелось бы всегда держать его при себе, уложенным в постель, вдали от житейских волнений. Молодой человек заговорил решительно; он требовал работы, как другие дети требуют игрушек,— не из чувства долга, а инстинктивно, по врожденной потребности. Постоянная нежность, преданность матери сделали его лютым эго-

истом; он воображал, что любит тех, кто жалеет и ласкает его; в действительности же он жил замкнутой жизнью, в своем собственном мире и любил только свое благополучие, старался любыми средствами умножить свои радости. Когда умильная привязанность матери ему прискучила, он с наслаждением бросился в бессмысленную работу, которая избавляла его от микстур и отваров. Вечерами, возвратясь из конторы, он отправлялся с кузиной Терезой на берег Сены.

Терезе шел восемнадцатый год. Однажды,— семнадцать лет тому назад, когда г-жа Ракен еще держала галантерейную торговлю,— ее брат, капитан Деган, явился к ней с маленькой девочкой на руках. Он прибыл из Алжира.

— Вот ребенок, которому ты доводишься теткой,— сказал он улыбаясь.— Мать его умерла... Не знаю, куда его девать. Дарю его тебе.

Торговка взяла ребенка, улыбнулась ему, поцеловала в розовые щечки. Деган прожил в Верноне неделю. Сестра почти ничего не спросила у него относительно девочки, которую он ей вручил. Она узнала только, что милая крошка родилась в Оране и что ее мать была туземкой, женщиной редкостной красоты. За час до отъезда капитан передал сестре метрику, в которой Тереза, признанная им за родную дочь, значилась под его фамилией. Он уехал, и с тех пор его больше не видали: несколько лет спустя он был убит в Африке.

Тереза росла, окруженная нежной заботливостью тетки; спала она в одной постельке с Камиллом. Здоровье у нее было железное, но ухаживали за ней как за слабеньким ребенком, держали в жаркой комнате, где помещался маленький больной, и ей приходилось принимать все микстуры, которыми пичкали Камилла. Она часами сидела на корточках перед камином и в задумчивости, не моргая, глядела на пламя. Вынужденная жить жизнью больного, она замкнулась в самой себе, приучилась говорить вполголоса, передвигаться бесшумно, сидеть на стуле, молча и неподвижно, широко раскрыв глаза и ничего не видя. Но когда она поднимала руку, когда ступала ногой, в ней чувствовалась кошачья гибкость, подтянутые, могучие мускулы, нетронутая сила, нетронутая страсть, дремлющие в скованном теле. Однажды ее брат упал от внезапного приступа слабости; она резким движением подняла и перенесла его, и от этого усилия, давнего выход дремлющей в ней энергии, лицо у нее залилось густым румянцем. Ни затворническая жизнь, которую она вела, ни вредный режим, которому ей приходилось подчиняться, не смогли ослабить ее худого, но крепкого тела; только лицо ее приобрело бледный, желтоватый оттенок, и в тени она казалась почти что дурнушкой. Иной раз она подходила к

окну и заглядывалась на дома на другой стороне улицы, застланные золотой солнечной пеленой.

Когда г-жа Ракен продала магазин и удалилась в домик у реки, в жизни Терезы появились минуты затаенной радости. Тетя так часто твердила ей: «Не шуми,— сиди тихо», что все врожденные свои порывы она тщательно схоронила в глубине души. Она в высшей степени обладала хладнокровием, внешней невозмутимостью, но под ними таилась страшная горячность. Ей всегда казалось, что она в комнате кузена, возле больного ребенка; движения ее были размеренны, она большей частью молчала, была притихшей, а если говорила что-нибудь, то невнятно, по-старушечьи. Когда она впервые увидела сад, белую реку, привольные холмы, уходящие к горизонту, ею овладело дикое желание бегать и кричать; сердце бурно билось в ее груди; но на лице ее не дрогнул ни единый мускул, и на вопрос тети, нравится ли ей новое жилище, она ответила только улыбкой.

Теперь жить ей стало лучше. Она была все так же податлива, сохранила все то же спокойное, безразличное выражение лица, она по-прежнему была ребенком, выросшим в постели больного; но внутренне она зажила безудержной, буйной жизнью. Оставшись одна, в траве, на берегу реки, она, как животное, ложилась ничком на землю, широко раскрыв потемневшие глаза, извиваясь и словно готовясь к прыжку. И так она лежала часами, ни о чем не думая, отдавшись палящему солнцу и радуясь, что может перебирать руками землю. Ее обуревали безумные мечты; она с вызовом смотрела на бурлящую реку, она представляла себе, что вода вот-вот бросится, нападет на нее; тут она напрягала все силы, готовилась к защите и в гневе обдумывала, как ей одолеть стихию.

А вечером Тереза, умиротворенная и молчаливая, занималась шитьем, сидя возле тети; под мягким светом, лившимся из-под абажура, ее лицо казалось лицом спящей. Камилл, развалившись в кресле, думал о своих накладных. Безмятежность сонной комнаты только изредка нарушалась какой-нибудь фразой, произнесенной вполголоса.

Госпожа Ракен взирала на детей с небесной добротой. Она решила их поженить. С сыном она по-прежнему обращалась как с умирающим; она содрогалась при мысли, что может умереть, оставив его одиноким и больным. Но тут она возлагала все надежды на Терезу; она утешала себя тем, что девушка будет служить ему заботливой сиделкой. Племянница с ее спокойствием и молчаливой услужливостью внушала ей безграничное доверие. Она наблюдала за Терезой в трудных обстоятельствах и хотела приставить ее к сыну как ангела-хранителя. Этот брак был заранее предвиденным, окончательным решением всех вопросов.

Дети давно знали, что со временем должны пожениться. Они выросли с этой мыслью, и она казалась им простой и естественной. В семье говорили об этом союзе как о чем-то необходимом, неизбежном. Г-жа Ракен решила: «Мы подождем, когда Терезе исполнится двадцать один год». И они ждали — терпеливо, равнодушно, без смущения. Жгучие юношеские желания Камиллу были неведомы. По отношению к кузине он все еще оставался мальчиком, он целовал ее, как целовал мать,— по привычке, и это ничуть не нарушало его эгоистического покоя. Он видел в ней ласковую подругу,— с ней было не так скучно, а при надобности она же и отвар ему приготовит. Когда он играл с нею, когда держал ее в руках, ему казалось, что это мальчик,— его плоть молчала. И ни разу ему не пришла в голову мысль поцеловать горячие губы Терезы, когда она отбивалась от него, заливаясь нервным смешком.

И девушка, казалось, тоже оставалась холодной и безразличной. Иной раз она останавливала на нем взгляд, и ее большие глаза несколько мгновений пристально разглядывали его с какой-то царственной невозмутимостью. И только губы ее тогда чуть-чуть вздрагивали. Ничего нельзя было прочесть на этом немом лице, которому непреклонная воля всегда придавала ласковое и внимательное выражение. Когда заходила речь о ее замужестве, Тереза становилась серьезной и лишь легкими кивками одобряла слова г-жи Ракен. А Камилл и вовсе засыпал.

Летними вечерами подростки убегали к реке. Камилла раздражали назойливые заботы матери; у него бывали бунтарские вспышки, ему хотелось бегать, пусть даже заболеть, лишь бы избежать нежностей, от которых его тошнило. Он увлекал за собой Терезу, затевал с нею борьбу, звал ее валяться в траве. Однажды он толкнул кузину так, что она упала. Девушка мигом, словно дикий зверь, вскочила на ноги и с пылающим лицом, с глазами, налившимися кровью, кинулась на него с поднятыми кверху руками. Камилл, не защищаясь, дал повалить себя. Он испугался.

Прошли месяцы, годы. Наступил день свадьбы. Г-жа Ракен уединилась с Терезой, рассказала ей об ее родителях, рассказала историю ее рождения. Девушка выслушала тетю, потом, ни слова не сказав, поцеловала ее.

Вечером Тереза, вместо того чтобы войти в свою комнату слева от лестницы, вошла в спальню кузена, расположенную справа. Этим и ограничились изменения, происшедшие в ее жизни в тот день. Наутро, когда молодожены спустились вниз, Камилл был все так же болезненно-вял и так же эгоистически невозмутим, а Тереза была по-прежнему ласково-безразлична, и лицо ее — по-прежнему непроницаемо и до жути спокойно.

III

Через неделю после свадьбы Камилл решительно заявил матери, что намерен уехать из Вернона и обосноваться в Париже. Г-жа Ракен запротестовала: жизнь ее была налажена, она не хотела никаких перемен. С Камиллом сделался нервный припадок, он пригрозил матери, что расхворается, если она не исполнит его прихоти.

— Я ведь никогда ни в чем не перечил тебе,— сказал он,— я женился на кузине, я принимал все лекарства, которыми ты пичкала меня. Так могу же я наконец выразить какое-то желание и надеяться, что ты уступишь мне... В конце месяца мы уедем.

Госпожа Ракен не спала всю ночь. Решение Камилла перевертывало привычное существование вверх дном, и она в отчаянии обдумывала, как устроить жизнь заново. Но мало-помалу она успокоилась. Она говорила себе, что у молодых могут появиться дети, и тогда ее маленького капитала будет недостаточно. Придется зарабатывать деньги, снова открыть торговлю, подыскать выгодное занятие Терезе. На другой день она уже свыклась с мыслью об отъезде, уже наметила план новой жизни.

За завтраком она была даже весела.

— Вот как мы поступим,— сказала она детям.— Завтра я отправлюсь в Париж; я присмотрю там какой-нибудь небольшой галантерейный магазин, и мы с Терезой опять станем торговать нитками и иголками. Мы будем при деле. А ты, Камилл, делай что тебе вздумается: хочешь — гуляй на солнышке, хочешь — поступи на службу.

— Я поступлю на службу,— ответил молодой человек.

По правде говоря, мысль о переселении возникла у Камилла только под влиянием неленого тщеславия. Ему хотелось стать чиновником какого-нибудь крупного учреждения; когда он в мечтах представлял себя в большой конторе, с пером за ухом, с люстриновыми нарукавниками,— лицо его заливалось радостным румянцем.

С Терезой не стали советоваться: она всегда была так безвольно-послушна, что тетя и муж не находили нужным спрашивать ее мнения. Она шла, куда они шли, делала то, что делали они,— без единой жалобы, без единого упрека, казалось, даже не сознавая, что переезжает на другое место.

Госпожа Ракеп приехала в Париж и сразу же пошла в пассаж Пон-Неф. Ее вернонская знакомая, некая старая дева, направила ее сюда к своей родственнице, владелице галантерейного магазина,

от которого она хотела избавиться. Лавочка показалась старой торговке несколько тесной и мрачноватой; но, проезжая по Парижу, она была напугана уличным шумом, роскошью витрин, узкий же пассаж, его скромные витрины напомнили ей ее прежнюю лавку, в которой все дышало покоем. Здесь ей показалось, будто она еще в провинции; она с облегчением вздохнула, решив, что в этом укромном уголке ее дорогие дети будут счастливы. Умеренная цена предприятия развеяла последние сомнения: за него просили две тысячи франков. Арендная плата за лавку и за квартиру над ней составляла всего лишь тысячу двести франков. Г-жа Ракен, которой удалось сберечь около четырех тысяч из своей ренты, рассчитала, что сможет расплатиться за магазин и внести арендную плату за год, не трогая основного капитала. На повседневные расходы, думала она, хватит жалованья Камилла и прибыли от торговли; следовательно, ренту тратить уже не придется, и капитал станет расти для будущих внуков.

В Вернон она вернулась сияющая; она объявила, что отыскала жемчужину, восхитительный уголок, в самом центре Парижа. Мало-помалу, в вечерних беседах, убогая темная лавочка превратилась в дворец; несколько дней спустя она уже представлялась г-же Ракен, сквозь дымку воспоминаний, удобным, просторным, спокойным магазином, обладающим тысячью неоценимых достоинств.

— Ах, милая моя Тереза,— говорила она,— вот увидишь, как мы с тобой будем счастливы в этом уголке! Наверху три прекрасные комнаты. В пассаже множество народу... Мы будем устраивать прелестные выставки... Помяни мое слово — скучать не придется.

И она болтала без умолку. В ней проснулась старая лавочница; она заранее давала Терезе советы насчет продажи, насчет закупок, насчет разных плутней мелочной торговли. Наконец семья покинула домик на берегу Сены; вечером того же дня она водворилась в пассаже Пон-Неф.

Когда Тереза в первый раз вошла в лавку, где ей отныне предстояло проводить дни, ей показалось, будто она спускается в сырую могилу. Тошнотворное ощущение подступило ей к горлу, тело содрогалось от ужаса. Она взглянула на грязную, сырую галерею, зашла в магазин, поднялась на второй этаж, обошла все помещение; от голых комнат, без мебели, веяло ужасом одиночества и запустения. У молодой женщины не вырвалось ни единого жеста, не нашлось ни единого слова. Она как бы оледенела. Тетя и муж спустились вниз, а она села на чемодан, опустила руки и даже не в силах была заплакать, хотя в груди ее клокотали рыданья.

Оказавшись лицом к лицу с действительностью, г-жа Ракен почувствовала себя неловко; ей было стыдно, что она так размечталась. Она всячески старалась оправдать покупку. Она сразу же придумывала, как исправить тот или иной недостаток; темноту в квартире она объясняла тем, что погода пасмурная, и в заключение уверяла, что стóит только слегка подмести помещение — и все будет в порядке.

— Ничего! — отвечал Камилл.— Все это вполне прилично... К тому же наверху мы будем только по вечерам. Что касается меня — я буду возвращаться не раньше пяти-шести часов... А вы будете вместе, скучать вам не придется.

Молодой человек ни за что не согласился бы жить в такой конуре, если бы не рассчитывал на сладостное пребывание в конторе. Он говорил себе, что на службе ему весь день будет тепло, а придя домой, он будет сразу же ложиться спать.

Целую неделю в лавке и в квартире царил беспорядок. Тереза с первого же дня уселась за конторку и уже не сходила с места. Ее удрученное состояние очень удивляло г-жу Ракен; она рассчитывала, что молодая женщина постарается приукрасить свою квартиру, поставит на окна цветы, попросит, чтобы комнаты заново оклеили, чтобы купили гардины, ковры. Когда г-жа Ракен предлагала что-нибудь переделать, улучшить, племянница спокойно отвечала:

— Зачем? Нам и так хорошо, роскошь нам ни к чему.

Госпоже Ракен пришлось самой обставить комнаты и навести порядок в лавке. Видя, что тетка с утра до ночи вертится у нее перед глазами, Тереза в конце концов стала выходить из терпения; она наняла прислугу и заставила тетю сидеть возле себя.

Больше месяца Камиллу не удавалось найти службу. Он как можно меньше бывал в лавке и с утра до ночи слонялся без дела. Это ему до такой степени наскучило, что он даже заикнулся, не вернуться ли в Вернон. Наконец ему досталась должность в управлении Орлеанской железной дороги, с окладом в сто франков в месяц. Мечта его осуществилась.

Он отправлялся из дому в восемь часов утра. Он шел по улице Генего и выходил на набережную. Затем, от Академии до Ботанического сада, он шагал, заложив руки в карманы, вдоль Сены. Этот долгий путь, который он совершал дважды в день, никогда не надоедал ему. Он наблюдал, как течет вода, останавливался, чтобы посмотреть, как вниз по течению тянутся баржи, груженные лесом. Он ни о чем не думал. Нередко он задерживался перед собором Парижской Богоматери, который тогда ремонтировался, и рассматривал громоздившиеся вокруг него леса; эти громадные леса почему-то очень занимали его. Потом он мимоходом загляды-

вал на Винную пристань, пересчитывал извозчиков, ехавших от вокзала. Вечером, усталый, занятый какой-нибудь нелепой историей, которую рассказывали в управлении, он шел по Ботаническому саду и, если не особенно спешил, останавливался возле медведей. Он проводил здесь с полчаса, склонившись над ямой и наблюдая за медведями, которые передвигались, грузно покачиваясь; повадки этих неуклюжих животных нравились ему; он разглядывал их, приоткрыв рот, вытаращив глаза, и, как дурак, радовался и потешался их движениям. Наконец он решал, что пора домой, и отправлялся в путь, волоча ноги и разглядывая прохожих, экипажи, витрины.

Дома он сразу же обедал, потом принимался за чтение. Он купил сочинения Бюффона и каждый вечер задавал себе урок: прочесть двадцать — тридцать страниц, несмотря на страшную скуку, которую наводило на него это занятие. Он читал также, в грошовых выпусках, «Историю Консульства и Империи» Тьера, «Историю жирондистов» Ламартина или какую-нибудь научно-популярную книгу. Он воображал, что занимается самообразованием. Иной раз он заставлял жену прослушать несколько страничек, кое-какие забавные истории, которые он читал ей вслух. Он очень удивлялся, что Тереза может просидеть целый вечер, задумавшись, молча, не испытывая желания взяться за книгу. В глубине души он считал, что жена его глуповата.

Тереза с раздражением отстраняла от себя книги. Она предпочитала сидеть без дела, устремив взгляд в одну точку, погрузившись в какие-то туманные, зыбкие мысли. Характер ее, впрочем, оставался по-прежнему ровным и покладистым; вся ее воля была направлена на то, чтобы стать существом пассивным, сговорчивым, готовым на крайнее самоотречение.

Торговля шла понемногу. Доход каждый месяц был один и тот же. Клиентуру составляли местные работницы. Каждые минут пять в лавку входила какая-нибудь девушка и покупала товара на несколько су. С покупательницами Тереза была всегда любезна; когда она занималась с ними, на лице ее появлялась заученная улыбка. Г-жа Ракен была искуснее, разговорчивее, и, по правде сказать, именно она привлекала и удерживала клиентуру.

В течение трех лет дни сменялись, похожие один на другой. Камилл ни разу не выходил днем из своей конторы; его мать и жена почти не отлучались из лавки. Живя в промозглом сумраке, в унылой, давящей тишине, Тереза наблюдала, как стелется перед нею ее бессмысленная жизнь, готовя ей каждый вечер все то же холодное ложе и каждое утро — все тот же никчемный день.

IV

Раз в неделю, по четвергам вечером, семейство Ракенов принимало гостей. В столовой зажигали большую лампу, на плите кипятили воду для чая. Это было целым событием. Такие вечера сильно отличались от обычных; они вошли в обиход семьи как некие мещанские оргии, преисполненные безудержного веселья. В такие вечера ложились спать в одиннадцать часов.

Госпожа Ракен разыскала в Париже одного из своих прежних знакомых, полицейского комиссара Мишо, который прослужил двадцать лет в Верноне и был там ее соседом по квартире. Тогда между ними завязалась тесная дружба; позже, когда вдова продала дело и переселилась в домик у реки, они совсем потеряли друг друга из виду. Несколько месяцев спустя Мишо уехал из провинции и обосновался в Париже, на Сенской улице, где мирно проедал положенную ему пенсию в полторы тысячи франков. Однажды в дождливый день он встретил свою старую приятельницу в пассаже Пон-Неф; в тот же вечер он обедал у Ракенов.

Так начались приемы по четвергам. У бывшего полицейского комиссара вошло в привычку неуклонно приходить к ним раз в неделю. Потом он привел с собою тридцатилетнего сына Оливье, высокого, поджарого и худого, женатого на крошечной, болезненной и медлительной женщине. Оливье служил в полицейском управлении, зарабатывая три тысячи франков, что вызывало у Камилла жгучую зависть; он был старшим чиновником сыскного отделения. Тереза с первого же раза возненавидела этого чопорного, холодного человека, который считал, что оказывает великую честь лавочке, являя тут свою долговязую тощую особу и жалкую худосочную жену.

Камилл ввел еще одного гостя — старого служащего управления Орлеанской дороги. Гриве прослужил уже двадцать лет; он был старшим чиновником и получал две тысячи сто франков. В его обязанности входило распределять работу между сотрудниками того отделения, где состоял Камилл, и последний относился к нему с известным уважением. В мечтах Камиллу рисовалось, что в один прекрасный день, лет через десять, Гриве умрет и он, может статься, займет его место. Старик был в восторге от приема, оказанного ему г-жой Ракен, и стал с отменной точностью являться каждый четверг. Через полгода этот визит стал для него уже долгом: он шел в пассаж Пон-Неф так же, как каждое утро направлялся в контору,— машинально, подчиняясь некоему животному инстинкту.

В таком составе собрания стали очаровательны. В семь часов

г-жа Ракен затапливала камин, переносила лампу на середину стола, возле нее клала домино и перетирала чайный сервиз, красовавшийся на буфете. Ровно в восемь старики Мишо и Гриве сходились возле магазина, ибо один шел со стороны Сенской улицы, а другой — от улицы Мазарини. Они входили в лавку и вместе с хозяевами поднимались на второй этаж. Все усаживались за стол и поджидали Оливье Мишо с женой, которые постоянно запаздывали. Когда все оказывались в сборе, г-жа Ракен разливала чай, Камилл высыпал на клеенку домино, и все погружались в игру. Слышно было только постукивание костяшек. После каждой партии игроки минуты две-три ссорились, затем споры умолкали, и воцарившуюся унылую тишину нарушало только сухое постукивание костяшек.

Тереза играла так равнодушно, что это бесило Камилла. Она брала на колени жирного полосатого кота Франсуа, привезенного г-жой Ракен из Вернона, одной рукой ласкала его, а другою ставила косточки. Четверги были для нее истинной пыткой; нередко она ссылалась на недомогание, на сильную мигрень — лишь бы не играть, а сидеть без дела, в полусне. Облокотившись о стол, подперев щеку рукой, она взирала на тетиных и мужниных гостей, и они виделись ей сквозь желтую дымку коптящей лампы. Вид окружающих приводил ее в отчаяние. Она переводила взгляд с одного лица на другое с глубоким отвращением, с глухой ненавистью. У старика Мишо была бледная физиономия, испещренная красными пятнами,— безжизненная физиономия старца, впавшего в детство; у Гриве лицо было узкое, с круглыми, как у кретина, глазами и тонкими губами; Оливье, на невыразительном лице которого резко выступали скулы, важно нес малоподвижную голову, венчавшую неуклюжее туловище, а у Сюзанны, его жены, было очень бледное, дряблое лицо с бескровными губами и растерянный взгляд. И Тереза не находила ни одного человека, ни одного живого создания среди причудливых и зловещих существ, в обществе которых ее удерживала непреодолимая сила; порою у нее начинались галлюцинации — ей казалось, будто ее бросили в какой-то склеп вместе с трупами, которые шевелят головой и двигают ногами и руками, когда их потянут за веревочку. Она задыхалась в спертом воздухе столовой; трепетная тишина, желтые отсветы лампы наводили на нее какой-то смутный ужас, необъяснимую тоску.

У двери, в лавке, повесили колокольчик, и его резкое позвякивание возвещало о появлении покупательниц. Тереза прислушивалась; когда раздавался звон, она спешила вниз, довольная тем, что может уйти из столовой. Она не торопясь отпускала товар. После ухода покупательницы она садилась за конторку и сидела там как можно дольше, боясь вновь подняться наверх; она наслаждалась

тем, что не видит перед собой Гриве и Оливье. Сырой воздух лавки умерял жар в ее пылающих руках. И она вновь впадала в свою обычную мрачную мечтательность.

Но долго так сидеть она не могла. Камилл бывал недоволен ее отсутствием; он не понимал, как можно в четверг предпочесть лавку столовой. Перегнувшись через перила лестницы, он взглядом искал жену.

— Ну что же ты? — кричал он.— Что ты там делаешь? Почему не возвращаешься?.. Гриве чертовски везет. Он опять выиграл.

Молодая женщина с трудом поднималась с места и снова усаживалась напротив старика Мишо, на отвислых губах которого блуждала отвратительная улыбка. И так до одиннадцати часов Тереза неподвижно сидела на стуле, поглядывая на Франсуа, которого она держала на руках, чтобы не видеть картонных паяцев, кривляющихся вокруг нее.

V

Как-то в четверг, вернувшись из конторы, Камилл привел с собою дюжего, широкоплечего молодца, которого он фамильярно втолкнул в магазин.

— Узнаешь, мать, этого господина? — спросил он у г-жи Ракен, указывая на вошедшего.

Старая торговка взглянула на незнакомца, порылась в памяти, но ничего не вспомнила. Тереза наблюдала сцену с обычным равнодушием.

— Да что же это ты? — продолжал Камилл.— Неужели не узнаешь Лорана, малыша Лорана, сынишку дядюшки Лорана, у которого такие прекрасные пашни около Жефоса?.. Забыла?.. Я с ним вместе ходил в школу; он забегал за мной по утрам, по пути от своего дядюшки, который жил рядом с нами,— и ты его еще угощала хлебом с вареньем.

Вдруг г-жа Ракен вспомнила; но с тех пор малыш Лоран чудовищно вырос. Она не видела его по крайней мере лет двадцать. Ей захотелось загладить впечатление от приема, который она ему оказала в первые минуты, и она стала изливаться в воспоминаниях, расточая чисто материнские ласки. Лоран сел; он тихо улыбался, отвечал ей ясным голосом, обводил лавку спокойным, непринужденным взглядом.

— Представьте себе,— сказал Камилл,— этот проказник уже полтора года служит на Орлеанской железной дороге, а мы встретились и узнали друг друга только сегодня! Правда, наше управление — колоссальное, это сложнейший механизм.

При этих словах молодой человек вытаращил глаза и поджал губы: он был неимоверно горд, что является скромным колесиком в такой большой машине. Он продолжал, покачав головой:

— Но ему живется недурно; он получил образование, он зарабатывает уже полторы тысячи франков... Отец отдал его в колледж; он изучал право, учился живописи. Так ведь, Лоран?.. Оставайся обедать.

— Охотно,— без обиняков ответил Лоран.

Он снял шляпу и уселся в магазине. Г-жа Ракен поспешила в кухню. Тереза, еще не промолвившая ни слова, разглядывала гостя. Никогда в жизни ей не доводилось видеть такого мужчины. Лоран — высокий, сильный, румяный — изумлял ее. Она с каким-то восторгом рассматривала его низкий лоб, обрамленный жесткой черной шевелюрой, полные щеки, яркие губы, правильные черты лица, отмеченного какой-то полнокровной красотой. На мгновение она задержала взгляд на его шее; шея у него была широкая и короткая, жирная и могучая. Потом она стала разглядывать его крупные руки, которые он держал на коленях; концы пальцев у него были квадратные; его кулак мог бы сразить быка. Лоран был подлинный крестьянский сын, сутулый, с несколько тяжеловесными повадками, с медлительными и точными жестами, спокойный и упрямый на вид. Под одеждой у него чувствовались выпуклые, разработанные мускулы, тело полное и плотное. И Тереза с любопытством рассматривала его, переходя от рук к лицу, а когда она останавливала взгляд на его бычьей шее, по ней пробегали легкие мурашки.

Камилл разложил томики Бюффона и грошовые брошюрки, чтобы показать приятелю, что и он занимается. Потом, как бы отвечая на вопрос, который уже несколько минут вертелся у него в голове, он обратился к Лорану:

— А ведь ты, должно быть, знаешь мою жену? Помнишь двоюродную сестренку, которая играла с нами в Верноне?

— Я сразу же узнал мадам,— ответил Лоран, смотря Терезе прямо в лицо.

От этого взгляда, устремленного на нее в упор и словно проникавшего в нее, молодой женщине стало как-то не по себе. Она натянуто улыбнулась, перемолвилась с Лораном и мужем несколькими словами и поспешила уйти на кухню. Ей было тяжело.

Сели за стол. Камилл решил, что долг вежливости требует поинтересоваться жизнью приятеля, и, как только подали суп, спросил:

— Как поживает твой отец?

— Да не знаю,— ответил Лоран.— У нас размолвка; уже лет пять как не переписываемся.

— Что ты говоришь! — воскликнул чиновник, пораженный такой чудовищной новостью.

— Да, у любезного папаши свои особые идеи... Он беспрестанно судится с соседями, поэтому он и отдал меня в коллеж; он мечтал, что я буду у него адвокатом и стану ему выигрывать тяжбы... Да, у папаши Лорана на уме только выгода; он хочет, чтобы даже причуды его приносили доход.

— А ты не захотел стать адвокатом? — спросил Камилл, все больше и больше удивляясь.

— Ни малейшего желания,— со смехом отвечал приятель.— Два года я делал вид, будто слушаю лекции, чтобы получать стипендию, которую высылал мне отец,— сто франков в месяц. Я жил тогда со школьным товарищем, который стал художником, и я тоже начал заниматься живописью. Мне это нравилось; ремесло занятное, легкое. Мы целыми днями курили, болтали...

Ракены таращили глаза.

— К сожалению,— продолжал Лоран,— так не могло долго продолжаться. Отец проведал, что я вожу его за нос; он сразу же лишил меня ста франков в месяц и предложил вернуться домой и вместе с ним копать землю. Тогда я попробовал было писать картины на божественные сюжеты; дело не пошло... Я понял, что впереди у меня — голодная смерть, послал искусство ко всем чертям и стал искать должность... Но отец умрет же когда-нибудь; вот я этого и дожидаюсь, а там заживу ничего не делая.

Голос Лорана звучал спокойно. История, рассказанная им в нескольких словах, давала о нем исчерпывающее представление. В сущности, это был лентяй с плотоядными аппетитами, с ясно выраженной жаждой легких и постоянных удовольствий. Это большое могучее тело желало только одного — не утруждать себя, валяться, бездельничать и наслаждаться жизнью. Молодому человеку хотелось бы вкусно есть, сладко спать, щедро удовлетворять свои страсти и притом не двигаться с места, избегая малейшей усталости.

Профессия адвоката привела его в ужас, а одна мысль о том, что ему придется копать землю, вгоняла его в дрожь. Он обратился к искусству, думая, что это ремесло самое подходящее для лентяя; ему казалось, что действовать кистью — пустое дело; кроме того, он надеялся на легкий успех. Он мечтал о жизни, полной доступных наслаждений, о роскошной жизни, об изобилии женщин, о неге на диванах, о яствах и опьянении. Эта мечта осуществлялась в действительности, пока папаша Лоран высылал денежки. Но когда перед молодым человеком, которому к тому времени уже минуло тридцать лет, в отдалении предстала нищета, он призадумался; он чувствовал, что у него не хватит сил терпеть лишения;

он не согласился бы прожить и дня впроголодь, даже ради самой громкой артистической славы. Как он и выразился, он послал живопись к чертям, едва только убедился, что она бессильна удовлетворить его обширные аппетиты. Его первые живописные опыты были более чем посредственны; его крестьянский глаз воспринимал природу сумбурно, с низменной ее стороны; его холсты — грязные, неряшливые, уродливые — не выдерживали критики. Впрочем, он не страдал артистическим тщеславием и не особенно огорчился, когда ему пришлось забросить кисти. Он искренне пожалел только о мастерской своего школьного товарища, о просторной мастерской, где он так упоительно бездельничал добрых пять лет. Он пожалел также о натурщицах, мелкие прихоти которых были ему по карману. Из этого мира грубых наслаждений он вынес жгучие плотские желания. Однако удел конторского служащего пришелся ему по душе; такое существование, похожее на жизнь рабочей скотины, не тяготило его, он любил эту повседневную работу; она не утомляла его и усыпляла ум. Только два обстоятельства огорчали Лорана: ему недоставало женщин да обеды в кухмистерской за восемнадцать су не утоляли его прожорливости.

Камилл смотрел на него и слушал с дурацким недоумением. Хилый юноша, дряблое, бессильное тело которого за всю жизнь не изведало ни единой чувственной встряски, был по-ребячески изумлен жизнью художественных мастерских, о которой рассказывал приятель. Его ошеломил рассказ о женщинах, обнажающих свое тело. Он расспрашивал Лорана.

— Значит,— говорил он,— были вот такие, которые при тебе снимали с себя рубашку?

— Ну разумеется,— отвечал Лоран, улыбнувшись и бросив взгляд на сильно побледневшую Терезу.

— Странное это должно производить впечатление,— не унимался Камилл, по-детски посмеиваясь.— Я бы смутился. Первый-то раз ты, должно быть, совсем ошалел.

Лоран растопырил широкую руку и стал внимательно рассматривать ладонь. Пальцы его слегка вздрагивали, яркий румянец заливал щеки.

— Перый раз мне это, помнится, показалось вполне естественным...— продолжал он, как бы говоря с самим собою.— Занятная вещь это чертово искусство, только доходу от него ни гроша... У меня была натурщица, прелестная рыжая девушка с упругим, восхитительным телом... великолепная грудь, бедра — широченные...

Лоран поднял глаза и увидел перед собою Терезу; молодая женщина словно замерла и онемела. Она впилась в него присталь-

ным, жгучим взглядом. Ее черные, матового оттенка глаза казались двумя бездонными отверстиями, а за приоткрытыми губами виднелись розовые блики рта. Она была как бы ошеломлена и вся насторожилась: она внимала.

Лоран перевел взгляд с Терезы на Камилла и постарался сдержать улыбку. Он завершил фразу жестом,— жестом широким и сластолюбивым, приковавшим к себе взгляд молодой женщины. Уже был подан десерт, а г-же Ракен пришлось спуститься вниз, чтобы заняться с покупательницей.

Когда сняли скатерть, Лоран, некоторое время сидевший в задумчивости, вдруг обратился к Камиллу:

— Послушай, непременно надо написать твой портрет.

Госпожу Ракен и ее сына эта мысль привела в восторг. Тереза по-прежнему молчала.

— Сейчас лето,— продолжал Лоран,— служба кончается в четыре, я могу приходить сюда и писать тебя часа два по вечерам. Это займет не больше недели.

— Что ж, отлично,— ответил Камилл, покраснев от удовольствия.— Будешь у нас обедать... Я завьюсь у парикмахера и надену черный сюртук.

Пробило восемь. Пришли Гриве и Мишо. Вслед за ними появились Оливье с Сюзанной.

Камилл представил своего приятеля гостям. Гриве поджал губы. Он ненавидел Лорана, потому что, по его мнению, молодому чиновнику слишком скоро повысили жалованье. К тому же появление нового гостя было целым событием; завсегдатаи Ракенов встретили незнакомца с некоторым холодком — иначе и быть не могло.

Лоран держался добродушным малым. Он разобрался в обстоятельствах, ему захотелось понравиться, сразу же прижиться. Он рассказывал всякую всячину, весь вечер оживлял общество своим громким смехом и завоевал расположение даже старика Гриве.

В тот вечер Тереза не искала повода спуститься в лавку. Она до одиннадцати часов просидела на месте за игрой и беседой, но избегала взглядов Лорана, который, впрочем, и не обращал на нее внимания. Жизнерадостность этого парня, его густой голос, смачный хохот, сильный, терпкий запах, исходивший от него, смущали молодую женщину и как-то странно волновали ее.

VI

С того дня Лоран почти каждый вечер приходил к Ракенам. Он жил на улице Сен-Виктор, против Винной пристани, в меблированной комнатке на антресолях, за которую с него брали восем-

надцать франков в месяц; в комнатке было около шести квадратных метров, а освещалась она покатым окном, прорубленным на крыше, через которое виднелась узкая полоска неба. В свою каморку Лоран всегда старался вернуться как можно позже. За недостатком денег он не имел возможности проводить время за столиком в кафе, а потому до встречи с Камиллом обычно засиживался в закусочной, где обедал по вечерам; он курил трубку и попивал кофе с ромом, это обходилось ему в три су. Потом он тихо брел по улице Сен-Виктор, прогуливался по набережной, а в теплые ночи присаживался на скамейки.

Магазин в пассаже Пон-Неф стал для него прелестным, теплым, тихим убежищем, где его ждали дружеские речи и всяческие знаки внимания. Теперь он сберегал три су, которые стоил ему кофе, и с упоением пил отличный чай г-жи Ракен. Он просиживал здесь до десяти часов, переваривая обед, подремывая, чувствуя себя как дома; он уходил только после того, как Камилл, при его помощи, запирал магазин.

Как-то вечером он принес с собою мольберт и ящик с красками. На другой день он собирался приступить к портрету Камилла. Купили холст, все тщательно подготовили. Наконец художник взялся за дело; он устроился в спальне супругов — там, уверял он, светлее.

Три вечера ушло на прорисовку головы. Он старательно водил углем по холсту — мелкими, робкими движениями; сделанный им рисунок, сухой и жесткий, забавно напоминал примитивы. Он срисовал лицо Камилла, как ученик срисовывает обнаженную натуру,— неумело, с неуклюжей точностью, придававшей портрету какое-то насупленное выражение. На четвертый день он выдавил на палитру крошечные холмики краски и начал писать самыми кончиками кистей; он покрывал холст грязноватыми жидкими точками, наносил на него короткие, частые штрихи, словно работал карандашом.

По окончании каждого сеанса г-жа Ракен и Камилл приходили в неописуемый восторг. Лоран говорил, что еще надо подождать, сходство появится.

С того дня, как началась работа над портретом, Тереза уже не выходила из комнаты, преображенной в мастерскую. Она предоставила тетке одной сидеть за конторкой; она пользовалась малейшим поводом, чтобы подняться наверх, и замирала на месте, наблюдая за работой Лорана.

По-прежнему серьезная, печальная и даже еще более молчаливая и бледная, она садилась и следила за движением кисти. Однако зрелище это, казалось, само по себе не особенно занимало ее; она приходила, подчиняясь какой-то силе, которая влекла ее сюда,

и сидела как пригвожденная. Лоран изредка оборачивался, улыбался, спрашивал, нравится ли ей портрет. Она еле отвечала, вздрагивала, потом снова впадала в безмолвный восторг.

Возвращаясь вечерами на улицу Сен-Виктор, Лоран обдумывал положение и долго рассуждал: стоит ли ему сделаться любовником Терезы или не стоит?

«Это такая женщина, которая станет моей любовницей, как только я захочу,— думал он.— Она вечно торчит у меня за спиной, рассматривает, измеряет, взвешивает меня... Она дрожит, на лице у нее появляется какое-то особое, молчаливое и страстное выражение. Можно не сомневаться — ей нужен любовник; об этом ясно говорят ее глаза... Ведь, сказать по правде, Камилл — ничтожество».

Лоран в душе потешался, вспоминая, как хил и бесцветен его приятель. Потом продолжал:

«Ей скучно в этой лавчонке... Я-то хожу туда потому, что мне деваться некуда. А то меня ничем не заманить бы в пассаж Пон-Неф. До чего же там сыро, угрюмо... Женщина там задохнуться может... Я ей нравлюсь, уверен. В таком случае чем я хуже всякого другого?»

Он останавливался, им овладевало чувство собственного превосходства, он сосредоточенно смотрел, как текут воды Сены.

«Ну, будь что будет,— восклицал он,— при первом же удобном случае поцелую ее... Ручаюсь, что она сразу повалится мне на руки».

Он отправился дальше, и у него возникали сомнения.

«Но ведь она дурнушка,— думал он.— У нее длинный нос, большой рот. К тому же я ничуть не влюблен в нее. Еще влипнешь в какую-нибудь скверную историю. Все это надо как следует взвесить...»

Будучи по натуре своей очень осторожным, Лоран обдумывал эти вопросы целую неделю. Он заранее учитывал все осложнения, какие может повлечь за собою связь с Терезой; он решил сделать попытку лишь после того, как пришел к выводу, что эта связь будет для него действительно выгодна.

Правда, Тереза не в его вкусе; но ведь она достанется ему даром; женщины, которых он покупал по дешевке, уж конечно, не были ни красивее, ни желаннее Терезы. Хотя бы ради экономии имеет смысл воспользоваться женою приятеля. Вдобавок он уже давно не удовлетворял своих желаний; деньги — вещь редкая, ему приходилось подавлять свою плоть, а поэтому обидно было бы упустить случай немного полакомиться. Наконец, такая связь, если все здраво взвесить, не может иметь дурных последствий: в интересах Терезы будет сохранить ее в тайне; как только ему вздумает-

ся, он легко может бросить ее; даже если допустить, что Камилл откроет истину и рассвирепеет, то ничего не стоит пристукнуть его, вздумай он шуметь. Дело представлялось Лорану во всех отношениях легким и заманчивым.

С тех пор он жил в приятной безмятежности, выжидая, когда пробьет час. Он решил при первом же удобном случае действовать напрямик. Ему рисовались в будущем приятнейшие вечера. Все Ракены будут содействовать его счастью: Тереза умерит волнение его крови; г-жа Ракен будет с ним ласкова, как мать; Камилл станет развлекать его разговорами, чтобы по вечерам в лавочке ему не было особенно скучно.

Работа над портретом близилась к концу, а подходящего случая все не представлялось. Тереза по-прежнему сидела рядом, подавленная и озабоченная, но Камилл не выходил из комнаты, и Лоран досадовал, что не может услать его куда-нибудь хоть на час. Как бы то ни было, в один прекрасный день ему пришлось сказать, что завтра портрет будет закончен. Г-жа Ракен объявила, что они пообедают все вместе и отпразднуют успех художника.

На другой день, после того как Лоран сделал последние мазки, вся семья собралась и стала восторгаться сходством портрета. Портрет был отвратительный, мутно-серый, с большими лиловатыми пятнами. Даже самые яркие краски превращались под кистью Лорана в грязные и тусклые; сам того не желая, он сильно преувеличил бледность модели, и физиономия Камилла стала напоминать зеленоватое лицо утопленника; из-за неправильности рисунка черты его исказились, и это делало зловещее сходство еще более разительным. Но Камилл был в восторге; он считал, что на портрете у него весьма благородная внешность.

Вдоволь налюбовавшись своим изображением, он заявил, что отправляется за шампанским. Г-жа Ракен спустилась в лавку. Художник остался наедине с Терезой.

Молодая женщина сидела сгорбившись и рассеянно смотрела куда-то вдаль. Она с тревогой как бы ждала чего-то. Лоран колебался; он рассматривал портрет, играл кистями. Но медлить было нельзя: Камилл вот-вот должен был вернуться, такого случая могло больше не представиться. Художник резко повернулся и оказался с Терезой лицом к лицу. Несколько мгновений они смотрели друг на друга.

Потом Лоран порывисто нагнулся и прижал молодую женщину к груди. Он запрокинул ей голову, прижавшись губами к ее губам. У нее вырвался жест возмущения — дикого, безудержного, потом она сразу поникла и скользнула вниз, на пол. Они не проронили ни слова. Слияние их было безмолвно и грубо.

VII

С самого же начала любовники поняли, что связь их предопределена, неизбежна, вполне естественна. Они с первой же встречи начали обращаться друг к другу на «ты», стали близки друг другу без смущения, не краснея, словно их близость длилась уже много лет. В новом положении они жили легко, безмятежно, не ведая стыда.

Они сговорились о свиданиях. Тереза не могла отлучаться из дома, поэтому было решено, что Лоран будет приходить к ней. Молодая женщина ясным, уверенным голосом изложила ему, что она придумала. Свидания будут происходить в супружеской спальне. Любовник будет проникать туда через коридор, выходящий в пассаж, и Тереза станет его впускать в дверь на черной лестнице. В это время Камилл будет у себя в конторе, а г-жа Ракен внизу, в лавке. Это было смело и не могло не удаться.

Лоран одобрил замысел. При всей его осторожности у него была и своего рода звериная, безрассудная отвага — отвага человека с увесистым кулаком. Сосредоточенный, спокойный вид любовницы поощрял его насладиться этой страстью, так смело ему предложенной. Он выдумал предлог, отпросился у начальника на два часа и поспешил в пассаж Пон-Неф.

Едва войдя в пассаж, он оказался во власти жгучего вожделения. Торговка искусственными драгоценностями сидела как раз против входа в коридор. Лорану пришлось выжидать, пока она занялась с покупательницей, с девушкой-работницей, которая вздумала купить у нее медное колечко или серьги. Тогда он проворно шмыгнул в коридор; поднялся по узкой, темной лестнице, нащупывая руками заплесневевшие стены. Он спотыкался о каменные ступеньки и каждый раз испытывал какое-то жгучее ощущение, пронзавшее ему грудь. Отворилась дверь. На пороге, в белесом сумраке, он увидел Терезу в кофте и нижней юбке,— сияющую, с волосами, туго закрученными на затылке. Она заперла дверь, повисла у него на шее. От нее исходил теплый запах, запах свежего белья и только что вымытого тела.

Лоран с удивлением обнаружил, что его любовница очень красивая женщина. Он никогда не присматривался к ней. Гибкая, сильная Тереза сжимала его в объятиях, запрокидывая голову, и лицо ее озарялось горячим светом, страстными улыбками. Облик любовницы как бы преобразился, приобрел что-то безумное и ласкающее; влажные губы, блестящие глаза — все в ней сияло. Ластясь и извиваясь, молодая женщина стала странно хороша, она была вся — порыв. Ее лицо словно осветилось изнутри, по телу как бы пробегало пламя. И пылающая кровь, напряженные нервы излу-

чали вокруг нее какие-то горячие токи, от нее шли пронизывающие, терпкие дуновения.

При первом же поцелуе она раскрылась как сладострастница. Ее неудовлетворенная плоть исступленно погрузилась в негу. Она как бы пробуждалась от сна, она рождалась для страсти. Она переходила из хилых рук Камилла в мощные руки Лорана, и прикосновение сильного мужчины вызывало в ней резкую встряску, которая пробуждала ее тело от сна. Все дремавшие в ней инстинкты нервной женщины вспыхнули с невероятной силой; материнская кровь, кровь африканская, которая сжигала ее внутри, неистово заволновалась, заклокотала в ее худом, еще почти девственном теле. Она отдавалась, предлагала себя с царственным бесстыдством. И по всему ее телу, с головы до ног, пробегала томная дрожь.

Никогда еще Лорану не попадалось такой женщины. Он был изумлен, растерян. Обычно любовница не встречала его с такой страстью; он привык к холодным, безразличным поцелуям, к усталым, пресыщенным ласкам. Всхлипывания, судороги Терезы почти что пугали его и в то же время подстрекали его чувственное любопытство. Уходя от Терезы, он шатался как пьяный. На другой день, когда к нему вернулось угрюмое, настороженное спокойствие, он задумался — возвращаться ли ему к этой женщине, поцелуи которой бросали его в жар. Сначала он твердо решил, что больше к ней не пойдет. Потом стал малодушно колебаться. Он хотел забыть ее, больше не представлять ее себе обнаженной, не думать о ее нежных и неистовых ласках, но она неотступно была перед ним. неумолимая, простирающая к нему руки. Это зрелище причиняло ему физическую боль, и постепенно она становилась нестерпимой.

Он не устоял, снова отпросился со службы, опять пришел в пассаж Пон-Неф.

Начиная с этого дня Тереза твердо вошла в его жизнь. Он все еще не хотел этого, он просто подчинялся. Иной раз он приходил в ужас, временами в нем просыпалась осторожность, а в общем эта связь неприятно волновала его; но все страхи, все тревоги рассеивались перед лицом желаний. Свидания продолжались, они происходили все чаще и чаще.

Тереза не ведала таких сомнений. Она отдавалась чувственности без расчета, шла напрямик туда, куда толкала ее страсть. Эта женщина, подавленная обстоятельствами, но наконец воспрянувшая, обнажала все свое существо, рассказывая историю своей жизни.

Иной раз она обнимала Лорана, прижималась к его груди и говорила прерывистым голосом:

— Ах, если бы ты знал, как много я выстрадала. Я выросла

в комнате больного, в сырой тепличной атмосфере. Я спала в одной постели с Камиллом; по ночам я старалась отстраниться от него,— до того мне был противен пресный запах, который исходил от его тела. Он был злой и упрямый; он не хотел принимать лекарства, если я не принимала их; в угоду тете мне приходилось пить всякую дрянь. Не знаю, как только я выжила... Они превратили меня в дурнушку, милый мой, они меня совсем обокрали, и ты не можешь любить меня так, как люблю тебя я.

Она заливалась слезами, обнимая Лорана, и продолжала с глухой злобой:

— Я не желаю им зла. Они меня воспитали, они меня приютили и избавили от нищеты... Но их гостеприимству я предпочла бы сиротскую долю. Мне необходим был простор; еще совсем маленькой я мечтала бродить по дорогам, утопая босыми ногами в пыли, существовать подаянием, кочевать, как цыгане. Мне говорили, что моя мать была дочерью вождя какого-то африканского племени; я часто думала о ней, я поняла, что связана с нею узами крови и инстинктов, я хотела бы никогда не расставаться с нею и странствовать по пескам, ухватившись за ее шею... Ах, что это была за юность! Я и теперь еще содрогаюсь от отвращения и негодования, едва только вспомню долгие дни, которые провела в комнате, где храпел Камилл. Я сидела на корточках возле камина, тупо наблюдала, как кипят отвары, и чувствовала, что у меня затекают ноги. Но я боялась пошевелиться, тетя не позволяла шуметь... Позже, в домике у реки, я испытала настоящую радость; но я уже отупела, я еле могла ходить, падала, как только побегу. Потом меня заживо похоронили в этой гнусной лавчонке.

Тереза тяжело дышала; она обеими руками крепко обнимала любовника, она мстила за себя, и ее тонкие, трепещущие ноздри нервно вздрагивали.

— Ты не поверишь, в какую скверную женщину они меня превратили,— продолжала она.— Они сделали меня лицемерной, лживой... Они задушили меня в своем мещанском благодушии, и я не понимаю, каким образом в жилах моих еще течет кровь... Я не поднимала глаз, я напускала на себя унылый, тупой вид, точь-в-точь как у них, я жила их мертвой жизнью. Когда ты меня увидел, я была как скотина,— правда? Я была хмурая, подавленная, тупая, как животное. Я уже ни на что не надеялась, я собиралась в один прекрасный день броситься в Сену... Но пока не наступила такая прострация, сколько ночей я провела в бессильном гневе! Там, в Верноне, в своей холодной комнатке, я кусала подушку, чтобы заглушить вопли, я колотила самое себя, я уличала себя в подлости. Кровь кипела во мне, и я готова была разорвать себя в клочья. Два раза я уже совсем собралась уйти, бежать куда глаза глядят, под

открытое небо; но у меня не хватило мужества; своей вялой доброжелательностью и тошнотворной нежностью они превратили меня в покорную скотину. Тогда я стала лгать, я лгала изо дня в день. Я была по-прежнему ласковой, по-прежнему тихой, а сама мечтала о том, как бы укусить, как бы нанести удар.

Молодая женщина умолкла и вытерла влажные губы о шею Лорана. Помолчав, она добавила:

— Сама не знаю, почему я согласилась выйти за Камилла. Из презрения, по какой-то беспечности я не стала возражать. Мальчик вызывал у меня чувство жалости. Когда я играла с ним и дотрагивалась до его рук, мне казалось, будто мои пальцы погружаются в глину. Я вышла за него потому, что мне его предложила тетя, кроме того, я рассчитывала, что мне никогда не придется стеснять себя ни в чем ради него... И в муже я вновь нашла того хворого мальчика, с которым спала, когда мне было шесть лет. Он остался таким же хрупким, таким же жалким, и от него шел все тот же пресный запах больного ребенка,— запах, который был мне так нестерпим прежде... Я говорю тебе все это, чтобы ты не ревновал... Мною овладевало отвращение; мне вспоминались лекарства, которые приходилось пить, я отодвигалась от него, я проводила ужасные ночи... Зато тебя, тебя...

И Тереза приподнималась, откидывалась назад, ее руки тонули в широких руках Лорана, она смотрела на его могучие плечи, на атлетическую шею...

— Тебя я люблю, тебя я полюбила в тот самый день, когда Камилл привел тебя в лавку... Ты, пожалуй, не уважаешь меня, потому что я отдалась вся, сразу... Право, сама не знаю, как это случилось. Я гордая, несдержанная. Когда ты в первый раз поцеловал меня и повалил тут на пол, мне хотелось избить тебя... Не знаю, какою любовью я любила тебя тогда; скорее ненавидела. Один твой вид меня раздражал, причинял мне боль; в твоем присутствии нервы мои так напрягались, что готовы были лопнуть, в голове становилось пусто, перед глазами плыли красные пятна. Ох, как я страдала! Но я жаждала этих страданий, я ждала твоего прихода, вертелась вокруг твоего стула, чтобы вдыхать твое дыхание, чтобы платьем касаться твоей одежды. Мне чудилось, что на меня веет жаркими дуновениями твоей крови, и именно какое-то палящее облако, которым ты меня окутывал, привлекало меня и удерживало возле тебя, несмотря на то что внутренне я противилась этому... Помнишь, когда ты писал тут, какая-то роковая сила все время удерживала меня возле тебя, я с мучительным наслаждением дышала воздухом, которым дышал ты. Я понимаю, вид у меня был такой, точно я выпрашиваю у тебя поцелуй, мне было стыдно, что я стала какой-то рабой, я чувствовала, что уступлю

сразу же, стóит тебе только прикоснуться ко мне. Но я не могла превозмочь этой слабости, я дрожала от озноба в ожидании, когда тебе вздумается обнять меня...

Тут Тереза, вся трепеща, умолкала; в ней пробуждалось какое-то горделивое сознание, что она отомстила. Захмелевший Лоран лежал у нее на груди, и в голой ледяной комнате разыгрывались сцены, полные жгучей страсти и грубой силы. С каждым новым свиданием их страсть становилась все неистовее.

Молодая женщина как бы упивалась этой безрассудной дерзостью и бесстыдством. Она ни на минуту не задумывалась, ей все было нипочем. Она кинулась в прелюбодеяние с какой-то отчаянной искренностью, бросая вызов опасности, гордилась, что пренебрегает ею. Когда должен был появиться ее любовник, она только предупреждала тетю, что поднимается к себе немного отдохнуть, и не принимала никаких других мер предосторожности; когда же он находился у нее, она смело ходила по комнате, разговаривала, передвигала мебель, не думая о том, что ее могут услышать. Вначале Лоран пугался.

— Да не греми же так, ради бога,— говорил он.— Госпожа Ракен придет.

— Да ну, ты вечно дрожишь...— отвечала Тереза смеясь.— Она пригвождена к конторке, а тут ей что делать? Она побоится уйти — как бы не обокрали... А впрочем, пусть приходит, если ей угодно. Ты спрячешься... Наплевать мне на нее. Я тебя люблю.

Такие доводы не успокаивали Лорана. Страсть еще не заглушила в нем крестьянской, затаенной осторожности. Вскоре он, однако, свыкся и уже не испытывал особого страха во время этих дерзких свиданий среди бела дня, в комнате Камилла, в двух шагах от старой торговки. Любовница постоянно твердила ему, что опасность не страшна тем, кто смело идет ей навстречу,— и она была права. Любовникам не найти было более надежного места, чем эта комната, где их никто не мог потревожить. Они удовлетворяли здесь свою страсть с невероятной безмятежностью.

А все-таки однажды г-жа Ракен поднялась наверх: она встревожилась, не заболела ли племянница. Уже почти три часа молодая женщина не выходила из спальни. Смелость ее доходила до того, что она даже не запирала дверь, соединявшую ее комнату со столовой.

Когда Лоран услышал на деревянной лестнице грузные шаги старой торговки, он растерялся, стал лихорадочно искать жилет, шляпу. На лице его появилось такое странное выражение, что Тереза расхохоталась. Она крепко взяла его за руку, пригнула в угол к ножке кровати и вполголоса спокойно сказала:

— Сиди здесь... Не шевелись.

Она накинула на него валявшийся пиджак и прикрыла кучу белой нижней юбкой, которую сняла с себя. Все это она сделала проворными, точными движениями, ничуть не теряя хладнокровия. Потом легла, взлохмаченная, полуголая, еще трепещущая и румяная.

Госпожа Ракен тихонько отворила дверь и подошла к кровати, стараясь не шуметь. Молодая женщина притворилась, будто спит. Лоран задыхался под белой юбкой.

— Тереза, дочка, ты захворала? — заботливо спросила торговка.

Тереза открыла глаза, зевнула, перевернулась на другой бок и слабым голосом ответила, что у нее нестерпимая мигрень. Она просила не будить ее. Старуха удалилась так же тихо, как вошла.

Любовники беззвучно расхохотались и обнялись в порыве неистовой страсти.

— Теперь убедился? — сказала Тереза, торжествуя.— Нам здесь не грозит ни малейшая опасность... Все эти люди — слепые. Они не умеют любить.

В другой раз молодой женщине пришла в голову причудливая мысль. Порою она как бы теряла рассудок, впадала в бред.

Полосатый кот Франсуа сидел посреди комнаты. Важный, недвижимый, он своими круглыми глазами уставился на любовников. Казалось, он тщательно, не моргая, рассматривает их, погрузившись в какой-то дьявольский экстаз.

— Посмотри на Франсуа,— сказала Тереза,— он, должно быть, все понимает и хочет сегодня вечером рассказать Камиллу... Правда, вот была бы потеха, если бы он в один прекрасный день вдруг заговорил... Ведь ему есть что рассказать о нас...

Терезу невероятно забавляла мысль, что Франсуа может заговорить. Лоран взглянул на большие зеленые глаза кота, и по спине у него пробежали мурашки.

— Вот что он сделает,— продолжала Тереза.— Он встанет на задние лапки, одною передней укажет на меня, другою — на тебя и воскликнет: «Господин и дама крепко целовались, когда были одни в комнате; они не боялись меня, но их преступная любовь мне противна, поэтому прошу посадить их в тюрьму; тогда ничто не будет мешать моему пищеварению».

Тереза дурачилась, как ребенок, разыгрывала из себя кота, протягивала руки, как бы собираясь царапнуть, по-кошачьи плавно шевелила плечами. Франсуа сидел как каменный и продолжал смотреть на нее; можно было подумать, что живыми у него остались только глаза; в уголках пасти этого чучела залегли две глубокие складки, и казалось, он вот-вот прыснет со смеху.

Лоран почувствовал холодок, пронизывающий его до мозга

костей. Шутку Терезы он счел нелепой. Он встал и выбросил кота за дверь. По правде сказать, ему стало жутко. Любовница еще не завладела им целиком; в глубине его души еще сохранились следы того смущения, какое он испытал при первых поцелуях молодой женщины.

VIII

По вечерам, в лавке, Лоран чувствовал себя вполне счастливым. Обычно он возвращался со службы вместе с Камиллом. Г-жа Ракен воспылала к нему чисто материнским чувством; она знала, что он нуждается, недоедает, ютится на чердаке, и раз навсегда сказала ему, что за их столом для него всегда найдется место. Она полюбила его той болтливой любовью, какую старые женщины обычно питают к землякам, напоминающим им о прошлом.

Молодой человек широко пользовался этим гостеприимством. Кончив службу, он, перед тем как прийти в лавку, обычно прогуливался по набережным в обществе Камилла; им обоим эта дружба пришлась по душе: им было не так скучно, они бродили беседуя. Нагулявшись, они решали, что пора идти есть суп г-жи Ракен. Лоран по-хозяйски отворял дверь лавочки, садился верхом на стул, курил, сплевывал, словно у себя дома.

Присутствие Терезы ничуть не смущало его. Он обращался с молодой женщиной дружески непринужденно, шутил с ней, говорил ей не моргнув глазом банальные комплименты. Камилл хохотал, зато Тереза еле отвечала его приятелю, и поэтому он был в полной уверенности, что они ненавидят друг друга. Однажды он даже стал упрекать Терезу в том, что она уж чересчур холодна с Лораном.

Расчет Лорана оправдался: он стал любовником жены, приятелем мужа, баловнем матери. Никогда еще так щедро не удовлетворялись все его потребности. Неисчерпаемые удовольствия, которыми его одаривали Ракены, погружали его в дрему. К тому же положение его в этом семействе казалось ему вполне естественным. Он дружил с Камиллом, не испытывая ни угрызений совести, ни злобы. Он даже не следил за тем, как ведет себя, что̀ говорит,— до того он был уверен в своей осторожности, в своей выдержке; эгоизм, с каким он наслаждался всеми этими радостями, предохранял его от ложного шага. В лавочке любовница его превращалась в женщину, ничем не отличающуюся от других, в женщину, которую не надо было целовать, которая вообще не существовала для него. Не целовал он ее при всех лишь потому, что тогда уже не мог бы здесь вновь появиться. Только это соображение и сдерживало его. А не то ему наплевать было бы на огорчение Камилла и

его матери. Он не задумывался над тем, что может последовать, если его связь откроется. Ему казалось, что он поступает просто как человек бедный, голодный и что всякий на его месте поступил бы точно так же. Отсюда его блаженная безмятежность, осторожная смелость, напускное бескорыстие и шуточки.

Зато Терезе, более нервной, более чуткой, приходилось все время играть определенную роль. Играла она ее безупречно благодаря тонкому лицемерию, которое было ей привито воспитанием. Добрых пятнадцать лет она лгала, подавляя все свои порывы, напрягая волю лишь для того, чтобы казаться унылой и сонной. Ей нетрудно было облечь и свое тело тем леденящим равнодушием, которое она как маску привыкла носить на лице. Когда Лоран входил к ним, он видел перед собою мрачную, угрюмую женщину, с длинным носом, с поджатыми губами. Она была безобразна, насуплена, неприступна. Впрочем, в таких случаях она вела себя как всегда, она разыгрывала привычную роль, ничего не преувеличивая и не привлекая к себе внимания. А в душе она испытывала терпкую радость от сознания, что обманывает Камилла и г-жу Ракен. В отличие от Лорана, который совсем размяк, как только все потребности его оказались утоленными, в ней не заглох голос совести, она знала, что поступает дурно, и ей иной раз нестерпимо хотелось встать из-за стола и поцеловать Лорана в самые губы, чтобы муж и тетя убедились, что она не дурочка и что у нее есть любовник.

Временами ее заливали волны горячей радости, дурманившие ее; в такие минуты, если любовника не было возле нее и если ей не грозила опасность выдать себя, она вопреки обычному лицемерию не могла сдержаться, чтобы не запеть. Г-жа Ракен часто упрекала племянницу в излишней серьезности, поэтому такие приступы веселья приводили ее в восторг. Молодая женщина купила цветы в горшках и поставила их в своей комнате на окно; потом она оклеила комнату новыми обоями, ей захотелось приобрести ковер, гардины, мебель палисандрового дерева. Вся эта роскошь заводилась ради Лорана.

Сама природа и обстоятельства, казалось, создали эту женщину именно для этого мужчины и толкнули их друг другу в объятия. Нервная, лицемерная женщина и сангвинический мужчина, живущий чисто животной жизнью, составили тесно связанную чету. Они взаимно дополняли, поддерживали друг друга. Вечерами за столом, при тусклом свете лампы, стоило только взглянуть на тупое улыбающееся лицо Лорана рядом с немой, непроницаемой маской Терезы, чтобы почувствовать силу этого союза.

То были безмятежные, сладостные вечера. В тишине, в прозрачном, теплом сумраке раздавались дружеские речи. Все объеди-

нялись вокруг стола; после десерта непринужденно болтали о бесчисленных пустяках, накопившихся за день, делились воспоминаниями о прожитом дне и надеждами на завтрашний. Камилл любил Лорана, как только мог любить,— любовью удовлетворенного эгоиста, и Лоран, казалось, отвечал ему не меньшей привязанностью; они обменивались дружелюбными фразами, ласковыми взглядами, спешили услужить друг другу. Г-жа Ракен, лицо которой свидетельствовало о полном благодушии, наслаждалась безмятежной атмосферой, окружавшей ее детей. Казалось, это старые знакомые, изучившие друг друга до самых глубин сердца и доверчиво почивающие на лоне взаимной дружбы.

Тереза, неподвижная, спокойная, как и остальные, со стороны наблюдала за этими мещанскими радостями, за этим безоблачным благополучием. А в душе у нее звучал дикий хохот; лицо у нее было по-прежнему суровое и холодное, зато все существо ее издевалось. С утонченным наслаждением думала она о том, что несколько часов тому назад, полуголая, с распущенными волосами, она лежала на груди Лорана в соседней комнате; она перебирала в памяти малейшие подробности часов, проведенных в безудержной страсти, любовалась ими, мысленно сравнивала ту неистовую сцену с безжизненной сценой, которую видела перед собой теперь. Ах, как ловко она проводит этих славных людишек и как она счастлива, что может проводить их с таким торжествующим бесстыдством! Здесь, не далее как в двух шагах от этой тонкой перегородки, она принимает мужчину; здесь она валяется в постели, наслаждаясь терпкой радостью прелюбодеяния. А вечером любовник снова становился для нее незнакомцем, приятелем мужа, каким-то дураком и лизоблюдом, до которого ей нет дела. Эта ужасная комедия, этот повседневный обман, эти сравнения жгучих дневных поцелуев и напускного вечернего безразличия разжигали в крови молодой женщины еще больший огонь.

Когда г-же Ракен и Камиллу случалось почему-либо спуститься в магазин, Тереза порывисто вскакивала с места, молча, с животной силой впивалась губами в губы любовника и замирала так, задыхаясь, захлебываясь, пока до нее не доносилось поскрипывание деревянных ступенек лестницы. Тогда она проворно возвращалась на свое место, и на ее лице снова появлялась угрюмая гримаса. Лоран спокойным голосом продолжал прерванную беседу с Камиллом. Это было как бы молнией страсти, мгновенной и ослепительной, блеснувшей в сумрачном небе.

По четвергам вечер проходил немного оживленнее. В этот день Лорану бывало здесь невыносимо скучно, однако он вменял себе в обязанность не пропускать ни одного собрания; из осторожности он хотел, чтобы друзья Камилла знали и уважали его. Ему

приходилось выслушивать болтовню Гриве и старика Минно. Минно в который раз повторял все те же истории об убийствах и грабежах; Гриве рассказывал о своем учреждении, о сослуживцах, начальниках. Лоран искал убежища возле Оливье и Сюзанны, которые казались ему чуть-чуть поумнее. Впрочем, он всегда как можно скорее предлагал поиграть в домино.

Именно по четвергам вечером Тереза назначала ему дни и часы свиданий. В суматохе, пока г-жа Ракен и Камилл провожали гостей до выходной двери, молодая женщина подходила к Лорану, перешептывалась с ним, жала ему руку. Иной раз, когда все стояли к ним спиной, она из озорства целовала его.

Такая жизнь, с чередованием встрясок и успокоений, продолжалась восемь месяцев. Любовники жили в полнейшем блаженстве; Тереза больше не скучала, ничего не требовала; удовлетворенный, обласканный, пополневший Лоран боялся только одного — как бы этой роскошной жизни не наступил конец.

IX

Однажды, когда Лоран собирался отлучиться из конторы, чтобы сбегать к Терезе, начальник вызвал его к себе и предупредил, что в дальнейшем запрещает ему уходить со службы. Он манкирует своими обязанностями; начальство решило его уволить, если он уйдет хотя бы еще раз.

Лоран томился до вечера, пригвожденный к стулу. Надо было зарабатывать на жизнь, он не мог допустить, чтобы его выставили за дверь. Он весь вечер промучился, видя недовольное лицо любовницы. Он не знал, как объяснить ей причину, по которой он не сдержал слова. Когда Камилл пошел запирать лавку, он бросился к молодой женщине.

— Нам больше нельзя встречаться,— шепнул он ей.— Начальник запретил мне уходить со службы.

Камилл возвращался. Лорану пришлось отойти от Терезы прежде, чем он успел подробнее разъяснить ей положение, и Тереза осталась под впечатлением этой жестокой новости. Совершенно ошеломленная, не допуская мысли, что могут помешать ее наслаждениям, она провела бессонную ночь, строя самые фантастические планы. В следующий четверг ей удалось поговорить с Лораном не больше минуты. Их отчаяние было тем беспросветнее, что они даже не знали, где бы им встретиться, чтобы все обсудить и как-нибудь сговориться. Молодая женщина снова назначила любовнику свидание, и он опять не пришел. С того дня ее преследовала одна-единственная, неотступная мысль — увидеться с ним во что бы то ни стало.

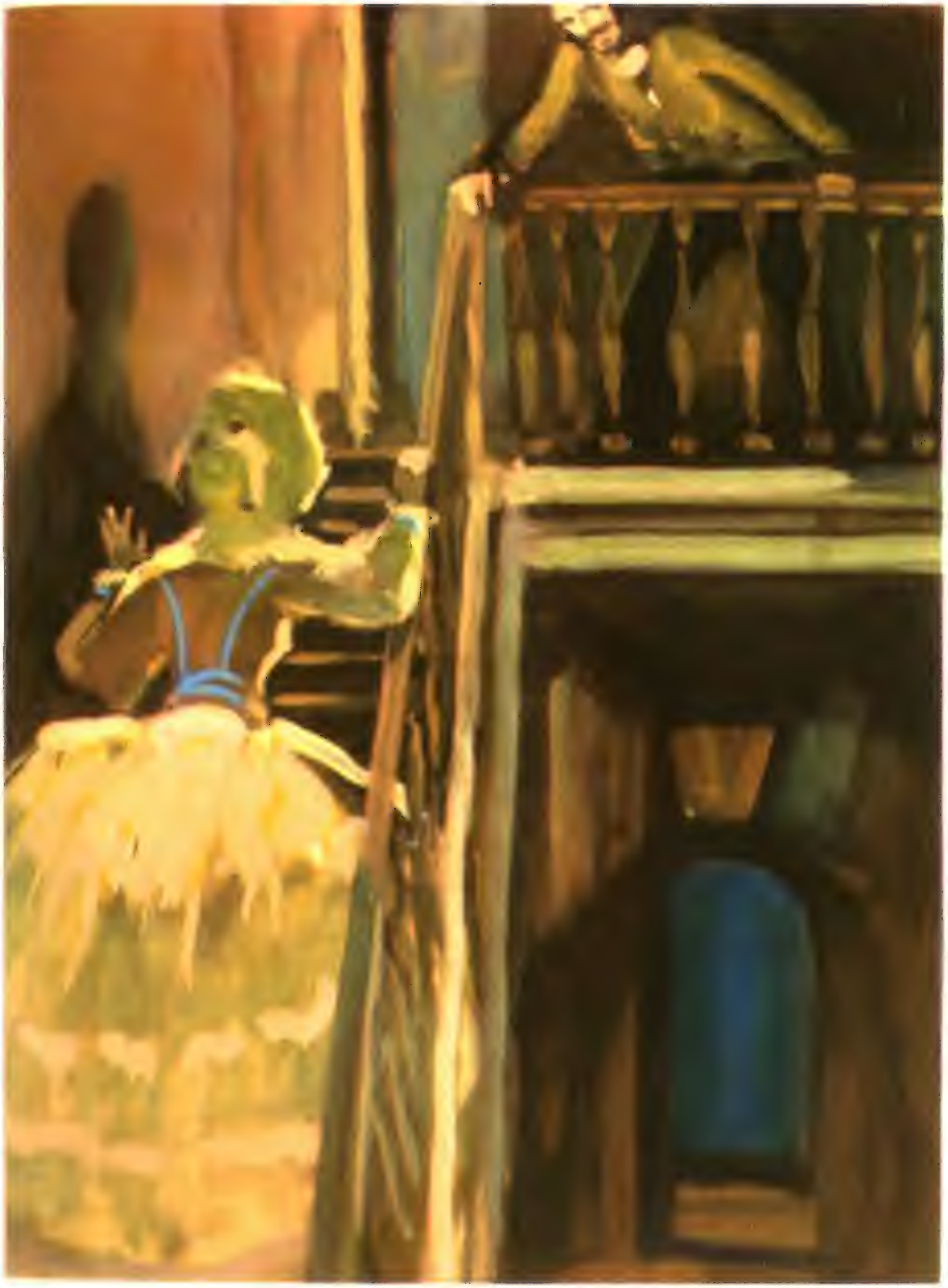
Уже две недели Лоран жил без Терезы. И тут он понял, до чего эта женщина стала ему необходима; привычка к чувственным наслаждениям усилила его потребности, придала им особую остроту. Объятия любовницы уже не смущали его, он искал этих объятий с упорством изголодавшегося животного. В жилах его созрела дикая страсть, и теперь, когда у него отнимали любовницу, эта страсть вспыхнула со слепым неистовством; любовь его граничила с исступлением. В этом цветущем животном организме все казалось бессознательным: Лоран подчинялся своим инстинктам, он делал только то, на что его толкали физические потребности. Год тому назад он расхохотался бы до слез, если бы ему кто-нибудь сказал, что он настолько станет рабом женщины, что даже пренебрежет своим покоем. Неведомо для него самого желания совсем поработили его тело и, связав его по рукам и ногам, отдали во власть диких ласк Терезы. Теперь он опасался, что забудет об осторожности, он не решался прийти вечером в пассаж Пон-Неф из боязни совершить какую-нибудь оплошность. Он уже не владел собою; любовница, со своей кошачьей гибкостью, со своей нервной податливостью, понемногу заполнила собою все фибры его существа. Он не мог жить без этой женщины, как нельзя жить без еды и питья.

И он наверняка допустил бы какую-нибудь неосторожность, если бы не получил от Терезы письма, в котором она просила его на следующий день не отлучаться из дому. Любовница обещала прийти к нему часов в восемь.

Выходя из конторы, он отделался от Камилла, сказав, что очень устал и сразу же ляжет. Тереза после обеда тоже разыграла задуманную роль: она сказала, будто некая покупательница, не расплатившись с нею, переехала на другую квартиру; Тереза сделала вид, что никак не может с этим примириться и отправляется к ней сама, чтобы взыскать долг. Покупательница поселилась в Батиньоле. Г-жа Ракен и Камилл заикнулись было, что это очень далеко и что вряд ли Тереза чего-нибудь добьется, однако они не слишком удивились и предоставили ей спокойно уехать.

Молодая женщина побежала на Винную пристань; ноги ее скользили на влажных тротуарах, она натыкалась на прохожих — ей не терпелось поскорее добраться до места. Лицо ее покрылось испариной, руки горели. Ее можно было принять за пьяную. Дойдя до меблированных комнат, она проворно взбежала по лестнице. На седьмом этаже, задыхаясь, с обезумевшим взглядом, она заметила Лорана, который ждал ее, перегнувшись через перила.

Она вошла в мансарду. Ее широкие юбки заняли всю каморку — так она была тесна. Тереза порывисто сняла шляпу и, почти теряя сознание, прислонилась к кровати...



«Тереза Ракен».

Слуховое окно было настежь отворено, и в каморку проникала вечерняя прохлада, освежая жаркое ложе. Любовники долго пробыли в этой конуре, словно на дне пропасти. Вдруг до Терезы донесся бой часов церкви Питье — било десять. Ей хотелось бы быть глухой; она с трудом поднялась и обвела взглядом мансарду,— она еще не видела ее. Она надела шляпу, завязала ленты, села и медленно промолвила:

— Надо уходить.

Лоран подошел к ней и встал на колени. Он взял ее руки.

— До свиданья,— сказала она, не шелохнувшись.

— Нет, не «до свиданья», это слишком неопределенно! — воскликнул он.— Когда ты придешь опять?

Она посмотрела ему в лицо.

— Сказать откровенно? — сказала она.— Так вот. По правде говоря, я думаю, что больше уже не приду. У меня нет предлога, чтобы уйти из дому. Выдумать его я не могу.

— Значит, нам надо распрощаться.

— Нет, не хочу!

Она произнесла эти слова с ужасом и злобой. Потом добавила мягче, не вставая с места и сама не понимая, что говорит:

— Я пойду.

Лоран размышлял. Он думал о Камилле.

— Я на него не сержусь,— сказал он наконец, не называя Камилла по имени,— но, право же, уж очень он нам мешает... Ты бы как-нибудь избавила нас от него, отправила бы куда-нибудь путешествовать... подальше?

— Да, отправишь его путешествовать! — возразила Тереза, покачав головой.— Ты воображаешь, что такого человека можно уговорить отправиться в путешествие... Одно только у него может быть путешествие — такое, из которого не возвращаются... Но он всех нас переживет: полуживые не умирают.

Наступило молчание. Лоран на коленях подполз к любовнице, прижался к ней, приник головой к ее груди.

— У меня была мечта,— сказал он,— мне хотелось провести с тобой целую ночь, заснуть в твоих объятиях и наутро проснуться от твоих поцелуев... Я хотел бы быть твоим мужем... Понимаешь?

— Да, да,— ответила Тереза, содрогнувшись.

И она порывисто склонилась к лицу Лорана, стала целовать его. Ленты шляпки цеплялись за его жесткую бороду; Тереза забыла, что одета и что может помять платье. Она рыдала и сквозь слезы, задыхаясь, лепетала:

— Не говори так... А то у меня не хватит сил уйти, я останусь здесь... Лучше подбодри меня: скажи, что мы еще увидимся... Ведь

правда я нужна тебе и со временем мы как-нибудь устроимся, чтобы жить вместе?

— Тогда приходи опять, приходи завтра,— отвечал Лоран, пробегая трепещущими руками по ее стану.

— Но я не могу прийти... Я ведь сказала: нет предлога.

Она заламывала руки. Потом продолжала:

— Я не боюсь скандала, нет... Хочешь, я пойду и прямо скажу Камиллу, что ты мой любовник и что я буду сегодня ночевать здесь... Я боюсь за тебя; я не хочу осложнять твою жизнь, мне хочется, чтобы ты был счастлив.

В молодом человеке просыпалась инстинктивная осторожность.

— Ты права, не надо ребячеств,— сказал он.— Ах, если бы твой муж умер...

— Если бы муж умер...— медленно повторила Тереза.

— Мы бы поженились, уже ничего не боялись бы, без оглядки упивались бы любовью... Какая чудесная, безмятежная пошла бы жизнь!

Молодая женщина выпрямилась. Она побледнела и устремила на любовника мрачный взгляд; губы ее подергивались.

— Случается, что люди умирают,— прошептала она наконец.— Только это опасно для тех, кто остается.

Лоран промолчал.

— Знаешь, все известные средства плохи,— продолжала она.

— Ты меня не поняла,— сказал он спокойно.— Я не дурак, я хочу получить возможность любить тебя, ничего не опасаясь... Я имел в виду, что ведь каждый день случаются несчастья — то нога поскользнется, то черепица с крыши свалится... Понимаешь? В последнем случае, например, виноват бывает один только ветер.

Он говорил каким-то странным голосом. По лицу его пробежала усмешка, и он ласково добавил:

— Не беспокойся; мы с тобой поди еще поживем счастливо, еще будем любить друг друга... Раз ты не можешь приходить, я все это устрою... Может быть, нам придется несколько месяцев не встречаться,— так ты меня не забывай, помни, что я хлопочу о нашем счастье.

Тереза отворила было дверь, чтобы уйти, но он порывисто обнял ее.

— Ты моя, не правда ли? — спросил он.— Поклянись, что будешь вся моя, в любое время, как только я захочу.

— Клянусь! — воскликнула молодая женщина.— Я твоя, делай со мною что хочешь.

На мгновенье они замерли в угрюмом молчании. Потом Тереза резко вырвалась от него, не оборачиваясь вышла из каморки

и спустилась по лестнице. Лоран прислушивался к ее удаляющимся шагам.

Когда все затихло, он вернулся в каморку и лег. Постель еще не остыла. Он задыхался на узком помятом ложе, от которого еще веяло жаром любовных восторгов Терезы. Ему казалось, что он еще чувствует дыхание молодой женщины; она побывала здесь, оставив какое-то пронизывающее излучение и нежный запах фиалок, но теперь он мог обнять лишь неуловимый призрак, витавший вокруг него; он горел в огне вновь вспыхнувшей, ненасытной страсти. Он не затворил окно. Лежа на спине, раскинув обнаженные руки, ища прохлады, он задумался, устремив взгляд на темно-синий квадрат неба, обрамленный оконной рамой.

До самого рассвета его преследовала неотступная мысль. Пока Тереза не побывала у него, он не думал об убийстве Камилла; только сложившиеся обстоятельства, только мысль, что он не увидит больше Терезу, побудили его заговорить о смерти этого человека. Так приоткрылся новый уголок его подсознательного существа: мысль об убийстве возникла у него в чаду прелюбодеяния.

Теперь, успокоившись, в ночной тиши и в одиночестве, он обдумывал подробности убийства. Мысль о смерти, возникшая в миг отчаяния, между двумя поцелуями, становилась теперь неумолимой и острой. Измученный бессонницей, одурманенный терпким запахом, оставленным Терезой, Лоран измышлял коварные планы, взвешивал трудности, рисовал себе преимущества, которые даст убийство.

С точки зрения его личных интересов убийство представлялось, безусловно, целесообразным. Лорану было ясно, что отец его, жефосский крестьянин, не собирается умирать; ему еще лет десять придется служить чиновником, питаться в закусочных, жить без женщины, на чердаке. Такая перспектива приводила его в отчаяние. Если же Камилл умрет, он женится на Терезе, получит наследство г-жи Ракен, подаст в отставку и заживет припеваючи. Он с упоением начал представлять себе эту праздную жизнь: он будет бездельничать, есть и спать и станет дожидаться вожделенной смерти отца. И стоило ему только после этих мечтаний вернуться к действительности, как Камилл сразу же преграждал ему дорогу, и у Лорана сжимались кулаки, словно для того, чтобы убить его.

Лоран хотел обладать Терезой; он хотел обладать ею безраздельно, хотел, чтобы она всегда была у него под рукой. Если он не устранит мужа, жена ускользнет от него. Она сама сказала: она не может к нему приходить. Он охотно похитил бы ее, увез бы куда-нибудь, но тогда они оба умрут с голоду. Если же убить мужа — риску меньше; это не вызовет особого шума, надо только слегка подтолкнуть человека, а потом занять его место. Лоран ру-

ководствовался своей грубой крестьянской логикой, и такой исход казался ему превосходным, вполне естественным. Сама врожденная осторожность Лорана подсказывала ему этот простой выход.

Он валялся в кровати, распластавшись на животе, весь в поту, уткнув влажное лицо в подушку, на которой недавно лежали разметавшиеся волосы Терезы. Он иссохшими губами прижимался к полотну, упивался легким ароматом белья, замирал, не дыша, задыхаясь, и перед его закрытыми глазами мелькали огненные пятна. Он размышлял: как же убить Камилла? Потом, задохнувшись, резко поворачивался, снова ложился на спину и, широко раскрыв глаза, подставив лицо под холодные дуновения, лившиеся из окна, всматривался в синеватый квадрат неба, в звезды, надеясь, что они одобрят задуманное убийство и подскажут, как его осуществить.

Он ничего не придумал. Как он и сказал любовнице, он не ребенок, не дурак, он не воспользуется ни кинжалом, ни ядом. Он намерен совершить преступление тихое, безопасное; пусть это будет нечто вроде случайного удушья, без крика, без ужасов — просто исчезновение. Как страсть ни терзала его, ни подталкивала, все его существо властно требовало осторожности. Он был слишком труслив, слишком сластолюбив, чтобы рисковать своим покоем. Он шел на убийство именно для того, чтобы зажить безмятежно и счастливо.

Понемногу сон одолел его. Холодный воздух вытеснил из каморки ароматный и теплый призрак Терезы. Разбитый, успокоившийся Лоран отдался во власть какой-то сладостной, смутной дреме. Засыпая, он решил, что будет выжидать благоприятного случая, и мысли его, становясь все более и более расплывчатыми, убаюкивали его, шепча: «Я его убью, я его убью». Пять минут спустя он спал, и дыхание его было безмятежно-ровным.

Тереза вернулась домой в одиннадцать часов. Она пришла в пассаж Пон-Неф с горящей головой, обуреваемая неотступными мыслями, и даже не заметила пройденного пути. Ей казалось, будто она все еще спускается с чердака Лорана,— так явственно звучало в ее ушах то, что он ей сказал. Г-жа Ракен и Камилл были встревожены ее долгим отсутствием и встретили ее особенно ласково; на их расспросы она сухо ответила, что проездила зря и целый час ждала автобуса.

Когда она легла, постель показалась ей холодной и сырой. Тело ее, еще распаленное, с отвращением содрогнулось. Камилл не замедлил заснуть, и Тереза долго разглядывала его мертвенно-бледное лицо, покоившееся на подушке, которому открытый рот придавал особенно глупое выражение. Она отодвинулась, кулаки ее сжались, и ей захотелось заткнуть ему рот.

X

Прошло около трех недель. Лоран являлся в лавку каждый вечер; он казался усталым, как бы больным; вокруг его глаз обозначились синеватые круги, губы побледнели и потрескались. Впрочем, он был по-прежнему тяжеловесно-спокоен, смотрел Камиллу прямо в лицо и обращался с ним все так же дружески непринужденно. С тех пор как г-жа Ракен заметила, что друга их семьи сжигает какой-то внутренний жар, она окружила его еще бо́льшим вниманием.

На лице Терезы вновь появилось непроницаемое, хмурое выражение. Она стала еще неподвижнее, еще замкнутее, еще апатичнее. Казалось, Лоран вовсе не существует для нее; она еле удостаивала его взглядом, редко заговаривала с ним, относилась к нему с полнейшим равнодушием. Г-жа Ракен по доброте своей огорчалась этим и иной раз говорила молодому человеку: «Не обращайте внимания на то, что племянница неприветлива. Я знаю ее: на вид она холодная, зато сердце у нее горячее и очень привязчивое, преданное».

Любовникам уже не приходилось встречаться. После вечера, проведенного на улице Сен-Виктор, они ни разу не виделись наедине. Вечерами, когда они оказывались лицом к лицу, внешне равнодушные и чуждые друг другу, за их наружным спокойствием скрывались бури страсти, ужаса и вожделения. Терезу терзали неистовые порывы, приступы малодушия и шальной веселости; у Лорана вырывались грубые, отчаянные выходки, его терзала мучительная нерешительность. Оба они не осмеливались заглянуть в самих себя, в ту лихорадочную муть, которая одурманила их каким-то едким, густым чадом.

Когда представлялся случай, они где-нибудь за дверью молча сжимали друг другу руки беглым, грубым пожатием, от которого чуть не трещали пальцы. Обоим хотелось бы унести с собой кусок кожи, к которому на миг прильнула их рука. Это пожатие было единственное, что помогало им хоть немного умерить желания. Они вкладывали в это пожатие все свое существо. Ничего иного они не просили. Они выжидали.

Однажды в четверг, перед тем как сесть за игру, гости семьи Ракенов, как всегда, немного побеседовали. Особенно любили они поговорить со стариком Мишо о его прежней работе, расспросить о всяких таинственных, мрачных происшествиях, к которым ему по долгу службы приходилось иметь отношение. В таких случаях Гриве и Камилл внимали рассказам полицейского комиссара с испуганными и блаженными лицами, какие бывают у детей, когда

они слушают сказки о Синей Бороде или о мальчике с пальчик. Эти истории пугали и вместе с тем захватывали их.

В тот день Мишо рассказал о жутком убийстве, подробности которого привели слушателей в ужас; потом он добавил, покачав головой:

— А кое-что так и не удалось выяснить до конца... Сколько преступлений все-таки остается нераскрытыми! Сколько убийц ускользает от людского правосудия!

— Как! — воскликнул изумленный Гриве.— Вы допускаете, что вот так, просто, на улице можно встретить негодяев, на совести которых есть убийство и которых не задерживают?

Оливье презрительно улыбнулся.

— Дорогой господин Гриве,— ответил он резким голосом,— потому-то их и не арестуют, что не знают, что они убийцы.

Такой довод показался Гриве неубедительным. Камилл поддержал его.

— А я вполне согласен с господином Гриве,— сказал он с нелепой важностью.— Мне хочется верить, что полиция работает безупречно и что я никогда не окажусь на тротуаре лицом к лицу с убийцей.

Оливье принял эти слова за личный выпад.

— Спору нет, полиция работает безупречно,— воскликнул он обиженно.— Но мы не в силах сделать невозможное. Есть негодяи, которые учились преступлениям у самого дьявола; такие ускользнут даже от господа бога... Правда, отец?

— Разумеется, разумеется,— подтвердил старик.— Вот, например, когда я служил в Верноне... вы, вероятно, помните, госпожа Ракен... на большой дороге убили ломового извозчика. Труп был разрублен на куски, их нашли в канаве. Так вот — виновного так и не обнаружили... Может быть, он и по сей день здравствует, может быть, он наш сосед, и, быть может, господин Гриве встретится с ним, когда пойдет домой.

Гриве побледнел как полотно. Он не решался повернуть голову: ему казалось, что убийца ломовика стоит за его спиной. Впрочем, он был в восторге, что ему так жутко.

— Ну уж нет, простите,— бормотал он, сам не зная, что говорит,— ну уж нет, не могу этому поверить... Я тоже знаю одну историю: случилось, что служанку посадили в тюрьму за то, что она украла у хозяев серебряную ложку. А месяца через два, когда в саду спилили дерево, ложку нашли в гнезде сороки. Воровкой оказалась сорока. Служанку выпустили. Как видите, виновные всегда несут заслуженное наказание.

Гриве торжествовал. Оливье ухмылялся.

— Значит, сороку посадили? — спросил он.

— Господин Гриве не то хотел сказать,— возразил Камилл, недовольный тем, что его начальника поднимают на смех.— Мать, дай-ка нам домино.

Пока г-жа Ракен ходила за ящиком, молодой человек снова обратился к Мишо:

— Значит, вы признаете, что полиция бессильна? Есть убийцы, которые преспокойно разгуливают по городу?

— Да, к несчастью,— ответил комиссар.

— Это безнравственно,— заключил Гриве.

Во время всего разговора Тереза и Лоран молчали. Они даже не улыбнулись на глупость Гриве. Облокотившись на стол, чуть побледневшие, с блуждающим взглядом, они внимательно слушали. На миг их взгляды, мрачные и жгучие, скрестились. Крошечные капельки пота выступили на лбу Терезы, по телу Лорана пробежала легкая дрожь от каких-то ледяных дуновений.

XI

Иногда по воскресеньям, в хорошую погоду, Камилл требовал, чтобы Тереза погуляла с ним, прошлась по Елисейским полям. Молодая женщина предпочитала бы остаться в сыром сумраке лавки; ей было скучно идти под руку с мужем, она быстро уставала, а он тащил ее с тротуара на тротуар, останавливался перед витринами, по-дурацки всему изумлялся, молчал или высказывал глубокомысленные замечания. Но Камилл стоял на своем: он любил показаться на людях с женой; встречая кого-нибудь из сослуживцев, особенно из начальства, он с гордостью раскланивался с ними в присутствии мадам. Впрочем, он гулял ради самой ходьбы, почти не разговаривал, волочил ноги с тупым и чванливым видом; в праздничном наряде он казался чопорным и неуклюжим. Терезе было в тягость идти под руку с таким человеком.

Госпожа Ракен обычно провожала детей до конца пассажа. Она целовала их, словно они отправлялись в далекое путешествие. Напутствиям и всяким просьбам не было конца.

— Главное — остерегайтесь несчастных случаев,— говорила она.— В Париже такая уйма экипажей! Обещайте, что будете сторониться толпы...

Наконец она отпускала их, но еще долго смотрела им вслед. Потом она возвращалась в лавку. Ноги у нее быстро уставали, и она не могла много ходить.

В редких случаях супруги уезжали за город; они отправлялись в Сент-Уен или в Аньер и закусывали в каком-нибудь ресторанчике на берегу реки. То были дни великих кутежей, разговоры о

которых начинались еще за месяц. На такие поездки Тереза соглашалась охотно, почти с радостью, потому что это позволяло ей пробыть на свежем воздухе часов до десяти — одиннадцати вечера. Сент-Уен с его зелеными островками напоминал ей Вернон; там в ней вновь просыпалось дикарское пристрастие к Сене, как бывало в дни девичества. Тереза садилась на гальку, окунала руки в воду, и под жгучим солнцем, зной которого умерялся свежими дуновениями из-под тенистых деревьев, она снова чувствовала, что живет. Ей случалось и разорвать и испачкать платье глиной или камешками; зато Камилл аккуратно расстилал носовой платок и осторожно, с опаской, усаживался возле нее. В последнее время молодые люди почти всегда приглашали с собою Лорана, и он оживлял эти поездки своим крестьянским хохотом и удалью.

Однажды, часов в одиннадцать, позавтракав, Камилл, Тереза и Лоран отправились в Сент-Уен. Поездка была задумана еще давно, и ею предполагалось завершить летний сезон. Надвигалась осень, по вечерам в воздухе тянуло холодком.

Но в то утро небо еще было безоблачно-синее. Солнце грело по-летнему, даже в тени было тепло. А потому решили, что грех не воспользоваться этими последними солнечными лучами.

Друзья втроем уселись на извозчике, напутствуемые вздохами и слезными излияниями старой лавочницы. Они проехали через весь Париж и расплатились с извозчиком у городского вала, потом пошли пешком по шоссе в Сент-Уен. Был полдень. Покрытая пылью дорога под лучами яркого солнца слепила глаза, как снег. Тяжелый, накаленный воздух обжигал лица. Тереза шла мелкими шажками под руку с мужем, прячась от солнца под зонтиком; Камилл обмахивался огромным носовым платком. Позади шел Лоран; солнце жгло ему шею, но он этого не замечал; он посвистывал, ногою раскидывал камешки и временами бросал плотоядные взгляды на колышущиеся бедра любовницы.

Дойдя до Сент-Уена, они сразу же занялись поисками подходящего местечка, чтобы устроиться в тени деревьев на мураве. Они переправились на один из островков и пошли в глубь рощи. Опавшие листья лежали красноватым ковром и сухо шуршали под ногами. Стволы деревьев отвесно тянулись вверх, бесчисленные, как пучки готических колонок; ветви свисали до самых лиц, так что гуляющие видели перед собою только медно-багряную умирающую листву да светлые и черные стволы осин и дубов. Они оказались в полном уединении, в грустной глуши, на узкой прогалине, безмолвной и прохладной. Со всех сторон доносился рокот Сены.

Камилл выбрал сухое местечко, подобрал полы сюртука и уселся; Тереза, прошумев накрахмаленными юбками, улеглась на

опавшие листья; поднявшееся вокруг нее платье наполовину скрыло ее, зато нога ее обнажилась до самого колена. Лоран лег на живот и уперся подбородком в землю; он уставился на ногу Терезы и слушал, как его приятель возмущается правительством: Камилл требовал, чтобы все островки, рассеянные по Сене, были преобразованы в английские парки с подстриженными деревьями, со скамейками, с аллеями, усеянными песком, как в Тюильри.

Они пробыли на этой прогалине около трех часов, в ожидании когда спадет жара, чтобы перед обедом погулять по окрестностям. Камилл говорил о своей службе, рассказал несколько глупейших историй, потом усталость одолела его, он откинулся навзничь и уснул, прикрыв лицо шляпой. Тереза уже давно сомкнула глаза и притворилась, будто спит.

Тогда Лоран потихоньку подполз к ней; он вытянулся и поцеловал ее ботинок и лодыжку. Кожа ботинка, белый чулок молодой женщины обожгли ему губы. Терпкий запах земли и легкое благоухание, веявшее от молодой женщины, сливались воедино и пронизывали его насквозь, воспламеняя кровь, взвинчивая нервы. Уже целый месяц он жил в воздержании и кипел от злости. Прогулка по Сент-Уенскому шоссе под палящим солнцем взбудоражила ему кровь. А теперь он находится тут, в никому неведомом глухом уголке, среди великой неги и прохлады,— и лишен возможности прижать к груди женщину, которая ему принадлежит. Муж может проснуться, увидеть, свести на нет все его расчеты и меры предосторожности. Этот человек — постоянное препятствие. И любовник, распластавшись на земле, прячась за юбками, дрожа и негодуя, безмолвно осыпал поцелуями ботинок и белый чулок Терезы. Она лежала не шевелясь, как мертвая. Лоран подумал, что она спит.

Он встал и прислонился к дереву; спину у него ломило. Тут он заметил, что молодая женщина смотрит в небо, широко раскрыв влажные глаза. Лицо ее, обрамленное запрокинутыми руками, было матово-бледное, холодное и неподвижное. Тереза задумалась. Застывший ее взгляд казался темной бездной, где парит беспросветная ночь. Любовник стоял позади нее, но она не шевельнулась, не взглянула на него.

Лоран любовался ею, и ему было страшновато, что она так неподвижна и ничем не отвечает на его взгляд. Ее мертвенное лицо, белевшее на фоне черных волос, повергло его в какой-то ужас, полный жгучих желаний. Ему хотелось бы наклониться и поцелуем закрыть эти большие, пристально смотрящие глаза. Но возле нее, чуть ли не среди ее юбок, спал Камилл. Это жалкое существо, с хилым, неуклюжим телом, тихонько похрапывало; из-под шляпы, наполовину скрывавшей его лицо, виднелся раскры-

тый рот, сведенный сном в глупую гримасу; редкие рыжеватые волоски, покрывавшие тщедушный подбородок, обозначились грязными полосками на мертвенно-бледной коже; он лежал, запрокинув голову, и виднелась его тощая, морщинистая шея с выступающим кирпично-красным кадыком, который приподнимался при каждом вздохе. В такой позе Камилл был удручающе безобразен.

Лоран посмотрел на него и вдруг поднял ногу. Он хотел было одним ударом раздавить его.

Тереза еле сдержала возглас. Она побледнела, зажмурилась, потом отвернулась, как бы защищаясь от брызг крови.

Несколько мгновений Лоран стоял, занеся ногу над лицом спящего. Потом медленно опустил ее и отошел на несколько шагов. Он сообразил, что так убить Камилла было бы глупо. Из-за этой раздавленной головы вся полиция обрушится на него. Он хотел избавиться от Камилла только для того, чтобы жениться на Терезе; он намеревался после преступления зажить на вольной воле, как тот убийца ломового, о котором рассказывал Мишо.

Он подошел к реке, тупо посмотрел, как течет вода. Потом резко повернул назад в рощу; в этот миг он окончательно избрал определенный план, замыслил убийство удобное и вполне безопасное для него самого.

Чтобы разбудить Камилла, он стал щекотать ему нос соломинкой. Камилл чихнул, встал; проделка приятеля привела его в восторг. Он любил Лорана за его постоянные шутки; они очень смешили его. Потом он растолкал жену, которая лежала с закрытыми глазами; Тереза поднялась, стряхнула с помятых юбок приставшие листья, и друзья двинулись дальше, ломая попадавшиеся по пути веточки.

Они переправились на берег и пошли по дорожкам, по тропинкам, где им то и дело встречались принаряженные компании. Вдоль изгородей бегали девушки в светлых платьях; с песней проплывали гребцы; вереницы мещанских парочек, стариков, приказчиков с женами медленно тянулись вдоль рвов. Каждая дорожка превратилась в многолюдную, шумную улицу. Только солнце хранило обычное величавое спокойствие; оно клонилось к горизонту и устилало багряные деревья, белые дороги широкими пеленами бледного света. С похолодевшего неба стала спускаться пронизывающая свежесть.

Камилл уже не шел под руку с Терезой; он разговаривал с Лораном, смеялся его шуткам и выходкам, а тот потешно перепрыгивал через канавы и кидал вверх большие камни. Молодая женщина шла по другой стороне дороги, склонив голову; время от времени она нагибалась, чтобы сорвать травку. Немного отстав, она останавливалась и издали наблюдала за любовником и мужем;

— Скажи, ты не проголодалась? — крикнул ей наконец Камилл.

— Проголодалась,— ответила она.

— В таком случае идем!

Тереза не проголодалась; она просто-напросто утомилась, и на душе у нее было неспокойно. Она ничего не знала о замыслах Лорана, и все же ноги у нее подкашивались от тревоги.

Они опять вышли к реке и стали искать ресторан. Они устроились на дощатой террасе какого-то трактирчика, провонявшего салом и вином. Заведение гудело от криков, песен и грохота посуды; все залы, все кабинеты были полны, посетители разговаривали во весь голос, и тонкие перегородки ничуть не приглушали весь этот гам. Лестница сотрясалась от беготни официантов.

Наверху, на балконе, дувший с реки ветерок разгонял трактирный чад. Тереза облокотилась о балюстраду и смотрела на пристань. Справа и слева в два ряда тянулись ярмарочные балаганы и закусочные; в беседках, сквозь редкие пожелтевшие листья, виднелись белые скатерти, черные пятна пальто, яркие юбки женщин; люди без шляп сновали взад и вперед, бегали, смеялись, и к пронзительному рокоту толпы примешивались надрывающие душу звуки шарманки. В застывшем воздухе носился запах пыли и жареной рыбы.

Внизу, на вытоптанной лужайке, девушки из Латинского квартала водили хоровод под детскую песенку. Шляпки у них слетели на плечи, волосы распустились; они держались за руки и играли, словно девочки. Они пели, как в былые дни, свежими тоненькими голосами; нежный, девственный румянец заливал их обычно бледные лица, истрепанные грубыми ласками, в больших порочных глазах поблескивали слезинки умиленья. Студенты с белыми глиняными трубками в зубах наблюдали за хороводом, отпуская сальные шуточки.

А подальше, над Сеной, над холмами спускалась вечерняя тишь; зыбкий синеватый воздух окутывал деревья прозрачной дымкой.

— Эй, официант! А как же насчет обеда? — крикнул Лоран, перегнувшись через перила лестницы.

Потом, как бы спохватившись, сказал:

— Послушай, Камилл, а не покататься ли нам перед обедом на лодке?.. За это время и цыпленок наш изжарится. А то скучища дожидаться целый час.

— Как хочешь,— равнодушно ответил Камилл.— Вот только Тереза проголодалась.

— Нет, нет, я могу подождать,— поспешно ответила молодая женщина, заметив пристальный взгляд Лорана.

Они спустились вниз. Проходя мимо конторки, они заказали столик, выбрали меню и предупредили, что вернутся через час. Они попросили трактирщика отвязать для них одну из лодок, которые он держал для посетителей. Лоран выбрал такую утлую лодочку, что Камилл испугался.

— Черт возьми,— заметил он,— в ней надо сидеть не шелохнувшись. А не то бултых в воду.

Откровенно говоря, он страшно боялся воды. Когда они жили в Верноне, Камилл по слабости здоровья не мог барахтаться в Сене; в то время как его школьные товарищи при первой возможности лезли в воду, ему приходилось кутаться в теплые одеяла. Лоран отлично плавал и был неутомимым гребцом, а у Камилла навсегда остался страх перед глубокой водой, свойственный детям и женщинам. Он постукал ногой по лодке, словно желая убедиться в ее прочности.

— Чего же ты? Влезай! — весело крикнул ему Лоран.— Все трясешься.

Камилл шагнул за борт и, пошатываясь, направился на корму. Почувствовав под ногами доски, он успокоился, уселся и стал шутить, чтобы показать, какой он храбрый.

Тереза стояла на берегу, возле любовника, серьезная и неподвижная. Лоран держал в руках веревку. Он склонился к Терезе и быстро прошептал:

— Имей в виду... я сброшу его в воду... Слушайся меня... Я за все отвечаю.

Молодая женщина смертельно побледнела и застыла на месте как вкопанная. Она вся подобралась, широко раскрыв глаза.

— Садись же,— добавил Лоран.

Она не шевелилась. В душе у нее шла страшная борьба. Она напрягла всю свою волю, опасаясь, что вот-вот разразится рыданиями и упадет без чувств.

— Эй, эй, Лоран! — закричал Камилл.— Посмотри-ка на Терезу. Вот кто трусит-то... Гадает — садиться, не садиться...

Он устроился на задней лавочке, уперся локтями в борта и лихо раскачивался. Тереза бросила на него какой-то особенный взгляд; шуточки этого ничтожества подстегнули ее как удар бича, и она порывисто прыгнула в лодку. Она уселась на носу. Лоран взял весла. Лодка отчалила, медленно направляясь к островкам.

Спускались сумерки. От деревьев падали густые тени, и вода у берега была совсем черная. На середине реки тянулись широкие бледно-серебряные полосы. Вскоре лодка вышла на стремнину. Здесь шум с берега слышался глуше; песни, крики доносились сюда неясные и грустные, проникнутые какой-то печальной исто-

мой. Тут уже не пахло ни жареной рыбой, ни пылью. Тянуло холодком. Было свежо.

Лоран перестал грести и пустил лодку по течению.

Перед ними виднелись красноватые очертания длинного острова. Темно-коричневые, испещренные серыми пятнами берега тянулись, словно две широкие ленты, сходящиеся на горизонте. Вода и небо, казалось, были скроены из одной и той же беловатой ткани. Нет ничего печальнее и безмолвнее осенних сумерек. Лучи света бледнеют в холодеющем воздухе, состарившиеся деревья сбрасывают сухие листья. Поля, спаленные жгучим летним солнцем, предчувствуют близкую смерть, которая надвигается вместе с первыми порывами холодного ветра. В небесах — жалобное веяние безнадежности. С высоты, расстилая погребальные саваны, спускается мрак.

В лодке все молчали. Отдавшись на волю течения, они наблюдали, как последние лучи света покидают вершины деревьев. Лодка приближалась к островкам. Их красноватые очертания становились все темнее; в сумерках ландшафт все более и более упрощался; Сена, небо, островки, холмы — все теперь превратилось в коричневые и серые пятна, залитые молочно-белым туманом.

Камилл в конце концов лег на дно лодки, высунул за борт голову и свесил руки в воду.

— Черт возьми, до чего холодно! — воскликнул он.— Избави боже окунуться в такую жижу!

Лоран промолчал. Он тревожно всматривался в берега; губы его были сжаты, могучие руки ерзали по коленям. Тереза, скованная, неподвижная, слегка закинув голову, ждала.

Лодку тянуло в небольшой темный, узкий пролив между двумя островками. За одним из островков слышалась приглушенная песнь гребцов, по-видимому плывших против течения. Вдали, повыше, на реке не было ни души.

Вдруг Лоран встал и обхватил Камилла за талию. Конторщик захохотал.

— Брось, щекотно,— сказал он,— брось, что за шутки!.. Ты меня вывалишь.

Лоран сжал его еще крепче, рванул. Камилл повернулся и увидел страшное, перекошенное лицо друга. Он не понял; его обуял смутный ужас. Он хотел было крикнуть, но почувствовал, что крепкая рука сжимает ему горло. Инстинктивно, как животное, защищающее свою жизнь, он привстал на колени и вцепился в борт. Несколько мгновений он боролся в таком положении.

— Тереза! Тереза! — позвал он сдавленным, хрипящим голосом.

Молодая женщина смотрела, держась обеими руками за лавочку; челнок вертелся на воде, скрипел. Она была не в силах зажмуриться; от какой-то страшной судороги глаза ее широко раскрылись, взгляд был прикован к отвратительному зрелищу борьбы. Она сидела, онемев и застыв на месте.

— Тереза! Тереза! — снова прохрипел несчастный.

При последнем его зове Тереза разразилась рыданиями. Нервы не выдержали. Начался припадок, которого она опасалась, и она, вся дрожа, бросилась на дно лодки. Она лежала там, скорчившись, обессилев, полумертвая.

Лоран все тряс Камилла, а другой рукою сдавливал ему горло. Наконец ему удалось оторвать свою жертву от лодки. Теперь он держал Камилла в воздухе, как ребенка, на вытянутых могучих руках. При этом Лоран немного склонил голову, обнажив шею, и тут несчастный, обезумев от ужаса и ярости, изогнулся и зубами впился ему в шею. Когда убийца, чуть не вскрикнув от боли, резким движением швырнул свою жертву в реку, в зубах у нее остался кусочек его кожи. Камилл с воем рухнул в воду. Он еще два-три раза всплывал на поверхность, и с каждым разом вопли его становились все глуше.

Лоран не потерял ни секунды. Он поднял воротник пальто, чтобы скрыть рану. Потом схватил бесчувственную Терезу, ногой опрокинул лодку и бросился в Сену с любовницей на руках. Он поддерживал ее над водой и отчаянно звал на помощь.

Гребцы, песню которых он слышал из-за острова, изо всех сил гребли в их сторону. Они догадались, что случилось несчастье; они вытащили из воды сначала Терезу и уложили ее на скамью, потом Лорана, который был в полном отчаянии от гибели друга. Он бросился в воду, искал Камилла в местах, где тот никак не мог быть, и вернулся весь в слезах, заламывая руки, рвал на себе волосы. Гребцы старались хоть немного успокоить его, утешить.

— Это моя вина,— кричал он,— мне не следовало позволять несчастному плясать и возиться в лодке... Мы незаметно оказались все трое у одного борта, и лодка опрокинулась... Падая, он крикнул мне, чтобы я спасал его жену...

Как всегда бывает в таких случаях, среди гребцов оказалось два-три человека, которые воображали, будто несчастье случилось у них на глазах.

— Мы вас отлично видели,— говорили они.— Что и говорить, ведь лодка не паркет. Ах, бедная женщина! Что с нею будет, когда она очнется!

Они снова взялись за весла, повели за собою лодку потерпевших и доставили Терезу и Лорана в ресторан, где заказанный ими обед был уже готов. Пять минут спустя весть о несчастье

разнеслась по всему Сент-Уену. Гребцы рассказывали о нем как очевидцы. Перед рестораном собралась сердобольная толпа.

Ресторатор и его жена были добрые люди; они предоставили пострадавшим все, что им надо было из одежды. Когда Тереза пришла в себя, у нее начался нервный припадок, она разразилась душераздирающими воплями; пришлось уложить ее в постель. Человеческая природа пришла на помощь разыгравшейся зловещей комедии.

Когда молодая женщина немного успокоилась, Лоран поручил ее заботам хозяев. Он хотел вернуться в Париж один, якобы для того, чтобы сообщить г-же Ракен страшную весть как можно осторожнее. А на самом деле он опасался нервного возбуждения Терезы. Он хотел дать ей время все тщательно рассчитать и разучить свою роль.

Обед Камилла съели гребцы.

XII

В темном углу омнибуса, по дороге в Париж, Лоран окончательно обдумал план действия. Он был почти уверен, что все пройдет безнаказанно. Им овладела гнетущая, тревожная радость,— радость завершенного преступления. У заставы Клиши он пересел на извозчика и направился к старику Мишо, на Сенскую улицу. Было девять часов вечера.

Бывшего полицейского комиссара он застал за столом, в обществе Оливье и Сюзанны. Он приехал сюда, чтобы заручиться покровительством на случай, если на него падет подозрение, а также и для того, чтобы не самому сообщить страшную весть г-же Ракен. Мысль о разговоре с ней была ему как-то странно невыносима; он ожидал такого отчаяния, что боялся не справиться со своей ролью и показаться недостаточно расстроенным; да и горе матери было ему тягостно, хотя, в сущности, он не особенно задумывался над этим.

Увидев Лорана в грубой одежде, которая к тому же была ему не впору, Мишо устремил на него удивленный взгляд. Лоран упавшим голосом, как бы задыхаясь от горя и усталости, рассказал о случившемся.

— Я пришел за вами,— закончил он,— я не знал, как быть с несчастными женщинами... на них обрушилось такое страшное горе... Я не решаюсь один явиться к матери. Прошу вас, пойдемте со мной.

Пока он говорил, Оливье пристально смотрел на него, смотрел прямо в лицо, и этот взгляд приводил Лорана в ужас. К этим

людям, причастным к полиции, убийца бросился очертя голову, в порыве отваги, который, по его расчету, и должен был его спасти. И все же он не мог не содрогаться, чувствуя на себе взгляд Оливье: ему мерещилась подозрительность там, где было только оцепенение и жалость. Сюзанна стала еще бледнее обычного; казалось, она вот-вот лишится чувств. Мысль о смерти страшила и Оливье, но сердце его оставалось безучастным; на лице его появилась гримаса скорбного удивления, и в то же время он по привычке испытующе всматривался в Лорана, ни в малейшей степени, однако, не подозревая страшной истины. Что касается старика Мишо, то у него поминутно вырывались восклицания ужаса, сочувствия, изумления; он ерзал на стуле, складывал руки, поднимал глаза к небу.

— Боже мой! — говорил он прерывающимся голосом.— Боже мой! Какой ужас!.. Человек выходит из дому, и так вот... сразу... конец... Чудовищно! А бедная госпожа Ракен, несчастная мать,— как мы ей скажем? Конечно, вы правильно поступили, что пришли за нами... Мы пойдем вместе...

Он встал, начал топтаться по комнате, метался, разыскивая трость и шляпу, и во время этой суеты продолжал расспрашивать о подробностях несчастья, сопровождая восклицаниями каждую фразу.

Они вчетвером вышли из дому. У входа в пассаж Пон-Неф Мишо остановил Лорана.

— Вы не входите,— сказал он.— Ваше появление послужит жестоким подтверждением того, что произошло... Этого надо избежать. Несчастная сразу же догадается, что случилась беда, и мы будем вынуждены сказать ей правду без необходимой подготовки. Ждите нас здесь.

Убийце такое предложение было на руку — он содрогался при одной мысли, что ему придется войти в магазин. Он успокоился и стал беспечно ходить взад и вперед по тротуару. Временами он забывал о том, что сейчас происходит, рассматривал витрины, посвистывал сквозь зубы, оборачивался на женщин, которые задевали его мимоходом. Так он пробыл на улице около получаса, и к нему постепенно возвращалось обычное хладнокровие.

Он с самого утра ничего не ел; теперь он почувствовал, что голоден, зашел в кондитерскую и наелся пирожными.

В магазине Ракенов разыгрывалась душераздирающая сцена. Несмотря на все предосторожности, принятые стариком Мишо, на его старания говорить как можно мягче и бережнее, настал момент, когда г-жа Ракен поняла, что с ее сыном случилось несчастье. С этого мгновенья она стала настаивать, чтобы ей ска-

зали правду, и требовала ее в таком порыве безнадежности, с такими безудержными слезами и криками, что ее старый друг не выдержал. А когда она узнала правду, ее скорбь достигла трагической силы. Она глухо рыдала, судорожно откидывалась навзничь; ею овладели безумное отчаяние и ужас; она сидела, задыхаясь, и время от времени испускала резкие вопли, которые вырывались из самых глубин ее страдающего существа. Она бросилась бы на пол, если бы Сюзанна не обняла ее за талию и не рыдала у нее на коленях, по временам обращая к ней свое побелевшее лицо. Оливье с отцом стояли растерянные и молчаливые, эгоистически отвертываясь от тягостного зрелища.

А несчастной матери представлялся ее сын, которого влекут мутные воды Сены, представлялось его окоченевшее, страшно вздувшееся тело; в то же время он представлялся ей еще в колыбели, младенцем, каким был, когда она защищала его от склонившейся над ним смерти. Она даровала ему жизнь больше десяти раз, она любила в нем всю ту любовь, которой окружала его целых тридцать лет. И вот он умер вдали от нее, внезапно, в холодной, грязной воде, словно собака. Она вспоминала, как кутала его в теплые одеяла. Сколько внимания, какое уютное детство, сколько нежности и ласк,— и все только затем, чтобы наконец увидеть его жалким утопленником. От этих мыслей у г-жи Ракен сжималось горло; ей хотелось, чтобы отчаяние задушило ее насмерть.

Старик Мишо поспешил уйти. При торговке он оставил сноху, а сам с Оливье пошел к Лорану, чтобы вместе поскорее отправиться в Сент-Уен.

Дорогой они обменялись лишь двумя-тремя фразами. Они ехали на извозчике, прикорнув по уголкам кареты и покачиваясь от встрясок на неровной мостовой. Они сидели молча, не двигаясь; в экипаже царил сумрак. По временам мелькающие газовые фонари бросали на их лица резкий свет. Страшное несчастье, объединившее их, создавало атмосферу какой-то мрачной безнадежности.

Приехав наконец в речной ресторанчик, они застали Терезу в постели; голова и руки у нее горели. Хозяин шепотом сказал им, что у молодой дамы сильный жар. В действительности же Тереза, чувствуя себя слабой и растерянной, боялась невзначай проговориться и решила заболеть. Она хранила мрачное молчание, не открывала глаз и рта, не хотела никого видеть, боялась говорить. Укрывшись до подбородка, почти зарывшись лицом в подушку, она вся съежилась и тревожно прислушивалась к тому, что говорили вокруг нее. А в красных отсветах, которые пробивались сквозь ее опущенные веки, ей все мерещились Камилл и

Лоран, борющиеся у борта лодки, ей представлялся муж — смертельно бледный, жуткий, как-то покрупневший и вытянувшийся во весь рост над мутной водой. Неотступное видение не давало ей покоя.

Старик Мишо попробовал было с ней заговорить, утешить ее. Она сделала нетерпеливое движение, отвернулась и снова зарыдала.

— Оставьте ее, сударь,— сказал хозяин.— Она вздрагивает от малейшего звука... Ей лучше всего покой.

Внизу, в общем зале, полицейский составлял протокол. Мишо с сыном и Лоран пошли туда. Когда выяснилось, что Оливье — руководящий чиновник префектуры, с формальностями было покончено в десять минут. Гребцы все еще находились тут и, выдавая себя за очевидцев, рассказывали о происшествии с мельчайшими подробностями, в точности описывали, как трое находившихся в лодке упали в воду. Будь у Оливье и его отца малейшее сомнение, оно рассеялось бы от таких показаний. Но они ни на мгновение не усомнились в правдивости Лорана; наоборот, они его обрисовали полицейскому агенту как лучшего друга погибшего и позаботились о том, чтобы в протоколе было отмечено, что молодой человек бросился в воду и пытался спасти Камилла Ракена. На другой день пресса поведала о несчастье, пышно обставив его всевозможными подробностями; несчастная мать, безутешная вдова, благородный, самоотверженный друг — все было налицо в описании катастрофы; заметка обошла все столичные газеты, а оттуда перекочевала в провинциальные.

Когда протокол был подписан, Лоран почувствовал живейшую радость; она разлилась по всему его существу и как бы наполнила его новою жизнью. С того мгновенья, когда жертва вонзилась ему в шею зубами, он как бы окоченел, он действовал автоматически, в соответствии с давно разработанным планом. Им руководил инстинкт самосохранения, он подсказывал ему слова, направлял его движения. Теперь же, когда появилась уверенность, что все пройдет безнаказанно, кровь в его жилах вновь потекла с приятной неторопливостью. Полиция прошла мимо его преступления, полиция ничего не разглядела; он провел ее, она его отпустила. Он спасен. При этой мысли все тело его покрывалось испариной; радостное тепло пронизывало весь его организм и возвращало гибкость телу и уму. Он с несравненным искусством и самоуверенностью продолжал разыгрывать роль безутешного друга. В действительности же он испытывал скотское удовлетворение; он мечтал о Терезе, которая лежала в комнате наверху.

— Нельзя оставить здесь эту несчастную,— сказал он Мишо.— Быть может, у нее начинается опасная болезнь, ее непременно

надо перевезти в город... Пойдемте, мы сообща уговорим ее ехать с нами.

Они поднялись в комнату, где лежала Тереза, и Лоран стал убеждать ее, умолял ее встать и позволить перевезти себя в пассаж Пон-Неф. При звуке его голоса молодая женщина содрогнулась; она широко раскрыла глаза и посмотрела на него. Она была какая-то одуревшая и вся трепетала. Она ни слова не ответила и с трудом поднялась. Мужчины вышли, оставив ее вдвоем с женой трактирщика. Она оделась, шатаясь сошла вниз и с помощью Оливье села на извозчика.

Ехали они молча. Лоран с неподражаемой дерзостью и бесстыдством засунул руку в складки юбки Терезы и коснулся ее пальцев. Он сидел напротив нее, в колеблющемся сумраке, лица ее он не видел — она опустила голову на грудь. Он завладел ее рукой, сильно пожал ее и не выпускал до самой улицы Мазарини. Он чувствовал, как рука ее дрожит; но она не отнимала ее, наоборот — отвечала порывистой лаской. Их слившиеся руки горели; влажные ладони пристали одна к другой, крепко сжатым пальцам становилось больно при каждой встряске. Лорану и Терезе казалось, что через сплетенные руки кровь переливается у них из сердца в сердце; руки становились пылающим очагом, на котором бурно кипела их жизнь. Среди ночи и тоскливого безмолвия, которым, казалось, не будет конца, эти взаимные пылкие пожатия были как бы чугунной гирей, которую они бросали в Камилла, чтобы он не мог всплыть на поверхность реки.

Когда извозчик остановился, первыми сошли Мишо с сыном. Лоран склонился к любовнице и ласково прошептал:

— Крепись, Тереза. Ждать придется долго... Помни это.

Молодая женщина после смерти мужа еще не проронила ни слова. Теперь она в первый раз раскрыла рот.

— Конечно... буду помнить...— сказала она, вздрогнув, еле слышным голосом.

Оливье протянул руку, чтобы помочь ей выйти из кареты. На этот раз Лоран вошел в магазин. Г-жа Ракен лежала в тяжелом бреду. Тереза кое-как добралась до своей постели; Сюзанна едва успела ее раздеть. Успокоившись, убедившись, что все идет как нельзя лучше, Лоран удалился. Он не спеша отправился домой, в каморку на улице Сен-Виктор.

Было уже за полночь. По пустынным, безмолвным улицам пробегал свежий ветерок. Шагая по каменным плитам тротуара, молодой человек слышал только размеренный звук своих собственных шагов.

Прохлада была ему приятна; тишина и сумрак окутывали его какой-то негой. Он наслаждался прогулкой.

Наконец-то — с плеч долой преступление! Он убил Камилла. Дело сделано, и о нем скоро перестанут говорить. Теперь он заживет спокойно, в ожидании дня, когда можно будет окончательно завладеть Терезой. Мысль об убийстве часто угнетала его как тяжкий груз; теперь, когда убийство было осуществлено, в груди у него стало просторно, дышалось легко, он избавился от страданий, причиняемых нерешительностью и страхом.

Говоря по правде, он чувствовал себя несколько одурманенным; усталость сковывала его тело и мысль. Он вернулся домой и крепко заснул. Во сне по лицу его пробегала легкая судорога.

XIII

На другой день Лоран, проснувшись, почувствовал себя свежим и спокойным. Он отлично выспался. Прохлада, веявшая из окна, подхлестывала его застоявшуюся кровь. Он еле припоминал события минувшего дня; если бы не жгучая боль в шее, ему бы казалось, что он накануне провел вечер безмятежно и лег спать часов в десять. Укус Камилла он ощущал как прикосновение раскаленного железа; когда он мысленно сосредоточился на этой боли, она стала совсем нестерпимой. Ему казалось, будто целая дюжина иголок медленно вонзается ему в тело.

Он отвернул воротничок рубашки и посмотрел на рану в гро-шовое зеркальце, висевшее на стене. Рана представляла собою кружок диаметром в два су; кожа была сорвана, обнажилось мясо — розоватое, с черными пятнышками; кровь струйками стекла до самого плеча и запеклась чешуйчатыми полосками. На фоне белой шеи укус выделялся темно-коричневым, четко выступавшим пятном; оно было справа, под ухом. Лоран разглядывал рану, согнувшись и вытянув шею, и зеленоватое зеркальце отражало его чудовищно искаженное лицо.

Он тщательно умылся; осмотр раны успокоил его, он решил, что не пройдет и нескольких дней, как все зарубцуется. Он оделся и, по обыкновению, спокойно отправился в контору. Там он взволнованным голосом рассказал о происшествии. Когда же сослуживцы прочли сообщение о катастрофе, появившееся во всех газетах, Лоран стал настоящим героем. Целую неделю у служащих Орлеанской железной дороги не было другой темы для разговоров: они гордились тем, что один из их товарищей утонул. Гриве без умолку рассуждал о том, сколь опасно пускаться по Сене на лодке, когда можно так удобно любоваться рекой с мостов.

В душе Лорана все же оставалась какая-то смутная тревога. Смерть Камилла нельзя было засвидетельствовать в официальном порядке. Спору нет, муж Терезы умер, но убийце хотелось бы,

чтобы его труп отыскался и смерть была запротоколирована как полагается. На другой день после катастрофы были организованы поиски утопленника, однако результатов они не дали; высказывались предположения, что он попал в какой-нибудь бочаг под крутым берегом. В надежде на хорошее вознаграждение водолазы тщательно обследовали реку.

Лоран считал нужным каждое утро, по дороге на службу, заходить в морг. Он дал себе слово все делать сам. Несмотря на отвращение, несмотря на ужас, который порою охватывал его, он целую неделю изо дня в день осматривал всех утопленников, лежащих на каменных плитах морга.

При входе его сразу же обдавало тошнотворным пресным запахом вымоченного мяса, по коже пробегал холодок; одежда его как бы тяжелела от сырости, покрывавшей стены, и давила ему плечи. Он шел прямо к стеклянной перегородке, отделяющей посетителей от трупов; он прижимался бледным лицом к стеклу и смотрел. Перед ним тянулись ряды серых плит. На них там и сям зелеными, желтыми, белыми и красными пятнами лежали обнаженные тела; некоторые из них, хоть и скованные смертью, все же сохранились в девственной неприкосновенности, другие казались кучами кровавого разложившегося мяса. В глубине, у стены, болтались и гримасничали на голой штукатурке жалкие лохмотья юбок и брюк. Сначала Лоран различал только совокупность белесых плит и стен, испещренных рыжими и черными пятнами одежды или трупов. Журчала проточная вода.

Понемногу он начинал различать тела. Тогда он переходил от одного к другому. Его интересовали только утопленники; когда бывало несколько трупов, раздувшихся и посиневших от воды, он жадно всматривался в них, стараясь опознать Камилла. Нередко с их лиц кусками отваливалось мясо, кости распарывали размякшую кожу, лица казались как бы вареными и бескостными. Лоран колебался; он разглядывал тела, стараясь узнать худую фигуру своей жертвы. Но все утопленники оказывались упитанными; он видел перед собою огромные животы, разбухшие ляжки, полные, округлые руки. Он терялся; он стоял, содрогаясь, перед зеленоватыми останками, которые словно посмеивались над ним и строили отвратительные рожи.

Однажды им овладел подлинный ужас. Он несколько минут разглядывал невысокого, страшно обезображенного утопленника, тело которого настолько размякло и разложилось, что вода, обмывая его, уносила с собою мелкие кусочки ткани. Струйка, лившаяся ему на лицо, проточила слева от глаза небольшое углубление. И вдруг нос сплющился, губы приоткрылись и обнажили белые зубы. Утопленник расхохотался.

Каждый раз, когда Лорану казалось, что он узнает свою жертву, он чувствовал в сердце как бы ожог. Ему страстно хотелось найти тело Камилла, но едва лишь ему начинало казаться, что труп перед ним,— его охватывал ужас. Посещение морга доводило его до кошмаров, до судорог, которые душили его. Он старался побороть страх, укорял себя в ребячестве, хотел быть мужественным; но, помимо воли, как только он попадал в сырой, зловонный зал, организм его восставал, отвращение и ужас пронизывали все его существо.

Когда в последнем ряду плит не бывало утопленников, ему дышалось легче, чувство отвращения становилось не столь удручающим. Тогда он превращался в любопытствующего обывателя; он с непонятным удовольствием смотрел прямо в лицо насильственной смерти, которая иной раз принимала зловеще-странный, причудливый облик. Это зрелище занимало его, особенно когда попадались женские трупы с обнаженной грудью. Бесстыдно выставленная нагота, запятнанная кровью, кое-где рассеченная, влекла его к себе и завладевала его вниманием. Однажды он увидел женщину из простонародья лет двадцати, полную и крепкую, которая словно уснула, склонившись на камень; ее свежее полное тело белело, переливаясь нежнейшими оттенками; на губах застыла полуулыбка, голова слегка свесилась, грудь заманчиво напряглась; если бы не черная полоска, обвившая шею темным ожерельем, можно было бы подумать, что это куртизанка, раскинувшаяся в сладострастной позе. Лоран долго рассматривал ее со всех сторон, отдаваясь какому-то трусливому вожделению.

Каждое утро, пока он находился здесь, он слышал, как за его спиной входят и выходят бесконечные посетители.

Морг — зрелище, доступное любому бедняку; это развлечение, которое на даровщинку позволяют себе и бедные и состоятельные прохожие. Дверь отворена — входи кому не лень. Иные любители, идя по делу, делают порядочный крюк, лишь бы не пропустить это зрелище смерти. Когда плиты пустуют, люди выходят разочарованные, словно обокраденные, и ворчат сквозь зубы. Когда же плиты густо усеяны, когда развернута богатая выставка человеческого мяса, посетители толпятся, наслаждаются дешевым волнением, ужасаются, шутят, рукоплещут или шикают, как в театре, и уходят удовлетворенные, говоря, что сегодня зрелище удалось на славу.

Лоран быстро познакомился с местными завсегдатаями,— завсегдатаями самыми различными, разношерстными, которые привыкли здесь сообща сокрушаться и зубоскалить. По пути на работу заходили мастеровые с хлебом и инструментами под мышкой; смерть казалась им чем-то весьма занятным. Среди них попада-

лись фабричные остряки, которые потешали публику, отпуская шуточки насчет любого трупа; обгоревших во время пожара они называли сухариками; повесившиеся, зарезанные, утонувшие, раздавленные и застреленные — все вдохновляли их на балагурство, и в трепетной тишине зала раздавались остроты, которые они отпускали слегка дрожащим голосом. Приходили и мелкие рантье, худые, сухонькие старички, и просто гуляющие, которые заглядывали сюда от безделья; эти мирные, безобидные люди с глупым удивлением рассматривали тела, и лица их кривились в гримасе. Бывало много женщин; приходили молодые работницы, розовенькие, в белоснежных кофточках, чистеньких юбках,— они проворно проходили вдоль стеклянной стены, широко раскрыв внимательные глаза, словно перед выставкой универсального магазина; были тут и женщины из простонародья, растерянные, принимавшие удрученный вид, а также хорошо одетые дамы, небрежно волочившие подолы шелковых платьев.

Однажды Лоран увидел такую даму,— она остановилась в нескольких шагах от окна и прижимала к носу батистовый платочек. На ней была прелестная серая шелковая юбка и широкая накидка из черных кружев; лицо ее было закрыто вуалеткой, руки в перчатках были очень маленькие и тонкие. Вокруг нее распространялся нежный запах фиалок. Она смотрела на труп. В нескольких шагах перед нею, на плите, лежало тело огромного парня, штукатура; он сорвался с лесов и расшибся насмерть; у него была могучая грудь, выпуклые собранные мускулы, белое упитанное тело; смерть превратила его в мрамор. Дама рассматривала юношу, взглядом как бы переворачивала его, взвешивала; она вся погрузилась в созерцание распростертого перед ней мужчины. Потом она чуть приподняла вуалетку, еще раз взглянула на труп и ушла.

Временами здесь появлялись ватаги мальчишек лет двенадцати — пятнадцати; они носились вдоль стеклянной стены и останавливались только перед трупами женщин. Они опирались руками о стекла и бесстыже разглядывали голые груди. Они локтями подталкивали друг друга, отпускали грубые замечания; они учились пороку в школе смерти. Именно в морге юные хулиганы обретают своих первых любовниц.

Походив целую неделю в морг, Лоран почувствовал непреодолимое отвращение. По ночам ему снились трупы, виденные утром. Тягостное чувство, отвращение, которое он ежедневно подавлял в себе, в конце концов до того измучило его, что он решил побывать в морге еще два раза и больше туда не ходить. На другой день, едва он вошел в зал, как почувствовал в груди сильный толчок: с одной из плит на него смотрел Камилл; он лежал на спине, прямо против него, голова его была приподнята, глаза полуоткрыты.

Убийца медленно подошел к стеклу, словно его влекла туда некая сила; он не мог оторвать взгляда от своей жертвы. Ему не было тяжело; он чувствовал только страшный холод где-то внутри и легкие уколы по всему телу. Он ожидал большего испуга. Минут пять, если не дольше, он стоял, не шевелясь, целиком погрузившись в бессознательное созерцание, и память его невольно запечатлевала все жуткие очертания, все грязные краски этой картины.

Камиллл был отвратителен. Он пробыл в воде две недели. Лицо его казалось еще плотным и упругим; характерные черты его сохранились, только кожа приняла желтый, грязноватый оттенок. Голова — костлявая, чуть припухшая — слегка склонилась. Худое лицо застыло в какой-то гримасе; к вискам прилипли волосы, веки были приподняты и обнажали белесые глазные яблоки; губы кривились в какой-то зловещей усмешке; между белыми полосками зубов виднелся кончик почерневшего языка. Казалось, эту голову дубили и растягивали, но она все еще хранила человеческий облик, а главное — хранила выражение безмерного страдания и ужаса. Зато тело представляло собою груду разложившейся ткани; оно сильно пострадало. Чувствовалось, что руки вот-вот отпадут; ключицы прорвали кожу на плечах. На позеленевшей груди черными полосами выделялись ребра; левый бок был распорот, и рана зияла, окруженная темно-красными обрывками кожи. Торс разлагался. Ноги были вытянуты; они казались покрепче, но были сплошь усеяны отвратительными пятнами. Ступни свисали.

Лоран всматривался в Камилла. Ни разу еще не видал он такого страшного утопленника. Вдобавок ко всему труп был какой-то куцый; в нем было что-то хилое, убогое; в процессе гниения он как-то весь подобрался, превратился в жалкий комочек. Всякий догадался бы, что перед ним — мелкий чиновник, недалекий и хворый, вспоенный отварами, которые готовила ему мать. Это бедное тело, выращенное под теплым одеялом, теперь зябло на холодной плите.

Когда Лорану удалось наконец преодолеть жгучее любопытство, сковавшее его силы и разум, он вышел и быстро зашагал по набережной. Шагая, он повторял: «Вот во что я его превратил. До чего он мерзок!» Ему казалось, что он все еще чувствует терпкий запах, запах, который должно издавать это разлагающееся тело.

Он отправился к старику Мишо и сообщил, что опознал Камилла в морге. Выполнили формальности, утопленника похоронили, составили надлежащий акт. Лоран, отныне успокоившийся, с каким-то восторгом старался поскорее забыть о своем преступлении и о тягостных, нудных сценах, которые последовали за убийством.

XIV

Три дня лавка в пассаже Пон-Неф не торговала. Когда она вновь открылась, она стала казаться еще более темной и сырой. Товары на витрине пожелтели от пыли и как бы оделись трауром, в который была погружена семья; они кое-как валялись за грязными стеклами. За бумажными чепцами, развешанными на ржавой проволоке, снова появилось лицо Терезы, но оно стало еще бледнее, тусклее и землистее и приобрело какую-то зловеще-спокойную неподвижность.

Сочувственным причитаниям пассажных кумушек не было конца. Торговка фальшивыми драгоценностями показывала каждой своей покупательнице исхудавшее лицо молодой вдовы, как любопытную, хоть и печальную достопримечательность.

Три дня г-жа Ракен и Тереза пролежали, не разговаривая и даже не видя друг друга. Старая торговка сидела в постели, откинувшись на подушки, и бессмысленно-тупо смотрела вдаль. Смерть сына подействовала на нее, словно удар обухом по голове, и она повалилась как убитая. Она целыми часами сидела, безразличная и спокойная, погрузившись в безмерное отчаяние; потом с нею вдруг начинались припадки, она плакала, кричала, бредила. Тереза в соседней комнате, по-видимому, спала; она отвернулась лицом к стенке и прикрыла глаза одеялом; так она лежала, вытянувшись, неподвижная и безмолвная, и ни единое движение, ни единый вздох не выдавали ее переживаний. Можно было подумать, что в сумраке алькова она скрывает мысли, которые так ее сковывают. За обеими женщинами ухаживала Сюзанна; она ласково переходила от одной к другой, неслышно ступая по полу, склонялась восковым лицом над их постелями, но ей не удавалось ни перевернуть Терезу, которая на ее попытки отвечала нетерпеливыми, резкими жестами, ни утешить г-жу Ракен, которая сразу же начинала плакать, как только чей-либо голос выводил ее из оцепенения.

На третий день Тереза, сбросив одеяло, порывисто, с лихорадочной решимостью села на постели. Она откинула волосы, сжала руками виски и на мгновенье замерла так — с неподвижным взглядом, держась за голову, словно что-то еще обдумывая. Потом она спрыгнула на ковер. Руки и ноги ее вздрагивали и горели; тело покрылось большими светлыми пятнами, и кожа местами морщилась, словно под нею не было мускулов. Она постарела.

Сюзанна вошла к ней как раз в этот момент и очень удивилась, застав ее на ногах; она спокойным, тягучим голосом посоветовала Терезе лечь и еще немного отдохнуть. Тереза не слушала ее; она отыскивала свое белье и, вся дрожа, торопливо одевалась. Одевшись, она подошла к зеркалу, протерла глаза, несколько раз

провела руками по лицу, как бы стирая с него что-то. Потом, ни слова не говоря, быстро направилась через столовую и вошла к г-же Ракен.

Старая торговка находилась в эту минуту в состоянии тупого покоя. Когда Тереза вошла, она повернула голову и уставилась на нее; Тереза, подавленная и безмолвная, села возле тети. Несколько секунд женщины рассматривали друг друга, племянница — со все возраставшей тревогой, тетя — мучительно силясь что-то припомнить. Вспомнив наконец, г-жа Ракен протянула дрожащие руки, обняла Терезу за шею и воскликнула:

— Бедный мой сынок, бедный мой Камилл!

Она плакала; слезы ее текли и высыхали на пылающей шее племянницы, которая прикрыла свои сухие глаза кончиком простыни. Тереза согнулась и замерла, предоставляя старухе матери выплакаться. С самого убийства она страшилась этой первой встречи; она нарочно не вставала с постели, чтобы оттянуть эту минуту, чтобы спокойно обдумать чудовищную роль, которую ей предстояло играть.

Когда г-жа Ракен немного успокоилась, Тереза засуетилась возле нее, стала ей советовать встать, спуститься в лавку. Старая торговка как бы впала в детство. Внезапное появление племянницы вызвало у нее благодетельную встряску, которая вернула ей память и способность воспринимать события и окружающих людей. Она стала благодарить Сюзанну за ее заботы, стала разговаривать, хоть и очень слабым голосом, но уже разумно; она оставалась во власти безысходной тоски, которая мгновениями совсем душила ее. Наблюдая, как Тереза передвигается по комнате, она внезапно заливалась слезами; она подзывала ее к себе, обнимала и сквозь рыдания говорила, что теперь, кроме племянницы, у нее уже никого нет на свете.

К вечеру она согласилась встать, попробовать поесть. Тут Тереза могла убедиться, какой страшный удар был нанесен тете. Ноги несчастной старухи отяжелели. Чтобы доползти до столовой, ей пришлось воспользоваться тростью; ей казалось, что стены комнаты качаются.

Однако она потребовала, чтобы на другой день открыли магазин. Она боялась, что сойдет с ума, если останется одна в своей комнате. Она с трудом спустилась по лестнице, ступая обеими ногами на каждую ступеньку, и села за конторку. С этого дня она сидела тут, не сходя с места, погруженная в тихую грусть.

А Тереза, не отлучавшаяся от нее, мечтала и ждала. В лавке воцарилась прежняя зловещая тишина.

XV

Лоран заходил к ним по вечерам каждые два-три дня. Он усаживался в лавке и с полчаса беседовал с г-жой Ракен. Потом уходил, даже не взглянув на Терезу. Старая торговка считала его спасителем племянницы, самоотверженным другом, который сделал все возможное, чтобы вернуть ей сына. Она встречала его с задушевной лаской.

Как-то в четверг, когда в лавке сидел Лоран, появились старик Мишо и Гриве. Часы били восемь. Чиновник и бывший полицейский, не сговариваясь, решили, что с их стороны не будет назойливостью, если они вернутся к дорогой их сердцу привычке, и вот они явились, минута в минуту, как бы движимые одной пружиной. Вслед за ними пожаловали Оливье с Сюзанной.

Все вместе поднялись в столовую. Г-жа Ракен, не ждавшая гостей, поспешила зажечь лампу и приготовить чай. Когда все уселись за стол и перед каждым появилась чашка, когда вынули из ящичка домино, бедной матери сразу вспомнилось прошлое; она посмотрела на гостей и разрыдалась. За столом оставалось пустое место, место ее сына.

Этот приступ отчаяния несколько расхолодил и раздосадовал присутствующих. На лицах всех этих людей только что было написано эгоистическое благодушие, а теперь им стало не по себе, ибо в сердцах их не осталось уже никаких чувств к Камиллу.

— Послушайте, дорогая,— воскликнул старик Мишо с явным нетерпением,— не следует вам так отчаиваться. Вы можете заболеть.

— Все мы умрем,— поддержал его Гриве.

— Слезы не вернут вам сына,— наставительно вставил Оливье.

— Не расстраивайтесь так, прошу вас,— прошептала Сюзанна.

Но г-жа Ракен не в силах была сдержать слезы и рыдала все сильнее.

— Перестаньте, перестаньте,— продолжал Мишо.— Возьмите себя в руки. Ведь мы пришли, чтобы немного развлечь вас. Так не будем же хандрить, постараемся забыться... Играем по два су кон. Согласны?

Торговка сделала над собой величайшее усилие и сдержала рыдания. Быть может, она отдавала себе отчет в счастливом эгоизме своих гостей. Она утерла слезы, но все еще судорожно подергивалась. Костяшки домино тряслись в ее ослабевших руках, а набегавшие слезы слепили глаза.

Игра началась.

Лоран и Тереза вынесли эту сцену с серьезным и бесстрастным видом. Молодой человек был в восторге, что восстанавливаются четверговые вечера. Он горячо желал этого, понимая, что такие собрания будут содействовать осуществлению его планов. Кроме того, сам не зная почему, он чувствовал себя лучше в обществе этих знакомых ему людей; находясь среди них, он решался смотреть Терезе в лицо.

В молодой женщине, одетой в черное, бледной и задумчивой, он находил теперь какую-то новую, прежде неведомую ему красоту. Ему приятно было встречать ее взгляд и убеждаться, что она подолгу пристально и смело смотрит на него. Тереза по-прежнему принадлежала ему — и телом и душой.

XVI

Прошло больше года. Первоначальная острота переживаний притупилась; каждый день приносил с собою все большее успокоение, большее равнодушие; жизнь с вялой медлительностью входила в колею, приобретала то тупое однообразие, которое обычно следует за большими потрясениями. На первых порах Лоран и Тереза безвольно подчинились новому образу жизни, который совсем преображал их; в них совершалась какая-то глубинная работа, которую пришлось бы анализировать с крайней кропотливостью, если бы потребовалось обрисовать все ее стадии.

Вскоре Лоран стал приходить в лавку каждый вечер, как раньше. Однако теперь он не обедал здесь, не проводил здесь целые вечера. Он являлся в половине десятого и уходил сразу же после того, как закрывал магазин. Помогая женщинам, он как бы выполнял некий долг. Если ему случалось пренебречь своими обязанностями, он на другой день униженно, как слуга, просил за это прощения. По четвергам он помогал г-же Ракен растопить камин и приготовиться к приему гостей. Он был спокойно-предупредителен и совершенно очаровал старую торговку.

Тереза безучастно наблюдала, как он суетится вокруг нее. Бледность ее постепенно исчезала, она поправилась, стала общительнее, чаще улыбалась. Только изредка, когда рот ее нервно подергивался, в уголках его обозначались две глубокие складки, придававшие лицу особое выражение скорби и ужаса.

Любовники теперь не искали случая увидеться наедине. Никогда не предлагали они друг другу свидания, никогда украдкой не обменивались поцелуем. Убийство как бы умерило на время их чувственный пыл; устранив Камилла, они тем самым удовлетворили бурные и ненасытные желания, которые им не удавалось

утолить в исступленных, неистовых объятиях. Преступление казалось им острым наслаждением, по сравнению с которым любые ласки становились непривлекательными и ненужными.

Между тем теперь им было бы очень легко зажить той независимой жизнью, всецело посвященной любви, мечта о которой толкнула их на убийство. Беспомощная, поглупевшая г-жа Ракен уже не являлась препятствием. Весь дом был в их распоряжении, они могли отлучаться, могли бывать всюду, где вздумается. Но любовь уже не владела ими, желания отошли в прошлое; они сидели в лавке, тихо беседуя, взирая друг на друга без стыда и вожделения, и, казалось, позабыли о безумных объятиях, от которых ломило кости и изнемогала плоть. Они даже избегали оставаться с глазу на глаз; оказавшись наедине, они не знали, что сказать друг другу, они боялись, как бы не обнаружилось их взаимное охлаждение. Когда они обменивались рукопожатием, это соприкосновение смущало их.

Впрочем, каждый из них думал, что понимает, почему именно они так пугаются и так равнодушны, оставаясь лицом к лицу. Они объясняли это осторожностью. Такое спокойствие, такое воздержание было, по их мнению, следствием их непогрешимой мудрости. Они считали, что сами предписывают себе это оцепенение плоти, эту дремоту сердца. С другой стороны, отвращение и неловкость, которые они испытывали, принимались ими за остатки страха, за глухую боязнь возмездия. Иной раз они нарочито разжигали в себе надежду, старались возродить былые жгучие мечты, и тут они с изумлением убеждались, что воображение их совсем опустошено. Тогда они цеплялись за мысль о предстоящем браке; достигнув цели, избавившись от последних опасений, безраздельно отдавшись друг другу, они вновь разгорятся страстью, они окунутся в долгожданные наслаждения. Эта надежда успокаивала их, удерживала на краю той пропасти, которая образовалась в их душах. Они убеждали самих себя, что по-прежнему любят друг друга, они ждали часа, который, сочетав их навеки, принесет им совершенное счастье.

Никогда еще Тереза не была так безмятежно-спокойна. Она явно становилась лучше. Ее жесткий характер смягчился.

Ночью, лежа одна в постели, она чувствовала себя вполне счастливой; она не ощущала рядом с собою бледного тщедушного Камилла, который раздражал ее плоть и возбуждал в ней неутолимые желания. Ей казалось, что она маленькая девочка, девственница, мирно покоящаяся под белым пологом, в тишине и сумраке. Ее комната — просторная, холодноватая, с высоким потолком, темными углами и монастырским запахом — очень нравилась ей. В конце концов ей даже полюбилась высокая темная стена, вздымавшаяся

перед окном; все лето, из вечера в вечер, она часами смотрела на серые камни стены и на узкую полоску звездного неба, изрезанную очертаниями труб и крыш. Она думала о Лоране только в тех случаях, когда вдруг просыпалась от какого-нибудь кошмара; сидя в постели, вся дрожа, с широко раскрытыми глазами, она куталась в сорочку и убеждала себя, что не испытывала бы таких внезапных приступов ужаса, если бы рядом с нею лежал мужчина. Она думала о своем любовнике как о псе, который мог бы стеречь и охранять ее; но по ее похолодевшему, дремлющему телу не пробегала ни малейшая дрожь желания.

Днем, сидя в магазине, она стала интересоваться тем, что творится за его стенами; она уже не замыкалась в самой себе, как прежде, не испытывала глухого негодования, не вынашивала мысли о борьбе и мщении. Ей больше не хотелось мечтать, у нее явилась потребность действовать, видеть. С утра до вечера она следила за прохожими, мелькавшими в пассаже; она с удовольствием наблюдала, как они снуют взад и вперед и шумят. Она стала любопытной и болтливой,— словом, стала женщиной, а до сих пор и мысли и поступки ее были бы скорее к лицу мужчине.

Наблюдая за окружающими, она обратила внимание на молодого человека, студента, который жил в меблированных комнатах по соседству и несколько раз в день проходил мимо лавки. У юноши было красивое бледное лицо, длинные, как у поэта, волосы и офицерские усы. Терезе казалось, что он человек необыкновенный. Целую неделю она была влюблена в него, влюблена, как школьница. Она читала романы, сравнивала молодого человека с Лораном и приходила к выводу, что последний уж очень неуклюж и груб. Чтение раскрыло перед нею еще неведомые ей романтические горизонты; до сих пор она любила только плотью и нервами, теперь стала любить в воображении. Но в один прекрасный день студент исчез, вероятно переехал на другую квартиру. Не прошло и нескольких часов, как Тереза забыла о нем.

Она записалась в библиотеку и стала увлекаться всеми героями романов, проходившими перед нею. Эта внезапная страсть к чтению оказала огромное влияние на ее темперамент. В ней развилась такая нервная чувствительность, что иной раз она без причины начинала смеяться или плакать. Наметившееся душевное равновесие вновь нарушилось. Она стала предаваться какой-то смутной мечтательности. Временами воспоминание о Камилле будоражило ее, и тогда она начинала думать о Лоране с новым приливом желаний, с ужасом и недоверием. Так она вновь стала впадать в прежнюю тоску и отчаяние; то она придумывала, как бы ей немедленно выйти замуж за любовника, то помышляла о бегстве, о том, чтобы уже больше никогда не видеть его. Романы, говорив-

ние о целомудрии и чести, породили своего рода противоречие между ее инстинктами и волей. Она оставалась все тем же неукротимым животным, которое жаждало единоборства с Сеной и неистово окунулось в прелюбодеяние; но теперь она осознала, что̀ такое доброта и кротость, ей стало ясно, почему у жены Оливье такое помятое лицо и безжизненный вид; она узнала, что можно не убивать своего мужа и быть счастливой. Тогда она перестала разбираться в самой себе и впала в мучительную нерешительность.

Лоран тоже испытывал различные оттенки покоя и тревоги. Сначала он наслаждался полнейшим умиротворением — с него словно сняли тяжкий гнет. Временами он сам себе не верил, ему казалось, что он видел дурной сон; он недоумевал: неужели он действительно утопил Камилла, неужели действительно видел его труп на каменной плите морга? Воспоминание о совершенном преступлении как-то странно изумляло его; никогда не думал он, что способен на убийство; когда он представлял себе, что преступление его могут раскрыть, а его самого — гильотинировать, вся присущая ему осторожность, вся трусость поднималась в его душе, и на лбу выступал ледяной пот. Он уже чувствовал на шее холод лезвия. Пока надо было действовать, он шел, не сворачивая с намеченного пути, упрямо и бездумно, как скотина. Теперь он оглядывался назад, и при виде пропасти, над которой ему удалось пройти, голова у него кружилась от ужаса.

«Сомнений нет, я был пьян,— думал он,— эта женщина одурманила меня ласками. Боже! До чего же я был глуп и легкомыслен! Ведь я рисковал попасть на гильотину... Но что толковать,— все кончилось благополучно. А вот если бы надо было начать сызнова,— так ни за что!»

Силы Лорана иссякли, он стал вялым, стал трусливым и осторожным, как никогда. Он толстел и как-то опускался. Если бы кто-нибудь осмотрел его огромное обрюзгшее тело, в котором не чувствовалось ни костей, ни мускулов, то никак не вздумал бы обвинять его в жестокости и насилии.

Лоран возобновил свои прежние привычки. Несколько месяцев он был примерным чиновником, исполняя свои обязанности с образцовой тупостью. Вечерами он обедал в кухмистерской на улице Сен-Виктор; он нарезал хлеб тонкими ломтиками, жевал медленно, старался по возможности продлить трапезу; потом он откидывался, прислонялся к стене и закуривал трубку. Всякий сказал бы: какой добродушный толстяк! Днем он ни о чем не думал, по ночам спал тяжелым сном, без сновидений. Лицо у него было румяное и жирное, брюхо наполнено, голова пуста,— он был счастлив.

Тело его словно отмерло, он почти не мечтал о Терезе. Иногда

он думал о ней, как человек думает о женщине, на которой ему позже, в неопределенном будущем, предстоит жениться. Он ждал этого дня терпеливо, забывая о самой женщине, думая только о том, как изменится тогда его собственное положение. Он уйдет со службы, займется живописью как любитель, будет много гулять. Эти мечты приводили его каждый вечер в пассаж, хотя, входя в лавочку, он чувствовал какую-то смутную неловкость.

Однажды в воскресенье, скучая, не зная, чем заняться, он отправился к старому школьному товарищу, к тому молодому художнику, с которым он долгое время жил вместе. Живописец трудился над картиной, которую рассчитывал выставить в Салоне; она изображала нагую вакханку, развалившуюся на какой-то ткани. В глубине мастерской лежала натурщица; голова у нее была запрокинута, тело напряжено, бедро высоко поднялось. Время от времени она начинала смеяться и, чтобы отдохнуть, потягивалась, выпячивая грудь и разминая руки. Лоран сел против нее и стал ее разглядывать, покуривая и болтая с приятелем. От этого зрелища кровь в нем закипала, нервы возбуждались. Он просидел до самого вечера и увел женщину к себе. Почти год она была его любовницей. Бедная девушка в конце концов полюбила его, он казался ей красавцем. По утрам она уходила, целый день позировала, а вечером всегда возвращалась в определенный час; она кормилась, одевалась, содержала себя на собственный заработок, и, следовательно, Лорану не приходилось тратить на нее ни гроша, а где она бывает и что делает, его ничуть не интересовало. Эта женщина внесла еще большее равновесие в его жизнь; он относился к ней как к полезной и необходимой вещи, которая приносит его телу покой и здоровье; он никогда не задумывался над тем, любит ли он ее, и никогда ему не приходило в голову, что он изменяет Терезе. Он благоденствовал и был счастлив. Вот и все.

Между тем срок траура кончился. Тереза стала одеваться в светлое, и однажды вечером Лоран заметил, что она помолодела и стала красивее. Но в ее присутствии ему по-прежнему бывало как-то не по себе; последнее время ему казалось, что она нервничает, склонна к каким-то странным прихотям, смеется и грустит без причины. Нерешительность, которую он подмечал в ней, пугала его, потому что он отчасти догадывался об ее тревогах и душевной борьбе. Он и сам стал колебаться, ибо безумно боялся за свой покой; он-то жил теперь безмятежно, разумно удовлетворяя свои потребности; поэтому он опасался, как бы не нарушить налаженный повседневный уклад, связав себя с нервной женщиной, страсть которой некогда уже свела его с ума. Впрочем, он не разумом взвешивал все эти обстоятельства, а лишь инстинктивно предчувствовал тревогу, какую принесет ему обладание Терезой.

«Тереза Ракен».

Первым толчком, нарушившим его покой, явилась мысль, что надо наконец подумать о женитьбе. Со дня смерти Камилла прошло уже больше года. Одно время Лоран решил было вовсе не жениться, бросить Терезу и оставить при себе натурщицу; нетребовательная и дешевая любовь этой девушки вполне его удовлетворяла. Потом он стал рассуждать, что не зря же он убил человека; вспоминая о преступлении, о страшных усилиях, сделанных ради того, чтобы безраздельно обладать женщиной, которая теперь смущает его, он понимал, что убийство станет чудовищным и бесполезным, если он не женится на ней. Утопить человека, чтобы отнять у него жену, ждать больше года и в конце концов прийти к решению, что лучше всего жить с девчонкой, которая выставляет свое тело в любой мастерской,— все это казалось ему нелепостью, вызывало улыбку. К тому же ведь он связан с Терезой чувством ужаса и пролитой кровью. Он как бы чувствовал в глубине своего существа ее присутствие, ее крик; он ей принадлежал. Он боялся своей сообщницы: вдруг, если он на ней не женится, она все откроет правосудию — из ревности и жажды мести? Эти мысли бушевали в его мозгу. Его снова охватила лихорадка.

Как раз в это время натурщица неожиданно от него ушла. Однажды в воскресенье она не вернулась,— по-видимому, нашла пристанище потеплее и поудобнее. Лоран не особенно огорчился. Однако он уже привык к тому, что по ночам под боком у него спит женщина, и теперь ему казалось, что в жизни его внезапно образовалась пустота. Неделю спустя нервы его взбунтовались. Он снова стал проводить в лавке Ракенов целые вечера, и в его глазах, обращенных на Терезу, снова стали вспыхивать огоньки. Чувствуя на себе его взгляд и еще вся трепеща под влиянием прочитанного романа, молодая женщина млела и принимала томные позы.

Так оба они после целого года пресыщенности и безразличного ожидания опять оказались во власти тревоги и вожделения. Однажды вечером Лоран, закрыв магазин, на мгновение задержал Терезу в коридоре.

— Хочешь, я приду к тебе ночью? — спросил он горячим шепотом.

Молодая женщина сделала испуганный жест.

— Нет, нет, подождем...— сказала она.— Надо быть осторожными.

— Уж довольно я, кажется, жду,— возразил Лоран.— Мне надоело ждать, я хочу тебя.

Тереза дико посмотрела на него; лицо и руки ее обжигало какое-то пламя. Она, видимо, колебалась; потом резко бросила:

— Вот поженимся, тогда я буду твоей.

XVII

Лоран ушел из пассажа взбудораженный и умственно и физически. Горячее дыхание Терезы, согласие, выраженное ею, оживили в нем былую остроту чувств. Он зашагал по набережным, со шляпой в руке, подставляя лицо под свежий ветерок.

Когда он дошел до подъезда своего дома, ему стало страшно, он не решался подняться, остаться в одиночестве. Его охватил какой-то ребяческий, необъяснимый, неожиданный страх: а вдруг в его каморке кто-то прячется? Никогда еще не знал он за собой таких приступов трусости. Он даже не пытался разобраться, откуда эта странная боязнь; он зашел в винный погребок и просидел там больше часа, пока не пробило двенадцать,— он сидел молча, не двигаясь с места, и машинально опоражнивал один за другим большие стаканы вина. Он думал о Терезе, он негодовал, что она отказалась сегодня же пустить его к себе, и ему думалось, что, будь она возле него, ему не было бы страшно.

Погребок закрылся, Лорана выставили за дверь. Но он еще раз постучался и попросил спички. Контора меблированных комнат помещалась на втором этаже. Чтобы взять свой подсвечник, Лорану надо было пройти по длинному коридору и подняться на несколько ступенек. Этот коридор, эта лесенка, погруженные в полную тьму, наводили на него безумный страх. Обычно он смело входил, невзирая на темноту. Но в этот вечер он никак не мог решиться позвонить; он думал, что за выступом, где вход в подвал, быть может, притаились убийцы, которые сразу же набросятся на него, как только он ступит в коридор. Наконец он позвонил, зажег спичку и решился войти. Спичка погасла. Он стоял, задыхаясь, не шевелясь, не смея убежать, и дрожащей рукой судорожно чиркал спичками по сырой стене. Ему слышались поблизости какие-то голоса, какой-то шорох. Спички ломались у него в руках. Наконец одна из них зажглась. Сера зашипела, и пламя стало разгораться, но так медленно, что Лорана вновь обуял ужас: в слабом синеватом свете горящей серы, в разбегающихся зыбких отсветах ему почудились какие-то чудовищные очертания. Потом спичка затрещала, и вспыхнуло яркое белое пламя. У Лорана отлегло от сердца, он осторожно пошел вперед, стараясь, чтобы спичка не погасла. Проходя мимо спуска в подвал, он прижался к противоположной стене. Здесь было особенно темно, и это наводило на него ужас. Потом он поспешно прошел несколько ступеней, отделявших его от конторы, взял свой подсвечник и тут наконец почувствовал, что спасен. Наверх он поднялся уже спокойнее, однако свечу держал высоко, чтобы освещать углы. мимо которых ему предстояло пройти. Причудливые длинные тени, всегда снующие

туда-сюда, когда идешь по лестнице со свечой, то вдруг вставали перед ним, то исчезали, порождая в нем какую-то смутную тревогу.

Добравшись доверху, он вошел к себе и поспешил запереться. Прежде всего он заглянул под кровать, потом тщательно осмотрел всю комнатку, проверяя, не притаился ли тут кто-нибудь. Он затворил слуховое окно,— а то ведь к нему можно оттуда забраться. Приняв все эти меры предосторожности, он немного успокоился, разделся и тогда сам удивился своей трусости. В конце концов он улыбнулся, упрекнув себя в ребячестве. Никогда в жизни не был он труслив и теперь не мог понять, с чего это вдруг на него нашел такой ужас.

Он лег. Согревшись под одеялом, он снова стал думать о Терезе, и мечты о ней вытеснили было страх. Он закрыл глаза и старался заснуть, но ум его продолжал бодрствовать, мысли властно возникали одна за другой, цеплялись друг за друга и убеждали его в том, как ему выгодно поскорее жениться. Временами он переворачивался и решал: «Довольно думать, пора спать; завтра надо подняться в восемь, идти на службу». И он старался уснуть. Но мысли вновь возникали бесконечной вереницей, снова начинались рассуждения; он опять оказывался во власти какой-то тревожной мечтательности, и в уме его возникали соображения, подтверждавшие необходимость женитьбы, и всевозможные доводы за и против обладания Терезой, подсказанные то осторожностью, то влечением.

Наконец, убедившись, что ему не сомкнуть глаз, что бессонница крепко завладела его возбужденными нервами, он лег на спину, открыл глаза и отдался мыслям о Терезе. Равновесие нарушилось; он вновь, как в былое время, горел в лихорадке. Он подумал было встать и отправиться в пассаж. Он попросит, чтобы для него открыли ворота, он постучится в дверцу на лестнице, и Тереза впустит его к себе. При этой мысли кровь бросалась ему в голову.

Он представлял себе все это с поразительной четкостью. Вот он идет по улицам, идет быстро, дом мелькает за домом. Он рассуждал: «Пойду бульваром, пересеку такую-то площадь — так будет скорее». Вот уже скрипят ворота, вот он идет по узкому, темному и пустынному пассажу и радуется, что нет торговки фальшивыми драгоценностями и что он может пробраться к Терезе никем не замеченный. Потом он представил себя в коридоре, у лесенки, по которой он поднимался столько раз. Тут им овладела былая жгучая радость, ему вспомнились упоительные страхи, острые греховные наслаждения. Воспоминания становились действительностью, и она завладевала всеми его чувствами: ему слы-

шался пресный запах коридора, руки его касались липких стен, вслед за ним волочилась его темная тень. А он поднимался все выше и выше, задыхаясь, прислушиваясь и наслаждаясь уже одним этим робким приближением к желанной женщине. Наконец он тихо стучался в дверь, дверь отворялась, Тереза стояла перед ним; она его ждала, в нижней юбке, вся белая.

Мысли развертывались перед ним, превращаясь в реальные картины. Взгляд его был устремлен в темноту, но он видел. Вот он дошел до пассажа, вот миновал коридор и поднялся по лесенке, вот ему явилась Тереза, страстная и бледная... Тут он порывисто вскочил с постели, шепча: «Пойду к ней, она меня ждет!» От резкого движения галлюцинация рассеялась: он ступил босиком на холодный пол, ему стало страшно. На мгновение он замер, прислушиваясь. Ему почудилось, будто с площадки доносится какой-то шум. Если он отправится к Терезе, опять придется пройти мимо подвала; при этой мысли по спине у него пробежали мурашки. Его снова охватил ужас,— ужас нелепый, давящий. Он робко осмотрелся вокруг,— в каморке кое-где лежали блики белесого света; он потихоньку, осторожно и в то же время с лихорадочной поспешностью забрался в постель и завернулся в одеяло, спрятался, как бы защищаясь от какого-то оружия, от ножа, который занесен над ним.

Кровь сразу бросилась ему в голову, шея горела. Он поднес к ней руку и на том месте, куда его укусил Камилл, нащупал рубец. Он почти что забыл о нем. Шрам привел Лорана в ужас, ему казалось, будто рубец разъедает его. Он отдернул руку, чтобы больше не чувствовать этой полоски, и все же чувствовал ее, ощущал, как она впивается, сверлит ему шею. Он попробовал слегка поскоблить шрам ногтем; жуткое жжение усилилось. Чтобы не содрать с себя кожу, он зажал руки между коленями. Перепуганный, весь скованный, он замер на месте; шею ему жгло, зубы стучали от страха.

Теперь мысли его со страшной неподвижностью сосредоточились на Камилле. До сих пор утопленник никогда не смущал его по ночам. А теперь вместе с мыслью о Терезе явился и призрак ее мужа. Убийца не решался открыть глаза: он боялся, что где-нибудь в углу увидит свою жертву. Вдруг ему показалось, будто постель под ним как-то странно колышется; он подумал, что Камилл спрятался под кроватью и шевелится там, чтобы сбросить его на пол и укусить. Обезумев от ужаса, чувствуя, что волосы у него встают дыбом, он вцепился в матрац; ему мерещилось, что толчки снизу становятся все сильнее и сильнее.

Потом он убедился, что кровать стоит неподвижно. Приступ ужаса миновал. Лоран сел на постели, зажег свечу, обозвал

себя дураком. Чтобы успокоиться, он опорожнил целый стакан воды.

— Напрасно я пил в погребке...— размышлял он.— Просто не понимаю, что со мною творится. Какая глупость! Завтра в конторе я буду совсем разбитый. Как только я лег, надо было сейчас же заснуть, а не раздумывать о разных разностях. От этого и бессонница... Надо уснуть.

Немного придя в себя и твердо решив больше ни о чем не думать и не пугаться, он снова погасил свечу и зарылся головой в подушку. От усталости нервы его понемногу успокаивались.

Но он не заснул, как обычно, тяжелым, сокрушающим сном; он медленно погружался в какую-то смутную дрему. Он как бы забылся, как бы отдался во власть какого-то сладостного, упоительного отупения. Сквозь забытье он ощущал свое тело; плоть его отмерла, но сознание бодрствовало. Он разогнал все обступавшие его мысли, он запретил себе думать. Но едва только он задремал, едва только силы покинули его и воля ослабела, как мысли стали одна за другой потихоньку подкрадываться и снова овладевать его изнемогающим существом. Он вновь отдался мечтам. Он мысленно опять прошел расстояние, отделяющее его от Терезы: он спустился вниз, бегом миновал подвал и оказался на улице; он опять прошел по всем тем улицам, по которым уже проходил раньше, когда они представлялись ему в мечтах; он вошел в пассаж Пон-Неф, поднялся по лесенке и тихонько постучался в дверь. Но вместо Терезы, вместо молодой женщины в нижней юбке, с обнаженной грудью, дверь ему отпер Камилл,— Камилл такой, каким он видел его в морге, страшно обезображенный, зеленоватый. Труп с мерзким смешком протягивал к нему руки, а между белыми полосками зубов виднелся черный кончик языка.

Лоран вскрикнул и проснулся. Он обливался ледяным потом. Он натянул одеяло на глаза, возмущался самим собою, бранил себя. Потом решил, что непременно надо уснуть.

Он опять заснул, заснул постепенно, как и в первый раз; он впал в то же оцепенение, но как только воля его снова растворилась в какой-то дреме — он опять отправился в путь, пошел туда, куда влекла его навязчивая мысль; он побежал, чтобы повидаться с Терезой, и дверь ему снова отворил утопленник.

Несчастный в ужасе подскочил и сел на постели. Он отдал бы все на свете, чтобы избавиться от этого страшного кошмара. Ему хотелось бы заснуть мертвым сном, который вытеснил бы все мысли. Пока он не спал, у него доставало силы отогнать от себя призрак жертвы; но едва он терял власть над своим сознанием, как оно вело его к сладострастию и тем самым к ужасу.

Он опять попробовал уснуть. Теперь это превратилось в чере-

дование сладостного забытья и внезапных жутких пробуждений. С каким-то неистовым упрямством он каждый раз снова отправлялся к Терезе и каждый раз наталкивался на труп Камилла. Больше десяти раз шел он все по тем же улицам, мимо тех же домов, отправлялся с жаром в крови, переживал те же чувства, совершал со скрупулезной точностью те же действия и более десяти раз наталкивался на утопленника, который раскрывал перед ним объятия, в то время как сам он уже протягивал руки, готовясь обнять, прижать к себе любовницу. Но эта повторяющаяся зловещая развязка, от которой он каждый раз просыпался, задыхаясь от ужаса, не унимала его желаний; стоило ему задремать, и тотчас же вожделение забывало об отвратительном трупе, который его поджидал, и вновь гнало его к теплому, гибкому телу женщины. Целый час прошел в этой смене кошмаров, в этом тяжком забытьи, которое беспрестанно прерывалось и вновь возобновлялось, и при каждом резком пробуждении ужас становился все острее.

Последнее пробуждение сопровождалось такой сильной, такой мучительной встряской, что несчастный решил встать и прекратить эту борьбу. Занимался день; унылый серый свет просачивался через слуховое окно, обрамлявшее квадрат белесого, пепельного неба.

Лоран медленно, с каким-то глухим раздражением, оделся. Он был в отчаянии, что не мог уснуть, в отчаянии, что поддался страху, который теперь казался ему ребячеством. Надевая брюки, он потягивался, потирал себе ноги, водил рукой по лицу, помятому и осунувшемуся от бессонной ночи. И он твердил:

— Не следовало думать обо всем этом; тогда я уснул бы и теперь чувствовал бы себя спокойным и свежим. Ах, если бы Тереза вчера согласилась! Если бы Тереза спала со мной...

Мысль, что Тереза избавила бы его от страха, немного успокоила его. В глубине души он боялся, как бы следующие ночи не были похожи на минувшую.

Он умылся холодной водой, причесался. Этот несложный туалет освежил его и рассеял последние страхи. Теперь он рассуждал здраво и только чувствовал во всем теле крайнее изнеможение.

— А ведь я не трус,— урезонивал он себя, одеваясь,— и на Камилла мне наплевать... Какой вздор думать, что бедный малый может забраться ко мне под кровать. Теперь, чего доброго, мне это начнет мерещиться каждую ночь... Решительно, надо поскорее жениться. Когда я буду лежать в объятиях Терезы, Камилл выйдет у меня из головы. Она станет целовать меня в шею, и я уже не буду чувствовать мучительного жжения, как прежде... Взгляну-ка на шрам.

Он подошел к зеркалу, вытянул шею и посмотрел. Рубец был

бледно-розовый. Лоран различил следы от зубов своей жертвы; это взволновало его, кровь бросилась ему в голову, и тут он заметил странное явление. От прилившей крови шрам вдруг покраснел, стал четким и кровавым, сразу выделился на белой жирной шее багровой полоской. И в то же время Лоран почувствовал в шее острые покалывания, словно кто-то вонзал в нее иголки. Он поспешил поднять воротничок.

— Пустяки! Тереза все это вылечит...— решил он.— Достаточно нескольких поцелуев... Дурак я, что думаю об этом!

Он надел шляпу и спустился вниз. Ему необходим был воздух, движение. Проходя мимо подвала, он улыбнулся. И все же попробовал — крепко ли сидит крючок, которым запирается дверь. Потом он не спеша направился по пустынным тротуарам, вдыхая свежий утренний воздух. Было часов пять.

День прошел ужасно. В конторе Лорану пришлось преодолевать удручающую сонливость, которая напала на него после полудня. Тяжелая от боли голова помимо его воли склонялась; он резко поднимал ее, как только раздавались шаги кого-нибудь из начальства. Эта борьба, эти встряски порождали нестерпимую тревогу и окончательно измучили его.

Вечером, невзирая на усталость, он решил проведать Терезу. Он застал ее взволнованной, удрученной, усталой, как и он сам.

— Наша бедная Тереза плохо спала ночью,— сказала г-жа Ракен, когда он сел.— Говорит, что ее измучили кошмары, страшная бессонница... Я слышала, как она несколько раз вскрикивала. Она встала совсем больная.

Пока тетя говорила, Тереза пристально всматривалась в любовника. Каждый из них, по-видимому, догадался о страхах другого, ибо по лицам их пробежала одна и та же судорога. Они просидели вместе до десяти часов, болтая о пустяках, отлично понимая друг друга и заклиная взглядом не откладывать дня, когда они получат возможность объединиться против утопленника.

XVIII

В ту бредовую ночь призрак Камилла посетил и Терезу.

Страстная мольба Лорана о свидании, после целого года безразличия, внезапно взбудоражила ее. Когда Тереза, лежа одна в постели, подумала о том, что скоро должна состояться их свадьба, кровь ее распалилась. И тут, среди тревог бессонницы, пред ней предстал утопленник; подобно Лорану, она извивалась от желания и ужаса и говорила себе, что перестанет бояться, перестанет так страдать, когда любовник будет в ее объятиях.

У обоих — у женщины и мужчины — в один и тот же час началось нервное расстройство, и оно вернуло их, изнемогающих и сраженных ужасом, к их страшной любви. Между ними возникло сродство крови и вожделения. Они содрогались одной и той же дрожью. Их сердца, связанные какой-то мучительной близостью, сжимались от одной и той же тоски. Отныне тела и души их и для радости и для страдания слились воедино. Такая общность, такое взаимное проникновение двух существ не что иное, как особое психологическое и физиологическое явление, которое часто наблюдается у лиц, брошенных друг к другу сильным нервным потрясением.

Больше года Тереза и Лоран легко несли цепь, которою они были скованы и привязаны друг к другу; за острым кризисом, вызванным убийством, последовали упадок сил, отвращение, потребность в покое и забвении, и тут преступникам стало казаться, будто они свободны, будто железные узы уже больше не связывают их; цепь ослабела и волочилась по земле; сами они отдыхали, пребывали в каком-то блаженном оцепенении, искали любви где-то на стороне, рассчитывали, что отныне жизнь их будет мудро уравновешенна. Но в тот день, когда они под влиянием обстоятельств вновь обменялись страстными признаниями, цепь внезапно натянулась и повлекла их с такой силой, что они почувствовали себя навеки прикованными друг к другу.

И Тереза сразу же принялась исподволь подготавливать их свадьбу. Задача была трудная, чреватая опасностями. Любовники боялись, как бы не допустить какую-нибудь неосторожность, не возбудить подозрений, внезапно не обнаружить, насколько они были заинтересованы в смерти Камилла. Они понимали, что сами не могут заговорить о браке, и благоразумно разработали план, в результате которого то, о чем они не могли заикнуться, должно было быть им предложено самой г-жой Ракен и ее друзьями. Следовало только подсказать этим простачкам мысль о новом замужестве Терезы, а главное, внушить им, что идея исходит от них самих, что она от начала до конца — их создание.

Пришлось разыграть длительную и тонкую комедию. Тереза и Лоран обдумали соответствующие им роли; они подвигались к намеченной цели с крайней осторожностью, рассчитывая малейший жест, малейшую фразу. В сущности, ими овладело нетерпение, от которого нервы их были напряжены и взвинчены. Они жили в состоянии постоянного возбуждения. Только крайняя трусость и подлость помогали им улыбаться и притворяться спокойными.

И они поторопились положить всему этому конец лишь потому, что уже не могли больше жить в одиночестве, вдали друг от

друга. Каждую ночь им являлся утопленник, бессонница валила их на ложе, устланное рдеющими угольями, и переворачивала их раскаленными щипцами. Нервное состояние, в котором они пребывали, еще сильнее распаляло по вечерам их кровь и вызывало у них чудовищные галлюцинации. Едва начинало смеркаться, Тереза уже не решалась подняться к себе наверх; когда ей приходилось запереться до утра в просторной спальне, ею овладевала страшная тревога, и стоило ей только погасить свет, как комната наполнялась странными отсветами и целым роем призраков.

В конце концов Тереза перестала тушить свечу, перестала стремиться заснуть, чтобы не закрывать глаз. Когда же веки ее смыкались от усталости, во тьме ей тотчас же являлся Камилл, она вскакивала и открывала глаза. По утрам она с трудом передвигала ноги, потому что ей удавалось вздремнуть лишь час-другой, после рассвета. Что же касается Лорана, то после того вечера, когда он почувствовал страх, проходя мимо подвала, он совсем стал трусом; раньше он жил доверчиво, словно животное, теперь же от малейшего шума вздрагивал и бледнел, как мальчишка. Его вдруг пропяла и с тех пор уже не покидала дрожь ужаса. По ночам он терзался еще больше Терезы; в его огромном, ослабевшем и подлом теле страх производил еще бо́льшие опустошения. Сгущающиеся сумерки погружали его в жестокую тревогу. Несколько раз он не решался вернуться домой, а всю ночь напролет бродил по пустынным улицам. Однажды в проливной дождь он до рассвета просидел под мостом. Весь скорчившись, прозябнув, не осмеливаясь встать с места и подняться на набережную, он часов шесть смотрел, как в белесом сумраке течет грязная вода; временами он от ужаса прижимался к сырой земле: ему чудилось, будто под аркой моста, вниз по течению, плывут длинные вереницы утопленников. Когда же усталость загоняла его домой, он запирался в своей каморке на два оборота ключа и до самой зари терзался в страшных приступах лихорадки. Его упорно преследовал один и тот же кошмар: ему казалось, что из пылких, страстных объятий Терезы он попадает в холодные, скользкие руки Камилла; ему снилось, будто любовница душит его жгучими ласками, а потом — будто утопленник прижимает его ледяными руками к своей разложившейся груди; эти резкие, сменяющиеся ощущения неги и отвращения, эти последовательные прикосновения то к телу, пылающему страстью, то к телу холодному, дряблому от речного ила, доводили Лорана до такого отчаяния, что он весь трепетал, задыхался, начинал хрипеть.

И с каждым днем смятение любовников усиливалось, каждый день кошмары давили их все сильнее, доводя их до безумия. Они полагались только на взаимные поцелуи в надежде побороть бес-

сонницу. Из предосторожности они не решались где-нибудь встретиться, зато ждали дня свадьбы как дня спасения, за которым последует блаженная ночь.

Поэтому они жаждали этого союза так сильно, как сильно было их желание спокойно уснуть. В дни апатии они еще на этот счет колебались, позабыв эгоистические и страстные побуждения, которые как бы замерли, после того как толкнули их на убийство. Теперь жар снова обжигал их, в глубинах их страсти и эгоизма вновь оживали чувства, побудившие их убить Камилла, чтобы затем вкусить радостей, которые, по их расчетам, должен им принести законный брак. Впрочем, в их ответственнейшем решении вступить в открытый союз сказывалось и глухое отчаяние. В глубине души у них таился страх. Желаниям их сопутствовал трепет ужаса. Они как бы склонились друг над другом, словно над пропастью, бездонность которой притягивала их; они безмолвно нагнулись над бездной своего существа, пытались за что-то уцепиться, а между тем мучительно-сладостное головокружение лишало их сил и подсказывало безрассудное желание броситься вниз. Но нынешнее положение, тревожное ожидание и трусливая похоть рождали властную потребность забыться, окунуться в мечты о будущих любовных упоениях и безмятежных радостях. Чем больше они возбуждались друг возле друга, тем яснее чувствовали весь ужас той пропасти, в которую собирались броситься, и тем больше старались уверить себя в будущем счастье, перебирая в уме неопровержимые факты, которые роковым образом толкали их на брак.

Тереза хотела этого брака только потому, что ее мучил страх, а тело требовало неистовых ласк Лорана. Она находилась во власти нервного расстройства, которое чуть ли не сводило ее с ума. По правде говоря, она особенно и не рассуждала, она кидалась в пучину страсти потому, что ум ее был развращен прочитанными романами, а плоть возбуждена жестокой бессонницей, которая терзала ее уже несколько недель.

Лоран, как существо более грубое, хоть и поддавался страхам и похоти, все же стремился разумно оправдать принятое решение. Чтобы доказать самому себе, что брак с Терезой необходим и что теперь он наконец заживет вполне счастливо, а также чтобы рассеять смутные опасения, которые порою возникали у него, он снова принимался за былые расчеты. Его отец, жефосский крестьянин, не желает умирать, и наследства ждать придется, пожалуй, еще очень долго; Лоран даже боялся, как бы наследство вовсе не ускользнуло от него и не попало в карман одного из его двоюродных братьев, здоровенного парня, который, к живейшей радости старика Лорана, тоже крестьянствовал. А сам он так и останется нищим, будет жить без женщины, на чердаке, будет плохо спать и

еще хуже есть. Между тем он рассчитывал всю жизнь бездельничать; служба в конторе начинала ему нестерпимо надоедать; даже легкая работа, которую ему поручили, и та была в тягость — до того он был ленив. В итоге этих размышлений он неизменно приходил к выводу, что высшее счастье — ничего не делать. И тут он вспоминал, что утопил Камилла именно для того, чтобы жениться на Терезе и после этого уже больше ничем не заниматься. Конечно, желание стать безраздельным обладателем любовницы сыграло немалую роль в задуманном убийстве, но еще бо́льшую роль сыграло тут, пожалуй, желание занять место Камилла, сделаться предметом забот, какими был окружен Камилл, и наслаждаться повседневным благополучием; если бы им руководила одна только страсть, он не проявлял бы такой трусости, такой осторожности; истина заключалась в том, что он рассчитывал убийством обеспечить себе спокойную, праздную жизнь и повседневное удовлетворение своих потребностей. Все эти мысли, сознательные или неосознанные, вновь и вновь возникали в его уме. Чтобы подбодрить себя, он твердил, что пора наконец воспользоваться выгодами, какие сулила ему смерть Камилла. И он перебирал одно за другим все преимущества, все радости, которые ожидают его: он уйдет со службы, будет наслаждаться упоительным бездельем; он будет пить, есть досыта, спать вволю, под боком у него постоянно будет пылкая женщина, она принесет успокоение его телу и нервам; вскоре он наследует сорок с чем-то тысяч г-жи Ракен,— несчастная старуха заметно сходит на нет; словом, он заживет жизнью блаженной скотины, забудет все. С тех пор как они с Терезой окончательно решили пожениться, Лоран беспрестанно твердил себе все это; он выискивал и другие преимущества и бывал очень рад, когда ему казалось, что в недрах своего эгоизма он отыскал еще какой-то довод, обязывающий его жениться на вдове утопленника. Но как ни принуждал он себя надеяться, как ни рисовал в воображении будущее, заполненное восхитительным бездельем и негой,— все же по телу его часто пробегала внезапная дрожь, и часто тревога заглушала в сердце радость.

XIX

Тем временем подспудная работа, которой были заняты Тереза и Лоран, стала давать плоды. Тереза притворялась, будто она в страшном отчаянии, в безысходной тоске, и г-жа Ракен в конце концов забеспокоилась. Старая торговка спросила, что именно так ее угнетает. Тут молодая женщина с неподражаемым искусством разыграла роль безутешной вдовы; она туманно заговорила о сво-

ей тоске, удрученности, о первом расстройстве. На более подробные расспросы тетки она отвечала, что вполне здорова и сама не понимает, отчего ей так тяжело; она плачет, сама не зная почему. И тут следовали нескончаемые вздохи, молчание и безнадежные, скорбные улыбки, говорившие о бездонном горе и душевной пустоте. Видя, что молодая женщина все больше уходит в себя, медленно гибнет от какого-то скрытого недуга, г-жа Ракен не на шутку встревожилась; на всем свете у нее только и оставалась Тереза, она каждый вечер молила бога не отнимать у нее племянницу, которая должна закрыть ей глаза. В этой старческой любви сказывался и некоторый эгоизм. Она представляла себе, что может утратить Терезу и одиноко умереть в недрах сырой лавки, и эта мысль отнимала у нее последнее слабое утешение. Теперь она не спускала с племянницы глаз, она с ужасом наблюдала, как ее гложет печаль, она обдумывала, чем бы излечить молодую женщину от ее немого отчаяния.

В этих трудных обстоятельствах она решила посоветоваться со своим старым другом Мишо. В один из четвергов она попросила его задержаться и поделилась с ним своими опасениями.

— Я и сам уже давно замечаю, что Тереза не в духе,— ответил старик с грубоватой откровенностью, усвоенной им на службе,— и мне вполне понятно, почему она так пожелтела и стала такой раздражительной.

— Понятно? — удивилась торговка.— Так говорите же скорее! Может быть, нам удастся ее вылечить!

— Лечение немудреное,— продолжал Мишо, ухмыляясь.— Племянница скучает потому, что уже почти два года как проводит ночи одна. Ей нужен муж. По глазам видно.

Грубая откровенность бывшего комиссара нанесла г-же Ракен тяжелый удар. Она думала, что рана, кровоточащая в ее собственном сердце со дня страшного происшествия в Сент-Уене, так же свежа, так же мучительна и для молодой вдовы. Раз сын ее умер, у племянницы, думалось ей, уже никогда не будет мужа. И вдруг Мишо, хихикая, утверждает, что Тереза больна потому, что ей нужен муж.

— Выдайте ее поскорее замуж, если не хотите, чтобы она окончательно зачахла,— добавил он, уходя.— Вот вам мой совет, дорогая, и совет, поверьте, неплохой.

Госпоже Ракен трудно было свыкнуться с мыслью, что ее сын уже всеми забыт. Старик Мишо даже не произнес имени Камилла; говоря о мнимой болезни Терезы, он стал шутить — вот и все. Несчастная мать поняла, что она одна хранит в глубине сердца живую память о своем дорогом сыне. Она плакала, ей казалось, что Камилл умер вторично. Наплакавшись, устав от сожалений, она

невольно стала думать о том, что сказал ей Мишо; она постепенно свыклась с мыслью купить немного счастья ценою брака, который, по ее представлению, вторично убьет ее сына. Оставаясь наедине с угрюмой, подавленной Терезой, среди ледяной тишины лавочки, она чувствовала, как ее сердцем овладевает страх. Она не принадлежала к числу тех сухих, суровых натур, которые находят горькую усладу в том, что проводят дни в беспросветном отчаянии; ей присущи были мягкость, самоотверженность, нежные порывы,— словом, то была отзывчивая, приветливая толстуха, с деятельно-благожелательным характером. С тех пор как племянница почти перестала разговаривать и целыми днями сидела неподвижно, бледная и ослабевшая, жизнь стала для г-жи Ракен совсем невыносима, магазин казался ей теперь сырой могилой; ей хотелось бы, чтобы ее окружала теплая атмосфера любви, хотелось жизни, ласки, чего-то нежного и радостного, что помогло бы тихо дожидаться кончины. Эти неосознанные желания привели к тому, что она мысленно согласилась с планом снова выдать Терезу замуж; она даже немного забыла о сыне; в мертвом существовании, которое она вела, настало как бы пробуждение, возродилась ее воля, ум получил новую пищу. Она подыскивала для племянницы мужа, и это занимало все ее помыслы. Выбор мужа был делом нелегким, ибо несчастная старуха при этом заботилась о себе даже больше, чем о Терезе; она хотела так выдать ее замуж, чтобы и самой быть счастливой; она боялась, как бы новый супруг молодой женщины не омрачил последних дней ее старости. Мысль о том, что ей предстоит ввести какого-то постороннего человека в свой повседневный обиход, приводила ее в ужас; только эта боязнь и мешала ей откровенно заговорить с племянницей о браке.

Пока Тереза с неподражаемым лицемерием, выработанным с детства, разыгрывала комедию отчаяния и тоски, Лоран взял на себя роль человека отзывчивого и предупредительного. Он оказывал обеим женщинам бесчисленные услуги, особенно г-же Ракен, которую он окружил самой нежной заботливостью. Мало-помалу он стал в их доме совершенно необходим; только он и вносил в это мрачное логово чуточку жизнерадостности. Если вечером его не оказывалось в лавке, старой торговке чего-то недоставало, ей бывало не по себе, она страшилась остаться наедине с удрученной Терезой. Впрочем, Лоран отсутствовал только изредка и лишь для того, чтобы укрепить свое положение; он приходил ежедневно сразу же после службы и сидел в магазине до его закрытия. Он исполнял всевозможные поручения, подавал г-же Ракен, которая передвигалась с трудом, различные нужные ей вещи. Потом он усаживался, что-нибудь рассказывал. Он выработал какой-то актерский — ласковый и вкрадчивый — голос, которым ча-

ровал слух и сердце простодушной старухи. Особенно беспокоился он о здоровье Терезы, заботился как друг, как отзывчивый человек, который не может равнодушно видеть страданий своих ближних. Несколько раз он беседовал с г-жой Ракен с глазу на глаз; он приводил ее в ужас, притворяясь, будто чрезвычайно напуган болезненными изменениями, которые, по его словам, ясно обозначаются на лице молодой женщины.

— Скоро мы лишимся ее,— шептал он, и в голосе его слышались слезы.— Нельзя дальше скрывать от себя, что она тяжело больна. Ах, наше скромное счастье, наши милые, безмятежные вечера!

Госпожа Ракен слушала его с неизъяснимой тревогой. Дерзость Лорана доходила до того, что он даже упоминал о Камилле.

— Сами понимаете,— говорил он торговке,— смерть моего несчастного друга была для нее жестоким ударом. Она чахнет уже два года, с того самого рокового дня, когда утратила Камилла. Ничто уже не утешит ее, ничто не исцелит. Нам остается только примириться с этим.

Эти бессовестные выдумки доводили старуху до слез. Воспоминание о сыне расстраивало, ослепляло ее. Стоило лишь упомянуть Камилла, как она начинала рыдать, теряла самообладание; она готова была расцеловать всякого, кто произносит имя ее несчастного сына. Лоран давно заметил, какой растерянной и чувствительной становится старуха при одном упоминании о сыне. Он мог когда ему вздумается довести ее до слез, мог взволновать ее настолько, что она уже переставала разбираться в окружающем, и он злоупотреблял своей властью, стремясь поддерживать в ней это безвольное, болезненное состояние, чтобы легче было подчинять ее себе. Каждый вечер, преодолевая внутренний трепет, он заводил разговор о редкостных качествах, о добром сердце, о выдающемся уме Камилла; он расхваливал свою жертву с полнейшим бесстыдством. Иной раз, встретившись со странно-пристальным взглядом Терезы, он содрогался, он сам начинал верить всем похвалам, которые расточал по адресу утопленника; тогда он сразу умолкал, внезапно охваченный звериной ревностью: у него возникало опасение — не любила ли вдова того, кого он утопил, того, кого он теперь расхваливает с настойчивостью одержимого? В продолжение всего разговора г-жа Ракен заливалась слезами и ничего не видела вокруг себя. Рыдая, она думала о том, какое у Лорана любящее, благородное сердце; только он и вспоминает своего друга, один только он еще говорит о нем дрожащим, взволнованным голосом. Она утирала слезы и обращала на молодого человека взгляд, полный бесконечной нежности; она любила его как родного сына.

Однажды в четверг, когда Мишо и Гриве уже сидели у Ракенов, в столовую вошел Лоран; подойдя к Терезе, он участливо, ласково осведомился об ее здоровье. Он сел возле нее, разыгрывая перед присутствующими роль преданного, заботливого друга. Молодые люди сидели рядом, обмениваясь незначительными фразами; Мишо взглянул на них, потом склонился к старой торговке и сказал ей шепотом, указывая на Лорана:

— Да вот — чего же лучше, вот муж, какого надо вашей племяннице. Поженпте их. Если понадобится, мы поможем.

На лице Мишо появилась озорная улыбка; по его представлению, Терезе требовался муж с недюжинными способностями. Г-жу Ракен как бы осенило: она сразу поняла все преимущества, которые брак Терезы и Лорана сулит ей самой. Этот брак только укрепит узы, связывающие их, двух женщин, с другом Камилла, с превосходнейшим человеком, который каждый вечер приходит, чтобы развлечь их. Таким образом, ей не придется вводить в дом какого-то постороннего человека, не придется подвергать себя опасности; наоборот, дав Терезе опору в жизни, она скрасит и свою старость, возле нее будет счастливая чета; в лице молодого человека, который уже три года проявляет к ней чисто сыновнюю привязанность, она обретет второго сына. Кроме того, ей казалось, что, если Тереза выйдет замуж именно за Лорана, это будет меньшей изменой памяти Камилла, чем если бы она вышла за кого-нибудь другого. Боготворящим сердцам свойственна причудливая щепетильность. Г-жа Ракен разрыдалась бы, если бы увидела, что какой-то незнакомец целует молодую вдову, но ее ничуть не возмущала мысль предоставить Терезу ласкам бывшего товарища ее сына. Она думала, что это, как говорится, останется делом чисто семейным.

Весь вечер, пока гости сражались в домино, старая торговка взирала на молодых людей с такой нежностью, что Лоран и Тереза поняли: разыгранная ими комедия удалась и развязка не за горами. Перед уходом бывший комиссар о чем-то пошептался с г-жой Ракен, потом многозначительно взял Лорана под руку и сказал, что немного проводит его. Уходя, Лоран обменялся с Терезой быстрым взглядом,— взглядом, говорившим о том, что теперь надо быть особенно пачеку.

Мишо взялся нащупать почву. Молодой человек дал ему понять, что он глубоко предан обеим дамам, но крайне удивлен предположением о его женитьбе на Терезе. Он взволнованным голосом добавил, что любит вдову своего несчастного друга как родную сестру и что женитьба на ней представляется ему настоящим святотатством. Бывший полицейский стал настаивать; добиваясь согласия Лорана, он привел множество доводов, заикнулся даже о само-

пожертвовании, даже сказал, что долг повелевает молодому человеку вернуть г-же Ракен сына, а Терезе — супруга. Лоран понемногу стал сдаваться; в конце концов он сделал вид, будто уступает овладевшему им чувству и принимает мысль о женитьбе как мысль, подсказанную свыше и внушенную, как и говорил старик, чувством долга и готовностью пожертвовать собою. Добившись от Лорана окончательного согласия, Мишо распростился с ним и пошел своей дорогой, потирая руки. Он воображал, будто одержал великую победу, и был в восторге от самого себя, был горд тем, что ему первому пришла мысль об этом союзе, который должен вернуть четверговым вечерам все их былое оживление.

Пока Мишо вел с Лораном этот разговор, не спеша прогуливаясь по набережной, г-жа Ракен начала почти такую же беседу с Терезой. Когда племянница, как всегда бледная и слабая, собралась уйти в свою комнату, старуха задержала ее. Она стала ласково расспрашивать Терезу, умоляла быть с ней откровенною, поведать, что именно так угнетает ее. Тереза на все расспросы отвечала уклончиво; тогда тетя заговорила о пустоте вдовьей жизни, постепенно все определеннее стала выдвигать мысль о новом замужестве и в конце концов прямо спросила племянницу, нет ли у нее затаенного желания вторично выйти замуж. Тереза бурно запротестовала, заявила, что она об этом и не помышляет и намерена остаться верной Камиллу. Г-жа Ракен заплакала. Она принялась уговаривать Терезу вопреки голосу собственного сердца; она сослалась на то, что отчаяние не может длиться вечно; наконец, когда молодая женщина воскликнула, что ни за что не допустит, чтобы кто-то занял место Камилла, г-жа Ракен вдруг назвала Лорана. Тут она стала распространяться насчет благопристойности, насчет преимуществ такого союза; она высказала все, что у нее накопилось на душе, повторила вслух все, что передумала за этот вечер; она в простодушном эгоизме нарисовала картину своих последних радостей вблизи дорогих ее сердцу детей. Тереза слушала, понурив голову, смирившаяся, покорная и готовая исполнить ее малейшие желания.

— Я люблю Лорана как брата,— скорбно сказала она, когда тетя умолкла.— Раз вы этого хотите, я постараюсь полюбить его как мужа. Я хочу, чтобы вы были счастливы... Я надеялась, что вы дадите мне пережить утрату, не тревожа меня, но раз дело идет о вашем благополучии,— я осушу слезы.

Она поцеловала старуху, а та была и удивлена и испугана сознанием, что сама же она первая забыла своего сына. Укладываясь спать, г-жа Ракен горько рыдала, она упрекала себя в том, что не так сильна духом, как Тереза, что из эгоизма она желает

брака, на который молодая вдова соглашается лишь потому, что готова на полное самоотречение.

На другой день утром Мишо и его старая приятельница ненадолго встретились в пассаже, у двери магазина. Они сообщили друг другу итоги своих хлопот и решили повести дело круто и заставить молодых людей в тот же вечер объявить о своей помолвке.

В пять часов вечера Мишо уже был в лавке; вскоре пришел Лоран. Не успел молодой человек сесть, как бывший полицейский комиссар шепнул ему на ухо:

— Она согласна.

Тереза расслышала это роковое слово, побледнела и бесстыже уставилась на Лорана. Несколько мгновений любовники смотрели друг на друга, как бы совещаясь. Они поняли, что надо сразу упрочить создавшееся положение и немедленно решить дело. Лоран встал с места и взял руку г-жи Ракен. Старуха изо всех сил старалась не расплакаться.

— Дорогая мама,— сказал он улыбаясь,— вчера вечером мы с господином Мишо обсуждали, как бы немного скрасить вам жизнь. Вашим детям хотелось бы, чтобы вы были счастливы.

Услышав обращение «дорогая мама», несчастная старуха уже не могла сдержать слез. Не в силах вымолвить ни слова, она порывисто схватила руку Терезы и соединила ее с рукой Лорана.

Когда руки их соприкоснулись, любовники вздрогнули. Они замерли, сжимая друг другу пылающие руки каким-то судорожным пожатием. Молодой человек нерешительным голосом спросил:

— Тереза, хотите, мы сделаем жизнь вашей тети радостной и спокойной?

— Хочу,— тихо ответила вдова,— это наш долг.

Тут Лоран повернулся к г-же Ракен и, сильно побледнев, добавил:

— Когда Камилл упал в воду, он мне крикнул: «Спаси жену, поручаю ее тебе». Мне кажется, что, женясь на Терезе, я выполняю его предсмертную волю.

При этих словах Тереза выпустила руку Лорана. Ее словно что-то ударило в грудь. Бесстыдство любовника ошеломило ее. Она взглянула на него помутневшими глазами, а г-жа Ракен тем временем сквозь слезы лепетала:

— Да, да, друг мой, женитесь на ней, дайте ей счастье, мой сын благословит вас из могилы.

У Лорана стали подкашиваться ноги, он оперся на спинку стула. Мишо, сам растроганный до слез, подтолкнул его к Терезе и сказал:

— Поцелуйтесь, это будет вашей помолвкой.

Когда молодой человек коснулся губами щек Терезы, ему

стало как-то странно не по себе, а вдова резко отпрянула, словно эти два поцелуя любовника обожгли ее. То была его первая ласка при свидетелях; кровь бросилась ей в лицо, она почувствовала, что покраснела и вся пылает, а ведь до этой минуты она не знала, что такое смущение, и никогда не совестилась своей постыдной любовной связи.

После этого кризиса убийцы вздохнули свободнее. Женитьба их была делом решенным, они наконец подошли к цели, к которой стремились так долго. Все было установлено в тот же вечер. В следующий четверг об их свадьбе было объявлено Гриве, Оливье и его жене. Сообщая об этой новости, Мишо торжествовал; он потирал руки и твердил:

— Это мне пришло в голову их поженить... Это я их сочетал... Вот увидите, какая получится замечательная пара...

Сюзанна подошла к Терезе и молча поцеловала ее. Несчастное создание, еле живое и бледное как полотно, питало к мрачной, черствой вдове самые нежные чувства. Она любила ее по-детски, с каким-то почтительным страхом. Оливье поздравил старуху и племянницу, Гриве отпустил несколько соленых шуточек, однако особого успеха не имел. В общем же, все собравшиеся были в восторге, вне себя от радости и решили, что все к лучшему; по правде говоря, они уже представляли себя за свадебным столом.

Тереза и Лоран держались все так же достойно и умно. Они ограничивались тем, что выказывали друг другу нежную, предупредительную дружбу. Они как бы выполняли подвиг высшего самопожертвования. На их лицах не было ни малейшего намека на терзавшие их страхи и желания. Г-жа Ракен взирала на них с усталой улыбкой, с благожелательством и признательностью.

Надлежало выполнить кое-какие формальности. Лорану пришлось написать отцу, чтобы испросить его согласия на брак. Старый крестьянин, уже почти забывший, что у него в Париже есть сын, ответил в двух-трех строках, что Лоран может делать все, что ему заблагорассудится,— хоть жениться, хоть повеситься. Он недвусмысленно намекал, что решил больше не давать сыну ни гроша, а потому предоставляет ему полную свободу и благословляет на любые глупости. Такого рода разрешение необычайно взволновало Лорана.

Когда г-жа Ракен прочла письмо этого изверга, она так растрогалась, что совершила непоправимую оплошность. Она переписала на имя племянницы весь свой капитал — сорок с лишним тысяч,— она все отдала молодой чете, полагаясь на их добрые сердца и желая отныне быть счастливой только благодаря им. Лоран не внес в хозяйство решительно ничего; мало того — он намекнул, что бросит должность и посвятит себя живописи. Впрочем, будущ-

кость семьи была обеспечена: процентов с сорокатысячного капитала и доходов от торговли должно было с избытком хватить на троих. Будущее сулило им безмятежное благополучие.

Подготовка к свадьбе шла быстро. Формальности сократили как только могли. Можно было подумать, что каждому не терпится поскорее ввести Лорана в спальню Терезы. Наконец желанный день настал.

XX

Утром Лоран и Тереза проснулись в своих комнатах с радостной мыслью: оба они подумали, что миновала последняя страшная ночь. Они не будут больше спать в одиночестве, они теперь будут защищать друг друга от утопленника.

Тереза осмотрелась вокруг; когда она взглядом смерила широкую кровать, на лице ее появилась странная улыбка. Она встала, потом медленно оделась, поджидая Сюзанну, которая должна была прийти, чтобы помочь ей принарядиться к свадьбе.

Лоран сел на кровати. Несколько минут он пробыл в этой позе, прощаясь с чердаком, который теперь показался ему особенно гнусным. Наконец-то он расстанется с этой конурой, наконец-то у него будет собственная женщина. Стоял декабрь. Ему стало холодно. Он спрыгнул на пол и подумал, что вечером ему будет жарко.

Госпожа Ракен, зная, что он стеснен в деньгах, неделю тому назад сунула ему в руку кошелек с пятьюстами франками — все свои сбережения. Молодой человек, не моргнув глазом, принял дар и заново оделся. Деньги старой торговки позволяли ему, кроме того, сделать Терезе обычные в таких случаях подарки.

Черные брюки, фрак, белый жилет, сорочка и галстук из тонкого полотна — все это было разложено на двух стульях. Лоран умылся, обтер тело одеколоном, потом тщательно занялся туалетом. Ему хотелось быть неотразимым. Когда он пристегивал крахмальный воротничок, высокий и жесткий, он почувствовал острую боль в шее; запонка выскользнула у него из руки, он стал терять терпение, и ему показалось, что накрахмаленная ткань впивается ему в кожу. Он решил проверить, в чем дело, поднял подбородок и тут заметил багрово-красный укус Камилла; воротничок слегка поцарапал рубец. Лоран сжал губы и побледнел; пятно, выступившее на шее именно в этот момент, тревожило и раздражало его. Он смял воротничок, выбрал другой и пристегнул его со всяческими предосторожностями. Потом он окончательно оделся. На улице он почувствовал себя в новом костюме немного скованным; он не решался ворочать головой, потому что крахмальное

белье сжимало ему шею. Складки полотна при каждом движении бередили рану, которую нанес ему зубами утопленник. Что-то больно кололо шею; в таком состоянии он сел в экипаж и поехал за Терезой, чтобы вместе с ней отправиться в мэрию и в церковь.

По дороге он прихватил чиновника управления Орлеанской железной дороги и старика Мишо, которых пригласил в шаферы. Когда они приехали в магазин, все уже были наготове: тут находились Гриве и Оливье — шаферы Терезы — и Сюзанна, любовавшаяся невестой, как девочки любуются куклой, которую они только что нарядили в новое платьице. Г-жа Ракен, хотя и передвигалась с трудом, все же пожелала всюду сопровождать детей. Ее посадили в экипаж и отправились.

В мэрии и в церкви все прошло вполне пристойно. Спокойный, скромный вид брачущихся был отмечен и по достоинству оценен. Они произнесли решающее «да» с таким волнением, что даже Гриве растрогался. Они пребывали словно во сне. Пока они тихо стояли рядом на коленях или сидели, неистовые мысли помимо воли обуревали и терзали их. Они избегали смотреть друг другу в глаза. Когда они вновь сели в экипаж, им показалось, что они стали как-то чужды друг другу.

Было решено, что свадебный обед состоится в небольшом ресторанчике на холме Бельвиль, в тесном семейном кругу. Приглашены были только семейство Мишо да Гриве. В ожидании шести часов молодожены и приглашенные прокатились по бульварам; потом все направились в погребок, где в отдельном кабинете, выкрашенном в желтый цвет и провонявшем пылью и вином, уже был накрыт стол на семь персон.

Обед прошел не так уж весело. Молодожены были серьезны, задумчивы. С самого утра они чувствовали себя как-то странно и даже не старались дать себе в этом отчет. Быстрота, с какой были выполнены формальности и совершен обряд, навеки сочетавший их, сразу же их как-то ошеломила. Последовавшая затем долгая прогулка по бульварам укачала и разморила новобрачных; им казалось, что эта прогулка длится несколько месяцев; впрочем, они охотно поддавались однообразию мелькавших перед ними улиц, они взирали на магазины и на прохожих мертвым взглядом, ими овладело какое-то дурманящее оцепенение, которое они старались стряхнуть с себя громким хохотом. В ресторане они почувствовали удручающую усталость, придавившую их тяжким гнетом, и все возраставшее оцепенение.

Сидя друг против друга, они натянуто улыбались и поминутно впадали в какую-то мрачную задумчивость; они ели, отвечали, двигали руками, как машины. В их уставшем сонном уме бесконечной вереницей проносились все те же мысли. Они были обвен-

чаны, однако отнюдь не ощущали, чтобы в их положении что-то изменилось; это очень удивляло их. Им чудилось, что между ними зияет все та же пропасть; временами они спрашивали себя: как же им перешагнуть через нее? Когда их разделял какой-нибудь предмет, они чувствовали себя совсем как накануне убийства, когда между ними стояла преграда. Потом они вдруг вспоминали, что вечером, немного позже, лягут спать вместе; тогда они с удивлением смотрели друг на друга, не понимая, почему это будет им позволено. Они не сознавали своего союза; наоборот, им мерещилось, будто их бесчеловечно разлучили и они далеко-далеко друг от друга.

Гости, глупо хихикавшие вокруг, потребовали, чтобы молодожены перешли на «ты» и тем самым рассеяли последние остатки неловкости; поэтому Лоран и Тереза говорили невнятно, краснели; они никак не решались при всех обращаться друг с другом как влюбленные.

От долгого ожидания чувственность у них притупилась, все прошлое куда-то сгинуло. Неистовство похоти затихало, они теперь даже забыли ту радость, которую испытывали утром, глубокую радость, охватившую их при мысли, что отныне им уже больше не придется трепетать от страха. Они просто устали и оторопели от всего происходящего; события дня кружились у них в голове, непонятные и чудовищные. Они неподвижно сидели, молча улыбаясь, ничего не ожидая, ни на что не надеясь. Но где-то на самом дне их изнеможения мучительно билась глухая тревога.

При малейшем повороте головы Лоран ощущал резкое жжение; воротничок впивался ему в шею и царапал шрам, оставшийся от укуса Камилла. В то время как мэр читал ему соответствующую статью гражданского кодекса, в то время как священник говорил ему о боге,— в любую минуту этого бесконечного дня Лоран чувствовал, как зубы утопленника вонзаются в него. Минутами ему чудилось, будто кровь струйкой стекает по его груди и вот-вот выступит на белом жилете.

Госпожа Ракен в глубине души была признательна молодоженам за то, что они так серьезны; шумная радость была бы для несчастной матери оскорбительна; она представляла себе, что сын незримо присутствует здесь и сам передает Терезу в руки Лорана. Гриве придерживался иного образа мыслей: он считал, что свадьба проходит недостаточно весело, и всячески старался расшевелить собравшихся, несмотря на Мишо и Оливье, которые взглядами осаживали его всякий раз, как он порывался подняться, чтобы сказать какую-нибудь глупость. Один раз ему все-таки удалось выскочить. Он предложил тост.

— Пью за здоровье детей новобрачных,— лихо провозгласил он.

Пришлось чокаться. Тереза и Лоран страшно побледнели. Им никогда не приходило в голову, что у них могут родиться дети. Эта мысль пронзила их ледяным ознобом. Они судорожно чокнулись и пристально посмотрели друг на друга, удивленные и напуганные тем, что сидят тут, один возле другого.

Обед кончился рано. Гости пожелали проводить молодоженов до их брачного ложа. Когда вся компания вернулась в магазин, не было еще и половины десятого. Торговка искусственными драгоценностями еще сидела в своей будочке, перед ларцом, обитым синим бархатом. Она с любопытством подняла голову и, улыбаясь, уставилась на молодых. А они заметили ее взгляд и пришли от него в ужас. Быть может, старуха знает об их прежних свиданиях, быть может, она видела, как Лоран прокрадывался в коридор?

Тереза вскоре удалилась в сопровождении г-жи Ракен и Сюзанны. Пока молодая занималась ночным туалетом, мужчины расположились в столовой. Измученный, уставший Лоран не испытывал ни малейшего нетерпения; он снисходительно слушал сальные шуточки Мишо и Гриве, которые в отсутствие дам пустились во все тяжкие. Когда Сюзанна и г-жа Ракен вышли из спальни и старая торговка взволнованным голосом сказала Лорану, что жена ждет его, он вздрогнул и на мгновение замер в замешательстве; потом он судорожно пожал тянувшиеся к нему руки и, держась за косяк двери, как пьяный, вошел к Терезе.

XXI

Лоран тщательно затворил за собою дверь; минуту он неподвижно стоял, прислонившись к косяку, и тревожно, в смущении оглядывал комнату.

В камине полыхало яркое пламя; оно разбрасывало широкие желтые снопы света, плясавшие на стенах и на потолке. Пламя озаряло комнату ярким колеблющимся светом, сравнительно с которым лампа, стоявшая на столе, совсем меркла. Г-жа Ракен постаралась обставить спальню понаряднее; теперь комната была вся белая и благоухала, словно предназначалась служить гнездышком для юной, чистой любви. Старуха украсила кровать кружевами, а на камин поставила большие букеты роз. В комнате веяло уютным теплом и нежным ароматом. Воздух как бы затих, умиротворился, словно пронизанный сладострастной истомой. Хрупкая тишина нарушалась только сухим потрескиванием дров. Можно было подумать, что здесь — блаженное уединение, никому не-

ведомый теплый, благоуханный уголок, куда не долетает уличный шум, уголок, созданный и уготованный для чувственных наслаждений, для таинств страсти.

Тереза сидела на низеньком стуле, справа от камина. Подперев подбородок рукой, она пристально смотрела на яркое пламя. Когда Лоран вошел, она не обернулась. Она была в нижней юбке и ночной кофточке с кружевами, и жаркий свет камина подчеркивал резкую белизну ее одежды. Кофточка немного спустилась с плеча, обнажив розовое тело, чуть прикрытое прядью черных волос.

Лоран молча сделал несколько шагов. Он снял с себя фрак и жилет. Затем он снова взглянул на Терезу; она по-прежнему сидела не шевелясь. Он, видимо, колебался. Потом он заметил ее обнаженное плечо и с трепетом склонился, чтобы прильнуть к нему губами. Молодая женщина резко повернулась, уклоняясь от ласки. Она устремила на Лорана взгляд, выражавший такую странную брезгливость и ужас, что он отступил, смущенный, растерянный и как бы сам охваченный страхом и отвращением.

Лоран сел напротив Терезы, по другую сторону камина. Так они просидели — молча, неподвижно — по крайней мере минут пять. Временами из дров вырывались языки красноватого пламени, и тогда по лицам убийц пробегали кровавые отсветы.

Уже почти два года любовникам не доводилось побыть в комнате наедине, без свидетелей, чтобы свободно отдаться друг другу. У них не было ни одного любовного свидания с того дня, когда Тереза прибежала на улицу Сен-Виктор и подсказала Лорану мысль об убийстве. Осторожность смирила их плоть. Они позволяли себе только, да и то изредка, беглое рукопожатие, мимолетный поцелуй. После убийства Камилла, если в них вновь вспыхивало вожделение, они сдерживали себя в ожидании брачной ночи, мечтая об упоительных ласках, которым они предадутся, когда почувствуют себя в полной безопасности. И вот брачная ночь наконец наступила, а они сидят друг против друга, встревоженные и внезапно охваченные непонятной тоской. Им оставалось только протянуть руки, чтобы слиться в неистовом объятии, а руки их ослабели, словно устали и уже пресытились любовью. Накопившаяся за день усталость все больше и больше одолевала их. Они смотрели друг на друга бесстрастно, в робком смущении, огорченные своим равнодушием и вялостью. Жгучие мечты привели их к странной действительности: как только им удалось убить Камилла и пожениться, как только губы Лорана коснулись плеча Терезы — оказалось, что плоть их пресыщена до отвращения, до ужаса.

Они стали отчаянно искать в самих себе хоть каплю страсти, которая некогда сжигала их. Им казалось, что в их теле нет боль-

ше мускулов, нет нервов. Их смущение, их беспокойство все росли; им было тягостно и стыдно, что, очутившись наедине, они так мрачны и молчаливы. Им хотелось бы найти в себе силу задушить друг друга в объятиях, чтобы выйти из этого глупого положения. Подумать только! Ведь они принадлежат друг другу, ведь они убили человека и разыграли страшную комедию именно для того, чтобы бесстыже валяться, досыта удовлетворяя свою похоть, а вместо этого они сидят вот так — по сторонам камина, окаменевшие, выдохшиеся, с помутневшим рассудком, с безжизненным телом! В конце концов такая развязка показалась им нелепой до ужаса, до жестокости. Тогда Лоран попробовал заговорить о любви, оживить воспоминания, обратиться к воображению, чтобы воскресить прежнюю нежность.

— Тереза,— сказал он, склонившись к молодой женщине,— помнишь часы, проведенные нами в этой комнате?.. Я входил в ту дверь... А сегодня вошел в эту... Теперь мы свободны, теперь мы можем любить друг друга без помех.

Он говорил нетвердым голосом, вяло. Молодая женщина, согнувшись на низком стульчике, по-прежнему смотрела в задумчивости на пламя, не слушая его. Лоран продолжал:

— Помнишь? У меня была мечта, мне хотелось провести с тобою целую ночь, уснуть в твоих объятиях и пробудиться утром от твоих поцелуев. Наконец-то моя мечта осуществится!

Тереза вздрогнула; она, казалось, была удивлена, что незнакомый голос что-то бормочет ей на ухо; она повернулась к Лорану — в этот миг его лицо обагрилось ярким отсветом камина. Она посмотрела на этот кровавый облик и содрогнулась.

А молодой супруг в еще большем смущении, в еще большей тревоге продолжал:

— Мы достигли своего, Тереза, мы преодолели все препятствия и теперь принадлежим друг другу... Будущее — наше, не правда ли? Будущее, озаренное тихим счастьем, взаимной любовью... Камилла уже нет...

Лоран умолк. Горло у него пересохло, он задыхался, не в силах был говорить. При имени Камилла у Терезы внутри что-то оборвалось. Убийцы смотрели друг на друга, растерянные, бледные и дрожащие. Оранжевые отсветы пламени по-прежнему плясали на потолке и на стенах; в воздухе носился теплый аромат роз; тишину нарушало лишь сухое потрескивание дров.

Тут воспоминания толпою вырвались на волю. Призрак Камилла, вызванный из прошлого, занял место между молодоженами, у пылающего камина. В жарком воздухе, которым они дышали, Тереза и Лоран вновь различали влажный, прохладный запах утопленника; они чувствовали, что вот здесь, рядом, находится

труп, и они пристально смотрели друг на друга, не смея шелохнуться. И тогда в глубине их памяти вновь развернулась страшная история совершенного ими преступления. Достаточно было произнести имя жертвы, чтобы прошлое опять захватило их, чтобы для них вновь ожили все ужасы убийства. Они не промолвили ни слова; они только смотрели друг на друга, и обоими завладел один и тот же кошмар, умственный взор обоих обратился к одним и тем же жутким событиям. Они обменивались взглядами, полными отчаяния, они принимались без слов рассказывать друг другу подробности убийства — и это вызывало у них чувство острого, нестерпимого страха. Нервы их были до того напряжены, что вот-вот могла разразиться истерика; они готовы были закричать, быть может, подраться. Чтобы отогнать воспоминания, Лоран резко отвернулся, положив конец наваждению и ужасу, приковавшим его к Терезе. Он прошелся по комнате, надел ночные туфли, потом опять сел у камина и попробовал заговорить на безразличные темы.

Тереза поняла, чего он хочет. Она старалась отвечать на вопросы. Они поговорили о дожде, о хорошей погоде. Они принуждали себя вести обычную беседу. Лоран находил, что в комнате чересчур жарко, Тереза возразила, что из-под двери на лестницу немного дует. И оба они с внезапным трепетом обернулись к двери. Молодой человек поспешил заговорить о розах, о камине, обо всем, что попадалось ему на глаза; Тереза делала над собой усилие и тем не менее отвечала односложно, лишь бы поддержать разговор. Они сидели поодаль друг от друга, старались держаться непринужденно, силились забыть, что они муж и жена, и вести себя как люди посторонние, только случайно оказавшиеся вместе.

И помимо их воли, в силу какого-то странного явления, оба они отлично понимали, какие мысли скрываются за их пустыми речами. Они неотступно думали о Камилле. Глазами они продолжали рассказывать друг другу о прошлом; взгляды их не прекращали немого, но последовательного разговора, который шел одновременно с беспорядочным разговором вслух. Слова, которые они произносили через силу, были лишены смысла, бессвязны, противоречили друг другу; забыв все остальное, они сосредоточенно и безмолвно обменивались своими страшными воспоминаниями. В то время как Лоран говорил о розах, или о камине, или еще о чем-нибудь, Терезе явственно слышалось, что он напоминает ей о схватке в лодке, о том, как глухо всплеснула вода, когда Камилл упал в реку. А когда Тереза на какой-нибудь незначительный вопрос отвечала «да» или «нет», Лоран понимал, что она говорит ему о том, помнит ли она или забыла ту или иную подробность убийства. Так беседовали они, обнажая друг перед другом сердце; они

не нуждались в словах и даже могли говорить в это время о постороннем. Они не отдавали себе отчета в том, что произносили вслух, зато внимательно следили за своими сокровенными мыслями; они могли бы сразу же продолжить эти мысли вслух и отлично поняли бы друг друга. Эта своеобразная прозорливость, это настойчивое стремление памяти беспрестанно воскрешать образ Камилла понемногу сводило их с ума. Они сознавали, что до конца понимают друг друга и что если они не будут молчать, то слова сами польются с их губ, раздастся имя Камилла, последует подробное описание убийства. Тогда они теснее сжали губы и совсем умолкли.

Но в наступившей давящей тишине убийцы снова без слов заговорили о своей жертве. Каждому казалось, что взгляд другого проникает в его мозг и вонзает в него острые, четкие мысли. Временами им мерещилось, будто они говорят вслух; органы чувств у них перерождались, зрение становилось своего рода слухом, причудливым и тонким; они так ясно читали мысли по лицу, что мысли эти приобретали какое-то странное, оглушительное звучание, сотрясавшее весь организм. Если бы они душераздирающим голосом крикнули друг другу: «Мы убили Камилла, его труп здесь, между нами, он леденит нас!» — они поняли бы друг друга не лучше, чем говоря так, без слов. И страшные признания все продолжались, становились все отчетливее, все громче во влажной тишине спальни.

Лоран и Тереза начали безмолвный рассказ со своей первой встречи в магазине. Потом воспоминания последовательно потянулись одно за другим; они рассказали друг другу о часах, проведенных в сладострастной неге, о сомнениях и злобе, о страшных мгновениях убийства. Тут они сомкнули губы и перестали говорить о пустяках, боясь неожиданно, помимо воли, произнести имя Камилла. Но тогда мысли, и теперь уже безудержно, повлекли их к тому настороженному ожиданию, к тем тревогам, которые последовали за убийством. Так дошли они до воспоминания о трупе, распростертом на каменной плите морга. Лоран взглядом поведал Терезе охвативший его ужас, а Тереза, доведенная до крайности и чувствуя, что чья-то железная рука разомкнула ей рот, внезапно стала продолжать разговор вслух.

— Ты видел его в морге? — спросила она, не называя Камилла.

Лоран, несомненно, ждал этого вопроса. Он прочел его на бледном лице Терезы еще до того, как она заговорила.

— Видел,— ответил он сдавленным голосом.

Убийцы содрогнулись. Они пододвинулись к огню; они протянули руки к пламени, словно в теплой комнате вдруг потянуло

ледяным дыханием. Минуту они молчали, съежившись, притихнув. Потом Тереза глухо спросила:

— А как тебе показалось — он очень мучился?

Лоран не в силах был ответить. Он сделал испуганный жест, словно отстраняя омерзительное видение. Он встал, направился к кровати, потом порывисто обернулся и подошел к Терезе, раскрыв объятия.

— Поцелуй меня,— сказал он, подставляя шею.

Тереза встала; она побледнела как полотно; она стояла в ночном одеянии и, еле держась на ногах, прислонилась к мраморному выступу камина. Она взглянула на шею Лорана и тут впервые увидела розовое пятно, выделявшееся на белой коже. От прилившей крови пятно увеличилось и стало огненно-красным.

— Поцелуй меня, поцелуй,— твердил Лоран.

Лицо его и шея пылали.

Чтобы уклониться от ласки, молодая женщина еще больше закинула голову и, дотронувшись до прокушенного места пальцем, спросила:

— Что это у тебя здесь? Раньше я этого не замечала.

Лорану показалось, будто палец Терезы сверлит ему шею и вот-вот проткнет ее насквозь. Почувствовав его прикосновение, он резко отодвинулся, и из груди его вырвался болезненный возглас.

— Это...— залепетал он,— это...

Он запнулся, но все-таки не мог солгать и невольно сказал правду:

— Это Камилл меня укусил... понимаешь, в лодке. Да это пустяки. Уже все прошло... Поцелуй меня, поцелуй.

И несчастный подставлял ей пылающую шею. Он хотел, чтобы Тереза поцеловала рубец, он надеялся, что ласка молодой женщины утолит боль от бесчисленных уколов, терзавших его. Приподняв подбородок, вытянув вперед шею, он ждал поцелуя. Но у Терезы, которая держалась на ногах только потому, что прислонилась к камину, вырвался жест крайнего отвращения, и она умоляющим голосом воскликнула:

— Нет, нет, не сюда... Здесь кровь.

Она снова, вся дрожа, опустилась на стул и взялась руками за голову. Лоран опешил. Он потупился и взглянул на Терезу помутневшими глазами. Потом вдруг, порывисто, как дикий зверь, обеими руками обхватил ее голову и с силой прижал ее губы к шее, к тому месту, куда его укусил Камилл. На мгновение он замер так, изо всех сил прижимая к себе голову Терезы. Молодая женщина не сопротивлялась, она глухо стонала, ей нечем было дышать. Вырвавшись наконец из его рук, она резким движением утерла рот и сплюнула в камин. Она не произнесла ни звука.

Лоран устыдился своей грубости; он стал медленно расхаживать по комнате, от кровати к окну и обратно. Только страшная боль, только нестерпимое жжение побудили его потребовать этого поцелуя, но когда холодные губы Терезы приложились к пылающему шраму, ему стало еще хуже. Поцелуй, добытый насилием, окончательно подорвал его силы. Ни за что на свете не захотел бы он еще такого поцелуя — столь мучителен был полученный им удар. И он смотрел на женщину, с которой ему предстояло жить,— она сидела спиной к нему, скорчившись и дрожа; он говорил себе, что уже не любит эту женщину и она уже не любит его. Около часа Тереза просидела в полном изнеможении. Лоран молча ходил взад и вперед. Оба с ужасом признавались себе, что страсть их мертва, что, убив Камилла, они убили в себе и взаимное влечение. Камин тихо догорал; угольки подернулись пеплом, над ними реяли широкие розовые отсветы. Понемногу в комнате стало жарко и душно; цветы увядали, наполняя спертый воздух тяжелым ароматом.

Вдруг Лорану показалось, что у него начинается галлюцинация. Возвращаясь от окна к кровати, он в темном углу, между камином и зеркальным шкафом, увидел Камилла. Лицо у его жертвы было перекошенное, зеленоватое — такое, каким он его видел в морге. Лоран замер на месте; чтобы не упасть, он схватился за стул. Тереза услыхала его глухой хрип и подняла голову.

— Вон там, там,— лепетал Лоран беззвучным голосом.

Он протянул руку и показывал на темный угол, где перед ним предстало зловещее лицо Камилла. Ужас, объявший Лорана, передался Терезе; она вскочила с места и бросилась к нему.

— Это его портрет,— сказала она шепотом, словно изображение мужа, писанное на полотне, могло услыхать ее.

— Его портрет,— повторил Лоран; он чувствовал, как волосы шевелятся у него на голове.

— Да, портрет, который ты написал. Тетя собиралась сегодня взять его к себе, да, вероятно, забыла.

— Конечно, это портрет...

Убийце все еще не верилось, что перед ним холст. Со страха он позабыл, что сам изобразил эти помятые черты, сам наложил грязные краски, которые теперь приводят его в ужас. С перепугу он видел портрет таким, каким тот и был на самом деле,— отвратительным, плохо скомпонованным, тусклым, являющим искаженное, как у трупа, лицо на черном фоне. Его же собственное произведение удивляло и подавляло его своим чудовищным безобразием, особенно глаза — белесые, как бы плавающие в рыхлых желтоватых глазных впадинах; они в точности напоминали ему гниющие глаза утопленника, которого он видел в морге. На минуту он замер, еле

переводя дух; он думал, что Тереза лжет, чтобы подбодрить его. Потом он разглядел раму и понемногу успокоился.

— Сними его,— тихо сказал он Терезе.

— Нет, нет, боюсь,— ответила она, содрогнувшись.

Лоран снова затрепетал. Мгновениями рама исчезала, и тогда он видел только два белых глаза, которые впивались в него.

— Прошу тебя,— сказал он умоляющим голосом,— сними его.

— Нет, нет.

— Мы повернем его к стенке, тогда нам не будет страшно.

— Нет, не могу.

Убийца трусливо, униженно подталкивал молодую женщину к портрету, а сам прятался за ней, чтобы укрыться от взгляда утопленника. Но Тереза вырвалась от него. Тогда он решился на отчаянный поступок: он подошел к картине, поднял руку, чтобы нащупать гвоздь... Но тут изображение бросило на него такой жуткий, такой пристальный, такой отвратительный взгляд, что Лоран, попытавшийся было выдержать этот взгляд, был им сражен и в ужасе отступил, шепча:

— Нет, ты права, Тереза, нам его не снять... Завтра его снимет тетя.

Он снова зашагал по комнате, понурив голову, чувствуя, что портрет смотрит на него, неотступно следит за ним. Помимо воли он то и дело посматривал на портрет и каждый раз видел обращенные на него тусклые, безжизненные глаза утопленника. Мысль, что Камилл здесь, в углу, что он глядит на него, что он наблюдает за ним и за Терезой, что он свидетель их брачной ночи, довела Лорана до полного безумия и отчаяния.

Незначительное обстоятельство, которое у всякого другого вызвало бы только улыбку, окончательно лишило Лорана рассудка. Когда он стоял возле камина, ему послышался какой-то шорох. Он побледнел. Он вообразил, что шорох исходит от портрета, что это Камилл выступает из рамы. Потом он разобрал, что звук доносится со стороны двери, ведущей на лестницу. Он взглянул на Терезу, и ею снова стал овладевать ужас.

— Кто-то стоит на лестнице,— прошептал он.— Кто же это может быть?

Молодая женщина не ответила. У обоих на уме был утопленник; их бросило в холодный пот. Они отпрянули в глубь комнаты, готовые к тому, что вот-вот дверь распахнется и на пол рухнет труп Камилла. Шорох продолжался, становился резче, беспорядочнее, и им представилось, что их жертва ногтями царапается в дверь, чтобы войти. Минут пять они не решались шелохнуться. Наконец раздалось мяуканье. Лоран подошел к двери и увидел полосатого кота г-жи Ракен; его нечаянно заперли в спальне, и те-

перь он скребся, чтобы уйти. Кот испугался Лорана; одним прыжком он вскочил на стул. Выпустив когти, взъерошившись, он смотрел своему новому господину прямо в лицо, неприветливо и злобно. Лоран вообще не любил кошек, а Франсуа просто пугал его. В этот тревожный, полный ужаса час Лорану казалось, что кот собирается вцепиться ему в лицо, чтобы отомстить за Камилла. Кот, должно быть, все знал: в его широко раскрытых круглых глазах читалась какая-то мысль. Под пристальным взглядом животного Лоран потупился. Он уже собрался дать коту пинка ногой, но Тереза вскричала:

— Не обижай его!

Этот возглас подействовал на Лорана самым неожиданным образом. В голову ему пришла нелепая мысль.

«В кота вселился Камилл,— подумал он.— Придется его убить... В нем есть что-то человеческое».

Он не дал Франсуа пинка, он боялся, как бы тот не заговорил голосом Камилла. Потом ему вспомнились шутки Терезы, сказанные в дни любовных восторгов, когда кот был свидетелем их ласк. Тут он решил, что Франсуа знает много лишнего и что придется вышвырнуть его в окно. Но у него не хватало мужества исполнить это намерение. У Франсуа был воинственный вид; он сердито изогнулся, выпустил когти и с величественной невозмутимостью следил за малейшими движениями врага. Металлический блеск его глаз смущал Лорана; он поспешил открыть Франсуа дверь в столовую, и кот шмыгнул туда, резко мяукнув.

Тереза вновь села у погасшего камина. Лоран продолжал шагать по комнате. Так дождались они рассвета. Они и не подумали ложиться — их тела и души были мертвы. У них было только одно твердое желание — желание поскорее вырваться отсюда, им тут нечем было дышать. Им было невмоготу находиться вдвоем в одной комнате, дышать одним воздухом; им хотелось, чтобы тут был еще кто-нибудь, чтобы человек этот нарушил их уединение и вывел их из тягостного положения, в котором они находились, ибо, оказавшись наедине, они не знали, что сказать друг другу, и уже не могли воскресить в себе прежнюю страсть. Они подолгу молчали и сами жестоко страдали от этого; в их молчании слышались горькие, отчаянные жалобы и немые упреки — они явственно улавливали их в ночной тишине.

Наконец забрезжил свет, тусклый и белесый, и привел с собою пронизывающий холод.

Когда комната озарилась бледным светом, дрожавший Лоран стал понемногу успокаиваться. Он решился взглянуть на портрет Камилла и увидел его таким, каким он и был в действительности,— незначительным и пошлым; он снял его со стены и пожал

плечами, обозвав себя дураком. Тереза встала с места и принялась раскидывать одеяла и подушки, чтобы обмануть тетю, сделав вид, будто они провели счастливую ночь.

— Что же это такое? Надеюсь, следующую ночь мы будем спать? — грубо сказал Лоран.— Этому ребячеству надо положить конец.

Тереза бросила на него глубокий, мрачный взгляд.

— Сама понимаешь,— продолжал он,— я не для того женился, чтобы проводить бессонные ночи... Мы с тобою как дети... А ведь все ты... Это ты смутила меня своими дикими бреднями. Сегодня вечером изволь быть повеселее и не вздумай пугать меня.

Он деланно засмеялся, сам не зная чему.

— Постараюсь,— глухо ответила молодая женщина.

Так прошла их брачная ночь.

XXII

Последующие ночи были еще мучительнее. Убийцам хотелось быть по ночам вместе, чтобы сообща защищаться от утопленника, но по какой-то таинственной причине, с тех пор как они соединились, им стало еще страшнее. Обмениваясь самыми незначительными фразами, самыми простыми взглядами, они приводили друг друга в отчаяние, теребили себе нервы, переживали чудовищные приступы страха и страдания. Едва только они заводили разговор о чем-нибудь, едва оставались наедине, как начинали бредить и видеть вокруг себя всякие ужасы.

Сухой, нервный характер Терезы оказывал на грубую сангвиническую природу Лорана очень странное влияние. Прежде, в дни страсти, разница в темпераментах тесно связывала их, создавая своего рода равновесие, как бы дополняя их организмы. Любовник привносил в их союз свою жизненную силу, любовница — нервы; так жили они один в другом, и объятия были им необходимы для бесперебойной биологической работы их организмов. Но вот равновесие нарушилось, нервы Терезы, напряженные до крайности, взяли верх. Лоран вдруг оказался во власти острого нервного возбуждения; под жгучим влиянием молодой женщины характер его постепенно стал походить на характер девушки, страдающей острым неврозом. Было бы весьма любопытно проследить изменения, которые подчас совершаются в иных организмах под влиянием определенных обстоятельств. Эти изменения, исходя от плоти, вскоре передаются мозгу, кладут отпечаток на всю личность.

До знакомства с Терезой Лоран отличался ограниченностью, осторожностью, спокойствием, он жил сангвинической жизнью выходца из крестьян. Он спал, ел, пил, как скотина. В любое время,

при любых обстоятельствах своего повседневного существования, он дышал легко, полной грудью, был доволен собою, туповат и хорошо упитан. Лишь изредка его грузное тело испытывало какую-то смутную тревогу. Эту смутную тревогу Тереза довела до страшных вспышек. Она развила в этом большом, жирном и рыхлом теле на редкость чувствительную нервную систему. Прежде Лоран воспринимал радости жизни скорее плотью, чем нервами; теперь чувства его утончились. Первые же ласки любовницы открыли ему какую-то новую для него нервную, всепоглощающую стихию. Это невероятно изощрило его сексуальность и придало наслаждениям такую терпкость, что сначала он как бы обезумел; он безудержно отдался чувственным оргиям, доселе неведомым его телу. И тут в его организме совершился странный процесс: нервы его обострились и возобладали над началом сангвиническим. Уже одно это обстоятельство в корне изменило его существо. Он утратил прежний покой, тяжеловесность, он перестал жить как бы в дремоте. Настало время, когда нервы его и кровь пришли в равновесие,— то было время глубоких радостей, целостного существования. Потом нервы стали брать верх, и он оказался во власти тревог, которые терзают больные тела и души.

Вот почему Лоран, словно трусливый мальчишка, стал приходить в ужас при виде темного закоулка комнаты. Новый индивидуум, отделившийся в нем от грубого, тупого крестьянина, существо трепещущее, растерянное испытывало теперь все страхи, все тревоги, знакомые нервным людям. Последующие обстоятельства — исступленные ласки Терезы, переживания, связанные с убийством, затем боязливое ожидание чувственных радостей,— все это как бы свело его с ума; все это взвинчивало его чувства, грубо и настойчиво било по нервам. Наконец явилась роковая бессонница, неся с собою галлюцинации. С тех пор жизнь стала для Лорана невыносимой, она проходила в беспрестанных страхах, от которых он изнемогал.

Угрызения совести носили у него чисто физический характер. Утопленника боялись одни лишь расшатанные его нервы, его тело, трусливая плоть. Совесть же его отнюдь не участвовала в этих страхах, он ничуть не сожалел, что убил Камилла; в минуты успокоения, в минуты, когда призрак не стоял перед ним, он снова совершил бы убийство, если бы решил, что того требуют его интересы. Днем он сам потешался над своими страхами, давал себе слово быть мужественным, бранил Терезу и обвинял ее в том, что она его смущает; выходило так, что именно Тереза поддается ужасу, именно она устраивает по ночам, в спальне, чудовищные сцены. Но едва только приходила ночь, едва только он оказывался наедине с женой, тело его покрывалось холодной испариной и ребя-

«Тереза Ракен».

ческий страх окончательно завладевал им. Он подвергался нервным припадкам, припадкам, которые повторялись каждый вечер, расстраивали его психику и являли ему отвратительное зеленоватое лицо его жертвы. То были как бы приступы жестокой болезни, какая-то истерия убийства. Действительно, только болезнью, только нервным расстройством и можно было назвать страхи, овладевавшие Лораном. Лицо его передергивалось, тело коченело; бывало видно, как бунтуют в нем нервы. Тело страшно мучилось, но душа отсутствовала. Несчастный не испытывал ни малейшего раскаяния; страсть Терезы привила ему тяжкий недуг — вот и все.

Тереза тоже находилась во власти глубоких потрясений. Но, в отличие от Лорана, характер у нее сохранился прежний, только до крайности обострились его основные черты. У этой женщины нервное расстройство наметилось еще с десятилетнего возраста и отчасти объяснялось тем, что она росла в душной, отвратительной атмосфере, в комнате, где прозябал маленький Камилл. В девочке скапливались грозовые силы, мощные порывы, которым со временем предстояло разразиться подлинными бурями. Лоран вызвал в ней то же, что и она в Лоране,— какое-то грубое потрясение всего существа. С первого же объятия ее резкий и сладострастный темперамент развернулся с дикой энергией; с тех пор она жила лишь для любви. Все больше и больше отдаваясь сжигающей ее страсти, она в конце концов дошла до какого-то болезненного оцепенения. События подавляли ее, все толкало ее к безумию. Теперь, в дни жутких переживаний, в ней сказывались и чисто женские черты, которых не было у ее нового супруга: ее мучили смутные угрызения совести, запоздалые сожаления; временами ей хотелось броситься на колени перед призраком Камилла, молить его о прощении и умилостивить обещанием раскаяться. Быть может, Лоран и догадывался об этих минутах малодушия. Когда ими обоими овладевал ужас, он нападал на нее, обходился с нею грубо.

В первые ночи они не решались лечь. Они ждали рассвета, сидя перед камином или расхаживая по комнате, как в день свадьбы. Мысль о том, что им предстоит лечь рядом, вызывала у них какой-то страх и отвращение. По молчаливому соглашению они избегали целоваться, они даже не смотрели на свое ложе, и Тереза каждое утро нарочно приводила его в беспорядок. Когда усталость окончательно одолевала их, они засыпали на час, на два в креслах, потом внезапно просыпались от какого-нибудь зловещего кошмара. Очнувшись с затекшим, окоченевшим телом, с лицом в мертвенно-белых пятнах, они дрожали от холода и недомогания и смотрели друг на друга в изумлении, удивляясь тому, что они здесь, странно стесняясь один другого, стыдясь обнаружить свое отвращение и страх.

И они всячески боролись со сном. Они усаживались по сторонам от камина и говорили о разных пустяках, силясь во что бы то ни стало поддерживать беседу. Между ними оставалось большое пространство. Стоило им только повернуть голову, и им чудилось, будто Камилл поставил на пустое место стул, сидит и со зловеще-игривым видом греет себе ноги. Видение это, впервые явившееся им в брачную ночь, возвращалось ежедневно. Этот безгласный, насмешливый труп, всегда присутствовавший при их разговорах, это чудовищно обезображенное тело, не покидавшее их ни на минуту, держало убийц в состоянии неослабной тревоги. Они боялись пошевельнуться, они до слепоты смотрели на яркое пламя, а когда им случалось непроизвольно отвести взгляд в сторону, в их глазах, раздраженных ярким пыланием камина, возникал призрак, залитый красноватыми отсветами.

В конце концов Лоран перестал садиться к огню, но не признавался Терезе, чем вызвано это чудачество. Тереза догадалась, что Лорану мерещится Камилл, как мерещится он и ей самой. Тогда она тоже стала говорить, что ей делается нехорошо от чрезмерного жара и что поэтому она предпочитает сидеть несколько поодаль. Она придвинула свое кресло к кровати и теперь неподвижно сидела здесь, в то время как муж снова принимался расхаживать по комнате. Время от времени Лоран растворял окно, и ледяной январский воздух врывался в комнату, наполняя ее пронизывающим холодом. Это умеряло его лихорадку.

Целую неделю молодожены проводили так все ночи напролет. Днем они немного отдыхали, забываясь в дремоте,— Тереза в лавке, за конторкой, Лоран — на службе. Ночью ими вновь овладевали мучения и страх. Но еще более странным было их отношение друг к другу. Они не произносили ни единого слова любви, они делали вид, будто забыли прошлое; они, казалось, только мирились с тем, что живут совместно, и терпели друг друга, подобно тому как больные сочувственно терпят других больных, пораженных тем же недугом. Каждый из них надеялся, что ему удастся скрыть свое отвращение и страхи; они ничуть не задумывались о том, как ненормально проводят они ночи, и не понимали того, что каждый из них неизбежно должен догадаться об истинном душевном состоянии другого. Они не ложились спать всю ночь, обменивались лишь двумя-тремя фразами, бледнели при малейшем звуке, но делали вид, будто считают, что в первые дни брака все молодожены ведут себя именно так. Это было неуклюжее притворство двух умалишенных.

Вскоре усталость до того изнурила их, что как-то вечером они наконец решились лечь. Они не разделись, а бросились на кровать как были, в платье, чтобы не коснуться друг друга. Им казалось,

что малейшее соприкосновение их тел отзовется в них мучительным ударом. Продремав так, хоть и тревожно, две ночи, они на третью отважились раздеться и лечь под одеяло. Но они лежали порознь и приняли все меры к тому, чтобы не коснуться друг друга. Тереза забралась в постель первая и легла в глубине, у стенки. Лоран дал ей время устроиться, потом сам лег с краю. Между ними оставалось свободное место. Здесь лежал труп Камилла.

Когда убийцы оказывались под одним одеялом и закрывали глаза, им мерещилось, что они чувствуют подле себя влажное тело их жертвы,— оно лежит посреди постели и их пронизывает идущий от него холодок. Оно было как бы неким мерзким препятствием, которое разделяло их. Ими овладевала лихорадка, начинался бред, и препятствие становилось для них вполне материальным; они касались трупа, они видели его, видели зеленоватую разложившуюся массу, они вдыхали зловоние, которое исходило от этой кучи человеческой гнили; все их органы чувств находились в состоянии галлюцинации и придавали восприятиям нестерпимую остроту. Присутствие этого отвратительного сотоварища по ложу сковывало их, лишало дара речи, повергало в безумный страх. Иногда Лоран думал, не обнять ли ему Терезу в страстном порыве, но он не решался пошевельнуться, он знал, что стоит ему только протянуть руку, и он прикоснется к дряблой коже Камилла. Тогда ему приходило на ум, что утопленник для того и лежит между ними, чтобы помешать им обняться. В конце концов ему стало ясно, что утопленник ревнует.

Иногда они все-таки пытались робко обняться, чтобы проверить, что за этим последует. Лоран шутя приказывал жене поцеловать его. Но губы их были так холодны, словно между ними стояла смерть. Они чувствовали отвращение, Тереза содрогалась от ужаса, а Лоран, слыша, как у нее стучат зубы, приходил в дикую ярость.

— Чего ты трясешься? — кричал он.— Уж не Камилла ли боишься?.. Успокойся, бедняга теперь далеко.

Они избегали поверять друг другу причину своих жутких переживаний. Когда перед одним из них в галлюцинации являлся мертвенный облик утопленника, он закрывал глаза, замыкался в своих страхах и не решался заговорить о видении, опасаясь придать припадку еще бо́льшую отчетливость. Когда Лоран в приступе отчаяния, потеряв власть над собою, начинал упрекать Терезу в том, что она боится Камилла,— само это имя, произнесенное вслух, повергало их в еще больший ужас. Убийца начинал бредить.

— Да, да, ты боишься Камилла,— лепетал он, обращаясь к жене,— ты боишься Камилла... Я все отлично понимаю, черт возь-

ми! Ты дура, у тебя ни на грош мужества. Можешь спать спокойно. Ты, кажется, воображаешь, что твой первый муж сейчас потащит тебя за ноги, потому что я лежу около тебя...

От мысли, от предположения, что утопленник может потащить их за ноги, у Лорана волосы становились дыбом. Он продолжал с еще бо́льшим ожесточением, терзая самого себя:

— Как-нибудь я свожу тебя ночью на кладбище... Мы раскопаем могилу, и ты увидишь, какая там груда тухлятины! Тогда, может быть, ты перестанешь бояться... Да ведь он даже и не знает, что мы утопили его...

Тереза зарывалась в одеяло и глухо стонала.

— Мы его утопили потому, что он нам мешал,— продолжал муж.— При надобности мы снова утопили бы его... Перестань ребячиться. Будь потверже. Глупо омрачать наше счастье... Ведь оттого, что мы выкинули какого-то болвана в Сену, мы после смерти, в земле, не будем ни счастливее, ни несчастнее; зато при жизни мы вволю насладимся любовью, а это, что ни говори, не шутка... Ну, поцелуй же меня.

Оледеневшая от ужаса, обезумевшая Тереза целовала его, а сам он дрожал не меньше ее.

Более двух недель Лоран обдумывал, как бы ему еще раз убить Камилла. Он утопил его, но этого оказалось мало,— Камилл был еще недостаточно мертв, каждую ночь он являлся и залезал в постель Терезы. Убийцы считали, что окончательно уничтожили его и что теперь можно безраздельно отдаться любви, а между тем жертва оживала и своим присутствием леденила их ложе. Оказывалось, что Тереза не вдова. Лоран был мужем женщины, у которой имелся другой супруг — утопленник.

XXIII

Безумие Лорана понемногу приняло острую форму. Он решил изгнать Камилла из своей постели. Сначала он ложился не раздеваясь, потом стал всячески стараться не коснуться тела Терезы. Наконец, с отчаяния, в бешенстве он решил привлечь к себе жену, считая, что лучше задушить ее, чем предоставить призраку. То был бунт, величественный в своем животном неистовстве.

В общем, ведь в спальню молодой женщины его привела только надежда на то, что объятия Терезы излечат его от бессонницы. Когда же он поселился в этой комнате, когда оказался в ней хозяином, тело его, раздираемое еще более жестокой пыткой, даже перестало искать исцеления. И в течение трех недель Лоран находился в совершенно подавленном состоянии, он забыл, что единст-

венной целью всех его поступков было обладание Терезой, и теперь, обладая ею, он не мог к ней прикоснуться без того, чтобы не вызвать еще бо́льшую муку.

Из отупения его вывела крайняя острота страданий. В первый момент этого оцепенения, в часы странной подавленности, которая охватила его в брачную ночь, ему удалось забыть побуждения, толкнувшие его на брак. Но под влиянием кошмаров им постепенно завладела глухая злоба, которая преодолела в нем трусость и вернула ему память. Он вспомнил, что женился для того, чтобы в страстных объятиях забыть дурные сны. И вот однажды ночью он порывисто обнял Терезу и, рискуя задеть утопленника, грубо привлек ее к себе.

Нервы молодой женщины тоже были напряжены до крайности. Если бы она была уверена, что пламя очистит ее тело и избавит ее от мук,— она, не задумываясь, бросилась бы в огонь. Она ответила на порыв Лорана, решив либо сгореть от его ласк, либо найти в них облегчение.

И они слились в страшном объятии. Муки и чувство ужаса заменили им желания. Когда тела их прикоснулись друг к другу, Лорану и Терезе показалось, будто они упали на рдеющие угольи. Они вскрикнули и еще теснее прижались друг к другу, чтобы между ними не осталось места для утопленника. Но хотя тела их и пылали, они все же чувствовали ледяные прикосновения отвратительных останков Камилла.

Ласки их были неистовы до жестокости. Тереза губами отыскала на вздувшейся, напряженной шее Лорана шрам от укуса и исступленно впилась в него. Именно здесь — кровоточащая рана; когда она затянется, убийцы смогут спать безмятежно. Молодая женщина отдавала себе в этом отчет, она старалась прижечь больное место огнем своих ласк. Но она сама обожглась, а Лоран резко оттолкнул ее, издав глухой стон; ему показалось, будто шеи его коснулось раскаленное железо. Обезумевшая Тереза хотела вновь поцеловать рубец; ей доставляло острое наслаждение прижиматься губами к тому месту, куда впились зубы Камилла. На миг у нее возникла мысль укусить мужа в то же место, вырвать широкую полоску кожи, нанести ему новую, более глубокую рану, чтобы уничтожить следы прежней. Она говорила себе, что при виде следа от своих собственных зубов она уже не будет бледнеть от страха. Но Лоран не давал поцеловать себя в шею; поцелуи Терезы нестерпимо жгли его, и как только она тянулась к нему, он ее отталкивал; они боролись, хрипя, барахтаясь в мерзости своих ласк.

Они ясно сознавали, что только усиливают свои страдания. Они изнуряли себя в страшных объятиях, они кричали от боли,

они обжигали и терзали друг друга, но не в силах были укротить взбунтовавшиеся нервы. Каждое объятие только усиливало их отвращение. Они покрывали друг друга страшными поцелуями и в то же время становились жертвами жутких галлюцинаций; им казалось, что утопленник тащит их за ноги и трясет кровать.

На минуту они выпустили друг друга из объятий. Ими овладевало омерзение, какое-то непреодолимое нервное возмущение. Потом они решили, что надо побороть его; они вновь обнялись, но опять вынуждены были выпустить друг друга, словно тела их пронзало какое-то раскаленное острие. Так они несколько раз пытались подавить в себе отвращение и забыться, утомив, истерзав первы. Но нервы каждый раз возбуждались и напрягались, доводя их до такого отчаяния, что они, пожалуй, умерли бы от изнеможения, если бы не вырвались из взаимных объятий. Борьба с собственной плотью доводила их до бешенства; они упрямились, они хотели во что бы то ни стало восторжествовать. Наконец еще более резкий припадок одолел их; они получили удар такой неимоверной силы, что подумали, не начинается ли у них падучая.

Отпрянув к краям постели, пылающие и еле живые, они разрыдались.

И сквозь эти рыдания им послышался торжествующий хохот утопленника; потом он, хихикая, снова стал пробираться под одеяло. Изгнать его им не удалось; победил он. Камилл тихонько лег между ними; Лоран плакал от сознания своего бессилия, а Тереза вся тряслась, опасаясь, как бы трупу не вздумалось воспользоваться своей победой и на правах законного властелина обнять ее разложившимися руками. В ту почь убийцы предприняли последнюю попытку; теперь, перед лицом своего поражения, они поняли, что отныне не решатся даже на целомудренный поцелуй. Судороги безумной любви, которую они попытались оживить, чтобы преодолеть свои страхи, только глубже погрузили их в ужас. Ощущая холод, исходящий от трупа, который отныне должен навеки разлучить их, они плакали кровавыми слезами и с отчаянием думали: что же будет с ними дальше?

XXIV

Как и рассчитывал старик Мишо, когда старался устроить брак Терезы и Лорана, четверговые собрания сразу же после свадьбы стали оживленными, как прежде. После смерти Камилла эти собрания оказались под угрозой. Пока семья была в трауре, завсегдатаи заглядывали сюда с опаской; каждый раз они боялись, как бы им окончательно не отказали от дома. Мысль о том,

что дверь лавочки в конце концов закроется перед ними, приводила Мишо и Гриве в ужас, ибо они придерживались своих привычек инстинктивно и упрямо, как животные. Они думали, что старуха мать и молодая вдова в один прекрасный день уедут в Вернон или еще куда-нибудь, чтобы там оплакивать усопшего, а друзья их в один из четвергов останутся на улице, не зная, что предпринять; они уже представляли себе, как они печально бредут по пассажу, мечтая о грандиозных партиях в домино. В ожидании этих черных дней они робко наслаждались последними радостями, они являлись в лавку встревоженные и заискивающие и каждый раз думали, что, быть может, не придут сюда больше никогда. Целый год они жили в страхе, не осмеливаясь дать себе волю и смеяться в присутствии заплаканной г-жи Ракен и безмолвной Терезы. Им было тут не по себе, не то что во времена Камилла; они словно крали каждый вечер, который проводили за столом Ракенов. Вот в этих-то безнадежных обстоятельствах эгоизм старика Мишо и подсказал ему гениальную мысль выдать вдову утопленника замуж.

В первый же четверг после свадьбы Гриве и Мишо явились в пассаж как победители. Они торжествовали. Столовая Ракенов снова стала их достоянием, они уже не боялись, что их прогонят. Они вошли как люди счастливые, перестали стесняться, выложили одну за другой все свои прежние шуточки. Их блаженный и довольный вид красноречиво говорил о том, что для них совершилась целая революция. Память о Камилле сгинула. Покойный муж,— призрак, обдававший их холодом,— был изгнан мужем здравствующим. Прошлое возрождалось со всеми его радостями. Лоран заменил Камилла, никаких поводов для печали не осталось, гости могли балагурить, никого не огорчая, и даже обязаны были балагурить, чтобы развлекать почтенное семейство в благодарность за оказываемое им гостеприимство. С тех пор Гриве и Мишо, полтора года приходившие под предлогом утешить г-жу Ракен, получили возможность отложить свое маленькое лицемерие в сторону и приходить, чтобы открыто вздремнуть друг против друга под сухое постукивание костяшек домино.

И каждая неделя приносила с собою четверг, каждый четверг объединял вечером вокруг стола эти мертвые, уродливые головы, некогда приводившие Терезу в отчаяние. Молодая женщина заикнулась было о том, чтобы выставить всех их за дверь,— они раздражали ее своим дурацким хохотом, своими идиотскими рассуждениями. Но Лоран разъяснил ей, что это было бы ошибкой; надо, чтобы настоящее как можно больше походило на прошлое; в особенности надо сохранить расположение полиции, расположение этих дураков, которые отводят от них малейшее подозрение. Те-

реза подчинилась, гости встречали хороший прием и с полным удовольствием предвидели в будущем длинную вереницу приятных вечеров.

К этому времени жизнь супругов как бы раздвоилась.

По утрам рассвет разгонял ночные страхи, и Лоран торопливо одевался. Эгоистический покой и нормальное самочувствие возвращались к нему только в столовой, когда он усаживался перед огромной чашкой кофе с молоком, приготовленного ему Терезой. Расслабленная г-жа Ракен, у которой еле хватало сил спуститься вниз, в магазин, с материнским умилением наблюдала, как он ест. Он пожирал поджаренные сухарики, наедался по горло и понемногу приходил в себя. После кофе он выпивал рюмочку коньяку. Это окончательно восстанавливало его душевное равновесие. Он говорил г-же Ракен и Терезе: «До вечера», но никогда не целовал их; потом, не торопясь, шел на службу. Начиналась весна; деревья на набережной одевались листвой — легким бледно-зеленым кружевом. Внизу, ласково журча, текла Сена; с небес лилось тепло первых солнечных лучей. Лоран чувствовал, что оживает от свежего воздуха; он глубоко вдыхал в себя дуновение юной жизни, которым веяло от апрельского и майского неба; он ловил солнечные лучи, останавливался, чтобы посмотреть на серебряные блики, пестревшие на реке, прислушивался к шуму набережных, упивался острыми утренними ароматами, стараясь всеми органами чувств насладиться ясным, счастливым зарождающимся днем. О Камилле он, конечно, не думал; иной раз взгляд его машинально обращался к моргу на другом берегу Сены; тогда он вспоминал об утопленнике, как мужественный человек вспоминает о пережитом телесном страхе. Набив себе желудок, освежив лицо, он обретал обычное тупое спокойствие, являлся в контору и проводил там день, зевая в ожидании конца занятий. Он становился тут чиновником, таким же, как и все остальные,— отупевшим, скучающим, с пустой головой. Единственной мыслью, занимавшей его, была мысль подать в отставку и снять мастерскую; в его воображении туманно рисовалась жизнь, посвященная безделью, какою он жил некогда, и мечты о ней занимали его до самого вечера. Лавка никогда не вспоминалась ему и не смущала его мечтаний. Весь день он ждал часа, когда кончатся занятия, но когда час этот наставал, он уходил из конторы с сожалением и вновь брел по набережным с глухой тревогой и тоской в душе. Как бы медленно он ни шел, в конце концов все-таки приходилось вернуться в лавку. А здесь его поджидал страх.

То же самое переживала и Тереза. Пока Лорана не было возле нее, она чувствовала себя сносно. Она уволила прислугу, утверждая, что та развела грязь и в магазине и в комнатах. Ее

обуревала жажда порядка. Истина же заключалась в том, что ей необходимо было двигаться, что-то делать, чем-то занять оцепеневшее тело. Все утро она суетилась, подметала, чистила, убирала комнаты, мыла посуду, не гнушалась и такой работой, которая прежде вызвала бы у нее отвращение. Эти хозяйственные заботы занимали ее до полудня; она работала молча, не покладая рук, и у нее не было времени подумать о чем-либо другом, кроме паутины, свисавшей с потолка, или сала, приставшего к тарелкам. Потом она переходила в кухню и начинала готовить завтрак. За завтраком г-жа Ракен сокрушалась, что Терезе приходится все время вставать из-за стола и самой подавать кушанья; старанья племянницы и трогали и огорчали ее; она бранила Терезу, но та отвечала, что нужно экономить. После завтрака молодая женщина одевалась и наконец шла к тетушке, в магазин. Здесь, за конторкой, ее начинал одолевать сон; измученная бессонными ночами, она дремала, отдаваясь сладостному забытью, которое овладевало ею тотчас же, как только она переставала двигаться. То был не сон, а лишь легкая дрема, успокаивающая нервы и полная смутной неги. Мысль о Камилле отходила прочь; Тереза наслаждалась глубоким покоем, как больной, у которого внезапно затихли боли. Тело ее становилось легким, ум — свободным, она погружалась в какое-то уютное, целительное самозабвение. Не будь этих минут покоя, организм ее не выдержал бы такого нервного напряжения; в них она черпала силы, необходимые для новых страданий, для ужаса следующей ночи. Впрочем, она не засыпала; она только слегка смыкала веки и погружалась в какое-то безмятежное забытье. Когда в лавку входила покупательница, она открывала глаза, отпускала на несколько су товара и снова впадала в зыбкую грезу. Так проводила она часа три-четыре, чувствуя себя вполне счастливой; на вопросы тети она отвечала односложно и с истинным наслаждением отдавалась беспамятству, которое отнимало у нее все силы и избавляло от всяких мыслей. Только изредка бросала она взгляд в окно, выходившее в пассаж, и ей бывало особенно хорошо в хмурую погоду, когда в лавке становилось темно и в сумраке легче было скрывать свою усталость. Сырой, отвратительный пассаж, со снующими взад и вперед жалкими, мокрыми прохожими, с зонтов которых на каменный пол капает вода, казался ей каким-то мрачным закоулком, какой-то грязной зловещей трущобой, где никто не станет разыскивать и тревожить ее. Временами, чувствуя острый запах сырости и мутную мглу, стелющуюся вокруг, она воображала, будто ее заживо похоронили; ей казалось, что она под землей, в общей могиле, среди копошащихся мертвецов. И эта мысль успокаивала, утешала ее; она говорила себе, что теперь она в безопасности, что теперь она умрет, перестанет страдать. Но ей

не всегда удавалось сомкнуть глаза: Сюзанна считала своим долгом навещать Терезу и иной раз просиживала возле нее, за вышиванием, целый день. Жена Оливье, ее безжизненное лицо, ее медлительные движения теперь нравились Терезе — при виде этого жалкого, вялого существа она чувствовала какое-то странное облегчение. Тереза подружилась с ней, ей приятно было видеть ее возле себя, и Сюзанна являлась, полуживая, тихо улыбаясь и неся с собою какой-то особенный запах, напоминавший кладбище. Когда ее голубые, прозрачные глаза встречались с глазами Терезы, последняя ощущала некий благодатный холодок, проникавший до мозга костей. Так Тереза дожидалась, когда пробьет четыре часа. Тут она снова уходила в кухню, снова старалась утомить тело, с лихорадочной поспешностью принималась стряпать для Лорана обед. А когда муж появлялся на пороге, горло у нее сжималось, тоска и ужас вновь завладевали всем ее существом.

Супруги изо дня в день переживали одни и те же чувства. В дневные часы, когда они не были вместе, они наслаждались упоительным покоем; вечером, едва оказавшись вместе, они испытывали какую-то щемящую тревогу.

Впрочем, вечера проходили тихо. Тереза и Лоран трепетали при одной мысли, что им придется остаться вдвоем в спальне, и поэтому засиживались в столовой как можно дольше. Г-жа Ракен, полулежа в широком кресле, помещалась между ними и монотонным голосом рассказывала что-нибудь. Она вспоминала Вернон и при этом имела в виду сына, хотя из особого рода деликатности и избегала упоминать его имя. Она улыбалась своим дорогим деткам, она строила для них разные планы на будущее. Лампа бросала на ее бескровное лицо бледные отсветы; в мертвом, затихшем воздухе ее слова звучали бесконечно ласково. А сидевшие рядом убийцы, безмолвные, неподвижные, казалось, слушали ее с благоговейным вниманием. В действительности же они даже не старались вникнуть в смысл болтовни доброй старухи, им просто было приятно журчание ее ласковых слов, потому что она не давала им прислушиваться к громовым раскатам их собственных мыслей. Они не смели взглянуть друг на друга, а приличия ради не сводили глаз со старухи. Они никогда не напоминали, что пора спать; они охотно просидели бы так всю ночь напролет, под уютный лепет старой торговки, наслаждаясь умиротворением, которое исходило от нее, если бы она сама не выражала наконец желания лечь. Тогда они уходили из столовой и отправлялись к себе в спальню с таким отчаянием, словно им предстояло броситься в бездну.

Вскоре они стали предпочитать этому семейному времяпрепровождению четверговые вечера. Наедине с г-жой Ракен им не удавалось забыться; слабый голос тети, ее умильная веселость не

могли заглушить вопля, который раздавался у них в душе. Они чувствовали, как подкрадывается час, когда придется ложиться спать; они содрогались, если взгляд их случайно останавливался на двери, ведущей в их комнату; ожидание минуты, когда они окажутся одни, постепенно становилось все мучительнее. По четвергам же, наоборот, они хмелели от разливающейся вокруг них глупости, они забывали о присутствии друг друга, им бывало не так тяжело. Под конец даже Тереза стала горячей сторонницей этих собраний. Не приди Мишо или Гриве — она сама отправилась бы за ними. Когда в столовой сидели гости, отделявшие ее от Лорана, ей было спокойнее; ей хотелось бы, чтобы у них всегда находились посторонние, всегда было шумно, было нечто такое, что развлекало бы ее и отделяло от Лорана. На людях она бывала как-то истерически весела. Лоран при гостях тоже вспоминал свои соленые крестьянские шуточки, смачно хохотал и выкидывал всевозможные фортели, усвоенные в кругах богемы. Никогда еще приемы у Ракенов не были такими веселыми и шумными.

Так Терезе и Лорану раз в неделю удавалось побыть друг возле друга, не испытывая при этом трепета.

Но вскоре у них появился новый повод для беспокойства. У г-жи Ракен стал постепенно развиваться паралич, и они предвидели, что недалек день, когда она окажется навсегда прикованной к креслу, расслабленной и слабоумной. Бедная старуха стала изъясняться отрывочными фразами, которые не вязались одна с другой; голос ее слабел, руки и ноги переставали двигаться. Она становилась вещью. Тереза и Лоран с ужасом замечали, как умирает это существо, отделявшее их друг от друга, существо, голос которого выводил их из кошмаров. Когда разум старой торговки совсем угаснет и она будет сидеть в кресле немая и недвижимая, они окажутся одни; по вечерам им уже никак нельзя будет избежать страшного пребывания с глазу на глаз. Тогда ужас будет овладевать ими не в полночь, а уже часов с шести вечера. Они сойдут с ума.

Теперь все их старания сосредоточились на том, чтобы сохранить г-же Ракен столь для них ценное здоровье. Они пригласили врачей, всячески ухаживали за старухой и даже находили в обязанностях сиделки некоторое утешение и умиротворение, и это побуждало их еще нежнее заботиться о больной. Они ни за что не хотели лишиться члена семьи, благодаря которому проводили более или менее сносные вечера; они не хотели, чтобы столовая, чтобы весь дом превратились для них в место, полное таких же ужасов, как их спальня. Г-жа Ракен была крайне тронута заботами, которыми они окружили ее; со слезами на глазах она размыш-

ляла о том, какое счастье, что ей пришло в голову поженить их и отдать им сорок с лишним тысяч. После смерти сына она никак не ожидала, что ее последние дни будут скрашены такой нежной заботливостью; старость ее была согрета лаской ее возлюбленных детей. Она не сознавала, что неумолимый паралич день от дня все больше и больше овладевает ее телом.

Тем временем Тереза и Лоран вели двойственную жизнь. В каждом из них как бы находились два резко отличных существа: существо нервное и напуганное, которое принималось трепетать, едва только сгущались сумерки, и существо оцепенелое и забывчивое, которое начинало свободно дышать, как только наступал рассвет. У них было как бы две жизни: наедине они внутренне кричали от тоски и ужаса, на людях они безмятежно улыбались. При посторонних на их лицах никогда нельзя было прочесть тех мук, от которых у них разрывалось нутро; они казались спокойными и счастливыми, они инстинктивно скрывали свои страдания.

Видя их днем такими спокойными, никто не подумал бы, что каждую ночь их терзают галлюцинации. Их можно было принять за чету, на которую снизошло благословение небес, за чету, вкушающую безмятежное счастье. Гриве галантно называл их «голубками». Когда от бессонницы вокруг глаз у них обозначались темные круги, он подшучивал над ними и спрашивал: «Когда же крестины?» И все общество разражалось хохотом. Лоран и Тереза слегка бледнели и силились улыбнуться; они уже стали привыкать к нескромным шуткам старика. Пока они находились в столовой, им удавалось преодолевать ужас. Никак нельзя было угадать те страшные изменения, которые совершались в них, как только они запирались вдвоем в спальне. Эти изменения принимали особенно резкий характер именно по четвергам; они достигали такой чудовищной силы, точно происходили в каком-то сверхъестественном мире. Своей необычностью, своей дикой исступленностью трагедия этих ночей превосходила все, что можно вообразить, но она оставалась скрытой у них на дне наболевшей души. Если бы они стали о ней рассказывать, их сочли бы сумасшедшими.

— До чего счастливы наши влюбленные! — частенько говорил Мишо.— Они об этом помалкивают, зато много думают. Ручаюсь, что стоит нам только разойтись по домам, и ласкам нет конца.

Таково было мнение и всех остальных. В конце концов Тереза и Лоран прослыли примерной парой. Весь пассаж Пон-Неф благоговел перед любовью, перед тихим счастьем и непреходящим медовым месяцем молодой супружеской четы. Только они одни знали, что между ними лежит труп Камилла; только они знали, что за их

внешним спокойным обликом скрываются чудовищные судороги, которые по ночам страшно искажают их черты и преображают их спокойные лица в отвратительные, скорбные маски.

XXV

Четыре месяца спустя Лоран решил извлечь наконец те выгоды, которые по его расчету должна была принести ему женитьба на Терезе. Если бы корысть не пригвоздила его к лавочке Ракенов, он не прожил бы с Терезой и трех дней и сбежал бы от призрака Камилла. Он соглашался на страшные ночи, он выносил душившую его тоску и ужас только ради того, чтобы не лишиться плодов своего преступления. Если бы он покинул Терезу, он снова впал бы в нищету, ему пришлось бы остаться на службе, а живя с ней, он мог предаваться лени, хорошо есть и пить и бездельничать, живя на ренту, которую г-жа Ракен перевела на имя его жены. Возможно, что он сбежал бы с этими сорока тысячами франков, если бы мог ими воспользоваться, но старая торговка по совету Мишо предусмотрительно защитила в брачном контракте интересы своей племянницы. Таким образом, Лоран оказался прикованным к Терезе весьма крепкими узами. Желая вознаградить себя за жуткие ночи, он требовал, чтобы ему была по крайней мере предоставлена возможность проводить время в блаженном безделии, чтобы его вкусно кормили, тепло одевали, чтобы у него в кармане всегда были деньги для удовлетворения разных прихотей. Только на таких условиях соглашался он спать рядом с трупом утопленника.

Однажды вечером он объявил г-же Ракен и Терезе, что подал в отставку и через две недели перестанет ходить на службу. У Терезы вырвался испуганный жест. Он поспешил добавить, что намерен снять небольшую мастерскую и снова приняться за живопись. Он долго разглагольствовал о пудности канцелярской службы и о широких горизонтах, которые раскрывает перед ним искусство; теперь у него есть немного денег, и, следовательно, есть возможность попробовать свои силы; ему хочется выяснить, не пригоден ли он на что-нибудь действительно великое. За напыщенной тирадой, которую он произнес на эту тему, скрывалось не что иное, как пылкое желание снова погрузиться в жизнь богемы. Тереза поджала губы и не ответила ни слова; ей вовсе не улыбалось, чтобы Лоран стал растрачивать небольшое состояние, которое обеспечивало им независимую жизнь. Когда муж стал напрямик спрашивать ее мнения и добиваться ее согласия, она отвечала ему сухо; она намекнула, что, уйдя из конторы, он лишится заработка и окажется всецело на ее попечении. Пока она говорила, Лоран

смотрел на нее исподлобья, и этот взгляд настолько ее смущал, что она не решилась категорически возразить ему. Ей казалось, что в глазах сообщника она читает затаенную угрозу: «Если не согласишься, я все расскажу». Она залепетала что-то невнятное. Тут г-жа Ракен воскликнула, что ее дорогой сынок вполне прав и что надо дать ему возможность прославиться. Добрая женщина баловала Лорана, как некогда баловала Камилла; она совсем размякла от его ласкового обращения, ради него была готова на все и соглашалась с любым его мнением.

Итак, было решено, что художник арендует мастерскую и будет получать по сто франков в месяц на необходимые расходы. Бюджет семейства был определен так: доход от торговли пойдет на аренду лавки и квартиры, его будет почти хватать также и на повседневные расходы по хозяйству; деньги за мастерскую и сто франков в месяц Лоран будет брать из тех двух с небольшим тысяч, которые приносит им капитал; остаток от ренты пойдет на общие нужды. Таким образом, основной капитал останется неприкосновенным. Тереза немного успокоилась. Она взяла с мужа клятву, что он ни в коем случае не будет выходить из рамок выделенной ему суммы. Впрочем, она знала, что Лоран не может завладеть капиталом без ее согласия, а она твердо решила не подписывать никаких денежных документов.

На другой же день Лоран снял в конце улицы Мазарини небольшую мастерскую, к которой присматривался уже целый месяц. Он не хотел уходить со службы, не подготовив себе убежища, где мог бы спокойно проводить время вдали от Терезы. Две недели спустя он распрощался с сослуживцами. Гриве был совершенно ошеломлен его отставкой. Молодой человек, говорил он, перед которым открывается такое блестящее будущее, молодой человек, достигший за четыре года оклада, какого ему, Гриве, пришлось ждать целых двадцать лет! Но старик был ошеломлен еще больше, когда Лоран сообщил ему, что теперь всецело посвящает себя живописи.

Наконец художник обосновался в своей мастерской. Мастерская представляла собою нечто вроде квадратного чердака метров пяти-шести в длину и в ширину; потолок был очень покатый, с широким окном, из которого на пол и на темноватые стены лился резкий белый свет. Городской шум сюда не долетал. Тихая бесцветная комната, с отверстием прямо в небо, казалась каким-то склепом, какой-то ямой, вырытой в серой глинистой почве. Лоран с грехом пополам обставил эту комнатку: принес два стула с растрепанными соломенными сиденьями, стол, который пришлось прислонить к стене, чтобы он не рухнул на пол, старый кухонный шкафчик, ящик с красками и свой давнишний мольберт; самой

роскошной вещью был широкий диван, купленный у старьевщика за тридцать франков.

Две недели Лоран даже не прикасался к кистям. Он приходил часов в восемь-девять, курил, валялся на диване, дожидаясь полудня и радуясь, что все еще утро и впереди у него — долгие дневные часы. В полдень он отправлялся завтракать, затем снова спешил в мастерскую, чтобы быть одному, чтобы не видеть пред собою бледного лица Терезы. Тут он отдавался пищеварению, спал, до самого вечера валялся на диване. Мастерская была местом, где он ничего не боялся и чувствовал себя вполне спокойно. Однажды жена выразила желание посетить этот уголок. Он отказал ей; она все-таки пришла, но Лоран не откликнулся на ее стук; вечером он ей сказал, что провел весь день в Лувре. Он боялся, как бы Тереза не привела с собою призрак Камилла.

В конце концов безделье стало тяготить его. Он запасся холстом и красками и принялся за работу. На натурщиц у него не хватало денег, поэтому он решил писать что вздумается, не заботясь о модели. Он принялся за мужскую голову.

Впрочем, он теперь уже не сидел в мастерской целыми днями; он работал утром часа два-три, а после полудня уходил погулять и слонялся по Парижу или в пригороде. Однажды, возвращаясь с долгой прогулки, он встретил неподалеку от Академии своего бывшего школьного однокашника; его работа, выставленная в последнем Салоне, имела громкий успех среди художников.

— Скажи на милость! Это ты! — воскликнул живописец.— Дорогой мой! Да я тебя нипочем не узнал бы! Ты похудел.

— Я женился,— смущенно ответил Лоран.

— Женился? Ты? То-то у тебя такой чудной вид... И чем же ты теперь занимаешься?

— Я снял небольшую мастерскую; по утрам немного пишу.

Лоран вкратце рассказал историю своей женитьбы; потом лихорадочным голосом изложил планы на будущее. Приятель смотрел на него с удивлением, и это смущало и беспокоило Лорана. Истина заключалась в том, что живописец просто не узнавал в муже Терезы того тупого, заурядного парня, которого он знал когда-то. Ему казалось, что Лоран стал гораздо изысканнее,— лицо у него осунулось и побледнело, как того требует хороший тон, осанка стала благороднее и изящнее.

— Да ты прямо-таки красавцем становишься,— невольно воскликнул художник,— у тебя вид посланника. Шикарный вид! Где же ты учишься?

Расспросы художника до крайности смущали Лорана. Но сразу же распрощаться с ним не хватало духа.

— Может быть, зайдешь на минутку ко мне в мастерскую? — спросил он наконец товарища, который от него не отставал.

— Охотно,— ответил тот.

Художник никак не мог разобраться, что за перемены обнаружил он в Лоране, и ему захотелось посмотреть мастерскую бывшего сотоварища. Он поднимался на пятый этаж, конечно, не для того, чтобы полюбоваться новыми произведениями Лорана, от которых, он знал заранее, его будет тошнить. Он хотел удовлетворить свое любопытство — только и всего.

Когда он вошел в мастерскую и бросил взгляд на холсты, развешанные по стенам, его удивление еще усилилось. Тут было пять этюдов — две женские головы и три мужские,— и все это оказалось написанным с подлинной силой; живопись была сочная, плотная, каждая вещь выделялась великолепными пятнами на светло-сером фоне. Изумленный художник поспешно подошел к этюдам и даже не подумал скрыть, какая это для него неожиданность.

— Ты писал эти вещи? — спросил он.

— Я,— ответил Лоран.— Это эскизы к большой картине, которой я сейчас занят.

— Погоди! Шутки в сторону, это в самом деле твои работы?

— Разумеется. А почему бы им не быть моими?

Живописец не решился ответить: «Потому что это произведения художника, а ты всегда был просто мазилкой». Он долго простоял перед этюдами, не говоря ни слова. Конечно, в них сказывалась еще какая-то неуклюжесть, но вместе с тем было что-то своеобразное, ощущалась некая мощь и острое понимание живописности. Они были глубоко прочувствованы. Никогда еще приятелю Лорана не доводилось видеть столь многообещающих этюдов. Внимательно рассмотрев полотна, он обернулся к их создателю и сказал:

— Да, откровенно говоря, я не предполагал, что ты можешь писать такие вещи! Где же ты набрался таланта? Ведь обычно раз уж таланта нет — так его ниоткуда и не возьмешь.

И он стал рассматривать Лорана, голос которого сделался теперь мягче, а каждый жест приобрел какое-то особое изящество. Он не мог догадаться о страшном потрясении, которое преобразило этого человека, развив в нем чувствительные, как у женщины, нервы, чуткость и впечатлительность. В организме этого убийцы, несомненно, произошли какие-то странные перемены. Трудно проникнуть в такие глубины и проанализировать происходящие там процессы. Быть может, Лоран стал художником так же, как стал трусом,— в результате великого кризиса, который потряс и тело его и рассудок. Прежде он изнемогал от своего дурманящего полнокровия, он был ослеплен своим здоровьем, словно пеленой, оку-

тавшей его со всех сторон, теперь он похудел, волновался, характер у него стал беспокойный, ощущения приобрели остроту и силу, характерные для первых людей. Под влиянием постоянного чувства ужаса его мысль выходила из обычной колеи и возвышалась до экстаза, свойственного гениям; своего рода нравственное заболевание, невроз, терзавший все его существо, развили в нем безошибочное художественное чутье; с тех пор как он убил, его тело стало как бы легче, потрясенный ум как бы вышел за нормальные пределы, и в результате резкого расширения умственного горизонта в сознании Лорана проходили обворожительные образы, истинно поэтические мечты. Потому-то и движения его вдруг приобрели особое изящество, потому-то и живопись его была прекрасна, неожиданно сделавшись ярко индивидуальной и живой.

Приятель не стал доискиваться причин появления на свет этого таланта. Так в недоумении он и ушел. Перед уходом он еще раз рассмотрел холсты и сказал:

— Одно только могу сделать замечание: у всех твоих этюдов есть что-то общее. Все пять голов похожи одна на другую. Даже в женских лицах есть у тебя что-то резкое; это словно переодетые мужчины... Понимаешь, если ты хочешь из этих эскизов сделать картину, надо некоторые лица заменить другими. Нельзя же, чтобы все изображенные на картине были родственниками,— тебя поднимут на смех.

Он вышел из мастерской и с площадки крикнул смеясь:

— Право же, старина, очень рад, что повидал тебя. Теперь уверую в чудеса... Боже мой! До чего же ты стал обворожителен!

Он ушел. Лоран вернулся в мастерскую в большом смущении. Когда его приятель сказал, что у всех написанных им голов есть что-то родственное, Лоран резко отвернулся, чтобы гость не увидел, как он побледнел. Дело в том, что роковое сходство, подмеченное художником, поражало и самого Лорана. Он поспешил к полотнам; по мере того как он рассматривал их, переходя от одного к другому, на спине у него выступал холодный пот.

— Он прав, все они похожи один на другой,— прошептал он.— Они похожи на Камилла.

Он отступил назад, сел на диван и по-прежнему не в силах был оторвать глаз от этюдов. Первый из них изображал старика с длинной седой бородой; под бородой Лоран чувствовал тощий подбородок Камилла. На втором была представлена белокурая девушка, и она смотрела на него голубыми глазами — глазами его жертвы. В трех остальных лицах тоже имелись черты, напоминавшие утопленника. Это был как бы Камилл, загримированный стариком, девушкой, Камилл в наряде, каким художнику вздумалось наделить его; но в любом случае в портрете оставался неиз-

менным основной характер лица. Было в этих лицах и другое, страшное сходство: все они выражали страдание и ужас, от всех веяло какой-то жутью. На каждом из них у рта, слева, лежала складка, благодаря которой губы кривились и на лице появлялась гримаса. Эта складка, замеченная Лораном на искаженном лице утопленника, придавала всем портретам какое-то отталкивающее родство.

Лоран понял, что он чересчур долго рассматривал Камилла в морге. Вид трупа глубоко запечатлелся в его памяти. А теперь рука, помимо его воли, наносит на холст жуткие черты, которые преследуют его повсюду.

Художник откинулся на диван, и ему понемногу стало казаться, что портреты оживают. Перед ним было пять Камиллов, пять Камиллов, убедительно воссозданных его собственной рукой и, в силу некоего страшного чуда, явившихся в обличии разных возрастов и полов. Он встал, разорвал холсты в клочья и выбросил их вон. Он понял, что умрет от ужаса, если сам населит мастерскую портретами своей жертвы.

Его охватил страх: он боялся, что теперь уже не сможет написать портрета, который не был бы похож на утопленника. Ему захотелось сразу же проверить, послушна ли ему рука. Он поставил на мольберт чистый холст, потом углем набросал основные черты лица. Лицо напоминало Камилла. Лоран порывисто стер эскиз и наметил другой. Целый час бился он, стараясь побороть роковую силу, которая водила его рукой, но при каждой новой попытке снова возникал облик утопленника. Как ни напрягал он волю, как ни старался избежать хорошо ему знакомых линий — он выводил именно эти линии, он не мог выйти из-под власти своих мускулов, своих бунтующих нервов. Сначала он делал наброски наскоро, потом стал стараться водить углем медленнее. Результат получался все тот же: на холсте беспрестанно появлялось искаженное, страдальческое лицо Камилла. Художник набрасывал одно за другим самые различные лица — лики ангелов, лики девственниц, окруженные сиянием, головы римских воинов в касках, белокурые, румяные детские головки, лица старых разбойников, исполосованные рубцами,— и снова, снова возрождался утопленник; он был то ангелом, то девушкой, то воином, то ребенком, то разбойником. Тогда Лоран перешел на карикатуры; он преувеличивал отдельные черты, рисовал чудовищные профили, придумывал какие-то невероятные головы; но от этого портреты его жертвы, поражавшие изумительным сходством, становились только страшнее. Наконец он стал рисовать животных — собак, кошек. Собаки и кошки чем-то напоминали Камилла.

В Лоране закипел глухой гнев. С отчаянием вспомнил он о

задуманной большой картине и тут же проткнул холст кулаком. Теперь о ней нечего было и думать; он ясно чувствовал, что отныне обречен рисовать только Камилла; да, он обречен, как и сказал ему приятель, писать головы, которые будут похожи одна на другую и будут только смешить людей. Он представил себе, какая бы у него получилась картина; туловища всех персонажей, и мужчин и женщин, венчало бы белесое, испуганное лицо утопленника. Возникшее в его воображении странное зрелище было чудовищно нелепо, и он совсем впал в отчаяние.

Итак, отныне он уже не решится взяться за кисти, он будет опасаться, что первым же мазком воскресит свою жертву. Если он хочет проводить в мастерской время мирно, он не должен заниматься тут живописью. При мысли, что пальцы его наделены роковой, подсознательной способностью без конца изображать Камилла, он с ужасом стал рассматривать свою руку. Она как будто уже не принадлежала ему.

XXVI

Беда, нависшая над г-жой Ракен, внезапно разразилась. Паралич, который уже несколько месяцев бродил по телу старухи и готов был вот-вот завладеть ею, вдруг схватил ее за горло и связал по рукам и ногам. Однажды вечером г-жа Ракен, тихо беседуя с Терезой и Лораном, вдруг широко раскрыла рот и замерла, не докончив фразы; ей показалось, будто ее кто-то душит. Она хотела было закричать, позвать на помощь, но из ее груди вырвались лишь невнятные хриплые звуки. Язык ее окаменел. Руки и ноги отнялись. Она лишилась дара речи и была недвижима.

Тереза и Лоран вскочили, ошеломленные молниеносным ударом, который сразил старую торговку. Когда она замерла и обратила на них умоляющий взгляд, они стали расспрашивать, что с нею такое. Ответить она не могла; она смотрела на них с выражением глубокой тревоги и тоски. Им стало ясно, что перед ними — труп, труп полуживой, который видит и слышит их, но не в силах ничего сказать. Это несчастье повергло их в отчаяние: в сущности, их мало трогали страдания параличной, они сокрушались о самих себе, о том, что теперь им придется жить вдвоем, постоянно видеть только друг друга.

С этого дня жизнь супругов стала совсем невыносимой. Они проводили ужасные вечера возле параличной старухи, которая теперь уже не убаюкивала их тревогу своей ласковой болтовней. Она лежала в кресле, как тюк, как вещь, а они сидели вдвоем у стола, встревоженные и растерянные. Этот труп уже не служил им средостением; временами они забывали о нем, принимали его за один из предметов обстановки. Тогда ими овладевали обычные

ночные страхи, столовая становилась не менее жутким местом, чем спальня, и призрак Камилла вставал перед ними. Следовательно, им приходилось страдать лишних четыре-пять часов в сутки. Едва начинало смеркаться, на них нападал трепет; они опускали на лампе абажур, чтобы не видеть друг друга, и старались уверить себя, что г-жа Ракен вот-вот заговорит и напомнит о своем присутствии. Они ухаживали за ней и не пытались от нее отделаться потому, что глаза ее еще были живы, и супругам доставляло облегчение наблюдать, как они движутся и блестят.

Они всегда помещали параличную под яркий свет лампы, чтобы она была хорошо освещена и чтобы ее все время было видно. Бледное, дряблое лицо параличной всякому показалось бы несносным, но они так нуждались в присутствии постороннего человека, что им доставляло истинную радость видеть ее. Лицо старухи казалось разложившимся лицом покойницы, которому приданы живые глаза; только глаза у нее и были в движении; они стремительно вращались в глазницах, зато щеки, губы как бы окаменели, их неподвижность наводила ужас. Когда г-жа Ракен начинала дремать и смыкала веки, ее бледное, застывшее лицо в совершенстве напоминало лицо трупа; Тереза и Лоран чувствовали, что с ними уже никого нет, и начинали нарочно шуметь, чтобы параличная подняла веки и посмотрела на них. Так они заставляли ее бодрствовать.

Они относились к ней как к игрушке, отвлекающей от мрачных дум. С тех пор как она заболела, за ней приходилось ухаживать, словно за ребенком. Заботы о ней волей-неволей разгоняли мысли, осаждавшие убийц. По утрам Лоран поднимал ее и переносил в кресло, а вечером снова укладывал в постель; она еще была очень тяжелая, и ему приходилось напрягать все силы, чтобы бережно поднять ее и перенести. На его обязанности было также катать ее в кресле. Остальные заботы взяла на себя Тереза; она одевала параличную, кормила, старалась угадать ее малейшие желания. Несколько дней г-жа Ракен еще владела руками; она могла писать на грифельной доске и таким образом просить о необходимом; потом у нее отмерли и руки, она не в силах была поднять их и держать грифель; с тех пор она могла изъясняться только взглядами, и племяннице приходилось угадывать, чего она хочет. Молодая женщина посвятила себя трудным обязанностям сиделки; это давало ей и физическую и умственную работу, которая была для нее весьма благотворна.

Чтобы не оставаться наедине, супруги с самого утра выкатывали в столовую кресло с несчастной старухой. Они держали ее возле себя, словно она была для них жизненно необходима; они превратили ее в свидетельницу всех их трапез, всех разговоров.

Когда она выражала желание вернуться в свою комнату, они делали вид, будто не понимают, чего она хочет. Единственное назначение старухи было нарушать их одиночество; на самостоятельную жизнь она не имела права. В восемь часов утра Лоран отправлялся к себе в мастерскую, Тереза спускалась в лавку, и парализованная до полудня оставалась одна в столовой; после завтрака она снова оказывалась одна до шести часов. В течение дня племянница не раз поднималась наверх и подолгу вертелась возле нее, чтобы убедиться, не надо ли ей чего-нибудь. Друзья дома прямо-таки не находили слов, расхваливая добродетели Терезы и Лорана.

Четверговые приемы продолжались, и парализованная присутствовала на них, как и прежде. Кресло ее пододвигали к столу; с восьми до одиннадцати она смотрела во все глаза, переводя с одного гостя на другого блестящий, пронизывающий взгляд. В первые дни старик Мишо и Гриве чувствовали себя возле трупа их старой приятельницы несколько неловко; они не знали, как держать себя; болезнь г-жи Ракен не бог весть как огорчала их, но их смущал вопрос: в какой мере им, по правилам приличия, надлежит сокрушаться? Надо ли разговаривать с этой покойницей или следует вовсе не обращать на нее внимания? Понемногу они пришли к выводу, что лучше всего обращаться со старухой так, словно с ней ничего не произошло. В конце концов они стали делать вид, будто они в полном неведении насчет ее состояния. Они беседовали с ней, обращались к ней с вопросами и сами же отвечали, смеялись за нее и за самих себя и ничуть не смущались каменным выражением ее лица. Получалось странное зрелище: они как бы разговаривали всерьез с изваянием, разговаривали, как девочки разговаривают с куклой. Парализованная сидела перед ними недвижимая и немая, а они без умолку болтали и бурно жестикулировали, ведя с ней самый оживленный разговор. Мишо и Гриве были очень довольны собой. Они воображали, что проявляют утонченную вежливость; вдобавок они тем самым избавляли себя от необходимости рассыпаться в скучных изъявлениях сочувствия, а г-же Ракен должно было льстить, что с ней обращаются как со здоровой. Выработав такую тактику, друзья получили возможность развлекаться в ее присутствии без зазрения совести.

У Гриве появился новый конек. Он утверждал, будто отлично понимает г-жу Ракен, будто достаточно ей на него взглянуть, чтобы он немедленно догадался, чего она хочет. В этом тоже сказывалось самое утонченное внимание с его стороны. Беда заключалась в том, что Гриве постоянно ошибался. Нередко он прерывал партию в домино, пристально смотрел на парализованную, которая спокойно следила за игрой, и изрекал, что ей надо то-то и то-то. После проверки оказывалось, что г-же Ракен вовсе ничего не надо

или надо нечто совсем иное. Но Гриве этим не смущался и торжествующе восклицал: «Говорил же я вам!», а немного погодя начинал сызнова. Иначе обстояло дело, когда параличная действительно выражала какое-то желание; в таких случаях Тереза, Лоран и гости наперебой называли все предметы, которые могли бы ей понадобиться. Предположения Гриве всегда оказывались на редкость несуразными. Он наобум называл все, что ему приходило в голову, и неизменно предлагал нечто противное тому, чего желала г-жа Ракен. Но это не мешало ему твердить:

— Я ведь читаю по ее глазам, как по книге. Видите, она говорит, что я прав... Так ведь, дорогая? Конечно, конечно!

А понять желания несчастной старухи было отнюдь не легко. Одна только Тереза владела этим искусством. Она довольно ловко общалась с замурованным сознанием старухи, еще живым, но погребенным в недрах мертвого тела. Что происходило в дупе этого жалкого существа, которое было живо ровно настолько, чтобы присутствовать при жизни, не принимая в ней участия? Несомненно, больная все видела, слышала и рассуждала трезво и ясно, но она не могла пошевелить ни одним членом: лишенная голоса, она не могла передать вовне мысли, рождавшиеся в ее сознании. Вероятно, эти мысли душили ее. Она не могла бы поднять руки, открыть рот, даже если бы от одного ее движения, от одного ее слова зависели судьбы мира. Ее ум был подобен человеку, которого по ошибке закопали живым: он просыпается во мраке, в двух-трех метрах под землей, он кричит, корчится, а люди проходят над ним и не слышат его чудовищных воплей. Лоран часто смотрел на г-жу Ракен, на ее сжатые губы, на руки, покоящиеся на коленях; он понимал, что вся ее жизненная сила теперь сосредоточилась в живых, юрких глазах, и рассуждал:

— Как знать, о чем она думает, когда остается одна... В душе этой покойницы, должно быть, развертывается какая-то драма.

Лоран ошибался, г-жа Ракен была счастлива, счастлива тем, что дорогие ее детки нежно заботятся и ухаживают за ней. Она всегда мечтала кончить свои дни именно так — спокойно, в атмосфере любви и ласки. Конечно, она хотела бы сохранить дар речи, чтобы выражать свою признательность друзьям за то, что они дают ей возможность умереть в душевном мире. Она принимала свой удел безропотно; она всегда вела тихую, уединенную жизнь, характер у нее был покладистый, поэтому она переносила потерю речи и неподвижность без особенных страданий. Она превратилась в ребенка, она проводила дни, не скучая, наблюдала окружающее, вспоминала прошлое. В конце концов она даже находила какую-то прелесть в том, что вынуждена сидеть паинькой в кресле, как маленькая девочка.

Ее глаза с каждым днем становились все ласковее, свет их — все проникновеннее. Со временем она стала пользоваться ими как рукой, как губами — чтобы просить или благодарить. Таким необычным и трогательным приемом она возмещала недостающие ей органы. На ее перекошенном лице с дряблой, обвисшей кожей светились глаза небесной красоты. С тех пор как ее сведенные, безжизненные губы перестали улыбаться, она улыбалась взглядом, полным очаровательной нежности; в нем мелькали влажные отблески, он излучал сияние, как заря. Трудно представить себе что-либо причудливее этих глаз, улыбавшихся на мертвом лице, точно губы; нижняя часть лица старухи была мертвенно-бледной и хмурой, зато верхняя светилась божественным огнем. В простой взгляд она вкладывала всю нежность, всю благодарность, которою полнилось ее сердце,— и такие взгляды предназначались прежде всего ее дорогим детям. Утром и вечером, когда Лоран брал ее на руки, чтобы перенести в другое место, она любовно благодарила его взглядом, в котором светилось самое нежное чувство.

Так прожила она несколько недель в ожидании смерти и в полной уверенности, что отныне ограждена от всякой новой беды. Она думала, что уже испила чашу страданий до дна. Она ошибалась. Однажды вечером ее ошеломил чудовищный удар.

Как ни старались Тереза и Лоран сделать ее средостением между ними, держать ее на самом виду, она была слишком безжизненна, чтобы отдалять их друг от друга и защищать от приступов тоски и ужаса. Когда они забывали о присутствии старухи, забывали, что она видит их и слышит, ими овладевало безумие, им мерещился Камилл, и они старались изгнать его. Они бормотали какие-то слова, у них вырывались невольные признания, отдельные фразы, из которых г-жа Ракен в конце концов поняла все. Однажды с Лораном случилось нечто вроде припадка, во время которого он говорил как в галлюцинации. И вдруг паралитичной все стало ясно.

Страшная судорога пробежала по ее лицу, тело так сотряслось, что Терезе показалось, будто она вот-вот вскочит и закричит. Потом она снова впала в железную неподвижность. Эта чудовищная встряска была тем страшнее, что как бы гальванизировала труп. На миг ожившая чувствительность вновь исчезла; паралитичная стала еще подавленнее, еще бледнее. Ее глаза, обычно столь ласковые, стали темными и жесткими, как куски металла.

Неслыханное отчаяние безжалостно придавило убогую старуху. Зловещая правда, словно молния, обожгла ее глаза и потрясла все ее существо громовым ударом. Если бы она могла вскочить, издать вопль ужаса, рвавшийся из ее груди, если бы могла проклясть убийц своего сына, ей стало бы легче. Но, все выслу-

шав, все поняв, она была обречена остаться неподвижной, немой и хранить в глубине души свои ужасные страдания. Ей казалось, что Тереза и Лоран связали ее по рукам и ногам и пригвоздили к креслу, чтобы она не могла броситься вон из дому, что им доставляет жестокую радость твердить ей: «Мы убили Камилла», причем они предварительно заткнули ей рот, чтобы заглушить ее рыдания. Ужас, отчаяние обуревали все ее существо, не находя себе выхода. Она делала сверхчеловеческие усилия, чтобы приподнять обрушившийся на нее гнет, чтобы сбросить его с груди и дать исход своему страшному отчаянию. Но тщетно напрягала она последние силы; она чувствовала, что язык у нее безжизненно холоден и ей не вырвать его у смерти. Она обессилела и одеревенела, как труп. Она чувствовала то, что может испытывать человек, впавший в летаргию и безгласный, когда его хоронят и когда он слышит, как над его головой глухо падают комья земли.

Сердце ее теперь было совершенно опустошено. Она пережила крушение всех своих чувств, и это сломило ее. Вся жизнь ее пошла насмарку, все ее привязанности, ее доброта, ее самоотверженность — все было грубо ниспровергнуто и попрано. Она прожила жизнь, посвященную любви и ласке, а в последние часы, когда она уже готовилась унести в могилу веру в тихие радости земного существования, чей-то голос крикнул ей, что все — ложь, все — преступление. Завеса разорвалась, и вместо любви и дружбы предстало страшное зрелище крови и позора. Она бросила бы хулу самому создателю, если бы могла говорить. Бог обманывал ее более шестидесяти лет, он обращался с ней как с послушной, примерной девочкой и тешил ее лживыми картинами безмятежной радости. Она так и оставалась ребенком, который простодушно верит в разные бредни и не видит действительной жизни, влачащейся в кровавой грязи страстей. Бог оказался нехорошим; он должен был либо сказать ей правду раньше, либо позволить ей унести в иной мир непропутыми ее простодушие и все иллюзии. Теперь ей оставалось только умереть, разуверившись и в любви, и в дружбе, и в самопожертвовании. Нет ничего, кроме похоти и кровопролития!

Страшно подумать! Камилл умер от руки Терезы и Лорана, и они замыслили убийство в постыдные минуты прелюбодеяния. При этой мысли в душе г-жи Ракен разверзалась такая бездна, что она не только не могла спокойно и трезво рассуждать, но просто лишилась способности думать. У нее было одно только ощущение — что она стремительно падает с каких-то высот; ей казалось, что она низвергается в некую черную холодную пропасть. И она думала: «На дне ее я разобьюсь!»

После первого удара преступление начало казаться ей неве-

роятным — настолько оно было чудовищно. Потом, по мере того как ей стали припоминаться мелкие подробности, смысла которых она раньше не понимала, она окончательно убедилась в постыдной связи Терезы и Лорана и в совершенном ими преступлении. Тут она испугалась, что сходит с ума. Да, Тереза и Лоран — убийцы Камилла, Тереза, которую она воспитала, Лоран, которого любила, как нежная и заботливая мать. Эти мысли вертелись у нее в голове с оглушительным грохотом, словно огромное колесо. Теперь она догадывалась о таких мерзких подробностях, она погружалась в такое безграничное лицемерие, она мысленно присутствовала при двойном преступлении, полном такой жестокой иронии, что ей хотелось умереть, чтобы больше не думать. Одна-единственная мысль, навязчивая и безжалостная, тяжелая и неотвратимая, как жернов, терзала ее мозг. Она твердила: «Мой сын убит моими же детьми!» И она не находила иных слов, чтобы выразить свое отчаяние.

В душе ее совершился полный переворот, она растерянно искала самое себя и уже себя не узнавала; она была подавлена бурным напливом мыслей о мщении, которые без остатка развеяли всю доброту, служившую ей светочем в жизни. Когда она преобразилась, в душу ее спустилась тьма; она почувствовала, что в ее умирающей плоти зарождается новое существо, жестокое и неумолимое, которому хочется растерзать убийц.

Когда ей пришлось подчиниться всесокрушающей силе паралича, когда она осознала, что не может вцепиться в горло Терезе и Лорану, которых ей хотелось бы задушить, она примирилась со своей неподвижностью и немотой, и крупные капли слез медленно потекли по ее щекам. Нельзя себе представить горя, которое производило бы более удручающее впечатление, как это немое, застывшее отчаяние... Слезы, стекавшие одна за другой по окаменевшему лицу, где не двигалась ни единая морщинка, безжизненное, мертвенно-бледное лицо, которое не могло выразить горя всеми своими чертами, лицо, на котором рыдали только глаза,— все это являло душераздирающее зрелище.

Терезу охватила жалость, смешанная с ужасом.

— Надо ее уложить,— сказала она Лорану, показывая на тетку.

Лоран поспешил увезти паралитичную в ее комнату. Потом он нагнулся, чтобы взять ее на руки. В эту минуту у г-жи Ракен мелькнула надежда, что некая могучая сила поставит ее на ноги: она сделала отчаянное усилие. Бог не допустит, чтобы Лоран прижал ее к своей груди; она рассчитывала, что гром поразит его, как только он решится на это чудовищное бесстыдство. Но никакая сила не подняла ее, и небо поскупилось на гром. Убийца схва-

тил, поднял ее, понес; беспомощная и покинутая, она почувствовала себя на руках убийцы Камилла. Голова ее скатилась на плечо Лорана, и страдалица взглянула на него глазами, расширившимися от страха и омерзения.

— Что ж, смотри, смотри на меня,— прошептал он.— Глазами-то меня не сожрешь...

И он грубо швырнул ее на кровать. Несчастная лишилась чувств. Ее последняя мысль была полна ужаса и отвращения. Отныне ей каждое утро и каждый вечер придется выносить гнусное объятие Лорана.

XXVII

Только приступ острого ужаса мог довести супругов до того, что они стали откровенничать в присутствии г-жи Ракен. Ни тот, ни другая не были жестоки; если бы им не приходилось хранить убийство в тайне ради собственной безопаспости, они постарались бы скрыть от старухи правду просто из человеколюбия.

В четверг ими стала овладевать острая тревога. Утром Тереза спросила Лорана, не рискованно ли будет, по его мнению, оставить параличную в столовой на весь вечер? Она все знает, она может пробудить подозрение.

— Да что ты! Она и пальцем пошевелить не в силах,— ответил Лоран.— Как же она может сказать что-нибудь?

— А вдруг как-нибудь изловчится? — возразила Тереза.— С того вечера я замечаю в ее глазах какую-то упорную мысль.

— Но ведь доктор сказал, что для нее все кончено. Если она еще и заговорит, так только при последнем вздохе... Она долго не протянет, будь покойна. Глупо было бы не допустить ее к гостям, это только лишний грех взять на душу.

Тереза содрогнулась.

— Ты меня не понял,— воскликнула она.— Конечно, ты прав — и без того довольно крови... Я имела в виду, что можно запереть ее в комнате и сказать, что ей стало хуже, что она спит.

— Как бы не так! — возразил Лоран.— А болван Мишо недолго думая полезет в ее компату, чтобы повидаться со старой приятельницей... Тогда нам и вовсе крышка.

Он колебался; ему хотелось казаться спокойным, но он так волновался, что говорил невнятно.

— Лучше предоставить событиям идти своим чередом,— продолжал он.— Все эти люди глупы как пробки; я уверен, что они даже не заметят отчаяния старухи, ведь она не может выговорить ни слова. Они так далеки от истины, что ни о чем не догадаются. Надо проверить это, и тогда мы будем спокойны, что наша оплошность нам не повредит... Вот увидишь, все пойдет отлично.

Вечером, к приходу гостей, г-жа Ракен была на своем обычном месте, между камином и столом. Лоран и Тереза делали вид, будто настроение у них прекрасное; стараясь скрыть свою тревогу, они с ужасом ждали неминуемой сцены. Абажур на лампе они опустили как можно ниже, свет падал только на клеенку, которой был покрыт стол.

Гости увлеклись пустой, но шумной беседой, которая всегда предшествовала первой партии домино. Гриве и Мишо не преминули задать параличной обычные вопросы о здоровье, вопросы, на которые они, как всегда, сами же дали вполне удовлетворительные ответы. Затем вся компания, уже не обращая на несчастную старуху ни малейшего внимания, самозабвенно погрузилась в игру.

С того дня как г-жа Ракен узнала страшную тайну, она с нетерпением ждала этого вечера. Она собрала весь остаток сил, чтобы разоблачить преступников. До самой последней минуты она боялась, что ее не допустят к гостям; она думала, что Лоран так или иначе удалит ее, может быть, прикончит или хотя бы запрет в другой комнате. Когда же она убедилась, что ее не прячут, когда она увидела вокруг себя гостей, ее охватила живейшая радость — она решила, что сделает попытку отомстить за сына. Сознавая, что язык ее бессилен, она попробовала объясниться иначе. Ценою неимоверного усилия воли она как бы гальванизировала свою правую руку и слегка приподняла ее над коленкой, где она обычно лежала без малейшего движения; потом старуха понемногу повела ее вверх, цепляясь за ножку стола, и наконец положила на клеенку. Тут она стала слабо шевелить пальцами, стараясь привлечь к себе внимание.

Когда игроки заметили на столе мертвую, белую, дряблую руку параличной, они крайне изумились. Гриве замер с победоносно поднятой вверх рукой в тот самый миг, когда собрался выложить на стол шесть и шесть. Ведь с тех пор как старуху постиг удар, она ни разу не пошевелила ни единым пальцем.

— Эй-эй, смотрите-ка, Тереза,— вскричал Мишо,— госпожа Ракен шевелит пальцами... Ей, вероятно, что-нибудь надо.

Тереза не в силах была вымолвить ни звука; как и Лоран, она наблюдала за потугами старухи, она уставилась на тетину руку, освещенную резким светом лампы, руку карающую и как бы готовую заговорить. Убийцы насторожились, затаив дыхание.

— И в самом деле, ей чего-то хочется...— сказал Гриве.— Еще бы, мы отлично понимаем друг друга... Ей хочется сыграть в домино... Так ведь, дорогая?

Госпожа Ракен сделала резкое отрицательное движение. Она с величайшими усилиями выпрямила один палец, другие подобра-

ла и стала с трудом чертить на клеенке какие-то буквы. Не успела она вывести и несколько черточек, как Гриве снова торжествующе воскликнул:

— Понимаю! Она одобряет мой ход!

Параличная бросила на старого чиновника уничтожающий взгляд и опять стала выводить какое-то слово. Но Гриве то и дело прерывал ее, заявляя, что все это зря, что он и так ее понял, и опять говорил какую-нибудь глупость. В конце концов Мишо угомонил его.

— Какого черта! Дайте же госпоже Ракен сказать,— закричал он.— Говорите, друг мой!

И он уставился на клеенку, словно прислушиваясь. Однако пальцы параличной уже утомились, они раз десять принимались все за то же слово, но расползались в разные стороны. Мишо и Оливье склонились к столу; они никак не могли уловить, что за слово выводит старуха, и заставляли ее без конца повторять первые буквы.

— Ах, вот оно что! — вдруг вскричал Оливье.— На этот раз я понял. Она написала ваше имя, Тереза... Итак, «Тереза и...». Пишите дальше, дорогая.

Тереза чуть было не вскрикнула от ужаса. Она смотрела на пальцы тети, скользящие по клеенке, и ей казалось, что они огненными знаками вычерчивают ее имя и правду о ее преступлении. Лоран порывисто встал с места; он соображал — не броситься ли ему на параличную, не переломить ли ей руку. При виде этой руки, ожившей для того, чтобы разоблачить убийц Камилла, Лоран подумал, что все пропало; он с леденящим ужасом уже ощущал всю тяжесть грядущей кары.

Госпожа Ракен продолжала писать, но движения ее становились все неувереннее.

— Отлично! Я все ясно понимаю,— сказал Оливье немного погодя, обращаясь к молодым супругам.— Тетя написала ваши имена: «Тереза и Лоран...».

Старуха несколько раз утвердительно качнула головой и бросила на убийц взгляд, совершенно ошеломивший их. Потом она стала было дописывать фразу, однако пальцы ее уже окоченели, чудовищное усилие воли, которое привело их в движение, иссякло; она чувствовала, что паралич вновь овладевает ее рукой и сковывает пальцы. Она заторопилась, и ей удалось начертить еще одну букву.

Старик Мишо прочел вслух:

— «Тереза и Лоран у...».

А Оливье спросил:

— Что же ваши дорогие дети у...?

Преступников объял такой безумный страх, что они чуть было сами не договорили фразы. Они уставились на карающую руку неподвижным, туманящимся взглядом, но тут руку внезапно передернуло, и она в изнеможении распласталась на столе; потом она стала скользить и упала на колени несчастной как безжизненный кусок мяса. Паралич вновь вошел в свои права и приостановил кару. Разочарованные Мишо и Оливье сели на свои места, а Тереза и Лоран почувствовали такую острую радость, кровь так заиграла у них в груди, что они почти теряли сознание.

Гриве очень досадовал, что ему не поверили на слово. Он считал, что теперь самое время восстановить свою репутацию, досказав фразу, недописанную старухой. Когда стали допскиваться смысла этой фразы, он изрек:

— Все ясно. Я по глазам госпожи Ракен прекрасно угадываю, что̀ она хотела сказать. Мне вовсе не требуется, чтобы она писала на столе; для меня достаточно ее взгляда... Она хотела сказать: «Тереза и Лоран ухаживают за мной».

Все согласились с его толкованием, и Гриве был в восторге от своей сообразительности. Гости стали расхваливать молодую чету за ее заботы о бедной больной.

— Нет никакого сомнения, госпоже Ракен хотелось воздать должное детям за все их внимание и любовь,— важно сказал Мишо.— Это делает честь всему семейству.

И он добавил, возвращаясь к домино:

— Ну, что же, за дело! На чем мы остановились? Кажется, Гриве собирался поставить шесть и шесть!

Гриве поставил шесть и шесть. Партия продолжалась, бессмысленная и нудная.

Параличная в страшном отчаянии смотрела на свою руку. Рука изменила ей. Теперь она была тяжелая, словно из свинца; теперь ее уже никогда не поднять... Небесам не угодно, чтобы Камилл был отомщен; они отнимают у матери единственное средство, при помощи которого можно было бы поведать людям о совершенном злодеянии. И несчастная думала, что она больше уже ни на что не годна и ей остается только лечь в могилу рядом с сыном. Она сомкнула глаза, чувствуя, что теперь она совсем бесполезна, и ей хотелось бы поскорее погрузиться в могильный мрак.

XXVIII

Уже целых два месяца Тереза и Лоран бились в тисках отчаяния и ужаса, к которым их привел брак. Они причиняли один другому нестерпимые страдания. Поэтому в них постепенно накипала

ненависть, и они стали бросать друг на друга гневные взгляды, полные глухих угроз.

Ненависть должна была зародиться у них неизбежно. Когда-то они любили друг друга животной любовью, со жгучей, чисто плотской страстью; потом, в тревогах, связанных с преступлением, эта страсть превратилась в боязнь, и объятия стали вызывать в них какой-то чисто физический ужас. Теперь, под влиянием страданий, которые причиняли им брак и совместная жизнь, они начинали возмущаться и терять терпение.

Ими овладела дикая ненависть, вспышки которой бывали ужасны. Они ясно сознавали, что мешают друг другу; они говорили себе, что жили бы спокойно, если бы не были все время вместе. Каждый из них испытывал в присутствии другого давящий гнет, и им хотелось устранить, уничтожить его; губы их злобно сжимались, в сверкающих глазах мелькали жестокие мысли, им хотелось растерзать друг друга.

В сущности, их грызла одна-единственная мысль: они возмущались своим собственным преступлением, они приходили в отчаяние, что навеки искалечили свою жизнь. В этом были корни их озлобленности и вражды. Они чувствовали, что недуг их неизлечим, что убийство Камилла будет мучить их до самой смерти, и это сознание, сознание, что мукам не будет конца, приводило их в отчаяние. Не зная, на что обрушить свой гнев, они обрушивали его друг на друга, они пылали взаимной ненавистью.

Они не хотели вслух признаться, что их брак — неотвратимая кара за убийство; они не хотели внимать внутреннему голосу, который громко говорил им правду, повествуя историю их жизни. И все же во время приступов гнева каждый из них ясно читал в глубине своего сердца, каждый понимал, что на убийство его толкнул безудержный эгоизм, который требовал, чтобы были удовлетворены все его желания, а после убийства они оказались перед лицом опустошенности и невыносимой тоски. Они вспоминали минувшее, они знали, что раскаяние их объясняется только тем, что надежда на тихое счастье и любовные наслаждения обманула их; если бы они могли спокойно обнять друг друга и жить весело, они не стали бы оплакивать Камилла, преступление пошло бы им на пользу. Но тела их взбунтовались, отвергая брачные отношения, и убийцы спрашивали себя: куда же приведут их ужас и отвращение? Впереди они видели лишь страдание, лишь мрачную, чудовищную развязку. И как два врага, скованные вместе, которые тщетно стремятся избавиться от этой принудительной близости, они напрягали мускулы и жилы, они делали отчаянные усилия и все-таки не могли освободиться. Они понимали, что никогда им не удастся высвободиться из этих оков, цепи впивались им в тело и

доводили до неистовства, соприкосновение их тел вызывало отвращение, с каждым часом им становилось все тяжелее, они забывали, что сами связали себя друг с другом, и им было невмоготу терпеть эти узы хотя бы еще минуту; тогда они обрушивались друг на друга с жестокими обвинениями, они старались взаимными упреками, бранью и оглушительным криком как-нибудь облегчить свои муки, перевязать раны, которые они наносили друг другу.

Каждый вечер между ними вспыхивали ссоры. Можно было подумать, что убийцы умышленно выискивают поводы, как бы довести один другого до отчаяния и тем самым дать разрядку напряженным нервам. Каждый из них следил за другим, пытал его взглядом, исследовал его раны, нащупывая в них самые чувствительные уголки, и с наслаждением бередил больное место, доводя истязуемого до воплей. Так жили они в атмосфере непрекращающегося возбуждения, устав от самих себя, не будучи в силах выносить ни жеста, ни слова, ни взгляда без истерики и страданий. Все их существо было подготовлено к резким выходкам; малейшая неприятность, самое обыкновенное возражение вырастали в их расстроенном сознании в нечто грандиозное, чреватое звериной жестокостью. Любой пустяк способен был вызвать бурю, которая не унималась целые сутки. Слишком горячее кушанье, растворенное окно, несогласие с чем-нибудь, простое замечание могло довести их до самых настоящих припадков безумия. А во время ссоры они всегда напоминали друг другу об утопленнике. Слово за слово, и они неизменно принимались попрекать друг друга сент-уенской драмой; тут они доходили до белого каления, до подлинного бешенства. Начинались чудовищные сцены, побои, отвратительный крик, стенания, постыдная грубость. Обычно Тереза и Лоран доводили себя до такого состояния после еды; они запирались в столовой, чтобы их отчаянный крик не услышали посторонние. Здесь, в сырой комнате, в этом своеобразном склепе, освещенном желтоватым светом лампы, они могли терзать друг друга вволю. В тишине столовой, в ее неподвижном воздухе, их голоса приобретали какую-то душераздирающую резкость. И они не прекращали ссору до тех пор, пока не начинали изнемогать от усталости; тогда они могли вкусить немного покоя. Ссоры стали для них какой-то потребностью; всякий раз их нервы притуплялись, и им удавалось на несколько часов уснуть.

Госпожа Ракен слушала их. Она постоянно присутствовала при этих сценах, сидя в своем кресле; руки ее безжизненно лежали на коленях, голова держалась прямо, лицо было неподвижно. Она все понимала, но по ее мертвому телу не пробегало ни малейшего содрогания. Ее глаза пристально и остро смотрели на убийц. По-

видимому, она терпела жесточайшую муку. Теперь она узнала во всех подробностях о событиях, которые предшествовали убийству Камилла и последовали за ним; она понемногу окунулась во всю грязь, во все преступления, совершенные теми, кого она называла своими возлюбленными детьми.

Ссоры супругов открыли ей мельчайшие обстоятельства, нарисовали перед ее потрясенным сознанием один за другим все эпизоды отвратительного преступления. И по мере того как она все глубже и глубже проникала в эту кровавую грязь, она окончательно изнемогала, ей казалось, что она уже дошла до последней черты подлости, но ей приходилось спускаться все ниже и ниже. Каждый вечер она узнавала какую-нибудь новую подробность. Жуткая история все шире и шире развертывалась перед ней; ей казалось, что она заблудилась в каком-то кошмаре, которому не будет конца. Первое разоблачение было для нее невероятно жестоким и ошеломляющим, но она еще больше страдала от этих повторных ударов, от мелких подробностей, которые вырывались у супругов во время ссор и освещали преступление зловещими отсветами. Каждый день несчастная мать выслушивала рассказ об убийстве сына, и с каждым разом этот рассказ становился все ужаснее, все подробнее, с каждым разом он раздавался в ее ушах все неумолимее и громче.

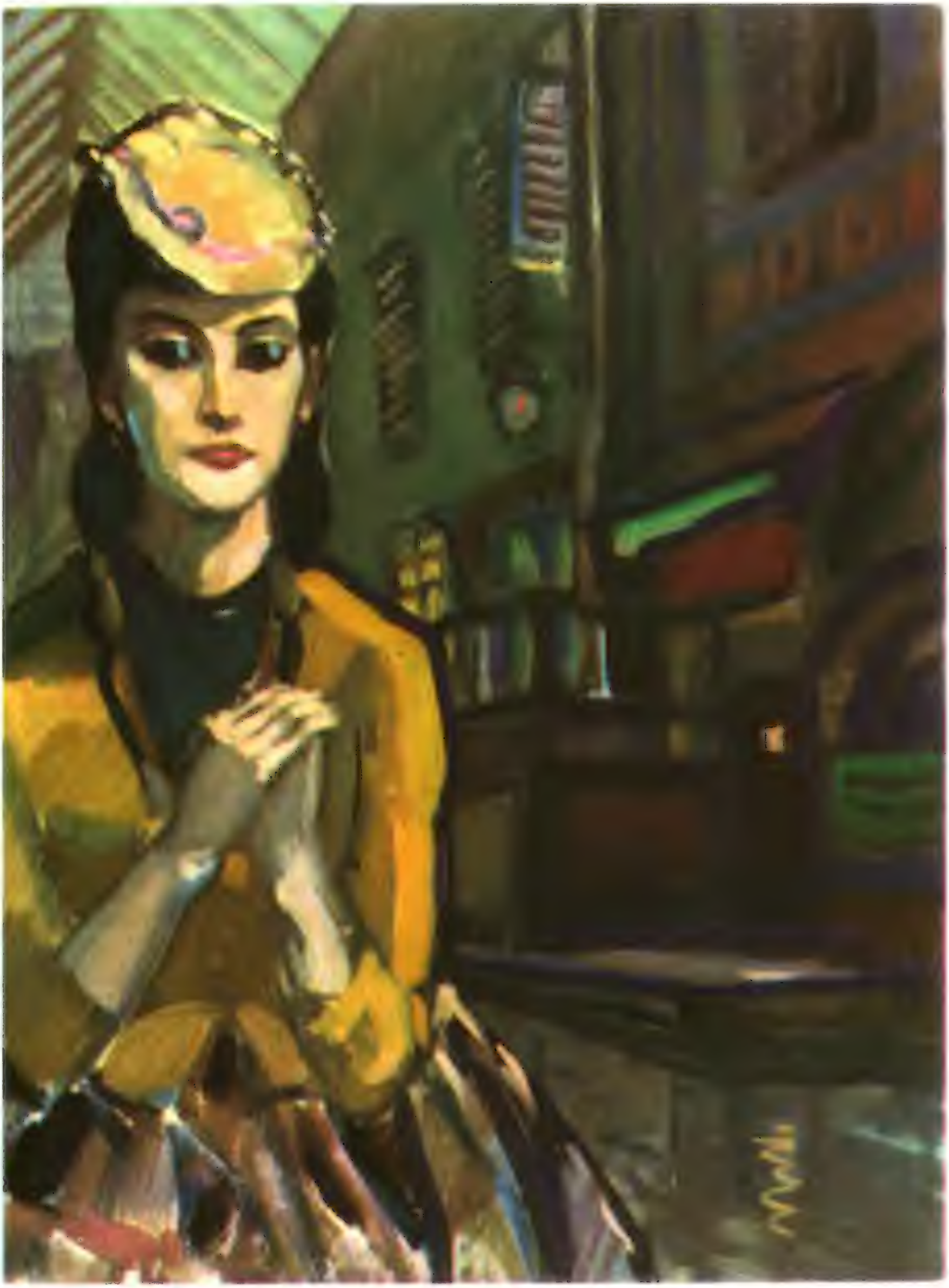
Иногда при виде ее застывшего бледного лица, по которому катились беззвучные крупные слезы, Тереза испытывала угрызения совести. Она указывала Лорану на тетку и взглядом заклинала его замолчать.

— Ах, оставь, пожалуйста,— грубо кричал тот,— ты ведь отлично знаешь, что она не может нас выдать... Ты думаешь, я счастливее ее?.. А деньги ее у нас, и нечего мне стесняться.

И ссора продолжалась — ожесточенная, безудержная — и как бы снова убивала Камилла. Ни Тереза, ни Лоран не смели поддаться мысли, которую подсказывала им иногда жалость, а именно на время ссоры запереть параличную в ее комнате и тем самым избавить от описания убийства. Они боялись, как бы не убить друг друга, если между ними не будет этого полуживого трупа. Жалость отступала перед трусостью; они подвергали г-жу Ракен неизъяснимым мукам только потому, что им требовалось ее присутствие, ибо оно защищало их от галлюцинаций.

Ссоры их походили одна на другую и всегда кончались одними и теми же взаимными обвинениями. Достаточно было произнести имя Камилла, достаточно было кому-нибудь из них бросить другому обвинение в убийстве этого человека — и немедленно следовал страшный взрыв.

Как-то вечером, за обедом, Лоран, искавший повода к ссоре,



«Тереза Ракен».

выразил неудовольствие, что вода в графине теплая; он сказал, что от теплой воды его тошнит, и потребовал свежей.

— Я не достала льда,— сухо ответила Тереза.

— В таком случае я не буду пить,— возразил Лоран.

— Вода превосходная.

— Она теплая и воняет тиной. Как из реки.

Тереза повторила:

— Из реки...

И она вдруг разрыдалась. Эти слова вызвали у нее определенную ассоциацию.

— Чего ревешь? — спросил Лоран, уже предугадывая ответ и бледнея.

— Я плачу оттого...— рыдала молодая женщина,— оттого... сам знаешь... Боже мой, боже мой, ведь ты убил его!

— Врешь! — дико вскричал убийца.— Сознайся, что врешь!.. Правда, я сбросил его в воду, но это ты меня подучила.

— Я? Я?

— Да, ты... Не прикидывайся дурочкой, не вынуждай меня силой заставить тебя сознаться. Мне надо, чтобы ты призналась в своем преступлении, чтобы взяла на себя долю ответственности. Это успокаивает меня и немного утешает.

— Но ведь не я же утопила Камилла.

— Ты, ты, именно ты!.. Притворяешься, будто очень удивлена и все забыла? Так я тебе напомню.

Он встал из-за стола, склонился к Терезе и, побагровев, закричал ей в лицо:

— Помнишь, когда ты стояла на берегу, я шепнул тебе: «Я сброшу его в реку». Ты согласилась, ты вошла в лодку... И теперь скажешь, что не участвовала в убийстве?

— Неправда!.. Я тогда была как безумная, я сама не знала, что делаю, но у меня никогда в мыслях не было убивать его. Ты один совершил преступление.

Запирательство Терезы до крайности раздражало Лорана. Как он и говорил, от сознания, что у него была сообщница, ему становилось легче; осмелься он только, он постарался бы убедить себя, что весь ужас убийства ложится на совесть Терезы. Ему хотелось избить ее, чтобы вырвать у нее признание, что главная виновница — она.

Он принялся шагать взад и вперед по комнате, кричал, неистовствовал, а г-жа Ракен не сводила с него пристального взгляда.

— Ах, подлая, подлая! — лепетал он сдавленным голосом.— Она хочет свести меня с ума. Да ведь ты пришла ко мне однажды как проститутка, ведь ты одурманила меня ласками, с тем чтобы я освободил тебя от мужа. Он был тебе не по вкусу, от него пахло

больным ребенком,— так говорила ты, когда я приходил к тебе сюда на свидания... Да разве три года тому назад я помышлял об этом? Разве я был тогда подлецом? Я жил спокойно, как порядочный человек, никому не причинял зла. Я и мухи бы не обидел.

— Это ты убил Камилла,— повторила Тереза с отчаянным упрямством, которое вконец вывело Лорана из себя.

— Нет, ты. Говорю тебе — ты! — заревел он в исступлении.— Слушай, не доводи меня до крайности, это плохо кончится... Как, несчастная, ты не помнишь? Ты отдалась мне как уличная девка, здесь, в комнате твоего мужа; ты дала мне наслаждения, от которых у меня помутился рассудок. Признайся же, что все это ты делала с расчетом, что ты ненавидела Камилла и еще задолго до этого решила от него избавиться. Ты для того и взяла меня в любовники, чтобы натравить нас друг на друга и уничтожить его.

— Неправда!.. То, что ты говоришь,— чудовищно... Ты не имеешь права попрекать меня моей слабостью. Я тоже, как и ты, могу сказать, что до знакомства с тобою была честной женщиной, я тоже никому не причиняла вреда. А если я свела тебя с ума, так ты свел меня еще больше. Не будем ссориться, Лоран... Сам понимаешь, я тоже могу упрекнуть тебя кое в чем.

— В чем это ты можешь меня упрекнуть?

— Да нет, так... Ты не спас меня от меня самой, ты воспользовался моей слабостью, тебе доставляло удовольствие коверкать мою жизнь... Все это я тебе прощаю... Но, прошу тебя, не обвиняй меня в том, будто я убила Камилла. Оставь свое преступление при себе, не внушай мне этой ужасной мысли — с меня и так довольно.

Лоран размахнулся, собираясь ударить ее.

— Бей меня, это лучше,— добавила она.— Мне станет легче.

И она подставила ему лицо. Он сдержался, взял стул и сел возле нее.

— Слушай,— сказал он, стараясь говорить спокойно,— бессовестно отрицать, что и ты участвовала в преступлении. Ты отлично знаешь, что мы совершили его вместе, ты знаешь, что так же виновата, как и я. Зачем же ты хочешь переложить всю ответственность на меня, а себя считать непричастной? Если бы ты не была виновата, так не согласилась бы выйти за меня замуж. Вспомни два года, которые прошли после убийства. Хочешь убедиться? Я заявлю обо всем прокурору, и тогда увидишь, что нас осудят обоих одинаково.

Они содрогнулись, и Тереза возразила:

— Люди-то, пожалуй, и осудят, но Камилл знает, что все сделал ты... Он не мучает меня по ночам, как мучает тебя.

— Камилл меня ничуть не беспокоит,— ответил, бледнея, тре-

пещущий Лоран,— это тебе он представляется в кошмарах; я слышал, как ты кричишь.

— Не смей этого говорить,— злобно воскликнула Тереза.— Я не кричала, я не хочу, чтобы призрак являлся мне. Я тебя понимаю, ты хочешь отвадить его от себя... Я невиновна, невиновна!

Они смотрели друг на друга в ужасе, изнемогая от усталости, и боялись, как бы этим разговором не вызвать труп утопленника. Их ссоры всегда кончались так: каждый доказывал свою невиновность, каждый старался обмануть самого себя, надеясь отогнать дурные сны. Все старания их сводились к тому, чтобы свалить ответственность за убийство на другого, обелить себя, словно перед судом, предъявляя сообщнику тягчайшие обвинения. Самое странное было то, что всеми этими клятвами им все же не удавалось обмануть себя, что оба они прекрасно помнили все обстоятельства убийства. Они читали признания в глазах друг у друга, в то время как уста их утверждали обратное. То была ребяческая ложь, нелепые увертки, чисто словесная распря двух жалких созданий, которые лгали ради лжи и не могли не сознаться самим себе, что лгут. То один, то другой брал на себя роль обвинителя, и, хотя разбирательство дела не приводило ни к какому результату, они с диким ожесточением каждый вечер начинали сызнова. Они знали, что ничего не докажут друг другу, что им не зачеркнуть прошлого, но они все же упорно стремились к этому, возвращались к этой задаче, подхлестнутые страданием и страхом и заранее побежденные удручающей действительностью. Единственная польза от этих споров сводилась к тому, что словесная буря и крики на какой-то срок одурманивали их.

Все время, пока они бушевали, пока обвиняли друг друга, параличная следила за ними пристальным взглядом. Когда Лоран заносил руку над головой Терезы, глаза старухи загорались жгучей радостью.

XXIX

Началась новая фаза. Тереза, доведенная страхом до крайности, в поисках какого-нибудь облегчения, стала вслух, при Лоране, оплакивать утопленника.

В ней вдруг что-то оборвалось. Слишком натянутые нервы не выдержали; ее сухая, резкая натура внезапно смягчилась. Еще в первые дни замужества ею порой овладевали порывы растроганности и умиления. Эти порывы стали повторяться как роковая, неизбежная реакция. После того как молодая женщина напрягла всю свою нервную энергию на борьбу с призраком Камилла, после того как она провела несколько месяцев в глухом раздражении, в

бунте против своих страданий, пытаясь избавиться от них только усилием воли,— она вдруг почувствовала такое изнеможение, что прекратила борьбу и признала себя побежденной. Тогда, вновь став женщиной, даже девочкой, и уже не имея достаточно сил, чтобы взять себя в руки, чтобы устоять перед этим ужасом,— она обратилась к жалости, к слезам и сетованиям в надежде, что они принесут ей некоторое облегчение. Она старалась извлечь пользу из физической и духовной слабости, которая одолевала ее: быть может, утопленник, не отступающий перед ее гневом, отступит перед слезами? Итак, у нее появились корыстные угрызения совести; она думала, что раскаяние — лучшее средство, чтобы успокоить и удовлетворить Камилла. Подобно иным ханжам, которые произносят слова молитвы и напускают на себя вид кающихся грешниц в расчете обмануть бога и получить от него прощение, Тереза каялась, била себя в грудь, твердила слова смирения, хотя в душе у нее были только страх и трусость. Вдобавок ей доставляло какое-то чисто физическое наслаждение смиряться, сознавать себя бессильной и надломленной, без сопротивления отдаваться скорби.

Она удручала г-жу Ракен своим плаксивым отчаянием. Она пользовалась старухой как необходимой вещью; паралличная служила ей как бы скамеечкой для коленопреклонений, предметом, перед которым она могла без опаски исповедоваться в своих грехах и выпрашивать прощение. Как только у нее возникало желание поплакать, немного отвлечься в рыданиях, она становилась на колени перед паралличной и, стеная, задыхаясь, в одиночку разыгрывала сцену раскаяния, которая изнуряла ее и тем самым приносила некоторое облегчение.

— Я мерзкая грешница,— лепетала она,— я не заслуживаю прощения. Я обманывала вас, я толкнула вашего сына на смерть. Вы ни за что не простите меня... Но если бы вы только знали, как я терзаюсь раскаянием, если бы знали, как я страдаю, вы, быть может, сжалились бы надо мной... Нет, нет, я не достойна жалости! Мне хотелось бы умереть у ваших ног, под бременем стыда и скорби...

Она говорила так целыми часами, переходя от отчаяния к надежде, то обвиняя себя, то оправдываясь; она говорила голосом маленькой больной девочки, то прерывистым, то жалобным; она ложилась, распростершись, на пол, потом вставала, повинуясь мыслям, которые проносились у нее в голове и внушали ей униженность или гордость, покаяние или бунт. Иной раз Тереза даже забывала, что она на коленях перед г-жой Ракен, она продолжала говорить как бы во сне. Досыта опьянившись собственными словами, она поднималась одурманенная и, пошатываясь, шла вниз,

в магазин; теперь она чувствовала себя спокойнее и уже не боялась, что разрыдается при покупательницах. Когда же у нее вновь назревала потребность в покаянии, она спешила наверх, чтобы опять стать на колени перед параличной. И эта сцена возобновлялась раз десять в день.

Терезе никогда не приходило в голову, что ее слезы и показное раскаяние повергают тетю в неизъяснимую скорбь и тоску. На самом же деле, если бы кому-нибудь вздумалось подвергнуть г-жу Ракен пытке, то он не мог бы придумать ничего ужаснее той комедии раскаяния, какую разыгрывала перед нею племянница. Параличная понимала, сколько эгоизма скрывается за этими шумными выражениями горя. Она чудовищно страдала от долгих монологов, которые ей приходилось то и дело выслушивать и которые вновь оживляли перед нею подробности убийства Камилла. Простить она не могла; она замкнулась в неотступной мысли о мщении, которой ее беспомощность придавала особую остроту, а ей с утра до ночи приходилось выслушивать просьбы о прощении, униженные и лживые мольбы. Ей хотелось бы ответить; некоторые фразы Терезы вызывали у нее желание дать племяннице сокрушительную отповедь, но она вынуждена была молчать, предоставив Терезе неограниченную возможность оправдываться. Старуха не могла ни закричать, ни заткнуть себе уши, и это причиняло ей невыразимую муку. А слова молодой женщины, неторопливые и жалобные, одно за другим проникали в ее сознание подобно какой-то надоедливой песне. Одно время она думала, что убийцы подвергают ее этой пытке нарочно, из дьявольской жестокости. Единственным средством защиты, которым она располагала, было закрыть глаза, как только племянница становилась перед нею на колени,— тогда она хоть и слышала, но по крайней мере не видела ее.

Понемногу Тереза до того осмелела, что даже стала целовать тетю. Однажды, во время очередного припадка раскаяния, она притворилась, будто читает в глазах параличной мысль о прощении; она на коленях подползла к ее креслу, потянулась к ней с истошным криком: «Вы меня прощаете! Вы меня прощаете!», потом поцеловала несчастную в лоб и в щеки, пользуясь тем, что старуха не может отвернуться. Холодная кожа, к которой прикоснулись губы Терезы, вызвала у нее глубокое отвращение. Она решила, что это чувство отвращения, как и раскаяние и слезы, послужит ей отличным средством для успокоения нервов, и стала каждый день целовать параличную в порядке самобичевания и себе в утешение.

— Какая вы добрая! —восклицала она иногда.— Вижу, мои слезы растрогали вас... В вашем взгляде светится жалость... Теперь я спасена...

И она осыпала несчастную старуху ласками, блаженно улыбалась, целовала ей руки, любовно и самозабвенно ухаживала за ней. Со временем она сама уверовала в эту комедию, она вообразила, будто вымолила у г-жи Ракен прощение, и теперь только о том и говорила, как она счастлива, что прощена.

Для параличной это было уже свыше сил. Она чуть не умерла. Поцелуи племянницы вызывали в ней то же острое чувство отвращения и бешенства, какое овладевало ею утром и вечером, когда Лоран брал ее на руки, чтобы поднять или уложить в постель. Ей приходилось терпеть омерзительные ласки преступницы, которая предала и убила ее сына; несчастная не могла даже утереть себе щеки после поцелуев этой твари. Еще долгое время она чувствовала на себе эти поцелуи, и они жгли ее. Так она стала куклой в руках убийц Камилла, куклой, которую они одевали, вертели во все стороны, которой пользовались сообразно своим потребностям и прихотям. Она оставалась в их руках безжизненной, словно вместо сердца у нее были опилки, а между тем нутро ее было живо, оно возмущалось и страдало от малейшего соприкосновения с Терезой и Лораном. Особенно угнетало ее жестокое издевательство молодой женщины, которая делала вид, будто прочла в ее глазах прощение, в то время как в действительности старуха хотела бы, чтобы ее взгляд сразил преступницу. Часто она делала сверхчеловеческое усилие, чтобы издать хоть слабый крик протеста; всю свою ненависть она сосредоточила в глазах. Но Терезе доставляло облегчение повторять раз по двадцать в день, что тетя ее простила, и она изощрялась в заботах о старухе, не желая вникнуть в ее переживания. Калеке поневоле приходилось принимать порывы нежности и благодарности, которые с негодованием отвергало ее сердце. Теперь она жила во власти бессильной, горькой злобы, в постоянном присутствии смиренной племянницы, которая окружала старуху нежной заботой, чтобы вознаградить ее за то, что она называла «небесной добротой».

Когда Тереза становилась перед г-жой Ракен на колени в присутствии Лорана, он грубо одергивал ее.

— Нечего балаганить,— говорил он.— Я вот не хнычу, не валяюсь в ногах... Ты делаешь это мне назло.

Раскаяние Терезы как-то странно волновало его. Ему сделалось еще тяжелее с тех пор, как соучастница его преступления стала бродить возле него с распухшими от слез глазами, с мольбой на губах. Вид этого ходячего раскаяния усиливал его страхи, еще больше угнетал его. Она была каким-то вечным укором, снующим по дому. Кроме того, он опасался, как бы муки совести не толкнули Терезу на разоблачения. Он предпочел бы, чтобы она оставалась неуязвимой и отгрызалась, рьяно защищаясь от его обвинений. Но

она изменила тактику; теперь она охотно признавала свою долю участия в преступлении, сама себя винила, становилась податливой и робкой, молила о милосердии и отдавалась пылким порывам самоуничижения. Такое поведение раздражало Лорана. По вечерам их ссоры становились все более ожесточенными и зловещими.

— Послушай,— говорила Тереза мужу,— мы с тобой великие грешники, нам нужно покаяться, если мы хотим хоть немного успокоиться... Видишь, с тех пор как я плачу, я стала спокойнее. Плачь и ты. Скажем вместе, что наказание наше вполне справедливо, ибо мы совершили страшное преступление.

— Вот еще! — грубо возражал Лоран.— Болтай что хочешь. Я знаю, что ты чертовски хитра и лицемерна. Плачь, если это тебя развлекает, но, прошу, не морочь мне голову нытьем...

— Какой ты злой! Ты не хочешь раскаяться. А между тем ты трус, ты убил Камилла предательски.

— Скажешь, я один виноват?

— Нет, этого я не говорю. Я тоже виновата, я виноватее тебя. Мне следовало спасти мужа из твоих рук. Да, я сознаю весь ужас своего проступка, но я стараюсь заслужить прощение и заслужу его, а твоя жизнь, Лоран, так навсегда и останется искалеченной... У тебя даже не хватает благородства избавить мою бедную тетю от диких сцен, которые ты закатываешь; ты ни разу не произнес ни слова раскаяния.

И она принималась целовать г-жу Ракен, а та сразу же закрывала глаза. Тереза вертелась вокруг нее, поправляла подушку, на которой покоилась ее голова, оказывала ей тысячи знаков внимания. Лоран выходил из себя.

— Да оставь ты ее! — кричал он.— Неужели ты не видишь, что твои заботы, да и самый твой вид ей противны. Если бы она могла, она дала бы тебе пощечину.

Тягучие, жалостные слова жены, ее смиренный вид мало-помалу доводили его до вспышек дикого гнева. Он отлично понимал ее тактику: она хотела обособиться, оградиться от него стеною раскаяния и тем самым избавить себя от объятий утопленника. Иногда Лоран думал, что она, пожалуй, избрала лучший путь, что слезы излечат ее от страхов, и он содрогался при мысли, что будет страдать один, один будет трепетать от ужаса. Ему тоже хотелось бы раскаяться или, по крайней мере, для пробы, разыграть комедию угрызений совести; но рыданья не давались ему, он не находил нужных слов и опять начинал неистовствовать, опять терзал Терезу, чтобы вывести ее из равновесия и вовлечь в свой исступленный бред. Тереза старалась хладнокровно выдерживать эти припадки, она отвечала на его бешеные крики униженной покорностью, становилась все более смиренной и кроткой, по мере того как

он становился все грубее. Лоран понемногу приходил в исступление. Чтобы довести его до последней черты, Тереза под конец начинала восхвалять Камилла, превозносить его добродетели.

— Он был добрый,— говорила она.— Сколько нужно жестокости, чтобы обидеть такого превосходного человека, человека, у которого никогда не бывало дурной мысли.

— Что и говорить,— ухмылялся Лоран,— он был добрый; ты хочешь сказать — дурак, не правда ли?.. Забыла разве? Ведь ты уверяла, что любое его слово выводит тебя из терпения, что стоит ему только открыть рот, и уже готова какая-нибудь глупость.

— Не насмехайся... Недостает только того, чтобы ты глумился над человеком, которого убил... Ты не знаешь женского сердца, Лоран. Камилл меня любил, и я его любила.

— Любила! Скажите на милость! Славно придумано! Вероятно, потому ты и взяла меня в любовники, что уж больно любила мужа... Помню, как однажды, лежа у меня на груди, ты говорила, что тебя тошнит от одного прикосновения к его телу, что, когда ты касаешься его, тебе кажется, будто руки твои погружаются в какую-то глицу... Уж я-то знаю, за что ты меня любила. Тебе требовалось нечто покрепче, чем объятия этого мозгляка.

— Я любила его как брата. Он был сыном моей благодетельницы, он, подобно всем слабым натурам, был деликатен, он был благороден и самоотвержен, у него было преданное, любящее сердце... А мы убили его! О, боже мой, боже!

Она плакала, стонала. А г-жа Ракен устремляла на нее колючий взгляд,— ее до глубины души возмущало, что похвалу Камиллу произносят такие уста. Лоран был бессилен против этого потока слез, он нетерпеливо шагал по комнате, придумывая какую-нибудь крайнюю меру, чтобы приглушить терзания Терезы. Слушая, как она расхваливает его жертву, он бледнел от бешенства; иногда он поддавался душераздирающим стенаниям жены, сам начинал верить в добродетели Камилла, и тогда ему становилось еще страшнее. Но ничто так не выводило его из себя и не вызывало у него таких взрывов ярости, как сравнение, которое Тереза в конце концов проводила между своим первым и вторым мужем, причем все преимущества неизменно оказывались у первого.

— Да, так оно и есть,— кричала она,— он был лучше тебя; я предпочла бы, чтобы он еще жил, а ты лежал бы на его месте в могиле.

Сначала Лоран пожимал плечами.

— Что ни говори,— продолжала она, все более воодушевляясь,— при жизни я его, может быть, и не любила, зато теперь помню и люблю... Его люблю, а тебя ненавижу, понимаешь? Ты — убийца...

— Замолчи! — ревел Лоран.

— А он — он жертва, он честный человек, которого убил негодяй. Но не думай — я тебя не боюсь... Ты сам знаешь, что ты подлец, скотина, без сердца, без души. Как же я могу любить тебя, когда ты весь в крови Камилла?.. Камилл был бесконечно добр ко мне, и я убила бы тебя — слышишь? — если бы это вернуло Камилла к жизни и вернуло бы мне его любовь.

— Замолчи, гадина!

— Зачем мне молчать? Я говорю правду. Ценою твоей крови я получила бы прощение. Ах, как я оплакиваю его, как страдаю! Моя вина, что этот негодяй убил моего мужа... Я должна как-нибудь ночью пойти на его могилу и поцеловать землю, в которой он покоится. Это — моя последняя радость.

Лоран, не помня себя, обезумев от жутких картин, которые рисовала перед ним Тереза, бросался на нее, валил на пол, прижимал коленом и заносил над ней кулак.

— Вот, вот, бей меня, прикончи меня!..— вопила она.— Камилл никогда не поднимал на меня руку, а ты... ты чудовище.

Слова эти подхлестывали Лорана, он в бешенстве тряс жену, колотил, истязал. Два раза он чуть было не задушил ее. Под его ударами Тереза слабела; они доставляли ей острое наслаждение; она поддавалась им, она предлагала себя, сама толкала мужа на то, чтобы он сильнее бил ее. Побои служили ей лекарством от страданий; после них она лучше спала. Г-жа Ракен наблюдала, как Лоран таскает Терезу по полу и бьет ногами куда попало, и это зрелище доставляло ей неизъяснимую радость.

С того дня как Терезе пришла в голову дьявольская мысль раскаяться и вслух оплакивать Камилла — жизнь стала для Лорана совсем невыносимой. Отныне убийца беспрестанно ощущал возле себя присутствие своей жертвы; ежечасно ему приходилось выслушивать, как жена восхваляет и оплакивает первого мужа. Она пользовалась для этого любым поводом: Камилл поступал так-то, Камиллу было свойственно то-то, Камилл отличался тем-то, Камилл любил так-то. Всюду Камилл, без конца горестные фразы, посвященные памяти Камилла. Всю злобу, какая только была ей свойственна, Тереза направила на то, чтобы как можно больнее язвить Лорана и тем самым выгораживать самое себя. Она входила в интимнейшие подробности, с сожалением и вздохами рассказывала разные ничтожные случаи из времен своей юности и таким образом связывала память об утопленнике со всеми событиями повседневной жизни. Труп, и без того посещавший дом, теперь был введен в него открыто. Он усаживался на стулья, пристраивался к столу, ложился на кровать, пользовался всей мебелью, всем, что находилось в комнатах. Что бы Лоран ни взял в руки — ложку,

щетку или другую вещь,— Тереза сразу давала ему почувствовать, что этой вещью раньше пользовался Камилл. Беспрестанно соприкасаясь с человеком, которого он убил, преступник в конце концов стал испытывать какое-то странное чувство, чуть ли не сводившее его с ума: его так усиленно сравнивали с Камиллом, он так часто пользовался вещами, которыми прежде пользовался Камилл, что он стал воображать, будто он и есть Камилл; он стал отождествлять себя со своей жертвой. Мозг его пылал, и он бросался на жену, чтобы заставить ее замолчать, чтобы не слышать слов, которые доводили его до бреда. Все их ссоры кончались побоями.

XXX

Чтобы положить конец своим страданиям, г-жа Ракен в конце концов решила уморить себя голодом. Терпение ее иссякло, она уже не в силах была выносить муки, которые причиняло ей постоянное присутствие убийц; она хотела найти успокоение в смерти. День ото дня она испытывала все большие мучения, когда Тереза целовала ее, когда Лоран брал ее на руки и нес, как ребенка. Она приняла решение избавиться от ласк и объятий, которые вызывали у нее омерзение. Будучи полумертвой, она не могла отомстить за сына и поэтому предпочитала умереть совсем, оставив в руках убийц всего лишь бесчувственный труп,— и пусть они делают с ним, что хотят.

Два дня она отказывалась от всякой пищи; она из последних сил сжимала зубы и выплевывала все, что удавалось запихнуть ей в рот. Тереза была в отчаянии; она задавала себе вопрос: где же, на каком перекрестке будет она рыдать и каяться, когда не станет тети? Она обращалась к старухе с длинными речами, доказывая, что та обязана жить; она плакала, даже сердилась; она опять стала злой и силой открывала паралличный рот, как открывают пасть заупрямившемуся животному. Г-жа Ракен не сдавалась. Шла отвратительная борьба.

Лоран относился к ней равнодушно и не вмешивался. Его удивляло, что Тереза с таким упорством препятствует самоубийству старухи. Теперь присутствие паралличной стало для них бесполезным, поэтому он желал ее смерти. Сам он не убил бы ее, но ему было непонятно, зачем удерживать ее от смерти, раз она хочет умереть.

— Да оставь ты ее! — кричал он жене.— Отделаемся от нее — тем лучше!.. Без нее наша жизнь, может быть, наладится.

Эта фраза, не раз повторенная Лораном в присутствии г-жи Ракен, произвела на нее своеобразное впечатление. Она испу-

галась, как бы надежда Лорана не осуществилась, как бы после ее смерти супруги не зажили безмятежно и счастливо. Она подумала, что с ее стороны малодушно умереть, что она не имеет права уйти из жизни, пока не увидит развязки этой страшной истории. Только после этого ей можно будет отойти в вечность и сказать Камиллу: «Ты отомщен». Мысль о самоубийстве стала ей в тягость, как только она поняла, что ляжет в могилу, не зная, чем кончилась их трагедия; там, под землей, в холоде и безмолвии, она будет спать вечным сном, терзаясь неизвестностью о наказании, которое постигло ее палачей. Чтобы спокойно спать в небытии, ей необходимо уснуть, будучи согретой радостью мести, ей необходимо унести с собою сознание осуществленной ненависти, сознание, которое будет ее радовать до скончания веков. Она стала принимать еду, которую предлагала ей племянница; она согласилась еще пожить.

К тому же она понимала, что развязка не за горами. Со дня на день отношения между супругами становились все напряженнее, все невыносимее. Взрыв, которому предстояло все разнести вдребезги, был неизбежен. С каждым часом Тереза и Лоран все более ожесточались друг против друга. Теперь они страдали от своей близости не только по ночам; дни тоже проходили в атмосфере тревоги, тоски и душераздирающих припадков. Все вызывало у них ужас, все причиняло боль. Они жили как в аду, изводили друг друга, малейшему своему слову и поступку стремились придать горький, жестокий смысл, старались столкнуть друг друга в бездну, которая разверзалась у них под ногами, однако падали в нее вместе.

Правда, они подумывали о том, не разъехаться ли им. Каждому из них хотелось бы бежать, вкусить немного покоя где-нибудь вдали от пассажа Пон-Неф, грязь и сырость которого были созданы как бы нарочно для их искалеченной жизни. Но они не решались, не могли спастись. Им казалось невозможным не терзать друг друга, не терзать самих себя и не страдать. Они были непреклонны в своей ненависти и жестокости. Что-то одновременно и отталкивало и влекло их друг к другу; они испытывали то странное ощущение, какое бывает у людей, которые поссорились и решили расстаться, а между тем всё возвращаются один к другому, чтобы бросить новое оскорбление. Их побегу мешали и деловые соображения; они не знали, как поступить с параличной, что сказать друзьям. Если они уедут тайком, пожалуй, возникнут подозрения; им уже представлялось, как их разыскивают, казнят. И они из трусости оставались на месте, подло влачили свое мерзкое существование.

Утром и днем, когда Лорана не бывало дома, Тереза в волнении и тревоге металась между столовой и лавкой, не зная, чем заполнить пустоту, которая с каждым днем все больше разверзалась

у нее в душе. Когда она рыдала у ног г-жи Ракен и когда ее не бил и не ругал муж, она не знала, за что ей взяться. Оказавшись одна в лавке, она впадала в какое-то оцепенение; она тупо наблюдала, как в темном, грязном пассаже мелькают прохожие, и ею овладевала смертельная тоска; ей казалось, будто она в какой-то темной яме, где пахнет кладбищем. В конце концов она попросила Сюзанну приходить к ней на целый день: она надеялась, что это немощное создание, жалкое и кроткое, принесет ей некоторое умиротворение.

Сюзанна с радостью исполняла ее просьбу; она по-прежнему любила Терезу, питала к ней дружеские чувства и глубокое уважение; ей и самой давно уже хотелось приходить к Терезе и работать возле нее, пока Оливье находится на службе. Она стала приносить с собою рукоделье и усаживалась за конторкой, на стуле, где раньше сидела г-жа Ракен.

С тех пор Тереза несколько забросила тетю. Она стала реже подниматься наверх, чтобы поплакать у ее ног и поцеловать ее безжизненное лицо. Теперь у нее появилось другое занятие. Она старалась внимательно слушать медлительную болтовню Сюзанны, которая рассказывала о своем хозяйстве, о всяких мелочах своей однообразной жизни. Это отвлекало Терезу от самой себя. Иной раз она ловила себя на том, что слушает весь этот вздор с интересом, и на губах ее появлялась горькая усмешка.

Постепенно она растеряла всю клиентуру. С тех пор как тетя оказалась пригвожденной к креслу, Тереза перестала следить за лавкой; товары пылились и гнили от сырости. В лавке пахло плесенью, с потолка свисала паутина, пол почти никогда не подметался. А особенно отпугивало покупательниц то, как странно встречала их иногда Тереза. Когда ее наверху бил Лоран или когда она находилась во власти очередного приступа ужаса, а звонок внизу начинал настойчиво дребезжать, ей приходилось бежать в лавку, не успев подобрать волосы и утереть слезы; в таких случаях она занималась с покупательницей кое-как, а иной раз и вовсе отказывала ей, крикнув с лестницы, что давно не держит требуемого товара. Такое нелюбезное обхождение, конечно, отпугивало клиентуру. Резкость Терезы и ее безумные глаза не могли прийтись по вкусу местным работницам, привыкшим к слащавой любезности г-жи Ракен. Когда же в лавке появилась Сюзанна, это привело к полному развалу; не желая, чтобы мешали их болтовне, молодые женщины постарались отвадить и последних покупательниц, которые еще заглядывали в лавку. С тех пор торговля не приносила уже ни гроша; пришлось тронуть основной капитал в сорок тысяч франков с небольшим.

Иной раз Тереза на целый день уходила из дому. Никто не

знал, где она. Она, по-видимому, пригласила Сюзанну не только ради компании, но и для того, чтобы молодая женщина стерегла лавку во время ее отлучек. Вечером, возвратясь домой усталая, с темными кругами вокруг глаз, Тереза заставала худенькую жену Оливье за конторкой; она сидела, поникнув и слабо улыбаясь, в той же позе, в какой Тереза оставила ее пять часов тому назад.

На пятом месяце после свадьбы Терезе пришлось пережить жестокие волнения. Она убедилась, что беременна. Самая мысль, что у нее может быть ребенок от Лорана, казалась ей чудовищной, хотя она и не отдавала себе отчета, почему именно. Она смутно боялась, что родит утопленника. Ей мерещилось, будто она чувствует где-то внутри холодок от дряблого, разлагающегося трупа. Она решила любой ценой избавиться от ребенка; он леденил ее, был ей невыносим. Мужу она не сказала ни слова, но однажды нарочно довела его до бешенства, и когда он занес над нею ногу, подставила под удар живот. Она дала ему избить себя до полусмерти. На другой день у нее случился выкидыш.

Жизнь Лорана тоже была ужасна. Дни казались ему нескончаемыми; каждый из них приносил с собою то же отчаяние, те же невыносимые тревоги, которые в определенное время, регулярно, с удручающим однообразием обступали его. Он влачил беспросветное существование и каждый вечер приходил в ужас, вспоминая минувший день и ожидая следующего. Он знал, что теперь все дни будут похожи один на другой, что все они будут приносить ему одни и те же страдания. И ему представлялось будущее — недели, месяцы, годы, мрачные, неотвратимые; они потянутся бесконечной вереницей, и в конце концов он задохнется под их тяжестью. Когда в будущем нет надежд, настоящее становится омерзительно-горьким. Лоран утратил способность возмущаться, он опускался, он поддавался тлению, которое стало захватывать его существо. Безделье губило его. Он уходил из дому рано утром, сам не зная, куда направиться, и чувствуя отвращение при мысли, что будет делать то же самое, что и вчера, и все-таки помимо воли в точности повторял вчерашний день. По привычке, в силу какой-то мании, он направлялся к себе в мастерскую. Комнатка с серыми стенами, из которой виден был только кусок пустынного неба, повергала его в уныние и грусть. Он ложился на диван, раскинув руки, и мысли его цепенели. Теперь он уже не решался взяться за кисть. Он сделал было еще несколько попыток, но каждый раз на полотне появлялось насмешливое лицо Камилла. Чтобы не сойти с ума, он в конце концов бросил ящик с красками в угол и решил предаться полнейшей лени. Но вынужденное безделье страшно тяготило его.

Днем он с тоской задавал себе вопрос: чем же заняться?

Он по полчаса простаивал на тротуаре улицы Мазарини, обдумывая этот вопрос и не зная, чем бы развлечься. Возвращаться в мастерскую ему не хотелось, и он неизменно решал направиться по улице Генего, а потом побродить по набережным. И до самого вечера он шел, одуревший, куда глаза глядят, а когда бросал взгляд на Сену, его охватывала внезапная дрожь. В мастерской ли, на улице ли — всюду его преследовала та же тоска. На другой день все начиналось сначала — утро он проводил на диване, днем бродил по набережным. Так длилось уже несколько месяцев и могло продлиться годы.

Иной раз Лоран недоумевал: ведь он убил Камилла для того, чтобы потом ничего не делать; почему же теперь, когда он ничем не занят, ему так тяжело? Ему хотелось бы заставить себя быть счастливым. Он начинал убеждать себя, что напрасно страдает, что он достиг высшего блаженства, которое состоит в том, чтобы жить сложа руки, и что он дурак, раз не наслаждается вволю этим счастьем. Но факты опровергали все эти рассуждения. В глубине души ему приходилось признаться, что безделье только обостряет его тоску и тревогу, потому что позволяет беспрестанно думать о своем отчаянном положении, бередить и без того неисцелимые раны. Безделье, то животное существование, о котором он мечтал, стало для него возмездием. Временами у него возникало желание заняться чем-нибудь, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей. Потом он предоставлял событиям идти своим ходом и вновь покорялся темному року, который связывал его по рукам и ногам, чтобы в конце концов раздавить.

В сущности, он находил некоторое успокоение только по вечерам, когда бил Терезу. Это выводило его из мучительного оцепенения.

Наиболее жгучую муку, муку и физическую и нравственную, причинял ему укус Камилла. Временами ему мерещилось, что этот рубец распространяется по всему его телу. Если ему и удавалось ненадолго забыть прошлое, то нестерпимое покалывание, которое, как ему казалось, он чувствует на шее, напоминало и уму его и телу об убийстве Камилла. Стоило ему подойти к зеркалу, и он становился очевидцем странного явления, которое он уже столько раз наблюдал, неизменно приходя от него в ужас: от волнения кровь его бросалась к шее, шрам становился багровым и начинал разъедать кожу. Эта своеобразная живая рана, которую он вечно носил на себе, раскрывалась, багровела и язвила его при малейшем волнении; она ужасала и мучила его. В конце концов он стал думать, не проникло ли ему в шею вместе с зубами утопленника какое-нибудь насекомое, которое теперь точит его. Ему казалось, что место, где находится шрам, уже не принадлежит

ему,— то было как бы постороннее мясо, кем-то прилепленное к его шее, как бы отравленное мясо, от которого гниют и его собственные мускулы. Так он всюду носил с собою вечно живое, гложущее воспоминание о своем преступлении. Когда он бил Терезу, она старалась оцарапать ему шею; случалось, что она вонзала в это место ногти, и тогда он выл от боли. При виде рубца Тереза начинала притворно рыдать, чтобы он стал для Лорана еще невыносимее. Она терзала мужа напоминаниями об укусе Камилла; только этим и могла она отомстить ему за грубость.

Не раз во время бритья у него появлялся соблазн порезать себе шею, чтобы стереть следы от зубов утопленника. Перед зеркалом, когда он поднимал подбородок и замечал под белой мыльной пеной красное пятно, им овладевала внезапная ярость, и он порывисто подносил к шраму бритву, готовый глубоко вонзить ее в шею. Но прикосновение холодного лезвия сразу же отрезвляло его; голова у него кружилась, и он бывал вынужден сесть в ожидании, когда приступ трусости минует и можно будет докончить бритье.

Только по вечерам выходил он из оцепенения, и тогда у него сразу же начинались припадки беспричинного, ребяческого гнева. Когда ему надоедало ругаться с Терезой и бить ее, он, как мальчишка, колотил ногами в стены, старался разбить что-нибудь. Это приносило ему некоторое облегчение. Полосатый кот Франсуа, который при появлении Лорана тотчас искал прибежища на коленях параличной, вызывал у него особую ненависть. Лоран давно убил бы его, если бы только посмел его схватить. Кот дьявольски пристально смотрел на него большими круглыми глазами. Этот взгляд, всегда направленный на него, доводил Лорана до полного отчаяния; он недоумевал, чего хотят эти глаза, не отрывающиеся от него ни на минуту; в конце концов им овладевал подлинный ужас; он воображал всевозможные нелепости. Когда за столом, или во время ссоры, или во время долгого молчания Лорану доводилось, обернувшись, заметить направленный на него тяжелый, неумолимый взгляд Франсуа, он бледнел, терял рассудок, он готов был крикнуть коту: «Ну говори же, говори наконец, что тебе от меня надо!» Если Лорану удавалось прищемить коту лапу или хвост, он испытывал при этом трусливую радость, но мяуканье бедного животного повергало его в неизъяснимый ужас, словно то был страдальческий вопль человека. Лоран в полном смысле слова боялся Франсуа. А с тех пор как кот обосновался на коленях параличной, словно в неприступной крепости, откуда мог безнаказанно нацеливаться на недруга своими зелеными глазами, убийце Камилла стало мерещиться какое-то отдаленное сходство между злобствующим животным и параличной. Он был уверен, что кот,

как и г-жа Ракен, знает о преступлении, и если вдруг заговорит, то непременно выдаст его.

Как-то вечером Франсуа до того пристально уставился на своего врага, что Лоран, доведенный до последней степени раздражения, решил положить этому конец. Он распахнул окно столовой и схватил кота за шиворот. Г-жа Ракен поняла: две крупных слезы скатились по ее щекам. Кот заворчал, ощетинился и повернулся, чтобы укусить Лорана в руку. Но Лоран продолжал свое; он раза два-три размахнулся и изо всей силы вышвырнул своего недруга из окна. Франсуа ударился о черную стену, высившуюся напротив, и с переломанными ребрами рухнул на стеклянную крышу пассажа. До самого утра несчастное животное с перебитым позвоночником ползало вдоль желоба и хрипло мяукало. В ту ночь г-жа Ракен оплакивала Франсуа почти так же, как и Камилла. С Терезой случился тяжелый нервный припадок. Стенания кота, раздававшиеся в темноте, под окном, производили зловещее впечатление.

Вскоре у Лорана начались новые страхи. Его пугали явные перемены в поведении жены.

Тереза стала мрачной, молчаливой. Она перестала изливаться перед г-жой Ракен в изъявлениях раскаяния, перестала целовать ее. Она снова стала относиться к параличной с ледяной жестокостью и эгоистическим равнодушием. Можно было подумать, что, испробовав раскаяние, она разочаровалась в его благотворном действии и теперь обратилась к другому средству. Причина ее тоски крылась, конечно, в том, что ей не удавалось обрести покой. Она взирала теперь на параличную с каким-то презрением, как на бесполезную вещь, которая не может даже послужить утешением. Она стала ограничиваться только самым необходимым уходом за больной, чтобы та не умерла с голоду. Теперь она бродила по дому молчаливая, подавленная. Она стала чаще отлучаться, уходила куда-то по четыре-пять раз в неделю.

Эти перемены удивляли и тревожили Лорана. Он думал, что угрызения совести приняли у Терезы новую форму и теперь выражаются в беспросветной тоске. А тоска представлялась ему гораздо опаснее, чем отчаяние, которое изливалось у Терезы в беспрестанной болтовне, так досаждавшей ему. Теперь она молчала, не ссорилась с ним; по-видимому, она затаила чувства в глубине души. Лоран предпочитал бы, чтобы она говорила о своих страданиях; ему было неприятно видеть, что она вся ушла в себя. Он боялся, что настанет день, когда тоска вцепится ей в горло и Тереза, ища облегчения, отправится к священнику или следователю и все расскажет.

С тех пор частые отлучки Терезы приняли в его глазах стран-

ное значение. Он предполагал, что вне дома она ищет наперсника, что она готовится предать его. Дважды он отправлялся вслед за нею, но оба раза терял ее из виду. Он стал наблюдать за нею. Им овладела навязчивая мысль: Тереза, доведенная до крайности, все раскроет, надо воспрепятствовать ее признаниям, надо заткнуть ей рот.

XXXI

Однажды утром, вместо того чтобы отправиться к себе в мастерскую, Лоран зашел в винный погребок на углу улицы Генего, против пассажа. Отсюда он стал наблюдать за прохожими, идущими со стороны улицы Мазарини. Он подкарауливал Терезу. Накануне она сказала, что утром уйдет из дому и вернется только к вечеру.

Лоран ждал больше получаса. Он знал, что жена всегда идет по улице Мазарини, однако у него уже мелькнуло опасение — не отправилась ли она на этот раз по Сенской улице и, следовательно, не ускользнула ли от него. Он решил вернуться в пассаж и притаиться в проходе своего дома. Он уже стал терять терпение, как вдруг увидел Терезу; она поспешно вышла из пассажа. Она была во всем светлом, и тут он впервые заметил, что она одета так, как одеваются публичные женщины; на ней было платье с длинным шлейфом, она шла, соблазнительно покачиваясь, приглядывалась к мужчинам и при этом так высоко приподнимала спереди юбку, что открывала ноги, ботинки на шнурках и белые чулки. Она пошла по улице Мазарини. Лоран отправился вслед за ней.

Погода стояла теплая. Тереза шла медленно, слегка откинув голову; волосы спускались ей на спину. Мужчины, повстречавшись с ней, оборачивались, чтобы взглянуть на нее со спины. Она пошла по улице Медицинской академии. Лорана объял ужас, ибо он знал, что где-то поблизости находится полицейский участок; он подумал, что теперь уже никаких сомнений быть не может — жена идет, чтобы донести на него. Он решил, если только она ступит на порог участка, броситься на нее, умолять, бить, любой ценой заставить ее молчать. На перекрестке она взглянула на проходившего полицейского, и Лоран похолодел, вообразив, что она сейчас подойдет к нему; он спрятался в подъезде какого-то дома, будучи уверен, что стоит ему только показаться, и его тут же схватят. Эта погоня за женой была для него истинной пыткой; Тереза старалась привлечь к себе внимание прохожих, она красовалась на солнышке, волоча юбки, томная и бесстыжая, а он шел за ней по пятам, бледный и трепещущий, и твердил, что теперь все кончено, что спасенья нет, что его казнят. Каждый шаг Терезы

казался ему шагом к возмездию. Страх придавал его предположениям какую-то неоспоримую убедительность, малейшие движения Терезы подтверждали очевидность опасности. Он шел за нею следом, шел, куда шла она, как идут на плаху.

Дойдя до бывшей площади Сен-Мишель, Тереза вдруг направилась к кафе, помещавшемуся тогда на углу улицы Месье-ле-Пренс. Она села за столик на тротуаре; рядом расположилась компания женщин и студентов. Она фамильярно поздоровалась со всеми за руку. Потом заказала абсент.

Ей было здесь, по-видимому, хорошо; она разговаривала с белокурым юношей, который, должно быть, уже давно поджидал ее. Две проститутки склонились над ее столиком и заговорили с ней хриплыми голосами, обращаясь к ней на «ты». Кругом женщины курили, мужчины на виду у всех обнимали их, не стесняясь прохожих, которые не обращали на них внимания. До слуха Лорана, стоявшего в подворотне на другой стороне площади, доносилась брань и смачный хохот.

Допив абсент, Тереза встала, взяла белокурого юношу под руку и направилась с ним по улице Лагарпа. Лоран следовал за ними до улицы Сент-Андре-дез-Арк. Здесь они вошли в меблированные комнаты. Лоран остановился посреди мостовой, поднял голову и стал разглядывать дом. Жена его на мгновенье мелькнула в отворенном окне третьего этажа. Потом ему показалось, что он видит, как руки молодого человека скользят по талии Терезы. Окно с сухим шумом захлопнулось.

Лоран понял. Не дожидаясь дальнейшего, он медленно пошел обратно, успокоенный, счастливый.

«Что ж, это к лучшему,— думал он, направляясь к набережной.— Теперь у нее есть занятие, дурным мыслям конец... Она куда сообразительнее меня».

Особенно удивлялся он, что не ему первому пришла мысль окунуться в разврат. Разврат мог бы исцелить его от страхов. Он не подумал об этом потому, что плоть его отмерла и порок уже больше не привлекал его. Неверность жены ничуть его не задевала; при мысли, что она сейчас в объятиях другого мужчины, он не испытывал ни малейшего волнения. Наоборот, это казалось ему весьма забавным; он словно выследил жену приятеля и теперь потешался над тем, как ловко эта женщина проводит мужа. Тереза стала ему до того чуждой, что уже не занимала в его сердце никакого места; за какой-нибудь час покоя он уступил бы и продал ее хоть сто раз.

Он отправился бродить по городу, наслаждаясь внезапным благодатным переходом от ужаса к умиротворению. Он был почти благодарен жене за то, что она отправилась к любовнику в то вре-

мя, как он думал, что она идет к полицейскому комиссару. Приключение завершилось совершенно неожиданной развязкой, и это весьма приятно изумляло его. Ему стало ясно, что зря он трепетал и что ему тоже надо пуститься в разврат: может быть, это отвлечет его от мрачных мыслей и принесет облегчение.

Вечером, возвращаясь в лавку, Лоран решил, что попросит у жены несколько тысяч франков и приложит все старания, чтобы получить их. Он думал о том, как дорого обходится разврат мужчине, и немного завидовал женщинам, которые могут торговать собой. Тереза еще не вернулась, он стал терпеливо поджидать ее. Когда она пришла, он заговорил с ней нарочито ласковым тоном и не заикнулся об утренней слежке. Она была под хмельком; от ее кое-как застегнутого платья шел резкий запах вина и табачного дыма, которым бывают пропитаны кабачки. Она очень устала, лицо ее было все в белых пятнах, она пошатывалась, измученная за день, проведенный в постыдном занятии.

Обед проходил тихо. Тереза ничего не ела. За десертом Лоран положил локти на стол и без обиняков потребовал у нее пять тысяч франков.

— Не дам,— сухо ответила она.— Предоставь тебе волю, так мы окажемся на соломе... Разве ты не знаешь, в каком мы положении. Нам грозит нищета.

— Возможно,— возразил он спокойно.— Но мне все равно, мне нужны деньги.

— Не дам, сказала: не дам. Ты бросил должность, торговля совсем не идет, а на проценты с моего приданого нам не прожить. Мне каждый день приходится брать из основного капитала, чтобы кормить тебя и выдавать тебе сто франков в месяц, которые ты у меня выцарапал. Не получишь больше ни гроша, понял? И не проси.

— Не отказывай не подумавши. Говорю тебе — мне нужны пять тысяч франков, и я их получу. Все равно дашь.

Его спокойная настойчивость вывела Терезу из себя, хмель еще больше овладел ею.

— Понимаю,— закричала она,— ты хочешь кончить тем же, с чего начал... Уже четыре года мы содержим тебя. Ты явился сюда только для того, чтобы здесь есть и пить, и с тех пор живешь на наш счет. Он, видите ли, лодырничает, он прекрасно устроился, живет себе сложа руки, на моем попечении... Нет, не рассчитывай, не получишь ничего, ни гроша... Сказать тебе, кто ты такой? Ты...

И она сказала. Лоран пожал плечами и рассмеялся. Он только заметил:

— Хорошим же словечкам ты учишься там, где теперь проводишь время.

Это единственный намек, который он себе позволил насчет ее любовных похождений. Тереза резко вскинула голову и язвительно возразила:

— Во всяком случае, я не живу с убийцами.

Лоран побледнел. Он немного помолчал, пристально глядя на жену, потом дрожащим голосом сказал:

— Послушай, деточка, не будем сердиться, из этого ничего хорошего не получится ни для тебя, ни для меня. Терпение мое лопается. Нам разумнее было бы прийти к соглашению, если мы хотим избежать беды... Я прошу у тебя пять тысяч франков потому, что они мне необходимы; могу даже пояснить, что они нужны мне для того, чтобы обеспечить нам спокойную жизнь.

Он как-то странно улыбнулся и продолжал:

— Итак, подумай хорошенько и дай мне окончательный ответ.

— Все уже обдумано,— ответила Тереза,— я сказала: не получишь ни гроша.

Лоран в ярости вскочил. Она испугалась, что он побьет ее; она вся съежилась, но решила не уступать. Однако Лоран даже не подошел к ней; он только холодно сказал, что устал так жить и намерен рассказать об убийстве полицейскому комиссару их участка.

— Ты толкаешь меня на крайности,— сказал он,— ты делаешь жизнь невыносимой. Я предпочитаю покончить со всем этим... Нас отдадут под суд и осудят. Вот и все.

— Вздумал напугать меня? — закричала жена.— Я устала не меньше тебя. Я сама пойду к комиссару, если ты не пойдешь. Что ж, я готова последовать за тобою на плаху, я ведь не трусиха, как ты... Ну, идем со мной к комиссару.

Она встала, уже направилась к двери.

— Ладно,— пробормотал Лоран,— пойдем вместе.

Оказавшись внизу, в магазине, они в тревоге, в ужасе взглянули друг на друга. Их словно пригвоздили к полу. Нескольких секунд, потраченных на спуск по лестнице, оказалось достаточно, чтобы перед ними, словно при свете молнии, возникли неминуемые последствия признания. Им представились жандармы, тюрьма, суд присяжных, гильотина — все это встало перед ними внезапно и с поразительной ясностью. Сердце у них упало, им захотелось броситься друг другу в ноги и умолять не ходить в полицию, не доносить. Две-три минуты они простояли не двигаясь, скованные растерянностью и страхом. Тереза первая решилась заговорить и пойти на уступку.

— Впрочем, с моей стороны глупо отказывать тебе в деньгах,— сказала она.— Рано или поздно ты все равно их проешь. Лучше уж отдать их теперь же.

Она особенно и не пыталась скрыть свое поражение. Она села за конторку и выписала чек на пять тысяч, которые Лоран мог получить в банке. О полицейском комиссаре в тот вечер речи уже не было.

Как только в карманах у Лорана появилось золото, он стал пить, якшаться с уличными девками, повел шумную, разгульную жизнь. Он часто не ночевал дома, днем спал, по ночам кутил, гоняясь за сильными ощущениями и стараясь отвлечься от действительности. Но в результате ему становилось все хуже и хуже. Когда вокруг него стоял гам, он внимательнее прислушивался к страшному безмолвию, царившему в его душе; когда любовница целовала его, когда он осушал стакан вина, он вместо наслаждения испытывал гнетущую тоску. Похоть и чревоугодие уже не радовали его; от поцелуев и яств все существо его, остывшее и как бы окоченевшее, еще более обессиливало. Он был всем пресыщен, и ему уже не удавалось воспламенить воображение, возбудить аппетит и чувственность. Принуждая себя к разврату, он несколько обострял свои страдания — вот и все. А когда он возвращался домой, когда снова видел г-жу Ракен и Терезу, он от усталости поддавался чудовищным приступам страха; тогда он давал себе зарок больше не уходить из дому, а погрузиться в страдание, чтобы свыкнуться с ним и одолеть его.

Тереза тоже стала отлучаться все реже и реже. В течение месяца она, как и Лоран, проводила жизнь на улицах и в кабачках. Вечером она ненадолго забегала домой, кормила г-жу Ракен, укладывала ее и снова уходила до следующего дня. Однажды супруги не виделись четверо суток. Потом Терезой овладело глубокое отвращение, она почувствовала, что разврат не удается ей так же, как не удалась и комедия раскаяния. Тщетно таскалась она по всем меблированным комнатам Латинского квартала, тщетно окуналась в шумную и грязную жизнь. Нервы ее были вконец расстроены; разгул, физические наслаждения уже не вызывали в ней тех встрясок, которые могли бы дать ей забвение. Она уподобилась пьянице, у которого глотка настолько обожжена, что стала нечувствительной даже к самым крепким напиткам. Похоть оставляла ее безучастной, любовники вызывали у нее только скуку и изнеможение. И она рассталась с ними, поняв, что они ей бесполезны. На нее напала такая отчаянная лень, что она не выходила из дому и с утра до ночи слонялась нечесаная, неумытая, с грязными руками, в неопрятной нижней юбке. Она погрязла в неряшестве.

Когда убийцы оказались снова лицом к лицу, измученные,

исчерпавшие все средства спастись друг от друга, они поняли, что у них нет больше сил бороться. Разгул не принял их в свое лоно и сбросил в пучину страданий. Они оказались всё в той же темной, сырой квартире; отныне они были как бы заключены в ней, ибо, сколько ни искали они спасения, им не удавалось расторгнуть кровавые узы, которые связывали их. Теперь они даже и не помышляли о борьбе, сознавая, что она невозможна. Им стало ясно, что факты так властно влекут их за собою, так подавляют, так связывают их вместе, что какое-либо сопротивление просто нелепо. Они опять зажили совместной жизнью, но теперь ненависть их превратилась в какое-то бешенство.

По вечерам снова начались ссоры. Впрочем, побои и крики не прекращались в течение всего дня. К ненависти присоединилось недоверие, и это окончательно свело их с ума.

Они стали бояться друг друга. Сцена, последовавшая за требованием пяти тысяч франков, вскоре стала повторяться и утром и вечером. У обоих появилась навязчивая мысль, что другой собирается выдать его. Они только об этом и думали. Стоило одному сказать что-нибудь, сделать какой-либо жест, как другому казалось, что он собирается к полицейскому комиссару. Тогда они начинали драться или заклинать друг друга. В припадке ярости они кричали, что сейчас все разоблачат, они до смерти пугали себя этим; потом они начинали дрожать, унижались друг перед другом, клялись, заливаясь горькими слезами, что будут хранить молчание. Они страдали неимоверно, но не находили в себе мужества приложить к ране раскаленное железо, чтобы исцелиться. Когда они грозились признаться в преступлении, ими руководило только желание напугать друг друга и отделаться от этой мысли; на самом же деле у них никогда не хватило бы сил покаяться и искать душевного мира в заслуженной каре.

Раз двадцать они уже подходили вместе к двери полицейского участка. То Лоран хотел признаться в убийстве, то собиралась отдать себя в руки правосудия Тереза. Но каждый раз они выбегали на улицу вдогонку друг за другом и каждый раз, после взаимных оскорблений, сменявшихся страстной мольбой, решали еще немного подождать.

После каждого такого припадка они становились еще подозрительнее и угрюмее.

Они с утра до ночи следили друг за другом. Лоран совсем перестал выходить из квартиры, а Тереза и не пустила бы его одного. Подозрения, боязнь разоблачений создали между ними какую-то жестокую близость. Никогда еще, со дня свадьбы, не были они так тесно связаны друг с другом и никогда еще так не страдали. Но какие бы муки они ни причиняли друг другу, они не сво-

дили глаз один с другого и предпочитали терпеть самую жестокую пытку, чем расстаться хотя бы на час. Если Тереза спускалась в лавку, Лоран следовал за ней, боясь, как бы она не рассказала чего-нибудь покупательнице; если Лоран становился на порог, наблюдая за прохожими, Тереза становилась рядом с ним, чтобы проверить, не говорит ли он с кем-нибудь. По четвергам, при гостях, убийцы устремляли друг на друга умоляющие взгляды, каждый из них со страхом прислушивался к тому, что говорит другой; им казалось, что сообщник вот-вот сознается, и любой начатой фразе они уже готовы были придать особый смысл.

Эта война не могла долго продолжаться.

И Тереза и Лоран, каждый сам по себе, дошли до мысли, что только новое преступление избавит их от последствий первого. Чтобы обрести некоторый покой, у них оставалось одно только средство: кому-нибудь из них надо было исчезнуть. Эта мысль явилась у них одновременно; оба они почувствовали настойчивую необходимость разлуки, оба хотели разлуки вечной. Убийство, представшее в их воображении, казалось им вполне естественным, неотвратимым; оно было само собою разумеющимся следствием убийства Камилла. Они даже не задумывались над этим; убийство сообщника казалось им единственным средством спасения. Лоран решил, что убьет Терезу, потому что Тереза мешает ему, причиняет нестерпимые страдания и может единым словом погубить его. Те же соображения привели и Терезу к мысли убить Лорана.

Твердо приняв решение об убийстве, они немного успокоились. Они занялись его подготовкой. Впрочем, оба они действовали в каком-то бреду, без особых предосторожностей; вероятные последствия убийства не слишком их беспокоили, хотя ни побега, ни безнаказанности они себе не обеспечили. Они испытывали необоримую потребность убить друг друга и подчинялись этой потребности, как разъяренные звери. Они не хотели признаться в своем первом преступлении и очень ловко замели его следы, а теперь готовы были рисковать головой, совершая новое убийство, которое даже не помышляли скрыть. Тут было вопиющее противоречие в поведении, но они даже не замечали его. Они просто решили, если удастся, бежать за границу, захватив с собою все деньги. Вот уже две недели, как Тереза взяла из банка те несколько тысяч франков, которые оставались от ее приданого, и держала их под замком в комоде; Лорану это было известно. О том, что станется с г-жой Ракен, они ни на минуту не задумывались.

Незадолго до этого Лоран встретился со своим школьным товарищем, который служил препаратором у известного химика, занимающегося вопросами токсикологии. Этот товарищ пригласил Лорана к себе в лабораторию, показал ему аппаратуру, рассказал

о разных ядовитых веществах. Однажды вечером, уже после того как Лоран окончательно решился на убийство, Тереза сидела перед ним за столом и пила подслащенную воду; тут Лоран вспомнил, что видел в лаборатории глиняный пузырек с цианистым калием. Ему припомнилось и то, что сказал препаратор о страшной силе этого яда, который действует молниеносно, почти не оставляя следов,— и Лоран подумал, что именно такой-то ему и нужен. На другой день ему удалось ускользнуть из дому; он зашел проведать приятеля и, когда тот отвернулся, выкрал глиняный пузырек.

В тот же день Тереза, воспользовавшись отсутствием Лорана, отточила большой кухонный нож, которым пользовались для колки сахара; он был весь зазубрен. Она спрятала нож в дальний угол буфета.

XXXII

В следующий четверг вечер у Ракенов — так гости по-прежнему звали своих друзей — прошел особенно весело. Засиделись до половины двенадцатого. Гриве, уходя, заметил, что никогда еще не проводил время столь приятно.

Сюзанна, ожидавшая прибавления семейства, без конца рассказывала Терезе о своих радостях и огорчениях; Тереза, казалось, слушала ее с большим интересом; глаза ее были устремлены в одну точку, губы поджаты, голова временами склонялась вниз; веки, закрываясь, бросали тень на все лицо. Лоран тоже с неослабным вниманием слушал рассказы старика Мишо и Оливье. Они болтали без умолку, и Гриве с трудом удавалось вставить словечко в их россказни. Впрочем, он относился и к отцу и к сыну с явным уважением; он считал, что они превосходные рассказчики. В тот вечер беседа заменила игру, и Гриве простодушно воскликнул, что рассказы бывшего полицейского комиссара почти так же увлекательны, как партия в домино.

За все четыре года, что Гриве и семейство Мишо проводили по четвергам вечер у Ракенов, им ни разу не прискучили эти однообразные собрания, повторявшиеся с удручающей регулярностью. Ни на единый миг не возникло у них подозрения о драме, которая разыгрывалась в этом доме, с виду столь мирном и приветливом. Оливье не раз замечал, в порядке полицейской шутки, что в столовой Ракенов пахнет честностью. Гриве, чтобы не отстать, назвал ее «святилищем мира». За последнее время Терезе два-три раза пришлось объяснять гостям происхождение синяков, которые были у нее на лице; она говорила, что упала и расшиблась. Да никому из друзей и в голову бы не пришло, что это следы от кулака Лорана; они были убеждены, что их хозяева — примерная семья, в которой царят любовь и ласка.

Параличная больше уже не пыталась разоблачить страшную истину, скрытую за унылой безмятежностью четверговых собраний. Наблюдая терзания убийц, предчувствуя взрыв, который рано или поздно должен произойти, как результат неизбежного развития фактов, она в конце концов поняла, что события не нуждаются в ее вмешательстве. С тех пор она совсем стушевалась, она предоставила действовать последствиям убийства Камилла, которые в свою очередь должны были убить преступников. Она только молила небо продлить ее дни, чтобы стать свидетельницей ужасной развязки, которую она предвидела; заветным ее желанием было утолить взор зрелищем последних мук, которые сломят Терезу и Лорана.

В тот вечер Гриве подсел к старухе и долго беседовал с ней, по обыкновению сам и спрашивая и отвечая на вопросы. Но ему не удалось добиться от нее хотя бы взгляда. Когда пробило половину двенадцатого, гости засуетились.

— У вас так уютно, что не хочется уходить,— признался Гриве.

— Достаточно сказать,— подтвердил Мишо,— что мне здесь никогда не хочется спать, а дома я обычно ложусь в девять.

Оливье счел уместным ввернуть шуточку.

— Дело в том,— воскликнул он, обнажая желтые зубы,— что тут пахнет честностью; поэтому-то здесь так и хорошо.

Гриве стало досадно, что его опередили, и он с напыщенным жестом провозгласил:

— Эта компатка — «святилище мира».

Тем временем Сюзанна, завязывая ленты шляпки, сказала Терезе:

— Завтра я приду в девять.

— Нет, приходите не раньше двенадцати,— поспешила ответить Тереза.— Утром меня не будет дома.

Голос у нее был странный, глухой. Она проводила гостей до коридора. Лоран тоже спустился с лампой в руках. Оставшись одни, супруги с облегчением вздохнули,— видимо, весь вечер их снедало глухое нетерпение. Со вчерашнего дня они стали еще мрачнее, с глазу на глаз они чувствовали себя еще тревожнее. Стараясь не смотреть друг на друга, они молча поднялись наверх. Руки их слегка подергивались, и Лорану пришлось поскорее поставить лампу на стол, чтобы не выронить ее.

Перед тем как уложить г-жу Ракен, они обычно приводили в порядок столовую, готовили себе стакан подслащенной воды на ночь и сновали вокруг параличной, пока все не было готово.

В тот вечер, поднявшись наверх, они присели к столу; взгляд у них был рассеянный, губы побелели. Помолчав с минуту, Лоран спросил, как бы внезапно очнувшись от сна:

— Так что ж? Ложиться не будем?

— Ложимся, ложимся,— отвечала Тереза, вздрогнув, словно от озноба.

Она встала и взяла графин.

— Оставь! — вскричал Лоран, стараясь придать голосу обычную интонацию.— Я сам приготовлю воду... Займись теткой.

Он взял у Терезы графин и налил воды в стакан. Потом, чуть отвернувшись, вылил в него содержимое глиняного пузырька и добавил кусок сахара. Тем временем Тереза нагнулась над ящиком буфета; она вынула оттуда нож и стала прятать его в широкий карман фартука.

В этот миг, под влиянием того странного чувства, которое предупреждает нас о надвигающейся опасности, супруги инстинктивным движением повернули головы. Они посмотрели друг на друга. Тереза увидела в руках Лорана пузырек, а Лоран заметил нож, сверкнувший в складках ее юбки. Так, безмолвные и холодные, они несколько мгновений взирали друг на друга, муж — стоя возле стола, жена — склонившись у буфета. Они все поняли. Каждый из них замер, обнаружив у сообщника свою же собственную мысль. Читая по растерянному лицу другого свои тайные намерения, они почувствовали взаимную жалость и отвращение.

Госпожа Ракен, понимавшая, что развязка близка, наблюдала за ними пристальным, острым взглядом.

И вдруг Тереза и Лоран разразились рыданиями. Сильнейший припадок подорвал их силы и бросил, слабых, как дети, в объятия друг другу. Им казалось, будто нечто ласковое и умильное пробуждается у них в груди. Они плакали молча, думая о грязной жизни, которую они вели и которая ждет их в будущем, если у них достанет подлости и трусости, чтобы жить. Вспоминая прошлое, они почувствовали такую усталость и такое отвращение к самим себе, что им страстно захотелось покоя, небытия. При виде ножа и стакана с отравой они обменялись последним благодарным взглядом. Тереза взяла стакан, выпила половину и протянула Лорану; тот осушил его до дна. Это произошло мгновенно. Сраженные, они рухнули друг на друга, обретя утешение в смерти. Губы молодой женщины коснулись шеи мужа — того места, где остался шрам от зубов Камилла.

Трупы пролежали всю ночь на полу столовой, у ног г-жи Ракен, скрюченные, безобразные, освещенные желтоватыми отсветами лампы. Почти двенадцать часов, вплоть до полудня, г-жа Ракен, неподвижная и немая, смотрела на них, уничтожая их своим тяжелым взглядом, и никак не могла насытиться этим зрелищем.

ЖЕРМИНАЛЬ

ПЕРЕВОД Н. НЕМЧИНОВОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В непроглядной тьме беззвездной ночи по большаку, проложенному из Маршьена в Монсу и на протяжении десяти километров рассекавшему свекловичные поля, шел одинокий путник. Впереди ничего не было видно, даже земли, но он чувствовал, что вокруг плоская равнина,— холодный мартовский ветер гулял тут на приволье, налетая порывами, словно шквал в морских просторах, проносясь над болотами и голой низиной. Ни единого деревца не вырисовывалось в небе; в сыром и холодном мраке дорога пролегла ровная, прямая, как стрела.

Путник отправился из Маршьена в третьем часу, шел широким шагом, дрожа от стужи в вытертой своей ватной куртке и плисовых штанах. Ему очень мешал узелок с пожитками, завязанными в клетчатый платок, и он все прижимал локтем этот узелок то к левому, то к правому боку, пытаясь поглубже засунуть в карманы озябшие красные руки, до крови потрескавшиеся на ветру. У этого человека не было ни работы, ни пристанища, и сейчас в усталой голове почти не было мыслей — только надежда на то, что с восходом солнца чуть потеплеет. Он шел уже час,— до Монсу оставалось километра два,— и вдруг, слева от дороги, увидел три красных огня, горевших под открытым небом, словно три костра, но как будто повисших в воздухе. Путник заколебался, стало страшно идти туда, но он не мог воспротивиться мучительному желанию хоть минутку погреться у огня.

Дорога теперь тянулась в глубокой выемке, огни исчезли. Справа поднимался забор из нетесаных досок, огораживавший полотно железной дороги, а слева над откосом, поросшим травой, смутно виднелись коньки низких кровель и едва угадывались однообразные очертания деревенских домишек. Путник прошел

шагов двести. На повороте дороги снова появились огни, но он все не мог понять, почему они горят так высоко в беззвездном небе, будто три чадные луны. А внизу открывалось другое зрелище, заставившее его остановиться. Там чернело громоздкое скопище приземистых строений, над ними вздымалась высокая фабричная труба; кое-где в немытых окнах тускло светились огоньки; снаружи подвешены были к черным балкам пять-шесть тусклых фонарей, обрисовывавших какую-то вышку, похожую на исполинские козлы; и из этих фантастических сооружений, затянутых мраком и дымом, доносился лишь один звук: с протяжным громким шумом откуда-то вырывался невидимый в темноте пар.

Тогда путник понял, что перед ним угольные копи. И ему стало досадно. Зачем он сюда пришел? Работы ведь не дадут. И он не направился к строениям, а решился наконец взобраться на терриkон, где в трех чугунных сквозных жаровнях горел каменный уголь, освещая место работы и согревая людей. Должно быть, ремонтные работы в шахте вели до глубокой ночи: на-гора̀ все еще подавали пустую породу. Теперь путник слышал, как грохотали по мосткам колеса, различал фигуры рабочих, опрокидывавших вагонетки у каждой жаровни.

— Здорòво! — сказал он, подходя к одной из жаровен.

Спиной к огню стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке, в картузе из кроличьего меха. Большая буланая лошадь остановилась как вкопанная и ждала, когда опорожнят шесть вагонеток, которые она привезла. Рабочий, приставленный к разгрузочному механизму, рыжий тощий малый, не торопясь, с сонным видом нажимал рычаг. А на гребне терриkона все сильнее задувал холодный северный ветер, резавший лицо, едва не сбивавший с ног.

— Здоро́во! — ответил старик.

Наступило молчание. Чувствуя, что на него смотрят с подозрением, прохожий тотчас назвал себя:

— Меня зовут Этьен Лантье, я механик... Не найдется ли здесь работы?

Пламя ярко освещало его. На вид ему было не больше двадцати одного года; очень смуглый, красивый парень, худощавый, но, должно быть, сильный.

Успокоившись, возчик покачал головой.

— Работы для механика здесь не найдется. Нет... Вчера опять двое приходили. Нет ничего.

Порыв ветра прервал его речь. Когда утихло, Этьен спросил, указывая на темное скопище построек у подножия терриkона:

— Это шахта, да?

Старик не мог ответить: он зашелся кашлем. Наконец сплюнул, и на земле, багровой в отсветах огня, осталось черное пятно.

— Правильно — Ворейская шахта. А вон там рабочий поселок, совсем близко, можно сказать, рядом.

И, в свою очередь, протянул руку, указывая на селение, крышу которого Этьен Лантье еще дорогой смутно различил в темноте. Тем временем все шесть вагонеток были опорожнены, и старик, даже не щелкнув кнутом, отправился обратно, вслед за своим поездом, с трудом переступая негнущимися от ревматизма ногами; буланая лошадь трусила между рельсами, налегая на постромки, и ветер ерошил на ней шерсть.

Шахта постепенно выплывала из темноты. Забывшись у костра, Этьен грел иззябшие руки, все в кровоточащих трещинках, и рассматривал надшахтные постройки: большой, крытый толем сарай сортировочной, копер над стволом шахты, обширное помещение для машины, четырехугольную башенку, где установлен был паровой насос для откачки воды. Шахта, сгрудившая в лощине свои приземистые кирпичные строения, вздымавшая высокую трубу, словно грозный рог, казалась ему каким-то злобным ненасытным зверем, который залег тут, готовый пожрать весь мир. Всматриваясь в него, он думал о самом себе, о своих скитаниях: вот уже неделя, как он бродяжничает, тщетно ищет работы. Вспоминалось, как он работал в железнодорожных мастерских, как дал пощечину начальнику, как его выгнали за это из мастерских, выслали из Лилля, а теперь гонят отовсюду; в субботу пришел в Маршьен — говорили, что там есть работа на железоделательном заводе; но, оказалось, ничего нет — ни там, ни в Сонвиле; воскресенье пришлось провести под навесом тележной мастерской, прячась между штабелями досок: в два часа ночи сторож его прогнал. И вот нет ничего, ни единого су, даже сухой корки хлеба нет. Как же теперь быть? Зачем без толку скитаться по дорогам, даже не зная, где укрыться от ледяного ветра? А это действительно шахта; редкие фонари освещали площадку, где сваливали уголь; внезапно распахнулась дверь, и за нею, при ярком свете, он увидел огненные топки паровых котлов. Теперь ему стало понятно, откуда раздавались странные звуки: с равномерным непрестанным пыхтеньем в шахте работал насос, и казалось, что это дышит притаившееся во тьме чудовище, дышит надсадно, хрипло, с долгими всхлипываниями, словно у него заложило грудь.

Чернорабочий, ссутулясь, сидел у разгрузочного механизма, ни разу не подняв глаз на Этьена, и тот уже собирался уйти, подобрав свой узелок, упавший на землю, как вдруг послышался затяжной кашель — возвращался возчик. Постепенно из мрака вы-

росла его фигура, за ним брела буланая лошадь, тащившая шесть груженых вагонеток.

— В Монсу есть фабрики? — спросил прохожий.

Старик сплюнул черным и ответил под завыванье ветра:

— В Монсу? Еще бы! Сколько их там! Поглядел бы ты года три-четыре назад. Все так и кипело, не хватало рабочих. Зарабатывали хорошо! Сроду таких заработков не бывало... А теперь вот опять брюхо подводит с голоду. Смотреть жалко, что кругом делается! Увольняют всех подряд, мастерские одна за другой закрываются... Император, может, и не виноват... Да зачем он ввязался в войну в Америке? А к тому же холера людей косит, да и скот тоже мрет.

Тогда и прохожий начал жаловаться, вторя старику короткими фразами, потому что от ветра перехватило дыханье. Он рассказал о своих бесплодных поисках работы, о скитаниях, длившихся уже неделю. Так что же теперь, с голоду, что ли, подыхать? Скоро на дорогах полно будет нищих. Да, соглашался старик, дело может плохо кончиться: это ведь не по-божески выбрасывать столько народу на улицу.

— Мяса и в глаза не видим.

— Да хоть бы хлеб был!

— Вот именно, хоть бы хлеб!

Голоса их заглушал ветер, уносивший с унылым свистом обрывки фраз.

— Погляди! — выкрикнул возчик, поворачиваясь к югу.— Вон там Монсу...

И, вновь протянув руку, он указывал на невидимые в темноте селения, перечисляя их одно за другим. В Монсу сахарный завод Фовеля еще работает, но на другом сахарном заводе — у Готона — часть рабочих уволили. Только паровая мельница Дютилейля да завод Блеза, где изготовляют канаты для рудников, устояли. Затем старик повернулся к северу и широким жестом обвел полгоризонта: в Сонвиле машиностроительные мастерские не получили двух третей обычных заказов; в Маршьене из трех домен зажгли только две; на стекольном заводе Гажбуа того и гляди рабочие забастуют, потому что им хотят снизить заработную плату.

— Знаю, знаю,— повторял прохожий, выслушивая эти сведения.— Я уже был там.

— У нас тут пока еще держатся,— добавил возчик.— Но все ж таки на шахте дóбычу уменьшили. А вот глядите, прямо перед вами — Виктуар, там только две коксовые батареи горят.

Он сплюнул, перепряг свою сонную лошадь к поезду пустых вагонеток и зашагал позади них.

«Тереза Ракен».

Этьен пристально смотрел вокруг. По-прежнему все тонуло во мраке, но рука старика возчика словно наполнила тьму великими скорбями обездоленных, и молодой путник безотчетно их чувствовал,— они были повсюду в этой беспредельной шири. Уж не стоны ли голодных разносит мартовский ветер по этой голой равнине? Как он разбушевался! Как злобно воет, словно грозит, что скоро всему конец: не будет работы, и наступит голод, и много-много людей умрет! Этьен все смотрел, стараясь пронизать взглядом темноту, хотел и боялся увидеть, что̀ в ней таится. Все скрывала черная завеса ночи, лишь вдалеке брезжили отсветы над доменными печами и коксовыми батареями. Коксовые подняли вверх чуть наискось десятки своих труб, и над ними блещут красные языки пламени, а две башни доменных печей бросают в небо голубое пламя, словно гигантские факелы. В ту сторону жутко было смотреть,— там как будто полыхало зарево пожара; в небе не было ни единой звезды, лишь эти ночные огни горели на мрачном горизонте — как символ края каменного угля и железной руды.

— Вы, может, из Бельгии? — послышался за спиной Этьена голос возчика, успевшего сделать еще один рейс.

На этот раз он пригнал только три вагонетки. Надо разгрузить хоть эти три: случилось повреждение в клети, подающей уголь на-гора̀,— сломалась какая-то гайка; работа остановилась на четверть часа, если не больше. У подножия терриконa стало тихо, смолк долгий грохот колес, сотрясавший мост. Слышался только отдаленный стук молота, ударявшего о железо.

— Нет, я с юга,— ответил Этьен.

Рабочий опорожнил вагонетки и сел на землю, радуясь нежданному отдыху; он по-прежнему угрюмо молчал и только вскипул на возчика тусклые выпуклые глаза, словно досадуя на его словоохотливость. Возчик обычно был неразговорчив. Должно быть, незнакомец чем-то ему понравился, и на него нашло желание излить душу,— ведь недаром старики зачастую говорят вслух сами с собой.

— А я из Монсу,— сказал он.— Звать меня Бессмертный.

— Это что ж, прозвище? — удивленно спросил Этьен.

Старик захихикал с довольным видом и, указывая на шахту, ответил:

— Да, да, прозвали так. Меня три раза вытаскивали оттуда еле живого. Один раз обгорел я, в другой раз — землей засыпало при обвале, а в третий — наглотался воды, брюхо раздуло, как у лягушки... И вот как увидели, что я не согласен помирать, меня и прозвали в шутку «Бессмертный».

И он засмеялся еще веселее, но его смех, напоминавший

скрип немазаного колеса, перешел в сильнейший приступ кашля. Языки пламени, вырывавшиеся из жаровни, ярко освещали его большую голову с редкими седыми волосами, его бледное, круглое лицо, испещренное синеватыми пятнами. У этого низкорослого человека была непомерно широкая шея, кривые ноги, выпяченные икры и такие длинные руки, что узловатые кисти доходили до колен. А вдобавок он, как и его лошадь, которая спала стоя, как будто не чувствуя северного ветра, тоже был словно каменный и, казалось, не замечал ни холода, ни порывов ветра, свистевшего ему в уши. Когда приступ кашля, раздиравшего ему горло и грудь, кончился, он сплюнул на землю около огня, и на ней осталось черное пятно.

Этьен посмотрел на старика, посмотрел на землю, испещренную черными плевками.

— В копях давно работаете? — спросил он.

Бессмертный развел руками:

— Давно ли? Да с измальства — восьми лет еще не было, как спустился в шахту,— вот как раз в эту самую, в Ворейскую, а сейчас мне пятьдесят восемь. Ну-ка сосчитайте... Всем перебывал: сперва коногоном, потом откатчиком — когда сил прибавилось, а потом стал забойщиком, восемнадцать лет рубал уголек. Да вот обезножел я, ревматизм одолел, и из-за него, проклятого, меня перевели из забойщиков в ремонтные рабочие, а потом пришлось поднять меня на-гора, а то доктор сказал, что я под землей так навеки и останусь. Ну вот, пять лет назад меня поставили возчиком. Что? Здорово все-таки! Пятьдесят лет на шахте, а из них — сорок пять под землей.

Пока он рассказывал, горящие куски угля, то и дело падавшие из жаровни, багровыми отблесками освещали его бледное лицо.

— Теперь они мне говорят: на покой пора,— продолжал он.— А я не хочу. Нашли тоже дурака!.. Еще два годика протяну — до шестидесяти, значит,— и буду тогда получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если сейчас с ними распрощаюсь, они дадут только сто пятьдесят. Ловкачи! И чего гонят? Я еще крепкий, только вот ноги сдали. А все, знаешь ли, из-за воды. Вода меня в забоях поливала восемнадцать лет,— ну и взошла под кожу. Иной день, чуть пошевельнешься, криком кричишь.

И он опять закашлялся.

— Кашель тоже от этого? — спросил Этьен.

Но старик вместо ответа энергично мотал головой. А когда отдышался, сказал:

— Нет. В прошлом месяце простудился. Раньше-то никогда

кашля не бывало, а тут, гляди-ка, привязался, никак от него не отвяжешься. И вот чудное дело: харкаю, харкаю...

В горле у него заклокотало, и он опять сплюнул черным.

— Это что же, кровь? — осмелился наконец спросить Этьен.

Бессмертный не спеша вытер рот рукавом.

— Да нет, уголь... В нутро у меня столько угля набилось, что хватит на топку до конца жизни. А ведь уже пять лет под землей не работаю. Стало быть, раньше припас уголька, а сам про то ничего и не знал. Не беда, с углем крепче буду.

Наступило молчание. Вдали раздавались равномерные удары молота в шахте. На равнине жалобно завывал ветер, и казалось, в беспросветном мраке кто-то стонет от голода и усталости. В жаровне испуганно металось пламя, и старик, стоя возле него, негромко заговорил, вспоминая прошлое. Ну понятно, не со вчерашнего дня он сам и его близкие жилы из себя тут вытягивали. В их роду все работали на Компанию угольных копей в Монсу со дня ее основания, а она ведь существует уже сто шесть лет. Его дед, Гильом Маэ, пятнадцатилетним парнишкой нашел в Рекильяре жирный уголь, там-то Компания и заложила свою первую, теперь уже заброшенную шахту — неподалеку от сахарного завода Фовеля. Всему краю известно, кто открыл этот пласт,— недаром же его назвали Гильомов пласт — по имени деда. Возчик не знал этого деда,— говорят, был рослый, сильный человек, умер своей смертью в шестьдесят лет. Отец, Никола Маэ, по прозвищу Рыжий, до сорока лет не дожил, погиб при проходке Ворейской шахты — произошел обвал, и отца прямо в лепешку сплюснуло; раздробила земля его кости, вынила кровь. Двое из его дядьев и три брата тоже там головы сложили. А сам он, Венсен Маэ, вышел оттуда цел и почти невредим,— только ноги плохо ходят. Не зря его считают счастливчиком. Так оно и шло. Что поделаешь,— надо кормиться, вот и работали в копях, добывали уголь. И отцы и дети — все углекопы. Теперь его сын, Туссен Маэ, и все внуки, и вся родня надрываются. А живут все вон там, в рабочем поселке. Сто шесть лет рубят уголь; после стариков — ребятишки идут, и все работают на одного хозяина. Каково, а? Многие ли господа могут так вот, начистоту, рассказать о прошлом своего рода?

— Да, вот кабы хлеб всегда был! — опять пробормотал Этьен.

— А я что говорю? Пока хлеб есть, жить можно.

Бессмертный умолк и устремил взгляд на поселок, где уже зажигались огоньки. На колокольне в Монсу пробило четыре часа. Холод усилился.

— А богатая она, ваша Компания? — опять заговорил Этьен.

Старик вздернул плечи, потом сгорбился, словно на него обрушились мешки золота.

— Уж это да! Может, и не такая богатая, как соседняя, Анзенская компания, но ворочает миллионами, право слово, миллионами. Деньгам счету нет... Девятнадцать шахт, из них в тринадцати идет работа: Воре́, Виктуар, Кревкер, Миру, Сен-Тома, Мадлен, Фетри-Кантель и еще другие. Да шесть стволов для откачки и вентиляции. К примеру, Рекильяр... Десять тысяч рабочих. Разработки идут на землях шестидесяти семи коммун. Угля добывают по пяти тысяч тонн в сутки. Все шахты железная дорога соединяет. Да еще у Компании мастерские всякие, фабрики... Уж это да! Уж это да! Денег у нее уйма!

Послышался грохот вагонеток, прокатившихся по настилу, костлявая буланая лошадь насторожила уши. Клеть внизу, как видно, исправили и снова стали подавать на-гора́ пустую породу. Собираясь двинуться в обратный путь, возчик перепрягал лошадь и ласково приговаривал:

— Смотри, лодырь ты этакий, не приучайся болтать. Влетит тебе, если господин Энбо узнает, на что ты время тратишь!

Вглядываясь в темноту, Этьен задумчиво сказал:

— Так это чья шахта? Господина Энбо?

— Нет, господин Энбо только директор,— объяснил старик.— За плату работает, как и мы.

Нервным жестом Этьен указал на беспредельную темную ширь.

— А чье же это все? Кто тут хозяева?

На возчика в эту минуту напал такой кашель, что он не мог перевести дыхание. Наконец он сплюнул, вытер с губ черную пену и громко сказал, стараясь заглушить усилившийся вой ветра:

— Что говорите? Кто тут хозяева?.. А кто его знает. Люди.

Он протянул руку, словно указывал на некое неведомое и далекое место, где пребывают эти люди, на благо которых уже более столетия вытягивали из себя жилы многие поколения бедняков Маэ. В голосе старика слышался благоговейный страх, будто он говорил о каком-то неприступном святилище, где восседает, поджав под себя ноги, тучное божество, которому углекопы приносили в жертву свою плоть и кровь, но никогда его не видели.

— Хоть бы уж хлеба-то вдоволь было,— в третий раз сказал Этьен, без всякой видимой связи с предыдущим.

— Еще бы! С хлебом и тужить нечего!

Лошадь тронулась; за нею двинулся разбитой походкой возчик, волоча больные ноги. Около рычага для опрокидывания вагонеток, весь съежившись, неподвижно сидел рабочий, уткнув-

шись подбородком в колени и уставив куда-то в пустоту тусклые выпуклые глаза.

Этьен подобрал узелок с пожитками, но все не уходил. Спина у него мерзла от холодного ветра, а грудь жгло у жаркого огня. А что, если все-таки сходить на шахту, попытать счастья? Откуда старику все знать? Попроситься хоть на черную работу. Теперь уж нечего разбирать. А то куда пойдешь? Ведь в здешних местах нет у людей работы, и все голодают. Сдохнешь где-нибудь под забором, как бездомный пес. И все же его брало сомнение, страшила эта Ворейская шахта, расположившаяся посреди голой низины, утопавшая во тьме. А ледяной ветер все не стихал,— наоборот, как будто усиливался с каждым порывом, словно неся из беспредельных просторов. Ни малейшего проблеска зари в мертвом небе, только языки пламени над домнами и огни коксовых батарей окрашивали тьму, не освещая того, что таилось в ней. А шахта, распластавшаяся в ложбине, как хищный зверь, припала к земле, и слышалось только ее тяжелое, протяжное сопенье: зверь сожрал так много человеческого мяса, что ему трудно было дышать.

II

Среди пашен и свекловичных полей в густом мраке спал рабочий поселок Двести Сорок. Смутно можно было различить четыре огромных квартала; дома выстроились по обеим сторонам трех параллельных улиц, ровными рядами, как больничные корпуса или солдатские казармы, и отделены были друг от друга одинаковыми садиками. В ночной тишине на этом пустынном плато слышались только жалобные завывания ветра, прорывавшегося сквозь сломанные решетчатые изгороди.

У Маэ,— во втором квартале, в доме № 16,— никто еще не шевелился. В единственной комнате второго этажа стояла темнота, такая черная, плотная темнота, что она казалась жесткой, придавившей спящих своей тяжестью, а чувствовалось, что их много, что сон скосил их, сломленных усталостью, и они спят вповалку, с раскрытым ртом. Воздух был спертый; несмотря на холодную ночь, в комнате, пагретой дыханием людей, было тепло, но душно, как это бывает под утро даже в самых опрятных дортуарах, где тоже застаиваются запахи скученных человеческих тел.

Внизу, на первом этаже, часы с кукушкой пробили четыре. В спальне никто не шелохнулся, слышались тихое посапывание да звучный храп в два голоса. И вдруг вскочила Катрин. По привычке она сквозь сон сосчитала четыре звонких удара, донесших-

ся снизу, однако сразу проснуться была не в силах. Наконец, отбросив одеяло, она свесила с кровати ноги, потом нащупала спички и, чиркнув одной, зажгла свечу. Но встать она все не могла — непреодолимо тянуло снова на подушку, и голова, словно свинцом налитая, запрокидывалась назад.

Свеча озаряла только часть спальни, квадратной комнаты в два окна, заставленной тремя кроватями. Кроме кроватей, тут был еще шкаф, стол и два старых стула орехового дерева, темными пятнами выделявшихся на фоне светло-желтых стен. Вот и вся обстановка. На гвоздях висела старая одежда; для кувшина с водой и глиняной миски, служившей тазом для умывания, место нашлось только на полу. На кровати, стоявшей слева от двери, спал старший брат Захарий, молодой парень двадцати одного года, и средний брат Жанлен, которому еще не исполнилось одиннадцати лет; справа спали, обнявшись, двое малышей — шестилетняя Леонора и четырехлетний Анри; третью кровать занимали две сестры — Катрин и девятилетняя Альзира,— такой заморыш, что старшая сестра не чувствовала бы ее соседства, если бы девочка-калека не толкала ее своим горбом. В отворенную застекленную дверь виден был узкий, как кишка, коридор, выходивший на лестничную площадку,— тут спали родители, приставив к кровати колыбель младшей дочки, трехмесячной Эстеллы.

Катрин делала отчаянные усилия, чтобы проснуться, потягивалась, скребла голову, засунув обе руки в копну рыжеватых волос, растрепавшихся на лбу и на затылке. Слишком худенькая для своих пятнадцати лет, она казалась подростком; узкая длинная рубашка обнажала только ее посиневшие ступни, словно татуированные микроскопическими частицами угля, и хрупкие изящные руки — молочная белизна резко отличалась от землистого цвета лица, уже испорченного зеленым мылом, которым всегда приходилось мыться; она позевывала, широко открывая довольно большой рот, так что видны были ее великолепные зубы и бледные от малокровия десны; она силилась побороть сон, и на серых ее глазах выступали слезы, лицо приняло выражение скорби и мучительной усталости, казалось, переполнявшей все ее юное тело.

Из коридора донеслось сердитое бормотание отца:

— Ох, черт! Вставать пора... Это ты огонь зажгла, Катрин?

— Да, отец... Только что пробило четыре.

— Пошевеливайся, лентяйка! Поменьше плясала бы вчера, так пораньше бы нас разбудила... А то на тебе! Каждое воскресенье на танцы! Лодыри!

Он еще что-то проворчал, но уже невнятно, сон снова одолел его, и недовольное ворчанье сменилось громким храпом.

Катрин сновала по комнате в одной рубашке, ступая босыми ногами по холодным плитам пола. Мимоходом набросила на Апри и Ленору соскользнувшее с них одеяло; они ничего не почувствовали,— оба спали глубоким детским сном. Альзира посмотрела вокруг, широко открыв глаза, и молча перекатилась в постели на теплое местечко, нагретое старшей сестрой.

— Вставай же, Захарий! Вставай, Жаилен! — твердила Катрин, стоя у кровати братьев, но они крепко спали, уткнувшись лицом в подушку.

Она принялась трясти старшего за плечо, но он не вставал, только невнятно бранился; тогда Катрин прибегла к решительным мерам и сорвала с братьев одеяло. Они смешно задрыгали ногами, и она захохотала. Захарий наконец приподнялся и сел в постели.

— Вот дура! Отстань! — ворчал он в весьма дурном расположении духа.— Что еще за шутки! Терпеть не могу!.. Эх, жизнь собачья, вставать в этакую рань!

У Захария было тощее нескладное тело, длинное лицо, которое совсем не украшали жиденькие усики, соломенного цвета волосы, анемичная бледность, характерная для всей семьи. Рубашка у него задралась выше живота, он опустил ее — не из стыдливости, а потому, что продрог.

— Уже пробило четыре! — повторила Катрин.— Ну, живо! Отец сердится.

Жаилен, свернувшись клубочком, опять закрыл глаза:

— Убирайся! Спать хочу!

Девушка снова засмеялась веселым, ласковым смехом. Жаилен был такой маленький, щуплый, с огромными, раздутыми от золотухи суставами: сестра схватила его в охапку и подняла; он дрыгал ногами, мотал всклокоченной кудрявой головой, его обезьянье личико с торчащими ушами и узкими зелеными глазками побледнело от злости: как смеют издеваться над его физической слабостью. Не сказав ни слова, он укусил сестру в правую грудь.

— Ах, злая дрянь! — пробормотала Катрин, едва не вскрикнув от боли, и поставила мальчишку на пол.

Альзира не спала, она лежала молча, натянув одеяло до подбородка и умным взглядом рано развившегося ребенка-калеки следила за сестрой и братьями, которые принялись одеваться. Опять у них вспыхнула ссора, на этот раз у глиняной миски, служившей тазом для умывания,— братья оттолкнули Катрин, найдя, что она слишком долго полощется. Они расхаживали с опухшими от сна глазами, преспокойно облегчались, не стыдясь друг друга, словно выросшие вместе щенки одного помета. Одевались

торопливо. Катрин, однако, опередила братьев. Она надела шахтерские штаны, брезентовую куртку, запрятала волосы под синий колпак,— как всегда, к понедельнику все было выстирано, выглажено; в мужской одежде она походила на юношу, и только легкое покачивание бедер выдавало в ней женщину.

— Вот погоди, вернется старик,— зло сказал Захарий,— уж он тебя не поблагодарит. Постель-то не оправлена. Я ему скажу, что ты это нарочно...

Он имел в виду деда: старик Бессмертный работал в ночную смену, а ложился спать утром, так что постель никогда не остывала,— в ней постоянно кто-нибудь спал.

Катрин, не отвечая, принялась застилать постель, подоткнула одеяло под тюфяк.

Уже несколько минут за стеной, в соседней квартире, раздавался шум. Компания угольных коней строила для своих рабочих кирпичные домики весьма экономно, и стены выложили такие тонкие, что сквозь них слышно было каждое слово. Люди в поселке жили бок о бок, и интимная жизнь каждого была всем известна досконально, даже детям. Послышались тяжелые шаги, от которых тряслась лестница, потом глухой звук — кто-то бросился на постель и громко вздохнул от удовольствия.

— Здóрово! — сказала Катрин.— Левак ушел, а к его жене Бутлу подкатился.

Жанлен захихикал, даже у Альзиры весело заблестели глаза. Каждое утро они развлекались, высмеивая соседей за их брак втроем: у забойщика Левака жил на хлебах разборщик Бутлу, и таким образом у жены Левака было два мужа — один ночной, другой дневной.

— Филомена кашляет,— сказала Катрин.

Она говорила о старшей дочери соседей, девятнадцатилетней девушке, любовнице Захария, от которого у нее уже родилось двое детей; она болела чахоткой и была так слаба, что на шахте ее не могли поставить на подземные работы, и она работала на сортировке угля.

— Ну да, Филомена! Как бы не так! — возразил Захарий.— Она еще дрыхнет! Просто свинство спать до шести часов!

Надев штаны, он вдруг вспомнил что-то и быстро отворил окно. Поселок уже просыпался, в предрассветной тьме за решетчатыми ставнями появлялись огоньки. Снова начался спор: Захарий высунулся из окна посмотреть, не выйдет ли из дома Пьеронов, стоявшего напротив, старший штейгер, которого подозревали в любовной связи с женой Пьерона; а Катрин утверждала, что Пьерон всю эту неделю работает уже в дневную смену и, стало быть, Дансар не мог тут заночевать. Ледяной воздух клубами

врывался в комнату, спорщики горячились, каждый доказывал, что его сведения самые точные, как вдруг раздался жалобный писк и плач,— малютка Эстелла озябла в своей колыбели. Маэ сразу проснулся. Да что ж это с ним делается? Подумайте, уснул опять, словно бездельник какой! И он так сердито кричал и бранился, что в соседней комнате стало тихо. Захарий и Жанлен умылись; по их вялым, медлительным движениям видно было, что они уже с утра чувствуют усталость. Альзира по-прежнему молчала, следя широко открытыми глазами за всем, что творилось вокруг. Два малыша, Ленора и Анри, невзирая на шум, поднявшийся в доме, спали сладким сном, обхватив друг друга ручонками, и тихонько посапывали.

— Катрин, дай свечку! — крикнул Маэ.

Застегнув последние пуговицы куртки, девушка отнесла свечу в закуток, где спали родители, предоставив братьям разыскивать свою одежду при слабом свете, падавшем из двери. Отец соскочил с постели. Осторожно ступая в толстых шерстяных чулках, Катрин ощупью спустилась в нижнюю комнату, чтобы сварить на плите кофе, и зажгла там другую свечу. Под буфетом стояли в ряд деревянные башмаки.

— Да замолчи ты, поганка! — крикнул Маэ, раздраженный неумолчными воплями Эстеллы.

Гуссен Маэ был невысокого роста, как и отец, да и лицом походил на старика Бессмертного, только сложения был более крепкого; такая же, как у отца, крупная голова, круглое бледное лицо и такой же соломенно-желтый цвет коротко остриженных волос. Ребенок расплакался еще сильнее, испугавшись взмахов больших жилистых рук.

— Оставь ее, ты ведь знаешь, она все равно не уймется,— сказала мать, вытягиваясь на середине постели.

Она тоже проснулась и жаловалась, что ей никогда не дают выспаться. Вот бессовестные! Шумят, орут! Не могут потихоньку собраться и уйти. Она закуталась в одеяло, видно было только ее продолговатое лицо с крупными чертами, все еще красивое грубоватой красотой; в тридцать девять лет она уже поблекла — виной тому были нищенская жизнь и рождение семерых детей. Устремив взгляд в потолок, она вела невеселую беседу с мужем, пока тот одевался. И оба не замечали, что крошка Эстелла зашлась от крика.

— Слушай, у меня ни гроша, а ведь нынче только еще понедельник, до получки шесть дней... Как жить дальше будем? Вы все вместе приносите домой девять франков. Разве можно на эти деньги кормиться две недели? Ведь дома-то десять ртов.

— Постой, почему же девять франков? — возразил Маэ.—

Я и Захарий — по три франка, вдвоем, значит, шесть. Катрин и отец по два франка, вдвоем — четыре. Четыре да шесть — десять. Да Жанлен один франк,— стало быть, всего одиннадцать франков.

— Верно, одиннадцать. А воскресенья? А те дни, когда у вас простой? Больше девяти франков на круг никогда не приходится.

Маэ не ответил, отыскивая упавший на пол кожаный пояс. Потом, выпрямившись, сказал:

— Нам жаловаться нечего, я как-никак еще крепок здоровьем. А разве мало забойщиков в мои годы переводят в ремонтные рабочие?

— Может, оно и так, а хлеба у нас от того не прибавляется... Ну, как мне вывернуться, скажи? У тебя нисколько нет?

— Два су найдется.

— Оставь их себе, выпьешь кружку пива... Боже ты мой, как мне вывернуться? Шесть дней! Будто целый год! В лавку Мегра мы должны шестьдесят франков. Он меня позавчера выставил за дверь. Я, понятно, все равно опять к нему пойду. А что, если он заупрямится и не даст ничего?..

И все так же угрюмо, с каменным лицом, лишь щурясь иногда от дрожащего, унылого пламени свечи, жена Маэ продолжала свои сетования. Она говорила, что в буфете у них пусто, а малыши просят «хлебушка с маслом», и кофе нет, а если пустую воду пьешь,— от здешней воды рези в животе делаются. Долго дни тянутся, когда нечего есть, кроме вареной капусты. Ей приходилось говорить все громче — Эстелла заглушала своим визгом слова матери. Вопли эти стали просто нестерпимыми. Маэ как будто внезапно услышал их и, выхватив малютку из колыбели, бросил матери на кровать, раздраженно пробормотав:

— На, возьми, а не то я ее пристукну! Вот чертова девчонка! Живет себе, спит, сосет сколько хочет, а жалуется громче всех.

Эстелла и в самом деле принялась сосать. Укрытая одеялом, согревшись в теплой постели, она утихла и только жадно чмокала.

— А господа из Пиолены не говорили, чтобы ты зашла к ним? —спросил Маэ после минутного молчания.

Мать прикусила губу и с унылым видом ответила:

— Говорили. Они со мной встретились, когда приходили в поселок,— бедным детям одежду принесли. Нынче я сведу к ним Лепору и Анри. Хоть бы дали нам пять франков!

Опять настало молчание. Маэ уже оделся. Он постоял, задумавшись, потом сказал глухим голосом:

— Ну, что я могу сделать? Так вот получилось. Устраивайся как-нибудь с кормежкой... Словами горю не поможешь. Лучше уж на работу идти.

— Ну, конечно,— ответила жена.— Задуй-ка свечу, я и без света знаю, какие у меня черные думки.

Маэ задул свечу. Захарий и Жаклен уже спускались по лестнице; вслед за ними сошел вниз и отец; ступени поскрипывали под их тяжелыми шагами, хотя у всех троих на ногах были только толстые шерстяные чулки. Спальня и коридор наверху снова погрузились в темноту. Малыши спали, даже у Альзиры сомкнулись веки. Но мать лежала во мраке с открытыми глазами, малютка Эстелла, прильнув к ее опавшей груди, мурлыкала, как котенок.

А внизу Катрин прежде всего развела огонь в чугунной печке с решеткой посредине и двумя конфорками по бокам,— в этом очаге непрерывно горел каменный уголь. Компания выдавала каждой семье восемь гектолитров «угольной мелочи», собранной на рельсовых путях. Разжечь ее бывало трудно, и Катрин каждый вечер прикрывала золой тлеющий огонь, так что утром нужно было только поворошить жар и подбросить в него кусочки старательно отобранного мягкого угля. Поставив на плиту кофейник, она отворила дверцы буфета и, присев на корточки, заглянула в него.

Комната, довольно большая, занимала весь нижний этаж; стены были выкрашены в салатный цвет, пол из каменных плит старательно вымыт и посыпан белым песком. Все содержалось с чисто фламандской опрятностью. Обстановка состояла из соснового полированного буфета, стола и стульев того же дерева. На светлых голых стенах резко выделялись яркие лубочные картинки: бесплатно раздававшиеся Компанией портреты императора и императрицы, бравые солдаты и блистающие золотом святые; кроме розовой картонной коробки, стоявшей на буфете, да стенных часов с кукушкой и размалеванным циферблатом, никаких украшений не было; громкое тиканье часов, казалось, поднималось к потолку. Около двери на лестницу была еще одна дверь, которая вела в подвал. Несмотря на опрятность, царившую тут, теплый воздух был пропитан запахом жареного лука, застоявшимся со вчерашнего дня, и едким запахом перегоревшего каменного угля.

Сидя на корточках перед буфетом, Катрин размышляла. Осталась лишь краюха хлеба, творогу достаточно, а масла чуть-чуть. бутерброды же надо сделать на четверых. Наконец она нашла выход: разрезать хлеб на ломти, на один ломоть надо положить творогу, другой слегка помазать маслом, потом два эти ломтя сложить вместе — получится «брусок», то есть двойной бутерброд,— такие бутерброды они каждое утро брали с собою на работу. Вскоре на столе уже лежали в ряд четыре бутерброда, выкроенные со строгой справедливостью: самый большой — отцу, самый маленький — Жаклену.

Катрин, казалось, всецело была поглощена хозяйственными

заботами, однако не забывала, что ей рассказывал Захарий о похождениях штейгера Дансара и жены Пьерона, и, приоткрыв дверь, выглянула на улицу. Ветер свирепствовал по-прежнему; в окнах низких домиков все больше зажигалось огней, по всему поселку проносился смутный гул пробуждения. Отворялись и захлопывались двери, в сумраке уходили вдаль вереницы черных фигур. Да что это она, глупая, мерзнет тут! Пьерон, наверно, преспокойно спит, ему заступать на работу в шесть часов. И все же она не отходила от порога, смотрела на тот дом, что стоял за их палисадником. Отворилась дверь, у Катрин разгорелось любопытство. Да нет,— это Лидия, дочка Пьерона, пошла на шахту.

В комнате что-то зашипело. Катрин испуганно обернулась и, притворив дверь, бросилась к очагу: вода вскипела и выплескивалась из котелка, заливая огонь. Кофе в доме кончилось, пришлось заварить кипятком вчерашнюю гущу; затем Катрин подсластила эту бурду, положив в кофейник немного сахарного песку. Тут как раз сошли вниз отец и оба брата.

— Ну и кофеек! — возмутился Захарий, отхлебнув из своей кружки.— От такого пойла бессонницей маяться не будешь.

Маэ с покорным видом пожал плечами.

— Ничего! Горяченького попьем, и то ладно.

Жанлен подобрал все крошки от бутербродов и кинул их в свою кружку с кофе.

Напившись кофе, Катрин разлила остатки по жестяным флягам. Стоя у стола, все четверо торопливо ели при тусклом свете коптившей свечи.

— Скоро вы наконец? — заворчал отец.— Некогда прохлаждаться, не богачи мы с вами.

Из лестничной клетки, дверь которой оставили открытой, послышался голос матери,— она крикнула им:

— Хлеб-то весь берите. Для детей у меня есть немного вермишели.

— Хорошо, хорошо,— ответила Катрин.

Она прикрыла золой жар в очаге, поставила на конфорку кастрюлю с остатками супа, чтобы дед, возвратившись в седьмом часу утра, поел горячего. Каждый взял из-под буфета свою пару деревянных башмаков, перекинул через плечо бечевку, на которой висела фляга, засунул бутерброд под куртку так, чтоб он лежал за спиной. И все вышли из дому,— мужчины впереди. Катрин позади них; уходя, она погасила свечу и заперла дверь на ключ.

— Здорово! В компании, значит, пойдем,— раздался в темноте мужской голос, и обладатель его, заперев дверь соседнего дома, запыхтел вместе с ними.

Это вышел Левак и с ним его сын Бебер — парнишка двена-

дцати лет, большой приятель Жаплена. Катрин удивленно и, едва не фыркая от смеха, зашептала на ухо Захарию:

— Это что же? Бутлу, значит, теперь и не дожидается, когда Левак уйдет?

Меж тем в поселке гасли огни. Кто-то хлопнул напоследок дверью. И вновь все стихло. Женщины и малые дети уснули: в постелях им стало теперь просторнее. И по дороге от поселка, погрузившегося во тьму, до громко дышавшей шахты двигались черные тени — то шли на работу углекопы; сгибаясь под порывами ветра, они шагали враскачку, ежась от холода, засовывали руки в карманы или под мышки; у каждого на спине горбом выпячивался взятый из дому «брусок». Все мерзли в жиденькой одежде, дрожали от холода, но никто не прибавлял шагу. Шествие растянулось вдоль дороги. Слышался дробный топот, будто гнали по мостовой стадо.

III

Этьен наконец спустился с террикона и вошел в ворота шахты; люди, у которых он спрашивал, не найдется ли для него работы, покачивали головами и советовали подождать старшего штейгера. Никто его не останавливал, он свободно бродил среди слабо освещенных бараков, обходя какие-то черные ямы, вызывавшие невольное беспокойство, и удивляясь запутанному расположению странных построек в несколько ярусов; поднявшись по темной полуразрушенной лестнице, он очутился на шатком мостике, потом прошел через сортировочную, где стояла такая тьма, что он шел, вытянув вперед руки, боясь на что-нибудь наткнуться. Вдруг перед ним во мраке загорелись два огромных желтых глаза. Он оказался под самым копром, на приемной площадке, около ствола шахты.

Как раз в эту минуту к будке приемщика направлялся штейгер, дядя Рашом, толстяк с физиономией благодушного жандарма, перечеркнутой седыми усами.

— Не требуется ли здесь человек? На любую работу согласен,— сказал Этьен.

Рашом хотел было сказать: «Нет, не требуется!» — но передумал и мимоходом ответил:

— Подождите старшего штейгера, господина Дансара.

Четыре ярких фонаря с рефлекторами, направляя снопы света на ствол шахты, ярко освещали железные перила, рычаги сигналов и задвижки, брусья проводников, по которым скользили две клети. Вся остальная часть помещения, просторного и высокого, как собор, тонула в полумраке, где колыхались большие расплыв-

чатые тени. Только в глубине сверкала огнями ламповая, а в будке приемщика одинокой угасающей звездой мерцала тусклая лампочка. Начали уже выдавать уголь на-гора; с непрерывным грохотом катились по чугунным плитам груженые вагонетки, их толкали стволовые, низко наклоняясь и вытягивая спину; в полумраке двигались, мелькали и стучали какие-то черные предметы.

Этьен на мгновенье остановился, растерявшись от оглушительного шума и ослепительного света. Ему было холодно: отовсюду дули сквозняки. Потом он прошел немного дальше, заметив блеск стальных и медных частей паровой машины. Она находилась метрах в двадцати пяти от ствола шахты, в еще более высоком помещении, и так прочно, так плотно сидела на кирпичном фундаменте, что, хоть и была пущена на полную мощность в четыреста лошадиных сил, не ощущалось ни малейшей вибрации стен; непрестанно поднимаясь и опускаясь, ровно и плавно двигался огромный шатун.

Машинист, стоявший у пускового рычага, прислушивался к сигнальным звонкам, не сводя глаз с доски указателей, где ствол шахты со всеми ее горизонтами был изображен в виде вертикального желобка, по которому двигались на веревочках свинцовые грузила, изображавшие клети. И лишь только подъемник пускали в ход, два огромных барабана в пять метров радиусом, на которые наматывались, а в противоположном направлении разматывались два стальных троса, вращались с такой быстротой, что казались столбами серой пыли.

— Берегись! — крикнули рабочие, втроем тащившие высокую лестницу.

Этьена чуть не раздавило. Постепенно его глаза привыкли к полумраку. Посмотрев вверх, он увидел, как бегут тросы: более тридцати метров стальной ленты взлетали к самой верхушке копра, проходили там через шкивы и падали отвесно в ствол шахты, где двигались клети, висевшие на этих тросах. Шкивы держались на мощных стропилах, похожих на переплеты балок в церковной колокольне. Тросы скользили, как птицы, бесшумно, мягко, без малейшего толчка,— быстро, непрерывно бежал тяжелейший стальной канат, который мог поднимать груз в двенадцать тысяч килограммов со скоростью до десяти метров в секунду.

— Берегись, растяпа! — опять закричали рабочие, перетаскивавшие лестницу на другую сторону, чтобы осмотреть левый шкив.

Этьен медленно побрел обратно, в приемочную. У него закружилась голова от непрерывного полета гигантского троса, проносившегося над его головой, ушам было больно от грохота вагонеток. Дрожа от холода на сквозняке, он смотрел, как двигаются клети. Возле ствола шахты действовал сигнал, тяжелый молоток с

рычагом, ударявший о чугунную болванку, когда снизу дергали веревку. Один удар — остановка клети, два удара — спуск, три удара — подъем; сигналы раздавались беспрестанно: казалось, перекрывая гул и грохот, тяжелой палицей бил великан, и при каждом ударе пронзительно звенел звонок; рукоятчик, направлявший клеть, еще подбавляя шуму, выкрикивал в рупор приказания машинисту. В грохоте и суматохе бесшумно взлетали и ныряли вниз клети, разгружались и вновь заполнялись. Этьен смотрел и не мог разобраться в этом сложном маневрировании. Понятно ему было только одно: шахта за раз проглатывала по двадцать, по тридцать человек, проглатывала так легко, будто и не чувствовала, как они проскальзывают в ее пасть. Спуск начался с четырех часов утра. Рабочие выходили из раздевальни босые, с лампами в руках и, стоя кучками, поджидали, когда наберется достаточно людей. Скользя неслышно, словно ночной зверь, из мрака поднималась железная клеть и останавливалась, утвердившись на упорах, показывая все свои четыре яруса.— в каждом из них стояли по две груженные углем вагонетки.

Стволовые, стоя на площадках у каждого яруса, выкатывали груженые вагонетки, вкатывали на их место пустые или заранее нагруженные крепежным лесом. В пустые вагонетки садились рабочие, в каждую по пять человек,— в клеть набивалось по сорок человек, если все ее отделения бывали заполнены. Подавался в рупор приказ, звучавший, как невнятное мычание, четыре раза дергали веревку, тянувшуюся вниз, предупреждая о погрузке «говядины» — новой партии человеческого мяса.

Легонько подпрыгнув, клеть бесшумно ныряла и камнем летела вниз, оставляя за собою единственный след — вибрирующее скольжение стального троса.

— Глубоко там? — спросил Этьен углекопа, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди.

— Пятьсот пятьдесят четыре метра,— ответит тот.— Но при спуске четыре горизонта, до первого — триста двадцать метров.

Оба умолкли, устремив глаза на трос, бежавший вниз. Этьен спросил:

— А если трос оборвется?

— Ну, если оборвется!..

И, не договорив, углекоп выразил свою мысль жестом. Пришла его очередь; клеть выплыла вверх плавно, без усилий. Углекоп сел на корточки в вагонетку вместе с товарищами, клеть опустилась вниз, а через четыре минуты опять взлетела вверх и поглотила новую партию. В течение получаса ствол шахты, то с большей, то с меньшей быстротой, в зависимости от глубины горизонта, но безостановочно, с неослабевающей жадностью прогла-

тывал людей, стремясь набить исполинскую утробу шахты, способную пожрать целый народ. Ее наполняли, наполняли, а мрак все оставался мертвым, и клеть поднималась из пустоты все с той же немой алчностью.

Постепенно к Этьену подкралось чувство отчаяния, которое он испытал на терриконе. К чему упорствовать? Главный штейгер откажет ему так же, как и другие. Смутный страх погнал его прочь, он вышел из приемочной и остановился только у котельной. В широко открытую дверь видны были семь паровых котлов с двумя топками. Кочегар, окутанный белой дымкой пара, со свистом вырывавшегося из трубок, кидал уголь в одну из топок; ее пылающая пасть дышала таким жаром, что он чувствовался даже у порога. Обрадовавшись случаю погреться, Этьен хотел подойти поближе, но навстречу ему попалась новая кучка углекопов, спешивших к началу смены,— семейство Маэ и Леваки. Увидев доброе мальчишеское лицо Катрин, которая шла впереди этой группы, Этьен вдруг решил в последний раз попытать счастья:

— Скажите, товарищ, не нужен ли тут человек? Я бы на любую работу пошел.

Катрин посмотрела на него, удивленная и несколько испуганная этим окликом, внезапно раздавшимся из темноты. Но отец, шагавший вслед за нею, услышал вопрос и, остановившись, ответил Этьену, что на шахте рабочих не требуется. Горемыка, скитавшийся по дорогам в поисках работы, вызвал в нем сочувствие. Отойдя от него, Маэ заметил:

— Вот ведь как! И с нами такая же беда могла бы стрястись. Значит, нам жаловаться нечего. Не у всех, да, не у всех есть работа!

Маэ и его артель сразу же направились в раздевальню — просторный барак, где по стенам шли запиравшиеся на замок шкафчики для одежды. Посредине стояла докрасна накалившаяся чугунная печка без дверцы, до того набитая углем, что горевшие куски его, лопаясь с треском, выпадали на глинобитный пол. Иного освещения, кроме света от жаровни, в бараке не было; багряные отблески огня плясали на грязных деревянных стенах и на потолке, покрытом черной угольной пылью.

Когда артель Маэ вошла в жарко натопленный барак, там гремел оглушительный хохот. Человек тридцать рабочих стояли у печки, спиной к огню, и с удовольствием грелись. Перед спуском все старались хорошенько «прожариться» и захватить с собою запас тепла, в защиту от сырости, царящей в шахте. В то утро у печки было необыкновенно весело: углекопы потешались над Мукеттой — незлобивой восемнадцатилетней откатчицей, такой грудастой и широкобедрой, что ее шахтерские штаны и куртка чуть не

трещали по швам; она жила в Рекильяре вместе с отцом, старым конюхом Муком, и братом Муке, рукоятчиком, но все трое работали в разные смены; Мукетта ходила на шахту одна и летом в хлебах, а зимою где-нибудь на задворках развлекалась с любовником, заводя каждую неделю нового. Все шахтеры перебывали в этой роли, но перемены обходились по-приятельски, без всяких драм. Однажды Мукетту укорили, зачем она взяла себе возлюбленного с гвоздильного завода, и она пришла в ярость, кричала, что она себя уважает и готова дать руку на отсечение, что никто не докажет, будто она изменила углекопам и перекинулась к другим.

— Так, значит, долговязому Шавалю ты отставку дала? — говорил один из шахтеров.— Взяла теперь карапуза? Да ведь ему придется лестницу подставлять. Я вас видел за Рекильяром. Ей-богу, он на тумбу взобрался, чтобы до тебя дотянуться.

— Ну и что? — ответила Мукетта в самом веселом расположении духа.— Какое твое дело? Ведь тебя в толкачи не позвали?

Ее благодушная грубость вызвала новый взрыв смеха. Мужчины, греясь у печки, гоготали так, что у них ходуном ходили плечи. Мукетта и сама тряслась от хохота, прохаживаясь среди них в непристойной при ее толщине мужской одежде, обтягивавшей возбуждающие и комически пышные формы, раздувшиеся до уродства.

Но вдруг веселые шутки смолкли. Мукетта рассказала Маэ, что Флорапса, высокая откатчица Флорапса, не пришла и больше уж никогда не придет: вчера ее нашли мертвой на постели; одни говорят — разрыв сердца, а другие — что опилась можжевеловой водкой, выпила одним духом целый литр. Маэ жаловался: опять не повезло, артель лишилась одной из своих откатчиц, а ведь сразу-то ее не заменишь. Артель работала сдельно: четыре забойщика — он сам, Захарий, Левак и Шаваль; если откатывать станет только Катрин, выработка будет меньше. Вдруг он воскликнул:

— Погодите-ка, а тот человек, что искал работы?

Как раз мимо дверей проходил Дансар. Маэ рассказал ему о случившемся и попросил разрешения нанять откатчика: он упирал на желание Компании брать на откатку угля мужчин вместо женщин, как на Анзенских копях.

Старший штейгер сперва усмехнулся,— намерение убрать женщин с подземных работ обычно вызывало негодование углекопов: для них важно было пристроить своих дочерей на работу, а вопросы морали и гигиены их не слишком беспокоили. Поколебавшись, штейгер все-таки дал разрешение, с оговоркой, что представит его на утверждение инженера Негреля.

— Пойди-ка поищи этого парня: его и след простыл,— заявил Захарий.

— Нет,— возразила Катрин.— Я видела, он остановился у котельной.

— Так ступай приведи его, лентяйка! — крикнул Маэ.

Девушка побежала, а в это время толпа шахтеров направилась в приемочную, уступив место у печки другим. Жанлен, не дожидаясь отца, пошел за лампой вместе с Бебером, толстым, простодушным подростком, и Лидией, худенькой десятилетней дочкой Пьерона. Мукетта, поднимавшаяся по темной лестнице впереди них, вскрикивала, ругала их чертенятами и грозила надавать им затрещин, если они не перестанут ее щипать.

Этьен действительно был в котельной и разговаривал с кочегаром, шуровавшим уголь в топках. От одной мысли, что придется опять выйти на холод, в темноту, его мороз по коже подирал. Все же он решил было отправиться дальше, как вдруг кто-то тронул его за плечо.

— Пойдемте,— сказала Катрин.— Кое-что для вас нашлось.

Этьен сперва не понял. Потом в порыве радости крепко пожал девушке обе руки.

— Спасибо, товарищ!.. Вот славный малый!

Катрин, смеясь, разглядывала его при багряном свете, падавшем на них из пылающих топок. Этой тоненькой, хрупкой девушке, запрятавшей косы под синий колпак, было смешно, что ее принимают за молодого парня. Этьен же смеялся от радости, и так они с минуту стояли друг против друга и хохотали, раскрасневшись от жары.

В раздевальне Маэ, присев у своего шкафчика, снимал с ног деревянные башмаки и толстые шерстяные чулки. Пришел Этьен, и они обо всем договорились в двух словах: плата тридцать су в день, работа тяжелая, но можно скоро научиться и продвинуться. Забойщик посоветовал новому откатчику не снимать башмаков и дал ему старую «баретку» — кожаную шляпу для защиты головы, хотя сам Маэ и его дети пренебрегали этой предосторожностью. Вынули из шкафчика инструменты,— среди них была и лопатка Флорансы. Когда заперли в шкаф башмаки и чулки, а заодно и узелок Этьена, Туссен Маэ вдруг вышел из себя:

— Да куда девался этот дурень Шаваль? Опять поди путается с какой-нибудь девкой! А мы и так нынче на полчаса опоздали.

Захарий и Левак продолжали спокойно греться у печки. Наконец Захарий сказал:

— Ты Шаваля ждешь? Да он раньше нас пришел и уже спустился.

— Чего же ты молчал до сих пор?.. Ну пошли, пошли! Живо!

Катрин еще немного погрела руки у печки, потом побежала

вдогонку за своими. Этьен пропустил ее вперед и пошел вслед за нею. Вновь ему пришлось совершить целое путешествие по лабиринтам лестниц и темных коридоров, где босые ноги шлепали по доскам, словно были обуты в старые домашние туфли. Но вот засверкала ламповая — застекленная комната, загроможденная стойками, на которых выстроились в несколько этажей шахтерские лампочки Дейви, осмотренные и вычищенные накануне, горевшие плотными рядами, как свечи в церкви на торжественных похоронах. Каждый подходил к окошечку, получал лампу, на которой был выбит его номер, и, осмотрев ее сам, закрывал предохранительную сетку, а отметчик вписывал в реестр время спуска. Маэ попросил лампу для нового откатчика. Затем шахтеры подвергались, осторожности ради, еще одной проверке: они гуськом подходили к контролеру, и тот смотрел, хорошо ли у каждого закрыта ламповая сетка.

— Ой, холод собачий! — пробормотала Катрин, дрожа всем телом.

Этьен молча кивнул головой. Они уже стояли у ствола шахты, посреди просторной приемочной, по которой гуляли сквозняки. Этьен считал себя смелым человеком, и все же у него щемило сердце от какого-то неприятного волнения среди этого грохота вагонеток, резких ударов сигнального молотка, гулкого воя рупоров, безостановочного мельканья стальных тросов, которые пролетали в воздухе, разматывались, наматывались на барабаны подъемной машины. Клети возносились вверх, спускались, скользя неслышно, как хищные звери, хватающие людей во мраке ночи, и черная пасть шахты как будто проглатывала добычу. Подходила очередь и Этьена. Его пробирала дрожь, он замер в напряженном молчании. Захарий и Левак насмехались над ним,— обоим не нравилось, что наняли какого-то незнакомого парня; особенно недоволен был Левак, обижаясь, что Маэ не посоветовался с ним. Катрин, наоборот, радовалась, что отец внимателен к новичку и все ему объясняет.

— Вот поглядите,— над клетью виден предохранитель — он не даст ей упасть: если тросы оборвутся, стальные крючья тогда вопьются в проводники. Приспособление, конечно, хорошее. Действует! Но не всегда помогает... А вот еще поглядите — пролет ствола разделен дощатыми перегородками на три части: посредине ходят клети, слева устроены запасные лестницы...

И, прервав пояснения, он заворчал, не осмеливаясь, однако, очень повышать голос:

— Да чего мы тут торчим? Дьявольщина какая! Зря людей морозят!

Вместе с ними поджидал спуска и штейгер Рипом в кожаной

пляне, с прикрепленной к ней шахтерской лампой без сетки. Он услышал недовольное ворчанье забойщика.

— Осторожнее! Кругом уши! — сказал он внезапно отеческим тоном, как бывший углекоп, по-прежнему желающий добра товарищам.— Надо по порядку дело делать... Ну вот и нам подали карету. Залезайте всей артелью.

В самом деле, клеть, защищенная полосами листового железа и железной мелкой сеткой, уже ждала их, осев на упоры. Маэ, Захарий, Левак и Катрин живо забрались в вагонетку, стоявшую в глубине клети, а так как в каждой вагонетке полагалось ехать пятерым, в нее сел и Этьен; но удобные места были заняты, ему пришлось сесть скорчившись возле Катрин, и ее локоть упирался ему в живот. Лампа мешала Этьену, ему посоветовали прицепить ее к петлице куртки. Не расслышав совета, он по-прежнему держал ее неловко в руке. В верхний и нижний этаж клети тоже набивались люди, шла суматоха, словно грузили скот. Ну, все готово. Можно спускаться. Чего же стоят? Этьену ожидание казалось бесконечным. Но вот — внезапный толчок, клеть дрогнула и понеслась вниз. У Этьена сжалось сердце, засосало под ложечкой от жуткого чувства — он падал в пропасть. Так было, пока он проносился на свету через два яруса приемочной и вокруг кружились и убегали вверх толстые балки. Потом клеть полетела в черную тьму, и ошеломленный Этьен больше не отдавал себе отчета в своих ощущениях.

— Ну, поехали! — спокойно и добродушно сказал Маэ.

Все чувствовали себя непринужденно. А Этьен мгновениями сам не знал, поднимается он или спускается. Когда клеть неслась совершенно прямо, не касаясь проводников, ему чудилось, что она не двигается, а затем вдруг ее толкало, встряхивало, она как будто плясала между балками, и Этьен все ждал катастрофы. К тому же он не мог различить стенки ствола, как ни вглядывался в темноту, прижавшись лицом к решетке клети. Шахтерские лампы плохо освещали фигуры людей, сгрудившихся около него. И только лампа штейгера, без защитной сетки, сияла в соседней вагонетке, как фонарь маяка.

— Шахтный ствол в поперечнике имеет четыре метра,— продолжал Маэ просвещать Этьена.— Сруб надо бы отремонтировать, а то со всех сторон вода сочится... Вот сейчас мы на уровне каменья. Слышите?

Этьен как раз задался вопросом, что за странный шум, похожий на плеск дождя, слышится в темноте. По крыше клети застучали крупные капли, как будто пошел проливной дождь, и в самом деле начался ливень, он становился все сильнее, сильнее — настоящий потоп! Должно быть, крыша клети прохудилась,— струя воды

лилась Этьену на плечо, и вскоре он промок до нитки. Холод стал ледяной, клеть неслась в сырой тьме; на мгновенье засверкал свет, промелькнули какие-то видения: вот показалась пещера, в ней при блеске молнии суетятся люди. И снова клеть несется куда-то в бездну.

Маэ сказал:

— Это первый горизонт. Глубина триста двадцать метров. Поглядите, как быстро опускаемся.— Подняв лампу, он осветил брусья проводников, бежавшие, как рельсы, под колесами поезда, который мчится на всех парах, а за этими балками не видно было ничего. Промелькнули в мгновенном свете еще три горизонта. И снова мрак и оглушительный шум проливного дождя.

— Глубоко-то как! — пробормотал Этьен.

Падение в пропасть, казалось ему, длится долгие часы. Он сидел в очень неудобной позе, не смея шевельнуться, а тут еще локоть Катрин больно вонзился ему в бок. Она не произносила ни слова, он только чувствовал ее близость, теплота ее плеч согревала его. Когда клеть остановилась наконец на дне ствола, Этьен страшно удивился, узнав, что спуск занял всего одну минуту. От стука вставших на место упоров, от ощущения твердой почвы под ногами ему вдруг стало очень весело, и он шутливо спросил Катрин:

— Отчего это ты такой горячий? А локтем ты мне дырку провертел, честное слово!

Скажите пожалуйста, все еще за парня ее принимает! И Катрин тоже развеселилась. Вот дурень! Ослеп он, что ли?

— Да тебе, наверно, моим локтем не бок, а глаза продырявило,— ответила она. И Этьен не мог понять, почему все кругом хохочут.

Клеть опустела. Рабочие прошли через рудничный двор — большую галерею, высеченную в твердой породе; ее сводчатая кровля была укреплена каменной кладкой, тут ярко горели большие лампы без предохранительной сетки. По чугунным плитам пола стволовые торопливо катили полные вагонетки угля. От стен тянуло запахом сырого погреба, селитры, но в холодном, промозглом воздухе проносились струи тепла из соседней конюшни. Отсюда открывались зиявшие пролеты четырех горных выработок.

— Вон туда,— сказал Маэ Этьену.— Не думайте, нам еще добрых два километра идти.

Рабочие расходились группами в разные стороны, исчезали в глубине черных нор. Человек пятнадцать свернули налево. Этьен шел последним, позади Маэ; впереди двигались Катрин, Захарий и Левак. То был превосходный квершлаг для откатки, проложенный в такой твердой породе, что его лишь кое-где потребовалось укрепить каменной кладкой. Люди двигались вереницей, все шли

молча; в темноте чуть светились огоньки шахтерских ламп. Этьен с непривычки спотыкался на каждом шагу, ушибал ноги о рельсы. Его беспокоил какой-то странный шум, похожий на громыхание отдаленной грозы, шум этот все возрастал и как будто доносился из недр земли. Может быть, это грохот обвала и сейчас на людей обрушится вся толща земли, отрезавшая их от сияния солнца. Вдруг бледный свет пронизал густую тьму. Этьен почувствовал, как дрожит почва под его ногами, и когда он, по примеру товарищей, прижался к стене, мимо них прошла большая белая лошадь, тащившая целый поезд из вагонеток. На первой, держа в руках вожжи, сидел Бебер, а за последней, ухватившись обеими руками за борт, бежал Жаплен, быстро перебирая босыми ногами.

Потом двинулись дальше. Дошли до перекрестка, от которого отходили два штрека, и тут группа вновь разделилась: рабочие постепенно разбрелись по всем выработкам горизонта. Теперь откаточный штрек местами одевала сплошная дощатая обшивка, дубовые столбы подпирали кровлю, поддерживая неустойчивые стенки выработки настоящим частоколом, сквозь который виднелись пласты сланца с блестками слюды и корявые тусклые глыбы песчаника. То и дело навстречу друг другу, громыхая, двигались поезда из порожних или груженых вагонеток и исчезали в темноте, вслед за смутно видневшимся силуэтом лошади, трусившей мелкой рысцой.

На разминовке дремал на запасном пути поезд, вытянувшись черной змеей; фыркала запряженная в него вороная лошадь, ее круп, едва заметный во тьме, казался глыбой, упавшей с каменного свода. Хлопали, отворяясь, а затем медленно затворялись вентиляционные двери. Чем дальше, тем уже и ниже становился штрек и все более неровной делалась кровля; людям все время приходилось нагибаться.

Этьен так сильно ударился головой о камень, что, не будь на нем кожаной шляпы, раскроил бы себе череп. А ведь он внимательно следил за движениями Маэ, который шел впереди, выделяясь при свете лампочек черным силуэтом. Ни один из рабочих не ушибался,— должно быть, они знали тут каждый бугорок, каждый сучок в стойках и все выступы породы. Этьен мучился еще и от того, что скользко было идти по мокрой, расползавшейся под ногами почве выработки. Иной раз приходилось перебираться через настоящие лужи, о которых давали знать только фонтаны грязных брызг, взлетавших из-под ног. Но его особенно удивляли внезапные изменения температуры. У подошвы ствола было очень прохладно, в главном квершлаге, по которому шла и основная струя воздуха вентиляции, дул ледяной ветер, достигавший силы урагана в узких каменных коридорах. А когда шли в боковых

штреках, получавших лишь полагавшуюся им долю вентиляционной струи, ветер спадал, и воцарялась удушливая, тяжелая, гнетущая жара.

Маэ больше не открывал рта. Он свернул направо, в новую выработку и, не оборачиваясь, бросил Этьену:

— Гильомов пласт.

На этом пласте и находился их забой. С первых же шагов Этьен ушиб себе голову и локти. Покатая кровля нависла так низко, что метров двадцать — тридцать пришлось идти, пригнувшись к самой земле. Вода доходила до щиколоток. Так прошли двести метров, и вдруг Левак, Захарий и Катрин исчезли, словно улетучились сквозь узкую расщелину, открывшуюся в стене.

— Тут подниматься надо,— сказал Маэ.— Прицепите лампу к петле куртки и хватайтесь руками за стойки крепления.

И он исчез в расщелине. Этьен двинулся вслед за ним. Щель, рассекавшая пласт, предназначалась для прохода углекопов и соединяла все промежуточные штреки. Ширина ее, соответствовавшая толщине угольного пласта, едва достигала шестидесяти сантиметров. По счастью, Этьен был худощав, да и то по своей неловкости он, карабкаясь вверх, затрачивал слишком много мускульной энергии, старался сделаться плоским, как лист бумаги, и, хватаясь за стойки, подтягивался на руках. Метров на пятнадцать выше оказался первый промежуточный штрек, но пришлось пробираться еще выше — к забою Маэ и его товарищей вел шестой штрек, проложенный, как они говорили, в самом аду; итак, через каждые пятнадцать метров расположены были один над другим штреки; конца не было этому медленному, мучительному подъему. Этьен ушибался, ударяясь то спиной, то грудью, натужно хрипел, словно каменные недра шахты сдавили ему все тело, у него саднило руки, подкашивались ноги, а главное, ему не хватало воздуху, он задыхался и чувствовал, что вот-вот у него хлынет носом кровь. В одном из штреков он смутно различил в полумраке двух пещерных зверюг — одну большую, другую маленькую, которые, согнувшись, толкали вагонетки,— то были Лидия и Мукетта, уже принявшиеся за работу. А ему нужно было карабкаться еще выше, миновать еще два штрека! Пот затекал в глаза, слепил его, Этьен терял надежду догнать остальных, слыша, как они ловко скользят по камню в узкой щели.

— Смелей! Добрались! — раздался голос Катрин.

Но когда они и в самом деле добрались, из забоя раздался сердитый голос:

— Вы что же? Смеетесь над людьми? Мне из Монсу два километра отмахать надо, а я тут первым оказался!

Это ворчал Шаваль, долговязый парень лет двадцати пяти,

худой, костлявый, с крупными чертами лица. Заметив Этьена, он спросил с презрительным удивлением:

— А это еще кто такой?

Маэ рассказал о случившемся, и Шаваль процедил сквозь зубы:

— Вот оно как! Стало быть, нынче парни у девок хлеб отбивают!

Этьен и Шаваль обменялись взглядом, полным инстинктивной, внезапно вспыхнувшей ненависти. Этьен почувствовал оскорбление, еще не поняв смысла слов. Наступило молчание: все принялись за дело. Разработки постепенно наполнились людьми, началась добыча на каждом горизонте, на каждом уступе, в конце каждого штрека, в каждом забое. Шахта поглотила ежедневную порцию людей — около семисот углекопов, и теперь они трудились в этом гигантском муравейнике, дырявили землю со всех сторон, сверлили ее, как черви точат старое дерево. И среди тягостного молчания, среди гнетущей тишины, царящей в глубоких недрах земли, можно было бы, прильнув ухом к каменной стене какой-нибудь выработки, услышать шорох, движение этих людей-насекомых, скольжение стальных тросов, что поднимали и спускали клеть, и удары инструментов, вырубавших уголь в глубоких забоях.

Повернувшись, Этьен снова нечаянно прижался к Катрин. На этот раз он почувствовал округлость девичьей груди и сразу понял, почему его так пронизывало тепло, исходившее от нее.

— Так ты, значит, девушка? — растерянно пробормотал он.

И, нисколько не смущаясь, Катрин весело ответила:

— Ну да!.. Не скоро же ты догадался!

IV

Четыре углекопа, вытянувшись один над другим во всю высоту забоя, работали обушками. Между ними укреплены были доски с крючьями, удерживавшими отбитые куски угля; каждый из забойщиков занимал по четыре метра пласта, а пласт в этом месте был тонкий — сантиметров пятьдесят, и забойщиков как будто сплюснуло между кровлей и подошвой пласта, они передвигались ползком; стоило чуть-чуть повернуться, и они ушибали себе плечи. Отбивать уголь они могли только лежа на боку, изогнув шею, подняв руки и наискось ударяя обушком с короткой рукояткой.

Внизу находился Захарий, выше примостились Левак и Шаваль, а на самом верху работал Маэ. Каждый подрубал уголь сни-

зу, отделяя его от слапцевой подошвы, потом делал в пласте две вертикальные борозды и отсекал глыбу, вбивая в верхнюю часть пласта стальной клин. Уголь был жирный, глыба раскалывалась, и куски угля скатывались по животу и ногам забойщика. Когда эти куски, сдерживаемые дощатой загородкой, скоплялись грудой, забойщики исчезали за ней, словно замурованные в узкой щели.

Тяжелее всех приходилось Маэ. Вверху температура доходила до тридцати пяти градусов, не чувствовалось никакого движения воздуха. Нечем было дышать. Маэ повесил лампу на гвоздь около самой головы, чтобы было светлее, и от этой лампы, нагревавшей ему темя, кровь приливала к мозгу. Пытку увеличивала сырость. В нескольких сантиметрах от его лица с кровли забоя сочилась вода; стекавшие по камню крупные капли падали равномерно, быстро, упорно, и все на одно и то же место. Как он ни поворачивал шею, как ни запрокидывал голову, капли падали ему на лицо, расплывались, хлопали без перерыва. Через четверть часа Маэ весь промок, да еще обливался потом, и от него шел пар, как от бака с горячей водой, приготовленной для стирки. В то утро капли усердно долбили ему лоб над правой бровью. Маэ в ярости ругался. Ему не хотелось прерывать работу, и он бил обушком изо всех сил, так что от ударов сотрясалось все его тело, стиснутое двумя пластами породы,— он напоминал жучка, зажатого между страницами толстой книги, которая вот-вот захлопнется и раздавит его насмерть.

Никто не произносил ни слова. Все рубили уголь: слышны были только неровные, вперебой, удары, глухие, словно доносившиеся издали. В застоявшемся воздухе звуки теряли четкость, не отдавались эхом. А мрак был небывалой, густой черноты от разлетавшейся во все стороны угольной пыли, тяжкий мрак, насыщенный газами, щипавшими глаза. Шахтерские лампы, прикрытые металлической сеткой, светились красноватыми пятнышками. Ничего нельзя было различить. Низкий забой с косой кровлей походил на дымоход, в котором за десять зим скопился слой черной сажи. В этой впадине двигались призрачные фигуры, скупые огоньки выхватывали из темноты то округлые очертания бедра, то жилистую руку, напряженное лицо, вымазанное черным, словно у разбойника, собравшегося на грабеж. Порой выделялись глянцевые глыбы угля,— их плоскости, грани, внезапно загорались кристаллическим блеском. И снова все тонуло во мраке; тишину нарушали только сильные, глухие удары обушков, только тяжкое прерывистое дыхание, невнятное бормотание людей, изнемогавших от мучительных усилий, от неудобного положения тела, от духоты и подземного дождя.

У Захария руки были словно ватные после вчерашней выпив-

ки, он вскоре прервал работу под тем предлогом, что необходимо заняться креплением; это позволило ему присесть и, забыв обо всем на свете, насладиться минутной передышкой, насвистывая и устремив глаза в темноту. Позади забойщиков на протяжении трех метров уголь из пласта уже был выбран, а они еще не укрепили кровлю, нисколько не думая об опасности и не желая тратить время на эту работу.

— Эй ты, барин! — крикнул Захарий новичку.— Подавай-ка мне стойки.

Этьен, учившийся у Катрин работать лопатой, понес в забой стойки. Со вчерашнего дня остался небольшой запас крепежного леса. Каждое утро в шахту спускали готовые дубовые столбы, по размеру соответствующие толщине угольного пласта.

— Поживей ты, размазня! — крикнул Захарий, видя, как новый откатчик неловко взбирается по грудам угля и тащит четыре дубовые подпорки.

Сделав обушком одну зарубку в кровле, а другую в стене забоя, Захарий вставлял в них концы стойки, которая и подпирала таким образом породу. Во второй половине дня разборщики сгребали куски пустой породы, оставленные забойщиками в глубине хода, и закладывали ими выработанное пространство пласта, засыпая и поставленное там крепление, но всегда оставляли свободными верхний и нижний ходы для откатки угля.

Маэ перестал ворчать и ухать,— он наконец отбил глыбу угля. Утирая мокрое лицо рукавом куртки, он тревожно спрашивал, чего ради забрался наверх Захарий, что он собирается там делать?

— Да оставь ты! — сказал он сыну.— После завтрака посмотрим. Сейчас надо на вырубку налечь. А то не выдадим свое число вагонеток.

— Да ведь оседает,— ответил ему сын.— Погляди — оседает! Вон какая трещина. Как бы не завалило!..

Но отец только пожал плечами. Выдумал тоже — завалит! А если даже и завалит! Что им, в первый раз, что ли? Как-нибудь справятся.

В конце концов Маэ рассердился и велел сыну работать в забое.

Впрочем, и у всех дело не спорилось. Левак лежал на спине и, ругаясь, рассматривал ссадину на большом пальце левой руки, с которого упавшим камнем сорвало лоскут кожи. Шаваль в сердцах сдернул с себя рубашку, надеясь, что работать голым до пояса будет не так жарко. Все уже были черны от мелкой угольной пыли, смешанной с обильным потом, который струился ручьями, растекался лужицами. Первым возобновил работу Маэ, врубаясь в пласт еще ниже прежнего, держа голову у самой его подошвы. Капля

воды, падавшая сверху, упорно ударяла ему в лоб, и Маэ казалось, что она продолбит ему череп.

— Не обращай внимания,— сказала Этьену Катрин.— Они всегда орут.

И она услужливо продолжала обучать Этьена. Каждую нагруженную вагонетку подавали на-гора в том виде, как ее отправляли из забоя, пометив своим жетоном для того, чтобы приемщик зачислил ее на счет артели. Поэтому нагружать следовало тщательно, брать чистый уголь, иначе вагонетку браковали.

Глаза Этьена привыкли к полумраку, он вглядывался в малокровное и еще не испачканное углем бледное личико Катрин и не мог решить, сколько ей лет. По виду — лет двенадцать: уж очень маленькая, хрупкая. Однако он чувствовал, что она гораздо старше — столько в ней было мальчишеской дерзости и наивного бесстыдства, которое его порядком смущало; она ему не нравилась, он находил ее бескровное лицо слишком детским, а синий колпак, плотно охватывающий ей виски, делал ее похожей на Пьеро. И его удивляло, что у этой девочки столько нервной силы и ловкости; она наполняла свою вагонетку гораздо скорее, чем Этьен, быстро и равномерно подхватывая уголь лопатой, затем ровно и плавно катила вагонетку до наклонной выработки — бремсберга, ни разу не зацепившись, пробиралась под низко нависшей кровлей; он же то и дело ушибался, вагонетка сходила у него с рельсов, и он не умел исправить беду.

В самом деле, путь был не из удобных. От забоя до бремсберга было метров шестьдесят, и в этом штреке, который проходчики еще не успели расширить, узком, как щель, кровля нависала неровными выступами, под ногами торчали бугры; груженая вагонетка местами едва могла пройти, откатчику приходилось проталкивать ее, ползти на коленях, согнувшись в три погибели, чтобы не раскроить себе голову. Вдобавок крепи уже сдавали, раскалывались. На самой середине иных стоек, словно в непрочных, подломившихся костылях, виднелись длинные белесые полосы. Надо было двигаться осторожно, чтобы не исцарапаться об острые щепки, торчавшие из этих изломов; от давления каменной породы толстые дубовые стойки постепенно сгибались, и люди, пробираясь ползком, томились глухой тревогой: а вдруг все сейчас рухнет, и глыба песчаника перебьет им спинной хребет.

— Опять? — смеясь, воскликнула Катрин.

В самом трудном проходе у Этьена сошла с рельсов вагонетка. Ему все не удавалось катить ее прямо: рельсы не плотно лежали на мокрой земле; он ругался, злобно сражаясь с непослушной вагонеткой, но, несмотря на все усилия, никак не мог поставить колеса на место.

— Подожди ты! — сказала девушка.— Будешь злиться, дело не пойдет.

Она юркнула под заднюю стенку вагонетки, пригнувшись, подставила спину, напряглась и, приподняв вагонетку, поставила колеса на рельсы. Груз весил семьсот килограммов.

Удивленный, смущенный Этьен бормотал извинения. Катрин показала ему, как надо расставлять ноги и, сгибая колени, упираться ступнями в стойки, вбитые по обе стороны штрека, как надо согнуться и вытянуться и, толкая вагонетку, напрягать все мышцы рук, спины и ног. Во время одного из перегонов он шел за нею следом, наблюдая, как она трусит, сгибаясь под прямым углом и так низко опустив руки, что казалось, она бежит на четвереньках; она напомнила тогда одного из тех дрессированных зверьков, которых показывают в цирке. Она обливалась потом, тяжело дышала, у нее хрустели суставы, но она не проронила ни единого слова жалобы, перенося все с привычным равнодушием, словно жить в подземной тьме и, согнувшись, толкать вагонетку было всеобщей горькой участью. А Этьену ничего не удавалось; ему мешали башмаки, у него ломило все тело, ему трудно было шагать, низко опустив голову. Через несколько минут спина начинала мучительно ныть; и, не выдержав пытки, он опускался на колени, чтобы выпрямиться и передохнуть.

А когда добирались до бремсберга, начинались новые мученья. Катрин научила Этьена спускать вагонетку, прицепив ее к тросу. В верхнем и в нижнем конце бремсберга, который имелся в каждом горизонте и служил для откатки угля из всех забоев, находились двое рабочих: вверху — тормозной, внизу — приемщик. Эти двенадцати- пятнадцатилетние озорники для развлечения перекликались, угоняя друг друга ужасающей бранью; откатчицам приходилось выкрикивать еще более крепкие ругательства, чтобы предупредить их о своем прибытии. Приемщик подавал сигнал, откатчица прицепляла свою нагруженную вагонетку, та своей тяжестью натягивала трос и съезжала вниз, а наверх по скату поднималась пустая вагонетка, как только тормозной отпускал тормоз. Внизу, в главном откаточном штреке, из вагонеток составлялся поезд, который лошадь тянула до рудничного двора.

— Эй вы, черти сонные! — крикнула Катрин, очутившись в бремсберге, длиною в сто метров и целиком обшитом досками,— в этом узком коридоре голос звучал, как в гигантском рупоре.

Ответа не было — мальчишки, должно быть, заснули. Во всех лавах движение вагонеток остановилось. Послышался тоненький голосок какой-то девочки:

— Наверняка один уже с Мукеттой валяется!

Раздался громовый хохот; откатчицы со всего горизонта хохотали, хватаясь за бока.

— Кто это? — спросил Этьен.

Оказалось, что голосок принадлежал Лидии, бесстыжей худенькой девчонке, катившей вагонетки своими кукольными лапками не хуже взрослой женщины. Что касается Мукетты, она была способна дурить с обоими мальчишками разом.

Вдруг снизу раздался голос приемщика: «Прицепляй!» Вероятно, там проходил штейгер. Во всех девяти промежуточных штреках возобновилась откатка; слышались только равномерные окрики приемщиков и тяжелое дыхание откатчиц, от которых на подъеме к бремсбергу шел пар, как от лошадей, когда они тянут тяжелый воз. В шахте пронеслось веяние животной чувственности, грубого желания, охватывавшего углекопов, когда они встречали одну из откатчиц, толкавших вагонетки чуть ли не на четвереньках, в непристойной позе, ибо мужской костюм, обтягивавший их бедра, чуть не лопался по швам.

И после каждой откатки Этьен возвращался к забою, где в жаре и духоте раздавался неровный стук обушков и тяжелое уханье забойщиков, не прекращавших работу. Уже все четверо скинули рубашки и словно сливались с угольным пластом, до макушки перемазавшись мокрой черной грязью. Один раз пришлось откапывать Маэ, задохнувшегося под грудой вырубленного угля; для этого выдернули доски, чтобы уголь скатился в штрек. Захарий и Левак злились, что уголь «невмоготу крепок», как они говорили, и из-за этого «как есть ничего не заработаешь». Шаваль, перевернувшись на спину, принялся издеваться над Этьеном, присутствие которого явно раздражало его.

— Эх ты, червяк! Силы меньше, чем у девчонки! Вагонетку нагрузить и то не умеет! Что, мозоли на руках боишься набить? Вот погоди, сукин сын, вычту у тебя десять су, если по твоей милости у нас хоть одну вагонетку забракуют.

Этьен не решался отвечать: он был до того рад даже этой каторжной работе, что смиренно принимал грубую иерархию, установленную между чернорабочим и мастером. Но он совсем выбился из сил: ноги у него были стерты в кровь, руки сводила судорога, грудь будто сжимали тиски. К счастью, уже было десять часов, артель решилась сделать передышку и позавтракать.

У Маэ были часы, но смотреть на них ему и не требовалось. В этой подземной беззвездной ночи он узнавал время, не ошибаясь даже на пять минут. Все надели рубашки и куртки. Потом спустились из забоя и присели на корточки, прижав локти к бедрам,— эта поза так привычна для шахтеров, что зачастую они принимают

ее и вне шахты и преспокойно сидят, не нуждаясь ни в камне, ни в бревне. Каждый вытащил свой «брусок», и все сосредоточенно принялись откусывать от толстого ломтя, изредка перекидываясь замечаниями по поводу проделанной за утро работы. Катрин постояла среди них и направилась к Этьену,— он полулежал на земле, вытянув ноги поперек рельсов и прислонившись спиною к деревянной стойке. В том месте было почти сухо.

— Ты что же не ешь? — спросила Катрин, откусив от своей горбушки.

И тут она вспомнила, что парень целую ночь брел по дорогам без гроша в кармане и, может быть, без куска хлеба.

— Хочешь, поделюсь с тобой?

Этьен отказывался, уверяя, что ему совсем не хочется есть, хотя от голода у него сосало под ложечкой и дрожал голос. И тогда Катрин весело сказала:

— А-а, брезгуешь?.. Погоди, я откусила с этого конца, а тебе отломлю с другого.

Она разломила горбушку пополам. Этьен принял свою долю и едва удержался, чтобы не съесть ее всю сразу.

Опасаясь, как бы девушка не увидела, что у него трясутся руки, он положил их на бедра. Спокойно, как добрый товарищ. Катрин легла возле него ничком и, подперев одной рукой голову, в другой держала хлеб, от которого не спеша откусывала понемногу. На земле между ними стояли лампочки, бросавшие на них свет.

Катрин с минуту молча смотрела на Этьена. Должно быть, ей нравились его тонкие черты и черные усики. Она по-детски усмехнулась от удовольствия.

— Так ты, значит, механик, и тебя с дороги прогнали? За что?

— За то, что дал начальнику оплеуху.

Она была ошеломлена, потрясена непостижимой для нее дерзостью такого поступка,— это противоречило унаследованным ею взглядам о необходимости беспрекословного подчинения начальству.

— Надо тебе сказать, я тогда выпил. А я, как выпью, будто сумасшедший делаюсь: и себя и других могу искалечить. Да... Стоит мне выпить две рюмки, две маленькие рюмочки, меня так и подмывает лезть в драку... Так бы и пристукнул кого-нибудь. А после выпивки я два дня больной.

— Так ты не пей,— серьезно сказала Катрин.

— Ну, понятно... Не бойся, я свой характер знаю.

И Этьен замотал головой. Он ненавидел водку, как только может ее ненавидеть потомок многих поколений пьяниц, человек,

у которого наследственность, полученная от предков, пропитанных и сведенных с ума алкоголем, явилась для организма таким тлетворным началом, что малейшая капля спиртного становится для него ядом.

— Главное, вот из-за матери досадно, что выставили меня,— сказал он, прожевав кусок.— Матери плохо живется, ну я ей кой-когда и посылал деньжат.

— А где твоя мать живет?

— В Париже, на улице Гут-д'Ор. Прачкой работает.

Наступило молчание. Когда Этьен думал обо всем этом, его черные глаза сразу тускнели, красивого и здорового юношу охватывали растерянность и страх перед неведомым злом, которое он носил в себе. Секунду он сидел, устремив взгляд в темноту, и здесь, в недрах земли, в гнетущей духоте, ему вспомнилось детство, вспомнилось, как его мать, такую еще миловидную и энергичную женщину, бросил его отец, как потом вернулся к ней, когда она уже вышла за другого; и она жила меж двух этих мужчин, которые терзали ее, и вместе с ними скатилась в грязь, в помойную яму пьянства и разврата. Сколько пришлось ему тогда пережить! Крепко запомнилась ему эта улица и некоторые подробности: груды грязного белья в прачечной, попойки, отравляющие весь дом зловонием винного перегара, скандалы, драки и пощечины, которыми чуть не сворачивали человеку скулы.

— Ну, а теперь,— произнес он жалобно,— по тридцать су в день заработаю, не из чего будет посылать матери. Умрет она в нищете. Наверняка умрет!..

С выражением безнадежности передернув плечами, он откусил хлеба и молча стал жевать.

— Хочешь пить? — спросила Катрин, вытаскивая из фляги пробку.— Не бойся, от кофе вреда не будет... А всухомятку есть — подавишься...

Этьен отказался,— довольно и того, что он съел половину ее завтрака. Это ведь прямо бессовестно. Но Катрин настаивала, уговаривала от всего сердца и в конце концов сказала:

— Ну ладно, я пью первая, раз ты такой вежливый... И теперь ты не можешь отказаться. А не то я обижусь.

Приподнявшись на колени, она протянула ему флягу. Этьен увидел девушку совсем близко от себя при свете двух шахтерских ламп. Почему она сперва показалась ему некрасивой? Теперь, перемазанная, запачканная угольной пылью, она приобрела какую-то странную прелесть. На юном лице, возникшем из темноты, смеялся большой рот, сверкали белые зубы, большие зеленоватые глаза блестели, как у кошки. Пряди рыжеватых волос, выбившиеся из-под колпака, щекотали девичье ухо, и это ее смешило. Она больше не

казалась девочкой. «Лет четырнадцать ей как-никак есть»,— подумал он.

— Ну, чтобы доставить тебе удовольствие, давай сюда,— согласился Этьен и, отпив из горлышка, вернул ей флягу.

Она сделала второй глоток, заставила и его отпить еще раз, чтобы поделить поровну, как она говорила, и их забавляло, что узкое горлышко фляги переходит то в ее, то в его рот. Он уже подумывал, не схватить ли девушку в объятия да не поцеловать ли в губы? Его все больше искушали эти полные бледно-розовые губы, оттененные углем. Но он не решался, робея перед нею, ведь в Лилле он знал только продажных женщин самого низкого пошиба, а вот как подступиться к работнице, да еще живущей в своей семье?

— Тебе сколько лет? Четырнадцать есть? — спросил он.

Катрин удивилась и чуть не вспылила:

— То есть как четырнадцать? Мне уж пятнадцать!.. Правда, я худышка. У нас девушки не быстро растут.

Этьен продолжал свои расспросы. Она отвечала без всякого цинизма и без стыдливого смущения. Но хоть в отношениях между мужчиной и женщиной для нее, по-видимому, не было тайн, он чувствовал, что она невинна и что ее физическое развитие задерживается из-за того, что она вечно дышит спертым воздухом и надрывается на тяжелой работе. Когда он вспомнил историю с Мукеттой, желая смутить Катрин, девушка спокойно и весело принялась рассказывать ему анекдоты о непристойнейших проделках откатчицы. Да, Мукетта откалывает штучки, только держись! Этьен попытался узнать, есть ли возлюбленный у самой Катрин,— она шутливо ответила, что пока не хочет огорчать мать, но ведь это неизбежно и рано или поздно непременно случится. Она ежилась и слегка дрожала от холода в мокрой от пота одежде; когда она говорила об этой неизбежности, у нее было смиренное и кроткое выражение лица, словно она приготовилась терпеть и тяжкий труд, и подчинение мужчине.

— Возлюбленных сколько хочешь найдется, когда все вместе живут, верно?

— Понятно.

— И ведь никому от этого худа не бывает... Священнику на духу тоже можно не каяться.

— Священнику каяться? Подумаешь... очень нужно. А только вот Черного Человека надо остерегаться.

— Что это за Черный Человек?

— Старик углекоп. Бродит по шахте, и которая девушка согрешит, он ей шею свернет.

«Тереза Ракен».

Этьен в недоумении смотрел на нее, думая, что она смеется над ним.

— Да неужели ты веришь такой чепухе? Ты, должно быть, не училась?

— Нет, как же... училась. Я грамотная. И читать и писать умею... От этого нам польза... А вот отца и мать в детстве ничему не учили, да и других тоже.

Просто прелесть какая девчонка! Вот он доест хлеб и тогда обязательно обнимет ее и поцелует в губы, в ее пухлые розовые губы. Приняв такое решение, робкий парень почувствовал себя чуть ли не насильником, от волнения у него перехватило горло. Мужская одежда, облегавшая девичью фигуру, возбуждала и смущала его. Вот он прожевал последний кусок, отпил глоток кофе и передал флягу Катрин — ее очередь допить все до дна. Ну, пора действовать. Этьен настороженно посмотрел на забойщиков — не увидят ли они, как вдруг чья-то тень выросла у входа в штрек.

Шаваль уже несколько секунд молча смотрел на них издали. Затем подошел, удостоверился, что Маэ не может его видеть, наклонился над Катрин, сидевшей на земле, схватил ее за плечи, запрокинул ей голову и со спокойной наглостью впился поцелуем в ее губы, делая вид, что не обращает на Этьена никакого внимания. В этом поцелуе было утверждение своего права и ревнивая решимость.

Однако девушка возмутилась:

— Оставь меня, слышишь!

Шаваль поднял ей голову, заглянул в глаза. Рыжие усы и бородка казались огненными на его черном от угля горбоносом лице. Наконец он выпустил ее и пошел прочь.

Этьена кинуло в дрожь. До чего было глупо ждать! Теперь поцеловать ее невозможно,— она, пожалуй, подумает, что ему просто не хочется отставать от этого парня. Самолюбие его было уязвлено, он пришел в искреннее отчаяние.

— Ты зачем солгала? — спросил он вполголоса.— Ведь он твой любовник?

— Да нет же! Клянусь тебе! — крикнула она.— Ничего такого нет между нами. Иной раз просто подурим, только и всего... Да он и не здешний. Полгода поди, не больше, как приехал из Па-де-Кале.

Оба поднялись, пора было приниматься за работу. Внезапная холодность Этьена явно огорчила Катрин. Вероятно, она считала, что он красивее Шаваля и, может быть, предпочла бы его долговязому забойщику. Ей очень хотелось утешить, обласкать его. Она увидела, с каким удивлением Этьен смотрит на свою лампу, заме-

тив, что пламя стало голубым и окружено бледной каймой, и попробовала развлечь его.

— Пойдем, я что-то покажу тебе,— сказала она с приветливым, товарищеским видом.

Она привела его в глубину лавы и показала трещину в угольном пласте. Оттуда вырывалось легкое бульканье и посвистывание, похожее на щебетание птицы.

— Приложи руку... Чувствуешь ветерок?.. Это гремучий газ выходит.

Он застыл от изумления. Так это вот и есть тот самый ужасный газ, от которого может все взорваться? Катрин, смеясь, сказала, что нынче много газа вышло, раз пламя в лампах стало голубым.

— Скоро вы кончите болтать, лодыри? — раздался сердитый окрик Маэ.

Катрин и Этьен принялись торопливо нагружать вагонетку, потом стали толкать ее к бремсбергу, напрягая спину, чуть ли не ползком пробираясь под бугристой кровлей штрека. Уже со второго перегона они обливались потом, и снова у них хрустели суставы.

Возобновили свою работу и забойщики. Они нередко сокращали время завтрака, чтобы не охлаждаться; и толстые ломти хлеба, с жадностью поглощенные в недрах земли, вдали от света, теперь камнем лежали в желудках. Вытянувшись на боку, люди изо всех сил били обушком, одержимые одной-единственной мыслью — выдать на гора́ как можно больше угля. Ожесточенная, тяжкая борьба за скудный заработок все заслоняла. Они не чувствовали, что кругом струится вода, что от сырости у них пухнут ноги, что все тело сводит судорога — в таком неудобном положении приходится работать; не замечали духоты и мрака, из-за которых они чахли, словно растения, вынесенные в подвал. Проходил один час за другим, и чем дальше, тем более спертым становился воздух,— от жара, от копоти шахтерских лиц, от дыхания людей, от удушливой пелены рудничного газа, словно паутиной заволакивающего глаза; только ночью вентиляция проветривала подземные ходы, а теперь, в глубине кротовых нор, прорытых в толще каменных недр, задыхаясь, все в поту, стекавшем по разгоряченной груди, углекопы били и били обушками.

V

Наконец Маэ, не посмотрев на часы, оставленные в кармане куртки, остановился и сказал:

— Скоро час... Захарий, готово у тебя?

Захарий ставил подпорки. Но, занявшись этим делом, вдруг

все бросил и застыл, лежа на спине и уставясь глазами в одну точку: он замечтался, вспоминая, как играл вчера в кегли и сколько раз выиграл. Очнувшись, он ответил отцу:

— Кончил. Нынче сойдет! А завтра посмотрим.— И, вернувшись, занял в забое свое место. Левак и Шаваль тоже отложили обушки. Надо было передохнуть. Каждый отер мокрое лицо голой рукой, поглядывая на каменную кровлю, в которой расслаивались пласты сланца. Говорили они только о своей работе.

— Вот уже не везет так не везет! — заметил Шаваль.— Наткнулись на неустойчивую породу! А ведь при расчете про это и не подумают.

— Мошенники! — ворчал Левак.— Только и ждут, как бы нас надуть.

Захарий засмеялся: наплевать ему на работу и на все прочее, но приятно слышать, как ругают Компанию. Миролюбивый Маэ стал объяснять, что порода в шахте меняется через каждые двадцать метров. Надо судить по справедливости, разве можно все предусмотреть? Видя, что Левак и Шаваль не утихомирились и громко возмущаются начальством, он встревожился и сказал, беспокойно озираясь:

— Молчите! Будет вам!

— Правильно! — добавил Левак, тоже понижая голос.— А то влипнем.

Даже здесь, на этой глубине, всех преследовала мысль о доносчиках, словно у пластов угля, составлявших собственность Акционерной компании, были уши.

— Все равно,— вызывающе сказал Шаваль.— Пусть только этот боров Дансар посмеет еще разговаривать со мной, как в прошлый раз, я ему покажу... Будет помнить... Я тебе, мол, не мешаю блудить с толстомясыми беленькими бабешками, так и не ругайся...

Захарий прыснул от смеха. Роман старшего штейгера с женой Пьерона постоянно был предметом шуток всей шахты. Внизу, у забоя, засмеялась и Катрин, опираясь на рукоятку лопаты, и коротко объяснила Этьену, о чем идет речь. Маэ рассердился и уже не скрывал своего страха перед начальством.

— Ну ты, помолчи-ка лучше!.. Хочешь беду накликать, так по крайности подожди, когда один останешься.

Не успел он договорить, как в верхнем штреке послышались чьи-то шаги. И почти тотчас же появился в сопровождении старшего штейгера Дансара инженер шахты, прозванный рабочими коротыш Негрель.

— Говорил я тебе! — пробормотал Маэ.— Всегда они тут как тут, прямо из-под земли выскакивают.

Первым показался Поль Негрель, племянник директора, молодой человек двадцати шести лет, стройный, кудрявый брюнет с черными усиками. Острый нос и быстрые глаза придавали ему сходство с любопытным ручным хорьком; умный взгляд его искрился насмешкой, но сразу становился пронзительным и властным, когда Негрель разговаривал с рабочими. Одевался молодой инженер для работы так же, как они, и так же был перепачкан углем и, чтобы внушить им уважение, выказывал отчаянную храбрость, забирался в самые опасные закоулки, всегда был первым на месте обвала или при взрыве гремучего газа.

— Ну как, Дансар, пришли? — спросил он.

Старший штейгер, широколицый бельгиец с крупным мясистым носом сластолюбца, ответил с преувеличенной почтительностью:

— Пришли, господин Негрель... А вот тот человек, которого наняли утром.

Начальники прошли в забой и велели Этьену подойти. Инженер поднял лампу и пристально всматривался в него, не задавая никаких вопросов.

— Ну хорошо,— сказал он наконец.— Но помните, я не люблю, когда берут всяких прохожих. Чтоб этого больше не было!

Объяснений он не стал слушать. Дансар принялся докладывать: необходимо было нанять человека, и ведь высказано пожелание заменять, по возможности, женщин-откатчиц мужчинами. Не обращая на него внимания, Негрель осматривал кровлю, а забойщики тем временем принялись рубить уголь. Вдруг инженер воскликнул:

— Послушайте, Маэ, вы что, плюете на наши приказы? Ведь вас тут всех прихлопнет, черт бы вас драл!

— Да нет, крепко держится,— спокойно ответил углекоп.

— То есть как это «крепко»? Кровля оседает, а у вас тут стоек кот наплакал — одна от другой в двух метрах! Вы бы хоть ненадолго перестали рубить уголь да занялись вовремя креплением, но вы предпочитаете, чтоб вам башку размозжило. Извольте немедленно поставить стойки. Старые укрепить и новых добавить. Слышите?

Углекопы, недовольные распоряжением, вступили в спор, доказывая, что им лучше знать, соблюдены ли правила безопасности, и тогда Негрель вспылил:

— Ах, вот как? А когда вас задавит, кто будет отвечать? Вы? Нет, Компании придется платить пенсии вам или вашим вдовам... Повторяю, ваши повадки мне известны: ради двух лишних вагонеток угля вы готовы сдохнуть.

Не давая воли накопившемуся в душе негодованию, Маэ сказал степенно:

— Платили бы нам как следует, мы бы и крепление ставили лучше.

Инженер, не отвечая, пожал плечами. Спустившись в штрек, он крикнул снизу:

— Вам остается еще час работать. Принимайтесь все за крепление. И предупреждаю: артель будет оштрафована на три франка.

Слова эти были встречены глухим ропотом. Углекопов сдерживала только сила дисциплины, той военной дисциплины, которая подчиняла младших по чину старшим — от коногона до главного штейгера. Однако Шаваль и Левак злобно взмахивали кулаком, хотя Маэ и старался их утихомирить взглядом. Захарий насмешливо пожимал плечами. Но, пожалуй, больше всех взволновался Этьен. С тех пор как он очутился на дне этого ада, в нем нарастало глухое возмущение. Он смотрел на Катрин, она стояла, смиренно опустив голову. Ах, как же это возможно! Люди надрываются на такой тяжелой работе в этом могильном мраке и не могут заработать даже на хлеб насущный! Тем временем Негрель отходил все дальше в сопровождении Дансара, который почтительно выслушивал суждения начальника и только молча кивал головой. Вскоре снова громко раздались их голоса: оба остановились в штреке, осматривая крепление, которое артель обязана была поддерживать на протяжении десяти метров от своего забоя.

— Говорю вам, что они плюют на наши распоряжения! — кричал инженер.— А вы, черт бы вас взял, за ними не следите. Почему?

— Да как же не слежу? Все время вдалбливаешь им правила, просто охрипнешь.

Негрель позвал сердито:

— Маэ! Маэ!

Все спустились к штреку. Негрель продолжал:

— Поглядите-ка! Разве тут что-нибудь держится? Насовали как попало! Все наспех, наспех! Вон у этого верхняка нет упора: стойки отошли... Да, теперь я понимаю, почему ремонт крепления обходится так дорого. Вам что? Вам только бы продержалось, пока вы за это отвечаете... А потом — все в щепки, и Компания вынуждена держать целую армию ремонтных рабочих... Посмотрите-ка сюда, посмотрите... Ведь это сущее издевательство!

Шаваль хотел что-то сказать, но инженер оборвал его:

— Молчите, я знаю, что вы опять скажете. Пусть, мол, вам больше платят, не правда ли? Ну так запомните хорошенько мои слова. Предупреждаю, дирекция вынуждена будет платить вам за крепление отдельно, но соответствующим образом вам уменьшат

плату за вагонетку угля. Да, да. Посмотрим, что вы этим выиграете. А сейчас переделайте тут все крепление. Завтра приду проверю.

И, повернувшись спиной к углекопам, потрясенным этой угрозой, Негрель отправился дальше. Дансар, такой смирный в его присутствии, отстал от него на минутку и грубо крикнул рабочим:

— Значит, так? Из-за вас мне нагоняи получать? Я вам закачу не три франка штрафа, а кое-что похуже. Берегитесь!

А когда он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился гневом:

— Ах, будь ты проклят! Что несправедливо, то уж несправедливо. Я люблю, чтобы все по-хорошему, спокойно, потому как иначе нельзя столковаться. Но в конце концов тут поневоле зло возьмет. Вы слышали? Снизим, мол, расценок за вагонетку, и тогда за крепление получайте отдельно!.. Словом сказать, еще придумали способ, как платить нам поменьше. Вот дьяволы, вот дьяволы!

Ему хотелось на ком-нибудь сорвать гнев, и вдруг он заметил, что Катрин и Этьен стоят сложа руки.

— Ну, тащите скорей стойки! Что вы тут торчите, уши развесили? Вот как дам хорошего пинка!

Этьен отправился за стойками, нисколько не обижаясь на эту грубость. Он и сам был возмущен начальниками и находил, что углекопы слишком благодушны.

Впрочем, Левак и Шаваль облегчили душу ругательствами. Все, даже Захарий, яростно принялись крепить, полчаса слышен был только стук кувалды о деревянные столбы. Никто не произносил ни слова; тяжело дыша, все неистово сражались с оседающей породой,— они перевернули бы ее и подняли, навалившись плечом, если бы достало силы.

— Ну хватит! — сказал наконец Маэ, подавленный гневом и усталостью.— Половина второго... Эх! Ну и день выдался! И по пятьдесят су не заработали. Я ухожу, очень уж противно.

И, хотя оставалось еще полчаса до конца смены, он оделся. Остальные последовали его примеру. При одном взгляде на забой все приходили в ярость. Увидев, что Катрин опять принялась за работу, они позвали ее и сердито стали упрекать за неуместное усердие. Пусть себе уголь лежит или пусть сам отсюда выбирается, если у него ноги есть. И все шестеро, держа инструмент под мышкой, пошли обратно, к рудничному двору, до которого им предстояло пройти два километра той же дорогой, что и утром.

Когда забойщики спускались по людскому ходку, Катрин с Этьеном задержались, встретив Лидию, катившую вагонетку; де-

вочка остановилась, пропуская их, и рассказала, что куда-то исчезла Мукетта: у нее пошла носом кровь, просто ручьем полилась, и Мукетта куда-то убежала — делать себе примочки из холодной воды, и где она теперь — неизвестно. Выслушав рассказ, они двинулись дальше, а Лидия опять покатила вагонетку; измученная, перемазанная углем девочка напрягала худенькие руки и ноги и похожа была на тощего черного муравья, который упорно сражается с непосильной для него ношей. В некоторых ходах Этьен и Катрин, съезжали по спуску прямо на спине и втягивали голову в плечи, боясь ободрать себе лоб; по гладкому скату, отполированному спинами рабочих этого крыла шахты, скользили так быстро, что время от времени тормозили, хватаясь за деревянные стойки, и говорили, шутя: «А то, глядишь, салазки загорятся».

Внизу Этьен с Катрин оказались одни. Красные звездочки ламп уже исчезли вдали, на повороте штрека. Все веселье пропало. Оба шли тяжелой, усталой походкой, она впереди, он позади. Лампы коптили, Этьен с трудом различал Катрин в облаке мглистого тумана; мысль, что она женщина, вызывала у него раздражение: зачем он свалял дурака,— ни разу не поцеловал ее? Но воспоминание о Шавале мешало ему это сделать. Разумеется, она солгала: этот малый — ее любовник, они валялись тут на всех кучах щебня, она и бедрами-то покачивает, как настоящая шлюха. Без всякого основания он злился, будто Катрин изменила ему. А она меж тем поминутно оборачивалась, предупреждала его о каждом препятствии и, казалось, упрашивала быть повеселее. Тут они были так далеко от всех, отчего бы не пошутить, не посмеяться, как добрым друзьям? Наконец они дошли до откаточного квершлага, и Этьен почувствовал облегчение: скоро кончится мучительная для него раздвоенность; а Катрин в последний раз взглянула на него и запечалилась, словно ей жаль было счастья, которое уже никогда не вернется.

Теперь вокруг них кипела шумная подземная жизнь; то и дело проходили штейгеры; громыхали целые поезда вагонеток, и лошади тащили их разбитой рысцой. Ежеминутно звездами загорались в темноте шахтерские лампы. Приходилось прижиматься к стенке, пропускать черные фигуры коногонов и лошадей, обдававших путников своим дыханием. Жанлен, бежавший босиком позади своего поезда, выкрикнул какую-то непристойность, которую они не расслышали в грохоте колес. Они все шли, шли; Катрин умолкла; Этьен, не узнавая пути, пройденного утром, вообразил, что она заблудилась на этих подземных улицах и перекрестках; а главное, он стал мерзнуть, и чем ближе подходили к стволу шахты, тем ему становилось холоднее, он дрожал мелкой дрожью. В узких облицованных камнем коридорах воздух проносился с си-

лой урагана. Этьен впал в отчаяние, ему казалось, что они никогда не придут, и вдруг он оказался в рудничном дворе.

Шаваль бросил на них косой, недоверчивый взгляд и злобно скривил губы. Остальные были тут же, стояли на ледяном сквозняке, мокрые от пота, и молчали так же, как Шаваль, подавляя гневный ропот. К подъемнику пришли слишком рано,— раньше чем через полчаса их и не думали поднять, тем более что наверху шли сложные приготовления — собирались спустить в шахту лошадь. Стволовые все еще подтягивали к клети вагонетки с углем, катившиеся по чугунным плитам с таким оглушительным грохотом, словно тут перекидывали старые листы железа; потом клеть, взлетая вверх, исчезала в черной дыре, где по ней барабанил проливной дождь. Внизу вода струилась ручьями и стекала в десятиметровый колодец, издававший запах сырости и тины. У подъемника суетились стволовые,— они дергали веревки, подавая сигналы, нажимали на рукоятки рычагов, и все промокли до нитки, стоя в облаке водяной пыли. Горели три лампы без сетки, их красноватый свет и большие движущиеся тени людей придавали этому подземному залу сходство с разбойничьим вертепом, устроенным в пещере близ водопада.

Маэ сделал последнюю попытку. Он подошел к Пьерону, работавшему с шести часов утра.

— Слушай, позволь нам подняться... Ты ведь можешь.

Пьерон, видный парень с мощной мускулатурой и слащаво кротким лицом, испуганно замахал руками.

— Что ты, что ты! Нельзя! Попроси у штейгера... А то меня оштрафуют.

Снова послышался глухой ропот. Катрин наклонилась к Этьену и сказала ему на ухо:

— Пойдем посмотрим конюшню. Вот где славно!

В конюшню надо было проскользнуть незаметно — входить туда запрещалось. Она находилась в левой стороне двора, в конце короткой выработки. Конюшня эта, высеченная в твердой породе, со сводчатым потолком и кирпичной облицовкой имела двадцать пять метров в длину, четыре метра в высоту и могла вместить двадцать лошадей. Там и в самом деле было хорошо: такое приятное живое тепло, исходившее от животных, приятный запах свежей соломенной подстилки, запах лошадей, всегда содержавшихся опрятно. Единственная лампа разливала спокойный ровный свет. Лошади, поставленные на отдых, поворачивали головы, смотрели на людей выпуклыми, какими-то детскими глазами и снова принимались неторопливо жевать овес,— такие работящие, упитанные и здоровые лошадки, всеобщие любимицы на шахте.

Катрин стала читать вслух клички, написанные на цинковых

дощечках над кормушками, и вдруг ахнула, увидев внезапно выросшую перед ней фигуру. Это Мукетта вылезла из кучи соломы, в которую она зарылась, чтобы поспать. По понедельникам, если она чувствовала себя очень усталой после своих воскресных развлечений, Мукетта изо всей силы ударяла себя кулаком по носу и уходила из лавы, якобы поискать холодной воды, на самом же деле она забиралась на конюшне в солому, предназначенную для подстилки лошадям, и спала в тепле. Отец, всегда баловавший дочь, терпел ее присутствие, рискуя нажить неприятности.

Как раз в это время в конюшню вошел сам дядюшка Мук, низенький, лысый, морщинистый, но толстый,— явление редкое для пятидесятилетнего человека, бывшего углекопа. С тех пор как его назначили конюхом, он бросил курить трубку, зато стал жевать табак, да так усердно, что десны кровоточили в его черном рту. Заметив двух посторонних, стоявших возле его дочери, он ужасно рассердился.

— Эй, вы что тут делаете? Вон отсюда, все трое! Ну, живо! Я вам покажу, бесстыдницы, как водить сюда парней да безобразничать с ними у меня на соломе! Вон отсюда!

Мукетта, находя отповедь забавной, хохотала, ухватясь за бока. Но Этьен смутился и поспешил удалиться в сопровождении улыбавшейся Катрин. Когда все трое вернулись на рудничный двор, туда явились Бебер и Жаплен с поездом вагонеток. Клеть остановили, чтобы вкатить в нее вагонетки. Катрин подошла к лошади и, поглаживая, похлопывая ее, рассказала о ней своему спутнику. Лошадь носила кличку Боевая и была старше всех лошадей в шахте — уже десять лет работала она под землей, десять лет жила в этой яме, занимала в конюшне все тот же угол, пробегала рысцой все тот же путь по черным галереям, никогда не видя дневного света. Откормленная, с лоснистой белой шерстью, очень смирная, она, казалось, благоразумно примирилась со своей участью и была довольна, что укрыта здесь от несчастий, царящих вверху, на земле. Катрин сказала, что, живя во мраке, лошадь стала очень хитрой и сообразительной. Она так обжилась в штреке, в котором работала, что головой отворяла вентиляционные двери, сгибала шею, чтобы не ушибиться, когда проходила под нависшей кровлей. Вероятно, она считала перегоны, потому что, пробежав установленное их число, не желала идти дальше, и приходилось отводить ее к кормушке. С годами ее глаза, зоркие в темноте, как у кошки, порой заволакивала грусть. Быть может, в смутных своих мечтаниях она вспоминала место, где родилась,— мельницу близ Маршьена, красивую мельницу на берегу Скарпы, окруженную широкими зелеными просторами и всегда овеваемую ветром. И что-то яркое горело там вверху, что-то похожее на

огромную лампу, но что именно — она не могла вспомнить: в памяти животных образы расплывчаты. Расставив свои старые дрожащие ноги, она стояла, понурив голову, и тщетно пыталась вспомнить солнце.

А у ствола шахты хлопотали люди. Сигнальный молоток ударил четыре раза — в шахту спускали лошадь, а это всегда вызывало волнение, так как иной раз животное, потрясенное ужасом, вынимали из сетки мертвым. Вверху лошадь, опутанная сетью, бешено билась, но почувствовав, что почва ускользает у нее из-под ног, вдруг стихала и неслась вниз не шелохнувшись, уставив в темноту неподвижные, широко открытые глаза. Лошадь, которую спускали в тот день, была слишком крупна и не могла пройти между проводниками,— подвесив ее в сетке под клетью, ей, вероятно, пригнули голову к боку и связали в таком положении. Спуск длился три минуты — из осторожности замедлили ход машины. Люди внизу волновались. Да что там такое! Неужели остановились, и бедная пленница висит во тьме над пропастью? Наконец показалась лошадь, повисшая в каменной неподвижности, с остановившимся безумным взглядом, в котором застыл ужас. Это был молодой жеребец-трехлетка, гнедой масти, по кличке Трубач.

— Осторожней! — кричал дядюшка Мук: на его обязанности лежало принять лошадь.— Давай, давай еще! Погоди, не отвязывай.

Вскоре бедняга Трубач темной глыбой лежал на чугунных плитах. Он все еще не шевелился, до смерти испуганный этой черной бесконечной пропастью, этим глубоким подземельем и гулко отдававшимся грохотом. Его уже начали развязывать, как вдруг Боевая, которую только что отпрягли, подошла, вытягивая шею, собираясь обнюхать товарища, низринувшегося к ней с поверхности земли. Рабочие, обступившие Трубача, посмеиваясь, расширили круг. Ну что пришла? Или уж так хорошо пахнет новая лошадь? Но Боевая, равнодушная к насмешкам, ожила, воодушевилась. Верно, почуяла милый ее сердцу запах свежего воздуха, забытый запах травы, нагретой солнцем. И вдруг она звонко заржала, но в этой веселой музыке как будто слышались и умилительные рыдания. Тут было и ласковое приветствие, и воспоминания о давних днях радости, которыми вдруг повеяло на нее, и скорбь о новом узнике, которого поднимут на землю только мертвым.

— Ну и Боевая! Вот умница! — смеялись рабочие, восторгаясь повадками своей любимицы.— Смотри-ка, с товарищем разговаривает.

Лошадь развязали, но она все не шевелилась,— скованная

страхом, лежала неподвижно, как будто ее все еще стягивала веревочная сетка. Наконец ее подняли на ноги ударом кнута, и она стояла, ошеломленная, дрожащая. Дядюшка Мук увел на конюшню обеих лошадей, товарищей по несчастью.

— А долго ль нам еще ждать? — спросил Маэ.

Но сначала нужно было разгрузить клеть, и к тому же до подъема оставалось еще десять минут. Мало-помалу забои пустели, по всем выработкам шли в обратный путь углекопы. У клети собралось человек пятьдесят, все промокли и дрожали на сквозняках, грозивших им воспалением легких. Пьерон — куда делось елейное выражение его физиономии! — дал затрещину своей дочери Лидии за то, что она ушла из лавы раньше времени. Захарий исподтишка щипал Мукетту, озорства ради, «чтобы разогреться». Но у всех нарастало недовольство: Шаваль и Левак рассказали, что инженер грозился снизить расценок за вагонетку и только тогда оплачивать крепление отдельно; план дирекции был встречен гневными возгласами,— в этом темном подземелье, на глубине в шестьсот метров, забродила закваска возмущения. Уже никто не старался сдерживать голос, люди, перемазанные углем, продрогшие в долгие минуты ожидания, обвиняли Компанию в том, что половину рабочих убивают в шахте, а другую морят голодом. Этьен слушал с волнением.

— А ну живей! Живей! — покрикивал на стволовых штейгер Ришом.

Ему хотелось поскорее начать подъем — он не желал наказывать рабочих за крамольные речи. Однако ропот раздавался все громче, и Ришому пришлось вмешаться. За его спиной углекопы кричали, что не всегда так будет, и в одно прекрасное утро вся эта лавочка полетит ко всем чертям.

— Слушай, ты ведь разумный человек,— сказал он Маэ.— Заставь их замолчать. Надо помнить: с сильным не борись, с богатым не судись,— будь осторожен.

Но хотя Маэ притих и встревожился, ему не понадобилось вмешиваться. Голоса вдруг смолкли: возвращаясь после инспекционного осмотра, из квершлага вышли Негрель и Дансар, оба в поту, как и рабочие.

Повинуясь привычной дисциплине, углекопы расступились, пропуская начальство, и инженер прошел через толпу, не промолвив ни слова. Он сел в одну вагонетку, штейгер — в другую; стволовой дернул веревку пять раз, подавая сигнал о подъеме «тузов», как называли начальство, и клеть понеслась вверх, провожаемая угрюмым молчанием рабочих.

VI

Поднимаясь в клети вместе с четырьмя другими рабочими, примостившимися в вагонетке, Этьен решил пуститься дальше в скитания по дорогам. Не лучше ли подохнуть с голоду сразу, чем надрываться в этом аду и не зарабатывать даже на хлеб? Катрин сидела выше его, он не чувствовал ее близости, она не согревала его таким приятным теплом. Лучше не думать о всяких глупостях и уйти отсюда; ведь образования у него побольше, чем у здешних углекопов, а потому и овечьего их смирения нет,— он в конце концов удушит какого-нибудь начальника.

Вдруг яркий луч ослепил его. Подъем совершился так быстро, что дневной свет ошеломлял, резал глаза, отвыкшие от этого сияния. Но как радостно было почувствовать, что клеть остановилась и крепко осела на свои упоры. Рукоятчик отворил дверь, рабочие выпрыгнули из вагонеток и гурьбой вышли в приемочную.

— Слушай, Муке,— зашептал Захарий на ухо рукоятчику.— Дернем нынче вечером в «Вулкан», а?

«Вулканом» назывался дешевый кафешантан в Монсу.

Муке молча подмигнул приятелю левым глазом и ухмыльнулся, растянув рот до ушей. Низенький, коренастый, как отец, с нахально вздернутым носом, он выглядел гулякой, который все проест и пропьет, не думая о завтрашнем дне. Как раз тут вышла из клети Мукетта, и любезный братец в знак нежной любви изо всей силы хлопнул ее по спине.

Этьен с трудом узнал высокое помещение приемочной, которое казалось ему таким таинственным и страшным при неверном свете фонарей. Теперь оно было просто-напросто пустым и грязным. Сквозь запыленные оконные стекла проникал тусклый свет. Только машина в дальнем конце блестела медными частями; густо смазанные тросы бежали, как ленты, смоченные чернилами; укрепленные вверху шкивы, огромная стальная перекладина, на которой они держались, клети, вагонетки — все это изобилие металла придавало бараку мрачный вид своими серыми жесткими тонами старого железа. Громыханье колес непрестанно сотрясало чугунные плиты, а от угля, который перевозили в вагонетках, поднималась мелкая пыль, покрывавшая пол, стены и даже балки копра.

Вернулся Шаваль, заходивший в застекленную каморку приемщика посмотреть на таблицу, где выработка каждой артели отмечалась по жетонам. Он был взбешен: оказывается, у них забраковали две вагонетки,— одна была недогружена против установленного веса, а в другой уголь был смешан с пустой породой.

— Этого еще недоставало! — кричал он.— Скостят теперь два-

дцать су!.. Вперед наука, не берите лодырей, которые только вертят руками, как свинья хвостиком.

И, бросив косой взгляд на Этьена, он и без слов досказал свою мысль. Того так и подмывало ответить ударом кулака. Но он сдержался: к чему связываться, все равно надо уходить. И он окончательно решил уйти.

— Кто же это в первый день хорошо работает? — заметил Маэ, желая водворить мир.— Завтра он получше справится.

Тем не менее все были раздражены, затевали ссоры, чтобы на ком-нибудь сорвать злобу. Когда стали сдавать лампы, Левак придрался к ламповщику, обвиняя его в том, что он плохо вычистил его лампу. Нервы несколько успокоились только в раздевальне, где по-прежнему топилась печь. В нее даже слишком щедро насыпали угля, чугунные стенки раскалились докрасна, и все обширное помещение без окон, казалось, было охвачено пожаром — такие яркие, багровые отблески пламени плясали на стенах. С довольным ворчанием все принялись греться, стоя на некотором расстоянии от печки, и от всех шел пар, словно от миски кипящего супа. Поджарив себе спину, грели живот. Мукетта преспокойно спустила с себя штаны, чтобы высушить рубашку. Парни стали зубоскалить, и вдруг грянул хохот: она показала насмешникам зад, выразив таким образом крайнее свое презрение.

— Я ухожу,— сказал Шаваль, спрятав шахтерский инструмент в шкафчик.

Никто не пошевелился. Только Мукетта торопливо оделась и побежала вслед за ним — под тем предлогом, что им обоим идти в Монсу. Опять начались шуточки: всем было известно, что она надоела Шавалю.

Тем временем Катрин о чем-то озабоченно говорила отцу. По-видимому, он сперва удивился, потом одобрительно закивал головой и подозвал Этьена.

— Послушайте,— тихонько сказал Маэ, передавая ему узелок,— если вы без гроша, то до получки вполне успеете подохнуть с голоду... Ведь ждать две недели!.. Хотите, я постараюсь устроить вам где-нибудь кредит?

Молодой человек смутился. Он как раз собирался попросить полагавшиеся ему тридцать су и уйти. Но ему стало стыдно перед Катрин. Она пристально смотрела на него. Пожалуй, еще подумает, что он боится работы.

— Я, конечно, ничего обещать не могу,— продолжал Маэ.— Откажут так откажут — ничего не поделаешь.

Этьен не стал возражать. Все равно откажут. Да и ни к чему это не обязывает. Он всегда может уйти, перекусив немного. И тут же подосадовал, зачем не сказал: «Нет». Неловко было видеть, как

обрадовалась Катрин, как мило она улыбнулась и дружелюбно посмотрела на него, довольная, что пришла ему на помощь. К чему все это?

Наконец все спутники Маэ обулись в деревянные башмаки, заперли свои шкафчики и двинулись из барака вместе с товарищами, которые, погревшись, уходили один за другим. Пошел вслед за ними и Этьен. Левак с сыном присоединились к компании. Но, проходя через сортировочную, они увидели начавшуюся там драку и остановились.

Сортировочная помещалась в обширном сарае с черными балками, покрытыми угольной пылью, с широкими решетчатыми ставнями, в которые непрестанно задувал ветер. Вагонетки с углем поступали сюда прямо из приемочной, затем их опрокидывали на грохота — длинные качающиеся корыта из листового железа, по обе стороны их стояли на ступеньках сортировщицы, вооруженные совком и граблями, выбирали куски породы, подталкивали чистый уголь, и он через воронки сыпался в железнодорожные товарные вагоны, стоявшие под сараем.

В сортировочной работала Филомена Левак, худенькая и бледная женщина с покорным, кротким лицом, она была чахоточная, харкала кровью. Повязав голову обрывком синей шерстяной шали, засучив рукава, быстро двигая черными по локоть руками, она сортировала уголь, стоя ниже матери Пьерона, по прозвищу «Горелая», злой, как ведьма, ужасной старухи с совиными глазами и плотно сжатым провалившимся ртом. Филомена и Горелая разругались,— молодая обвиняла старуху в том, что она выгребает у нее камни и ей, Филомене, не удается за десять минут наполнить корзину. Им платили с корзины, поэтому из-за пустой породы постоянно вспыхивали ссоры и потасовки. Летели клочья волос, на багровых от пощечин щеках оставались черные отпечатки ладоней.

— А ну, дай ей раза как следует! — крикнул сверху Захарий своей любовнице.

Все сортировщицы захохотали. Но Горелая яростно набросилась на него:

— Ах ты пакостник! Ты бы лучше признал своих ублюдков. Ведь ты с ней двух ребят прижил!.. Подумать только! В восемнадцать лет детей плодит! Туда же, заморыш несчастный!

Маэ удержал сына, не позволив ему спуститься и пересчитать ребра старой хрычовке, как выразился Захарий. Прибежал надзиратель, грабли опять стали ворочать уголь. От верхней до нижней ступени грохотов видны были только согнутые спины женщин, из-под носа друг у друга выхватывавших куски породы.

На улице ветер вдруг стих. С серого неба моросил мелкий, холодный дождь. Углекопы ежились в жидкой своей одежонке,

втягивали голову в плечи и, засунув руки под мышки, шли размашистой походкой, от которой раскачивались их ширококостные фигуры. При дневном свете они похожи были на негров, перепачканных грязью. Кое-кто не съел своего завтрака, и узелок с оставшейся краюшкой хлеба горбом торчал у них на спине под курткой.

— Гляди-ка, Бутлу идет! — язвительно хихикая, сказал Захарий.

Левак, не останавливаясь, перебросился несколькими словами со своим жильцом, человеком лет тридцати пяти, благодушным и славным крепышом.

— Ну как, обед-то будет нынче, Луи?

— Кажется, будет.

— Жена, стало быть, в духе.

— Кажется, да.

Приходили и другие рабочие,— на шахту спешили все новые партии. Дневная смена начиналась в три часа; шахта опять поглощала целые полчища людей, и они растекались вместо забойщиков по всем выработкам и лавам. Клети никогда не стояли без дела: и днем и ночью люди, как насекомые, точили землю под свекловичными полями, прокладывали извилистые ходы на глубине в шестьсот метров.

А среди тех, кто возвращался домой, первыми шли мальчишки. Жанлен доверительно излагал Берберу сложный план, как раздобыть без денег табаку на четыре су; Лидия следовала за ними на почтительном расстоянии. Катрин шла вместе с Захарием и Этьеном. Все трое молчали. У кабачка «Выгода» их догнали Маэ и Левак.

— Нам сюда,— сказал Маэ Этьену.— Хотите зайти?

Группа разделилась. Катрин остановилась на секунду и в последний раз взглянула на Этьена своими зеленоватыми глазами, прозрачными, как родник; измазанные черные щеки оттеняли глубину этих кристально чистых глаз. Она улыбнулась и пошла вместе с другими по дороге, поднимавшейся к поселку.

Кабачок стоял на полпути между поселком и шахтой, у перекрестка двух дорог. Помещался он в трехэтажном кирпичном доме, выбеленном сверху донизу известкой, с маленькими окнами, для красоты обведенными широкой лазоревой каймой. На квадратной вывеске, прибитой над входом, желтыми буквами значилось:

«ВЫГОДА»

Питейное заведение

Раснера

За домом на площадке, окруженной живой изгородью, устроен был кегельбан. Угольная Компания всемерно, но тщетно старалась

приобрести этот участок земли, врезавшийся в ее обширные владения, и ненавидела кабачок Раснера, открытый им чуть ли не у самого выхода из Ворейской шахты.

— Заходите,— еще раз сказал Этьену Маэ.

Небольшая светлая комната с чисто выбеленными голыми стенами, три стола и дюжина стульев; еловая стойка шириною с кухонный шкаф; на стойке с десяток пивных кружек, три бутылки спиртного, графин, цинковый бачок с оловянным краном для пива. Больше ничего — ни одной картинки, ни одной полочки, никаких игр. В массивном чугунном камине, покрытом блестящим черным лаком, потихоньку горела угольная мелочь. Каменные плиты пола были посыпаны тонким слоем белого песка, который впитывал влагу, насыщавшую и воздух и землю в этом сыром краю.

— Кружку! — скомандовал Маэ белокурой толстушке, дочери соседки Раснера, которую он иной раз оставлял за стойкой, когда уходил.

— Раснер дома?

Повернув кран, девушка ответила, что хозяин сейчас вернется. Медленно, не отрываясь, углекоп выпил сразу полкружки, чтобы очистить горло от угольной пыли. Он не угостил Этьена. Единственный посетитель, явившийся до них, сидел за столом в мокрой перемазанной одежде и молча, в глубоком раздумье пил пиво. Вошел третий, жестом приказал налить ему кружку, расплатился и ушел, так и не сказав ни слова.

Затем появился полный улыбающийся человек лет тридцати восьми, с гладко выбритым круглым лицом. Это возвратился Раснер, бывший забойщик, уволенный Компанией три года назад после забастовки. Он был отличный рабочий, хороший оратор, всегда оказывался застрельщиком требований углекопов и в конце концов стал вожаком недовольных. Жена его, как и многие жены углекопов, держала маленький кабачок; когда Раснера выбросили на улицу, он сам стал кабатчиком: раздобыл денег и, в пику Компании, открыл питейное заведение почти напротив Ворейской шахты. Теперь оно процветало, стало общественным центром, и гнев, который постепенно Раснер вдохнул в бывших своих товарищей, приносил ему достаток.

— Вот этого малого я нанял нынче утром,— тотчас же объяснил ему Маэ.— Есть у тебя свободная комната? И можешь ли ты кормить его в долг две недели?

Широкое лицо Раснера вдруг выразило недоверие. Он окинул Этьена быстрым взглядом и, даже не дав себе труда выразить сожаление, коротко ответил:

— Обе комнаты заняты. Не могу.

Этьен заранее ждал отказа, и все же ему стало горько, он сам удивился, что ему обидно уходить отсюда. Ничего не поделаешь, придется,— вот только получить бы заработанные тридцать су. Углекоп, сидевший за кружкой пива, встал и ушел. Заходили поодиночке другие и, прочистив горло, шли дальше размашистым шагом. Они просто промывали глотку, пили без веселья, без удовольствия,— молча утоляли жажду.

— Ну, что у вас? Ничего нового? — спросил Раснер, как-то особенно глядя на Маэ, маленькими глотками допивавшего кружку.

Маэ обернулся и, увидев, что в комнате, кроме Этьена, никого нет, ответил:

— Да вот нынче опять схватились... из-за крепления.

И он рассказал, что произошло. Раснер побагровел, кровь прилила у него к лицу, казалось, так и брызнет из пор, глаза засверкали. Он выругался и возмущенно крикнул:

— Ах, так? Ну, если они вздумают снизить расценки — крышка им!

Присутствие Этьена мешало ему, однако он не мог сдержаться и ораторствовал, искоса поглядывая на чужака. Прибегая иногда к обинякам и намекам, он говорил о директоре копей, господине Энбо, о его жене, о его племяннике, инженере Негреле, не называя их, впрочем, по именам, твердил, что дольше так продолжаться не может, не сегодня-завтра у людей лопнет терпение. Нищета кругом слишком велика, и он перечислял, какие заводы закрылись, сколько рабочих уволили. Вот уже месяц он раздает по шести фунтов хлеба в день. Вчера ему сказали, что господин Денелен, владелец соседней шахты, не знает, удастся ли ему выдержать кризис. Кроме того, Раснер получил письмо из Лилля, полное весьма тревожных сведений.

— Знаешь от кого письмо? — тихо сказал он.— От того человека, которого ты здесь видел однажды вечером.

Но ему пришлось прервать беседу. Пришла его жена, высокая и худая энергичная женщина, с длинным носом и красными пятнами на скулах. В политике она была куда левее мужа.

— Письмо от Плюшара,— сказала она.— Эх, если б он стоял здесь во главе рабочих, сразу все пошло бы лучше!

Этьен прислушивался к разговору, понимал его и был страстно взволнован мыслями о нищете и возмущении. Услышав брошенное имя, он встрепенулся, и, словно нечаянно, у него вырвалось:

— Я знаю Плюшара.— В ответ на вопрошающие взгляды он добавил: — Да, я механик, а он был старшим мастером у нас в депо, в Лилле. Умный человек, я частенько с ним разговаривал.

Раснер еще раз внимательно оглядел незнакомца, и в лице

его сразу произошла перемена: оно выразило чувство симпатии. Потом, повернувшись к жене, сказал:

— Вот Маэ привел ко мне этого молодого человека, своего откатчика. Спрашивает, не найдется ли у нас свободной комнаты для него и не можем ли мы открыть ему кредит на две недели.

Дело было решено в двух словах: нашлась свободная комната — постоялец съехал в тот день утром. Кабатчик, крайне возбужденный, заговорил откровеннее и все твердил, что он требует от хозяев только возможного, тогда как другие желают добиться того, что чрезвычайно трудно осуществить. Жена его, пожимая плечами, говорила, что рабочие, безусловно, «в своем праве».

— Ну, пока до свидания! — прервал ее Маэ.— Что ни говорите, а приходится нашему брату под землей спину гнуть, и раз так, значит, и будем там подыхать. Гляди, каким ты стал молодцом, а ведь только три года, как выбрался оттуда.

— Да, я очень поправился,— самодовольно сказал Раснер.

Этьен проводил забойщика до двери и все благодарил его, но тот лишь покачивал головой и ничего не отвечал. Этьен долго смотрел ему вслед, пока Маэ тяжелой поступью шел по дороге, ведущей к поселку.

Жена Раснера, обслуживавшая посетителей, попросила нового постояльца подождать — через минутку она покажет отведенную ему комнату и он сможет там помыться. Этьена опять охватили сомнения: стоит ли оставаться? Жаль было проститься с вольными скитаниями, с солнцем, с радостью быть самому себе хозяином, хотя бы ценою лишений и голода. Ему казалось, что он прожил уже несколько лет с тех пор, как, замерзая на холодном ветру, добрел до террикона, а потом несколько часов ползком пробирался в черном мраке подземных галерей. Тошно было думать, что придется все начинать сызнова. Нет, какая несправедливая, какая жестокая участь! Его человеческая гордость возмущалась, ему не хотелось превратиться в животное, которое слепнет во мраке и погибает раздавленным. Пока в душе Этьена совершалась внутренняя борьба, взгляд его блуждал по огромной равнине, и мало-помалу он разглядел ее. Он изумился,— совсем не такими представлял он себе эти просторы, когда старик Бессмертный во тьме указывал на них рукой. Прямо перед собою, в ложбине, он действительно видел Ворейскую шахту — деревянные и кирпичные постройки, сортировочную с крышей из толя, вышку копра, крытую шифером, барак машинного отделения и высокую красноватую трубу. Неприглядны были все эти строения, сбившиеся в кучу. Но вокруг них простирался двор, и Этьен никак не думал, что он такой большой: двор походил на черное озеро с застывшими валами каменного угля, над ними вздыбились высокие мостки, по

которым проложены были рельсы; в одном углу белели штабеля бревен, как будто там свалили целый лес срубленных деревьев. Справа горизонт заслоняла громада терриkона, поднимавшаяся, словно исполинский крепостной вал; в самой старой своей части он давно порос травой, а в другом конце его сжигал огонь, целый год горевший внутри этой искусственной горы,— о нем свидетельствовали струи густого дыма, выбивавшегося на поверхность, да длинные подтеки багрового и ржавого цвета, змеившиеся среди белесых, серых кусков сланца и песчаника. А дальше раскинулись поля, бесконечные поля, засеянные пшеницей и свеклой, голые в эту пору года; болота с жесткой щетиной камышей, над которыми кое-где высились ивы с корявыми стволами; далекие луга, пересеченные унылыми вереницами тополей. И совсем далеко белыми пятнами выделялись города: на севере — Маршьен, на юге — Монсу; на востоке горизонт окаймляла лиловатая полоса оголенного Вандамского леса. И под этим хмурым небом, в тусклом свете угасавшего зимнего дня казалось, что вся чернота копей, вся летучая угольная пыль пала на равнину, осела толстым слоем на деревьях, покрыла дороги, смешалась с землей.

Этьен смотрел, и больше всего его поразил канал — речка Скарпа, выпрямленная каналом, ночью он их не видел. От Воре до Маршьена на протяжении двух лье канал шел по прямой и казался ровной лентой матового серебра, а вдоль него тянулась, убегая в бесконечность, обсаженная деревьями насыпная дорога, возвышавшаяся над низиной; меж зеленых берегов блеснула голубовато-серая водная гладь, по ней медленно скользили баржи с красной кормою. Близ шахты находилась пристань, видны были стоявшие на причале баржи, в них грузили уголь, подвозя к ним вагонетки по мосткам с рельсами. Затем канал делал поворот и наискось пересекал болото; вся душа этой гладкой равнины заключена была в геометрических линиях канала, проходившего по ней, как большая дорога, перевозившая уголь и железо.

Этьен перевел взгляд на рабочий поселок, построенный на плоской возвышенности,— издали виднелись черепичные красные кровли. И вновь любопытство влекло его к Ворейской шахте, даже к глинистому пологому скату, у подножия которого высились два огромных штабеля кирпичей, изготовленных и обожженных на месте. За изгородью двора проходила ветка железной дороги, обслуживавшей копи. Должно быть, последняя партия ремонтных рабочих спустилась в шахту. По двору медленно двигался товарный вагон, который подталкивали рабочие под пронзительные свистки десятника. Исчезло все обаяние неведомого, таившегося во мраке, непонятного громыхания, необъяснимых раскатов грома, сияния непостижимых звезд. Вдали вздымались к небу доменные

печи и коксовые батареи, но пламя, горевшее над ними, побледнело еще в час рассвета. Ничего не оставалось прежнего, кроме прерывистых всхлипываний водоотливного насоса и пыхтения, похожего на шумное, долгое дыхание людоеда, обозначавшееся в воздухе серой дымкой, которую Этьен различал теперь,— дыхание ненасытного, прожорливого чудовища.

И вот Этьен решил остаться. Быть может, ему вспомнились светлые глаза Катрин, взгляд, который она бросила, уходя в поселок. А возможно (скорее всего именно это и подействовало), его привлек ветер возмущения, подувший в угольных копях. Он и сам этого не знал. Но он решил опять спуститься в шахту, чтобы страдать и бороться; он с ненавистью думал о тех людях, о которых говорил Бессмертный, об откормленном, тучном божестве, которому тысячи голодных, никогда не видевших его, отдавали свои силы и свою кровь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Усадьба Грегуара, именовавшаяся Пиолена, находилась в двух километрах от Монсу, к востоку от города, в сторону Жуазеля. Господский дом — квадратное здание без всякого архитектурного стиля — построен был в начале прошлого века; из всех обширных земель, когда-то входивших в имение, осталось около тридцати гектаров, окруженных изгородью; содержать владение в порядке было нетрудно. Прекрасный огород и плодовый сад Грегуара стали знамениты: фрукты и овощи, выращиваемые в Пиолене, славились во всей округе. Правда, в усадьбе не было парка, его заменял маленький перелесок, зато аллея в триста метров, обсаженная старыми липами, ветви которых переплетались, образуя длинный свод — от ворот до крыльца дома, считалась одной из достопримечательностей на этой голой равнине, где на всем пространстве между Маршьеном и Боньи большие деревья были наперечет.

В то утро супруги Грегуар встали в восемь часов. Они любили поспать и обычно поднимались часом позже; но буря, бушевавшая ночью, привела их в нервное состояние. Муж тотчас же отправился посмотреть, не натворил ли ветер беды, а жена, надев фланелевый капот и шлепанцы, пошла на кухню. У этой низенькой толстой старушки даже в пятьдесят восемь лет, при белоснежных сединах, лицо хранило детски удивленное выражение.

— Мелани,— сказала она кухарке,— не спечь ли нам слоеную булку, раз тесто уже готово? Барышня встанет через полчаса, не раньше. А с каким удовольствием она выпьет за завтраком чашку шоколада со слоеной булкой... Право, приятный был бы ей сюрприз!

Кухарка, худощавая старуха, служившая у Грегуаров тридцать лет, засмеялась:

— Верно, хороший сюрприз!.. Плита у меня топится, духовка поди уже накалилась. Онорина мне подсобит.

Онорина, девушка лет двадцати, взятая Грегуарами еще девочкой и воспитанная в доме, исполняла теперь обязанности горничной. Вся прислуга состояла из двух этих женщин и кучера Франсиса, на котором лежала черная работа. Садовник с женой ведали цветником, огородом, плодовым садом и скотным двором. Порядки в доме были патриархальные, и в этом маленьком мирке царило доброе согласие.

Госпожа Грегуар, еще лежа в постели, задумала сделать дочери сюрприз и угостить ее слоеной булкой; теперь она осталась в кухне, чтобы проследить, как будут сажать тесто в печь. Кухня была огромная, и, судя по великой опрятности, царившей там, по богатому набору кастрюль, котлов, горшков и прочей утвари, которой ее оснастили, она имела важное значение в доме. В ней стояли приятные запахи вкусных яств. Шкафы, поставцы и лари были битком набиты запасами провизии.

— Смотрите, пусть хорошенько подрумянится,— наказывала г-жа Грегуар, направляясь из кухни в столовую.

Хотя весь дом отапливался при помощи калориферов, в столовой разожгли камин, и в нем веселым пламенем горел каменный уголь. Впрочем, в обстановке не было никакой роскоши: большой стол, стулья, буфет красного дерева; только два глубоких мягких кресла свидетельствовали о любви хозяев к удобству, комфорту, о том, как приятно и полезно для пищеварения посидеть у камелька после сытных трапез. Супруги никогда не заглядывали в гостиную, проводили время в столовой, по-семейному.

Вскоре возвратился г-н Грегуар, одетый в теплую куртку из толстой байки, в шестьдесят лет такой же румяный, как и жена, с великолепной седой шевелюрой, с крупными чертами славного, добродушного лица. Он поговорил и с кучером и с садовником: серьезных повреждений не оказалось, только сбило ветром с крыши дымовую трубу. Г-н Грегуар любил надзирать за порядком и каждое утро обозревал свою усадьбу: она была не велика, не доставляла ему особых забот, зато он черпал в ней все радости помещичьей жизни.

— А что Сесиль? — спросил он.— Не собирается сегодня вставать?

— Ничего не понимаю! — ответила жена.— Мне казалось, она возится у себя в комнате.

Стол был уже накрыт. На белоснежной скатерти стояли три больших чашки. Онорину послали посмотреть, что делает барышня. Но она тотчас вернулась и, сдерживая смех, сказала вполголоса, как будто все еще была наверху в барышниной спальне:

— Ох, если бы видели! Барышня-то наша... Спит себе! Ох, как спит! Ну, прямо ангелочек!.. Вы даже и представить себе не можете! Одно удовольствие глядеть на нее.

Родители обменялись умиленным взглядом. Отец сказал, улыбаясь:

— Пойдем посмотрим.

— Милочка наша! — пролепетала мать.— Пойдем!

И они вместе поднялись на второй этаж. Во всем доме только спальня их дочери была обставлена роскошно: стены обтянуты голубым шелком, мебель белого лака с голубыми прожилками,— прихоть балованного ребенка, которую родители поспешили удовлетворить. В комнате стоял полумрак, лишь узкая полоска света пробивалась из окна сквозь неплотно задернутые занавески, и на смутно видневшейся белой кровати сладким сном спала Сесиль, подложив ладонь под щеку. Она не отличалась красотой, казалась слишком здоровой, слишком полнокровной, слишком созревшей для восемнадцатилетней девушки; но у нее было великолепное тело, блиставшее молочной белизной, пушистые каштановые волосы, круглое свежее личико и задорный носик, едва видневшийся меж пухлых щек. Одеяло соскользнуло с нее, но она не чувствовала этого, а дышала так тихо, что от дыхания даже не приподнималась ее пышная грудь.

— Бедняжка, верно, всю ночь не сомкнула глаз из-за этого проклятого ветра,— прошептала мать.

Отец знаком призвал ее к молчанию. Оба нагнулись и с восторгом смотрели на свою дочь, раскинувшуюся в девственной наготе, на свою обожаемую долгожданную дочь, родившуюся у них так поздно, когда они уже потеряли надежду иметь детей. Родителям она казалась совершенством, оба полагали, что их Сесиль ничуть не толста, даже недостаточно упитанна, так как плохо кушает. Сейчас она спала крепким сном, не чувствуя, что они склонились над ней, что их лица почти касаются ее щеки. Но вот легкая волна пробежала по ее застывшему лицу. Отец с матерью перепугались, как бы она не проснулась, и на цыпочках вышли из комнаты.

— Т-шш! — прошептал г-н Грегуар, переступив порог.— Может, она не спала ночь, не надо ее будить.

— Да, пусть выспится хорошенько, наша дорогая деточка,— подхватила г-жа Грегуар.— Мы подождем ее.

Они спустились в столовую и уселись в мягкие кресла; служанка, и не думая ворчать, поставила шоколад на слабый огонь. Отец взялся за газету, а мать за вязанье — широкое гарусное покрывало. В комнате было очень тепло, в доме стояла глубокая тишина.

Все состояние Грегуаров, дававшее им около сорока тысяч

франков ежегодного дохода, заключалось в одной-единственной акции угольных копей в Монсу. Супруги охотно рассказывали о происхождении своего богатства, основу которому положило возникновение Компании.

В начале прошлого века какое-то безумие овладело людьми на всем протяжении от Лилля до Валансьена: все стали искать каменный уголь. Всем вскружили голову успехи предпринимателей, основавших впоследствии Анзенскую компанию. В каждой коммуне копали землю; за одну ночь создавали товарищества, получали концессии. Из всех одержимых каменноугольной горячкой того времени самое яркое воспоминание о себе оставил барон Дерюмо, отличавшийся недюжинным умом и героическим упорством. В течение сорока лет он с неослабным мужеством боролся против всевозможных препятствий; первые изыскания оказались бесплодными, после долгих месяцев работы приходилось бросать заложенные шахты, обвалы уничтожали горные выработки, рабочие гибли при нежданных наводнениях, в недрах земли пропадали сотни тысяч франков; помимо того, возникали неприятности с властями предержащими, впадали в панику пайщики, надо было сражаться с помещиками, не желавшими признавать концессий, выданных королем, если предприниматели отказывались заранее договориться с ними. Наконец барон основал товарищество на паях: «Дерюмо, Фокенуа и К⁰» — для разработки угольного месторождения в Монсу, и копи уже начали давать небольшую прибыль, как вдруг барон Дерюмо чуть не потерпел крах под ударами жестокой конкуренции со стороны соседних каменноугольных копей в Куньи, принадлежавших графу де Куньи, и Жуазельских копей товарищества Корниль и Женар. На его счастье, 25 августа 1760 года три эти предприятия заключили между собой соглашение и слились в одно товарищество. Была основана Компания угольных копей в Монсу, которая существовала и по сей день. Для распределения паев взяли за образец денежную единицу того времени: весь капитал поделили на двадцать четыре «су», а каждое су — на двенадцать денье, что составляло в целом двести восемьдесят восемь денье; а так как одно «денье» равнялось десяти тысячам франков, основной капитал достигал почти трех миллионов. Дерюмо, дошедший до крайности, все же оказался победителем: он получил при разделе шесть «су» и три «денье».

В те годы усадьба Пиолена с тремястами гектаров земли принадлежала барону Дерюмо; управителем имения у него состоял Оноре Грегуар, уроженец Пикардии, прадед Леона Грегуара — отца Сесили. При заключении соглашения о Компании угольных копей в Монсу Оноре, у которого было в кубышке тысяч пятьдесят франков, заразился непоколебимой верой своего хозяина и вложил в

предприятие десять тысяч франков полновесными экю, взяв себе пай — одно «денье», и трепетал от ужаса, что таким образом он обездолил своих детей. Действительно, его сын Эжен получал весьма скудные дивиденды, а так как он приобрел барские замашки и имел глупость пустить по ветру остальные сорок тысяч отцовского наследства, вложив их в какое-то убыточное предприятие, то жил он довольно стесненно. Но постепенно прибыль пайщиков все возрастала, сын Эжена, Фелисьен Грегуар, стал богатым человеком и осуществил мечту, которую с детских лет лелеял его дед, бывший управитель господского имения: он приобрел разрезанную на части Пиолену, купив остатки ее в качестве национального имущества за гроши. Однако последующие годы были неудачны: больших доходов не получали, пока не наступила трагическая развязка революции, а затем падение кровавого царствования Наполеона. И только Леону Грегуару робкое, боязливое капиталовложение его предка принесло благоденствие, возраставшее с поразительной быстротой. Вместе с прибылями Компании рос и ширился доход на скромный десятитысячный пай. С тысяча восемьсот двадцатого года он давал сто процентов прибыли — то есть десять тысяч франков; в тысяча восемьсот сорок четвертом году он приносил двадцать тысяч, в тысяча восемьсот пятидесятом году — сорок тысяч. А затем два года подряд прибыль достигала огромной суммы — пятидесяти тысяч франков; стоимость одного «денье» котировалась на Лионской бирже в миллион франков, то есть увеличилась за столетие в сто раз.

Господину Грегуару советовали продать пай, когда «денье» достигло такой котировки, но он с обычной своей благодушной улыбкой отказался. Через полгода разразился промышленный кризис, стоимость «денье» упала до шестисот тысяч франков. Но Леон Грегуар по-прежнему улыбался и ни о чем не жалел, ибо все Грегуары были теперь полны непоколебимой веры в свои копи. Курс еще поднимется. Дело прочное, не лопнет,— скорее мир перевернется. К этой благоговейной вере примешивалась глубокая признательность к капиталу, который в течение целого столетия кормил семью Грегуаров и давал им возможность жить в праздности. Копи были как бы их семейным божеством, Грегуары поклонялись ему, движимые любовью к самим себе; шахты были покровительницами их домашнего очага; под защитой шахт им так сладко спалось на мягком ложе, таким дородством наделял их обильный и изысканный стол. Их благоденствие переходило из поколения в поколение; так зачем же навлекать на себя немилость судьбы, усомнившись в ней? В основе их преданности копям лежал суеверный страх: а вдруг деньги возьмут да и улетучатся, если продать свой пай и положить вырученный миллион в ящик несго-

раемого шкафа? Гораздо надежнее было держать их под землею, где из поколения в поколение многочисленное племя углекопов понемногу, но каждодневно извлекало деньги сообразно потребностям Грегуаров.

И, надо сказать, все блага земные сыпались на этот счастливый дом. Г-н Грегуар женился очень молодым на дочери маршьенского аптекаря, дурнушке и бесприданнице, но обожал ее. Жена платила ему тем же, и оба блаженствовали. Она целиком отдалась хозяйству, преклонялась перед мужем, на все смотрела его глазами и волю его почитала законом; во всем у них были одинаковые вкусы, одинаковые мнения, никогда не возникало никаких разногласий; у обоих был один идеал благоденствия; сорок лет они прожили душа в душу, трогательно заботились друг о друге. Жизнь они вели уравновешенную и без затей, без шума, спокойно проживали сорок тысяч франков в год, а свои сбережения тратили на Сесиль, позднее рождение которой на время перевернуло весь их бюджет. Они и до сих пор беспрекословно исполняли все ее желания, купили вторую лошадь, два новых экипажа, выписывали для нее туалеты из Парижа. Но все это доставляло им только удовольствие,— ничто не могло быть слишком роскошным для их дочери. Сами же они терпеть не могли показного блеска и одевались по старой моде времен их молодости. Всякий расход, не приводивший к практической выгоде, казался им нелепым.

Итак, они ждали в столовой. Вдруг распахнулась дверь, и звонкий девичий голос воскликнул:

— Так вот оно как! Теперь уж без меня завтракают!

Это явилась Сесиль, только что вставшая с постели, с заспанными глазами, кое-как причесанная, в наспех накинутом белом шерстяном капоте.

— Ну нет! — воскликнула мать.— Ты же видишь, мы тебя ждали. А ты, верно, не спала ночью, бедная детка? Ветер тебе мешал, да?

Девушка удивленно посмотрела на нее.

— Разве был ветер? Я и не знала, всю ночь спала без просыпа.

Всем троим это показалось забавным, и они рассмеялись; прыснули от смеха и служанки, подававшие на стол,— весь дом развеселила мысль, что барышня проспала беспробудно двенадцать часов подряд. И лица совсем просияли, когда была подана слоеная булка.

— Подумайте! Мне слойку испекли! — воскликнула Сесиль.— Вот так сюрприз! Свежая, тепленькая! Буду макать ее в шоколад! Вот вкусно!

Сели за стол. В больших чашках дымился горячий шоколад.

Разговор долго шел о свежеиспеченной булке. Онорина и Мелани, оставшись в столовой, подробно рассказывали о выпечке булочек и смотрели, как дочь и родители поглощают слоеное тесто, замаслившее им губы; обе служанки говорили, что очень приятно печь сдобные булки, когда господа кушают с таким удовольствием.

Во дворе яростно залаяли собаки,— очевидно, на чужого. Грегуары подумали, что явилась учительница музыки, приезжавшая из Маршьена по понедельникам и пятницам. К Сесиль приезжал также и преподаватель литературы. Все свое образование девушка получала дома, в Пиолене, живя в блаженном невежестве, и, капризничая, как ребенок, выбрасывала учебники за окно, когда наталкивалась на слишком скучную материю.

— Это господин Денелен,— доложила Онорина, ходившая открывать.

Вслед за ней на пороге появился Денелен, двоюродный брат г-на Грегуара, непринужденный, громогласный, с резкими жестами, с военной выправкой, похожий на отставного офицера-кавалериста. Хотя ему перевалило за пятьдесят, коротко остриженные волосы и длинные усы были у него черны как смоль.

— Да это я, собственной особой. Добрый день! Не беспокойтесь, пожалуйста.

Он сел на стул. Семейство Грегуаров разахалось, заудивлялось и в конце концов снова принялось пить шоколад.

— Ты хочешь что-то сказать мне? — спросил гостя г-н Грегуар.

— Нет, ровно ничего,— торопливо ответил Денелен.— Просто захотелось поразмяться, покататься верхом и, проезжая мимо Пиолены, решил проведать вас.

Сесиль стала расспрашивать о его дочерях, Жанне и Люси. Оказалось, обе прекрасно себя чувствуют: Жанна, младшая, окончательно погрязла в живописи, а Люси, старшая, с утра до вечера сидит за пианино и поет вокабулы, развивая свой голос. Однако, при всем старании г-на Денелена казаться веселым, шутки его звучали натянуто, а голос слегка дрожал.

Господин Грегуар спросил:

— А как на шахте? Все в порядке?

— Не совсем! Неприятности с рабочими! Все кризис проклятый!.. Расплачиваемся за годы процветания. Слишком много понастроили заводов, слишком много провели железных дорог, слишком много вложили в предприятия денег в ожидании колоссального роста промышленности. И что же получилось? Заморозили капиталы, и теперь нигде не найдешь денег, чтобы пустить все это в ход... К счастью, положение нельзя назвать безвыходным, я все-таки выкручусь.

Так же как и Грегуар, он получил в наследство пай в угольных копях Монсу. Но будучи предприимчивым инженером, жаждавшим нажить сказочное состояние, он поспешил продать свой пай, когда курс акций поднялся до миллиона. С тех пор прошло несколько лет, у него созрел план действий. К его жене перешла по наследству от дяди небольшая концессия в Вандаме, где заложены были только две шахты — Жан-Барт и Гастон-Мари, но обе были так запущены, так убого оборудованы, что их эксплуатация едва покрывала издержки. Денелен мечтал привести шахту Жан-Барт в исправное состояние, расширить и углубить выработки, поставить новую подъемную машину, а в шахте Гастон-Мари вести добычу только до полного истощения пласта. На переоборудованной шахте он собирался грести золото лопатой. Мысль была верная. Беда заключалась лишь в том, что весь полученный миллион ушел на эти усовершенствования, и в тот момент, когда Денелен мог бы получать большие доходы, которые оправдали бы его затраты, разразился «этот проклятый промышленный кризис». К тому же Денелен оказался плохим администратором, да еще, несмотря на свою резкость, бывал добр к рабочим; хозяйство он вести не умел, и после смерти жены его обворовывали на каждом шагу; дочерей он вырастил своенравных — старшая поговаривала, что пойдет на сцену, а младшая послала на выставку три пейзажа, которые, однако, не были приняты; надвигавшееся разорение не лишило ни ту, ни другую жизнерадостности и обнаружило в них задатки превосходных хозяек.

— Знаешь, Леон,— продолжал г-н Денелен неуверенным тоном,— напрасно ты не продал одновременно со мной. Теперь ведь все летит кувырком, попробуй поищи покупателя... А если бы ты доверил мне свой капитал,— что мы бы с тобой сотворили в Вандаме, в моей шахте!..

Господин Грегуар не спеша допил шоколад и благодушно ответил:

— Ни за что не продам!.. Ты же прекрасно знаешь, что я не желаю спекулировать. Я живу спокойно, и было бы просто глупо мучить себя, искать хлопот и забот. Что касается Монсу, то пусть даже акции упадут еще ниже, нам на жизнь хватит. Какого черта, спрашивается, роскошествовать? И, слушай, вот что я тебе скажу: придет время, ты пожалеешь, что продал свой пай. Монсу снова пойдет в гору, так что и сама Сесиль, и детки ее, и внуки будут кушать сдобные булочки.

Денелен слушал с какой-то растерянной улыбкой.

— Так значит,— сказал он,— если бы я предложил тебе вложить в мои копи сто тысяч, ты бы отказался?

Заметив встревоженные лица Грегуаров, он пожалел, что по-

торопился, и решил отложить разговор о займе до последней крайности.

— О, не беспокойся, я еще до этого не дошел! Я пошутил. А ведь ты, пожалуй, прав. Денежки, которые загребаешь чужими руками, самые верные, и хлопот никаких.

Разговор перешел на другую тему. Сесиль опять стала расспрашивать о дочерях Денелена,— их художественные наклонности весьма ее занимали и вместе с тем казались ей не совсем приличными. Г-жа Грегуар пообещала, что в первый же солнечный день повезет дочь в гости «к милым девочкам».

Грегуар сидел с рассеянным видом, не прислушиваясь к разговору, и вдруг громко сказал:

— Будь я на твоем месте, я не стал бы упрямиться и договорился бы с Компанией... Они очень не прочь, а ты бы вернул свои деньги.

Он бросил намек на лютую ненависть, издавна существовавшую между владельцами копей в Монсу и Вандамскими копями. Хотя эти последние были предприятием незначительным, их могущественную соседку, Компанию Монсу, бесило то, что в ее владения, охватывавшие шестьдесят семь коммун, врезалась чужая земля площадью в квадратное лье. Сначала Компания Монсу тщетно пыталась задушить Вандамские копи, а теперь замышляла купить их за бесценок, когда Денелен разорится. Война шла без передышки, каждая сторона останавливала свои штреки в двухстах метрах от штреков противника, это был поединок не на живот, а на смерть, хотя отношения между директорами и инженерами конкурирующих копей оставались вполне учтивыми.

Глаза Денелена вспыхнули.

— Никогда! — воскликнул он.— Пока я жив, Монсу не получит Вандамские копи... В четверг я обедал у Энбо и отлично заметил, как он вертится вокруг меня. Еще прошлой осенью приезжали ваши тузы из правления и всячески меня обхаживали... Да, да, я прекрасно знаю этих маркизов и герцогов, генералов и министров! Разбойники с большой дороги! Они дочиста ограбят, последнюю рубашку снимут.

Его обвинения были неисчерпаемы. Впрочем, г-н Грегуар не защищал правления своего акционерного общества. Согласно уставу, принятому еще в тысяча семьсот шестидесятом году, оно состояло из шести управляющих и деспотически руководило Компанией; в случае смерти одного из них пятеро остальных выбирали нового члена правления из числа самых влиятельных и богатых акционеров. По мнению рассудительного хозяина Пиолены, все эти господа чересчур увлекались погоней за наживой и иной раз хватали через край.

Мелани начала убирать со стола. Во дворе опять залаяли собаки, и Онорина пошла было отворить дверь. Но тут Сесиль, которая до того была сыта, что ей трудно стало дышать в жаркой комнате, сама отправилась в переднюю.

— Нет, погоди. Это, верно, учительница.

Денелен тоже поднялся и, проводив взглядом Сесиль, спросил:

— Ну как? Выдаете ее за Негреля?

— Еще неизвестно,— ответила г-жа Грегуар.— Была такая мысль... Но все еще висит в воздухе... Надо хорошенько подумать.

— Разумеется,— продолжал Денелен с игривым смешком.— Ведь у тетушки с племянником... Меня просто изумляет, что госпожа Энбо вдруг начала выказывать нежные чувства к Сесиль.

Господин Грегуар возмутился. Все это вздор,— госпожа Энбо светская дама да еще на четырнадцать лет старше молодого человека! Это было бы просто чудовищно! Он терпеть не мог шуточек на такие темы. Денелен, посмеиваясь, пожал ему руку и ушел.

— Нет, это опять не она,— сказала Сесиль, вернувшись в столовую.— Пришла женщина с двумя детьми... Ну, знаешь, мама, та женщина, которую мы с тобой встретили... Жена углекопа. Пустить ее сюда?

Супруги встревожились. А что, эти попрошайки очень грязные? Нет, не очень; деревянные башмаки они могут оставить на крыльце. Отец и мать расположились в удобных глубоких креслах. Они заняты были перевариванием пищи. Боясь выйти на холод, чета Грегуар приняла смелое решение.

— Приведите их сюда, Онорина.

И тогда вошла жена углекопа Маэ с двумя малышами, все трое иззябшие, голодные, изумленные, испуганные тем, что очутились в господском доме, где было так тепло и так хорошо пахло сдобной булкой.

II

В наглухо запертой спальне, между планками решетчатых ставней, обозначились серые полоски — на дворе уже рассветало; постепенно эти тусклые лучики веером собрались на потолке; воздух спертый,— к утру просто нечем дышать, а спящие все не просыпаются; спят Ленора и Анри, нежно обняв друг друга; лежа на горбатой своей спине и запрокинув голову, спит Альзира; оглашая спальню храпом, спит с открытым ртом старик Бессмертный, расположившийся в кровати Захария и Жанлена; ни звука не долетает из темного закоулка, где жена Маэ опять уснула, когда малютка Эстелла насосалась и затихла. Мать повернулась на бок, а девчушка смирно лежит у нее поперек живота и тоже спит, уткнувшись головенкой в мягкую материнскую грудь.

В нижнем этаже кукушка пробила шесть часов. Вдоль всего поселка хлопают выходные двери, по каменным плитам тротуара стучат деревянные башмаки — это идут на работу сортировщицы. Опять наступает тишина — до семи часов утра. В семь отпирают ставни, сквозь стенки слышится из соседних квартир позевыванье, кашель встающих с постели; раздается скрип кофейной мельницы. Но и после семи еще долго никто не шевелился в спальне семейства Маэ.

Вдруг издали донеслись звуки шлепков, пощечин, громкие вопли; Альзира рывком приподнялась на постели, почувствовав, что пора вставать, босиком побежала к матери и стала ее трясти за плечо.

— Мама! Мама! Вставай! Уже поздно. Ведь тебе надо сегодня идти. Ой, смотри осторожнее! Эстеллу задавишь.

И она выхватила из постели ребенка, чуть не задохнувшегося под тяжестью материнской груди, набухшей молоком.

— Эх, жизнь проклятая — бормотала мать, протирая глаза.— До того намаешься, что так бы и спала целый день... Одень Ленору и Анри, я их возьму с собой, а ты понянчи Эстеллу. Ее-то я не потащу в такую мерзкую погоду,— еще простудится да захворает.

Наскоро умывшись, она надела старую синюю юбку, лучшую свою юбку, и серую шерстяную кофточку, на которую накануне поставила две заплаты.

— Эх, жизнь проклятая, а суп-то! — опять забормотала она.

Пока мать, распахивая двери, наталкиваясь на стенки, с шумом спускалась вниз, Альзира вернулась в спальню, принесла туда Эстеллу. Девочка опять раскричалась, но сестра привыкла к ее неистовым воплям; в восемь лет Альзира чутьем постигла нежные уловки матерей и умела успокоить и развлечь малютку. Она тихонько положила Эстеллу в свою еще теплую постель, утихомирила и убаюкала, дав ей пососать свой палец. Но лишь только затихла Эстелла, подняли крик малыши постарше: Альзире пришлось усмирять Ленору и Анри. Они не могли жить в добром согласии и обнимались только, когда спали. Едва Ленора, шестилетняя девочка, открывала глаза, как сразу же набрасывалась на брата, который был младше ее на два года, и принималась его тузить, пользуясь тем, что он еще не умел сдавать сдачи. У них обоих были большие, будто раздувшиеся головы, всклокоченные соломенно-желтые волосы. Альзира прибегла к решительным мерам: вытащила Ленору из постели за ноги да еще пригрозила выпороть. Затем она принялась умывать и одевать малышей, оба визжали и топали ногами. Ставни она все не открывала, боясь разбудить деда. Он спал все так же крепко и не слышал, какой ужасный гам подняли его внучата.

— У меня все готово! Вы что там копаетесь? — крикнула мать.

Она отворила в нижней комнате ставни, разворошила жар в очаге, подсыпала угля. У нее была надежда, что старик отец оставит детям немного супа, но он уничтожил все дочиста, выскреб кастрюлю. И ей пришлось сварить горсть вермишели, которую она берегла три дня про запас. Есть вермишель придется без масла,— от вчерашней стряпни ничего не осталось. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что Катрин, приготовляя бутерброды для завтрака, совершила настоящее чудо: в масленке оказался комочек масла величиной с орех. Но в буфете теперь не было ничего съестного, ни единой корки хлеба, ни одной обглоданной косточки. Что же будет со всей семьей, если Мегра заупрямится и не отпустит в долг провизии и если хозяева Пиолены не дадут ей пяти франков, как она надеялась. Ведь когда мужчины и Катрин вернутся из шахты, им надо поесть,— к несчастью, еще не изобрели способа жить без еды.

— Да идите вы сюда наконец! — крикнула она, рассердившись.— Мне уходить надо.

Когда Альзира и малыши спустились в кухню, она разложила сваренную вермишель по трем тарелочкам. Себе она ничего не взяла, сказав, что ей не хочется есть. Хотя Катрин уже заваривала кипятком вчерашнюю кофейную гущу, мать сделала то же самое еще раз и, надеясь хоть немного подкрепиться, выпила две больших кружки жиденького отвара, цветом похожего на воду, окрашенную ржавчиной.

— Ну слушай,— сказала она Альзире.— Деда смотри не буди, пусть спит. Присматривай хорошенько за Эстеллой, а то еще упадет, разобьет себе голову. Если она проснется и очень разволнуется,— на вот кусок сахара, растворн его в воде и пои сестренку с ложечки... Я знаю, ты у меня хорошая девочка и не съешь сама сахара.

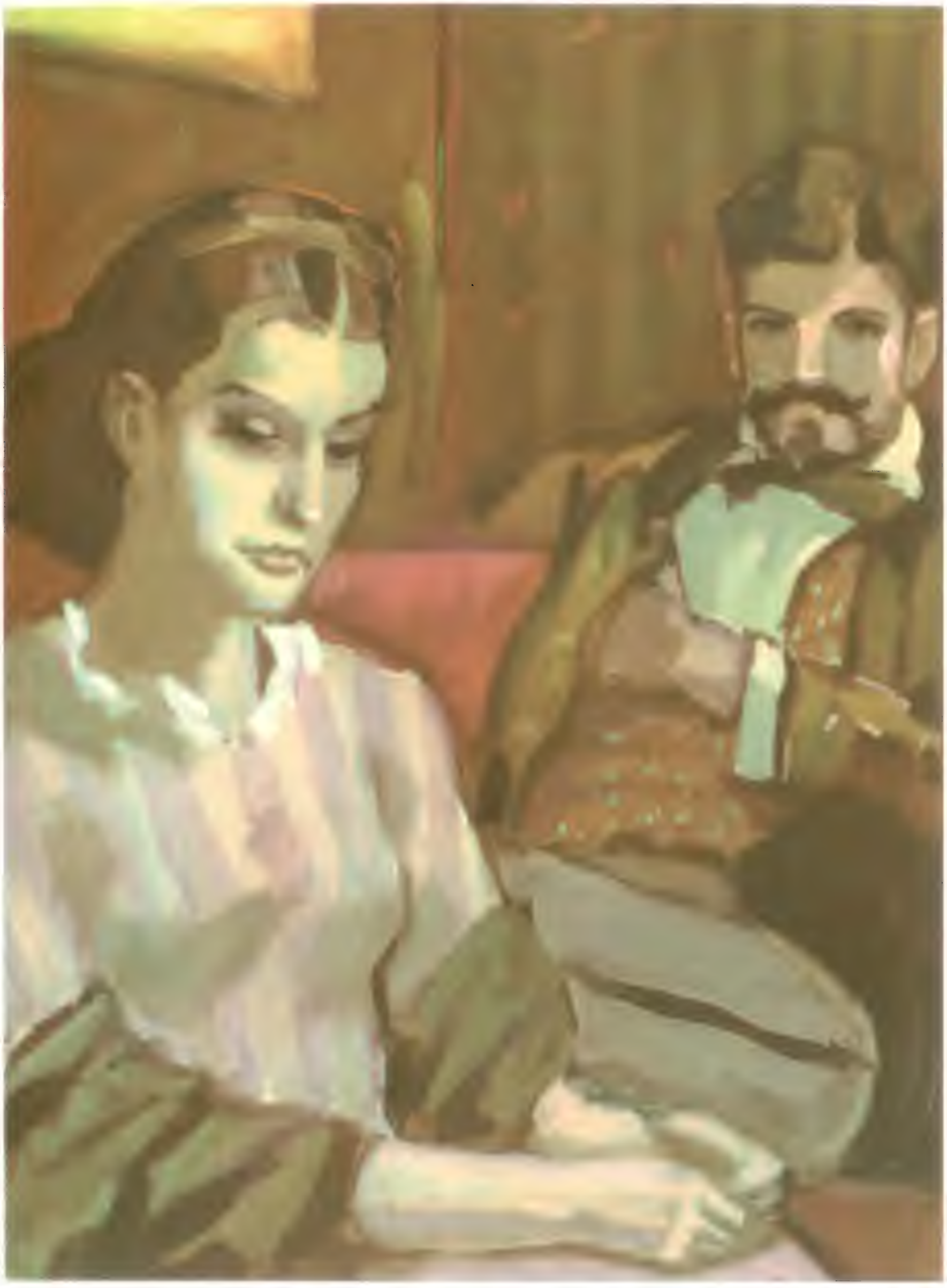
— А как же школа, мама?

— Школа? Что ж делать, завтра пойдешь. Сегодня ты дома нужна.

— А суп? Хочешь, я сварю суп? Ты, может, поздно вернешься.

— Суп?.. Суп?.. Нет, дождись меня.

Как и все маленькие калеки, Альзира была развита не по летам. Она хорошо умела варить суп, но, должно быть, поняла, почему мать не велит, и не стала настаивать... Теперь проснулся весь поселок. Дети стайками шли в школу, шаркая башмаками на деревянной подошве. Пробило восемь часов. С левой стороны, из квартиры Леваков, все время доносился гул разговора. Для женщин



«Тереза Ракен».

день начинался сборищем вокруг кофейника, когда они, подбоченясь, мелют языками, словно мельница жерновами. К кухонному окошку с улицы прильнула увядшая физиономия с толстыми губами и приплюснутым носом, и послышался визгливый голос:

— Новости есть, идем, послушаешь!

— Нет, нет, попозже загляну,— ответила жена Маэ.— Мне по делу надо сходить.

Побоявшись поддаться соблазну выпить у соседки стакан горячего кофе, она поспешила накормить Ленору и Анри и ушла вместе с ними. Наверху все так же крепко спал старик Бессмертный, и по всему дому раздавались мерные раскаты его зычного храпа.

Выйдя на улицу, мать, к своему удивлению, убедилась, что ветер стих. Внезапно настала оттепель: хмурилось серое небо; стали липкими от сырости зеленоватые стены, на дорогах стояла непролазная грязь, какую встретишь только в угленосной местности,— черная как сажа, густая и до того вязкая, что ног из нее не вытащить. Матери тотчас же пришлось отшлепать Ленору за то, что девочка для забавы загребала грязь носком башмака, словно лопатой. Выйдя из поселка, мать миновала террикон и направилась к каналу, пробираясь для сокращения пути по ухабистым тропинкам между пустырями, огороженными ветхими, замшелыми заборами. Одно за другим тянулись длинные заводские строения, высокие трубы выплевывали сажу, оседавшую на изрытые, обезображенные поля вокруг промышленного пригорода. За купой тополей над старой Рекильярской шахтой еще торчали огромные толстые балки — остатки развалившегося копра. Повернув направо, жена Маэ вышла на большую дорогу.

— Погоди, погоди, поросенок ты этакий! — закричала она.— Я тебе покажу! Не смей шарики скатывать!

Теперь провинился Анри: набрав пригоршню грязи, он лепил из нее шарики. С примерным беспристрастием мать нашлепала обоих ребятишек, и те, присмирев, зашагали дальше, искоса поглядывая, как их собственные следы отпечатываются на бугорках размокшей глины. Они спотыкались, и оба уже совсем измучились — так трудно им было вытаскивать ноги из липкой грязи.

На протяжении двух километров мощеная дорога из Маршьена, ровная, прямая, тянулась между красноватыми глинистыми полями, словно лента, покрытая смазочным маслом. Но дальше, пройдя через городок Монсу, построенный на скате широкой складки земли, она спускалась петлями. Дороги, соединяющие промышленные города Северной Франции и проложенные по линеечке, с пологими спусками и подъемами, мало-помалу обстраиваются с

обеих сторон домами так, что целый округ постепенно становится рабочим поселком. Маленькие кирпичные домики были тут выкрашены в яркие цвета для того, чтобы унылый пейзаж стал веселее,— одни были желтые, другие голубые, а некоторые коричневые,— вероятно, люди желали предварить ту темную, бурую окраску, которую в конце концов принимали здесь все строения; домики лепились слева и справа от дороги, окаймляя ее извилины, до самой подошвы склона. Тесный строй узких фасадов разрывали большие трехэтажные особняки, где жило заводское начальство. Церковь, тоже кирпичная, с прямоугольной колокольней, уже потемневшей от угольной пыли, походила на доменную печь нового образца. Среди сахарных заводов, канатных мастерских, паровых мельниц нашли себе место, и притом преобладающее, танцевальные залы, кабачки, пивные, винные погребки, столь многочисленные, что на тысячу домов приходилось более пятисот питейных заведений.

Приближаясь к зданиям Компании — длинному ряду складов и мастерских,— жена Маэ взяла Анри и Ленору за руки, и детишки засеменили — мальчик слева, девочка справа от матери. Подальше стоял особняк директора копей г-на Энбо, построенный в стиле швейцарского шале, отделенный от дороги решеткой, за которой разбит был сад с чахлыми деревьями. Когда жена Маэ с детьми проходила мимо особняка, у подъезда остановилась коляска, и из нее вышли господин с орденской ленточкой в петлице и дама в меховом манто,— вероятно, гости, приехавшие из Парижа в Маршьен поездом; в полумраке вестибюля появилась г-жа Энбо, из отворенной двери послышались ее удивленные и радостные возгласы.

— Да идите живее, чего тащитесь! — ворчала мать и тянула за руки своих малышей, увязавших в грязи.

Ведь уже подходили к лавке Мегра, и она все больше волновалась. Мегра жил рядом с г-ном Энбо — только забор отделял директорский особняк от домика лавочника; у Мегра при доме был склад товаров — длинный бревенчатый сарай, в одном конце которого, выходившем на улицу, была устроена лавка без витрин и без всяких вычур. Тут можно было найти все, что угодно: бакалейные товары и колбасные изделия, овощи и фрукты, хлеб, пиво, чашки и кастрюли. Раньше Мегра служил охранником на Ворейской шахте, а выйдя в отставку, завел маленькую лавочку; благодаря покровительству своих бывших начальников он расширил дело и мало-помалу прибрал к рукам всю розничную торговлю в Монсу, разорив остальных лавочников. Выбор товаров у него был богаче; при большом числе покупателей — жителей рабочих поселков — он мог продавать чуть-чуть дешевле других и даже открывать кредит.

Впрочем, он по-прежнему был в руках Компании, которая построила ему и домик, где он жил, и лавку.

— Я опять к вам, господин Мегра,— смиренным тоном сказала Маэ, увидев его у дверей лавки.

Мегра, не отвечая, посмотрел на нее. Этот толстый, бесстрастный и учтивый торгаш с гордостью говорил, что никогда не отступает от принятого им решения.

— Нет уж, господин Мегра... вы меня не прогоните, как вчера. А то как нам дожить до субботы? В доме ни крошки хлеба... Мы еще не расплатились, знаю... Шестьдесят франков два года должны.

Она говорила короткими, отрывистыми фразами, с трудом подбирая слова. Шестьдесят франков они заняли во время последней забастовки. Раз двадцать давали обещание расквитаться, и все не могли это сделать: никак не удавалось выкраивать по сорок су каждые две недели и уплатить долг по частям. А третьего дня как назло пришлось отдать двадцать франков сапожнику,— он грозил продать с молотка все, что у них есть. Вот почему они и остались без гроша. Не то как-нибудь перебились бы до субботней получки.

Выпятив брюхо и скрестив на груди руки, лавочник в ответ на все ее мольбы только отрицательно мотал головой.

— Господин Мегра, две буханки хлеба. Я ведь понимаю... Я не прошу лишнего, не прошу кофе... Только две трехфунтовых буханки в день.

— Нет! — гаркнул он наконец.

Из лавки выглянула его жена, тщедушная женщина, целые дни корпевшая над счетной книгой, не дерзавшая поднять голову. Она юркнула обратно в лавку, увидев, что несчастная просительница смотрит и на нее с пламенной мольбой. Ходили слухи, что она покорно уступает свое место на супружеском ложе откатчицам из числа покупательниц мужниной лавки. Все прекрасно знали, что если углекоп хотел добиться продления кредита, ему стоило только послать к лавочнику дочь или жену,— безразлично, были ли они красивы или безобразны, лишь бы не строптивы.

И теперь, взирая с мольбой на Мегра, жена Маэ испытывала тягостное смущение, чувствуя, что пристальный взгляд его маленьких водянистых глаз раздевает ее. Экий мерзавец! Ну была бы она молодой и еще бездетной бабенкой, а не почтенной матерью семерых детей! И в негодовании она пошла прочь, схватив за руку Ленору и Анри, которые усердно подбирали в канаве ореховые скорлупки и рассматривали их.

— Не принесет вам это счастья, господин Мегра! Попомните мое слово!

Оставалась лишь одна надежда — на хозяев Пиолены. Если они не дадут пяти франков, тогда хоть ложись да помирай. Она свернула влево, на дорогу к Жуазелю. На перекрестке дорог находилась резиденция правления — большое кирпичное здание, настоящий дворец, в котором каждую осень важные господа, приезжавшие из Парижа,— богачи, князья, генералы и прочие власти,— задавали пышные банкеты. Проходя мимо этого дома, Маэ уже прикидывала, на что она потратит пять франков: прежде всего купит хлеба, потом кофе, потом четверть фунта масла, мерку картошки для утреннего супа и вечерней еды; ну еще, может быть, немного студня,— ведь отцу надо поесть мясного.

Навстречу ей попался настоятель приходской церкви в Монсу аббат Жуар; подобрав сутану, он шел осторожно, словно большой откормленный кот, боящийся замочить шерстку... Аббат обладал мягким нравом и, не желая восстанавливать против себя ни рабочих, ни хозяев, старательно подчеркивал, что он далек от всего житейского.

— Здравствуйте, господин аббат.

Аббат Жуар улыбнулся детям и прошел мимо, не взглянув на их мать, застывшую посреди дороги. Маэ отнюдь не была набожной женщиной, просто ей почему-то пришло на ум, что священник даст ей немного денег.

И снова они тронулись в путь, месили ногами черную липкую грязь. Надо было пройти еще два километра, тащить за собою ребятишек, а они от усталости приуныли и еле-еле перебирали ножонками. Справа и слева от дороги тянулись все такие же пустыри, огороженные дощатыми заборами, такие же закопченные фабричные корпуса, вздымавшие высокие трубы. Дальше раскинулась по сторонам необозримая низменность, темный океан вспаханной земли, и вплоть до лиловатой далекой полоски Вандамского леса не возвышалось над этим простором ни единого дерева.

— Мама, на ручки!

Мать брала на руки то одного, то другого. В выбоинах шоссе застоялись лужи. Маэ подоткнула юбки, боясь, что иначе придется забрызганная грязью. Три раза она едва не упала: очень скользкие были эти чертовы булыжники. А когда наконец дошли до крыльца господского дома, на них набросились два огромных пса, такие страшные, лаявшие так свирепо, что дети завопили от ужаса. Кучеру Грегуаров пришлось кнутом отогнать собак.

— Снимите на крыльце башмаки,— твердила Онорина.

Войдя в столовую, дети и мать замерли, ошеломленные внезапной волной тепла, и, оробев, в смущении глядели на старого барина и старую барыню, полулежавших в удобных креслах и спокойно смотревших на просителей.

— Дочурка,— сказала г-жа Грегуар.— Исполни свою обязанность.

Грегуары поручали Сесиль раздавать подаяние бедным. По их понятиям, это входило в правила поведения благовоспитанной девицы. Нужно быть милосердным, говорили они, полагая, что на их доме почиет благодать божия. Впрочем, они гордились тем, что творят добрые дела разумно, ибо всегда боялись, как бы милостыней не оказать поощрение пороку. Поэтому они никогда не подавали деньгами, никогда! Даже десяти су, даже двух су. Дай бедняку грош, он его непременно пропьет. Милостыню они всегда давали натурой,— главным образом теплой одеждой, оделяя ею в зимнее время самых бедных детей.

— Ах, миленькие мои, ах, бедняжки! — заохала Сесиль.— Какие бледненькие. И в такой холод ходят! Онорина, поди возьми в шкафу сверток, принеси.

Обе служанки тоже смотрели на несчастных малышей с тревожной жалостью доброжелательной челяди, которая, однако, сытно кормится при господах. Когда горничная отправилась наверх выполнять поручение, кухарка, убрав со стола блюдо с остатками сдобной булки, как будто в забывчивости снова поставила его на стол и стояла, опустив руки.

— Как раз у меня есть два шерстяных платья и косынки,— продолжала Сесиль.— Вот посмотрите, как в них будет тепло бедненьким малюткам.

И тут к Маэ вернулся дар слова, она пробормотала:

— Спасибо, барышня! Спасибо! Какие вы все добрые!..

Слезы выступили у нее на глазах,— теперь она была уверена, что тут ей дадут пять франков, и думала лишь о том, как их выпросить, если добрые господа сами не предложат денег.

Горничная все не возвращалась, настало неловкое молчание. Малыши, цепляясь за юбки матери, таращили глазенки на сдобную булку и не могли отвести от нее взгляда.

— У вас только двое детишек? — спросила г-жа Грегуар, чтобы что-нибудь сказать.

— Ох, что вы, сударыня! Семеро у меня!

Господин Грегуар, снова принявшийся было за газету, даже подскочил от негодования.

— Семеро? Да зачем же столько? Боже мой!

— Это неблагоразумно! — укоризненно промолвила г-жа Грегуар.

Маэ, словно извиняясь, слегка развела руками. Что поделаешь! Хочешь не хочешь, а они родятся. Такая у нас порода. Да и то сказать, подрастут дети, пойдут работать, будут в дом приносить получку. Вот и ее семье легче бы жилось, не будь у них деда, со-

всем немощного старика, да работали бы на шахте не только трое старших детей, а еще и эти бы в годы вошли... Но приходится кормить маленьких, хоть от них и нет никакой помощи.

— Вы, значит, давно работаете на копях? — начала свои расспросы г-жа Грегуар.

Горделивая улыбка озарила бледное лицо Маэ.

— А то как же? Давно. А то как же! Я вот, можно сказать, с детства начала и до двадцати лет все под землей работала. А потом доктор не велел: тебя, говорит, мертвой оттуда вынесут. Я тогда второго ребенка родила, и какое-то повреждение в костях у меня получилось. Да еще я как раз тут замуж вышла, дома работы было по горло... А про мужа если сказать, так у них весь род всегда в копях работал. И дед, и прадед, и прапрадед, и уж не знаю кто еще! С самого что ни на есть начала,— как первый раз ударили кайлом в Рекильярской шахте.

Господин Грегуар задумчиво глядел на эту женщину и на ее жалких детей с бледными, прозрачными лицами и белесыми волосами; оба ребенка носили на себе печать вырождения: низкорослые, анемичные, некрасивые и вялые дети, никогда не евшие досыта. Опять наступило молчание, слышалось только, как в камине чуть потрескивает горящий уголь, выпуская струйки газа. В душной, жаркой комнате царила дремотная, ленивая тишина, атмосфера благоденствия, наполняющая уютные уголки в счастливых буржуазных семьях.

— Да что ж она там копается? — нетерпеливо воскликнула Сесиль.— Мелани, поди скажи ей, что сверток лежит в шкафу, на нижней полке слева.

А г-н Грегуар вслух выразил глубокомысленные соображения, возникшие у него при виде этих обездоленных:

— Не легко людям живется, это верно. Но знаете, голубушка, надо сказать, что рабочие ведут себя весьма неблагоразумно... Например, вместо того чтобы откладывать деньги про черный день, как это водится у хозяйственных крестьян, углекопы пьют, залезают в долги и в конце концов, смотрите,— им нечем кормить семью.

— Правильно вы говорите,— осторожно поддакивала Маэ.— Много есть таких, что с пути сбились. Если какой-нибудь пропойца жалуется, я ему говорю: сам виноват... Мне-то вот хороший муж попался, не пьяница. Ну, бывает, иной раз люди кутнут в праздник, и он с ними хватит лишнего. Но только и всего. На этот счет он молодец, надо похвалить. А ведь до женитьбы пил без просыпу. Свинья свиньей! Не обессудьте на слове. А женился — остепенился. Да что нам от того толку. Бывают такие дни, вот как нынче, например,— обшарьте все ящики в доме, ни гроша не найдете.

Желая навести Грегуаров на мысль о милостыне в пять франков, она все говорила, говорила своим певучим голосом, рассказала, как образовался у них злополучный долг, как он был сначала совсем незаметным, но вскоре вырос и прямо их съел. Сперва каждые две недели в погашение его аккуратно делали взносы. И много взносов сделали, но один раз просрочили, и с тех пор — кончено: никак не могут наверстать, никогда им теперь не расплатиться. Где там! До самой смерти не выбраться из нужды. А к слову сказать, насчет выпивки,— что уж тут скрывать: углекопу требуется кружку пива пропустить, чтобы прочистить глотку, смыть угольную пыль. Вот с этой кружки все и начинается, а потом и пойдет и пойдет: не вылезает человек из кабаков. Когда стрясется беда, он топит горе в вине. Конечно, жаловаться ни на кого не стоит, а все-таки рабочие маловато зарабатывают.

— Я думала,— сказала г-жа Грегуар,— что Компания дает вам квартиру и отопление.

Маэ бросила осторожный взгляд на камин, где ярким огнем пылал превосходный уголь.

— Верно, верно. Уголь нам дают, не так чтобы очень хороший, но все-таки топить можно... И за квартиру берут недорого — шесть франков в месяц. Как будто и немного, а зачастую так бывает, что трудно эти шесть франков заплатить... Нынче, например, хоть на куски меня режь, нет ни гроша.

Барин и барыня молчали, нежась в мягких удобных креслах; им надоело и неловко было слушать назойливое повествование о нищенской жизни углекопов. Маэ с испугом подумала, что они обиделись, и добавила спокойным тоном рассудительной и практичной женщины:

— Да я просто так говорю, не жалуюсь. Ведь это уж у кого какая судьба. С ней не поспоришь. Как ни бейся, нам ничего не изменить. Лучше всего — не правда ли, сударь, не правда ли, сударыня? — честно делать свое дело на том самом месте, куда господь тебя поставил.

Господин Грегуар вполне с ней согласился.

— Если вы так смотрите, голубушка, вам никакая беда не страшна, вы всегда будете счастливы.

Онорина и Мелани принесли наконец сверток. Сесиль сама его развязала и достала из него два платья. Она добавила к ним две косынки, чулки и даже перчатки — все, конечно, прекрасно подойдет детям; она торопилась, так как пришла учительница музыки. Приказав служанке поскорее завернуть отобранные вещи, добрая барышня уже подталкивала мать и ребятишек к двери.

— Мы сейчас совсем без денег,— дрожащим голосом произнесла Маэ.— Нам бы только пять франков...

И голос у нее оборвался, ведь у всех Маэ была своя гордость, они никогда не просили милостыни. Сесиль тревожно посмотрела на отца, но тот отказал наотрез и с таким видом, словно выполнял некий долг:

— Нет, это не в наших правилах. Мы не можем.

Девушка, видя, как потрясена отказом просительница, решила осчастливить детей. Они по-прежнему не сводили глаз со сдобной булки. Сесиль отрезала два куска и оделила обоих.

— Это вам, возьмите!

Но тут же отобрала у них булку, потребовала старую газету.

— Погодите. Вам завернут, и вы поделитесь дома с братьями и сестрами.

И на глазах родителей, умиленных ее добротой, она вытолкала малышей за дверь. Бедные ребятишки, у которых не было хлеба, ушли, почтительно сжимая окоченевшими от холода ручонками кусок слоеной булки.

Мать тащила детей по мощеной дороге, ничего не замечая вокруг — ни пустынных полей, ни черной грязи, ни широкого пасмурного неба: все кружилось у нее перед глазами. Пройдя обратно через Монсу, она вошла в лавку Мегра с таким решительным видом, молила его так страстно, что в конце концов он отпустил ей в долг две буханки хлеба, кофе, масла и монету в пять франков — ведь он давал и деньги в рост. Мегра покушался не на нее, а на Катрин: мать поняла это, когда он велел ей, чтобы за провизией она присылала дочь. Ладно, посмотрим, там видно будет. Катрин надает ему оплеух, если он к ней полезет.

III

В поселке Двести Сорок, на колокольне маленькой кирпичной церквушки, где аббат Жуар по воскресеньям служил обедню, пробило одиннадцать часов. Из соседней школы, тоже помещавшейся в кирпичном здании, сквозь запертые по случаю зимних холодов окна доносился громкий гул: дети читали нараспев по складам. Широкие улицы между четырьмя однообразными кварталами поселка, разрезанные на части садиками, все еще оставались безлюдными; глубокое уныние навевали эти садики — зима опустошила их и обнажила желтую глинистую почву, лишь кое-где торчали забрызганные грязью последние кустики порея и петрушки. Везде варили суп, из труб поднимался дым; время от времени выскакивала на улицу какая-нибудь женщина и, пробежав до крылечка соседей, исчезала за дверью. По всему поселку из водосточных желобов падали в бочки, стоявшие по углам домов, крупные

капли воды, дождя не было, но тучи затягивали небо, и воздух был насыщен влагой; во всей деревне, построенной среди обширного плато и, словно траурной каймой, обведенной черными дорогами, только и было яркого и веселого, что ровные полосы красных черепичных крыш, беспрестанно омываемых короткими проливными дождями.

Жена Маэ наконец возвратилась домой, но сначала она завернула к жене стражника купить картофеля, еще державшегося у этой женщины с осени. За невысокой оградой хилых тополей (только они и росли на этих плоских равнинах) виднелись отдельные группы домиков,— по четыре домика, окруженных палисадниками. Это был новый опыт Компании: домики предназначались для штейгеров, и рабочие дали этим привилегированным выселкам название «Шелковые чулочки», а собственно поселок именовали «Плати долги», беззлобно подсмеиваясь над своей нищетой.

— Ух! Пришли наконец! — сказала Маэ, нагруженная пакетами, и втолкнула в дом Ленору и Анри, перепачканных грязью, едва волочивших ноги.

У очага во весь голос кричала Эстелла, которую укачивала на руках Альзира: сахара не осталось, и маленькая нянька, не зная, как успокоить ребенка, делала вид, будто кормит его грудью. Иной раз обман удавался. Но в тот день Альзира напрасно расстегивала платьишко и прикладывала ротик Эстеллы к своей худенькой детской груди; голодная малютка тщетно стискивала деснами складку кожи и заливалась неистовым плачем.

— Сейчас возьму ее! — крикнула мать, как только освободилась от своей ноши.— А то она не даст нам слова сказать.

Мать выпростала из корсажа тяжелую набухшую грудь, крикунья присосалась к горлышку этого живого сосуда и тотчас умолкла,— можно было наконец поговорить. Оказалось, все шло хорошо: маленькая хозяйка подсыпала угля в очаг, подмела пол, всюду прибрала. В тишине слышно было, как храпит дед,— все так же громко, равномерно, не останавливаясь ни на секунду.

— Ах, сколько ты всего накупила! — восклицала Альзира, с радостной улыбкой глядя на принесенную провизию.— Давай, мама, я сварю суп.

Весь стол был загроможден: сверток с одеждой, две буханки хлеба, картофель, масло, кофе, цикорий и полфунта студня.

— Да, да, суп! — устало сказала Маэ.— Надо еще пойти нарвать щавелю и выдернуть несколько головок луку... Нет, я попозже приготовлю для мужчин суп. А пока свари картошки, мы ее чуточку помаслим и поедим... И кофе попьем. Не забудь кофе сварить!

И тут она вспомнила о сдобной булке. Она посмотрела на Ле-

нору и Анри,— в руках у них было пусто, оба возились на полу, уже отдохнув и повеселев. Ах, лакомки, они, значит, дорогой тайком съели булку! Мать надавала им шлепков; Альзира, поставив котелок на огонь, старалась ее успокоить:

— Оставь их, мама. Из-за меня сердишься? Не стоит. Ты ведь знаешь, по мне хоть бы и вовсе не было сдобных булок. А им хотелось есть, ведь вы далеко ходили пешком.

Пробило полдень, из школы высыпали дети, послышался топот маленьких ног, обутых в башмаки с деревянными подошвами. Картошка сварилась, кофе, в который для густоты на добрую половину подмешали цикория, так славно булькал и, проходя через ситечко, падал тяжелыми каплями в резервуар кофейника. Один конец стола освободили, но ела за ним только мать,— детям служили столом собственные колени, и маленький Анри, отличавшийся большим аппетитом, то и дело оборачивался и жадным взглядом молча смотрел на студень, завернутый в засалившуюся бумагу.

Мать маленькими глотками пила кофе, обхватив стакан обеими руками, чтобы согреться; и тут вдруг в комнату пришел Бессмертный. Обычно он вставал позднее, и завтрак для него уже стоял на огне. В этот день он разворчался, почему не сварили супа! Сноха возразила ему, что не всегда можно делать то, что хочется, и тогда он молча принялся за вареную картошку. Время от времени он вставал и, подойдя к очагу, сплевывал в золу — для опрятности; затем снова садился на свой стул и, понурившись, с закрытыми глазами перекатывал во рту сухую картошку.

— Ох, я и забыла, мама! — спохватилась Альзира.— Соседка приходила...

Мать сердито оборвала ее:

— Надоела она мне!

В душе она затаила обиду против этой соседки, жены Левака. Такая скареда! Вчера нарочно плакалась на горькую свою нужду, боясь, чтобы соседка не попросила сколько-нибудь в долг, а между тем Маэ знала, что сейчас Леваки при деньгах: жилец заплатил им за две недели вперед. Впрочем, в поселке люди старались не занимать друг у друга денег.

— Постой, я кое-что вспомнила,— сказала вдруг Маэ.— Заверника-ка в бумажку кофе на одну заварку... Отнесу жене Пьерона,— я у нее брала третьего дня.

А когда дочь приготовила пакетик, мать добавила, что сейчас вернется и тотчас же сварит суп для мужчин. Потом отправилась с Эстеллой на руках, предоставив старику Бессмертному в одиночестве перетирать беззубыми деснами картофель, а Леноре и Анри драться из-за упавших на пол картофельных очистков.

Не желая делать крюк и боясь, как бы жена Левака не окликнула ее, она пошла напрямик, через садик. Ее садик примыкал к садику Пьеронов, и в разделявшей их решетчатой изгороди была дыра, через которую соседи ходили друг к другу. Тут был колодец, которым пользовались четыре семейства. Возле него за чахлыми кустами сирени находился низкий сарай, набитый инструментами, в нем держали также (по одному) кроликов, которых съедали в праздничные дни. Пробило час — время, отведенное для питья кофе: в эту пору обычно ни души не было видно ни на крылечке, ни в саду. Один только ремонтный рабочий до начала смены вскапывал грядки под овощи и, усердно орудуя лопатой, не поднимал головы. Но когда Маэ вышла задворками к соседнему крыльцу, она увидела на противоположной стороне улицы, у церкви, какого-то господина и двух дам. На минутку остановившись, она узнала их: г-жа Энбо показывала рабочий поселок своим гостям — господину с орденом и даме в меховом манто.

— Ах, зачем ты беспокоилась! — воскликнула жена Пьерона, когда Маэ отдала ей кофе.— Я вполне могла бы подождать.

Жене Пьерона было двадцать восемь лет. Эта большеглазая, черноволосая женщина считалась в поселке красавицей; правда, у нее был низкий лоб и тонкие поджатые губы, но зато она пленяла кокетством, была опрятна, как кошечка, и, оставшись бездетной, сохранила красивую грудь. Ее мать, по прозвищу Горелая, вдова забойщика, погибшего в шахте, клялась и божилась, что никогда не выдаст дочь за углекопа, и сперва посылала ее работать на фабрику; теперь старуха из себя выходила, что все-таки ее дочь, несколько засидевшаяся в девицах, вышла за Пьерона — за углекопа, да к тому же еще вдовца, у которого была восьмилетняя дочь. Однако супруги жили счастливо, хотя о них без конца сплетничали, рассказывали всякие анекдоты о снисходительности мужа и любовниках жены; у Пьеронов не было ни гроша долга, два раза в неделю они ели мясо, жена содержала дом в величайшей опрятности,— хоть глядись, как в зеркало, в начищенные ею кастрюли. И в довершение благополучия Компания, по протекции, разрешила жене Пьерона торговать конфетами и пряниками,— банки со сластями она выставляла у себя в окне на полках. Торговля приносила ей шесть-семь су выручки в день, а иной раз, в воскресенье, и двенадцать су. Благоденствию супругов мешала лишь старуха Горелая, заядлая бунтовщица, питавшая исступленную ненависть к хозяевам и жаждавшая им отомстить за смерть своего мужа; да еще мешала всем маленькая шустрая Лидия, которую все они, люди вспыльчивые, частенько награждали затрещинами.

— Ну и большая у тебя стала девчушка! — сказала жена Пьерона, делая Эстелле «козлика» и «ладушки».

— Ах, измучила она меня совсем! Лучше не говори! — разохалась мать.— Счастье твое, что у тебя нет пискунов! Вон какая в твоем доме чистота!

Хотя у самой Маэ во всем был порядок, хотя она каждую субботу устраивала стирку и большую уборку, она завистливым взглядом рачительной хозяйки окинула светлую комнату, в убранстве которой была даже своего рода изысканность: золоченые вазы на буфете, на стенах зеркало и три картины в рамах. Жена Пьерона пила кофе в одиночестве,— вся семья была в шахте.

— Выпей со мной за компанию стаканчик,— предложила она.

— Нет, спасибо, только что дома пила.

— Ну так что ж? Вреда не будет.

В самом деле, какой тут вред? И обе не спеша выпили по стакану. Между банками с пряниками и леденцами им видны были дома, стоявшие напротив; бóльшая или меньшая белизна занавесок, висевших на окнах, свидетельствовала о домашних добродетелях хозяек. У Леваков занавески были так грязны, будто ими вытирали закопченные донышки кастрюль.

— Вот мерзость! И живут же люди в этакой грязище! — пробормотала жена Пьерона.

И тут Маэ заговорила, да так, что удержу ей не было. Эх, будь у нее такой жилец, как Бутлу, она бы показала, как надо вести хозяйство! Если взяться умеючи, жильца держать очень выгодно. Только не надо брать его в любовники. А у этой Левак вдобавок муж пьянчуга, да еще бегает за певичками в кафешантанах Монсу. Жена Пьерона сделала брезгливую гримасу. От этих шлюх мужчины и заражаются дурными болезнями... В Жуазеле одна такая тварь всю шахту перезаразила.

— Удивляюсь я,— сказала она,— как это ты позволила своему сыну путаться с дочерью Леваков.

— Поди-ка попробуй не позволь. Ведь мы как живем: вот тут их огород, а тут наш. Летом Захарий всегда с Филоменой за кустами сирени обнимаются. И на крыше сарайчика они валялись. Бывало, пойдут люди к колодцу за водой, и непременно на них, бесстыжих, наткнутся.

Это была обычная в поселке история беспорядочной близости полов, развращавшей и парней и девушек; лишь только темнело, парочки, как говорилось, «жартовали», взобравшись на пологие крыши низких сарайчиков. Именно тут откатчицы и зачинали первого ребенка, хотя иные все же предпочитали встречаться не так близко к дому и устраивали свидания у Рекильярской шахты или в поле, среди хлебов. Связи эти не влекли за собой тяжелых последствий: обычно любовники сочетались браком;

но матери сердились, если парень заводил себе возлюбленную слишком рано, потому что, женившись, сын уже не давал денег в семью.

— На твоем месте я бы их разлучила,— назидательным тоном сказала жена Пьерона.— А то что же? Захарий уже двоих ребятишек ей сотворил, а пойдет так дальше — не миновать свадьбы. Тогда распростись с его заработком.

Маэ в негодовании всплеснула руками:

— Я их прокляну, если они сойдутся... Разве Захарий не обязан почитать отца с матерью? Ведь мы его растили, тратились на него! Так пусть теперь помогает родителям, а потом вешает себе жену на шею... Да что с нами станется, если наши дети, как подрастут, сразу станут на чужих работать! Тогда хоть ложись да помирай.

Но она быстро успокоилась:

— Я ведь просто так говорю, вообще... Поживем, увидим... Спасибо за угощенье. Такой крепкий кофе, такой хороший,— видно, ты всего сколько надо положила.

И через четверть часа, посвященные другим темам, Маэ вдруг вспомнила, что у нее до сих пор не сварен суп. По улице опять шли дети, возвращаясь после перерыва в школу; кое-где на крылечках стояли женщины, смотрели на г-жу Энбо, которая проходила по улице и, указывая рукой то на одно, то на другое, рассказывала гостям о поселке. Рабочий, вскапывавший грядки, на минутку прервал работу; две курицы с тревожным кудахтаньем забегали по огороду.

У самого своего дома Маэ натолкнулась на жену Левака,— та вышла, чтобы перехватить на дороге доктора Вандергагена, состоявшего на службе у Компании; этот низенький и щуплый, вечно торопившийся человечек, изнемогавший от бремени работы, давал врачебные советы на ходу.

— Господин доктор,— сказала жена Левака,— я по всем ночам глаз не смыкаю. И все-то у меня болит... Поговорить бы с вами о моей хвори...

Доктор Вандергаген, всем в поселке говоривший «ты», не останавливаясь, бросил:

— Оставь меня в покое. Поменьше кофе пей.

— А как же насчет моего мужа? — спросила, в свою очередь, Маэ.— Вы бы зашли к нам, осмотрели его... Очень ноги у него болят. Все не проходит ревматизм.

— Да это ты его изводишь... Оставь меня в покое!

Обе женщины, остолбенев, смотрели вслед убегавшему от них доктору. Обменявшись безнадежным взглядом, они пожали плечами.

— Ну-ка, зайди к нам,— сказала Левак.— Знаешь, есть новости... И кофе не мешает выпить. Свеженького заварила.

Маэ сперва отказывалась, но вскоре сдалась: ну что ж, чуточку можно выпить, чтобы не обидеть соседку. И она зашла.

В комнате было необыкновенно грязно: на полу и на стенах жирные пятна, буфет и стол липкие от грязи; и сразу же в горле запершило от зловония, пропитавшего дом неряхи-хозяйки. Возле огня сидел Бутлу, жилец Леваков, и, навалившись локтями на стол, доедал остатки вареной говядины; у тридцатипятилетнего силача Бутлу были широкие плечи, толстая шея и благодушная физиономия. Около жильца, прижавшись к его колену, стоял первенец Филомены, маленький Ахилл, которому шел третий год, и глядел на него с немой мольбой, как голодный зверек. Несмотря на разбойничью черную бороду, у Бутлу была нежная душа, и время от времени он совал ребенку в рот кусочек мяса.

— Погоди, я сейчас подслащу,— сказала жена Левака и положила в кофейник сахарного песку.

Она была на шесть лет старше жильца и безобразна до ужаса: изношенная, с обвисшей грудью, с обвисшим животом, с плоской физиономией, украшенной седеющей щетиной, всегда растрепанная.

Бутлу принял эту связь совершенно просто, не разбирая, как ел он, не разбирая, похлебку, в которой попадались чьи-то волосы, как спал он, не разбирая, в постели, на которой простыни меняли раз в три месяца. Эта связь входила в условия найма жилья. Левак любил говорить, что денежки счет любят.

— Знаешь, что я хотела тебе сказать? — продолжала жена Левака.— Вчера жена Пьерона все крутилась около «Шелковых чулочек». Потом встретилась со своим ухажером за кабаком Раснера, и они вместе улепетнули по берегу канала... Ну, каково? Вот бессовестная! А еще мужняя жена!

— Ну что ж! — подхватила Маэ.— Пьерон до женитьбы таскал штейгеру кроликов, а теперь свою жену преподносит. Это дешевле обходится.

Бутлу разразился зычным хохотом, обмакнул в подливку кусок хлеба и сунул его в рот Ахиллу. Хозяйка и гостья, облегчая себе душу, все судачили о жене Пьерона. И ничего в ней нет красивого, нисколько не лучше других, кокетка, и больше ничего. Целыми днями смотрится в зеркало — не вскочил ли на морде прыщ, намывается, мажется, помадится. Ну что ж, в конце концов это дело мужа. Нравится ему такое кушанье — пусть ест. Ведь некоторые мужья до того начальнику хотят угодить, что готовы за ним ночные горшки выносить, лишь бы он сказал: «Спасибо». Наконец сплетницы умолкли: пришла соседка, держа на руках девя-

тимесячную девочку — второго ребенка Филомены. Приходить к завтраку домой мать не могла и договорилась, чтобы малютку приносили к ней в сортировочную, и там, присев на куче угля, кормила ее грудью.

— Смотри-ка, а я вот и на минуту не могу отойти от своей девчонки, сразу орать начинает. Такая горластая! — сказала Маэ, глядя на Эстеллу, заснувшую у нее на руках.

Но ей все-таки не удалось избегнуть объяснения, которого жена Левака упорно требовала взглядом.

— Слушай, как-никак, а ведь дело-то надо кончать.

Еще недавно обе матери без всяких переговоров пришли к единодушному решению: не спешить с этим браком. Мать Захария хотела, чтобы сын как можно дольше приносил домой свою получку, а мать Филомены из себя выходила при мысли, что она лишится заработка дочери. К чему торопиться? Жена Левака даже предпочитала держать внука у себя, пока он был единственным ребенком; но когда он стал подрастать и на него пошел хлеб да когда родился второй ребенок, держать дочь в доме стало убыточно, и мать Филомены с яростной настойчивостью старалась сбыть ее с рук, не желая «докладывать своих» на ее содержание.

— Захарий уже призывался, тянул жребий,— продолжала она разговор.— За чем теперь остановка?.. Когда свадьба?

— Отложим хоть до весны,— смущенно ответила Маэ.— Вот беда-то! Такая, право, досада. Как будто не могли они подождать! Сперва женились бы, а потом детей плодили!.. Честное слово: собственными своими руками удавлю Катрин, если она вздумает дурить.

Жена Левака пожала плечами.

— Да брось ты! Будет и с ней то же самое. Как у всех.

Бутлу спокойно, словно был у себя дома, порылся в буфете, отыскивая хлеб. На углу стола лежали картофелины и головки лука,— хозяйка собиралась сварить для мужа суп; она двадцать раз принималась чистить овощи и бросала, увлеченная бесконечными пересудами с кумушками. Наконец она все-таки решила приняться за работу, но вдруг вновь выпустила из рук нож и картофелину и уставилась в окно.

— Что это там? Кто такие?.. Ой, да это сама госпожа Энбо с какими-то людьми. Смотри-ка, зашли к Пьеронам.

И тут обе женщины снова напустились на жену Пьерона. Глядите-ка, что делается! Всякий раз как Компания показывает поселок приезжим господам, их сразу же ведут в дом Пьерона. Потому как там чистота! Гостям поди не рассказывают про шашни его жены со штейгером. Отчего бы ей не наводить чистоту, когда у нее любовники по три тысячи франков жалованья получают при

готовой квартире и отоплении; от них ей немало перепадает — и деньгами и подарками. Сверху там всегда чисто, а внутри одна грязь. И все время, пока посетители находились в доме Пьерона, собеседницы трещали без умолку.

— Вон, смотри, выходят,— сказала наконец жена Левака.— Дальше куда-то пошли... Смотри-ка, милая, да они, никак, к тебе идут!

Маэ перепугалась. Кто его знает, а вдруг Альзира не убрала со стола? Да и суп тоже до сих пор не сварен! И, пробормотав: «Счастливо оставаться»,— она помчалась домой, не глядя по сторонам.

Но в доме все блестело чистотой. Видя, что мать не возвращается, Альзира, с очень серьезным личиком, повязалась передником и принялась сама готовить суп. Она сходила в огород, выдернула из грядки последние луковицы порея, нарвала щавеля и принялась чистить картофель; на огне в большом котле грелась вода,— мужчинам и Катрин, вернувшись домой, надо было помыться. Анри и Леонора, по счастливой случайности, сидели смирно и с сосредоточенным видом раздирали на части старый календарь. Старик Бессмертный молча курил свою трубку.

Маэ не успела отдышаться, как в дверь постучалась г-жа Эпбо.

— Вы разрешите, голубушка? Можно к вам?

Супруга директора, высокая и статная белокурая дама, немного отяжелевшая в сорок лет, все еще была великолепна своей зрелой красотой; она улыбалась с деланной приветливостью и старалась скрыть, что опасается испачкать свое изящное шелковое платье бронзового цвета, выглядывавшее из-под черной бархатной накидки.

— Входите, входите! — говорила она своим спутникам.— Мы никому не помешаем... Ну как? Тут тоже чисто, не правда ли? А между тем у этой славной женщины семеро детей! Не менее опрятно в домах у всех наших рабочих. Я вам говорила, что Компания берет с них за квартиру только по шести франков в месяц. А у них тут большая комната в нижнем этаже, две спаленки наверху, подвал и садик.

Господин с орденской ленточкой и дама в меховом манто, приехавшие утренним поездом из Парижа, растерянно озирались, глаза у них были какие-то испуганные, а лица смущенные: по-видимому, их ошеломило внезапное столкновение с совершенно незнакомым им миром.

— Ах, еще и садик! — восхитилась дама.— Но это прелестно! Так бы и пожила здесь!

— Угля мы им даем столько, что они весь не сжигают,— про-

должала г-жа Энбо.— Два раза в неделю к ним приходит врач; а на старости лет они получают пенсию,— хотя из заработной платы никаких вычетов за это не производится.

— Да это просто рай, земля обетованная! — в восторге бормотал приезжий господин.

Маэ засуетилась, пододвинула гостям стулья. Дамы отказались сесть.

Госпоже Энбо надоела роль дрессировщика, показывающего посетителям зверей в клетках; ненадолго это было для нее развлечением в тоске изгнания, но быстро опротивело; ее обоняние оскорблял тошнотворный, сладковатый запах нищенской стряпни, застоявшийся даже в самых опрятных жилищах, в которые она рисковала заглядывать. Впрочем, она лишь повторяла обрывки слышанных фраз, а ее самое нисколько не интересовало, как живет это племя рабочих, которые трудились и страдали где-то рядом с нею.

— Какие милые малютки! — продолжала дама, хотя находила безобразными этих большеголовых ребятишек с вихрами соломенного цвета. Маэ пришлось сообщить гостям, сколько лет ее детям. Ее вежливо расспрашивали и об Эстелле. Старик Бессмертный вынул трубку изо рта, желая выразить этим свое почтение к посетителям, и все же он вызывал у них тревогу — так он износился за сорок пять лет работы под землей: ноги не сгибались, в груди сипело, хрипело, лицо стало землистым, а тут еще его начал бить кашель, и старик решил выйти из комнаты, от греха подальше, а то господам неприятно будет видеть, как он отхаркивает черным в золу очага.

Зато Альзира имела большой успех. Какая хорошенькая хозяюшка в большом переднике! Все поздравляли мать — какая у нее толковая дочка, очень развитая для своих лет. Никто ни слова не сказал про ее горб, но все поглядывали на несчастную калеку с чувством жалости и какой-то неловкости.

— Ну вот,— сказала в заключение г-жа Энбо,— теперь, если в Париже будут спрашивать о наших рабочих поселках, вы можете ответить, как очевидцы... Никогда никаких неприятностей, никакого шума! Нравы самые патриархальные; все счастливы, все, как видите, здоровы. Право, в этот тихий уголок следовало бы приезжать, чтобы отдохнуть немного и подышать свежим воздухом.

— Да, здесь чудесно! Чудесно! — воскликнул господин с орденом, завершая посещение взрывом энтузиазма.

Гости вышли с очарованным видом, словно посетители ярмарочных балаганов, где показывают любопытных уродов. Они шли по тротуару, громко разговаривая между собой, и Маэ долго смотрела им вслед. Улицы наполнились народом, гости проходили мимо

женщин, собравшихся в кучки, заинтересованных слухами об осмотре их поселка, облетевшими все дома.

Стоя у своей двери, жена Левака остановила жену Пьерона, прибежавшую из любопытства. Обе выразили весьма недоброжелательное удивление. Ну, что они там застряли? Или заночевать задумали? Не очень-то будет им весело!

— Эти Маэ вечно без гроша сидят! А ведь немало зарабатывают. Известно, куда у них денежки уходят!..

— А знаешь, что мне сейчас рассказали про нее?.. Она нынче утром ходила в Пиолену милостыню просить у господ. И еще люди рассказывают, как ей Мегра сперва не дал хлеба в долг, а потом вдруг расщедрился — и того и другого надавал... Знаем мы, какую плату берет Мегра.

— Да не с нее он плату берет! На что ему старуха? Он с Катрин столковался.

— Ну, скажи пожалуйста! А ведь только что хвасталась: удавлю Катрин, если она, говорит, по торной дорожке пойдет!.. Вот нахалка! Долговязый Шаваль давно ее девку на сарайчике опрокидывает.

— Тише! Господа идут.

Сразу же обе сплетницы приняли самый кроткий вид и, не проявляя неучтивого любопытства, лишь краешком глаза наблюдали за выходившими на улицу посетителями. Потом, помахав рукой, подозвали Маэ, все еще стоявшую у порога с Эстеллой на руках. И тогда втроем, застыв на месте, стали глядеть вслед нарядной г-же Энбо, удалявшейся со своими гостями. Едва посетители отошли шагов на тридцать, сплетни возобновились с удвоенной яростью.

— Ишь как обе расфуфырились! Сколько ухлопали на свои наряды! И сами того не стоят, верно?

— Еще бы! Приезжую я, понятно, не знаю, какая она, а вот про здешнюю прямо скажу: сколько она ни важничай, а грош ей цена. Чего только про нее не говорят!..

— А что? Что говорят?

— Полюбовников, говорят, у нее много... Во-первых, инженер...

— Этот заморыш-то? Да куда ему? Он у нее под одеялом потеряется!

— Ну и что ж? Может, ей такие по вкусу?

— Не верю я, знаешь, важным барыням. Они от всего нос воротят — гордость свою показывают: мне, дескать, все тут противно... Ты только погляди, как она задом вертит, на нас и смотреть не хочет, презирает нашего брата. Куда это годится?

Посетители удалялись все тем же неторопливым шагом, спо-

койно беседуя между собою, и тут навстречу им выехала на дорогу коляска и остановилась у церкви. Из коляски вышел господин лет сорока восьми, в облегающем черном рединготе, очень смуглый, с властным выражением красивого строгого лица.

— Муж! — пробормотала жена Левака, понизив голос, как будто г-н Энбо мог ее услышать: сразу сказался наследственный страх, который питали к директору копей десять тысяч рабочих.

— А все-таки ему, черномазому, жена рога наставляет!

Теперь в поселке все выскочили на улицу. У женщин разгорелось любопытство, собеседницы стайками подходили друг к другу, сливаясь в одну гудящую толпу; а сопливые карапузы топтались на тротуаре, раскрыв рты от удивления. На минуту над кустами живой изгороди школы даже показалось бледное лицо учителя. Рабочий, вскапывавший грядки, остановился и, поставив ногу на лопату, прислушивался, широко открыв глаза. Прерывистый гул пересудов, похожий на шум трещоток, все разрастался, словно шорох сухих листьев под налетевшим ветром в осеннем лесу.

Больше всего собралось народу перед дверью Леваков. Подошли две женщины, потом десять, потом двадцать. Жена Пьерона из осторожности помалкивала, так как теперь вокруг оказалось слишком много ушей. Маэ, женщина рассудительная, тоже огранничивалась ролью зрительницы; чтобы утихомирить Эстеллу, которая, проснувшись, раскричалась, она прямо на улице спокойно выпростала набухшую, тяжелую грудь, обвисшую и как будто вытянувшуюся от того, что она постоянно служила источником молока. Когда г-н Энбо усадил дам в коляску на заднее сиденье и лошади помчали ее в сторону Маршьена, на улице все еще раздавался визгливый хор женских голосов; женщины размахивали руками, что-то кричали друг другу; кругом была суета, как в потревоженном разъяренном муравейнике.

Но вот пробило три часа. Отправились на работу проходчики, плотники, разборщики — Бутлу и другие. Потом вдруг на повороте дороги, из-за церкви, показались первые фигуры углекопов, возвращавшихся с шахты; у всех у них были черные от угля лица, мокрая одежда; все шли сгорбившись, засунув руки под мышки. И тогда толпа женщин бросилась врассыпную; перепуганные хозяйки помчались домой, коря себя за нерадивость, ибо слишком много времени было потрачено на кофе и на сплетни. Теперь только и слышались тревожные восклицания, предвещавшие домашнюю ссору:

— Ах ты, боже мой! А суп-то! Суп-то у меня еще не готов.

IV

Когда Маэ вернулся домой, устроив Этьена у Раснера, Катрин, Захарий и Жанлен доедали суп. Возвратившись из шахты, все были так голодны, что садились за обед прямо в мокрой рабочей одежде, даже не умывшись. Никто никого не ждал, стол бывал накрыт с утра до вечера, и всегда кто-нибудь сидел за ним, торопливо уничтожая свою порцию,— время еды зависело от условий работы.

Переступив порог, Маэ сразу же заметил лежавшую на столе провизию. Он ничего не сказал, но его хмурое лицо просветлело. Все утро его мучили мысли о том, что в буфете пусто, что в доме нет ни кофе, ни масла, и от этих мыслей щемило сердце, пока он рубал уголь, задыхаясь в своем забое. Да как это жена раздобыла еды? Что с ними со всеми сталось бы, если б она вернулась сегодня домой с пустыми руками! А вот, гляди-ка, всего принесла! Потом она расскажет ему, где все достала. Он улыбался широкой, довольной улыбкой.

Катрин и Жанлен встали из-за стола и пили кофе стоя, а Захарий, не насытившись как следует супом, отрезал себе толстый ломоть хлеба и помазал его маслом. Он видел, что на тарелке лежит студень, но и не дотронулся до него: когда в доме мясного кушанья хватало только на одного, его приберегали для отца.

После супа все выпили по стакану воды. В последние дни перед получкой чистая водица заменяла собою более крепкие напитки.

— А вот пива у меня нет! — сказала Маэ, когда муж сел за стол.— Я подумала, лучше приберечь деньги... Но если хочешь, Альзира сбегает и принесет бутылку.

Маэ смотрел на нее, весь просияв. Как? У нее даже и деньги есть?

— Нет, не надо,— ответил он.— Я выпил кружку. Хватит.

И Маэ принялся за еду; он неторопливо поглощал ложку за ложкой похлебку из размятого картофеля, лука, щавеля и хлеба, до краев налитую в глиняную миску, служившую ему тарелкой. Мать, по-прежнему с Эстеллой на руках, помогала Альзире, следила за тем, чтобы у отца все было под рукой, пододвинула поближе к нему масло и студень, поставила на плиту кофе, чтобы был погорячее.

А тем временем возле огня началось купанье; ванной служила бочка, распиленная пополам. Катрин налила в нее горячей воды и первая приготовилась мыться; она сняла с себя колпак, куртку, штаны, спокойно разделась вплоть до рубашки — с восьмилетнего возраста она привыкла к семейным омовениям и не видела в них

ничего стыдного. Она только повернулась к остальным спиной и начала яростно намыливаться зеленым мылом. Никто не смотрел на нее; даже Ленору и Анри уже не интересовало, как она устроена. Чисто вымывшись, она, совсем голая, поднялась по лестнице, оставив свою мокрую рубашку и остальную одежду кучкой на полу. А внизу тем временем разгорелась ссора: Жанлен живо забрался в лохань под тем предлогом, что Захарий еще не кончил обедать, но старший брат вытаскивал младшего и кричал, что теперь его очередь мыться. Он и так всегда уступает место Катрин, и она полощется первой,— хватит! А уступать соплякам мальчишкам он не намерен. Когда Жанлен искупается, вода до того черная, что ее можно наливать школьникам в чернильницы. В конце концов братья залезли в бочку вместе и стали мыться, повернувшись лицом к огню, и даже обменивались услугами — терли друг другу спины. Затем, так же как и сестра, оба голые помчались по лестнице.

— Ишь напачкали как! — ворчала мать, собирая с полу мокрую одежду, чтобы ее высушить.— Альзира, подотри-ка, слышишь?

Но тут за стеной поднялся такой шум, что она умолкла. Раздавался мужской голос, выкрикивавший ругательства, женский плач, потом началась драка, топот, возня, посыпались тумаки, звучавшие словно удары по пустой тыкве.

— Левак жену учит,— спокойно заметил Маэ, выскребывая ложкой дно миски.— Удивительно! Ведь Бутлу говорил, что похлебка готова.

— Ну да, готова!..— сказала Маэ.— Я сама видела,— овощи на столе лежали даже неочищенные.

Крики усилились, что-то грохнуло так, что стена задрожала, и сразу настала глубокая тишина. Тогда Маэ, проглотив последнюю ложку, сказал в заключение, как человек хладнокровный и справедливый:

— Ну, если суп она не сварила, то понятно...

И, выпив целый стакан воды, принялся за студень, сперва разрезав его на квадратные кусочки; он обходился без вилки,— просто подхватывал кусочек острием ножа и, положив на хлеб, отправлял в рот. Когда отец ел, никто не разговаривал. Он и сам тоже не любил говорить и молча утолял голод; прожевывая ломтики, Маэ думал о том, что студень вкусом не похож на тот, что продавался в лавке Мегра,— наверно, жена купила его где-то в другом месте; однако он не задал по этому поводу никаких вопросов; осведомился только, спит ли еще наверху старик. Нет, дед уже встал и, как всегда, пошел прогуляться. Опять настало молчание. Но запах мясного привлек внимание Анри и Леноры, игравших на полу, где они «делали ручеек» из пролитой воды. Малыши

встали у стола (младший чуть впереди) и следили глазами за каждым кусочком студня,— сперва жадным взглядом, полным надежды, когда отец подхватывал квадратик с тарелки, а затем с глубоким разочарованием, когда этот ломтик исчезал во рту у отца. Маэ наконец заметил, что ребятишек томит желание отведать лакомого кушанья,— оба даже побледнели и нервно глотали слюну.

— А детям ты давала студня? — спросил он жену.

Она замялась, не решаясь ответить.

— Ты же знаешь, не люблю я несправедливости. Всякий аппетит пропадает, когда они тут вертятся, клянчат кусочек.

— Да ведь я им давала! — сердито воскликнула жена.— Нечего на них смотреть! Ты им хоть всю свою долю отдай, да в придачу еще и то, что другим оставили, они все слопают. Такие обжоры! Альзира, ведь мы все ели студень, верно?

— Ну конечно, ели,— ответила маленькая горбунья. В таких случаях она лгала уверенно, как взрослая.

Ленора и Анри остолбенели, изумленные и возмущенные такой ложью,— ведь мать их порола, если они говорили неправду. У обоих сердчишко сжималось от негодования, им так хотелось возразить, сказать, что их не было в комнате, когда другие ели студень.

— Убирайтесь! — крикнула мать, отгоняя их в другой угол комнаты.— Как вам не стыдно заглядывать в отцовскую тарелку. Да если бы даже ему одному дали мяса! Ведь он-то работает и вас, бездельников, кормит. В вас все как в прорву,— вон вы какие худые!

Маэ подозвал их. Посадил Ленору на одно колено, Анри на другое, и студень доедали все вместе. Каждому своя порция: отец отрезал для малышей по кусочку, они в восторге поглощали угощение.

Покончив с обедом, Маэ сказал жене:

— Нет, кофе мне сейчас не наливай. Сперва я помоюсь. Помоги-ка мне грязную воду вылить.

Они вынесли лохань, взяв ее за ушки, и когда выливали воду в сточную канаву, проложенную на улице, сверху сошел Жанлен, переодевшись в сухое платье, унаследованное от брата,— длинные не по росту штаны и выцветшую куртку.

Но лишь только он прошмыгнул в отворенную дверь, мать остановила его:

— Ты куда?

— Туда...

— Куда это «туда»?.. Вот что, ступай-ка нарви мне листьев одуванчика для салата. Слышишь? Если не принесешь, я тебе покажу.

— Ладно! Ладно!

Жанлен отправился. Десятилетний заморыш шел размашистым шагом, как старый шахтер, ворочая худенькими бедрами и шаркая деревянными башмаками. Вслед за ним спустился сверху Захарий, одетый понаряднее — в облегающей шерстяной фуфайке, черной с голубыми полосами. Отец окликнул его, велел поздно домой не возвращаться, но Захарий в ответ только кивнул головой и вышел с трубкой в зубах.

Лохань снова налили теплой водой, Маэ не спеша расстегнул куртку. По взгляду матери Альзира увела Ленору и Анри играть на улицу. Маэ не любил мыться при детях, как это делали отцы во многих домах поселка. Впрочем, он никого за это не осуждал, только говорил, что одним лишь ребятам пристало полоскаться вместе.

— Катрин, ты чего там делаешь? — крикнула мать в пролет лестницы.

— Платье чиню, а то вчера разорвала,— ответила Катрин.

— Хорошо... Сюда не ходи, отец моется.

Маэ с женой остались одни. Мать решилась наконец положить Эстеллу на стул, и та каким-то чудом,— должно быть, пригревшись у огня,— не кричала и смотрела на родителей бессмысленным младенческим взглядом. Отец, раздевшись донага, присел на корточки перед лоханью и сначала окунул в воду голову, а затем принялся намыливать ее зеленым мылом, которое уже сто лет употребляли углекопы, и за столетие от этого мыла у всех ворейских шахтеров волосы обесцветились, стали белесыми, желтоватыми. Вымыв голову, Маэ забрался в лохань, намылил себе грудь, живот, руки, ноги и принялся обеими руками энергично тереть их. Жена, стоя рядом, смотрела на него.

— Слушай,— начала она,— я ведь заметила, какой у тебя взгляд был, когда ты пришел... Очень ты беспокоился, да? А увидел на столе съестное и обрадовался... Знаешь, господа в Пиолене ни гроша мне не дали. Ничего не скажешь,— они наших младшеньких одели... Мне, право, стыдно было просить, клянчить... Не могу я! Язык не поворачивается...

На минутку она остановилась, поудобнее уложила Эстеллу на стуле, боясь, как бы малютка не упала. Маэ продолжал усердно натираться мылом, чуть не сдирая кожу, и не задал жене ни одного вопроса о том, как она нашла пропитание, что, однако, живо интересовало его,— он терпеливо ждал, когда она сама все расскажет.

— А Мегра, знаешь, сперва отказал и прямо как собаку выгнал... Сам понимаешь, каково мне весело было! Шерстяные пла-

тья, конечно, дело хорошее, в них тепло ребятишкам, но ведь от платьев сыт не будешь, верно?..

Маэ поднял голову, но ничего не сказал. Как же это? В Пиолене ни гроша не дали, Мегра отказал, так откуда же все это взялось? Но жена уже засучила рукава, собираясь, как всегда, потереть ему спину и поясницу,— ему самому трудно дотянуться. Да он и любил, когда она его растирала с такой силой, что чуть руки себе не выворачивала. Вот и сейчас, взявшись за дело, она принялась обрабатывать ему лопатки, а он напрягал мышцы, чтобы выдержать натиск.

— Ну так вот... Я опять пошла к Мегра. Тут уж я ему кое-что сказала... Да, сказала!.. И что сердца-то у него нет и что не миновать ему беды, если есть в мире справедливость... Ему, видно, неприятно было слышать. На меня не смотрит, отворачивается, того и гляди убежит...

От спины она перешла к пояснице, потом к ногам, не пропустила ни одной складки, натирая мокрое тело так же рьяно, как в субботнюю уборку начищала три свои кастрюли. Обливаясь потом, растирая его изо всех сил, она вся сотрясалась, тяжело дышала и все продолжала говорить отрывисто:

— В общем, назвал он меня занозой: впилась, говорит, не отделаешься. Будет отпускать нам в долг хлеб, а главное — дал взаймы пять франков... Я взяла у него масла, кофе, цикорий, хотела еще взять колбасы и картошки, да вижу, он ворчит... Купила в другом месте,— за студень заплатила семь су, за картошку — восемнадцать. Остались у меня три франка семьдесят пять су — на обеды да ужины... Вот как! Зря утро у меня не пропало.

Теперь она вытирала его тряпкой, там, где тело еще не обсохло. А он, радуясь сегодняшней удаче и не думая о новом долге, громко захохотал и схватил ее в охапку.

— Пусти, глупый! Ты мокрый, вымочишь меня... Только вот боюсь, как бы Мегра не замыслил кой-чего...

Она хотела было сказать о Катрин и замялась. Зачем тревожить отца? Конца-края не будет неприятностям.

— Что он там замыслил?

— Да, верно, замыслил нажиться на нас, вот что. Пусть Катрин хорошенько проверит счет.

Муж снова схватил ее и уже не отпускал. Купанье всегда кончалось таким образом. От энергичного массажа, от того, что тряпка щекотала ему и волосатую грудь и под мышками, он чувствовал прилив молодечества. Да и во всем поселке это был час забвения, когда детей зачинали больше, чем позволяло благоразумие. По ночам кругом была семья. Маэ подталкивал жену к столу, посмеиваясь довольным смехом здоровяка мужчины, наслаждающегося

единственной приятной минутой за весь день. Маэ говорил, что это сладкое кушанье после обеда, да еще даровое — денег не стоит. Жена, колыхая бедрами и грудью, похохатывая, отбивалась:

— Вот дурень-то, господи! Вот дурень!.. А Эстелла-то на нас смотрит. Да погоди ты, я хоть головенку ей поверну.

— Скажешь тоже! Или она в три месяца что понимает?

Наконец Маэ стал одеваться, но надел он только сухие штаны. Хорошенько вымывшись и поиграв с женой, он любил посидеть голым до пояса. На его коже, отливавшей восковой белизной, как у малокровной девицы, четко выделялась, словно татуировка, «роспись», как говорят углекопы,— царапины, шрамы, порезы, оставленные острыми осколками угля; он, видимо, гордился этими узорами и будто выставлял напоказ свою широкую грудь и блестевшие, как полированный мрамор, мускулистые руки, испещренные синими жилками. Летом все углекопы выходили постоять у дверей в таком туалете. Маэ и в мартовский день, несмотря на сырую погоду, вышел на минутку за дверь, отпустил соленую шуточку, окликнув товарища, тоже стоявшего с голой грудью у своей двери. Вышли и другие. Дети, возившиеся на тротуаре, подымали головы и тоже смеялись, довольные, что веселы их отцы. Усталые труженики дышали свежим воздухом.

За стаканом кофе, все еще не надев рубашки, Маэ рассказывал жене о столкновении с инженером по поводу крепления штреков. Пришла минута спокойствия, отдыха; одобрительно кивая головой, он слушал разумные советы жены, женщины здравомыслящей и понимавшей толк в шахтерских делах. Как всегда, она старалась внушить мужу, что против Компании идти невозможно, ничего этим не выиграешь. Затем рассказала, что их дом посетила г-жа Энбо. У обоих это вызвало чувство гордости, хотя они об этом и не сказали ни слова.

— Ну, можно? — спросила Катрин, стоя на верхней ступеньке лестницы.

— Да, да. Можно. Отец обсыхает.

Девушка надела праздничное платье, старенькое поплиновое платье ярко-синего цвета, выцветшее и потертое на складках. На голове у нее был простенький чепчик из черного тюля.

— Ты что нарядилась? Куда идешь?

— Схожу в Монсу, купить ленту к чепчику. Старую я отпорола, очень грязная.

— У тебя, значит, деньги есть?

— Нет. Мукетта обещала дать мне десять су взаймы.

Мать не стала задерживать ее, но у порога окликнула:

— Слушай, к Мегра за лентой не ходи... Он тебя надует и к тому же будет думать, что у нас денег куры не клюют.

Отец, сидевший на корточках у огня, чтоб поскорее высохли волосы, сказал коротко:

— Смотри в темноте по дорогам не шатайся.

Затем Маэ до вечера работал в огороде. Он уже посадил картофель, бобы, горох; кроме того, со вчерашнего дня он держал в канавке, прикопав землей, рассаду капусты и латука, и теперь принялся сажать их в грядки. В своем огороде он выращивал все овощи, необходимые для семьи,— только картофеля никогда не хватало. Он знал толк в огородничестве и даже выращивал артишоки — «для форсу», как говорили соседи. Когда он подготовил грядку, Левак вышел в свой огород покурить и поглядеть на латук, который Бутлу посадил утром; если б не усердие жильца, весь огород у Левака зарос бы крапивой. Начался разговор через решетчатую изгородь. Левак, усталый и возбужденный после драки с женой, тщетно уговаривал Маэ заглянуть вместе с ним в пивную Раснера. Ну чего он боится? Выпил бы кружку пива, поиграл в кегли, прогулялся с товарищами, а к ужину вернулся бы домой. Когда вылез из-под земли, надо и пожить немного. Конечно, ничего дурного в этом не было, но Маэ заупрямился: если сегодня не посадить рассаду, завтра она завянет. А в сущности, отказался он из благоразумия,— не хотелось просить у жены ни гроша из тех денег, что остались у нее от пяти франков.

В пять часов пришла жена Пьерона и спросила, не увязалась ли за Жанленом ее падчерица Лидия. Левак ответил, что, наверно, так оно и есть, потому что и его сын, Бебер, куда-то исчез, а эти озорники всегда вместе бродяжничают. Маэ успокоил обоих, сказав о поручении, которое дала мать Жанлену, а затем принялся вместе с приятелем добродушно и беззастенчиво поддразнивать кокетливую бабенку. Она сердилась, испуганно вскрикивала, всплескивала руками, но не уходила, так как втайне ее забавляли их шутки. На помощь ей пришла сухопарая соседка, которая от раздражения заикалась и кудахтала, точно курица. Возмущались, так сказать, за компанию, и другие женщины, те, что стояли поодаль от любезников. В школе кончились занятия, детвора высыпала из домов, улица кишмя кишела шалунами: они визжали, кричали, катались по земле, дрались; а отцы, все те, кто не пошел в питейное заведение, собравшись кучками по три-четыре человека, сидели у стен на корточках, как в шахте, и, покуривая трубку, изредка обменивались словами. Жена Пьерона ушла разъяренная, когда Левак вздумал пощупать, плотные ли у нее ляжки; после этого он решил в одиночку отправиться к Раснеру, а Маэ остался сажать капусту.

Как-то сразу стемнело. В доме Маэ зажгли лампу; мать сердилась, что ни дочь, ни сыновья еще не вернулись. Ну вот, так она

и знала! Никогда не бывает, чтобы все вместе сели за стол поужинать, а ведь только вечером и может собраться семья. А где, спрашивается, листья одуванчика, которые должен был набрать Жанлен? Ждешь, ждешь, а его все нет. Негодяй мальчишка! Какие он листья нарвет в темноте? А как бы хорошо поесть с салатом то кушанье, что стоит сейчас на огне: тушенка из картошки, порея, щавеля, смешанная с поджаренным луком. По всему дому разносится запах жареного лука — вкусный запах, но скоро он становится едким, неприятным и пропитывает противной вонью даже кирпичные стены домов; по этому запаху шпеской кухни издалека можно почуять, в какой стороне находится поселок.

Лишь только стемнело, Маэ пришел из огорода, сел на стул и, прислонившись головой к стене, задремал. По вечерам так было всегда: стоило ему сесть — он сразу засыпал. Пробило семь часов. Ленора и Анри разбили тарелку, помогая Альзире накрыть на стол. Вернулся старик Бессмертный — он спешил поужинать перед уходом на шахту. Тогда жена разбудила Маэ:

— Садитесь за стол, нечего их ждать. Не маленькие, найдут дорогу домой. Жаль вот только салата нет у меня.

Пообедав в заведении у Раснера, Этьен вновь поднялся в отведенную ему комнатушку под самой крышей, с окном, обращенным к шахте; едва живой от усталости, он в одежде бросился на постель и сразу уснул: за двое суток ему не удалось поспать и четырех часов. Проснулся он уже в сумерки и сперва не мог понять, где находится; ломило все тело, голова была тяжелая, он с трудом поднялся, решив пройтись, подышать воздухом, а после ужина лечь на ночь.

Погода становилась все мягче, по небу, блестевшему на западе медью заката, ползли черные тучи, набухшие дождем, затяжным дождем, обычным в этих краях, и приближение его чувствовалось в теплом сыром воздухе; волнами надвигалась темнота, затопляя бесконечные дали, открывавшиеся на этой плоской равнине. Небо, нависшее над бескрайним морем красноватой земли, как будто таяло и расплывалось черной пеленой; не проносилось ни единого дуновения ветерка в этот час сгущающихся сумерек. Все было объято грустью, мертвой, погребальной тишиной.

Этьен шел куда глаза глядят, его гнало лихорадочное возбуждение. Проходя мимо шахты, лежавшей в лощине и уже затянутой мраком, где, однако, не горел еще ни один фонарь, он остановился на минутку посмотреть, как выходят рабочие дневной сме-

ны. Вероятно, пробило шесть часов; грузчики, стволовые, конюхи шли группами и вперемежку с ними, неразличимые в темноте, сортировщицы; слышались их голоса и смех.

Впереди шли Горелая и ее зять Пьерон. Старуха бранила его за то, что он не поддержал ее, когда она поспорила с десятником при подсчете ее выработки.

— Эх ты! А еще мужчина называется! Тряпка ты, и больше ничего! Перед всякими сволочами на брюхе ползаешь, а они нас обкрадывают.

Пьерон, не отвечая, мирно следовал за ней. Наконец он произнес:

— А что ж мне, драться, что ли, с ним было? Спасибо! Ведь он начальник. Наживать еще неприятностей?

— Ну что ж, подставляй спину под хозяйский кнут! — закричала Горелая.— Черт бы вас всех, трусов, побрал! И отчего это дочь не послушала меня!.. Мало того что они у меня мужа убили, ты, может, хочешь, чтобы я за это спасибо им сказала? Нет, погоди, я им отомщу!

Голоса потерялись вдали. Этьен смотрел, как яростно жестикулирует длинными худыми руками старуха Горелая, смотрел на ее лицо с орлиным носом и разлетающуюся седую шевелюру. Но тут позади него послышались знакомые голоса, и он насторожился, прислушиваясь к разговору. Это рукоятчик Муке подошел к своему приятелю Захарию, который поджидал его.

— Ну как, пойдем? — спросил Муке.— Перекусим маленько и закатимся в «Вулкан».

— Сейчас. У меня тут дело есть.

— Что такое?

Муке обернулся и увидел Филомену, выходившую из сортировочной. Он, по-видимому, догадался.

— Ах так... Поговори. Я, значит, вперед пойду.

— Ступай, я тебя догоню.

Муке, уходя, встретился с отцом, конюхом Муком, тоже выходившим из шахты, они попросту пожелали друг другу доброго вечера, затем сын зашагал по большой дороге, а отец двинулся в другую сторону, по берегу канала.

Направился к каналу и Захарий, подталкивая к уединенной дорожке упиравшуюся Филомену. Она спешила домой: «Нет, нет, лучше в другой раз». И они заспорили, как старые супруги. Что за радость видеться только на улице да еще зимой, когда земля мокрая и нет в поле хлебов, где можно спрятаться.

— Да нет, я не за тем,— нетерпеливо бормотал он.— Хочу сказать тебе кое-что.

И, взяв Филомену за талию, он тихонько ее повел. Они оста-

новились в тени, падавшей от террикона, и Захарий спросил, нет ли у нее денег.

— Зачем тебе? — спросила Филомена.

Захарий смешался, забормотал, что он должен «одному человеку» два франка и боится сказать родителям.

— Да молчи ты!.. Я ведь видела Муке... Опять ты пойдешь в «Вулкан» пялить глаза на этих окаянных певичек.

Захарий отпирался, бил себя кулаком в грудь, давал честное слово. В ответ она пожимала плечами. И он вдруг сказал:

— Пойдем с нами, если хочешь... Сама увидишь, что нисколько ты нам мешать не будешь! На что они мне, певички эти?.. Ну, пойдешь?

— А маленький? — ответила она.— Куда пойдешь, когда ребенок на руках, крикун неугомонный? Пусти, пойду домой... Там наверняка опять свара.

Но Захарий все не пускал ее, упрашивал дать денег. Ну, как же это? Ведь он обещал Муке. Неужели она дураком хочет выставить его перед приятелем? Не может человек каждый вечер вместе с курами ложиться. Филомена наконец сдалась, отогнула полу кофточки, разорвала ногтем нитку и вытащила несколько монет по десять су, зашитые в подкладку. Из страха, что мать все отберет, она прятала таким образом деньги, полученные за добавочную работу на шахте.

— У меня пять монет, видишь? — сказала она.— Так и быть, дам тебе три... Только поклянись, что уговоришь мать поженить нас. Довольно нам такой жизни! Все на улице! Да еще мать попрекает меня каждым куском... Поклянись, поклянись сперва!

Худенькая, болезненная женщина говорила вялым голосом, в интонациях ее не было страстного волнения, а чувствовалась лишь усталость измученного жизнью человека. Захарий клялся и божился, что его слово свято. А когда получил три монеты, облапил Филомену, стал щекотать, рассмешил и, пожалуй, довел бы свои любезности до конца, укрывшись во впадине террикона, с давних пор служившей для них зимою супружеской спальней, но Филомена отвергла заигрывания, сказав, что это не доставит ей никакого удовольствия. Она в одиночестве возвратилась в поселок, а он прямиком, через поле, побежал догонять приятеля.

Этьен машинально следил за ними издали и, не зная обстоятельств, считал, что это просто свидание. На рудниках девушки рано познавали любовь; он вспомнил фабричных работниц в Лилле, которых парни, бывало, поджидали на задворках фабрик,— целые стайки девчонок, испорченных уже в четырнадцать лет, выросших в нищете и без призора. Но его размышления прервала другая встреча. Он остановился.

У подножия террикона, на больших камнях, которые скатывались с него, тщедушный Жанлен яростно спорил с Лидией, сидевшей справа от него, и с Бебером, сидевшим слева.

— Ну, еще что скажете?.. Вот надаю обоим оплеух, так больше не будете просить... Кому мысль в голову пришла? Кому?

В самом деле мысль принадлежала Жанлену... Целый час они провозились на берегу канала, рвали все вместе листья одуванчиков, а когда набралась целая куча листьев, он подумал, что столько дома у него не съедят, и не пошел обратно в поселок, а отправился в Монсу, захватив с собой Бебера и Лидию. Бебера он заставил сторожить, а Лидии приказал звонить у подъездов городских домов и предлагать листья одуванчика. Как человек бывалый, он говорил, что девчонки распродадут все, что хочешь. Торговля шла очень бойко; правда, для дома ничего не осталось, но зато Лидия выручила одиннадцать су. А теперь три компаньона делили меж собой доход.

— Это несправедливо! — твердил Бебер.— Надо поровну делить. Если ты возьмешь себе семь су, нам с ней достанется только по два су.

— Что же тут несправедливого? — разозлившись, возражал Жанлен.— Во-первых, я больше вашего нарвал.

Обычно Бебер с боязливым восхищением повиновался Жанлену; он постоянно был жертвой приятеля, нередко получал от него затрещины, хотя был старше и сильнее его. Но на этот раз мысль об утрате такого богатства привела его к сопротивлению.

— Лидия, ведь он хочет обсчитать нас! Верно я говорю? Если он не поделит поровну, мы его матери пожалуемся.

Жанлен сунул ему кулак под нос:

— А ну посмей, пожалуйся! Я сам пойду к вам домой и скажу, что вы продали салат нашей мамы... Да и как я буду делить одиннадцать су на троих, глупая башка? Попробуй-ка, подели, раз ты такой ловкий!.. Нате, получайте по два су. Да берите живей, а не то я себе в карман положу.

Бебер угрюмо покорился и взял два су.

Лидия не сказала ни слова, она вся трепетала, была исполнена нежности, как маленькая побитая мужем женщина, жаждущая получить его прощение. Жанлен протянул два су, и она с заискивающим смехом тотчас подставила руку. Но вдруг он передумал.

— Ну что? На кой тебе деньги?.. Ты ведь спрятать не сумеешь, и мать все равно у тебя их отберет... Лучше дай мне на хранение. Когда тебе понадобится, ты у меня спросишь.

И он завладел девятью су. Чтобы заткнуть Лидии рот, он, смеясь, обхватил ее обеими руками и вместе с ней покатился по отвалу

террикона. Она была его маленькой женой, во всех темных углах они пытались играть в любовь, какую видели у себя дома, подглядывая в щели перегородок, в замочные скважины. Они все знали, но ничего не могли, были еще слишком малы, шли ощупью, целыми часами возились друг с другом, как порочные щенята. «Поиграем в папу и маму»,— говорил Жанлен, и Лидия бежала за ним вприпрыжку; она подчинялась ему, испытывая сладостный трепет инстинкта, иногда сердилась, но всегда уступала, ожидая чего-то неведомого, что никогда, однако, не приходило.

Бебера в такие игры они не принимали, и если он пытался ущипнуть Лидию, то получал от приятеля трепку; поэтому он всегда испытывал смущение, гнев и чувство неловкости, когда Жанлен и Лидия, нисколько не стесняясь его присутствием, изображали возлюбленных. В отместку он старался напугать, помешать им, то и дело кричал, что их видят:

— Крышка вам! Попались! Какой-то дядька смотрит!

На этот раз он не соврал — приближался Этьен, решив продолжить свою прогулку. Приятели вскочили и пустились наутек, а Этьен, обогнув террикон, пошел по берегу канала, посмеиваясь над перепуганными проказниками. Конечно, слишком рано в их возрасте, но ведь они столько всего насмотрелись, столько наслушались, что, верно, пришлось бы их привязывать, чтобы они не подражали взрослым. А в глубине души Этьену было грустно.

Пройдя еще сто шагов, он опять натолкнулся на парочки. Ведь он очутился около Рекильяра, а там, вокруг заброшенной шахты, бродили девушки из Монсу со своими возлюбленными. Там было всеобщее место свиданий, удаленное и пустынное место, где молодые откатчицы зачинали своего первого ребенка, если не осмеливались «миловаться» на крыше сарайчика возле дома. Сломанный забор каждому открывал доступ в большой двор шахты, превратившийся в пустырь, загроможденный обломками двух обвалившихся сараев да переплетением еще не упавших столбов и перекладин — остовом прежних мостков. Валялись там старые негодные вагонетки, высились целые штабеля полусгнившего крепежного леса; но буйная растительность уже завладела этими развалинами, густая трава покрыла землю, тянулись вверх молодые деревья с довольно толстыми стволами. Тут для всех находился укромный уголок, где девушки могли никого не бояться; кавалеры увлекали их на бревна, или за штабеля леса, или в вагонетки. Все парочки обретали здесь приют, и хоть устраивались очень близко от соседей, не обращали на них внимания. И вокруг угасшей навсегда котельной, возле ствола шахты, уставшего извергать уголь на землю, казалось, шло торжество созидания жизни, ибо под

бичом инстинкта девушки, едва созрев, предавались свободной любви, и плод зарождался во чреве их.

Тут жил сторож, старый конюх Мук, которому Компания отдала помещение из двух комнат, находившихся почти под самым копром, настолько разрушенным, что ежеминутно могли рухнуть последние стропила, балки и своею тяжестью раздавить убогое жилище. Муку пришлось кое-где подпереть потолок столбами, но он превосходно устроился здесь со своим семейством: одну комнату занимал он с сыном, другую — Мукетта. В окнах не осталось ни единого стекла, и Мук решил забить их досками,— из-за этого в комнатах было темновато, зато тепло. Впрочем, старик сторож ничего не сторожил, ходил за лошадьми в Ворейской шахте и думать не думал о Рекильяре, где сохранился только ствол, служивший трубой, подававшей воздух в вентиляционные выработки соседней шахты.

И вот дядюшка Мук доживал свой век среди влюбленных. Его собственная дочь Мукетта грешила во всех закоулках этих развалин чуть ли не с десяти лет, но не так, как боязливая и тщедушная девчонка вроде Лидии,— нет, она очень рано стала рослой толстушкой и привлекала внимание усатых парней. Отец не мог на нее пожаловаться: она всегда была с ним почтительна и не приводила поклонников в дом. К тому же для Мука давно стали привычными все эти любовные истории, происходившие вокруг. Шел ли он на Ворейскую шахту или возвращался оттуда, он в своей трущобе не мог шагу шагнуть, чтоб не наткнуться на парочку; а если он хотел набрать дров, чтобы сварить себе похлебку, или нарвать травы для кролика на другом конце двора — бывало еще хуже: перед ним то тут, то там появлялись лукавые лица всех девчонок Монсу, и ему приходилось двигаться крайне осторожно, чтобы не споткнуться о чьи-нибудь ноги, протянутые поперек тропинки. Мало-помалу подобные встречи стали привычными и никого не беспокоили — ни его самого, ни девушек, и Мук, стараясь не мешать им, удалялся осторожными мелкими шажками, как миролюбивый и благоразумный человек, не собирающийся спорить с природой. Влюбленные теперь сразу узнавали его в темноте, да и он в конце концов всех их узнал, как знают озорных сорок, которые справляют свои свадьбы на грушевых деревьях в саду. Ах, эта молодежь! Как она набрасывается на любовные утехи, как жадно ими наслаждается. Иной раз он жалостливо покачивал головой и отворачивался, услышав в темноте вздохи и лепет чересчур пылких девиц. Только одна пара влюбленных приводила его в дурное расположение духа: они завели привычку обниматься у самой стены его сторожки. И хотя их возня не мешала ему спать, он опасался, что в конце концов они пробьют стену.

Каждый вечер Мук принимал у себя гостя — старика Бессмертного, который неукоснительно совершал перед ужином прогулку до Рекильяра. Два бывших углекопа проводили вместе с полчаса, не перекинувшись и десятью словами. Но им всегда приятно было посидеть рядом, уносясь мыслями в прошлое, отдавшись воспоминаниям, которые они перебирали в эти минуты, не чувствуя потребности поверять их друг другу. В Рекильяре они садились рядышком на старую замшелую балку и, бросив какую-нибудь короткую фразу, умолкали, погрузившись в задумчивость, и долго сидели, уставясь взглядом в землю. Должно быть, они вспоминали свою молодость. Вокруг них шла любовная игра, слышался воркующий смех, поцелуи, разливался свежий запах примятой травы и запах разгоряченных тел. Сорок три года назад за оградой этого самого двора старик Бессмертный — в те времена молодой забойщик Венсан Маэ — стал возлюбленным девушки-откатчицы, на которой он и женился. Она была хрупкая, маленькая: он, как в гнездо, укладывал ее в вагонетку, чтобы им свободнее было целоваться. Эх, хорошее было время! И два старика, покачивая головой, расходились наконец по домам, зачастую даже не простившись друг с другом.

Но в тот вечер, когда в Рекильяр забрел Этьен, старик Бессмертный, встав с бревен и собравшись идти обратно в поселок, сказал Муку:

— Покойной ночи, старик!.. Скажи, ты Рыжую знал?

Мук, не отвечая, постоял минутку, переминаясь с ноги на ногу. Потом пошел в свою сторожку, пробормотав на прощанье:

— Покойной ночи! Покойной ночи, старик!

Этьен тоже присел на бревна. На сердце у него стало еще грустнее — он сам не знал почему. Он глядел вслед старику Бессмертному, исчезнувшему в сумраке, и ему вспомнилось, как он пришел в Воре до рассвета и как этот молчаливый старик, взбудораженный порывами ветра, разразился целым потоком слов. Да, бедняга! А все эти девушки, измученные, изнуренные работой, настолько еще глупы, что вечерами бегают на свидания, плодят детей, обреченных на тяжкий труд и мученья! Никогда это не кончится, если они так и будут производить на свет нищих. Лучше бы этим девушкам оставаться бесплодными, бежать от любви, как от великого несчастья, отталкивать любовников, защищать свое лоно, не зачинать детей. Быть может, такие мысли возникали в его мозгу лишь потому, что ему тоскливо было сидеть одному, когда другие шли парочками туда, где их ждало наслаждение. В такую сырую и теплую погоду ему даже дышать было трудно; капли дождя, еще робкие, падали на его горячие, как в лихорадке, руки... Да, все девушки проходят через это. Это сильнее разума.

И когда Этьен неподвижно сидел в тени, мимо него промелькнула парочка, явившаяся со стороны Монсу, и скрылась на пустыре Рекильярской шахты. Девушка, вероятно, еще невинная, отбивалась, сопротивлялась; слышался ее умоляющий шепот, а мужчина молча тянул ее в темный угол, под уцелевший навес, где лежала груда ветхих канатов. Это были Катрин и Шаваль. Но Этьен не узнал их и, проводив их взглядом, ждал, чем все это кончится, вдруг охваченный чувственным волнением, изменившим ход его мыслей. Зачем вмешиваться? Когда девушки говорят «нет», они просто хотят уступить насилию.

Выйдя из поселка Двести Сорок, Катрин пошла по большой дороге в Монсу. С десятилетнего возраста, то есть с тех пор как она стала зарабатывать кусок хлеба на шахте, она повсюду ходила одна, пользуясь полной свободой, как и все девушки в семьях углекопов; в пятнадцать лет у нее еще не было любовника лишь оттого, что в ней запоздало пробуждение инстинкта, до сих пор она еще тщетно ждала признака созревания. Дойдя до мастерских Компании, она перешла через улицу и заглянула к знакомой прачке, уверенная, что найдет у нее Мукетту, которая постоянно торчала в прачечной в обществе приятельниц, с утра до вечера угощавших друг друга кофе. Но ее ждало большое огорчение: пришла очередь Мукетты угощать приятельниц, она потратилась и не могла дать Катрин в долг обещанные десять су. Напрасно Мукетта в утешение предлагала ей выпить стакан горячего кофейку. Катрин не пожелала даже, чтобы Мукетта у кого-нибудь заняла для нее денег. На нее вдруг напала бережливость и суеверный страх, что если она купит сейчас ленту, это ей принесет несчастье.

Она, не мешкая, отправилась обратно в поселок, и когда уже проходила мимо последних домов в Монсу, ее окликнул какой-то человек, стоявший у дверей трактира «Виноградное».

— Эй, Катрин! Куда так быстро?

Это был долговязый Шаваль. Катрин стало досадно; и не потому, что Шаваль очень ей не нравился, а просто ей было не до шуток.

— Зайдем. Может, выпьешь чего-нибудь... Стаканчик сладкого? Хочешь?

Катрин вежливо отказалась: на дворе темно, ее ждут дома. Шаваль подошел и, стоя посреди улицы, принялся вполголоса упрашивать. У него давно зрела в голове мысль уговорить ее зайти к нему в номер, который он снимал на втором этаже в трактире «Виноградное»,— комнату с широкой двуспальной кроватью. Почему же Катрин всегда отказывается? Неужели боится его? Она добродушно отшучивалась, говорила, что непременно зайдет к нему после дождичка в четверг, на той самой неделе, когда дети не

родятся. Затем, разговорившись о всякой всячине, она вскользь упомянула о ленте, которую ей не удалось купить.

— Да я куплю тебе ленту! Пожалуйста! — воскликнул Шаваль.

Катрин покраснела, чувствуя, что ей следует отказаться, и вместе с тем сгорая желанием иметь ленту. Тогда ей пришла в голову мысль, что можно взять у него взаймы, и она в конце концов согласилась, но с оговоркой, что потом отдаст ему деньги за ленту. Опять пошли шутки: Шаваль поставил условием, что если Катрин не сойдется с ним, то вернет ему долг. Затем заспорили, где купить ленту. Шаваль предложил пойти в лавку Мегра.

— Нет, к Мегра нельзя, мать не велела...

— Да брось ты! Зачем ей знать, где ты покупала? А ведь у Мегра самые лучшие ленты в Монсу.

Когда долговязый Шаваль и Катрин вошли в лавку, будто двое влюбленных, покупающих свадебный подарок, Мегра весь побагровел и, выкладывая на прилавок синие ленты разных оттенков, полон был бешеной злобы, как человек, которого обманули да еще насмехаются над ним. Отпустив товар молодой паре, он встал у дверей и долго смотрел, как они идут в сумерках по дороге, а когда жена робко задала ему какой-то вопрос, он напустился на нее с руганью и заорал, что когда-нибудь он отплатит мерзавцам, не умеющим ценить его благодеяния... Погодите, они еще будут клясться ему в ноги, просить прощения за свою неблагодарность.

Шаваль пожелал проводить Катрин и чинно шел по большой дороге рядом с нею, не давая волю рукам, только чуть-чуть подталкивал ее бедром и, как будто нечаянно, уводил ее в другую сторону. Вдруг она заметила, что он оттеснил ее с большой дороги на проселочную и что они идут в сторону Рекильяра. Но она не успела и рассердиться — он обнял ее за талию, он ошеломил ее журчащим, неумолчным потоком ласковых слов. Ах, какая она глупенькая! Чего же она боится? Да разве он хочет зла такой милочке? Ведь она кроткая, беленькая, нежная, так и хочется ее съесть. Он наклонялся к ее уху, обдавал ее шею жарким дыханием, и у нее по всему телу пробегал трепет. Она задыхалась, не знала, что ответить. Кажется, он и в самом деле ее любит. В субботу вечером, погасив свечу на ночь, она спрашивала себя, что будет, если он станет домогаться ее, и сквозь дремоту думала, млея от удовольствия, что, пожалуй, она не сказала бы «нет». Почему же сейчас при мысли об этом она чувствовала отвращение и словно жалела о чем-то? Когда он щекотал ей шею своими длинными усами, ей было так приятно, что она закрывала глаза, но перед ней в вечернем сумраке вставала тень другого, того юноши, который работал с нею утром.

Вдруг она открыла глаза и посмотрела вокруг. Шаваль привел ее к развалинам Рекильярской шахты, и, вздрогнув, она попятилась, очутившись перед черным обвалившимся навесом.

— Ах, нет! Нет! — лепетала она.— Прошу тебя, пусти! Оставь меня!

Ее терзал безумный страх перед самцом, страх, от которого у девушки напрягаются все мышцы в инстинктивной самозащите, даже когда она согласна и чувствует приближение победителя. Казалось бы, Катрин ничему не надо было учить, однако ее девственное тело трепетало от ужаса, все сжималось, словно перед угрозой удара, ужасной раны, страшась еще неведомой ему боли.

— Нет, нет! Не хочу! Я еще слишком молодая... Погоди немножко, когда я хоть стану такая, как все.

Он бормотал срывающимся голосом:

— Глупая! Так чего же тебе тогда бояться? Ну что тебе стоит?

И больше он не стал говорить. Крепко схватил ее и бросил под навес. Она упала навзничь на ветхие канаты и перестала защищаться, подчинившись страсти мужчины с той унаследованной покорностью, которая заставляла дочерей углекопов слишком рано, чуть ли не с детских лет, отдаваться любовникам в поле, открытом всем ветрам. Затих жалобный лепет, слышалось только тяжелое дыхание мужчины.

Этьен сидел не шевелясь и все слышал. Ну вот, еще одна пала. А теперь, раз он поглядел комедию, можно и уйти. Он встал, испытывая какое-то тягостное чувство, в котором были и смущение, и зависть, и поднимавшийся гнев. Уже не боясь нашуметь, он шел, спотыкаясь, перешагивая через бревна,— ведь те двое слишком заняты друг другом и еще долго здесь пробудут.

Но не прошел он и ста шагов по дороге, как, обернувшись, увидел, к своему удивлению, что они поднялись и как будто собираются идти, как и он, в сторону поселка. Мужчина обнимал девушку за талию, прижимал ее к себе, словно с признательностью, опять что-то шептал ей на ухо; зато она теперь торопилась, хотела поскорее вернуться домой, и по всему было видно, что ей неприятно здесь оставаться.

И вдруг Этьена охватило мучительное желание увидеть их лица. Ну что за глупость! Он ускорил шаг, чтобы не поддаться соблазну. Однако его ноги словно сами собою замедляли шаг и, дойдя до первого фонаря, он спрятался в тень. Парочка прошла мимо, и он остолбенел, узнав Катрин и Шаваля. Сперва он глазам своим не поверил: неужели эта девушка в ярко-синем платье и черном чепчике действительно Катрин, которая казалась мальчишкой-подростком, когда на ней были штаны и колпак, обтягивавший голову?

Вот почему в Рекильяре он не угадал, что это Катрин, хотя она прошла, коснувшись его платьем. Но теперь он увидел ее лицо и больше не сомневался. У кого же еще могли быть такие глаза — зеленоватые, прозрачные, как вода в роднике, такие светлые и глубокие глаза? Но какая дрянь распутная! У него возникло яростное, беспричинное желание отомстить ей. За что? Какие были у него права на нее? Сейчас он презирал ее. Да еще и находил, что ей совсем не идет женское платье. Уродина, вот и все!

Парочка медленно шла по дороге, не подозревая, что за ней следят. Остановив Катрин, Шаваль целовал ее в шею за ушком, и она больше не рвалась вперед, шла медленнее, смеялась тихим смехом в ответ на ласки. Нарочно отстав от них, Этьен был вынужден идти за ними следом и негодовал, что они загораживают ему дорогу, да еще и угощают его зрелищем, которое его бесит. Так, значит, она сказала правду нынче утром, уверяя, что еще не была ничьей любовницей. А он ей не поверил, отказался от нее, не желая уподобиться тому, другому. И вот ее перехватили под самым его носом, оставили его в дураках, а он еще нашел себе гнусное развлечение — подглядывал за ними. Просто с ума можно сойти! Он сжимал кулаки, готов был растерзать Шаваля, поддавшись слепому порыву ревности, толкающей на убийство...

Прогулка длилась с полчаса. Подходя к Ворейской шахте, Шаваль и Катрин вновь замедлили шаг, два раза останавливались на берегу канала, три раза у террикона; теперь оба они были очень веселы, обменивались шаловливыми нежностями. Из опасения, что его заметят, Этьену тоже приходилось останавливаться. Он старался внушить себе грубые мысли: впредь ему наука, не будь щепетильным, не церемонься с девушками. Когда миновали шахту, Этьен мог бы свободно повернуть к Раснеру и поужинать там, но он двинулся дальше за парочкой, дошел до самого поселка и, спрятавшись в тени, долго стоял там, пока не увидел, что Шаваль отпустил Катрин, и она вернулась домой. Удостоверившись, что любовники расстались, он снова двинулся в путь, и долго шел по дороге к Маршьену, шагая машинально, ни о чем не думая; на душе у него было так мерзко, что он не мог сейчас запереться в четырех стенах.

Было около девяти часов вечера, когда Этьен прошел обратно через поселок, вспомнив о том, что надо поесть и лечь спать, если он хочет встать завтра в четыре часа утра. Весь поселок спал, все было черно вокруг. Ни единой полоски света не пробивалось сквозь запертые ставни в домах, выстроившихся длинными шеренгами: наверно, все там спали тяжелым сном, всхрапывая, как солдаты в казармах. На улицах — ни души. Только кошка пробежала по пустынным огородам. Кончился еще один день мучительного труда,

люди, чуть не падавшие за столом от усталости, едва добирались до постели и, отяжелев от пищи, сразу засыпали.

В ярко освещенном кабачке Раснера машинист с шахты и двое рабочих дневной смены пили пиво. Этьен не сразу переступил порог — сперва постоял у дверей и в последний раз посмотрел вокруг.

Все то же беспредельное черное пространство, которое он видел утром, когда добрался сюда, подстегиваемый холодным ветром. Прямо перед ним лежала Ворейская шахта, припав к земле, будто злой, хищный зверь, и тьму вокруг нее пронизывали лишь несколько огненных точек. Костры, зажженные на терриконе, казалось, висели в воздухе, словно три багровых луны, и свет их на мгновение выхватывал из темноты огромный силуэт старика Бессмертного и его буланой лошади. Дальше простиралась голая равнина — там мрак затопил Монсу, Маршьен, Вандамский лес, бесконечные поля, засеянные свеклой и пшеницей; а где-то далеко-далеко, словно маяки в океане тьмы, горели голубые огни над домнами и полыхало красное пламя над коксовыми батареями. Мало-помалу все заволокла влажная пелена — пошел дождь, тихий, затяжной, мелкий дождь, с монотонным, мерным шелестом падавший на все сокрытое, невидимое в ночи. И в мертвом безмолвии слышался лишь непрестанный шум — мощное дыхание паровой машины, пыхтевшей и днем и ночью, откачивающей из шахты воду.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

На следующее утро Этьен опять спустился в шахту, и так пошло день за днем. Он начал привыкать, соразмерял все свое существование с новой работой, приобретал в ней сноровку, хотя вначале она показалась ему невыносимой. В первые две недели однообразие его жизни нарушила лишь недолгая болезнь, на двое суток приковавшая его к постели: все тело у него ломило, голова пылала; в жару лихорадки его преследовал один и тот же сон, почти бредовое видение: ему чудилось, что он пробирается с вагонеткой в узком штреке, таком узком, что его тело не пролезает там. Болезнь была вызвана мучительным напряжением в первые дни ученичества, крайней усталостью, и он быстро оправился.

Как и все его товарищи, он вставал в три часа утра, пил кофе и уходил, захватив с собой толстый бутерброд, приготовленный для него с вечера женой Раснера. Ежедневно по дороге в шахту он встречал старика Бессмертного, отправлявшегося домой спать, а возвращаясь, сталкивался с Бутлу, который шел на работу в дневную смену.

Он обзавелся шахтерской одеждой — шапкой, штанами, парусиновой курткой; так же, как и все, он дорогой дрожал от холода и грелся у пылающей печки в раздевальне. Потом, стоя босиком, ждал в приемочной, по которой гуляли свирепые сквозняки. Но машина, поблескивавшая наверху в полумраке стальными своими частями с медными перехватами, больше его не занимала; не интересовали его также и тросы, мелькавшие в бесшумном полете, словно черное крыло ночной птицы, ни клети, непрестанно нырявшие и выплывавшие среди гула сигналов, голосов, выкрикивающих приказы, грохота вагонеток, сотрясавших чугунные плиты пола. Тускло горела его лампа,— должно быть, проклятый ламповщик как

следует ее не вычистил; сонливое оцепенение сразу проходило, когда озорной рукоятчик Муке погружал углекопов в клеть и, заигрывая с откатчицами, награждал девушек звонкими шлепками. Клеть снималась с упоров, камнем летела вниз на дно черной ямы, а Этьен даже не поворачивал головы, чтобы посмотреть на убегающий свет. Никогда он не думал о том, что клеть может сорваться, и чем ниже спускался в темноте под проливным дождем, тем больше казалось ему, что он у себя дома. Внизу, в рудничном дворе, когда Пьерон, с обычным своим лицемерно-кротким видом, отпирал клеть и выпускал рабочих, неизменно слышался неровный топот множества ног; каждая артель направлялась в свой забой, люди шли, шлепая босыми ногами. Теперь выработки в шахте были знакомы ему лучше, чем улицы Монсу, он знал, где надо повернуть, а где — низко нагнуться, где — обойти лужу воды. Подземный путь в два километра стал для него таким привычным, что он мог бы пройти его без лампы, в полной темноте, заложив руки в карманы. И всякий раз бывали одни и те же встречи: вынырнет из мрака штейгер и осветит своей лампой лица рабочих; дядюшка Мук ведет лошадь в конюшню; Бебер погоняет Боевую, та фыркает и трусит рысцой; бежит позади поезда Жанлен, чтобы закрыть двери вентиляционных ходов; толстуха Мукетта и худенькая Лидия толкают вагонетки.

Теперь Этьен меньше страдал от сырости и духоты в забое. Подниматься по узким ходам, именуемым «печью», ему стало удобно: он как будто истаял и пробирался в таких щелях, куда раньше не решился бы просунуть руку. Он дышал угольной пылью, не испытывая недомогания, все различал в темноте, не беспокоился, что с него ручьем льется пот, и привык чувствовать на себе с утра до вечера мокрую одежду. Надо сказать, что он теперь не расходовал без толку свои силы, очень скоро у него в работе появилось уменье,— так скоро, что он удивлял всю артель. Три недели спустя он считался одним из лучших откатчиков во всей шахте: ни один быстрее его не подкатывал вагонетку к бремсбергу, никто не прицеплял ее к канату так ловко, как он. Благодаря своему маленькому росту он проскальзывал всюду, а руки у него хоть и были белы и тонки, как у женщины, но под их нежной кожей перекатывались стальные мускулы, и они хорошо справлялись с тяжелой работой. Он никогда не жаловался,— вероятно, из гордости, даже когда едва дышал от усталости. Ему ставили в упрек только одно: он не понимает шутки — тотчас обидится, если кто-нибудь вздумает подразнить его. В общем, шахтеры приняли его в свою среду, смотрели на него как на настоящего углекопа; изнурительный труд стал для него привычным и постепенно превращал его в живую машину.

Больше всех дружил с ним Маэ, так как очень уважал умелых работников. Да и, как все остальные, он чувствовал, что Этьен по развитию выше его, видел, что он читает, пишет, набрасывает чертежи, слышал, как он разговаривает о таких мудреных вещах, о существовании которых Маэ прежде и не подозревал. Это его не удивляло: углекопы крепкие ребята, но головы у них работают хуже, чем у механиков; ему нравилось мужество паренька, решительность, с которой он пошел в углекопы, чтобы не сдохнуть с голоду. Впервые случайный работник в шахте так быстро освоился с делом. Когда, например, артель спешила с вырубкой угля и Маэ не хотелось отрывать от работы забойщиков, он поручал Этьену ставить крепь и был уверен, что тот все сделает аккуратно и прочно. Начальники всегда придирались к этому окаянному креплению, ежеминутно надо было опасаться, что явится инженер Негрель в сопровождении Дансара, будет кричать, спорить, требовать, чтобы все переделали; и Маэ заметил, что крепь, поставленная новым откатчиком, больше удовлетворяет начальство, хотя оно постоянно старается выказать недовольство и все твердит, что в один прекрасный день Компания примет решительные меры. Вопрос этот все не разрешался, среди рабочих нарастало глухое недовольство; даже Маэ, человек спокойный, в конце концов стал приходить в негодование и гневно сжимал кулаки.

Между Захарием и Этьеном возникло было некоторое соперничество. Как-то вечером они чуть не подрались. Но легкомысленному Захарию, в сущности, плевать было на все, кроме удовольствий, поэтому он быстро утихомирился за дружески предложенной кружкой пива, да вскоре и сам признал превосходство новичка. Теперь и Левак смотрел на Этьена благосклонно и не прочь был побеседовать с ним о политике, находя, что у откатчика есть свои мысли. В артели лишь у одного Шаваля осталась тайная враждебность к Этьену, и тот ее чувствовал; нельзя сказать, что они с Шавалем косились друг на друга, напротив,— все считали их приятелями, но когда они обменивались шутками, в глазах у обоих вспыхивала ненависть. Меж ними стояла Катрин. Усталая и смиренная, она по-прежнему покорно сгибала спину, толкая свою вагонетку, по-прежнему была услужлива и приветлива со своим товарищем; да и Этьен всегда старался ей помочь; но ведь она послушно подчинялась требованиям своего любовника и открыто принимала его ласки. Их отношения никого не возмущали, это была всеми признанная связь; даже родители Катрин закрывали на это глаза и как будто не замечали, что Шаваль каждый вечер уводит Катрин за терриkон, а потом провожает ее до дому и на прощанье целует на глазах у всего поселка. Этьен, воображавший, что примирился с таким положением, нередко подсмеивался над ее

прогулками, отпускал смелые шуточки, какие позволяли себе парни и девушки, работая вместе в глубине шахты. Катрин отвечала в том же духе, с напускным озорством болтала о том, что сделал с нею Шаваль, но вдруг приходила в смятение и бледнела, когда встречалась взглядом с глазами Этьена. Оба отворачивались, по часу не обменивались ни словом и, казалось, полны были взаимной ненависти за что-то тайное, схороненное у них в душе, о чем они не смели сказать друг другу.

Пришла весна. Однажды на Этьена, когда он вышел после работы из шахты, пахнуло теплым апрельским ветром, чистым воздухом, бодрящим запахом помолодевшей земли и нежной зелени. Теперь каждый раз, когда он поднимался на поверхность, весна благоухала все слаще и ласково грела его. И как было не чувствовать весеннее тепло, проработав десять часов под землей, в сыром мраке, в который никогда не проникал луч солнца. Дни становились все длиннее, и вот в мае месяце спуск начинался на восходе солнца, когда с багряно-золотого неба заря разбрасывала отсветы по всей Ворейской шахте и белые клубы пара, вырываясь из трубы машинного отделения, становились совсем розовыми. Больше не приходилось дрожать от холода — из далеких просторов равнины неслось животворное дыхание весны; высоко над землею в небе пели жаворонки. В три часа дня сияло яркое солнце, пожаром пылал горизонт, накаливались кирпичные стены, покрытые угольной пылью. В июне хлеба поднялись высоко, нежные голубовато-зеленые нивы четко выделялись на фоне темной свекольной ботвы. Перед глазами расстилалось беспредельное море зелени, волнующееся при малейшем ветерке, оно разрасталось все больше с каждым днем; случалось, к вечеру Этьен с удивлением замечал, что кругом стало еще краше, чем утром. Тополя, окаймлявшие канал, оделись пышной листвой. Терриконом завладела трава, на лугах запестрели цветы,— ростки новой жизни поднимались из земли, пока он мучился в недрах ее, в ярме нищеты и тяжкого труда.

Теперь, когда Этьен прогуливался по вечерам, он не вспугивал влюбленных за терриконом. Он наблюдал за их следами в хлебах, и по колыханию желтеющих колосьев и красных маков угадывал, где эти бесстыдники свили себе гнездо, словно птицы.

Захарий и Филомена, давние любовники, шли туда по привычке; Горелая, вечно разыскивавшая Лидию, постоянно обнаруживала ее там с Жанленом,— они забирались в самую гущу хлебов, старуха чуть не наступала на них, и только тогда они, вспорхнув, разлетались в разные стороны; что касается Мукетты, она успевала повсюду: через какое поле ни пойди, увидишь, как ее голова ныряет в колосьях или мелькнут ее ноги, когда она со всего размаху бросится навзничь. Свободная любовь нисколько не коробила

Этьена, он находил ее преступной лишь в те вечера, когда встречал Катрин и Шаваля. Два раза он видел, как при его приближении они кинулись на землю посреди поля, и закачавшиеся колосья скрыли их. А однажды, проходя по узкой меже среди хлебов, он увидел сквозь стебли пшеницы светлые глаза Катрин, и вдруг они исчезли. Огромная равнина казалась ему в такие вечера тесной, и он предпочитал посидеть в заведении Раснера.

— Налейте-ка мне кружечку, госпожа Раснер... Нет, нынче я никуда не пойду, устал, просто ноги не держат.

И он поворачивался к своему товарищу, который обычно сидел за столом в глубине кабачка, прислонившись головой к стене.

— Суварин, не выпьешь за компанию?

— Спасибо, ничего не хочу.

Этьен познакомился с Суварипным, так как жил бок о бок с ним. Новый его знакомец служил на Ворейской шахте машинистом, снимал у Раснера комнату с мебелью на втором этаже, рядом с Этьеном. Это был человек лет тридцати, сухощавый блондин с тонкими чертами, отпустивший длинные волосы и пушистую бородку. Его белые острые зубы, изящный нос и маленький рот, нежный цвет лица были бы под стать хорошенькой девушке; лицо его хранило выражение какого-то кроткого упрямства, а в иные минуты его серые глаза светились стальным блеском, придававшим его облику что-то дикое. Отличительной особенностью его комнаты, обычной конуры бедняка-рабочего, являлся ящик с книгами и бумагами — все его имущество. По национальности он был русский, никогда не говорил о себе, а люди сочиняли о нем всякие небылицы. Углекопы, относившиеся к иностранцам весьма недоверчиво да еще чуявшие по его маленьким барским рукам, что он принадлежит к другому классу, чем они, сначала вообразили, будто он участник некоего приключения, быть может убийства, и укрывается от наказания. Но он относился к ним по-братски, без малейшей надменности прогуливаясь по поселку, раздавал ребятишкам всю имевшуюся в кармане мелочь,— и в конце концов рабочие приняли его в свою семью: их успокоили слова «политический эмигрант», как кто-то назвал Суварина,— слова туманные, в которых они, однако, видели оправдание многому, даже преступлению, если Суварин его совершил, и дававшие ему право на товарищескую близость и сочувствие обездоленных.

В первые недели знакомства он вел себя с Этьеном сдержанно, почти не разговаривал с ним, и поэтому лишь позднее тот узнал его историю. Суварин был младшим отпрыском в дворянской семье из Тульской губернии. В Санкт-Петербурге, где он изучал медицину, страстное увлечение идеалами социализма, охватившее тогда

всю русскую молодежь, побудило его взяться за ручной труд, и он научился ремеслу механика, ибо решил идти в народ для того, чтобы узнать его и братски ему помогать.

Этим ремеслом он и существовал, после того как ему пришлось бежать из-за неудавшегося покушения на императора; целый месяц он жил в подвале фруктовой лавки, вел оттуда подкоп, проходивший поперек улицы, заряжал бомбы, что поминутно грозило ему смертью,— он мог погибнуть от взрыва под обломками дома. Отвергнутый родными, без денег, не допускавшийся во французские мастерские как подозрительный иностранец, ибо его считали шпионом, он умирал с голоду, и вдруг его наняла Угольная компания Монсу, которой срочно понадобился машинист. Он служил на шахте год, показал себя добросовестным, воздержанным, немногословным человеком, неделю работал в дневную смену, другую — в ночную и был так пунктуален, что начальство ставило его другим в пример.

— Тебе, стало быть, никогда пить не хочется? — смеясь, спросил его Этьен.

Суварин ответил кротким своим голосом, почти без акцента:

— За едой иногда хочется.

Подшучивая над его мнимыми любовными похождениями, Этьен стал уверять, что видел его около выселок «Шелковые чулочки» в хлебном поле,— несомненно, у него было любовное свидание с какой-нибудь откатчицей. Суварин с пренебрежительным спокойствием пожимал плечами. Свидание? На что это ему? В женщине он готов видеть соратника, товарища, если она отважна, как мужчина, и способна оказать братскую поддержку в борьбе. А для чего давать доступ в сердце чувству любви, источнику возможного слабодушия? Нет! Ни жены, ни друга — никаких уз! Он будет свободен от волнений крови — своей и чужой.

Каждый вечер, в девятом часу, когда кабачок пустел, Этьен любил посидеть там и побеседовать с Сувариным. Он пил маленькими глоточками пиво, машинист курил папиросу за папиросой, свертывая их пожелтевшими от табака тонкими пальцами; о чем-то думая, он следил туманным, задумчивым взглядом за расплывавшимися завитками дыма; левая рука, словно желая чем-нибудь занять себя, нервно сжималась и разжималась в пустоте; в конце концов он, по привычке, брал на колени ручную крольчиху, жившую в доме на свободе и вечно ходившую беременной. Крольчиха, которой он дал кличку «Польша», обожала его, сама подбегала к нему, обнюхивала его ноги, вставала на задние лапы, царапала его когтями и не успокаивалась до тех пор, пока он не брал ее, как ребенка, на руки. Тогда она прижималась к нему, сжавшись в комочек, и, заложив назад уши, закрывала глаза; Суварин безотчет-

ными движениями руки гладил ее по шелковистой шерстке, и его, казалось, успокаивало это живое, нежное тепло.

— Знаете что? — сказал однажды вечером Этьен.— Я получил письмо от Плюшара.

В комнате, кроме них, был только Раснер — ушел последний посетитель, возвращаясь в засыпавший поселок.

— О-о! — воскликнул Раснер, подойдя к своим жильцам.— Ну, как у Плюшара дела?

В свое время Этьен сообщил Плюшару, механику из Лилля, что поступил на копи в Монсу, и два месяца у них шла оживленная переписка. Плюшар старался привить ему свои убеждения, обрадовавшись возможности повести через него пропаганду среди углекопов.

— Пишет, что ассоциация, о которой вы знаете, развивается очень хорошо. Кажется, вступают в нее повсюду.

— А ты что скажешь об их обществе? — спросил Раснер у Суварина.

Тихонько почесывая крольчихе голову, Суварин выпустил колечко дыма и пробормотал с обычным своим спокойным видом:

— Глупости!

Но Этьен разгорячился. Все предрасполагало его к бунту, влекло к борьбе труда против капитала; он был невеждой, зато полон мечтаний неофита. Речь шла о Международном товариществе рабочих, о знаменитом Интернационале, который недавно был основан в Лондоне. Разве не было это отважным началом борьбы, в которой наконец восторжествует справедливость? Исчезнут границы, трудящиеся всего мира поднимутся и, объединившись, восстанут, чтобы обеспечить рабочему хлеб насущный, который он зарабатывает своим трудом. И какая простая, но великолепная организация: основа ее — секция, являющаяся представительницей коммуны; выше — федерация, объединяющая все секции данной провинции; затем — нация и, наконец, на самом верху — человечество, олицетворяемое Генеральным советом, в котором каждая нация представлена секретарем-корреспондентом. Меньше чем через полгода Товарищество завоюет весь мир, и трудящиеся продиктуют свою волю хозяевам, если те вздумают сопротивляться.

— Глупости! — повторил Суварин.— Ваш Карл Маркс, по-видимому, хочет все предоставить естественным силам. Никакой тайной политики, никаких заговоров, не правда ли? Все при ярком свете дня и исключительно ради повышения заработной платы... Да подите вы с вашей эволюцией! Спалите города в пламени пожаров, скосите целые народы, уничтожьте все,— и когда уже ничего не останется от этого прогнившего мира, быть может, возникнет новый, лучший мир.

Этьен рассмеялся. Он не всегда понимал слова своего товарища; эта теория разрушения казалась ему рисовкой. Раснер, человек еще более практический и вдобавок устроившийся в жизни, а потому весьма здравомыслящий, не обратил внимания на выпад Суварина. Он хотел все выяснить у Этьена поточнее.

— Так ты, значит, собираешься организовать секцию в Монсу? — спросил он.

Именно этого и добивался Плюшар, состоявший секретарем Федерации Северной Франции. Он особенно настаивал на том, что Товарищество может оказать помощь углекопам, если они когда-нибудь объявят забастовку. Этьен полагал, что забастовка неизбежна: споры из-за крепления кончатся плохо; достаточно Компании предъявить те требования, которыми она грозит, и все шахты взбунтуются.

— Взносы — вот помеха,— рассудительным тоном заявил Раснер,— пятьдесят сантимов в год — в общий фонд, и два франка — в секцию. Как будто деньги и небольшие, а вот увидишь, многие откажутся платить.

— Нам нужно прежде всего создать здесь кассу взаимопомощи,— добавил Этьен.— В случае надобности она будет для нас стачечным фондом... Так или иначе, а пора подумать об этом. Я-то сам готов, если другие готовы.

Наступило молчание. В широко открытую дверь ворвался порыв ветра, лампа, стоявшая на конторке, начала коптить. Явственно слышалось звяканье лопаты: на шахте в котельной машинного отделения кочегар загружал углем топку парового котла.

— Все так вздорожало! — вдруг заговорила жена Раснера. Она вошла и, заняв обычное свое место, прислушивалась к разговору мужчин, угрюмая, в неизменном своем черном платье, в котором казалась выше ростом.

— Подумайте только: за яйца я заплатила сегодня двадцать два су... Нет, надо этому положить конец!

Трое мужчин оказались на этот раз единомышленниками, они говорили один за другим и с отчаянием в голосе высказывали свои мысли. Рабочий больше не в силах тянуть лямку; революция лишь увеличила его нищету, зато буржуазия разжирела после восемьдесят девятого года и жрет так жадно, что не оставляет бедняку даже крох со своего стола. Скажите на милость, разве трудящиеся получили мало-мальски приличную долю в том необычайном росте богатства и благосостояния, который произошел за последнее столетие? Над ними просто издевались, когда объявили их свободными. Да, им дали полную свободу подыхать с голоду, и уж этой свободой они пользовались вовсю! Разве в доме рабочего прибавится хлеба оттого, что он пойдет голосовать за ловкачей, ко-

торые, как только их выберут, давай пировать, а про голодных думают не больше, чем о старых своих стоптанных башмаках. Нет, так или иначе, а надо с этим покончить: мирным путем — через законы, полюбовным соглашением, а то и другим способом — по-дикарски: жечь, резать, уничтожать друг друга. Если теперешнее поколение этого не видит, то последующее увидит наверняка; в конце столетия непременно произойдет вторая революция, на этот раз рабочая революция, большая перетряска, чистка всего общества, сверху донизу, и вновь построенное общество будет честнее и справедливее прежнего.

— Да, пора положить этому конец,— решительным тоном повторила жена Раснера.

— Да, да!..— подтвердили трое мужчин.— Пора положить конец.

Суварин гладил уши крольчихи, и та от удовольствия морщила нос. Прищурив глаза и устремив взгляд куда-то вдаль, он сказал задумчиво, словно разговаривал сам с собою:

— Увеличить заработную плату... Да разве это возможно? Железным законом она сведена к минимальной сумме, строго необходимой для того, чтобы рабочий ел сухой хлеб и плодил детей... Если она падает слишком низко, рабочие мрут, а тогда увеличивается спрос на рабочие руки, и она повышается. Если она поднимается слишком высоко, увеличивается предложение рабочей силы, и заработная плата понижается... Вот вам равновесие, поддерживаемое пустым желудком, приговор на вечную каторгу, на голодное существование.

Когда Суварин углублялся в такие размышления и затрагивал социальные проблемы, как человек образованный, Этьен и Раснер испытывали беспокойство, их смущали его пессимистические утверждения, на которые они не знали, что ответить.

— Поймите,— заговорил он опять обычным своим ровным тоном и обратил к ним внимательный взгляд,— надо все разрушить, иначе опять будет править Царь-голод. Да, анархия, а потом — голое место, земля, политая кровью, очищенная в огне пожаров!.. А дальше видно будет, что делать.

— Вы, господин Суварин, совершенно правы,— заявила жена Раснера, которая и в своих яростных революционных выпадах сохраняла крайнюю учтивость. Этьен промолчал, огорчаясь своим невежеством, мешавшим ему вступить в спор с Суариным. Поднявшись с места, он сказал:

— Пойдем-ка спать! Сколько ни толкуй, а завтра изволь вставать в три часа утра.

Суварин затушил окурок сотой папиросы и, осторожно взяв толстую крольчиху под брюшко, спустил ее на пол. Раснер запер

двери дома на засов. Собеседники разошлись молча, у всех у них звенело в ушах и голова пухла от тех важных вопросов, которые они обсуждали.

И каждый вечер шли такие беседы в комнате с голыми стенами, вокруг единственной кружки пива, которую Этьен пил целый час. Пробудились смутные мысли, дремавшие в его мозгу, расширился его кругозор. Больше всего его томила жажда знания, но он долго не решался попросить у соседа книг; к тому же оказалось, что у Суварина только труды немецких и русских авторов. Наконец он раздобыл французскую книгу о кооперативных обществах («Еще одна глупость»,— говорил Суварин), а также читал регулярно газету «Битва», которую выписывал Суварин,— тощую анархистскую газетку, выходившую в Женеве. И все же, несмотря на повседневное их общение, Суварин по-прежнему оставался замкнутым, и всегда казалось, что человек этот живет, как на биваках, что у него нет никакой личной жизни, никаких чувств и ровно никакого достояния.

В начале июля положение Этьена неожиданно улучшилось. В однообразной, небогатой происшествиями жизни шахты произошло событие: при разработке Гильомова пласта наткнулись в нем на изломы, несомненно предвещавшие приближение к сбросу и пустопорожнему месту; и действительно, вскоре встретилось это пустое место, о котором инженеры, хотя они и хорошо знали геологическое строение участка, не подозревали. В шахте все взволновались, только и разговоров было что об исчезнувшем пласте, который, вероятно, спускался ниже, под эту пустую породу, а позади нее опять выходил наружу. Учуяв след пропавшего угля, старые углекопы раздували ноздри, как добрые охотничьи собаки. Но пока он не был найден, артели не могли сидеть сложа руки, и расклеенные объявления сообщали, что Компания будет вскоре сдавать с торгов новые участки на разработку.

Однажды Маэ после работы проводил Этьена до дому и предложил ему поступить забойщиком в его артель вместо Левака, перешедшего в другую партию. Маэ получил на это разрешение от старшего штейгера и от инженера, которые с большой похвалой отзывались о молодом откатчике. Этьену оставалось только согласиться на это быстрое повышение, что он и сделал, радуясь все возраставшему уважению, которое выказывал ему Маэ.

К вечеру они вместе отправились на шахту ознакомиться с условиями. Оказалось, что торги назначены на участки, находящиеся в пласте Филоньера, в северном крыле Ворейской шахты. Работа казалась невыгодной; Маэ покачивал головой, когда Этьен читал ему вслух объявление. На следующий день, когда они спустились в шахту и пошли осмотреть новые места разработки, Маэ

указал Этьену, что от нее очень далеко до рудничного двора, что порода неустойчивая, что угольный пласт совсем тонкий, а уголь очень твердый. Но ничего не поделаешь: если хочешь есть, придется тут работать. В следующее воскресенье они пошли на торги, которые происходили в бараке; вместо оказавшегося в отъезде инженера отделения торги вел инженер шахты с помощью старшего штейгера. Перед небольшим помостом, устроенным в углу, теснилось пятьсот — шестьсот углекопов; распределение участков шло быстро; слышался глухой гул толпы, чьи-то голоса наперебой выкрикивали цифры — то называли одни, то другие цифры. Маэ испугался: а вдруг ему не достанется ни один из сорока участков, предлагаемых Компанией? Слухи о промышленном кризисе вселяли в шахтеров панический страх перед безработицей, и конкуренты наперебой снижали расценки. Видя такое исступление, инженер Негрель не спешил, выжидая самого большого понижения расценок, а Дансар, подхлестывая участников торга, без стеснения лгал, восхваляя превосходное качество участков. Для того чтобы получить пятьдесят метров лавы, Маэ пришлось бороться с товарищем, который тоже упорствовал, они по очереди сбрасывали по сантиму с вагонетки, и Маэ остался победителем лишь потому, что сам до предела снизил расценок; штейгер Ришом, стоявший позади него, бранился сквозь зубы, подталкивая его локтем, и сердито ворчал, что при такой оплате артель ничего не заработает.

Когда вышли из барака после торгов, Этьен выругался. Потом разразился гневом, встретив Шаваля, который возвращался с прогулки по полю в обществе Катрин: парень срывал цветы удовольствия в то время, как тесть был занят серьезными делами.

— Мерзавцы! Негодяи! — кричал Этьен.— Вон какую подлость устроили! Заставляют рабочих душить друг друга.

Шаваль разгорячился. Ну извините, он-то никогда бы ни снизил расценок! Захарий, явившийся на торги из любопытства, сказал, что ему слушать было тошно. Но Этьен резким жестом оборвал их:

— Этому придет конец! Когда-нибудь мы будем хозяевами!

Маэ, угрюмо молчавший после торгов, вдруг как будто очнулся и повторил:

— Хозяева!.. Эх, судьба проклятая! Давно пора! Натерпелись мы!

II

Это было в последнее июльское воскресенье, в день ярмарки в Монсу. Накануне вечером во всем поселке старательные хозяйки вымыли свою «залу», не жалея воды,— устроили настоящее на-

воднение, с размаху выплескивая ведра воды на плиточный пол и на стены; пол даже еще не высох, хотя его посыпали белым песком — роскошь для тощего кошелька бедняков.

В воскресенье уже с утра было жарко, нависшее тяжелое небо сулило грозу и удушливый, палящий зной, который так часто обрушивается летом на беспредельные поля Северного департамента.

По воскресеньям обычный утренний распорядок менялся в семействе Маэ. Отец с пяти часов сердито ворочался, несмотря на праздник, вставал и одевался, а дети нежились в постели до девяти часов. В то воскресенье Маэ вышел в садик выкурить трубку, потом вернулся съесть бутерброд в ожидании завтрака. Утро у него ушло на всякие пустяки: починил протекавшую лохань для купанья, приклеил на стену под часами портрет наследника престола,— кто-то подарил картинку малышам. Наконец, один за другим, спустились все домашние; старик Бессмертный вытащил в палисадник стул, чтобы погреться на солнышке, мать и Альзира тотчас принялись стряпать. Появилась Катрин, подталкивая Ленору и Анри, которых она умыла и одела; пробило половина одиннадцатого; по всему дому разливался запах жаркого из кролика, тушившегося с картофелем; последними спустились Захарий и Жанлен, у обоих были припухшие, заспанные глаза, и все же оба еще позевывали.

Во всех домах царила суета, праздничное возбуждение, хозяйки спешили отстряпаться,— всем хотелось поскорее пообедать и компанией отправиться на ярмарку в Монсу. Стайки ребятишек бегали по улице; ленивой походкой, не спеша, как и полагается в праздничные дни, прохаживались мужчины, без курток, в рубашках с засученными рукавами. По случаю жаркой погоды двери и окна растворены были настежь, и из конца в конец поселка открывалась панорама — вереница комнат, переполненных жестикулирующими, громко разговаривающими людьми, собравшимися наконец по-праздничному всей семьей. И из каждой двери по всему поселку шел запах жареного кролика, благоухание роскошных яств, вытеснившее в тот день застоявшийся запах жареного лука. В воздухе гул стоял от шумной болтовни,— болтали у каждого крылечка, женщины выбегали, окликали соседок, занимали друг у друга кухонную утварь, шлепками выгоняли или загоняли в дом малышей. Впрочем, за последние три недели Маэ были в холодных отношениях со своими соседями Леваками, так как все еще не позволяли Захарию жениться на Филомене. Отцы встречались, но матери всячески показывали, что знать друг друга не желают. Из-за этой ссоры жена Маэ сблизилась с женой Пьерона. Но в тот день жена Пьерона, оставив мужа и Лидию на попечение старухи Горелой, спозаранку отправилась на целый день в гости к своей дво-

родной сестре в Маршьен. Люди посмеивались: всем было известно, какова она, эта двоюродная сестра — сестрица-усач, а по чину — старший штейгер Ворейской шахты. Жена Маэ заявила, что просто бессовестно бросать свою семью в день ярмарки.

Кроме жареного кролика с картофелем, которого целый месяц откармливали в сарайчике, в доме Маэ подали за обедом густой суп и вареную говядину. Как раз накануне, в субботу, была получка. Право, еще никогда не бывало в доме подобного пиршества. Даже на св. Варвару, в праздник углекопов, когда они три дня не работают, не подавали за столом такой жирной и нежной крольчатины. Не удивительно, что десятеро обедающих, начиная от малютки Эстеллы, у которой прорезывались зубки, и до старика Бессмертного, у которого уже выпадали зубы, работали челюстями так усердно, что обглодали все косточки. Ах, какая вкусная штука жаркое! Но они так редко ели мясо, что плохо его переваривали. Уничтожили и весь суп, оставив только кусок вареной говядины на ужин. Для сытости можно будет добавить хлеба с маслом.

Первым из дому улизнул Жанлен. За школой его ждал Бебер. Они долго бродили вдвоем, а потом сманили Лидию, хотя бабка решила не спускать с нее глаз и ради этого не уходила из дому. Заметив, что девчонка все-таки убежала, старуха раскричалась, возмущенно размахивая своими тощими руками, а тем временем Пьерон, которому надоело слушать ее вопли, без долгих разговоров отправился прогуляться, храня довольный вид, вполне подобающий мужу, когда он может развлекаться со спокойной совестью, зная, что и жена его не скучает.

Затем ушел старик Бессмертный, вслед за ним решился пойти подышать воздухом и Маэ, спросив у жены, встретятся ли они на гулянье. Нет, ей никак не удастся — просто мученье с этими малышами, куда от них пойдешь? Впрочем, она еще подумает, а если пойдет попозднее, так разыщет его где-нибудь в Монсу. Выйдя на улицу, Маэ постоял в нерешительности и все же заглянул к соседям узнать, готов ли Левак. Там он наткнулся на Захария, поджидавшего Филомену, и жена Левака затеяла давнишний спор по поводу их женитьбы, кричала, что над ней издеваются, что она в последний раз, но как следует поговорит с женой Маэ. Разве это жизнь! Изволь-ка нянчить внуков-безотцовщину, а их мамаша гуляет со своим красавчиком. Филомена преспокойно надела чепчик, и Захарий увел ее, в сотый раз повторив, что он бы и рад жениться, да мать не велит, пусть ее уговорят. Поскольку Левак успел улизнуть из дому, Маэ тоже предложил жене Левака поговорить с его женой и поспешил ретироваться. Бутлу, который сидел, навалившись на стол локтями, и доедал кусок сыру, отказался от

предложения пойти выпить по кружке пива. Словно примерный муж, он предпочел остаться дома.

Поселок постепенно пустел; все мужчины, один за другим, двинулись в Монсу, а девушки, поджидавшие на крылечке своих кавалеров, отправлялись под руку с ними в противоположную сторону. Когда Маэ завернул за угол церкви, Катрин, заметив на улице Шаваля, поспешила выйти к нему, и они вместе пошли в Монсу. Мать осталась одна среди расшалившихя ребятишек и вдруг почувствовала такую усталость, что не могла подняться со стула; налив себе второй стакан кофе, она стала пить его маленькими глотками. В поселке остались только женщины и дети; приятельницы, приглашая друг друга в гости, опустошали вместе кофейники до последней капли, болтали за неубранным столом, еще теплым и невытертым после обеда.

Маэ чуял, что Левак пребывает в заведении Раснера, и не спеша направился туда. Действительно, Левак играл с приятелями в кегли за домом, в узком садике, окруженном живой изгородью. Тут же стояли, хоть и не принимали участия в игре, Мук и Бессмертный, и оба следили за ударами с таким страстным вниманием, что даже забывали подталкивать друг друга локтем. Солнце поднялось высоко, в сад падали палящие отвесные лучи, совсем не было тени, кроме узкой полоски у стены кабачка; в этом пекле сидел за столом Этьен и пил пиво, досадуя, что Суварин бросил его и ушел в свою комнату. Почти каждое воскресенье машинист, запершись у себя, читал или писал.

— Сыграем? — спросил Левак у Маэ.

Но Маэ отказался:

— Больно жарко, да и пить хочется.

— Раснер! — крикнул Этьен.— Принеси кружку пивца.— И, повернувшись к Маэ, добавил: — Хочу тебя угостить.

Теперь все они были на «ты». Раснер не спешил, пришлось позвать его три раза, да и то кружку теплого пива принесла его жена, а не он. Этьен пожаловался Маэ на порядки в доме: слов нет, хозяева славные люди, и убеждения у них прекрасные, а только пиво у них никуда не годится, да и кормят отвратительно! Раз десять он собирался переменить пансион, но останавливало расстояние,— из Монсу далеко ходить на шахту. Но в конце концов он не выдержит и устроится на хлеба в поселке у кого-нибудь в семье.

— Ну понятно,— протянул Маэ своим медлительным голосом,— понятно, в семье тебе лучше будет.

Вдруг раздались ликующие возгласы: Левак с одного удара сбил все кегли. Зрители радостно шумели; только Мук и Бессмертный, нагнувшись, рассматривали упавшие кегли и хранили молча-

ние, исполненное глубокого восторга. Придя в восхищение от мастерского удара, игроки сыпали шутками и совсем развеселились, когда над изгородью показалась улыбающаяся физиономия Мукетты. Она целый час бродила неподалеку, а теперь, услышав дружный хохот, осмелела и подошла.

— Как же это ты нынче одна? — крикнул Левак.— А где же хахали?

— Старых прогнала,— ответила Мукетта с веселым бесстыдством,— новенького ищу.

Все наперебой предлагали свои услуги и подзадоривали ее грубыми шуточками. Она отрицательно качала головой, закатывалась хохотом, жеманилась. Кстати сказать, отец присутствовал при этой сцене, но даже и головы не повернул, все любовался сбитыми кеглями.

— Ладно! Знаем мы, на кого ты заришься, девка...— продолжал Левак, бросив взгляд на Этьена.— Только придется тебе силком его тянуть.

Этьен засмеялся. Действительно, Мукетта все вертелась вокруг него. Он говорил «нет», но все же его забавляла эта игра, хотя он не испытывал никакого влечения к Мукетте. Она постояла за изгородью еще несколько минут, пристально глядя на Этьена своими большими глазами, потом медленно пошла прочь, вдруг нахмурившись и притихнув, словно ее разморила жара. Этьен опять принялся вполголоса объяснять Маэ, что для углекопов необходимо основать в Монсу кассу взаимопомощи.

— Чего же нам бояться, раз Компания заявляет, что мы свободны? — твердил он.— Мы получаем только те пенсии, которые она дает, а она назначает их по своему усмотрению, поскольку не делает никаких удержаний из нашего заработка. Ну так вот, было бы разумно, вне зависимости от ее произвола, создать общество взаимной помощи. Мы по крайней мере могли бы на него рассчитывать, когда нам срочно понадобится пособие.

Он уточнял подробности, рассказывал об основах организации, обещал взять на себя весь труд по созданию кассы.

— Да что ж, я не прочь,— сказал наконец Маэ.— Только вот как другие... Ты постарайся и других уговорить.

Вся компания, бросив кегли, пришла выпить пива, чтобы спрыснуть выигрыш Левака. Однако Маэ отказался от второй кружки — день еще велик, успеется. Он вспомнил о Пьероне. Где же его искать? Наверно, сидит в кабачке Ланфана. И, уговорив Этьена и Левака, Маэ вместе с ними отправился в Монсу, а кегельбан Раснера заполнила новая компания. Дорогой всем троим пришлось зайти в винный погребок Казимира, потом в трактир «Прогресс». Везде в открытые двери путников подзывали приятели,—

как же тут отказаться? Всякий раз выпивали по кружке пива, а то и по две, так как в ответ на приглашение им тоже надо было угостить друзей. Посидев с ними минут десять, перекинувшись двумя-тремя словами, спокойно шли дальше, хорошо зная, что пиво неопасный напиток: пивом наливайся сколько хочешь, только вот выливается оно из тебя слишком быстро — единственная неприятность.

В кабаке Ланфана они сразу же натолкнулись на Пьерона, допивавшего вторую кружку; ради встречи с добрыми соседями он осушил и третью кружку. Разумеется, выпили и они. Затем отправились вчетвером поискать Захария в кабачке «Головня». Там было пусто, они решили подождать его и заказали по кружке. Затем заглянули в пивную «Святой Илья», там тоже выпили по кружке — всех угостил штейгер Ришом, а потом двинулись в обход по всем распивочным — без всякого предлога, просто так, для прогулки.

— Пошли в «Вулкан»! — разгорячившись, предложил вдруг Левак.

Остальные похохатывали, мялись, а потом решили не отставать от товарища и двинулись в «Вулкан», пробираясь сквозь все возраставшую ярмарочную толчею. В узком и длинном зале «Вулкана» на дощатом помосте, устроенном у задней стены, поочередно подвизались пять певичек из Лилля — публичные девки самого низкого пошиба, с чудовищными телодвижениями и чудовищными обнаженными телесами. При желании посетители «Вулкана» за десять су могли проникнуть за кулисы и удалиться с той, которая им приглянулась. Заведение посещали главным образом откатчики, рукоятчики, даже тормозные, четырнадцатилетние мальчишки, вся шахтерская молодежь, потреблявшая больше можжевеловой водки, чем пива. Иногда соблазнялись и старые углекопы, женатые люди, известные в поселке своим распутством и нечистоплотные в семейных делах.

Как только компания Маэ села за столик, Этьен завладел Леваком и принялся излагать ему свой замысел создать кассу взаимопомощи. Он пропагандировал усвоенные идеи с усердием новообращенного, который видит в служении им свою миссию.

— Каждый член кассы,— твердил он,— прекрасно может вносить в нее ежемесячно по двадцать су. А ведь из этих взносов у него за четыре-пять лет накопится целый капитал. Когда же у человека есть деньги — он чувствует себя сильным, верно? При любых обстоятельствах... Ну как? Что скажешь?

— Да что ж, я не отказываюсь,— ответил Левак с рассеянным видом.— Мы еще об этом потолкуем.

Его привлекала огромная толстая блондинка, визжавшая на

эстраде, и он пожелал остаться, когда Маэ и Пьерон, выпив по кружке, решили уйти, не дожидаясь второго романса.

Этьен ушел вместе с ними и на улице опять встретил Мукетту,— она, казалось, ходила за ним по пятам. Она поджидала его, пристально смотрела на него большими блестевшими глазами, смеялась добродушным смехом покладистой девицы и словно говорила: «Ну что ж ты? Не хочешь?» Этьен отпустил какую-то шутку и пожал плечами. Она гневно вскинула голову и затерялась в толпе.

— Где же Шаваль? — спросил Пьерон.

— В самом деле, где он? Верно, в «Виноградном».

Но у трактира «Виноградное» им пришлось остановиться — там у самых дверей разыгралась ссора. Захарий грозил кулаком рабочему гвоздильного завода, коренастому и флегматичному валлонцу, а Шаваль, засунув руки в карманы, смотрел на них.

— Гляди-ка, вон он, Шаваль,— спокойно заметил Маэ.— Он с Катрин.

Пять часов подряд Катрин и ее возлюбленный прогуливались по ярмарке. По дороге, которая, проходя через Монсу, превращалась в широкую извилистую улицу, обставленную с двух сторон низенькими пестрыми домишками, под жгучими лучами солнца катился людской поток, подобный колонне муравьев, затерявшейся на голой необъятной равнине. Вековечная черная грязь высохла, над дорогой подымалось теперь облако черной пыли, похожей на грозовую тучу.

Кабаки, расположившиеся по обеим сторонам дороги, были битком набиты, их хозяева поставили длинные столы до самого шоссе, а там двойным рядом выстроились под открытым небом разносчики, лоточники, лавочники, разложившие свои немудреные товары — косынки и зеркала для девушек, ножи и фуражки для парней, не считая сладостей — карамели, леденцов и пряников; на площади перед церковью стреляли из лука. Напротив мастерских играли в шары. Около конторы копей, в том месте, где от шоссе отходила Жуазельская дорога, на пустыре, огороженном досками, теснились любители петушиных боев. Дрались два крупных рыжих петуха, вооруженных железными шпорами; они уже успели выщипать и раскровянить друг другу грудь. Дальше, в лавке Мегра, играли на бильярде; выигравшие получали штаны или фартук. Гул и гомон сменялись долгими минутами безмолвия: молча, без единого возгласа, толпа пила и поглощала еду; наживая несварение желудка, люди уничтожали в огромном количестве пиво и жаренную на сале картошку; палящий зной усиливался от жара раскаленных переносных печек, на которых под открытым небом кипело в котлах сало для поджарки.

Шаваль подарил Катрин зеркальце за девятнадцать су и косынку за три франка. На каждом повороте они встречались с Муком и Бессмертным, которые тоже пришли на праздник и степенно расхаживали рядышком по ярмарке, с трудом передвигая негнущиеся ноги. Другая встреча привела их в негодование — они заметили, что Жанлен подговаривает Бебера и Лидию украсть бутылки с можжевеловой водкой из импровизированной распивочной, устроенной на краю пустыря. Катрин успела дать затрещину брату, но Лидия убежала, прихватив с собой бутылку. Вот поганые ребята! Не миновать им каторги!

Когда подошли к распивочной «Сорвиголова», Шавалю вздумалось повести туда свою возлюбленную посмотреть на состязание зябликов, о котором афиши извещали еще за неделю. На призыв отозвалось человек пятнадцать — рабочие гвоздильного завода в Маршьене; каждый принес по дюжине клеток; на заборе во дворе кабачка были развешаны затемненные покрышкой клеточки, в которых неподвижно сидели ослепшие в полумраке птицы. Выигравшим на состязании считался тот зяблик, который больше других повторит за час несложные коленца своей песенки. Каждый гвоздильщик стоял возле своих клеток с грифельной доской в руках и делал на ней отметки под надзором соседей и сам надзирал над ними. И вот зяблики — «чуфырки», поющие более сочно, и «верещаги», отличавшиеся звонкими трелями, — запели. Начинали они робко, делали изредка коленце, а затем, разойдясь, развернувшись, возбуждая один другого, все ускоряли ритм и, наконец, залились трелями в таком неистовстве соревнования, что некоторые птички, не выдержав волнения, падали мертвыми. Безжалостные валлонцы подхлестывали соперников голосом, умоляли «пустить еще разок», а человек сто зрителей молча, со страстным вниманием слушали эту адскую музыку ста восьмидесяти зябликов, которые, все вразнобой, повторяли одни и те же колепца. Первый приз — жестяной кофейник со штампованным узором — достался «верещаге».

Катрин и Шаваль тоже были среди слушателей; пришли и Захарий с Филоменой. Обменявшись рукопожатиями, стали слушать вместе. Но вдруг Захарий рассердился, заметив, что какой-то гвоздильщик, из любопытства затесавшийся сюда с приятелями, тихонько щиплет его сестру; Катрин, красная как пион, уговаривала брата замолчать, трепеща при мысли о поножовщине, которая может произойти,— ведь все эти гвоздильщики бросятся на Шаваля, если он не позволит им приставать к ней. Она чувствовала эти заигрывания, но из осторожности молчала. Впрочем, ее любовник только посмеивался. Все четверо удалились, и казалось, дело этим кончилось. Но едва они вошли в трактир «Виноградное» выпить по кружке пива, опять появился гвоздильщик. Парень

старался показать, что ему сам черт не брат, и вызывающе посвистывал прямо у них перед носом. Захарий, оскорбленный в своих родственных чувствах, накинулся на нахала:

— Не лезь к моей сестре, свинья паршивая! Погоди, я тебя научу уважать мою сестру!..

Соседи розняли их. Шаваль твердил хладнокровно:

— Оставь! Это только меня касается... А я тебе говорю — чихать я на него хотел.

Пришел Маэ со своей компанией и успокоил Катрин и Филомену, проливавших слезы. В толпе смеялись. Гвоздильщик исчез. Желая окончательно рассеять тревогу, Шаваль, который держал себя в этом трактире как дома, угостил всех пивом. Этьену пришлось чокнуться с Катрин; выпили все вместе: отец, дочь и ее возлюбленный, сын и его любовница, и каждый говорил учтиво: «За здоровье всей компании». Затем выпили еще раз по приглашению Пьерона и на его счет. Все были в добром согласии, как вдруг Захарий, увидев Муке, опять почувствовал прилив негодования и стал уговаривать приятеля «двинуть вдвоем» на гвоздильщиков, как он выразился.

— Я должен кишки ему выпустить!.. Погоди! Шаваль, ты побудь тут, не давай в обиду Филомену и Катрин. Я сейчас вернусь.

В свою очередь и Маэ выставил всем по кружке. В конце концов пусть парень отомстит за сестру, это неплохой пример для других. Но, увидев Захария в обществе Муке, Филомена сразу успокоилась и только покачала головой. Разумеется, приятели удрали в «Вулкан».

В дни ярмарки праздник всегда заканчивался в танцевальном зале «Смелый весельчак». Содержала зал вдова Дезир, пятидесятилетняя толстуха, круглая, как бочка, и еще такая бойкая, что у нее было шесть любовников — «по одному на будние дни, а на воскресенье все шестеро», как она говорила. Всех углекопов она называла «детками», с умилением вспоминая, что за тридцать лет они выпили у нее целую реку пива; она хвасталась также, что ни одна откатчица не нагуляла себе ребенка, не поразмяв предварительно ноги на танцах в ее заведении. Оно помещалось в двух комнатах: в одной был кабачок с обычной стойкой, столами, стульями; в соседней комнате, отделенной от первой широкой аркой, танцевали; в этом бальном зале половицы были настланы только посредине, а вокруг настила пол выложен был плитками. Все украшение составляли две гирлянды бумажных цветов, протянутые под потолком из угла в угол и на месте скрещения соединенные венком из таких же аляповатых бумажных цветов; по стенам висели в ряд позолоченные картонные щиты с именами святых: святого Ильи —

покровителя кузнецов и литейщиков, святого Крепина — покровителя сапожников, святой Варвары — покровительницы углекопов,— словом, всех святых, распределенных по цехам. Потолок был такой низкий, что в него упирались головами трое музыкантов, восседавших на маленькой эстраде, величиной с кафедру проповедника в церкви. По вечерам зал освещался четырьмя керосиновыми лампами, висевшими по углам.

В то воскресенье бал начался в пять часов вечера, еще при дневном свете, лившемся в окна. Но только к семи часам набралось много народу. На дворе поднялся ураганный ветер, и облака черной пыли слепили людям глаза, пыль потрескивала на сковородах, где жарилась картошка. Маэ, Этьен и Пьерон решили посидеть в «Смелом весельчаке» и встретили там Шаваля — он танцевал с Катрин, а Филомена стояла в одиночестве и смотрела на них; ни Левак, ни Захарий не появлялись. В танцевальном зале не было скамеек, и Катрин после каждого танца отдыхала за столиком отца. Позвали Филомену, но она отказалась присесть — стоя она чувствовала себя лучше. Уже темнело, три музыканта играли в бешеном темпе, смутно различимые танцоры вертелись, покачивали бедрами и плечами, переплетали руки.

Внесли четыре зажженные лампы, встреченные хором веселых возгласов, и сразу все осветилось: красные лица, растрепанные волосы, прилипавшие к мокрым вискам, юбки, развевавшиеся в воздухе, насыщенном запахом потных тел. Маэ указал Этьену на Мукетту,— круглая и жирная, как пузырь, налитый свиным салом, она неистово кружилась в объятиях длинного тощего рукоятчика: вероятно, она утешилась и взяла себе нового возлюбленного.

В восемь часов вечера появилась наконец жена Маэ с Эстеллой на руках и в сопровождении трех малышей — Альзиры, Анри и Леноры. Она сразу направилась в заведение вдовы Дезир, нисколько не сомневаясь, что муж находится там! С ужином можно было и подождать, никому не хотелось есть: за день выпито было слишком много кофе и пива. Пришли и другие жены. Любопытные зашушукались, когда вслед за женой Маэ вошла жена Левака в сопровождении своего жильца Бутлу, который вел за руку Ахилла и Дезире, детишек Филомены. Соседки, казалось, были в добром согласии: повернувшись друг к другу, они о чем-то мирно разговаривали. Дорогой у них было крупное объяснение, и жена Маэ наконец примирилась с предстоящей женитьбой старшего сына; она горько сетовала, что лишится его заработка, но признала правильным довод, что дольше удерживать Захария в семье было бы несправедливо. Теперь она старалась держаться спокойно, хотя на душе у нее кошки скребли: она невольно думала о том, как трудно

ей будет сводить концы с концами, когда из ее тощего кошелька уплывут самые надежные гроши.

— Садись-ка сюда, соседка,— сказала она, указывая на стол, стоявший рядом с тем столом, за которым Маэ пил пиво в компании Этьена и Пьерона.

— А моего-то нет с вами? — спросила жена Левака.

Товарищи ответили, что он скоро вернется. Все кое-как разместились, и Бутлу и ребятишки, но в переполненной распивочной было так тесно, что два столика стояли почти вплотную друг к другу. Заказали пива. Заметив мать и своих детей, Филомена решилась подойти и согласилась присесть. Узнав, что их с Захарием наконец поженят, она как будто повеселела; когда стали спрашивать, где Захарий, она вяло ответила:

— Я жду его. Он сейчас придет.

Маэ переглянулся с женой. Так она, значит, согласилась? Он сразу стал озабоченным, молча курил свою трубку. Его тревожила мысль о завтрашнем дне. Вот она, неблагодарность детей,— женятся и оставляют родителей в нищете.

А молодежь все плясала и, отбивая ногами последнюю фигуру кадрили, подняла такую пыль, что комнату затянула рыжеватая мгла; от топота трещали стены; корнет-а-пистон издавал пронзительные звуки, похожие на гудки паровоза, взывающего о помощи; и когда танцоры остановились, от них валил пар, как от загнанных коней.

— А помнишь, что ты говорила? — сказала жена Левака, наклоняясь к жене Маэ.— Помнишь? Ты грозила удушить Катрин, если она начнет дурить.

Шаваль привел Катрин к столику ее родителей, и оба, стоя за спиной отца, допивали свое пиво.

— Ну что там! — ответила Маэ, и весь ее вид говорил о покорности судьбе.— Мало ли что скажешь!.. А только насчет нее мне беспокоиться нечего,— детей она не нагуляет! Это я знаю наверняка!.. А то подумай-ка, еще и она ребенка принесла бы и пришлось бы ее замуж отдавать... Что тогда?

Корнет-а-пистон задудел польку, опять поднялся оглушительный топот. Маэ в это время пришла в голову хорошая мысль, и он поделился ею с женой. Почему бы им не взять жильца, например Этьена? Он как раз хочет поступить к кому-нибудь на хлеба. Место у них найдется, раз старший сын уходит из семьи, и деньги, которые они потеряют с женитьбой Захария, отчасти возместит им нахлебник. У матери просветлело лицо: в самом деле, Маэ хорошо придумал, надо это устроить. Ей казалось, что семья еще раз спасена от голода, и она пришла в такое веселое расположение духа, что заказала для всех по кружке пива.

Тем временем Этьен, стараясь внушить свои взгляды Пьерону, подробно излагал ему проект организации кассы. Он добился от него обещания вступить в члены кассы, но вдруг совершил неосторожность, открыв ему подлинную свою цель:

— А если мы объявим забастовку, ты понимаешь, как нам тогда будет полезна касса? Плевать нам на Компанию, мы на первое время найдем в кассе средства, чтобы повести борьбу... Ну как? Понятно? Ты вступишь?

Пьерон опустил глаза и, бледнея, забормотал:

— Я подумаю... Надо вести себя аккуратно — вот самая лучшая касса.

Тут Этьеном завладел Маэ и, как человек простой, без обиняков предложил взять его на хлеба. Молодой забойщик так же просто принял предложение, ему очень хотелось жить в поселке, чтобы теснее сблизиться с товарищами. Дело сладили в нескольких словах. Жена Маэ сказала, что надо только подождать, когда Захарий женится.

Как раз в это время он явился вместе с Леваком и Муке. Все трое принесли с собой ароматы, царившие в «Вулкане»: запах можжевеловой водки да едкий запах приторных духов и немытых тел продажных девок. Все трое были пьяны, очень довольны собой и, ухмыляясь, подталкивали друг друга локтем. Узнав о скорой своей женитьбе, Захарий так и покатился от хохота. Филомена сказала, что ей приятнее видеть его смех, чем слезы. Свободных стульев больше не было, и Бутлу подвинулся, уступив свое место Леваку. Тот вдруг умилился, что все собрались тут, сидят так дружно, по-семейному, и по этому поводу еще раз заказал для своих пива.

— Эх, чертовщина! — орал он.— Не часто случается нам повеселиться!

В питейной пробыли до десяти часов. Туда заглядывали женщины и, посидев с мужьями, уводили их домой; за матерями хвостом тянулись дети; женщины, приходившие с младенцами, не стесняясь, выпрастывали длинную белую грудь, похожую на торбу с овсом, молоко брызгало на щечки сосунков; а малыши, которые уже умели ходить, получив щедрую долю в угощении пивом, залезали на четвереньках под стол и, не ведая стыда, облегчались там. В кабачке было море разливанное, волны пива из бочек вдовы Дезир непрестанно наполняли кружки. Пиво вздувало животы, вытекало из носа, из глаз — отовсюду. Все наливались пивом, сидя в такой тесноте, что каждый плечом упирался в соседа; всем было весело, все расцвели, чувствуя близость друзей, и хохотали, растягивая рот до ушей. Было жарко, как в пекле, и, чтобы легче дышалось, люди сидели, распахнув на груди куртку или кофту, и

свет лампы, пробиваясь сквозь густой табачный дым, золотил обнажившиюся полоску тела; единственным неудобством было то, что приходилось иногда вставать из-за стола, а затем вновь усаживаться; время от времени какая-нибудь девушка выходила на задворки, поднимала в уголке юбки, потом возвращалась.

Под гирляндами пестрых бумажных цветов шел неистовый пляс, танцоры взмокли, пот слепил им глаза, и они не видели друг друга. Пользуясь толчеей, подростки-коногоны, как будто споткнувшись, опрокидывали молодых откатчиц. И когда какая-нибудь толстуха падала на пол, а на нее валился кавалер, музыкант перекрывал шум падения яростным воплем медной трубы; топот танцоров перекатывал упавших, словно волны пляски обрушивались на них.

Кто-то мимоходом предупредил Пьерона, что его дочь Лидия спит у дверей, растянувшись поперек тротуара. Она выпила часть водки из украденной бутылки и сразу опьянела; отцу пришлось нести ее на спине. За ними следовали Жанлен и Бебер, оказавшиеся более крепкими, и находили все очень забавным. Это происшествие послужило сигналом к отправлению. Из «Смелого весельчака» стали выходить семьями. Маэ и Леваки решили вернуться домой. Как раз в это время старики Бессмертный и Мук тоже уходили из Монсу, оба двигались деревянным шагом лунатиков и упорно молчали, погрузившись в воспоминания. Домой отправились все вместе, в последний раз прошли мимо ярмарочных харчевен, где на сковородах застыл растопленный жир, мимо кабачков, откуда ручейками до середины дороги текло пиво, выливавшееся из кружек. Все ближе надвигалась гроза; как только миновали последние дома, где еще светились окна, и вступили в черную тьму равнины, по сторонам дороги зазвучали тихие голоса и смех. Жаркое дыхание страсти поднималось из созревших хлебов. Должно быть, в ту ночь было зачато много жизней. Дóма Леваки и Маэ поужинали без аппетита и, доедая остатки от обеда, едва не засыпали за столом.

Этьен повел Шаваля к Раснеру выпить еще по кружке.

— Я согласен,— заявил Шаваль, когда товарищ рассказал ему о кассе взаимопомощи.— Давай руку! Ты молодец!

У Этьена, уже начинавшего хмелеть, заблестели глаза. Он крикнул:

— Да, будем действовать дружно!.. Для меня, знаешь, справедливость — это все! Ради нее все отдам — и гулянки и девушек. Только одной мыслью сердце горит: скорее бы, скорей нам смести буржуев!

В середине августа Этьен перешел жить к Маэ — к тому времени Захарий женился на Филомене, и ему как семейному удалось получить в поселке жилье в освободившемся доме, куда он и перебрался с женой и двумя ребятишками. В первое время Этьена очень смущала близость Катрин.

То была постоянная, домашняя близость — он везде заменял ее ушедшего брата, спал на его кровати, вместе с Жанленом, напротив кровати Катрин. Близ нее ему приходилось вечером раздеваться и одеваться по утрам, он видел, как и она снимает с себя или надевает одежду. Когда спадала на пол нижняя юбчонка и Катрин оставалась в одной рубашке, его поражала белизна ее тела, нежная, прозрачная белизна, какая бывает у малокровных блондинок; его волновало, что Катрин такая беленькая, словно ее окунули в молоко от пяток до шеи, где граница загара выделялась золотистой чертой; только на кистях рук и на лице кожа пожелтела и утратила эту удивительную белизну. Он старательно отворачивался, но постепенно узнавал ее всю: сначала ступни — когда опускал глаза; промелькнувшее колено, когда она спешила юркнуть под одеяло; затем маленькие крепкие груди, когда она по утрам наклонялась над умывальным тазом. Она как будто не замечала его, но всегда страшно торопилась: разденется в одно мгновенье, гибким движением скользнет в постель и вытянется рядом с Альзирой; прежде чем он успеет снять башмаки, она уже лежит спиной к нему, и он видит лишь ее тяжелую косу.

Впрочем, ей никогда не приходилось обижаться на Этьена. Словно во власти наваждения, он невольно подстерегал минуту, когда она ложилась спать, но никогда не позволял себе никаких игривых шуточек, никаких вольностей,— тут были родители, а кроме того, в нем жило странное чувство к Катрин, в котором была и дружеская привязанность, и злая обида, мешавшие ему видеть в ней желанную женщину, несмотря на полную непринужденность их отношений; ведь они всегда были вместе — и в спальне, и за столом, и за работой, в этой постоянной совместной жизни не оставались сокровенными даже интимные стороны. Стыдливость проявлялась только в час каждодневного омовения — девушка теперь мылась одна в верхней комнате, а мужчины по очереди мылись внизу.

Месяц спустя Этьен и Катрин как будто и не замечали друг друга по вечерам, когда полураздетые ходили по комнате перед тем, как погасить свечу. Катрин уже не торопилась, по прежней привычке садилась на край постели и, в одной рубашке, задравшейся выше колен, подняв руки, закалывала на ночь свои белоку-

рые косы, а он, в одних кальсонах, иногда помогал ей, отыскивая на полу оброненные шпильки. Привычка убивала стыдливость, им казалось естественным видеть друг друга почти нагими — ведь они не делали ничего дурного, не по их вине в доме была одна спальня на всех. И все же, хотя у них и не возникало грешных мыслей, порою их охватывало смятение. Много вечеров подряд Этьен не замечал ее тела, а то вдруг, увидев ее всю, сияющую нежной белизной, трепеща, отворачивался, боясь, что поддастся соблазну и овладеет ею. В иные вечера на Катрин без всякой, казалось бы, причины нападал целомудренный страх, она избегала Этьена и с таким испугом куталась в одеяло, словно чувствовала, как руки юноши сжимают ее. Когда свеча была погашена, оба, несмотря на усталость, не могли уснуть, и Этьен знал, что Катрин не спит и думает о нем так же, как он думает о ней. Все это оставляло в душе неприятный осадок, они вставали утром с чувством тревоги, в дурном настроении, не проходившем весь день; оба предпочитали спокойные вечера, когда ничто не нарушало простых, товарищеских отношений.

Этьен мог пожаловаться только на Жанлена, который спал, свернувшись калачиком, и потому занимал много места в постели, Альзира дышала тихонько, Ленора и Анри с вечера до утра спали в обнимку беспробудным сном. В ночном мраке тишину нарушал только храп супругов Маэ, раздававшийся равномерно, как шум кузнечных мехов. И все же Этьену жилось здесь лучше, чем у Раснера,— постель была удобная, простыни меняли раз в месяц, да и кормили здесь лучше. Мясо на столе появлялось редко, но ведь и другие не чаще ели мясное. Этьен платил за хлеба сорок пять франков в месяц и не мог требовать, чтобы ему каждый день подавали рагу из кролика. А эти сорок пять франков были подспорьем в хозяйстве: благодаря им семья кое-как сводила концы с концами, всегда, однако, оставаясь в долгу по мелочам; и Маэ старались выразить признательность своему жильцу: белье у него всегда было выстирано, зачинено, пуговицы пришиты, все вещи содержались в порядке; словом, он чувствовал, что его окружают заботы опрятной и доброй женщины.

Настала пора в жизни Этьена, когда он осознал то, что смутно шевелилось в его голове. До тех пор в душе у него жило инстинктивное возмущение, нараставшее вместе с глухим брожением, начавшимся среди углекопов, его товарищей. Всевозможные запутанные вопросы вставали перед ним: почему одним — нищета, а другим — богатство? Почему бедняки всегда под пятой богачей и не питают никакой надежды когда-нибудь занять их места? И прежде всего он понял свое невежество. Его глодал затаенный стыд, скрытая боль. Раз ничего не знаешь, не смей и говорить о

том, что так волнует тебя: о равенстве людей, о справедливости, требующей раздела земных благ между всеми. И он набросился на книги, читал, изучал, без всякой системы, как это свойственно невеждам, охваченным страстной тягой к знанию. Теперь он вел постоянную переписку с Плюшаром, человеком более образованным, чем он, и связанным с социалистическим движением. Этьен стал выписывать книги и хоть довольно плохо усвоил их содержание, но все прочитанное глубоко взволновало его, особенно одна медицинская книга: «Гигиена шахтера», где автор ее, бельгийский врач, подвел итог всем болезням, от которых умирают рабочие угольных копей. Читал он и трактаты по политической экономии, непостижимо трудные для него технической своей стороной, читал и смущавшие его анархистские брошюры и старые номера газет, которые он заботливо сохранял, черпая в них неопровержимые доводы для возможных споров.

Давал ему также книги и Суварин, и работа «О кооперативных обществах» на целый месяц погрузила его в мечты о всемирной ассоциации, при которой непосредственный обмен изгонит деньги и основой всей жизни общества будет труд. Он больше не стыдился своего невежества,— теперь он чувствовал себя мыслящим существом и гордился этим.

В первые месяцы он переживал восторженное состояние неофита, сердце его переполняло благородное негодование против угнетателей и надежда на скорое торжество угнетенных. Из-за беспорядочного чтения многое оставалось для него туманным, и у него не выработалось четких взглядов. Практические требования Раснера перемешались в его мозгу с разрушительными идеями Суварина,— по-прежнему он почти каждый день бывал в заведении Раснера и вместе со всеми гневно клеймил Компанию, а возвращаясь домой, шел как во сне: он видел в мечтах коренное переустройство жизни всех народов, которое, однако, произойдет без всякого насилия, не будет стоить ни единого разбитого стекла, ни единой капли крови. Впрочем, для него неясным оставалось, как произойдет переворот, он предпочитал уповать, что все пойдет хорошо; у него голова шла кругом, когда он пытался формулировать программу будущего переустройства общества. Он даже проявлял умеренность и непоследовательность, говорил иногда, что при разрешении социальных вопросов следует изгнать политику — эту фразу он где-то вычитал и нашел, что она придется по душе флегматичным углекопам, с которыми он вел беседы.

Теперь каждый вечер в доме Маэ ложились спать на полчаса позднее обычного — засиживались за разговорами. С тех пор как тоньше стали вкусы Этьена, его все больше возмущала скученность в жилищах углекопов. Да разве они скоты, чтобы их вот так дер-

«Жерминаль».

жали в загонах среди полей, в такой тесноте, что нельзя сменить рубашку, не показав соседям голую свою спину! А как вредна эта скученность для здоровья! Как развращающе действует на девочек и мальчиков то, что они постоянно находятся вместе!

— Чего уж там! — отвечал Маэ.— Главное дело, платили бы побольше, чтобы жилось легче... Но это все-таки верно, что нехорошо, когда все друг у друга на носу, никому это не полезно. К чему это ведет? Парни пьянствуют, а девушки с животами ходят.

Вся семья принимала участие в разговоре, каждый вставлял свое слово; иной раз и не замечали, что лампа коптит, отравляя керосиновой вонью воздух, и без того пропитанный противным запахом жареного лука.

Да, в самом деле, не весело живется. Гни горб на каторжной работе,— ведь когда-то именно приговоренных к каторге посылали в шахты. Да мало того, что труд тяжел... Сколько народу раньше времени распростилось там с жизнью. И за все это даже мяса за столом у себя не видишь. Конечно, похлебать есть чего, но уж очень скудна пища — только-только чтобы не подохнуть с голоду; и всю жизнь тянешь лямку, и весь ты в долгах, и преследуют тебя, как будто ты воруешь свой хлеб. Придет воскресенье — весь день проспишь от усталости. Одно удовольствие — пивца выпить или жене ребенка сделать; однако от пива живот пучит, а дети, как подрастут, плюют на родителей. Нет, нет, невесело живется.

Тут в разговор вступала жена Маэ:

— И вот ведь что обидно: раздумаешься — и видишь, что до самой смерти твоей ничего не переменится... В молодые годы все ждешь: вот счастье придет, все надеешься на то, на се... А смотришь — все та же нищета, и не выбраться из нее... Я никому зла не желаю, но иной раз просто сил нет терпеть такую несправедливость.

Наступало молчание, все тоскливо вздыхали, сердце щемило от смутного сознания, что впереди нет просвета. Один лишь старик Бессмертный, если он бывал при этом, удивленно таращил глаза. В его время не терзались такими мыслями: рождались на куче угля, рубали уголек и ничего не требовали. А нынче подул какой-то ветер непокорства, и углекопов одолело своеволие.

— Ничего хаять не надо,— бормотал он.— Пивца выпить не вредно, не вредно... А начальники, они хоть и мерзавцы, да ведь начальники всегда были и будут, верно? Ну и нечего ломать себе башку. Много рассуждать стали!

Тут Этьен сразу воодушевлялся. Как?! Рабочим запрещено рассуждать? Да ведь именно потому, что рабочий теперь стал рассуждать, все скоро и переменится. В дни молодости Бессмертного углекоп всю жизнь проводил в шахте, работал как вол, как живая

машина для добычи угля, всегда, всегда был под землей, а что делается на земле, того и не видел и не слышал, и богачам, которые всем управляют, легко тогда было, столковавшись меж собой, продавать, покупать рабочего, высасывать из него кровь, а рабочий об их сговоре и знать ничего не знал. Но теперь он пробудился, он подобен зерну пшеничному, которое дремлет в земле и, прорастая в ней, дает ростки; и в одно прекрасное утро солнце озарит всходы, поднявшиеся в бороздах. Да, поднимутся люди, великая армия людей, и они восстановят справедливость. Разве всех граждан не объявили равными со времени Революции; а если они голосуют вместе, то почему же рабочий должен оставаться рабом хозяина, который ему платит? Большие Компании, которые завели себе машины, всех раздавили, и у рабочих нет против них даже тех прав, какие были в старое время, когда ремесленники объединялись в цеха и умели защищаться. Но погодите, все эти проклятые порядки полетят к черту — полетят благодаря просвещению. Ну, взять хотя бы здешний поселок: деды не умели расписаться, отцы расписывались, а сыновья и читают и пишут — прямо как ученые грамотеи. Да, поднимается понемногу, поднимается и созревает на солнце обильный урожай — новые люди! Раз теперь никто не прикован на всю жизнь к своему месту и может «при желании» столкнуть соседа и занять его место, то почему же нашему брату не пустить в ход кулаки и не попытаться одолеть хозяев?..

Маэ заинтересовала эта мысль, но он не верил в такую возможность.

— Попробуй пошевелись! Сразу тебе расчет! — твердил он.— Верно говорят старики: на веки веков углекопу маяться и не видеть ему хоть кой-когда в награду за труды жареной телятины.

Жена его, молча о чем-то думавшая, вдруг словно очнулась:

— Да если бы еще правду священники говорили, что беднякам на том свете хорошо будет, а богачам — плохо.

Ее слова прервал взрыв хохота; даже дети пожимали плечами, никто не верил в потустороннюю благодать; углекопы по-прежнему боялись привидений, блуждающих в шахтах, но насмехались над пустыми небесами.

— Э-эх! Попы чего не наговорят! — воскликнул Маэ.— Если б они в это верили, так поменьше бы жрали да побольше работали, чтоб хорошее местечко получить в раю. Нет, коли помрешь, так не воскреснешь.

Жена Маэ тяжело вздохнула:

— Ах, боже мой! Боже мой! — И, уронив на колени руки, с глубокой безнадежностью добавила: — Так, значит, и вправду нет нашему брату никакого спасения.

Все переглядывались. Старик Бессмертный сплевывал в но-

совой платок; Маэ сидел, задумавшись, стиснув зубами погасшую трубку. Альзира слушала, придерживая одной рукой Ленору, а другой Анри, уснувших за столом. Но Катрин — вся внимание — не сводила с Этьена своих больших, ясных глаз, когда он, убеждая отчаявшихся, старался внушить им свою веру в светлое будущее, в то переустройство общества, о котором мечтал. А вокруг них поселок отходил ко сну, слышался затихающий плач ребенка да пьяная ругань запоздавшего гуляки.

— Ну, что за мысли! — говорил молодой забойщик.— Разве вам нужен господь бог и небесный рай, чтобы стать счастливыми? Разве вы сами не можете создать себе счастье на земле?

И долго лилась пламенная речь о возможности этого счастья. Вдруг разрывался темный горизонт, поток света озарял мрачную жизнь этих бедняков; извечная, безысходная нищета, непосильный труд, участь бессловесных животных, с которых стригут шерсть, а потом режут их,— все бедствия вдруг исчезали, словно их сметал порыв ветра, и в лучах яркого солнца, в ослепительном волшебном сиянии с небес нисходила справедливость. Раз никакого господа бога нет, вместо него справедливость даст людям счастье; на земле воцарятся равенство и братство. И сразу же, как сновидение, возникало новое общество: громадный, сказочно прекрасный город, в котором каждый будет выполнять свою задачу и принимать участие во всеобщих радостях. Старый, прогнивший мир рассыплется прахом, новое, молодое человечество, очищенное от прежних преступлений, сольется в единый трудовой народ, и у него будет такой девиз: от каждого по способности и каждому по делам его. Этьен все выше возносился в царство несбыточных грез, и мечта его все ширилась, становилась все прекраснее и пленительнее.

Поначалу жена Маэ и слушать его не хотела, охваченная глухим страхом. Нет, нет, это слишком хорошо, нельзя держать в голове таких мыслей, а то теперешняя жизнь покажется слишком мерзкой, и бедняки, пожалуй, возьмутся за ножи, чтоб пробиться к счастью. И видя, как блестят глаза мужа, она тревожилась, она восклицала, прерывая Этьена:

— Не слушай его, муж, не слушай! Ты же видишь — он сказки рассказывает... Да разве буржуа когда-нибудь согласятся работать, как мы?

Но мало-помалу чары захватывали и ее. Она начинала улыбаться — воображение ее пробуждалось, и, предавшись мечтам, она вступала в чудесный мир надежды. Так сладко хоть на часок забыть унылую действительность! Когда люди живут словно бессмысленные скоты, уткнувшись носом в землю, дайте им потешить сердце сказкой, дайте насладиться в обманчивых грезах радостями, которых никогда у них не будет. Больше всего ее волно-

вала и приводила к согласию с убеждениями юноши идея справедливости.

— Вот это вы правильно говорите! — восклицала она.— Когда дело справедливое, так я за него буду стоять, хоть на куски меня режь. И ведь, правда, почему бы беднякам не зажить в свое удовольствие? Ведь это справедливо!

И тогда Маэ, осмелев, тоже воспламенялся:

— Эх, разрази их гром! У меня в кошельке не густо, а вот, право, дал бы пять франков, только бы дожить до этого... Вот перетряска-то получится! Верно? А скоро она будет? И как за это дело примутся?

У Этьена на все находился ответ. Старое общество трещит, вот-вот рухнет. Протянет несколько месяцев, не больше, смело заявлял он. Что касается способов действия, тут он говорил более туманно, и его разъяснения представляли собою смесь идей, вычитанных из книг,— перед невеждами он не боялся пускаться в рассуждения, в которых путался сам. Тут находили себе место всякие разрушительные теории, смягчаемые уверенностью в легкой победе, убеждением, что вражда между классами окончится всеобщими объятиями; разве только вот некоторых упрямых хозяев и буржуа придется образумить силой. И все слушатели как будто понимали его, одобряли, принимали чудодейственное разрешение социальной борьбы; всех воодушевляла слепая вера новообращенных, подобно тому как в первые времена христианства люди ждали возникновения нового, совершенного общества на развалинах античного мира. Маленькая Альзира по-своему истолковывала отдельные слова и представляла себе счастье в образе дома, где будет тепло, светло и где у детей будет много игрушек и много всякой еды. Катрин сидела не шевелясь, все в той же позе, опершись подбородком на руку, и не сводила глаз с Этьена, и когда он умолкал, она бледнела и чуть-чуть вздрагивала, словно ей делалось холодно. Но вот мать бросала взгляд на циферблат кукушки.

— Ой, что же это мы! Десятый час! Чего доброго, проспим завтра.

И все вставали из-за стола, с грустью, с щемящим сердцем отрываясь от мечтаний. Казалось, минуту назад они были богачами и вдруг снова погрязли в черной тьме нищеты. Старик Бессмертный, отправляясь на шахту, бормотал, что от всех этих побасенок похлебка лучше не станет; остальные гуськом поднимались по лестнице, словно впервые замечая пятна сырости на стенах и дурной запах, пропитавший спертый воздух. Поселок уже спал тяжелым сном. В верхней комнате, служившей спальней для всех Маэ, Катрин ложилась последней и гасила свечу, но от волнения

она долго не могла уснуть, Этьен слышал, как она беспокойно ворочается в постели.

Иногда на эти беседы собирались и соседи. Левака восхищала идея раздела материальных благ. Пьерон благоразумно уходил домой спать, как только начинались нападки на Компанию. Иной раз забегал Захарий, но политику он считал скучной материей и предпочитал прогуляться в заведение Раснера, выпить кружку пива. Что касается Шаваля, он, распалясь, требовал крови. Почти каждый вечер он проводил часок в доме Маэ, и в этом большую роль играла скрытая ревность, страх, как бы у него не отбили Катрин. Девушка, к которой он начал остывать, снова стала ему дорога с тех пор, как Этьен поселился в ее доме, спал возле нее и мог ночью овладеть ею.

Влияние Этьена ширилось, постепенно он революционизировал поселок. Тайная его пропаганда была тем более действенной, что у всех возросло уважение к нему. Жена Маэ, несмотря на свою осторожность и недоверчивость хорошей хозяйки, относилась к своему молодому жильцу с почтением, так как он платил за хлеба аккуратно, не пил, не играл в карты, вечно сидел за книгами. Всем соседям она расхваливала его ученость, и те даже злоупотребляли его любезностью, одолевая его просьбами написать какому-нибудь родственнику письмо от их имени. Он стал своего рода поверенным их, на него возлагалась корреспонденция всего поселка, с ним советовались в важных семейных делах. В сентябре ему удалось создать столь желанную ему кассу взаимопомощи, еще очень шаткую организацию, охватывавшую только жителей рабочего поселка; но он крепко надеялся, что в нее вступят углекопы из всей округи, в особенности если Компания, до сих пор не принимавшая никаких мер против кассы, и дальше не будет ее стеснять. Его выбрали секретарем объединения, и он даже получал маленькое жалованье за письмоводство. Он считал себя чуть ли не богачом. Женатым углекопам жилось трудно и не удавалось сводить концы с концами, но воздержанный молодой человек, свободный от всякой обузы, мог даже делать сбережения.

В Этьене происходила перемена: пробудилась подавленная бедностью инстинктивная забота о своей внешности, о благообразии; он приобрел суконное платье, даже позволил себе такую роскошь, как хромовые сапоги. Неожиданно для него самого он был признан вожаком — весь поселок группировался вокруг него. Он познал приятное чувство удовлетворенного самолюбия, первые опьяняющие радости популярности. Стоять во главе других людей, командовать ими, хотя он еще так молод и вчера был никому не ведомым откатчиком,— сознание этого переполняло его гордостью, подогревало его мечту о близкой революции, в которой он будет

играть важную роль. Выражение его лица изменилось, стало строгим, он с удовольствием слушал себя; зародившееся в нем честолюбие вносило воинственность в его взгляды и влекло к борьбе.

Тем временем подошла осень, от октябрьских холодов порыжела листва в палисадниках; за тощими кустами сирени больше не миловались парочки на крышах низких сараев; в огородах на грядках остались лишь зимние овощи: кочаны капусты, осыпанные белым бисером инея, порей и не боящиеся холода сорта салата. Вновь забарабанили проливные дожди по красным черепичным кровлям и с шумом низвергались в бочки, подставленные под водосточные желоба. Опять началось время тягчайшей нищеты. В каждом доме жарко топились чугунные печки, набитые углем, отравляя воздух в запертых комнатах.

Как-то раз в октябре в одну из первых студеных ночей Этьен, возбужденный собственными речами, которые он вечером вел в нижней комнате, долго не мог уснуть. Он видел, как Катрин скользнула под одеяло, потом задула свечу. Вероятно, она тоже была крайне взволнована, охвачена тем мучительным чувством стыдливости, которое порой заставляло ее поскорее спрятаться, но делала она это так неловко, что раскрывалась еще больше. В темноте она застыла и лежала как мертвая, но Этьен чувствовал, что она не спит и думает о нем; еще никогда эта взаимная тяга не наполняла ее таким смятением. Шли минуты, оба не шевелились, тщетно стараясь сдержать тяжелое, прерывистое дыхание; два раза он чуть не вскочил, готов был овладеть ею. Что за нелепость, страстно желать друг друга и никогда не поддаваться влечению! Зачем бороться с желанием? Дети спят, сейчас она жаждет его, вся замирая, ждет; она безмолвно сожмет его в объятиях, крепко стиснув зубы. Прошло около часа. Он не подошел к ней, она не смела повернуться, боясь, что сама позовет его. Чем дольше они жили бок о бок, тем больше преград вырастало меж ними; обоих отвращали от сближения стыд, щепетильность, дружба — они и сами не могли бы объяснить, что с ними творится.

IV

— Слушай,— сказала Маэ мужу,— раз ты идешь в Монсу за получкой, купи кофе и кило сахару.

Маэ занят был починкой башмака — ему не хотелось тратиться на сапожника.

— Ладно,— пробормотал он, не отрываясь от работы.

— И уж прошу тебя, зайди в мясную... Купи говядины. Хорошо? Давно мы мяса не ели.

На этот раз Маэ поднял голову.

— Ты что ж, думаешь, я тысячи получу?.. За эти две недели мы совсем мало заработали. Ведь они что выдумали? Сами простои устраивают.

Оба умолкли. Дело было в конце октября, в субботний день, после завтрака. Под тем предлогом, что выдача денег нарушает распорядок работ, Компания в тот день приостановила добычу угля во всех своих шахтах. Охваченная паническим страхом перед все разраставшимся промышленным кризисом, она не желала увеличивать и без того большой запас угля, имевшийся у нее, и, пользуясь малейшим предлогом, принуждала десятитысячную армию шахтеров сидеть без работы.

— Не забудь, что Этьен ждет тебя у Раснера,— добавила жена.— Идите вместе, он лучше тебя разберется, не обманули ли вас при расчете.

Маэ кивнул головой.

— И еще поговори там, в конторе, с начальниками насчет отца. Дирекция, верно, столковалась с доктором... Ведь правда, отец, вы еще можете работать, доктор ошибается?

Уже десять дней старик Бессмертный, у которого, как он говорил, «лапы заколодило», сидел дома, пригвожденный к стулу. Он не расслышал сноху, но когда она повторила вопрос, сердито буркнул:

— Ну понятно, могу работать. Неужели человеку крышка, если ноги у него ломит? Нарочно все выдумывают, только чтоб не платить мне пенсии в сто восемьдесят франков.

Сноха подумала, что, может быть, старик никогда больше не будет приносить в семью по два франка в день, и с тоской воскликнула:

— Боже ты мой! Да мы скоро все умрем, если так будет продолжаться!

— Что ж,— ответил Маэ,— мертвые есть не просят.

Он вбил еще несколько гвоздей в подметку и наконец собрался пойти. Рабочим поселка Двести Сорок платить должны были только в четвертом часу дня; поэтому углекопы не спешили, мешкали дома, выходили поодиночке, и женщины заклинали их возвратиться домой сразу же, как получат деньги. Многие нарочно давали мужьям поручения для того, чтобы они не задерживались в кабаках.

Этьен заглянул к Раснеру разузнать новости. Ходили тревожные слухи, что Компания все больше выражает недовольство небрежным креплением. Рабочих замучили штрафами, и столкновение казалось неизбежным. Впрочем, это было лишь внешним поводом, а за ним скрывалось сложное переплетение более важных причин.

Как раз когда Этьен пришел к Расперу, возвратившийся из Монсу рабочий рассказывал, что на стене возле кассы наклеено объявление, но сам он его не читал и не знает хорошенько, что там написано. Зашел второй, потом третий, каждый рассказывал по-своему, но было очевидно, что Компания приняла какое-то решение.

— Что скажешь? — спросил Этьен, присаживаясь возле Суварина, перед которым, вместо всяких напитков, лежала пачка табаку.

Машинист не спеша свернул папиросу.

— Скажу, что это легко было предвидеть... Они сами толкают вас на крайности.

Только один Суварин обладал достаточным развитием и мог разобраться в создавшемся положении. Он все объяснил с обычным своим спокойствием. Дела Компании затронуты кризисом, и она вынуждена сократить свои расходы, если не хочет разориться; разумеется, она намерена сделать это за счет рабочих — пусть подтянут пояс потуже; Компания под разными предлогами будет урезать им заработную плату. Уже два месяца добытый уголь остается на дворе каждой шахты, так как почти все заводы стоят. Компания не смеет остановить работу, боясь крайне убыточного для нее бездействия копей, и мечтает найти среднее решение,— может быть, вызвать стачку, из которой рабочие выйдут укрощенными и будут получать меньше денег. Кроме того, созданная касса взаимопомощи представляет собою угрозу для будущего, а стачка избавит Компанию от этой угрозы: ведь средства у кассы еще не велики и, конечно, быстро будут исчерпаны.

Распер подсел к Этьену, и оба сосредоточенно слушали Суварина. Разговаривали громко,— кроме жены Распера, сидевшей за конторкой, свидетелей не было.

— Что за мысль! — пробормотал Распер.— Зачем же это все? Компании нет никакой выгоды в стачке, да и рабочим тоже. Лучше всего договориться...

Осторожный Распер оказался верен себе: он всегда стоял за «разумные требования». А теперь, когда его бывший постоялец так быстро приобрел популярность, он настойчиво проповедовал необходимость постепенных, возможных улучшений и все твердил, что, когда хотят всего добиться разом, не получают ровно ничего. У этого благодушного толстяка, раздобревшего в своей пивной, поднималась в душе тайная зависть, усиливавшаяся из-за того, что число посетителей его заведения уменьшилось — углекопы Воре́йской шахты реже заходили выпить пива и послушать хозяина; теперь случалось, что Распер даже выступал на защиту Компании, забывая прежние свои обиды уволенного углекопа.

— Так ты, что же, против забастовок? — крикнула из-за конторки его жена.

И когда Раснер решительным тоном ответил: «Да»,— она оборвала его:

— Молчи! Ты просто трус! Не мешай людям говорить.

Этьен молча думал о чем-то, глядя на кружку пива, поданную хозяйкой. Наконец он поднял голову.

— Но если уж нас вынудят объявить забастовку, на нее надо решиться... Плюшар писал мне об этом. У него очень верные мысли. Он тоже против забастовки, потому что забастовки бьют по рабочему не меньше, чем по хозяину, и не приводят к решительным результатам. Однако он считает, что забастовка — превосходный повод, который побудит наших углекопов вступить в великую ассоциацию рабочих... Да вот его письмо.

В самом деле, Плюшар, которого огорчало, что рабочие в Монсу с недоверием отнеслись к Интернационалу, надеялся на их массовое выступление, если обстоятельства заставят их повести борьбу против хозяев. Несмотря на старания Этьена, до сих пор не удалось привлечь ни одного человека в члены Товарищества. Впрочем, он главным образом употребил свое влияние на организацию кассы взаимопомощи — эту идею приняли гораздо лучше. Но касса была еще очень бедна, и фонды ее, конечно, истощатся быстро, как предсказывал Суварин; а тогда рабочие бросятся в Товарищество, где им окажут помощь их братья — рабочие всех стран.

— Сколько у вас в кассе? — спросил Раснер.

— Тысячи три наберется,— ответил Этьен.— А знаете, меня позавчера вызвали в дирекцию. Ох, и вежливые там господа! Все твердили, что они вовсе не мешают рабочим создавать запасный фонд. Но я прекрасно понял, что они намереваются взять в свои руки контроль над кассой... Во всяком случае, за нее нам тоже придется дать бой.

Кабатчик встал и, прохаживаясь по комнате, презрительно насвистывал. Три тысячи франков! Да что с такими деньгами можно сделать, скажите на милость! На неделю хлеба купить и то не хватит. А если рассчитывать на иностранцев, на людей, живущих в Англии, так уж лучше сразу ноги протянуть. Нет, какая тут забастовка — это просто чепуха!

И тогда впервые приятели наговорили друг другу резкостей, хотя обычно их приводила к согласию ненависть к капиталу.

— Хорошо. А твое мнение? — спросил Этьен, поворачиваясь к Суварину.

Тот ответил обычным своим презрительным определением:

— Забастовка? Глупости.— И среди наступившего гневного молчания добавил мягко: — В общем, я не возражаю. Если нравит-

ся — устраивайте забастовки. Одних они разоряют, других убивают,— всегда что-то очищается. Но если будете действовать с такой быстротой, мир обновится через тысячу лет, не раньше. Лучше взорвите эту каторгу, на которой вы все гибнете,— начните с этого.

И тонкой своей рукой он указал на Ворейскую шахту, строения которой виднелись в отворенную дверь. Вдруг беседу прервало нежданное драматическое происшествие: ручная крольчиха Польша, дерзнувшая выбежать на улицу, прыгнула в комнату, спасаясь от шайки мальчишек, бросавших в нее камнями; в безумном испуге, заложив уши и задрав хвостик, она прижималась к ногам своего покровителя, царапала его когтями, умоляя, чтоб он взял ее на руки. Суварин поднял ее, положил к себе на колени и, обняв обеими руками, впал в какую-то дремотную задумчивость, поглаживая мягкую шерстку и ощущая живое тепло этого беззащитного существа.

Вошел Маэ. Он ничего не пожелал выпить, несмотря на учтивые упрашивания жены Распера, которая продавала посетителям свое пиво с таким видом, словно угощала их. Этьен поднялся и пошел вместе с ним в Монсу.

В день выплаты углекопам денег в Монсу словно происходил какой-то праздник, оживление напоминало ярмарку. Из всех поселков стекалась шумная толпа рабочих. Помещение кассы было довольно тесным, и они предпочитали ждать у дверей, стояли кучками на мостовой, длинной вереницей живой очереди перегораживали дорогу. Пользуясь случаем, поблизости располагались разносчики, выставляя на своих тележках всякие товары, вплоть до фаянсовой посуды и колбасных изделий. Но самая большая выручка бывала в питейных заведениях: прежде чем добраться до кассира, углекопы забегали в кабачок выпить у стойки, чтобы набраться терпения, а отойдя от кассы, тотчас направлялись вспрыснуть получку. Хорошо, если хватало благоразумия не растратить ее в «Вулкане».

Медленно продвигаясь в очереди, Маэ и Этьен чувствовали, как у рабочих нарастает глухое раздражение. И в помине не было обычной в день получки беспечности, желания кутнуть в кабачке. Люди сжимали кулаки, отпускали резкие замечания.

— Так это, значит, правда? — спросил Маэ у Шаваля, встретив его у трактира «Виноградное».— Решились они на эту подлость?

В ответ Шаваль что-то сердито пробурчал, бросив косой взгляд на Этьена. С тех пор как артель взяла с торгов забой, он работал с другими, и постепенно в нем разгоралась зависть к Этьену — к чужаку, к пришельцу, который держит себя в поселке хозяином.

к этому выскочке, который всех заставляет плясать под свою дудку. Злоба усиливалась ревностью, и теперь, уводя Катрин за терикон или к Рекильярской шахте, он в пакостных выражениях обвинял ее в сожительстве с жильцом, а затем мучил ласками, вновь испытывая звериное влечение к ней.

Маэ спросил еще у Шаваля:

— Что, ворейским уже выдают?

Шаваль утвердительно кивнул головой и отвернулся. А Маэ с Этьеном вошли в контору.

Касса помещалась в небольшой квадратной комнате, разделенной надвое решеткой. У кассы сидели на скамьях пять-шесть углекопов и ждали своей очереди. Кассир, которому помогал конторщик, выдавал деньги человеку, стоявшему с шапкой в руке перед окошечком; слева над скамьей висела на стене желтая афиша, выделявшаяся ярким пятном на серой от грязи побелке. Перед этим объявлением с утра толпились люди — входили по двое, по трое, неподвижно стояли, вглядываясь в черные строчки, потом молча уходили, передернув плечами, как будто их больно ударили по спине. В эту минуту перед афишей стояли двое: молодой парень с жестким, грубым лицом и очень худой старик с равнодушным от возраста взглядом. Ни тот, ни другой не умели читать; молодой разбирал по слогам, шевеля губами; старик лишь тупо смотрел на афишу. Многие заходили просто посмотреть на объявление, не понимая, что там написано.

— Ну-ка, прочти,— попросил Маэ своего спутника, сам он был не силен в грамоте.

Этьен начал читать вслух. Это было уведомление, с которым Компания обращалась к углекопам всех своих шахт. Она сообщала, что ввиду недостаточной тщательности крепления Компания, убедившись в бесполезности налагаемых ею за это штрафов, решила ввести новую систему оплаты при добыче угля. Отныне крепление будет оплачиваться отдельно — с кубометра спущенного в шахту и употребленного в дело крепежного леса, из расчета времени, необходимого для добросовестной работы. Расценок на вагонетку угля соответственно уменьшится — с пятидесяти до сорока сантимов, с учетом, однако, характера и удаленности забоев. В довольно туманных расчетах старались доказать, что уменьшение расценка на десять сантимов вполне возмещается отдельной оплатой крепления. Впрочем, Компания добавляла, что, желая дать всем возможность убедиться в преимуществах новой системы оплаты, она рассчитывает ввести ее в действие только с понедельника 1 декабря.

— Эй вы, там, нельзя ли потише? — крикнул кассир.— Мешаете нам.

Этьен дочитал до конца, не обращая внимания на замечание. Голос у него дрожал, а закончив, он все продолжал смотреть на объявление. Старик и молодой углекоп как будто все еще ждали чего-то; затем оба, сгорбившись, вышли.

— Да что ж это такое! — пробормотал Маэ.

Они с Этьеном сели на скамью, и пока у желтой афиши, смеясь, толпились люди, оба, понурив головы, занялись подсчетами. Да как же это! Издеваются, что ли, над ними? Никогда отдельной оплатой крепления не наверстать потери десяти сантимов на каждой вагонетке угля. Самое большое — нагонят восемь сантимов, значит, два сантима Компания украдет у них, не считая времени, которое потребует тщательное крепление. Вот оно, к чему хозяева клонят! Вздумали нагнать экономию за счет углекопов.

— Ах, черт их дери-передери! — бормотал Маэ, поднимая голову.— Да мы просто дураками будем, если согласимся.

У окошечка никого не было, они подошли получать деньги. Ради сбережения времени деньги из кассы всегда получал старший в артели и потом распределял их между всеми своими.

— Маэ и его артель,— сказал счетовод.— Пласт Филоньера, забой номер семь.

Он поискал в ведомостях, которые составлялись на основании расчетных книжек, где штейгер ежедневно отмечал по каждой лаве количество добытых вагонеток угля. Затем повторил:

— Маэ и его артель. Пласт Филоньера, забой номер семь... Сто тридцать пять франков.

Кассир положил перед Маэ деньги.

— Простите, сударь,— забормотал опешивший забойщик.— Это верно? Нет ли какой ошибки?

Он смотрел на кучку денег, не решаясь взять их, весь похолодев от страха, закравшегося в сердце. Он ждал, что получка будет плохая, но ведь не могла же артель заработать так мало! Может быть, он плохо сосчитал? Если выдать причитающуюся долю Захарию, Этьену и тому товарищу, который заменил Шаваля, остается самое большее пятьдесят франков на четырех: на него самого, на отца, на Катрин и на Жанлена.

— Нет, нет, я не ошибаюсь,— заговорил конторщик.— Надо вычесть два воскресенья и четыре дня простоя,— значит, у вас было девять рабочих дней.

Маэ следил за его расчетом и считал про себя: за девять рабочих дней ему самому приходится тридцать франков, Катрин — восемнадцать, Жанлену — девять; старик отец работал только три дня. Все равно: если прибавить девяносто франков — заработок За-

хария и двух остальных товарищей,— несомненно, следует получить больше.

— Не забывайте штрафов,— закончил конторщик.— Двадцать франков штрафа за неудовлетворительное крепление.

Забойщик безнадежно махнул рукой. Двадцать франков штрафа да четыре дня не давали работать! Вот и весь расчет. Подумайте! А ведь до сих пор, когда старик отец работал и Захарий еще не был женат, он приносил домой в получку по сто пятьдесят франков.

— Ну, что же вы! Берете деньги или нет? — нетерпеливо крикнул кассир.— Видите, другие ждут... Не хотите брать, так и скажите.

Маэ решился наконец и собрал деньги большой, дрожащей от волнения рукой. Конторщик остановил его.

— Погодите,— у меня тут записана ваша фамилия. Туссен Маэ — верно?.. Главный секретарь дирекции хочет поговорить с вами. Войдите. Он сейчас один.

Забойщик, оторопев, вошел в кабинет, обставленный старинной мебелью красного дерева, с выцветшей обивкой из зеленого репса. Главный секретарь, высокий бледный господин, минут пять что-то говорил ему, не вставая из-за своего стола, заваленного бумагами. Но у Туссена Маэ так звенело в ушах, что он плохо слышал. Он смутно понял, что речь идет о его отце, о том, что вскоре будет рассмотрен вопрос о назначении старику пенсии в сумме ста пятидесяти франков ввиду его преклонного возраста и сорокалетней работы на шахтах Компании. Затем Маэ показалось, что голос секретаря стал строже. Он распекал Туссена Маэ, обвиняя его в том, что старый забойщик занимается политикой, и делал при этом намеки на его жильца и на кассу взаимопомощи; затем посоветовал ему не компрометировать себя, не вмешиваться в безумные затеи, ведь он один из лучших на шахте рабочих. Маэ попытался возражать, но произносил лишь бессвязные слова, теребил дрожащими руками фуражку и, уходя, бормотал:

— Ну, понятно, господин секретарь... Будьте благонадежны, господин секретарь...

На улице, встретив Этьена, поджидавшего его, он разразился гневом:

— Ах, я дурак, дурак! Мне бы ответить ему: хлеба, мол, у нас нет, а тут еще глупости какие-то! Да, это он на тебя взъелся: весь, говорит, поселок отравлен. А что делать-то? Ах ты дьявол! Клаяться, что ли, им? Спасибо говорить? Ну да, это всего умнее будет.

Маэ умолк, охваченный и гневом и страхом. Этьен погрузился в мрачную задумчивость. Вновь пришлось им пробираться между

группами рабочих, загородивших всю улицу. Раздражение росло,— раздражение спокойного народа: без яростных жестов, без криков. Над толпой этих тяжелодумов поднимался протяжный гул — надвигалась гроза. Несколько человек, хорошо умевших считать, произвели подсчет, и теперь все вели речь о двух сантимах с вагонетки, которые Компания решила выгадать, оплачивая крепление отдельно. Самые несообразительные и те были возмущены. Но сейчас больше всего приводила в негодование ничтожная получка, грозившая голодом, вызывавшая возмущение против нарочно созданных простоев, против штрафов. И без того есть нечего, а что будет, если еще снизят заработную плату? В питейных заведениях гневные речи произносили во всеуслышание; от яростных выкриков до того пересыхало в горле, что все полученные гроши оставались на стойке кабатчика.

Возвращаясь из Монсу в поселок, Этьен и Маэ не перемолвились ни единым словом. Лишь только Маэ переступил порог, жена, сидевшая одна с детьми, заметила, что он пришел с пустыми руками.

— Что ж это ты? Вот какой забывчивый! — воскликнула она.— А где же кофе? Где сахар? Где мясо? Уж не разорил бы тебя кусок говядинки.

Маэ ничего не ответил, стараясь справиться с волнением, сдавившим ему горло. Но вдруг у этого человека, закаленного в тяжком труде, дрогнуло его грубое лицо, гримаса отчаяния исказила черты, и крупные слезы брызнули из глаз — целый дождь горячих слез. Он рухнул на стул и плакал, как ребенок, бросив на стол пятьдесят франков.

— Вот! — бормотал он.— Вот все, что я тебе принес... Столько мы все вместе заработали...

Жена его поглядела на Этьена, увидела, что он сидит в угрюмом молчании. Тогда и она заплакала. Да разве могут девять человек прожить две недели на пятьдесят франков? Старший сын — отрезанный ломоть, у старика ноги отнялись. Скоро всем помирать придется. Альзира, потрясенная слезами матери, бросилась ей на шею и тоже заплакала. Громко кричала Эстелла, разревелись Леонора и Анри.

И вскоре по всему поселку понеслись вопли отчаяния. Мужчины вернулись домой, и вот уж в каждой семье оплакивали, как великую беду, жалкую получку. Отворялись двери домов, женщины выбегали на улицу и плакали там, словно горьким сетованиям тесно было под низкими потолками в запертых домах. Шел мелкий дождь, но они не чувствовали этого, они собирались кучками на тротуарах и, протягивая руку, показывали друг другу на ладони полученные мужем деньги:

— Глядите! Вон ему сколько дали! Смеются они над людьми, что ли?

— А у меня-то, посмотрите! Не хватит расплатиться за хлеб,— ведь брали в долг прошлые две недели!

— А мне... Посчитай-ка... Видно, опять придется рубашки свои продать.

Вышла на улицу и Маэ. Вокруг жены Левака собрались женщины. Она сама кричала громче всех, потому что ее пьяница муж все не возвращался, и она догадывалась, что велика ли, мала ли получка — вся она растаяла в «Вулкане». Филомена подстерегала Маэ, боясь, как бы Захарий не оставил себе часть денег. Только жена Пьерона казалась спокойной: тихоня Пьерон всегда так ловко устраивался, что в книжке штейгера за ним значилось больше часов, чем у других. Но Горелая находила, что это подлость со стороны зятя, она была заодно с теми, кто возмущался. Высокая и худая старуха, прямая, как шест, стояла посреди кучки женщин и грозила кулаком в сторону Монсу.

— Подумать только,— кричала она, не называя фамилии Энбо,— подумать только, ихняя кухарка в коляске разъезжает,— я своими глазами нынче утром видела. Проехала мимо меня в коляске на паре лошадей,— на рынок отправилась в Маршьен. Не иначе как за свежей рыбой!

Поднялся громкий гул голосов, потом понеслись выкрики. У всех вызывало яростное негодование, что кухарка в белом переднике ездит в хозяйской коляске на рынок в соседний город. Рабочие с голоду подыхают, а этим господам свежей рыбки подавай. Погодите, не вечно вам свежей рыбой угощаться, придет черед и бедному люду. Семена, посеянные Этьеном, давали ростки,— в этих мятежных криках сказывались его мысли. Люди нетерпеливо призывали обещанный золотой век, жаждали поскорее получить свою долю счастья, вырваться из этой нищеты, в которой они погребены, как в могиле. Несправедливость слишком велика, в конце концов они должны предъявить свои права, раз у них вырывают хлеб изо рта. Особенно разгорячились женщины, они готовы были сейчас же, сию минуту пойти на приступ и завоевать это идеальное царство прогресса, где больше не будет голодных. Почти уже стемнело, дождь усилился, а на улицах поселка все еще слышался плач женщин, вокруг которых с визгом бегали ребятишки.

Вечером в «Выгоде» было решено объявить забастовку. Раснер больше не противился, и даже Суварин принимал ее как первый шаг. Этьен в двух словах охарактеризовал положение: раз Компания добивается забастовки, будет ей забастовка.

V

Прошла неделя, работа на шахте продолжалась, все были мрачны и настороженны, ибо ждали столкновения.

Все знали, что следующая получка будет еще меньше. И, несмотря на свою умеренность и здравый смысл, жена Маэ озлобилась. А тут еще Катрин как-то раз не ночевала дома. Утром она возвратилась такая усталая, такая больная, что не могла пойти на шахту. Со слезами она рассказывала, что ее вины тут нет: Шаваль не пустил, грозился избить, если она убежит. Он с ума сходил от ревности, он не желал, чтобы она возвратилась домой в объятия Этьена,— прекрасно зная, как он утверждал, что родители заставляют ее жить с постояльцем. Возмутившись, мать запретила дочери встречаться с таким негодяем, даже собиралась пойти в Монсу и надавать Шавалю пощечин. Но день все же был потерян, а главное, Катрин не соглашалась бросить любовника.

Два дня спустя случилось другое происшествие. Все полагали, что Жанлен спокойно работает в шахте, а он, оказывается, удрал на болото, а потом в Вандамский лес, сманив с собой Бебера и Лидию. Никто не знал, что они там вытворяли, чем забавлялась эта тройка испорченных детей. В наказание мать выпорола Жанлена, да не дома, а на улице, на глазах у перепуганных ребятишек, собравшихся со всего поселка. Где это видано! Вот что выкидывают ее родные дети, а ведь мать с отцом растили их, тратились на них с того дня, как они на свет появились, и теперь им следовало бы приносить копейку в дом. В негодующих воплях Маэ звучали и воспоминания о собственной суровой юности, и вековечная нищета углекопов, заставлявшая родителей смотреть на каждого своего ребенка, как на будущего кормильца.

И вот утром, когда мужчины и Катрин отправились в шахту, мать, приподнявшись с постели, сказала Жанлену:

— Ну, смотри, сквернавец, если опять примешься за свое, всю шкуру с тебя спущу.

Артели Маэ приходилось трудно в новой лаве. В этом конце пласт Филоньера был так тонок, что забойщики, сдавленные между почвой и кровлей, врубаясь в уголь, обдирали себе локти... Кроме того, изводила сырость, все время сочилась вода, а если б она прорвалась, поток затопил бы выработку, унес бы людей. Накануне Этьен ударил кайлом, вытащил его, и в лицо ему брызнула струя воды. Но оказалось, что это ложная тревога. Просто лава стала сырее, а работа в ней — еще вреднее для здоровья. Этьен теперь и не думал о возможных катастрофах,— так же, как и его товарищи, забывал о них, беспечно относился к опасностям. Углекопы привыкли к гремучему газу, работали, не чувствуя, как он давит

на веки и будто паутиной оплетает ресницы. Иной раз, когда в лампах пламя тускнело и становилось голубым, вспоминали о гремучем газе, кто-нибудь прижимался головой к пласту, послушать, как выходит газ,— он шипел и булькал в каждой щели. Но больше угрожала опасность обвалов,— ведь помимо того, что крепь ставилась кое-как, наспех и была ненадежна, оползала порода, размываемая водой.

В тот день Маэ приходилось трижды укреплять стойки упорами. Подходил час подъема на-гора́; было половина третьего. Лежа на боку, Этьен заканчивал вырубать глыбу угля, и вдруг далекий раскат грома потряс всю шахту.

— Что это? — воскликнул Этьен и, выпустив из рук кайло, прислушался.

Ему показалось, что позади него обрушился весь штрек.

Маэ, соскользнув по наклону забоя, крикнул:

— Обвал... Скорей! Скорей!

Все кинулись вниз, к месту катастрофы, охваченные тревогой за своих братьев. Люди бежали среди мертвой тишины. У каждого в руке плясала лампа; вереницей проносились они по откаточным ходам, сгибаясь под низкой кровлей, словно пробегали там на четвереньках, и, не замедляя бега, перекидывались короткими фразами,— спрашивали, отвечали: «Где это? в забоях?» — «Нет, где-то внизу, скорее всего в квершлаге!» Добравшись до «печи», нырнули туда, скатились друг за другом вниз, не думая об ушибах и ссадинах.

В то утро Жанлен, у которого спина еще горела от вчерашней порки, не посмел улизнуть из шахты. Семеня босыми ногами, он бежал позади своего поезда, захлопывая одну за другой вентиляционные двери, и если не опасался встречи со штейгером, присаживался на последнюю вагонетку, что строго запрещалось,— там можно было заснуть. Но самым большим развлечением для него были «разминовки»: когда поезд останавливался, чтобы пропустить встречный, Жанлен подбирался тогда к Беберу, державшему в руках вожжи, подкрадывался потихоньку, без лампы, щипал приятеля до крови, придумывал всякие злые проделки, как проказливая обезьяна. У этого желтоволосого мальчишки с большими оттопыренными ушами, с худенькой рожицей зеленые узкие глазки светились в полумраке. Он был настоящим заморышем, отличался преждевременной болезненной испорченностью, а в его неразвитом уме и необычайном проворстве сквозило что-то звериное.

После полудня Мук запряг Боевую,— подошла ее очередь возить вагонетки; и когда лошадь, шумно фыркая, стояла с поездом на запасном пути, Жанлен, перебравшись к Беберу, спросил:

— Что это нынче со старой клячей? Раз! И остановится! Я из-за нее ноги себе покалечу.

Бебер не ответил, с трудом сдерживая Боевую, вдруг оживившуюся с приближением встречного поезда. Она издали учуяла и узнала своего сотоварища Трубача, к которому прониклась глубокой нежностью с того дня, когда у нее на глазах его спустили в шахту. Казалось, в ней говорило теплое сострадание старого мудреца, желавшего облегчить участь молодого друга, передать ему свое терпение и покорность судьбе, ведь Трубач все не мог свыкнуться со своей участью, тащил вагонетки неохотно, стоял понурив голову и, ослепнув в неизбывной тьме, все мечтал о солнце. И всякий раз, как Боевая встречала его в подземной галерее, она вытягивала шею, встряхивала гривой и ласково прикасалась к нему влажными губами, как будто старалась его ободрить.

— Ах ты холера! — ругался Бебер.— Гляди, опять лижутся!

А когда Трубач затрусил дальше, Бебер сказал Жанлену:

— Старуха-то наша с норовом! А до чего хитрая! Как осадит разом,— значит, впереди помеха: то ли камень, то ли яма... Бережется, не хочет ноги себе ломать... Не знаю, что с ней нынче творится... Подъехали к дверям, она их растворила и не идет дальше, стоит как вкопанная... Ты ничего не чуешь?

— Да нет,— ответил Жанлен.— Только вот воды там много, мне по колено.

Поезд тронулся. На обратном пути, когда опять подъехали к вентиляционным дверям, Боевая, отворив их головой, вновь уперлась, заржала и, вся дрожа, не пошла дальше. Но вдруг она решилась и помчалась стрелой.

На обязанности Жанлена было затворять двери, и он отстал от поезда. Он наклонился, разглядывая глубокую лужу, в которой стоял; затем, подняв лампу, заметил, как покривились стойки крепления, подпиравшие кровлю, откуда непрерывно сочилась вода. В это время мимо проходил забойщик Берлок, по прозвищу «Корешок», он торопился домой, так как его жена в тот день родила. Он тоже остановился, оглядел крепление. И вдруг, в то мгновение, когда Жанлен хотел было помчаться вдогонку за своим поездом, раздался грохот, и обвал поглотил и забойщика и ребенка.

Наступила глубокая тишина. Ветер, поднявшийся при обвале, погнал по штрекам густую пыль. Со всех сторон, из самых далеких забоев, мчались ослепленные, задыхавшиеся углекопы; лампы, плясавшие в их руках, еле освещали черных людей, бежавших в глубине этих кротовых нор. Наконец передние натолкнулись на обвал и закричали, созывая товарищей. Второй отряд, явившийся из нижних забоев, оказался по другую сторону завала, закупорившего квершлаг. Тотчас установили, что кровля обрушилась на протя-

жении десяти — двенадцати метров, не больше. Ущерб был невелик. Но у всех сжалось сердце: из-под груды земли раздавались жалобные стоны, хрип умирающего.

Бросив свой поезд, прибежал Бебер. Он твердил:

— Там Жанлен! Там Жанлен!

Как раз в эту минуту скатился по наклонному ходку Маэ с Захарием и Этьеном. Его охватила ярость отчаяния, находившая выход в ругательствах:

— Ах, сволочи проклятые! Сволочи проклятые! Сволочи проклятые!

Прибежали Катрин, Лидия, Мукетта, и все три завопили, зарыдали. Среди этого невообразимого волнения, которое усиливала темнота, невозможно было заставить их замолчать,— при каждом стоне они с ума сходили от ужаса и выли еще громче.

Примчался штейгер Ришом. Он был в глубоком смятении,— в шахте не оказалось ни инженера Негреля, ни Дансара. Приникнув ухом к обвалившейся породе, он прислушался и сказал, что стонет под обвалом не ребенок,— там, несомненно, взрослый человек. Маэ раз двадцать звал сына. Мальчик не отзывался. Должно быть, его задавило насмерть.

А глухие, надрывные стоны все не смолкали: того, кто стонал, окликали, спрашивали его имя. В ответ раздавался только хрип.

— Скорей! Скорей! — твердил Ришом, организовавший спасательные работы.— Потом поговорим.

С двух сторон углекопы принялись, кто ломом, кто лопатой, раскапывать обвал. Шаваль молча работал рядом с Маэ и Этьеном; Захарий наладил переноску земли. Смена кончилась, пора было подниматься на-гора́, с утра никто еще не ел, но люди не уходили, раз товарищи в опасности. Сообразив, что в поселке поднимется тревога, если никто не вернется, предложили отправить домой женщин. Однако ни Катрин, ни Мукетта, ни даже Лидия не пожелали уйти — их удерживала неодолимая потребность узнать, кого задави́ло, и, кроме того, они помогали выносить камни и землю. Тогда Левак вызвался сообщить, что произошел обвал,— небольшое повреждение, которое уже исправляют. Было около четырех часов дня, меньше чем за час углекопы проделали работу, на которую потребовался бы целый день; вероятно, была уже разобрана половина завала, если только с кровли не упали новые глыбы. Маэ работал с неистовой, бешеной энергией, отказываясь гневным жестом, когда кто-нибудь предлагал ненадолго сменить его.

— Тихонько! — сказал наконец Ришом.— Подходим. Смотрите, как бы их не доконать.

В самом деле, хриплый стон слышался все яснее. Этот непрерывный стон указывал путь тем, кто раскапывал, а сейчас он, ка-

залось, звучал прямо под лопатами. И вдруг он оборвался. Все молча переглянулись, с трепетом почувствовав в сумраке холод смерти. Люди работали лопатами, обливаясь потом, напрягая мышцы с такой силой, что, казалось, они вот-вот разорвутся. Вдруг показалась нога. Теперь землю стали снимать руками; постепенно откопали все тело. Голова не пострадала. Лампочки осветили лицо. По рядам углекопов пробежало имя Берлока. Он был еще теплый, обвалившейся глыбой ему переломило спинной хребет.

— Заверните его в одеяло и положите на вагонетку,— приказал штейгер.— А теперь давайте паренька откопаем. Да поскорее.

Маэ ударил ломом,— образовалось отверстие, послышались голоса тех, кто раскапывал с другой стороны. Кто-то крикнул, что нашли Жанлена. Мальчик без сознания, обе ноги у него перебиты, но он еще дышит. Понес его на руках отец и, стискивая зубы, бормотал ругательства, изливая в них свою скорбь. Катрин и другие женщины опять запричитали.

Тотчас составилось шествие. Бебер привел Боевую, ее впрягли в две вагонетки: в первой лежал труп Берлока, которого поддерживал Этьен; во второй сидел Маэ, держа на коленях Жанлена, все не приходившего в сознание и прикрытого лоскутом сукна, сорванного с вентиляционной двери. Двинулись шагом. Над каждой вагонеткой красной звездой горела лампочка. Позади шли углекопы — пятьдесят черных фигур, двигавшихся вереницей. Лишь теперь они почувствовали безмерную усталость, они еле волочили ноги, чуть не падая, скользя по грязи, шагали в мрачном уныний, словно стадо, пораженное повальной болезнью. Понадобилось полчаса, чтобы добраться до рудничного двора. Казалось, никогда не кончится это шествие в густом мраке по подземным галереям, которые раздваивались, поворачивали, пересекались.

На рудничном дворе Рыном, обогнавший всех, приказал спустить пустую клеть. Пьерон тотчас же вкатил в нее обе вагонетки. В одной по-прежнему сидел Маэ, держа на коленях искалеченного сына, а в другой Этьен — он обеими руками обхватил труп Берлока, чтобы тот не вывалился. Когда рабочие набились в два других яруса клети, она стала подниматься. Подъем длился две минуты. В стволе шахты лил холодный дождь; все нетерпеливо смотрели вверх,— хотелось поскорее увидеть свет.

К счастью, мальчишка, посланный к доктору Ванденгагену, нашел его и привел на шахту. Жанлена и тело умершего внесли в комнату штейгеров, где круглый год жарко топилась печь. Отодвинув в угол ведра с горячей водой, приготовленные для мытья ног, разостлали на каменных плитах пола два тюфяка и на один тюфяк положили покойника, а на другой — Жанлена. В комнату впустили только Маэ и Этьена. За дверями теснились откатчицы,

углекопы, мальчишки, сбежавшиеся со всех сторон. Разговаривали вполголоса.

Бросив взгляд на Берлока, доктор сразу сказал:

— Умер... Можете обмыть его.

Два сторожа раздели покойника, потом вымыли губкой труп, черный от угольной пыли, смешавшейся с трудовым потом.

— Голова не задета,— сказал доктор, стоя на коленях у тюфяка Жаплена.— И грудь тоже... А-а! Ноги... Ноги покалечило.

Он сам раздел мальчика, развязал колпак, снял куртку, стянул штаны и рубашку. Обнажилось жалкое маленькое тело, тощее, как у насекомого; оно было запачкано черной пылью, желтой глиной, испещрено пятнами крови. Ничего нельзя было разглядеть, пришлось вымыть и его. Он как будто все худел под мокрой губкой, все ребра были видны. Жалко было смотреть на это бледное, прозрачное существо, в котором сказалось вырождение многих поколений, живших в нищете, на этого чахлого мальчика, на истерзанного болью заморыша, полураздавленного обвалом. Когда его отмыли, на ягодицах проступили два красных пятна, четко выделявшиеся на белой коже.

Наконец он очнулся и жалобно застонал. В ногах у сына, бессильно опустив руки, стоял Маэ и пристально смотрел на него; из глаз его катились крупные слезы.

— Ну? Ты кто? Отец? — спросил врач, поднимая голову.— Нечего плакать, ты же видишь — он жив... лучше помоги-ка мне.

Врач установил, что имеется два простых перелома. Однако правая нога вызывала у него беспокойство: вероятно, придется ее отнять.

Наконец явились в сопровождении Рипома инженер Негрель и Дансар, которых уведомили о происшествии. Негрель разразился гневом: во всем виновато проклятое крепление! Ведь он сто раз говорил, что всех передавит! А эти дураки еще грозят объявить забастовку, если их заставят крепить более основательно. И хуже всего то, что теперь Компании придется платить за разбитые горшки. То-то г-н Энбо будет доволен!

— Кто это? — спросил он Дансара, молча стоявшего возле трупа, который завертывали в простыню.

— Берлок, один из лучших наших рабочих,— ответил штейгер.— Трое детей осталось... Бедный парень!

Доктор Ванденраген потребовал, чтобы Жаплена немедленно перенесли в дом родителей. Пробило шесть часов, уже стемнело. Следовало перевезти и покойника. Инженер распорядился запрячь лошадь в фургон, а также доставить носилки. Раненого мальчика отправили на носилках, а мертвеца положили в фургон.

У дверей все еще стояли откатчицы и углекопы, желая знать,

чем все кончится. Слышался гул разговоров. Лишь только отворились двери штейгерской комнаты, воцарилось глубокое молчание. Вновь двинулось шествие: впереди фургон, за ним носилки, затем длинная вереница людей. Вышли со двора шахты, двинулись к поселку, медленно поднимаясь по пологому склону холма. Первые ноябрьские холода оголили огромную равнину,— мрак неспешно окутывал ее, словно погребальный покров, упавший с нависшего неба.

Этьен вполголоса посоветовал Маэ послать Катрин вперед, сказать матери о случившемся, смягчить удар. Отец, угрюмо следовавший за носилками, молча кивнул головой,— и девушка помчалась стремглав, так как шествие подходило к поселку. Но там уже разнеслась весть о приближении фургона, хорошо всем знакомого зловещего ящика. Обезумев от страшных предчувствий, женщины выбегали из дому, иные без чепца, простоволосые, и мчались навстречу шествию. Вскоре сбежалось тридцать, потом пятьдесят матерей и жен, и всех терзала одинаковая тревога. Так, значит, везут мертвеца? Кого же? Поначалу слова Левака всех успокоили, а теперь вдруг вскрылась ужасающая катастрофа: говорили, что погиб не один человек, а десять, и фургон всех их привезет в поселок.

Катрин застала мать в жестоком волнении. Она предчувствовала беду, и лишь только дочь заговорила, прервала ее и крикнула:

— Отца убило?

Катрин старалась ее успокоить, говорила о Жанлене. Не слушая ее, мать бросилась на улицу. Увидев фургон, выехавший из-за церкви, она побледнела как полотно и обмерла. Онемев от страха, женщины стояли у дверей и, вытянув шею, впивались взглядом в фургон; иные с трепетом следили, перед каким домом он остановится.

Фургон проехал. Позади него жена Маэ увидела своего мужа, сопровождавшего носилки; когда носилки поставили перед дверью ее дома, когда она увидела Жанлена, живого, но с перебитыми ногами, в душе ее вспыхнул гнев, и она, без слез, задыхаясь, закричала:

— Вот как! Детей наших принялись калечить! Обе ноги!.. Господи! Да что же я теперь делать с ним буду?

— Замолчи ты! — сказал доктор Вандергаген; он шел вслед за носилками, чтобы наложить Жанлену лубки.— Что ж, по-твоему, лучше, чтобы он там остался?

Но мать пришла в исступление, услышав плач Альзиры, Леноры и Анри. Помогая перенести сына наверх, в спальню, подавая доктору то, что ему было нужно, она не переставала говорить, она

проклинала судьбу, она спрашивала, где теперь ей взять денег, чтобы кормить калек? Значит, мало того, что старик не может ходить, теперь и мальчик лишился ног! Она сетовала не умолкая, а в это время из соседнего дома доносились душераздирающие причитания: там жена и дети Берлока плакали над телом погибшего. Было уже совсем темно; измученные углекопы сели наконец за ужин; в поселке стояла мрачная тишина, и нарушали ее только жалобные вопли.

Прошло три недели. Ампутации удалось избежать, и Жанлену сохранили обе ноги, но он навсегда остался хромым. После расследования Компания согласилась скрепя сердце выдать пострадавшему пособие в пятьдесят франков. Кроме того, она обещала подыскать для мальчика-калеки, когда он поправится, работу на поверхности. И все же нужда в доме возросла — отец от первого потрясения заболел горячкой. Наконец, в четверг, он вышел на работу. Настало воскресенье. Вечером Этьен заговорил о том, что приближается первое декабря,— его, да и всех, беспокоило, выполнит ли Компания свою угрозу. Все сидели внизу до десяти часов, ждали Катрин,— вероятно, она была где-то с Шавалем, но Катрин не вернулась. Мать в раздражении захлопнула дверь и заперла ее на засов, не произнеся ни слова. Этьен долго не мог уснуть, все смотрел на опустевшую постель, на которой Альзира занимала так мало места.

Утром Катрин не появилась, и только во второй половине дня, когда первая смена возвратилась с рудника, в доме узнали, что Шаваль оставил Катрин у себя. Он устраивал ей дикие сцены и принудил ее стать его сожительницей. Во избежание упреков он неожиданно ушел с Ворейской шахты и поступил на шахту Жан-Барт, принадлежавшую Денелену; Катрин последовала за ним, нанялась откатчицей. Однако чета продолжала жить в Монсу, в трактире «Виноградное».

Маэ сперва грозился, что пойдет в Монсу, надает Шавалю оплеух и пинками пригонит свою дочь домой. Потом смирился и махнул на все рукой. Зачем скандалить? Дело всегда так оборачивается. Разве помешаешь девушке сойтись с возлюбленным, если она того хочет. Лучше спокойно ждать, когда они поженятся. Но мать относилась к этому не так благодушно.

— Да разве я била ее, когда у нее завелся дружок, этот самый Шаваль? — кричала она, обращаясь к Этьену, который молча слушал ее, бледный как полотно.— Мы ее не стесняли,— живи как хочешь, ведь верно? А то как же? Господи! Ведь у всех так получается. Я и сама была беременна, когда Маэ женился на мне, но из родительского дома я не убегала. Никогда бы я не сделала матери такой гадости, чтобы раньше времени отдавать свои зарабо-

ганные гроши мужчине, который в них и не нуждается... Вот уж подлость так подлость! Подумайте только! Никто и не захочет больше детей рожать.

Этьен вместо ответа только качал головой, а она все не могла успокоиться:

— Ведь ходила девушка каждый вечер куда вздумается. Нет, ей мало этого! Не успокоилась! Какая нетерпеливая! Сначала пособила бы нам выбиться из нужды, а тогда я бы ее и выдала замуж. Вы как полагаете, разве дочь не обязана поработать на родителей? Кажется, яснее ясного... А тут что вышло?! И все потому, что слишком ее баловали, не надо было позволять ей гулять, развлекаться. Положи им, бессовестным, палец в рот, они всю руку отхватят.

Альзира, соглашаясь с матерью, кивала головой. Ленора и Анри, ошеломленные домашней бурей, тихонько хныкали, а мать перечисляла все беды, которые обрушились на семью: сначала Захарию понадобилось жениться, потом старик отец обезножел,— вон он сидит, скрючившись, на стуле; потом несчастье с Жанленом. Раньше чем через десять дней мальчишке с постели не встать: кости еще плохо срослись. И вот последний удар — мерзавка Катрин ушла к любовнику! Разваливается семья. Теперь только отец работает в шахте. Он три франка в день зарабатывает. Как же прокормить на эти деньги семь ртов, не считая Эстеллу. Прямо хоть утопиться всем вместе в канале.

— Полно тебе сердце свое рвать,— глухим голосом сказал Маэ.— Может, и не то еще будет...

Этьен, упорно глядевший на каменный пол, поднял голову и, устремив куда-то вдаль затуманенный взгляд, перед которым предстало видение грядущего, прошептал:

— Да, пора! Давно пора!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В понедельник супруги Энбо ждали к завтраку Грегуаров с дочерью. Предусматривалась целая программа развлечений: после завтрака Поль Негрель должен был повезти дам осматривать превосходно переоборудованную шахту Сен-Тома. Поездка была лишь предлогом, любезно придуманным г-жой Энбо для того, чтобы ускорить брак Сесиль Грегуар и Поля Негреля.

И нежданно-негаданно именно в этот понедельник, в четыре часа утра, началась забастовка. Первого декабря, когда Компания ввела новую систему оплаты, углекопы держали себя совершенно спокойно. Через две недели, в день получки, никто не выразил недовольства, никто не протестовал. Все служащие Компании, от директора до последнего сторожа, полагали, что новый тариф принят рабочими; и каково же было их изумление, когда в понедельник утром углекопы объявили эту войну, причем и тактика и согласованность действий указывали на энергичное руководство.

В пять часов утра Дансар разбудил директора и доложил, что на Ворейской шахте ни один человек не вышел на работу. Поселок Двести Сорок, через который он проехал, спит глубоким сном; двери и окна в домах заперты. Директор тотчас соскочил с постели, протирая припухшие от сна глаза, и с этого мгновения на него посыпались неприятности: каждые четверть часа прибывали гонцы, на письменный стол градом падали депеши. Сперва он надеялся, что бунт ограничится Ворейской шахтой, но с каждой минутой вести становились все более грозными: забастовали и Миру, и Кревкер, и Мадлен, где вышли на работу только конюхи; даже в Виктуар и Фетри-Канталь, в двух самых надежных шахтах, где царила образцовая дисциплина, только треть всех рабочих спустилась в шахту. Лишь в шахте Сен-Тома все явились полностью, и казалось, забастовка ее не затронула. До девяти часов утра г-н Энбо диктовал депеши, телеграфировал во все стороны — префекту в Лилль, членам правления, уведомлял власти, требовал

указаний. Негреля он отправил в объезд по соседним шахтам, желая иметь точные сведения, что там делается.

Вдруг г-н Энбо вспомнил о званом завтраке и собрался было послать к Грегуарам кучера сообщить, что приглашение переносится. Но какая-то нерешительность, слабоволие остановили его,— он не посмел это сделать, хотя только что лаконично, по-военному, отдавал распоряжения, готовясь дать бой рабочим. Он поднялся к жене, в туалетную, где горничная причесывала ее.

— Ах, они бастуют? — спокойно сказала она, когда муж попросил у нее совета.— А нам какое до этого дело?.. Неужели нам не завтракать из-за них? Ведь это смешно!

Она заупрямилась: напрасно муж говорил ей, что завтрак будет совсем невеселый, что поехать в Сен-Тома и осматривать шахту сегодня невозможно,— у нее на все находился ответ. Зачем отменять завтрак, когда все уже варится и жарится? От осмотра шахты можно отказаться, если эта прогулка действительно окажется неблагоразумной.

— Вы прекрасно знаете,— добавила она, когда горничная вышла,— почему мне хочется принять у себя этих милых людей. Женитьба Поля должна бы интересовать вас больше, чем глупости, которые вытворяют ваши рабочие... Словом, я так хочу, пожалуйста, не противоречьте.

Муж посмотрел на нее с внутренней дрожью, его суровое, замкнутое лицо, лицо администратора, порабощенного дисциплиной, вдруг выдало тайную скорбь, терзавшую сердце. Она сидела перед ним с обнаженными плечами, пленительная яркой, слишком зрелой, но все еще влекущей красотой, статным телом Цереры, позлащенным осенней порой жизни. На мгновение его опьянило грубое желание схватить ее, прижаться головой к ее груди, которую она словно выставляла напоказ в этой интимной обстановке туалетной комнаты, где роскошь говорила о чувственной женщине, а теплый воздух пропитан был возбуждающим ароматом мускуса; но г-н Энбо взял себя в руки — уже десять лет супруги жили на разных половинах.

— Ну что ж,— сказал он, уходя.— Не будем ничего отменять.

Господин Энбо родился в Арденнах. В начале жизненного пути ему пришлось изведать нелегкую долю юноши сироты, оставшегося без поддержки в лабиринте Парижа. Кое-как перебиваясь, он кончил Горный институт и в двадцать четыре года уехал в Гран-Комб в качестве инженера шахты Сент-Барб. Через три года он стал инженером участка на Марльских копях в Па-де-Кале; там он женился, сделав хорошую партию, как это стало правилом для горных инженеров; за него отдал свою дочь богатый фабрикант-прядильщик из Арраса. Пятнадцать лет супруги жили в одном и

том же городке, и однообразие их существования не нарушали никакие события, даже рождение ребенка. Постепенно г-жу Энбо отдалило от мужа все возраставшее раздражение против него; ее с детства научили почитать деньги, и она презирала мужа за то, что он с таким трудом зарабатывает весьма посредственное жалованье, и за то, что по его вине у нее нет ни малейшей возможности удовлетворить свое тщеславие и честолюбивые мечты, которые она лелеяла еще в пансионе. Он отличался неподкупной честностью, не занимался спекуляциями и стоял на своем посту как солдат. Отчуждение их все возрастало, его усиливало то странное несоответствие темпераментов, которое охлаждает самые пылкие чувства; он обожал свою жену, белокурую сластолюбивую красавицу, а между тем она очень скоро завела себе отдельную спальню; они не подходили друг к другу и с взаимной обидой чувствовали это. У нее появился любовник, о котором он не знал. Наконец г-н Энбо расстался с Па-де-Кале и переехал в Париж, заняв там, в сущности, чиновничью должность. Он надеялся, что жена будет ему благодарна. Но Париж окончательно разъединил их,— именно Париж, о котором она мечтала с детских лет — с той поры, когда девочкам дарят первую куклу. В Париже она за одну неделю сбросила с себя весь налет провинциализма, сразу стала элегантной женщиной и кинулась в бурный водоворот роскоши и безумств, характерный для того времени. Десять лет, которые она провела в столице, были заполнены всепоглощающей страстью, совершенно открытой связью, и когда любовник бросил ее, она чуть не умерла. На этот раз муж не мог оставаться в спасительном неведении, но после мерзких сцен он смирился, обезоруженный спокойным бесстыдством этой женщины, срывавшей цветы наслаждения там, где она находила их. Когда муж увидел, что она больна от горя после разрыва с любовником, он согласился принять пост директора угольных копей в Монсу, надеясь, что жена опомнится в этом пустынном краю.

Но с тех пор, как они поселились в Монсу, вернулись скука и раздражение, которые отравляли им жизнь в первые годы супружества. Сначала жене как будто приносила облегчение великая тишина, царившая на этой огромной, плоской равнине, однообразие приносило какое-то успокоение; г-жа Энбо решила похоронить себя в этом глухом углу, как женщина, жизнь которой кончена; она всячески подчеркивала, что сердце ее умерло, что она совершенно отошла от света и его суеты и даже не огорчается больше, что стала полнеть. Но затем сквозь это равнодушие прорвалась последней вспышкой еще не угасшая жажда жизни; полгода она обманывала себя, устраиваясь на новом месте и обставляя по своему вкусу небольшой особняк, отведенный директору. Она говорила,

что он ужасен, и спешила украсить его коврами, вышивками, безделушками, художественными вещами; о ее роскошной обстановке говорили даже в Лилле. Но теперь угольный край навевал на нее тоску: бесконечные дурацкие поля, ни единого деревца, и вечно перед глазами эти черные дороги, а на них кишмя кишат такие противные и страшные чумазые люди. Начались жалобы: она в изгнании, муж пожертвовал ею ради жалованья в сорок тысяч франков, которые он тут получает, а ведь это ничтожная сумма, ее едва хватает на хозяйство. Разве он не мог поступить, как другие: потребовать себе пай, определенное количество акций, хоть в чем-нибудь добиться успеха? Она нападала на него с жестокостью богатой наследницы, которая принесла мужу в приданое целое состояние. Он, как всегда корректный, прикрывался обманчивой сдержанностью администратора, меж тем его томила страсть к этой женщине, неистовое вожделение, возрастающее на склоне лет. Он никогда не обладал ею как любовник, его постоянно преследовал ее образ, он хотел, чтобы она хоть раз отдалась ему так, как отдавалась другому. Каждое утро он мечтал, что вечером завоюет ее. Но жена смотрела на него холодным взглядом, и, чувствуя, что она всем своим существом отвергает его, он не решался даже коснуться ее руки. Он мучился неисцелимой мукой, скрывая под внешней суровостью страдания нежной натуры, втайне тосковавшей о счастье, которого он не нашел в семейной жизни. Через полгода, когда особняк был окончательно обставлен и больше не занимал г-жу Энбо, она стала скучать, хандрить, рисовала себя жертвой, которую убьет изгнание, и говорила, что счастлива будет умереть.

Как раз к тому времени в Монсу приехал Поль Негрель. Его мать, вдова капитана, уроженца Прованса, жила в Авиньоне на скудную ренту и питалась хлебом да водой, ради того чтобы сын мог поступить в Политехническое училище. Поль окончил его посредственно и получил незавидное назначение; но его дядя, г-н Энбо, уговорил племянника подать в отставку и предложил ему должность инженера на Ворейской шахте. Г-н Энбо принял Поля по-родственному, даже поселил его в своем доме, отвел ему комнату, поил, кормил, и это позволяло молодому инженеру посылать матери половину жалованья,— он получал три тысячи франков. Желая скрыть свое благодеяние, г-н Энбо сослался на то, что молодому человеку трудно обзаводиться хозяйством и скучно жить одному в маленьком шале, которое ему могли дать, как и другим инженерам копей. Г-жа Энбо тотчас же вошла в роль доброй тетушки, называла своего племянника на «ты», заботилась о его благополучии. В первые месяцы она проявляла материнскую заботливость, давала Полю советы во всех житейских мелочах. Но ведь

она оставалась женщиной и постепенно перешла к душевным излияниям. Ее занимали разговоры с Полем, ей нравилось, что, несмотря на свою молодость, он весьма практичен, умен и свободен от излишних предрассудков, выражает широкие философские взгляды на любовь, полон живости и вместе с тем пессимизма, придающего своеобразное, язвительное выражение его тонкому остроносому лицу. Однажды вечером он как-то незаметно очутился в ее объятиях; казалось, г-жа Энбо дарила его ласками только по доброте душевной, она уверяла его, что у нее больше нет сердца, что она хочет быть только его другом... В самом деле, она совсем не была ревнива, посмеивалась над его мнимыми похождениями с сортировщицами, которых он называл уродинами, и почти сердилась на него за то, что он такой примерный и не может позабавить ее, живописуя свои проказы. Затем ей пришло в голову женить Поля, и эта затея страстно ее увлекла; она мечтала о самоотверженности, хотела сама отдать его в мужья какой-нибудь богатой девице. Их связь продолжалась,— он был ее игрушкой, ее развлечением, в которое она, однако, вкладывала последние искорки нежности праздной и стареющей женщины.

Прошло два года. Однажды ночью г-н Энбо услышал, что кто-то прошел босиком мимо его двери, и у него возникли подозрения. Этот новый роман вызвал у него негодование. Как, в его доме, рядом с ним?! Племянник, на которого он смотрел, как на сына! Ведь она годится этому юноше в матери. Но как раз на другой день жена объявила, что она выбрала для Поля невесту — Сесиль Грегуар. И она занялась устройством брака с таким жаром, что г-н Энбо устыдился,— как ему могли прийти в голову такие чудовищные мысли! Он теперь благодарен был юноше за то, что с его появлением в доме стало не так уныло, как прежде.

Выйдя из комнат жены, г-н Энбо встретил внизу, в прихожей, Поля, возвращающегося домой. Видно было, что из-за нежданной забастовки настроение у него возбужденное.

— Ну как? — спросил дядя.

— Да что ж... Я объехал все рабочие поселки. С виду там все спокойно... Думаю, однако, что они пришлют к тебе делегацию.

В эту минуту со второго этажа послышался голос г-жи Энбо:

— Это ты, Поль?.. Иди сюда скорее, расскажи, какие новости. Право, странно, с чего эти люди вздумали бунтовать. Очень нехорошо с их стороны. Ведь они живут так счастливо!

И директор отказался от мысли узнать все подробности,— жена перехватила его разведчика. Он вернулся в кабинет и снова сел за письменный стол, на котором лежала новая пачка денег.

В одиннадцать часов пришли Грегуары. Они очень удивились, что Ипполит — лакей директора, поставленный сторожить у две-

рей, чуть ли не подталкивал их, торопя войти в дом, а перед этим с явным беспокойством окинул взглядом дорогу. В гостиной занавеси на окнах были задернуты, и Грегуаров провели в кабинет г-на Энбо; хозяин извинился, что принимает их тут, но гостиная окнами выходит на дорогу, и совершенно излишне вызывать эксцессы.

— Как! Вы ничего не знаете? — спросил он, видя изумление гостей.

Узнав, что началась забастовка, г-н Грегуар не потерял обычного своего спокойствия и только пожал плечами. Ба! Ничего страшного... Народ тут порядочный. Г-жа Грегуар кивала головой, разделяя уверенность мужа в извечном смирении углекопов. А Сесиль, очень веселая, пышущая здоровьем, очень миленькая в суконном костюме «цвета настурции», который был ей к лицу, улыбалась при слове «забастовка», напоминавшем ей о посещениях рабочих семей и о раздаче им милостыни.

Но вот появилась вместе с Негрелем г-жа Энбо, в черном шелку.

— Ах, какая досада! — воскликнула она, лишь только переступила порог.— Как будто эти люди не могли подождать! Знаете, Поль отказывается везти нас в Сен-Тома.

— Ну что ж, мы с удовольствием посидим у вас,— учтиво ответил г-н Грегуар.— С большим удовольствием.

Поль коротко поздоровался с Сесиль и г-жой Грегуар. Тетушка осталась недовольна: она сочла, что он недостаточно любезен, и глазами указала ему на девушку. Услышав затем, что они разговаривают друг с другом и смеются, она окинула их материнским взглядом.

Тем временем г-н Энбо закончил чтение депеш, на которые тут же составил ответы. Г-жа Энбо вела беседу с гостями. Она сообщила, что не занималась обстановкой рабочего кабинета своего мужа. Действительно, в кабинете остались выцветшие пунцовые обои, тяжелая мебель красного дерева, поцарапанные, потрепанные шкафы для папок с делами. Прошло три четверти часа, и когда уже собирались сесть за стол, лакей доложил о г-не Денелене. Тот вошел очень взволнованный, поклонился г-же Энбо.

— Ах, вот вы где! — сказал он затем, увидев Грегуаров. И, быстро повернувшись, заговорил с директором: — Так, значит, это верно? Я только что узнал от своего инженера... У меня-то нынче утром все рабочие спустились в шахту... Но ведь и их может захватить. Я беспокоюсь... Как у вас? Что происходит?

Денелен приехал верхом на лошади и явно был встревожен: говорил чересчур громко, делал резкие жесты; он был похож на отставного кавалерийского офицера.

Господин Энбо начал было рассказывать ему о создавшемся положении, но тут лакей распахнул двери в столовую. Директор, прервав свою речь, пригласил Денелена:

— Позавтракайте с нами. За столом продолжим разговор.

— Пожалуйста, как вам угодно,— ответил Денелен, настолько занятый своими мыслями, что принял приглашение без всяких церемоний.

Но тотчас же он спохватился и, повернувшись к г-же Энбо, принялся извиняться за свою невежливость. Впрочем, хозяйка приняла его с очаровательным радушием. Приказав поставить седьмой прибор, она рассадила гостей: по одну сторону от хозяина дома посадила г-жу Грегуар, по другую — Сесиль; по правую руку от себя — г-на Грегуара, по левую — Денелена; Поля Негреля — между Сесиль и ее отцом. Когда приступили к закускам, она сказала с улыбкой:

— Прошу извинить меня,— я хотела угостить вас устрицами... По понедельникам, как вы знаете, в Маршьене можно достать свежих устриц — их привозят из Остенде. И я велела запрячь лошадь, чтобы кухарка съездила за ними... Но она испугалась: а вдруг ее закидают камнями!

Раздался дружный взрыв смеха. Все нашли, что история презабавная.

— Тише, тише! — смущенно сказал г-н Энбо, поглядывая на окна, из которых видна была дорога.— Им совсем не нужно знать, что мы сегодня принимаем гостей.

— Ну, уж этой вкусной колбасы они, во всяком случае, не получат,— заявил г-н Грегуар.

Все опять засмеялись, но уже не так громко. Каждый чувствовал себя очень уютно в этой столовой с фламандскими гобеленами на стенах, с дубовыми старинными ларями; за стеклами буфетов блестела серебряная утварь; с потолка свешивалась большая лампа, и в округлых полированных стенках ее медного резервуара, как в зеркале, отражались пальма и длинные листья «дружного семейства», зеленевшие в больших майоликовых горшках. За окном стоял декабрьский день, дул резкий северный ветер, но ни малейшего его дуновения не проникало в комнату,— тут было тепло, как в оранжерее, в воздухе разливался тонкий аромат ананаса, разрезанного на ломтики и поданного в хрустальной чаше.

— А что, если задернуть занавеси на окнах? — спросил Негрель, которому хотелось, потехи ради, напугать Грегуаров.

Горничная, помогавшая лакею подавать на стол, решила, что это приказание, и задернула занавеси на одном окне. Тогда начались бесконечные шуточки: рюмку, стакан, вилку опускали на стол

с величайшей осторожностью; каждое блюдо восторженно приветствовали, будто оно случайно уцелело от грабежа в захваченном городе; но за этой напраншой веселостью таился глухой страх, и он проскальзывал в невольных взглядах, которые сотрапезники бросали на дорогу, словно полчища голодных следили оттуда за пиршеством.

После омлета с трюфелями подали речных форелей. Разговор зашел о промышленном кризисе. За полтора года дела так ухудшились!

— Это было неизбежно,— сказал Денелен.— Процветание, наблюдавшееся за последние годы, должно было привести нас к этому... Вспомните, какие огромные капиталы заморожены — капиталы, вложенные в железные дороги, в строительство портов, каналов. А сколько денег поглощают безрассудные спекуляции! Да возьмите, к примеру, хоть наш департамент: у нас понастроили столько сахарных заводов, словно с наших свекловичных полей можно собирать три урожая... Нечего сказать, дожили! Нынче денег не достанешь, надо ждать, когда получатся прибыли на затраченные миллионы: а отсюда — убийственное отсутствие сбыта и полный застой в делах.

Господин Энбо оспаривал эту теорию, но признавал, что годы благоденствия развратили рабочего.

— Подумайте только! — воскликнул он.— На наших шахтах эти молодцы зарабатывали до шести франков в день,— вдвое больше, чем они зарабатывают в настоящее время! И тогда они жили хорошо, привыкли роскошествовать. Теперь им, разумеется, трудно перейти к былой воздержанности.

— Господин Грегуар,— прервала его г-жа Энбо,— скушайте, пожалуйста, еще кусочек форели... Очень нежная рыба, не правда ли?

Директор продолжал:

— Но... скажите на милость, разве это наша вина? Мы сами жестоко пострадали... Заводы закрываются один за другим, и нам теперь невероятно трудно сбывать запасы угля. Поскольку спрос на уголь все уменьшается, мы просто вынуждены снижать себестоимость... А рабочие не желают этого понять.

Наступило молчание. Лакей обносил всех жареными куропатками, а горничная наливала гостям шамбертен.

— В Индии голод,— сказал Денелен вполголоса, словно говорил с самим собой.— Америка больше не дает нам заказов на чугун и сталь, и этим нанесен жестокий удар нашим доменным печам. Все между собою связано, достаточно одного отдаленного толчка, чтобы поколебалось равновесие во всем мире... А империя так гордилась этой промышленной горячкой!

«Жерминаль».

Он принялся за куропатку. Потом сказал громче:

— Хуже всего то, что для понижения себестоимости надо производить больше, а иначе приходится снижать расходы за счет заработной платы. И рабочие с основанием могут сказать, что их заставляют расплачиваться за хозяйские убытки.

Такое признание, вырвавшееся у этого откровенного человека, вызвало спор. Дамам было скучно. Впрочем, каждый уделял немало внимания своей тарелке, так как у всех разыгрался аппетит. Выходивший из столовой лакей вдруг возвратился и, видимо, хотел что-то сказать, но не решался.

— Ну, что там? — спросил г-н Энбо.— Если депеши, принесите сюда... Я жду ответов.

— Нет, сударь. Пришел господин Дансар, ждет в прихожей. Не хочет вас беспокоить.

Извинившись перед гостями, директор велел позвать старшего штейгера. Тот вошел и остановился в нескольких шагах от стола; все повернулись и смотрели на рослого, запыхавшегося Дансара, очевидно прибежавшего с важными новостями. Он сообщил, что в рабочих поселках все спокойно; но к господину директору придет делегация,— это дело решенное. Может быть, она будет здесь через несколько минут.

— Хорошо. Благодарю вас,— сказал г-н Энбо.— Прошу делать доклад ежедневно: утром и вечером. Поняли?

Лишь только Дансар вышел за дверь, опять начались шуточки, все набросились на «русский салат», говоря, что нельзя терять ни минуты, а иначе так и не успеешь его поесть. Но все особенно развеселились и смеялись до упаду, когда Негрель попросил у горничной хлеба, а она ответила: «Пожалуйста, сударь»,— так тихо, с таким испуганным лицом, как будто за ее спиной стояла целая шайка бунтовщиков, готовых резать, грабить, насиловать.

— Можете говорить громко,— снисходительно сказала г-жа Энбо,— они еще не пришли.

Директору принесли пачку писем и депеш, и одно из писем он пожелал прочесть вслух. Это было письмо Пьерона, который в почтительных выражениях сообщал, что он вынужден принять участие в забастовке, а иначе рабочие расправятся с ним; кроме того, он уведомлял, что не мог отказаться и вошел в состав делегации, хотя очень осуждает такое выступление.

— Вот вам свобода труда! — воскликнул г-н Энбо.

Все опять заговорили о забастовке и спросили его мнение.

— О-о! — ответил г-н Энбо.— Нам не привыкать. Знаем мы эти забастовки: неделю, ну, самое большее две недели, будут лодырничать, как в прошлый раз. Будут шататься по кабакам. А когда наголодаются, вернутся в шахты.

Денелен покачал головой.

— Нет. Я не могу смотреть на все это так спокойно... На этот раз они, по-видимому, лучше организованы. Нет ли у них кассы взаимопомощи?

— Есть. Но в этой кассе три тысячи франков, не больше. Далеко ли они с этим уйдут? Подозреваю, что вожаком у них стал некий Этьен Лантье. Он хороший работник. Мне жаль будет уволить его, как я уволил когда-то их знаменитого Раснера, который продолжает, однако, отравлять рабочих Ворейской шахты своими идеями и своим пивом... Ну, все равно. Через неделю половина наличного количества рабочих спустится в шахту, а через две недели и все десять тысяч встанут на работу.

В этом г-н Энбо был твердо убежден. Беспокоила его только возможная немилость правления, если на директора возложат ответственность за забастовку. С некоторого времени он чувствовал, что к нему меньше благоволят. И вот, отодвинув тарелочку с салатом, который он положил себе, г-н Энбо еще раз перечитал депеши, полученные из Парижа в ответ на его сообщения, и старался проникнуть в скрытый смысл каждого слова. Гости извинили его,— ведь завтракали, можно сказать, по-военному,— закусывали на поле боя перед первыми выстрелами.

Теперь и дамы вмешались в разговор. Г-жу Грегуар разжалобила участь рабочих: им, бедненьким, придется голодать, а Сесиль выразила намерение раздавать талоны на хлеб и на мясо. Но г-жа Энбо очень удивилась, услышав, что они говорят о нищете углекопов, работающих в копях Монсу. Да кому же тогда живется хорошо, если не им? Компания дает им и квартиру, и отопление, и лечит их за свой счет! Глубоко равнодушная к судьбе простого народа, она знала о нем лишь то, что ей твердили и чем она восхищала парижан, приезжавших посмотреть на углекопов; в конце концов она и сама в это уверовала и возмущалась неблагодарностью черни.

Тем временем Негрель продолжал пугать г-на Грегуара. Сесиль ему нравилась, и в угоду тетушке он готов был на ней жениться, но он вовсе не горел любовной лихорадкой и говорил, что ему, как человеку многоопытному, не к лицу увлечения. По части политических взглядов он именовал себя республиканцем, что, однако, не мешало ему держать рабочих в ежовых рукавицах, а в дамском обществе язвительно их высмеивать.

— Я не такой оптимист, как мой дядя,— заговорил он.— Наоборот, я опасаюсь крупных беспорядков... Поэтому советую вам, господин Грегуар, запритесь покрепче в своей усадьбе. Ее могут разгромить.

А ведь г-н Грегуар, с неизменной благодушной улыбкой, со-

перничал в доброте с супругой, только что изъяснялся в отеческих чувствах к углекопам.

— Разгромят мою усадьбу? — воскликнул он, ошеломленный словами Негреля.— Почему же ее могут разгромить?

— А разве вы не являетесь акционером Компании угольных копей в Монсу? И вы ничего не делаете, вы живете чужим трудом. Да и вообще вы гнусный капиталист, и этого достаточно... Будьте уверены, если революция восторжествует, вас заставят вернуть ваше состояние народу, как украденные у него деньги.

Грегуар вдруг утратил свое детское спокойствие и бездумный душевный мир, в котором он жил. Он залепетал:

— Мое состояние — краденое? Да разве мой прадед не заработал тяжелым трудом ту сумму, которую он некогда вложил в акции Монсу? А разве мы не подвергались риску всякий раз, когда предприятие бывало в затруднительном положении? И разве теперь я на дурные цели употребляю свой доход?

С огорчением увидев, что не только г-н Грегуар, но и жена его, и дочь побледнели от страха, г-жа Энбо поспешила вмешаться:

— Поль шутит, дорогой господин Грегуар.

Но г-н Грегуар был вне себя. Когда лакей подал ему блюдо с горкой вареных раков, он взял три рака и, не соображая, что делает, принялся жевать клешни вместе со скорлупой.

— Ах, я не отрицаю... Есть акционеры, которые злоупотребляют своим положением. Например, мне рассказывали, что министры получали акции Монсу в подарок,— попросту говоря, брали взятки за то, что оказывали услуги Компании. А некий важный барин, имени которого я называть не стану, самый крупный наш акционер, ведет жизнь просто позорную, проматывает миллионы на женщин, на кутежи, на безумную роскошь. Но мы-то, мы живем без всякой помпы, мы самые скромные люди; мы не спекулянты, с нас достаточно того, что мы имеем, мы хотим жить на свои средства простой, здоровой жизнью и помогать беднякам!.. Да что вы это, в самом деле! Если рабочие украдут у нас хоть булавку, значит, они суцие разбойники. А ведь это неверно.

Негрелю пришлось успокаивать г-на Грегуара, гнев которого очень его позабавил. Все смаковали раков, слышался легкий хруст скорлупы. А разговор шел о политике. Несмотря на пережитый страх, г-н Грегуар, все еще трепетавший от волнения, сказал, что он либерал и жалеет о Луи-Филиппе. Зато г-н Денелен стоял за сильное правительство и заявил, что император вступил на путь опасных уступок.

— Вспомните-ка восемьдесят девятой год,— сказал он.— Ведь дворянство своим сообщничеством, своим увлечением новыми фи-

лософскими системами сделало возможной революцию... А нынче ту же самую нелепую роль играет буржуазия. Она полна ярого либерализма, бешено жаждет все разрушать, льстит народу... Да, да,— вы сами оттачиваете зубы чудовищу для того, чтоб оно нас пожрало. И оно пожрет нас, будьте покойны!

Дамы постарались утихомирить Денелена и, желая переменить разговор, стали его расспрашивать о дочерях... Он сообщил, что Люси сейчас в Маршьене, поет со своей подругой; Жанна рисует голову старого нищего. Но рассказывал это г-н Денелен очень рассеянно, не спуская глаз с директора, который поглощен был чтением депеш и совсем позабыл о гостях. За этими тонкими листочками телеграфных бланков г-н Денелен чувствовал Париж, приказы правления, от которых все зависело в начавшейся забастовке. И он не мог удержаться — заговорил о том, что его мучило.

— Ну, что же вы будете делать? — вдруг спросил он.

Господин Энбо, вздрогнув, оторвался от депеш, но ответил весьма уклончиво:

— Посмотрим.

— Вам-то хорошо, у вас сил достаточно, вы можете ждать,— высказывал вслух свои мысли г-н Денелен.— Но мне — конец, если забастовка захватит Вандам. Хоть я и заново переоборудовал Жан-Барт, но мне с одной-единственной шахтой можно выкарабкаться только при условии бесперебойной добычи... Эх, не сладко мне придется, уверяю вас!

Эта невольная исповедь, видимо, поразила г-на Энбо. Он слушал, и в голове его зарождался некий план: если забастовка обернется для Компании плохо, почему бы не воспользоваться ею. Пусть у соседа дела идут все хуже и хуже, он разорится, а тогда можно купить у него концессию за гроши. Вот вернейшее средство вновь войти в милость к правлению,— оно уже давно мечтает завладеть Вандамом.

— Если Жан-Барт для вас такая обуза,— заметил он, смеясь,— почему же вы нам не уступаете шахту?

Но Денелен пожалел, что разоткровенничался. Он воскликнул:

— Ни за что!..

Все посмеялись над его бурным негодованием, а за десертом позабыли наконец о забастовке. Шарлотка с яблоками, украшенная меренгами, вызвала всеобщие похвалы. Затем, лакомясь ананасом, который тоже признан был изумительным, дамы обсуждали изысканные кулинарные рецепты. Тонкий и обильный завтрак, за которым все чувствовали себя так непринужденно, завершился фруктами — грушами и виноградом. Оживившись, все говорили ра-

зом, а тем временем лакей разливал по бокалам рейнвейн вместо шампанского — слишком заурядного вина.

Дружеская атмосфера, царившая за десертом, благоприятствовала планам женитьбы Поля на Сесиль. Тетушка бросала на него весьма красноречивые взгляды, и он принялся любезничать с Грегуарами, стараясь вновь завоевать их симпатию, после того как напугал их своими рассказами о грабежах. На мгновение у г-на Энбо при виде такой тесной близости между его женой и племянником опять возникло страшное подозрение. Ведь они словно касались друг друга взглядами, которые он перехватывал. Но вновь его успокоила мысль о браке, подготовлявшемся на его глазах.

Лакей подал кофе, и вдруг прибежала перепуганная горничная:

— Пришли! Пришли!

Это явилась делегация. Хлопнули двери, по всем комнатам словно пронеслось ледяное веяние ужаса.

— Проведите их в гостиную,— сказал г-н Энбо.

Сотрапезники растерянно и тревожно переглядывались. Все молчали. Затем вздумали было продолжить шутливую болтовню, делали вид, что хотят рассовать по карманам оставшийся сахар, говорили, что надо бы спрятать столовое серебро. Но с лица самого г-на Энбо не сходило озабоченное выражение, и постепенно смех умолк, громкие возгласы сменились шушуканьем, а за стеной раздавались тяжелые шаги делегатов, которые, входя в гостиную, топтали ковер своими грубыми башмаками.

Госпожа Энбо сказала мужу, понизив голос:

— Надеюсь, вы выпьете кофе?

— Разумеется,— ответил он.— Пусть подождут!

Он нервничал и, делая вид, что занят только своей чашкой, прислушивался к шуму в гостиной.

Поль и Сесиль встали из-за стола, и Поль уговорил девушку посмотреть в замочную скважину. Они тихонько перешептывались, стараясь подавить смех.

— Видите их?

— Да... Вижу какого-то толстяка, а за ним стоят еще двое, пониже ростом.

— Ну, как? Мерзкие физиономии, правда?

— Да нет, очень славные.

Внезапно г-н Энбо поднялся, заявив, что кофе слишком горяч и он допьет свою чашку потом. Выходя, он приложил палец к губам, призывая всех к осторожности. Все снова расселись по местам и молча сидели, не смея пошевелиться, напряженно прислушиваясь к смутному гомону мужских голосов.

II

Накануне на собрании, происходившем у Раснера под председательством Этьена, рабочие выбрали делегацию, которая должна была на другой день отправиться к директору. Вечером жена Маэ, узнав, что и его выбрали, пришла в отчаяние и спросила у мужа, неужели он хочет, чтобы его уволили. Маэ и сам лишь скрепя сердце принял свое избрание. Когда настала минута действовать, ими обоими, хоть они и сознавали несправедливость своей горькой участи, вновь овладела покорность, унаследованная от многих поколений, страх перед завтрашним днем, и они предпочитали склонить голову. Обычно во всех житейских делах Маэ полагался на жену,— она всегда была разумной советчицей. А на этот раз он рассердился, тем более что втайне разделял ее опасения.

— Да оставь ты меня в покое! — сказал он, ложась в постель, и повернулся к ней спиной.— Разве можно бросить товарищей? Я свой долг исполняю.

Она тоже легла. Оба долго молчали. Наконец жена произнесла:

— Да, ты правильно говоришь. Ступай с ними. А только нам теперь конец, бедный ты мой!

Позавтракали в полдень, потому что в час дня назначен был сбор в заведении Раснера, а оттуда делегация должна была направиться к директору. Завтрак состоял из картошки. Масла оставался крохотный кусочек, никто до него не дотронулся. Решили приберечь его на вечер и съесть с хлебом.

— Знаешь, мы рассчитываем, что говорить будешь ты,— сказал вдруг Этьен.

Маэ уставился на него, онемев от волнения.

— Ну нет! Ни за что! — воскликнула его жена.— Идти — пусть идет, я согласна. Но пусть не изображает из себя вожака. Нет, я не позволю. И почему именно он, а не кто-нибудь другой?

Этьен все объяснил им горячо и убедительно. Маэ — лучший рабочий на шахте, всеми любимый, самый уважаемый, его ставят в пример как образец благоразумия. Требования углекопов, выраженные им, получат куда больше веса. Сначала предполагалось, что говорить будет он, Этьен, но ведь он еще так недавно работает в копях. Гораздо лучше будут слушать старожила, своего человека. Кроме того, товарищи доверили защиту своих интересов Маэ как самому достойному, он не может отказаться,— это просто подло!

Жена Маэ в отчаянии махнула рукой:

— Ступай, муж, ступай. Помрешь за других. Ступай, я на все согласна!

Этьен, радуясь, что уговорил Маэ, похлопал его по плечу:

— Что чувствуешь, то и говори. И получится хорошо.

Старик Бессмертный, у которого начали опадать опухоли на ногах, слушал с полным ртом и покачивал головой. Настало молчание. Дети сидели смирно и жадно ели, давясь сухой картошкой. Когда миска опустела, старик зашамкал:

— Что хочешь говори, а все равно проку не будет, словно ты и не говорил ничего... Чего там! Навидался я, навидался таких дел! Сорок лет назад нас вон как гнали от дверей дирекции, саблями гнали, а не как-нибудь! Нынче вас, может, и примут, а говори не говори, все равно что об стену горох!.. Им что? У них деньги, значит, им на все наплевать!

Опять все умолкли. Маэ и Этьен встали, остальные в мрачном безмолвии сидели за пустыми тарелками. Маэ и Этьен зашли за Пьерона и Леваком, затем вчетвером направились к Раснеру; небольшими группами подходили делегаты из других рабочих поселков. Вскоре собрались все двадцать членов делегации, сообща выработали требования рабочих, в противовес условиям Компании, и отправились в Монсу. По дороге мел пронзительный северный ветер. Когда подошли к особняку директора, пробило два часа.

Слуга велел им подождать и запер дверь у них перед носом, потом, вернувшись, провел их в гостиную и раздвинул на окнах гардины. В комнату проник тусклый свет хмурого дня, смягченный кружевными занавесями. Оставшись в гостиной одни, углекопы почувствовали себя неловко, не смели сесть. Утром все тщательно умылись, надели парадное суконное платье, побрились, старательно пригладили свои желтые волосы и усы. Сейчас все теребили в руках фуражки и поглядывали искоса на обстановку, представлявшую собой смесь всех стилей, которую ввел в моду воцарившийся интерес к старине: кресла эпохи Генриха II, стулья времен Людовика XV, итальянский шкаф семнадцатого века, испанский ларь пятнадцатого века, алтарный покров, картинно драпировавший камин, золотое шитье со старинных риз, украшавшее в виде аппликаций портьеры. Старая золотая парча, старинный порыжевший атлас, вся эта церковная роскошь вызывала у них почтительную робость. Пушистые смирнские ковры, казалось, связывали им ноги своим высоким ворсом. Но, главное, у них захватывало дух от необычайного, поразительно ровного тепла, разливавшегося от калориферов,— оно окутывало их нежным облаком, согревало их лица, иззябшие дорóгой на ледяном ветру. Прошло пять минут. В этой богато убранной, уютной и дышавшей благополучием гостиной углекопы чувствовали себя все более неловко.

Наконец к ним вышел г-н Энбо, по-военному подтянутый, в наглухо застегнутом сюртуке, с орденской ленточкой в петлице. Он заговорил первым:

— Ага, вот и вы!.. Вы, кажется, бунтуете? — И, прервав свою речь, добавил с холодной вежливостью: — Садитесь, пожалуйста. Рад поговорить с вами.

Углекопы озирались, не зная, где сесть. Одни дерзнули примоститься на хрупких стульях, других смущала вышитая атласная обивка, и они предпочли стоять.

Настало молчание. Г-н Энбо пододвинул свое кресло к камину, живо пересчитал в уме делегатов, стараясь запомнить их лица. Он узнал Пьерона, спрятавшегося в последнем ряду, потом остановил взгляд на Этьене, сидевшем как раз напротив него.

— Ну-с,— начал он,— что вы желаете мне сказать?

Он ожидал, что слово возьмет Этьен, и когда вперед вышел Маэ, так удивился, что не мог удержаться, и добавил:

— Как! Это вы? Такой примерный рабочий, такой здравомыслящий человек, старейший углекоп в Монсу! Ведь ваш род работал в шахтах с первого удара обушком... Нехорошо, нехорошо! Я крайне огорчен, что вы оказались во главе смутьянов!

Маэ слушал его, потупив глаза. Затем заговорил, сперва неуверенным, глухим голосом:

— Господин директор! Товарищи потому и выбрали меня, что я человек спокойный и ни в чем дурном не замечен. Сами, значит, можете убедиться, что не какие-нибудь буяны взбунтовались, не озорники, которым только бы набезобразничать. Мы одного хотим: чтобы было по справедливости. Надоело нам голодать, и думаем, что настало время так устроить, чтобы у нас хоть хлеб-то был каждый день.

Голос его окреп. Он поднял глаза и говорил теперь, устремив взгляд на директора:

— Вы же хорошо понимаете — не можем мы принять ваши новые расценки... Вот нас обвиняют, что мы крепление плохо ставим... Верно, больше бы надо времени на эту работу тратить! Но если бы мы делали ее как следует, наш поденный заработок стал бы еще меньше, а ведь мы и так не можем на него прокормиться,— стало быть, конец нам придет, уморите вы своих рабочих! Платите нам больше, и мы лучше будем ставить крепь, будем тратить на крепление столько часов, сколько надо, а сейчас мы прежде всего в забоях надрываемся, потому как только уголек нас и выручает. А иначе нам с вами не сговориться. Хотите, чтобы работу делали, платите за нее. А вы что придумали? Просто в голову никак не лезет, честное слово! Снижаете плату за вагонетку и будто бы помогаете нам наверстать этот низкий расценок тем, что отдельно

платите за крепи. Будь это даже правда, все равно нас бы обкрадывали — ведь на крепление требуется очень много времени. Но уж очень обидно, что это даже и неправда: ровно ничего нам Компания не возмещает, а просто-напросто кладет себе в карман по два сантима с вагонетки, вот и все!

— Правильно! Правильно он говорит,— загудели вокруг делегаты, видя, что г-н Энбо сделал резкий жест, как будто намереваясь прервать оратора.

Впрочем, Маэ не дал директору говорить. Он разошелся, ему уже не приходилось подыскивать слова. Мгновениями он удивленно прислушивался к своей речи, словно кто-то посторонний, а не сам он, говорил тут перед директором. Столько всего накипело в душе,— он даже и не знал, что все это в ней таилось, и вот теперь сердце не могло сдержать горькой обиды. Он говорил о нищете всех своих товарищей, о тяжком труде, о скотской жизни, о том, что в домах углекопов плачут голодные дети. Он приводил в пример жалкие получки рабочих за последнее время,— семья слезами обливалась, когда отцы приносили домой этот издевательски малый заработок, который еще ухитряются обкорнать штрафами и вычетами за вынужденные простои. Да неужели так-таки и решили погубить людей?

— И вот, господин директор,— сказал он в заключение,— мы и пришли вам заявить: подыхать так подыхать, а коли подыхать, так не для чего надрываться... По крайности, хоть не мучиться на работе... Мы ушли из шахт и не спустимся туда, пока Компания не примет наши условия. Компания желает снизить расценок за вагонетку и платить за крепление отдельно. А мы хотим, чтобы платили, как раньше,— за то и другое вместе, и требуем еще прибавки пять сантимов с вагонетки. А теперь сами смотрите, уважаете ли вы справедливость и труд.

Послышались слова углекопов:

— Верно... Правильно он сказал. Мы все так думаем... Мы только требуем, чтобы по справедливости...

Другие молчали, но и без слов, кивками одобряли выставленные требования. Никто теперь уже не замечал роскошной обстановки директорской гостиной, позолоты, вышивок, парчи, каких-то непонятных старинных вещей; никто не чувствовал под ногами мягкого ковра, который углекопы примяли своими тяжелыми башмаками.

— Дайте же мне ответить,— рассердившись, закричал наконец г-н Энбо.— Прежде всего, это неправда, что Компания выгадывает по два сантима на вагонетке. Давайте посмотрим расчеты.

Последовал беспорядочный спор. Желая внести раскол в ряды делегации, директор обратился за поддержкой к Пьерону, но тот

увернулся, забормотав что-то невнятное. Зато Левак вздумал показать себя главой самых решительных, но все только путал, утверждал то, чего не знал. В обтянутой штофными обоями комнате, где уже стало жарко, как в оранжерее, поднялся громкий гул голосов.

— Если вы будете говорить все разом, нам не столковаться! — воскликнул г-н Энбо.

К нему вернулось самообладание, учтивая непреклонность, лишенная злобной язвительности, как это и подобает управителю, который получил приказ от хозяев и намерен заставить подчиненных выполнить его. С первых же своих слов он не сводил взгляда с Этьена и всячески старался втянуть его в обсуждение, но Этьен упорно молчал. Бросив спор о двух сантимах, г-н Энбо вдруг поставил вопрос шире:

— Нет, лучше скажите правду, признайтесь, что вы поддались возмутительному подстрекательству. Ведь это теперь сущая чума: новые веяния проникают всюду и развращают лучших рабочих... Ах, да я ни от кого не требую исповеди, я и так прекрасно вижу, что вы совсем изменились... Куда девалось ваше прежнее спокойствие! Вам много чего наобещали, не правда ли? Посулили, что у вас масла будет больше, чем хлеба, сказали, что пришло для вас время стать хозяевами... Словом, вас завербовали в этот пресловутый Интернационал, в эту армию разбойников, которые мечтают разрушить общество...

Этьен не выдержал:

— Ошибаетесь, господин директор. Ни один углекоп в Монсу еще не вступил в Интернационал. Но если их толкнут на это, все шахты вступят в него. Все зависит от Компании.

И с этой минуты борьба пошла только между г-ном Энбо и Этьеном, словно других делегатов тут и не было.

— Компания — спасительница рабочих, напрасно вы ей угрожаете. В этом году Компания отпустила триста тысяч франков на строительство поселков, а потраченные на это дело деньги не приносят ей и двух процентов. Я уж не говорю о пенсиях, которые она дает рабочим, о выдаче угля, о лекарствах... Вы как будто человек умный, за несколько месяцев вы стали одним из самых умелых наших рабочих, так не лучше ли вам распространять вот эти бесспорные истины, чем губить себя, якшаясь с людьми, которые пользуются дурной славой. Да, да — я имею в виду Раснера. Нам пришлось расстаться с этим субъектом для того, чтобы спасти наши шахты от заразы социализма... А вас постоянно видят у него,— несомненно, он и подсказал вам мысль создать кассу взаимопомощи, которую мы охотно бы терпели, будь она только сберегательной кассой, но ведь мы чувствуем: это — оружие против нас, резервный денежный фонд для ведения войны. И в связи с этим я дол-

жен вам сообщить, что Компания намерена взять в свои руки контроль над вашей кассой.

Этьен дал директору выговориться и слушал, глядя ему прямо в глаза; от нервного возбуждения губы его чуть-чуть вздрагивали. Когда г-н Энбо умолк, он усмехнулся и ответил ровным тоном:

— Это новое требование! До сих пор вы, господин директор, не считали нужным добиваться контроля над кассой. Только вот беда, мы хотим, чтобы Компания меньше опекала нас, не разыгрывала бы роль провидения и просто-напросто проявила бы справедливость — давала бы то, что нам причитается, а не присваивала себе наш заработок. Разве это честно — при каждом кризисе морить рабочих голодом, чтобы спасти прибыли акционеров?.. Господин директор, что ни говорите, а ваша новая система— это замаскированное снижение заработной платы, и это нас возмущает! Если Компании нужно навести экономию, то она поступает очень дурно, делая это за счет рабочих.

— Ну, конечно, я так и думал! — воскликнул г-н Энбо.— Я ждал этого обвинения: капиталисты морят народ голодом, живут его потом и кровью! Стыдно вам говорить такие глупости! Ведь вы должны знать, какому огромному риску подвергаются капиталовложения в промышленные предприятия,— например, в угольные копи! Вполне оборудованная шахта обходится ее владельцам от полутора до двух миллионов франков. Вот какие огромные деньги надо ухлопать, да еще сколько труда вложить, чтобы извлечь из них хотя бы скромный доход. Во Франции почти половина акционерных обществ в горнодобывающей промышленности обанкротилась... И нелепо обвинять в жестокости те предприятия, которые стараются избежать краха. Когда их рабочие страдают, они и сами страдают. Вы думаете, Компания меньше вашего потеряет при нынешнем кризисе? В отношении заработной платы она не хозяйка, она должна подчиняться условиям конкуренции, иначе ей грозит разорение. Пеняйте на обстоятельства, а не на нее... Но вы не желаете слушать, вы не желаете понять!

— Нет, мы понимаем,— возразил Этьен,— мы хорошо понимаем, что никакие улучшения для нас невозможны, пока все будет идти так, как сейчас идет, и по этой самой причине рабочие в конце концов добьются того, чтобы все пошло по-другому.

Утверждение это, внешне, казалось бы, очень умеренное и произнесенное вполголоса, было проникнуто такой убежденностью и в нем прозвучала такая угроза, что сразу настала глубокая тишина. В эту минуту сосредоточенного, напряженного молчания пронеслось дуновение страха. Смутно вникая в смысл сказанного, делегаты почувствовали, однако, что в этой гостиной, среди всего этого благоденствия, их товарищ потребовал и для рабочего благ

земных, и все бросали косые взгляды на плотные гардины и портьеры, на мягкие удобные кресла, на всю эту роскошную обстановку, в которой стоимость малейшей безделушки дала бы шахтеру возможность прокормиться целый месяц.

Наконец помрачневший г-н Энбо встал, давая понять, что разговор окончен. Все, кто сидел, тоже поднялись. Этьен подтолкнул локтем Маэ, и тот заговорил, но уже неловко, неуклюжими словами:

— Стало быть, господин директор, вот и все? Так ничего вы и не ответили нам. Мы, стало быть, передадим другим, что вы наши условия отвергаете.

— Я? — воскликнул г-н Энбо.— Я, милый мой, ничего не отвергаю! Я такой же наемный человек, как и вы. Решать я тут могу не больше, чем последний ваш откатчик. Мне дают распоряжения, и я обязан в точности их выполнять. Я сказал вам все, что считал своим долгом сказать, но решать я ничего не берусь. Вы изложили свои требования. Я передам их правлению, а потом сообщу вам его ответ.

Он говорил, сохраняя корректность высокого чиновника, стараясь не выказывать волнения и даже щеголяя своей вежливой сухостью, подчеркивая, что он всего лишь орудие власти. И углекопы смотрели на него недоверчиво, мысленно спрашивали себя, куда же он клонит, что ему за интерес лгать им, сколько он крадет, стоя между рабочими и настоящими хозяевами. Видно, он просто обманщик. Наемный человек, получает плату, как и рабочие, а живет богато!

Этьен еще раз осмелился вмешаться:

— Очень жаль, господин директор, что мы не можем лично поговорить с членами правления и защитить перед ними свои требования. Мы многое объяснили бы, мы нашли бы убедительные доводы, а вам они неизбежно будут непонятны. Знать бы только, куда нам обратиться.

Господин Энбо нисколько не рассердился, на губах у него даже промелькнула улыбка.

— Ах, вот оно что! Ну, раз вы мне не доверяете, это очень усложняет дело. Придется вам поехать туда!

И он сделал неопределенный жест, указав на одно из окон гостиной. Делегаты проследили взглядом за движением директорской руки. Куда же это надо ехать? Вероятно, в Париж, но в точности они не знали. Куда-то в далекие и страшные, недоступные, священные края, где в таинственной кумирне восседает на престоле некое неведомое божество. Никогда они его не видели и не увидят, они только чувствовали, как его непостижимая сила давит издали на судьбы десяти тысяч рабочих в Монсу. И когда

директор говорил, за ним стояла эта сокрытая от них сила, его устами она вещала свои приговоры.

Тяжелое чувство разочарования охватило их, даже Этьен пожал плечами, показывая, что лучше всего им уйти. Тем временем г-н Энбо дружески похлопывал Маэ по плечу и спрашивал о здоровье Жанлена.

— А все же это вам суровый урок,— ведь вы защищаете плохое крепление!.. Советую, друзья мои, поразмыслить, тогда вы поймете, что забастовка была бы для всех бедствием. Не пройдет и недели, а вы будете с голоду умирать. Что вам тогда делать? Впрочем, я рассчитываю на ваше благоразумие: я убежден, что в понедельник — самое позднее — вы возобновите работу.

Все двинулись к двери и вышли из гостиной, громко топая и сутулясь, ни одного слова не ответив директору, выразившему надежду на их покорность. Г-н Энбо, провожая их, счел необходимым вкратце изложить итоги переговоров: на одной стороне Компания с новыми расценками, на другой — рабочие, требующие прибавку в пять сантимов с вагонетки. Желая развеять несбыточные надежды углекопов, он заметил, что, по всей вероятности, правление отвергнет их требования.

— Хорошенько подумайте и не делайте глупостей,— повторил он, встревоженный их молчанием.

В прихожей Пьерон низко поклонился директору, зато Левак нарочито размашистым движением нахлобучил на голову фуражку. Маэ старался придумать, что бы еще сказать на прощанье, но Этьен тронул его за локоть, и все вышли в грозном молчании. Дверь в парадном громко захлопнулась.

Когда г-н Энбо возвратился в столовую, гости молча сидели за ликерами. Он в двух словах рассказал г-ну Денелену с положении дел, и тот окончательно впал в уныние. Пока хозяин пил остывший кофе, остальные попытались было завести разговор на другую тему, но Грегуар снова заговорил о забастовке и выразил удивление, что не существует закона, запрещающего рабочим бросать работу. Поль Негрель для успокоения Сесиль заверил ее, что скоро прибудут жандармы,— их уже ждут.

Наконец г-жа Энбо подозвала лакея и приказала:

— Ипполит, мы скоро перейдем в гостиную, так ступайте откройте там окна. Проветрите хорошенько комнату.

III

Прошло две недели, а на третью, в понедельник, сведения о явке на работу, посланные в дирекцию, свидетельствовали, что число рабочих, спустившихся в шахты, стало еще меньше. Напрас-

ными оказались расчеты, что в то утро работа возобновится: упорство правления, не желавшего пойти на уступки, ожесточило рабочих. Бастовали не только Воре́, Кревкер, Миру и Мадлен; в Виктуар и в Фетри-Кантель едва ли четвертая часть всего количества углекопов спустилась в шахты, забастовка захватила даже Сен-Тома. Она становилась всеобщей.

В Воре́ стояла гнетущая тишина. Кругом было безлюдно, безмолвно, мертво, как на всех больших предприятиях, где работа остановилась. На фоне серого декабрьского неба вдоль высоких мостков вырисовывались три-четыре забытые вагонетки, застывшие в безгласном унынии никому не нужных вещей. Внизу меж тонкими козлами мало-помалу тощали запасы добытого угля, обнажая черную землю; заготовленные штабеля крепежного леса гнили под проливными дождями; на мутной воде канала у пристани словно уснула недогруженная баржа; на пустынном терриконе, где и под дождем дымились сернистые сланцы, грустно вздымала к небу свои рукоятки брошенная тачка. Но больше всего веяло запустением от построек — от сортировочной, наглухо закрывшей свои ставни, от копра, в котором уже не отдавался грохот вагонеток, катившихся в приемочной, от машинного отделения с застывшими двигателями, от гигантской трубы, слишком широкой для узких струек дыма. Подъемную машину пускали в ход лишь по утрам. Конюхи доставляли корм лошадям, под землей работали только штейгеры: заменяя углекопов, они следили за тем, чтобы откаточные пути не пострадали от обвалов, неизбежных, когда перестают поддерживать крепление в выработках; но с девяти часов утра сообщение с поверхностью происходило лишь по лестницам. А над шахтными мертвыми строениями, покрытыми траурной пеленой черной пыли, по-прежнему разносилось лишь шумное, долгое дыхание водоотливного насоса — единственная искра жизни, оставшаяся в шахте, которую затопили бы подземные воды, если бы это дыхание остановилось.

Напротив шахты, на плоской возвышенности, рабочий поселок Двести Сорок тоже казался мертвым. Из Лилля примчался префект, по дорогам рыскали жандармы.

Однако забастовщики вели себя так спокойно, что и префект и жандармы решились убраться восвояси. Еще никогда поселок не подавал такого хорошего примера всему населению этой широкой равнины. Чтобы не заглядывать в кабаки, мужчины спали целыми днями; женщины, отказывая себе в кофе, стали спокойнее, меньше занимались болтовней, меньше ссорились; и даже ребятишки, словно понимая всю важность положения, сделались такими умниками, что тузили друг друга без визга и криков. Словом, все старались быть тише воды, ниже травы. Это было теперь

правилом всего поселка, призывом, передававшимся из уст в уста.

Однако в доме Маэ беспрестанно толклись люди. Этьен в качестве секретаря кассы взаимопомощи распределял пособия между нуждающимися семьями; кроме взносов, в кассу поступило еще несколько сот франков, собранных по подписке и путем пожертвований. Но уже все средства истощились, у рабочих не было денег. Как продержаться? Надвигалась угроза голода. Мегра пообещал отпускать съестные продукты в долг в течение двух недель, но через неделю спохватился и отказал в кредите. Обычно он подчинялся приказам Компании; может быть, она желала поскорее покончить с забастовкой, взяв рабочие поселки измором. К тому же Мегра показал себя наглым самодуром: по прихоти своей давал хлеб или отказывал, смотря по тому, нравилась или не нравилась ему девушка, которую родители посылали к нему за провизией; двери лавки были крепко заперты перед женой Маэ,— он ненавидел ее и хотел отплатить за то, что Катрин не досталась ему. В довершение всех бед стояли сильные холода; женщины с тревогой видели, что запас угля тает,— они знали, что дирекция не даст им топлива, пока мужчины не спустятся в шахту. Мало того что подохнешь с голоду, можешь еще и замерзнуть.

В доме Маэ едва перебивались. У Леваков еще была пища — покупали на те двадцать франков, которые им дал в долг Бутлу. У Пьеронов никогда не переводились деньги, но, боясь, что у них станут просить взаймы, они старались прослыть такими же голодающими, как и другие, и жена Пьерона брала провизию в долг у Мегра, который с радостью бросил бы ей весь свой магазин, если б она подхватила дары в подол своей юбки. В субботу второй недели во многих семьях людям пришлось лечь спать без ужина. Начинались страшные дни, но голодные встретили их без единой жалобы, со спокойным мужеством повинуясь принятому решению. Несмотря на муки свои, все полны были надежды, благоговейной, фанатичной веры, самоотверженности людей, убежденных в предстоящей победе. Им обещали, что настанет эра справедливости, и они готовы были пострадать ради завоевания всеобщего счастья. Голод доводил людей до экзальтации; еще никогда так не расступались тесные границы их умственного кругозора, никогда не раскрывались такие широкие дали перед этими изголодавшимися мечтателями. Когда в глазах у них темнело от слабости, перед ними в лучезарных видениях представало идеальное общество, о котором они грезили, теперь такое близкое и как будто даже ставшее явью,— общество, в котором все будут братья друг другу, золотой век труда и совместных трапез. Ничто не могло бы поколебать их уверенности в том, что наконец они вступят в царство

справедливости. Средства кассы иссякли; Компания явно не собиралась пойти на уступки; с каждым днем положение ухудшалось, но забастовщики хранили надежду, они с презрительной улыбкой смотрели на жестокую действительность. Если земля разверзнется у них под ногами, некое чудо спасет их. Вера заменяла голодным хлеб, она их согревала в нетопленом доме. И в семье Маэ, и в других семьях, где питались только водянистым супом, у людей кружилась от голода голова, но они охвачены были блаженным экстазом веры в ожидающую их лучшую жизнь, как мученики христианства, которых бросали на съедение хищным зверям.

Теперь Этьен был неоспоримым вожаком. В беседах, происходивших по вечерам, его слушали как оракула; чтение постепенно развивало его ум, и он обо всем высказывал критические суждения. Он проводил теперь за книгами ночи напролет, он получал много писем; он даже подписался на бельгийскую социалистическую газету «Мститель», и эта первая появившаяся в поселке газета внушала рабочим необыкновенное почтение к нему. Собственная возраставшая популярность с каждым днем все больше подстегивала его энергию. Вести обширную переписку, обсуждать в ней судьбу рабочих во всех концах провинции, давать советы вореййским углекопам, а главное, чувствовать, что он стал средоточием целого мира, который вращается вокруг него,— все это льстило тщеславию Этьена, еще недавно механика, перепачканного смазочным маслом, забойщика, черного от угольной пыли! Он поднялся на одну ступень, он приблизился к ненавистной ему буржуазии и, не признаваясь себе в этом, втайне гордился своим умом и радовался открывшейся для него возможности достигнуть материального благополучия.

Только одно занозой сидело в душе: сознание, что ему недостает образования, что из-за этого он становится неловким и робким, когда сталкивается с каким-нибудь господином в сюртуке. Он не переставал заниматься самообразованием, поглощая множество книг, но из-за отсутствия систематичности прочитанное усваивалось очень медленно, и в конце концов в голове у него возникла порядочная путаница: знал он гораздо больше, чем понимал. Поэтому в иные часы здравых размышлений его охватывала тревога, опасение, что он совсем не тот человек, которого так долго ждали углекопы. Быть может, тут нужен адвокат, человек ученый, который способен и говорить и действовать и ничем не повредит товарищам. Но тут же нарастало возмущение и возвращалась уверенность в себе. Нет, нет! Никаких адвокатов — все они прохвосты, пользуются своими знаниями для того, чтобы сладко есть и пить за счет народа. Будь что будет, но рабочие должны сами вершить свои дела. И вновь лелеял он мечту стать народным трибуном.

Монсу у его ног, где-то в туманной дали — Париж. Как знать, а вдруг в один прекрасный день он станет депутатом, выступит с речью в роскошном зале. Этьен представлял себе, как он мечет громы и молнии против буржуазии,— это будет первая речь, произнесенная рабочим в парламенте.

Уже несколько дней Этьен был весьма озабочен. Плюшар слал письмо за письмом,— предлагал приехать в Монсу и подогреть рвение забастовщиков. Речь шла о созыве частного собрания под председательством Плюшара; а за этим планом, несомненно, таилась мысль, воспользовавшись забастовкой, привлечь к Интернационалу углекопов, пока еще относившихся к нему недоверчиво. Этьен опасался огласки, но, вероятно, все-таки согласился бы на приезд Плюшара, если бы Раснер не ополчился против этого вмешательства. Несмотря на все свое влияние, Этьен, как человек молодой, должен был считаться с кабатчиком: ведь заслуги Раснера перед углекопами были более давними, и среди посетителей «Выгоды» у него имелось много приверженцев. Поэтому Этьен колебался, не зная, что ответить Плюшару.

В понедельник, в четвертом часу дня, когда Этьен сидел один в нижней комнате с женой Маэ, из Лилля опять пришло письмо. Сам Маэ, томясь праздностью, отправился на рыбалку,— если бы ему удалось поймать в канале перед шлюзом хорошую рыбу, ее продали бы и на вырученные деньги купили хлеба. Старик Бессмертный и Жанлен только что ушли из дому попробовать, как им служат ноги, которые доктор основательно починил; младшие дети ушли с Альзирой,— теперь она по нескольку часов в день проводила на терриконе, собирая осколки угля. Мать сидела у еле тлевшего огня, не решаясь разжечь его как следует, и, выпростав из расстегнутой кофты грудь, свисавшую чуть ли не до пояса, кормила Эстеллу.

Когда Этьен, прочтя письмо, сложил листок, она спросила:

— Ну как? Хорошие вести? Пришлют нам денег?

Этьен отрицательно покачал головой, она продолжала:

— У меня ум за разум заходит. Как прожить эту неделю!.. А все равно надо держаться. Когда люди знают, что правда на их стороне, это придает им духу, и в конце концов они всегда своего добьются, верно?

Теперь она, по зрелом размышлении, стояла за то, чтобы продолжать забастовку. Конечно, лучше было бы, не прекращая работы, заставить Компанию поступить справедливо. Но раз работу прекратили, нельзя ее возобновлять, пока не добились справедливости. Тут она была непримирима. Лучше сдохнуть с голоду, чем делать вид, будто ты виноват, тогда как ты совершенно прав!

— Ах! — воскликнул Этьен.— Хоть бы разразилась холера да

избавила нас от всех этих эксплуататоров, от воротил, которые верховодят в Компании!

— Нет! Нет! — возразила жена Маэ.— Никому не надо желать смерти. Нам от этого легче не станет, на их месте другие мучители окажутся... Я вот хочу только одного: чтобы нынешние хозяева образумились, и я думаю, так и будет,— хорошие люди повсюду есть... Вы ведь знаете, я с вашей политикой не согласна.

В самом деле, она обычно была недовольна пылкими речами Этьена, находила, что он задира. Требовать, чтобы за труд платили правильную цену, по справедливости,— это хорошо; но к чему еще приплетать сюда всякую всячину, винить буржуа и правительство? Зачем вмешиваться в чужие дела? За это тебе же и надают тумаков. Но она уважала Этьена — парень непьющий и аккуратно платит за свое содержание сорок пять франков в месяц. Раз мужчина ведет себя порядочно, остальное ему можно и простить.

В тот день Этьен заговорил о Республике, которая всем даст хлеба. Но его хозяйка покачала головой,— ей крепко запомнился злополучный сорок восьмой год, когда они с мужем только что поженились и до того нуждались, что все с себя спустили до нитки. Она рассказывала мрачным тоном о пережитых бедах, уставив глаза в одну точку, сидя в расстегнутой кофте, а малютка Эстелла спала на коленях у матери, не выпуская из ротика грудь. Поглощенный своими мыслями, Этьен машинально смотрел на эту огромную мягкую грудь, белизна которой резко отличалась от нездорового, желтоватого цвета лица.

— Ни гроша не было,— говорила она,— есть нечего, а все шахты остановились. Чего там! Как тогда бедняки с голоду мерли, так и теперь то же самое делается!

Но тут отворилась дверь, и оба онемели от изумления: вошла Катрин. После своего бегства с Шавалем она еще ни разу не появлялась в поселке. От волнения она даже позабыла затворить дверь и, вся дрожа, молча стояла у порога. Она рассчитывала, что застанет мать одну, а при виде Этьена у нее вылетело из головы все, что она дорогой придумала сказать.

— Тебе что тут надо? Зачем пришла? — крикнула мать, даже не вставая со стула.— Не хочу тебя больше видеть. Убирайся!

Катрин попыталась вставить слово:

— Мама, я кофе и сахару принесла... для ребятишек... Я заработала... На сверхурочной... вот и подумала о них...

Она достала из карманов два кулька — фунт кофе и фунт сахара и, осмелев, положила их на стол. Забастовка на Ворейской шахте пугала ее,— ведь на шахте Жан-Барт все еще работали, и она решила хоть немного помочь родителям, якобы желая побаловать ребятишек. Но ее заботы не обезоружили мать, она сказала:

— Чем сласти приносить, лучше бы оставалась в семье да на хлеб для нас зарабатывала!

Она бичевала дочь, она облегчала себе душу, бросая Катрин в лицо все, что говорила о ней за глаза в течение месяца. Подумайте! В шестнадцать лет убежала из дому, сошлась с мужчиной и живет с ним, а мать с отцом, малых сестренок, братишку и старика деда бросила,— пускай голодают! Так может поступить только самая последняя распутная девка! Бессердечная дочь! Ветрепость можно простить девушке, но такую выходку не забудешь. Да еще если б ее дома держали на привязи,— ведь нет, была свободна как ветер, от нее требовали только одно: чтобы ночевать приходила домой.

— Нет, ты скажи, что тебя забирает? В твои-то годы!

Катрин неподвижно стояла у стола и молча слушала, опустив голову. Вздрагивая всем своим худеньким, еще не развившимся телом, она пыталась оправдаться и говорила матери прерывающимся голосом:

— Ах, да разве мне сладко? Разве я по своей воле?.. Это все он. А раз он так хочет, значит, я должна слушаться, ведь верно? Он сильнее меня... Разве я знала, как все обернется? Да теперь уж что говорить! Дело сделано, не переделаешь. Он ли, другой ли,— все равно теперь. Пусть женится на мне.

Она защищалась без всякого жара, с вялым смирением, свойственным девушкам, слишком рано отдающим себя во власть мужчине. Она покорялась общему для всех закону. Никогда она и не мечтала, что судьба ее может быть иной. Ухажер овладевает девушкой насильно за терриконом, в шестнадцать лет она родит ребенка, потом бедствует всю жизнь, заведя свою семью, если любовник женится на ней. И Катрин лишь потому краснела от стыда и вздрагивала, что мать называла ее нехорошими словами при Этьене, чье присутствие было для нее в эту минуту мучительно и приводило ее в отчаяние.

Однако Этьен встал и, не желая мешать объяснению, отошел к печке, как будто решил поворошить угасавшие угли. Но тогда Катрин подняла голову, и их взгляды встретились. Она была бледна, изнурена и все же миловидна, особенно хороши были эти ясные глаза, обведенные темными тенями; и, глядя на нее, Этьен испытывал странное чувство: исчезла в его душе злая обида, и осталось только одно желание — чтобы Катрин нашла счастье с человеком, которого она предпочла ему. И еще ему хотелось взять ее под свою защиту, пойти в Монсу и заставить того, другого, относиться к ней с уважением. Но Катрин видела в ласковом взгляде, которым он смотрел на нее, только жалость. Как он, должно быть, презирает ее, если так пристально ее рассматривает! И сердце у

нее сжалось так больно, что она чуть не задохнулась, и больше не находила слов в свое оправдание.

— Вот так-то лучше,— сказала неумолимая мать.— Лучше помолчи. Если ты совсем вернулась домой — оставайся, а нет — так вон отсюда! Сию же минуту убирайся, да скажи еще спасибо, что у меня на руках Эстелла, а то я бы тебе дала пинка хорошего!

И вдруг, словно эта угроза осуществилась, Катрин вскрикнула от боли и неожиданности, почувствовав, что кто-то пнул ее в спину. В незатворенную дверь влетел Шаваль и лягнул Катрин, как разъяренный осел. Подстерегая ее, он несколько минут стоял на крыльце.

— Ах ты мерзавка! — орал он.— Выследил я тебя. Так и знал, что ты сюда прибежишь и начнешь блудить. Ты что, платишь ему? Ты его кофеем на мои денежки угощаешь?

Мать и Этьен остолбенели.

Шаваль, рассвирепев, отшвырнул Катрин к двери.

— Уйдешь ты отсюда, чертово отродье?

Катрин забилась в угол, и тогда Шаваль набросился на мать:

— Нечего сказать, хорошим делом ты занимаешься,— потаскуху дочку покрываешь! Внизу сторожишь, а она наверху с хахалем валяется.

Наконец он схватил Катрин за руку и, дергая ее, потащил к двери. У порога он остановился и снова повернулся к матери, которая застыла на месте, даже позабыв застегнуть кофту. На коленях у нее, прикрытых шерстяной черной юбкой, спала Эстелла, задрав кверху носик; грудь матери, большая и тяжелая, свисала, как вымя породистой, крупной коровы.

— А когда дочки нет, глядишь, и мамаша сойдет,— кричал Шаваль.— Валяй, валяй, показывай свое мясо! Твой паршивый жилец не побрезгует.

Этьен кинулся к нему, хотел закатить негодяю пощечину, вырвать у него из рук несчастную Катрин, однако остановился из страха всполошить дракой весь поселок. Но в нем самом закипел неистовый гнев, и соперники стояли друг против друга, пылая злобой. Вспыхнула наконец давняя ненависть, долго таившаяся ревность. Теперь один жаждал уничтожить другого.

— Берегись! — сквозь зубы процедил Этьен.— Я с тобой расправлюсь.

— Попробуй! — ответил Шаваль.

Они еще несколько секунд смотрели друг другу в глаза, сойдясь вплотную так близко, что каждый горячим дыханием обжигал другому лицо. И тогда Катрин сама с мольбой взяла любовника за руку и увела на улицу. Она потащила его прочь из поселка и, убегая, не смела оглянуться.

— Вот скотина! — пробормотал Этьен, захлопнув дверь. От гнева и волнения у него подкашивались ноги, он опустился на стул. Маэ сидела напротив него не шевелясь. Наконец она с отчаянием махнула рукой, но не сказала ни слова. Оба думали о своем, и молчание было тяжелым от невысказанных мыслей. Этьен невольно смотрел на обнаженную грудь Маэ, и теперь эта блиставшая белизной полоска плоти вызывала у него смущение. Этой женщине уже исполнилось сорок лет, тело ее было обезображено, как у плодовитой самки, но она еще привлекала многих,— высокая, широкобедрая, крепкая, с крупными чертами продолговатого лица, сохранившего следы былой красоты. Спокойно, не спеша она взяла обеими руками свою грудь и заправила ее за лиф; розовый кончик все не входил, она придавила его пальцем, потом застегнула старую кофту и сидела теперь вся в черном.

— Свинья он, вот что! — сказала она наконец.— Только у мерзавца и могут появиться такие поганые мысли. Да мне наплевать! На гадости и отвечать не стоит!

Затем она сказала с неподдельной искренностью, не сводя глаз с Этьена:

— У меня, понятно, есть недостатки, но на это я не способна... За всю свою жизнь только двоих мужчин я к себе допустила,— одного откатчика — давно, когда мне пятнадцать лет было, а потом вот Маэ. Если б и он меня бросил, как первый,— что ж, не знаю, как бы тогда пошло. И не могу очень гордиться, что хорошо себя вела с тех пор, как замуж вышла,— ведь частенько бывает, что люди потому только и не грешат, что случая не представлялось... Я вот говорю все как было, а многие из моих соседок не посмеют всю правду сказать про себя. Верно?

— Что верно, то верно,— ответил Этьен, вставая.

Он вышел из дому, а Маэ положила Эстеллу на два составленных вместе стула и решилась наконец разжечь огонь в печке. Если отец поймает рыбу и продаст улов, все-таки можно будет купить хлеба.

На дворе темнело, спускалась холодная, ледяная ночь. Этьен шел в глубокой печали. Теперь не было у него ни гнева против Шаваля, ни жалости к несчастной обиженной девушке,— воспоминание о недавней грубой сцене стерлось, растворилось в мыслях о страданиях всех бедняков, об ужасах нищеты. Перед глазами его вставал поселок без хлеба, женщины, дети, которым нечего поесть нынче вечером, народ, который голодает, но борется. И в томительной грусти сумерек у него пробудилось сомнение, возникавшее порою в его душе, но теперь наполнившее ее такой мучительной болью, какой он никогда еще не испытывал. Какую ужасную ответственность он взял на себя! Надо ли и дальше при-

зывать людей к сопротивлению, побуждать их упорствовать? Ведь теперь нет ни денег, ни кредита в лавках,— что их ждет, если не будет со стороны никакой помощи, если голод сломит их мужество? И вдруг перед глазами его встала страшная картина: умирают дети, рыдают матери, а измученные, исхудалые мужчины спускаются в шахты. Он все шел, спотыкаясь в темноте о камни: мысль, что Компания окажется сильнее и он принесет лишь несчастье товарищам, жестоко терзала его.

Наконец он поднял понурую голову и увидел Ворейскую шахту. В сгущавшихся сумерках вырисовывались тяжелой темной грудой надшахтные строения. Посреди пустынной площадки высился недвижный черный силуэт копра, похожий на башню заброшенной крепости. Лишь только останавливалась добыча угля, душа покидала стены шахтных построек. В этот вечерний час не было там признаков жизни, ни единого фонаря, ни звука человеческого голоса, и в этой кончине, постигшей шахту, даже хлюпанье водоотливного насоса казалось далеким хрипом, доносившимся неведомо откуда.

Этьен смотрел на шахту, и кровь прихлынула у него к сердцу. Если рабочие страдают от голода, то и Компания начала терять свои миллионы. Почему же непременно она окажется более сильной в этой битве труда против капитала? Во всяком случае, победа обойдется ей дорого. Кончится сражение,— тогда каждая сторона подсчитает свои потери. И вновь его охватила воинственная ярость, неистовая жажда покончить с нищетой, хотя бы ценою смерти. Пусть лучше весь поселок погибнет сразу, чем по-прежнему гибнуть постепенно от голода и несправедливости. Из путаницы прочитанного в книгах всплыли примеры: рассказы о народах, которые сжигали свои города, чтобы остановить наступление врага, туманные истории о том, как матери, желая спасти своих детей от рабства, разбивали им головы о булыжники мостовой, о том, как мужчины предпочитали лучше уморить себя голодом, чем есть хлеб тиранов. Он пришел в восторженное состояние,— душевный упадок сменился приливом жестокой веселости, изгнавшей сомнения; ему стыдно было за свое минутное малодушие. А вместе с возрождением веры воскресли и горделивые грезы и высоко вознесли его на своих крыльях. Так радостно было чувствовать себя вождем, видеть, что, повинуясь ему, люди идут на все жертвы; все ширилась его мечта о своем могуществе: в тот вечер он был триумфатором. Он представлял себе сцену, исполненную простоты и величия,— воображал, как он отказывается от власти и передает ее в руки народа.

Вдруг он вздрогнул и очнулся,— кто-то окликнул его; это был Маэ, возвращавшийся с рыбалки, он рассказал Этьену о своей уда-

че: поймал великолепную форель и продал ее за три франка. Значит, сегодня будет сун. Этьен сказал, что скоро вернется домой, и, предоставив Маэ одному идти в поселок, направился в «Выгоду»; сев там за стол, он подождал, пока уйдет посетитель, и тогда твердым тоном заявил Раснеру, что немедленно напишет Плюшару и пригласит его приехать к ним. Он принял решение созвать частное собрание,— победа казалась ему несомненной, если все шахтеры Монсу вступят в Интернационал.

IV

Собрание устроили в четверг, в два часа дня, в заведении вдовы Дезир «Смелый весельчак». Хозяйка, возмущенная нищетой, которую приходилось терпеть ее «питомцам», гневалась на Компанию, особенно с тех пор, как кабачок опустел. Никогда еще в забастовку люди не были такими трезвенниками, даже отъявленные забулдыги сидели дома из страха нарушить принятое всеми решение. Главная улица в Монсу, на которой в дни ярмарки кипел народ, была теперь безлюдной, мрачной; везде царила унылая тишина. На стойках в пивных пиво не лилось в кружки, а из кружек — в глотки; сточные канавы были сухи; у дверей кабаков, окаймлявших шоссе, у винного погребка Казимира, у распивочной «Прогресс» видны были только бледные лица кабатчиц, вопрошающе озиравших дорогу; а в самом Монсу пустовал весь ряд питейных заведений, начиная от кабачка Ланфана до распивочной «Головня», не исключая трактира «Виноградное» и пивной «Сорвиголова». Только в трактире «Святой Илья», в который ходили штейгеры, еще наливали несколько кружек за день; обезлюдел даже «Вулкан», лишились клиентов и дамы, подвизавшиеся там, хотя ввиду тяжелых времен они снизили свою цену с десяти до пяти су. Во всем крае сердца томило мрачное уныние.

— Ах ты дьявол! — воскликнула вдова Дезир, хлопая себя по бедрам.— И во всем жандармы виноваты! Пусть меня в тюрьму засадят, но я им устрою штуку!

Всех властей, всех хозяев, все начальство она именовала жандармами,— этот презрительный термин обозначал всех врагов простого народа. Она с восторгом ответила согласием на просьбу Этьена: ну конечно, весь ее дом к услугам углекопов; она бесплатно предоставит им свой бальный зал, напишет от своего имени приглашения, раз закон этого требует. Впрочем, если что будет и не по закону, пусть себе злятся. На следующий день Этьен принес ей на подпись десятков пять приглашений, переписанных по его поручению грамотными жителями поселка. Письма эти посла-

ли в другие шахты — делегатам и прочим надежным людям. На повестку дня поставлен был вопрос о продолжении забастовки; но в действительности ждали Плюшара и рассчитывали, что после его речи произойдет массовое вступление углекопов в Интернационал.

В четверг утром Этьен очень встревожился, видя, что Плюшара, бывшего старшего мастера в его депо, все еще нет, хотя он обещал приехать в среду вечером. Что же случилось? Этьен огорчился, что не удастся посоветоваться с ним до собрания. В девять часов он отправился в Монсу, полагая, что Плюшар проехал прямо туда, не останавливаясь в Воре́.

— Нет, я вашего друга не видела,— ответила ему вдова Дезир.— Но у меня все готово, пройдите посмотрите.

И она повела Этьена в бальный зал. Украшения в нем оставались те же самые — гирлянды, подхваченные у потолка венком из пестрых бумажных цветов, и позолоченные картонные щиты с именами святых, развешанные по стенам. Только убрали подмостки для музыкантов и вместо них поставили в углу стол и три стула да выстроили в зале наискось несколько рядов скамей.

— Отлично! — одобрил подготовку Этьен.

— И знаете что? — сказала вдова.— Будьте тут как дома. Можете горланить сколько душе угодно... Если жандармы явятся, не пущу,— разве что убьют!

Пришли вдруг Раснер и Суварин, и вдова удалилась, оставив их троих в большом пустом зале. Этьен удивленно воскликнул:

— Вы здесь? Так рано!

Суварин, работавший в ночную смену (машинисты не бастовали), зашел просто из любопытства. Раснер хмурился — за последние два дня он казался озабоченным, на его круглой, пухлой физиономии больше не играла благодушная улыбка.

— Плюшар не приехал, я очень беспокоюсь,— сказал Этьен.

Кабатчик отвел взгляд в сторону и процедил сквозь зубы:

— Я-то не удивляюсь. Я его и не жду.

— Почему это?

Тогда Раснер, набравшись духу, посмотрел ему прямо в лицо и с вызывающим видом заявил:

— Да потому, что я тоже послал ему письмо, если хочешь знать. И в этом письме я умолял его не приезжать... Да, я считаю, что мы сами должны разобраться в своих делах, а не обращаться к посторонним.

Этьен пришел в исступление; дрожа от гнева, он впился взглядом в товарища и бормотал, заикаясь:

— Ты это сделал? Ты это сделал?

— Да, сделал. Будь спокоен. А ведь ты знаешь, как я уважаю Плюшара! Он умница и крепкий человек, ему можно доверять. Но, видишь ли, мне ваши взгляды противны! Политика, правительство,— мне на все это плевать! Я хочу только одного: чтобы углекопу лучше жилось. Двадцать лет я работал под землей, жил в нищете, надрывался в забоях и вот дал себе клятву — добиться облегчения для несчастных ребят, которые еще там маются. И я хорошо чувствую, что вы со всякими вашими выдумками ничего не добьетесь, из-за вас судьба рабочего будет еще тяжелее... Когда голод заставит углекопа спуститься в шахту, его еще больше прижмут. Компания ему отплатит, она с ним палкой расправится, как с убежавшей собакой, когда ее загонят в конуру. А я хочу этому помешать, слышишь?

Он говорил теперь громко и, выпятив брюшко, стоял уверенно, расставив свои толстые ноги. Вся его натура, человека рассудительного и терпеливого, сказывалась в ясных закругленных фразах, которые без малейшего усилия текли из его словоохотливых уст. Какая глупость! Вообразили, что так вот разом можно все перевернуть, поставить рабочего на место хозяев, разделить богатство, как делят детям яблоко? Тысячи и тысячи лет надо ждать, а тогда это, может быть, и осуществится. Ну так вот, нечего морочить людей, сулить чудеса. Если не желаете расшибить себе лбы о стенку, будьте благоразумны: идите к ближайшей цели, требуйте действительно возможных реформ,— словом, постепенно, пользуясь любым случаем, облегчайте судьбу рабочего. И Раснер заявлял, что если б он взялся за дело, то сумел бы склонить Компанию к некоторым уступкам, а будут забастовщики упрямиться, пиши пропало,— все с голоду подохнут!

Этьен молча слушал, онемев от негодования. Затем крикнул:

— К черту! У тебя в жилах не кровь, а вода!

Еще мгновение, и он дал бы проповеднику умеренности пощечину. Боясь поддаться искушению, он принялся большими шагами ходить по комнате и, срывая свой гнев на скамьях, расшвыривал их ногами, освобождая себе проход.

— Затворите по крайней мере дверь,— тихо сказал Суварин.— Посторонним незачем вас слушать.

Он сам затворил дверь, а затем спокойно уселся на один из стульев, стоявших у стола президиума. Свернул себе папиросу и посмотрел на споривших мягким умным взглядом; губы его морщила тонкая улыбка.

— Нечего злиться, толку от этого не будет,— наставительно сказал Раснер.— Я сперва думал, что ты человек здравомыслящий,— ведь ты вон как умно придумал: посоветовал товарищам соблюдать спокойствие, убедил их не буянить в поселке,— словом,

воспользовался своим влиянием для поддержания порядка. А теперь что ты собираешься делать? Хочешь бросить их в свалку!

Этьен шагал между скамьями, поворачивал обратно, подходя к кабатчику, останавливался и тряс его за плечи, выкрикивая ответ прямо ему в лицо:

— Разрази тебя гром! Я очень хочу сохранить спокойствие. Да, я подчинил их дисциплине. Да, я им советовал не шевелиться. Но ведь нельзя же в конце концов, чтобы над нами измывались!.. Тебе-то хорошо, тебе легко оставаться спокойным. А я... Иногда мне кажется, я вот-вот свихнусь.

Это было началом исповеди. Он высмеивал свои иллюзии неофита, свои благоговейные мечты о скором пришествии царства справедливости, когда все будут братьями меж собой. Нечего сказать, хорошо придумано — сидеть сложа руки и ждать, а люди так и будут до скончания века пожирать друг друга, как волки. Нет, надо вмешаться, иначе несправедливость упрочится, богачи по-прежнему будут высасывать кровь из бедняков. Какой же он был дурак, когда говорил, что надо изгнать политику при решении социальных вопросов! Непростительная глупость! Правда, тогда он еще ничего не знал... Но с тех пор он много читал, занимался. Теперь у него зрелые взгляды. Он может похвалиться, что они представляют собою стройную систему. Однако он плохо излагал эту систему: в путаных его рассуждениях оставили свой след все теории, которыми он по очереди увлекался и от которых затем отказался. Но надо всем главенствовала незыблемая идея Карла Маркса: капитал есть результат ограбления, труд имеет право и обязан отвоевать украденное у него добро.

Как сделать это практически? В этом Этьен сначала был согласен с Прудоном, поддавшись химерической идее о взаимном кредите, о создании огромного банка обмена, который устранит посредников; затем он страстно увлекся мыслями Лассаля о субсидируемых государством кооперативных обществах, которые постепенно превратят весь мир в единый индустриальный город; а потом его отвратила от этой идеи непреодолимая трудность контроля; и вот недавно он пришел к идеям коллективизма, он требовал, чтобы все орудия производства были переданы в коллективную собственность. Но все это были еще расплывчатые мысли, он не знал, как возможно осуществить новую его мечту; щепетильность чувствительной натуры и неуверенность в своих суждениях мешали ему,— он не дерзал выступать с непререкаемыми утверждениями, свойственными сектантам. Он лишь говорил, что прежде всего нужно захватить власть. А дальше будет видно.

— Да что это с тобой случилось? Почему ты стал защищать буржуев? — с яростным возмущением продолжал он, снова остано-

вившись перед кабатчиком.— Ведь ты мне сам говорил: надо, чтобы это взорвалось!

Раснер слегка покраснел.

— Да, говорил. И если взорвется, так вы увидите, что я не из трусов... Однако я отказываюсь идти с теми, кто затевает свалку ради своих целей — хочет добиться видного положения.

Тут пришлось покраснеть и Этьену. Противники больше не кричали, они говорили язвительно и зло, с холодной враждой,— ведь они были соперники. В сущности, это и заставляло их доводить до крайности свои взгляды, одного побуждало бросаться в чрезмерную революционность, а другого подчеркивать свою осторожность, увлекало их за пределы их подлинных убеждений. Так бывает, когда человек не хочет сознаться, что в силу обстоятельств он играет не свойственную ему роль. Суварин молча слушал их, и его лицо с нежной, как у белокурой девушки, кожей выражало откровенное презрение человека, готового отдать за идею свою жизнь, пожертвовав ею в полной безвестности, не стремясь даже к ореолу мученика.

— Так вот почему ты мне все это наговорил! Ты завидуешь,— съязвил Этьен.

— Завидую? Чему, спрашивается? — ответил Раснер.— Я не корчу из себя великого человека, не стараюсь основать в Моису секцию Интернационала, чтобы стать ее секретарем.

Этьен хотел его прервать, но Раснер добавил:

— Ну, скажи откровенно — ведь тебе наплевать на Интернационал? Ты просто хочешь быть у нас главарем, стать важной птицей, корреспондентом знаменитого Федерального совета Северной Франции.

Настало молчание. Наконец Этьен сказал дрогнувшим голосом:

— Хорошо... Я думал, что уж меня-то не в чем упрекнуть. Всегда с тобой советовался, помня, как ты долго боролся здесь еще до меня. Но ты не можешь терпеть никого рядом с собою... Что ж, теперь я буду действовать один, без твоей поддержки... И прежде всего уведомляю тебя, что собрание состоится, даже если Плюшар не приедет... И, вопреки тебе, товарищи вступят в Интернационал.

— Ну что там «вступят»? — пробормотал кабатчик.— Это ведь не все... Надо еще, чтобы внесли членские взносы.

— Вовсе нет. Когда рабочие бастуют, Интернационал дает им отсрочку. Мы заплатим позднее, а сейчас, наоборот,— он сам придет нам на помощь.

Раснер вдруг вышел из себя:

— Ну погоди! Мы еще посмотрим... Я ведь тоже приду на

собрание и буду говорить. Да, да, я не позволю тебе вскружить головы моим друзьям, я им ясно покажу, в чем их истинные интересы. И тогда мы увидим, за кем пойдут рабочие. Меня-то они знают тридцать лет, а ты тут меньше года живешь и хочешь все у нас перевернуть... Нет! Нет! Оставь меня в покое, посмотрим теперь, кто кого одолеет!

И он вышел, хлопнув дверью. Под потолком задрожали гирлянды бумажных цветов, на стенах подскочили позолоченные картонные щиты. И снова просторная комната обрела сонное спокойствие.

Сидя у стола, Суварин курил с кротким видом. Этьен сначала молча ходил взад и вперед, а затем долго отводил душу. Разве это его вина, что люди отвернулись от толстого кабатчика и идут за ним, Этьеном? И, защищаясь от упреков Раснера, он говорил, что вовсе не искал популярности, он даже и не знает, как получилось, что его полюбили в поселке, что он приобрел доверие углекопов и влияние, которым пользуется сейчас. Он негодовал: как могут его обвинять в том, что он из честолюбия толкает товарищей в схватку? Он бил себя в грудь, заявляя о своих братских чувствах к рабочим.

Вдруг он остановился перед Сувариным и крикнул:

— Послушай, если бы я знал, что из-за меня прольется хоть капля крови моего друга, я бы тотчас бежал в Америку.

Машинист пожал плечами, и опять улыбка тронула его губы.

— О-о, кровь! — пробормотал он.— Что ж тут такого? Землю нужно поливать кровью.

Успокоившись, Этьен взял стул и, сев против Суварина, облокотился на стол. Это светлое лицо с мечтательными глазами, вдруг сверкавшими иногда дикой энергией, тревожило его, оказывало какое-то странное действие. Хотя Суварин не прибавил ни слова, Этьена покоряло, завораживало само молчание товарища.

— Погоди,— сказал он,— а что бы ты сделал на моем месте? Разве я не прав, что хочу действовать? Самое лучшее для нас вступить в Товарищество. Правда?

Суварин медленно выпустил струйку дыма и ответил любимым своим словом:

— Глупости! Но пока что и это ладно... К тому же скоро в Интернационале пойдет по-другому... Некто уже занялся этим.

— Кто?

— Он!

Суварин произнес это вполголоса с фанатической верой и бросил при этом взгляд на восток. Он говорил о своем наставнике — Бакунине-разрушителе.

— Только он один может ударить дубиной,— продолжал

он,— а все твои ученые с их эволюцией просто трусы. Не пройдет и трех лет, и под его руководством Интернационал наверняка разгромит старый мир...

Этьен весь обратился в слух. Он горел желанием все знать, понять этот культ разрушения, о котором, однако, Суварин лишь изредка бросал скупые и темные слова, словно хранил про себя тайны этого учения.

— Да наконец объясни же мне... Какая у вас цель?

— Все разрушить... Не будет больше наций, не будет правительств, не будет собственности, не будет богов и религий.

— Ну хорошо, допустим. А только к чему все это вас приведет?

— К простейшей безгосударственной общине, к новому миру, где все будет построено заново.

— А какими средствами вы осуществите свою идею? Как думаете за это взяться?

— Пустим в ход огонь, яд, кинжал. Разбойник — вот истинный герой, народный мститель, действенный революционер, без книжных фраз. Нужен целый ряд ужасающих покушений, чтобы устрашить власть имущих и пробудить народ!

И, говоря это, Суварин преобразился,— он был грозен. В экстазе он приподнялся, светлые глаза его горели огнем мистической веры, тонкие руки сжимали край стола с такой силой, будто хотели отломать доску. Этьен в страхе смотрел на него, вспоминая то, что обрывками поверял ему Суварин, рассказывая о бомбах, заложенных под царским дворцом, о шефах жандармерии, которых убивали ударами ножа, словно диких кабанов, о своей возлюбленной, единственной женщине, которую он любил, о том, как ее повесили в Москве дождливым утром, а он, стоя в толпе, в последний раз целовал ее взглядом.

— Нет! Нет! — бормотал Этьен, отмахиваясь от этих жутких видений.— Мы здесь еще до этого не дошли. Убийства, пожары! Никогда! Это чудовищно, это несправедливо, все товарищи возмутятся и, чего доброго, удавят виновника таких ужасов.

Для него, настоящего француза, оставалась непостижимой эта мрачная мечта об истреблении рода человеческого, который следовало начисто скосить, как поле пшеницы, чтобы народы вновь поднялись из небытия. Он требовал от Суварина ответа:

— Ну, изложи мне свою программу. Мы хотим знать, куда идем.

И Суварин спокойно сказал в заключение, рассеянно и задумчиво глядя вдаль:

— Все рассуждения о будущем преступны — они мешают не-

посредственным актам разрушения и задерживают развитие революции.

Этьен засмеялся, хотя от такого ответа у него мурашки по спине побежали. Впрочем, он охотно признавал, что в идеях Суварина, привлекавших его своей ужасающей простотой, есть и хорошие стороны. Но если рассказать товарищам о таком учении, то Расиеру это окажется весьма на руку. Тут надо быть осторожным.

Вдова Дезир предложила им позавтракать. Они согласились и перешли в пивную, по будням отделявшуюся от танцевального зала выдвижной перегородкой. Когда они покончили с омлетом и сыром, машинист простился с Этьеном; тот стал его уговаривать остаться на собрание.

— Зачем? Слушать, как вы говорите глупости? Достаточно я их наслушался. До свидания!

И, попыхивая папироской, он ушел с обычным своим кротким и упрямым видом.

Этьен все больше тревожился. Уже был час дня,— Плюшар наверняка не сдержит обещания. К половине второго начали собираться делегаты, Этьену пришлось самому стоять на контроле у входа и встречать каждого,— он опасался, как бы дирекция не подослала кого-нибудь из обычных своих доносчиков. Он проверял каждое пригласительное письмо, всматривался в приходивших; многие пришли и без письменного приглашения, достаточно было, чтобы Этьен знал их, и перед ними открывались двери. В два часа явился Расиер; Этьен видел, как он остановился у стойки и с кем-то заговорил, неторопливо докуривая трубку. Его насмешливое спокойствие окончательно взвинтило нервы Этьена, тем более что на собрание явилась, просто для смеху, компания озорников — Муке, Захарий и другие парни, которым на забастовку было наплевать; они все находили забавным и, заказав на последние гроши по кружке пива, принялись вышучивать «сознательных товарищей, которые сидят и ждут с постными физиономиями».

Прошло еще четверть часа. Собравшиеся выражали нетерпение. Этьен в отчаянии махнул рукой и хотел было войти, как вдруг вдова Дезир, выглянув из двери на улицу, воскликнула:

— Да вот он, ваш знакомый!

Это действительно был Плюшар. Он подъехал в пролетке, запряженной тощей клячей. Едва она остановилась, он спрыгнул на мостовую,— сухощавый, щеголеватый, большеголовый, с широким лбом, в черном драповом пальто нараспашку, под которым виден был суконный костюм, какие носят по праздникам хорошо зарабатывающие мастеровые. Уже пять лет он не брал в руки напильника, заботился о своей внешности, причесывался гладко, волос к

волосу, чрезвычайно гордился своими успехами трибуна; но движения его оставались угловатыми; на больших широких руках все не отрастали ногти, изъеденные железом. Человек весьма деятельный и весьма честолюбивый, он неустанно разъезжал по всей провинции, распространяя свои идеи.

— Прошу не посетовать! — заговорил он, предупреждая вопросы и упреки.— Вчера утром — конференция в Прейли, а вечером — собрание в Валансей. Сегодня — завтрак в Маршьене, с Сованья... Удалось все-таки нанять пролетку. Я прямо изнемогаю, слышите, как я охрип? Но это не беда, я все-таки выступлю.

У порога «Смелого весельчака» он вдруг спохватился:

— Ах, черт? Членские-то билеты я оставил! Хороши бы мы были!..

Он разыскал пролетку, которую извозчик поставил под навес, вытащил из нее небольшую деревянную шкатулку черного цвета и понес ее под мышкой.

Этьен, с сияющим лицом, следовал за ним как тень, тогда как потрясенный Раснер не осмеливался протянуть приезжему трибуну руку. Плюшар, однако, сам наградил его рукопожатием и вскользь упомянул о письме: что за странная мысль! Почему не провести собрание? Всегда надо проводить собрания, если это можно сделать. Вдова Дезир предложила ему чего-нибудь выпить, но он отказался: лишнее,— у него не пересыхает в горле, когда он говорит. Только вот надо поторопиться,— вечером он рассчитывает проехать в Жуазель, где ему нужно потолковать с Легуже. И тут все устроители гурьбой вошли в зал. За ними следовали пришедшие с запозданием Маэ и Левак. Для спокойствия душевного дверь заперли на ключ, а тогда зубоскалы загоготали и принялись отпускать шуточки; Захарий крикнул Муке, что теперь-то, верно, старики разродятся — испекут младенца, одного на всех.

В плохо проветренном зале, где от дощатого пола еще поднимались острые запахи, пропитавшие его на последней танцульке, сидели на скамьях и ждали человек сто углекопов. Пока вошедшие устраивались на свободных местах, по рядам прошел шепот, все повернулись — рассматривали человека, приехавшего из Лилля; его черное драповое пальто вызывало удивление и неприязненное чувство. Однако немедленно, по предложению Этьена, избрали президиум. Этьен называл имена, участники собрания выражали согласие поднятием рук. Плюшара выбрали председателем, а членами президиума — Маэ и самого Этьена. Задвигали стульями — президиум занял места; на мгновение председатель исчез из глаз — нырнул под стол, чтобы поставить под него шкатулку, с которой никогда не расставался. Затем он поднялся, легонько постучал кулаком по столу, призывая к вниманию, и начал осипшим голосом:

— Граждане!

Ему пришлось остановиться: открылась дверца, и из кухни вышла вдова Дезир, принесла на подносе шесть кружек пива.

— Не беспокойтесь,— пробормотала она.— Когда речь говорят, жажда бывает.

Маэ взял у нее из рук поднос, и Плюшар мог продолжать. Он сказал, что очень тронут сердечным приемом, который ему оказали рабочие в Монсу, извинился за опоздание, пожаловался на усталость и хрипоту. Затем предоставил слово гражданину Расперу, поспешившему выступить первым. Раснер живо встал у стола, около кружек с пивом. Трибуной служил стул, повернутый к нему спинкой. По-видимому, Раснер был очень взволнован, но, откашлявшись, звучно произнес:

— Товарищи!..

На рабочих угольных копей всегда большое впечатление производило его непринужденное красноречие и благодушие; выступая перед ними, он мог, не уставая, говорить целыми часами. Он не дерзал делать никаких жестов, стоял, толстый, неуклюжий, улыбающийся, и, изливая на слушателей потоки слов, завораживал их до тех пор, пока они не начинали дружно кричать: «Ну да, понятно! Правильно! Верно ты говоришь!» Однако в этот день он с первых же слов почувствовал глухую враждебность слушателей и стал осторожно лавировать. Пока он выступал лишь против продолжения забастовки, а напасть на Интернационал собирался лишь после того, как сорвет аплодисменты. Конечно, говорил он, честь запрещает уступить требованиям Компании, но ведь какая нищета, какое ужасное будущее ждет всех, если придется еще долго упорствовать! И хоть прямо он и не призывал покориться, он подтачивал мужество забастовщиков, рисуя трагические картины, описывая, как в рабочих поселках люди умирают от голода, и спрашивал, на какие денежные средства рассчитывают сторонники дальнейшего сопротивления. Двое-трое приверженцев Раснера попробовали было выразить одобрение его словам, но это лишь подчеркнуло холодное молчание большинства, все возраставшее раздражение и недовольство, с которым углекопы слушали его вкрадчивую речь. Потеряв надежду завоевать их, он разозлился и стал пророчить им всякие беды, если они позволят подстрекателям, подосланным из-за границы, морочить им головы вздорными выдумками. Две трети участников вскочили и, прервав его гневными возгласами, заявили, что не дадут ему больше говорить, раз он их оскорбляет, считая их малыми детьми, неспособными действовать самостоятельно. А Раснер, то и дело прихлебывая из кружки пиво, все говорил среди этого шума и, разъярившись, кричал, что он

«Жерминаль».

выполняет свой долг и еще не родился такой молодец, который ему помешает.

Поднялся Плюшар. Колокольчика у него не было, он просто стучал кулаком по столу и повторял своим сиплым голосом:

— Граждане! Граждане!..

Установив наконец некоторую тишину, он предложил собранию решить вопрос, и Раснера лишили слова. Представители шахт, входившие в состав делегации, направленной к директору, оказывали влияние на остальных,— да и все тут были люди изголодавшиеся и затронутые новыми идеями. Результат голосования был предрешен.

— Тебе на нас наплевать! Ты-то ешь досыта! — орал Левак, грозя Раснеру кулаком.

Наклонившись к Маэ за спиной председателя, Этьен старался успокоить забойщика, который сидел весь красный, вне себя от лицемерного выступления Раснера.

— Граждане! — сказал Плюшар.— Разрешите мне взять слово.

Настала глубокая тишина. Плюшар заговорил. Голос у него был сдавленный и сиплый, но Плюшар умел им пользоваться и, постоянно выступая на рабочих собраниях, достигал ораторских эффектов даже при своем ларингите. Постепенно он усиливал звук, у него появлялись патетические интонации. Он раскидывал руки, сопровождал гладкие периоды покачиванием плеч; он обладал даром слова, похожим на красноречие проповедников, и, как священники в церкви, понижал голос в конце фраз, нанизывая их одну за другой в плавном, однообразном рокотанье, и в конце концов убеждал.

В этой самой манере он вел и свою речь о величии и благотворной роли Интернационала,— речь эту он уже не раз произносил в тех местностях, где выступал до приезда в Монсу. Он объяснил, что цель ассоциации — освобождение трудящихся; он нарисовал ее грандиозную структуру: внизу — коммуна, выше — провинция, еще выше — нация, а на самой вершине — человечество. Его руки медленно двигались, как бы надстраивая ярус над ярусом, воздвигая громадный собор — будущее общество. Затем он перешел к внутреннему управлению: прочел вслух устав, рассказал о съездах, отметил все возраставшее значение организации и расширение ее программы: начав с вопросов заработной платы, ныне она ставит целью полный социальный переворот, при котором не будет наемного труда. Не будет больше и национальных различий, рабочие всего мира, объединенные всеобщей жаждой справедливости, сметут буржуазную гниль и создадут наконец новое, свободное общество, где тот, кто не трудится, не получит

хлеба. Речь оратора гремела, от его бурного дыхания вздрагивали пестрые бумажные цветы под закопченным низким потолком, отражавшим раскаты его голоса. Слушатели закивали головами, словно волна пробежала по рядам. Раздались возгласы:

— Правильно! Согласны!

Плюшар продолжал. Не пройдет и трех лет, а рабочее движение покорит весь мир. И он перечислял охваченные им народы. Со всех концов земного шара поступают заявления о вступлении в Интернационал. Ни одна нарождавшаяся религия не имела столько верующих. А когда рабочие станут господами положения, они продиктуют хозяевам свои собственные законы и заставят их работать.

— Правильно! Правильно! Пускай узнают, каково спину гнуть!

Плюшар жестом восстановил тишину и перешел к вопросу о забастовках. В принципе он против забастовок,— это слишком медленный путь, и они, пожалуй, увеличивают страдания рабочих. Но пока что, в ожидании более действенных средств, приходится прибегать к забастовкам, когда они становятся неизбежными; у них есть то преимущество, что они вносят расстройство в лагерь капитала. Интернационал в таких случаях всегда оказывался провидением для забастовщиков. И Плюшар приводил примеры: в Париже во время забастовки бронзировщиков хозяева сразу же удовлетворили все требования рабочих, как только узнали страшную для них новость, что Интернационал пришел забастовщикам на помощь; в Лондоне Интернационал спас забастовку углекопов, на свой счет отправив обратно целый поезд бельгийцев, которых привезли владельцы копей. Стоило рабочим вступить в Интернационал, как компании охватывал трепет, ибо рабочие вливались в великую армию труда, бойцы которой скорее готовы умереть друг за друга, чем остаться рабами капиталистического строя.

Его прервали рукоплескания. Он вытер лоб посовым платком, но отказался пригубить из кружки пива, которую пододвинул ему Маэ. Когда он вновь начал говорить, бурные рукоплескания заглушили его слова.

— Готово! — бросил он Этьену.— С них достаточно... Живей! Членские билеты!

Он нырнул под стол и поднялся с черной шкатулкой под мышкой.

— Граждане! — крикнул он, перекрывая шум.— Вот членские билеты. Пусть подойдут ваши делегаты, я вручу им билеты, а они распределят их среди вас. Позднее мы все оформим.

Выскочил Раснер с новыми протестами. Этьен волновался,— он хотел выступить с речью. Поднялась невообразимая суматоха.

Левак размахивал руками, сжимал кулаки, словно собираясь драться. Маэ поднялся и что-то говорил, но ни одного слова нельзя было расслышать. Шум все усиливался, люди топали ногами, с пола летучим облаком поднималась пыль, оставшаяся от недавних балов, и в воздухе потянуло запахом пота усердных танцоров, до упаду плясавших в этом зале.

Вдруг отворилась дверца, и вдова Дезир, загородившая ее своим животом и грудью, крикнула громовым голосом:

— Замолчите, горластые!.. Полиция!

Оказывается, с некоторым опозданием явился окружной комиссар полиции, намереваясь составить протокол и разогнать собрание. Его сопровождали четыре жандарма. Вдова Дезир минут пять задерживала их у двери, твердила, что она в своем доме хозяйка и имеет право собрать у себя друзей. Но ее оттолкнули, и она побежала предупредить «своих питомцев».

— Бегите через эту дверь,— наказывала она.— Один поганец жандарм стережет во дворе. Но это не беда, из дровяника есть выход в переулок. Скорей! Скорей!

Комиссар барабанил кулаками в дверь и грозил выломать ее, если ему не отворят. Должно быть, какой-то доносчик осведомил полицию, ибо комиссар кричал, что это собрание нелегальное: многие здесь не имеют пригласительных билетов.

Смятение в зале усилилось. Нельзя было разойтись, не проголосовав вопрос о вступлении в Интернационал и о продолжении забастовки. Все говорили разом. Наконец председателю пришла мысль принять решение без тайного голосования, просто поднятием рук.

Руки сразу поднялись. Делегаты торопливо заявили, что от имени отсутствующих здесь товарищей они вступают в Международное товарищество рабочих. Таким образом десять тысяч углекопов копей Монсу стали членами Интернационала.

А затем началось бегство. Прикрывая отступление, вдова Дезир налегла всею своей тяжестью на дверь, которую жандармы сотрясали ударами ружейных прикладов. Перепрыгивая через скамьи, углекопы вереницей удирали через кухню и через дровяной сарай. Раснер исчез одним из первых, за ним последовал Левак,— позабыв о своей перебранке с кабатчиком, он мечтал подкрепиться у него кружкой пива. Этьен, захватив шкатулку, ждал Плюшара и Маэ, которые считали делом чести выйти последними. Когда они выходили, запор вылетел, и комиссар очутился перед вдовой Дезир, но ее грудь и живот тоже представляли собою внушительную преграду.

— Что это вам вздумалось все ломать в моем заведении? — заорала она.— Вы же видите — тут нет никого.

Комиссар полиции, человек медлительный и не любивший драматических происшествий, только пригрозил вдове посадить ее в тюрьму и отправился составлять протокол, шествуя во главе четырех жандармов на глазах язвительно хихикавших Захария и Муке, которые пришли в восторг от ловкого отступления товарищей и осыпали насмешками незадачливых блюстителей порядка.

Тем временем Этьен, хоть ему и мешала шкатулка, во весь дух мчался по переулку, слыша, что и другие бегут вслед за ним. Вдруг ему вспомнилось, что Пьерона как будто не было на собрании, он спросил об этом, и Маэ на бегу ответил, что Пьерон болен,— болезнью весьма понятной: страхом скомпрометировать себя. Всем хотелось увести с собой Плюшара, но он, не останавливаясь, заявил, что ему надо немедленно ехать в Жуазель, где Легуже давно ждет его указаний. Тогда углекопы, не замедляя бега, крикнули ему: «Счастливого пути»,— и понеслись через Монсу так, что только пятки засверкали. Тяжело дыша, перебрасываясь отрывистыми словами, Этьен и Маэ смеялись веселым смехом; оба были уверены теперь в победе: когда Интернационал пришлет им помощь, Компания сама будет умолять их возобновить работу. И в этом порыве надежды, в этом топоте грубых башмаков, звонко стучавших по мощеной дороге, было еще и что-то иное, что-то мрачное и дикое, предвещавшее пламя насилий, которое ветер вскоре должен был разнести во все концы края.

V

Прошло еще две недели. Настал январь; пелена холодных туманов затягивала огромную равнину. Нищета усилилась, в рабочих поселках с каждым часом угасала жизнь, люди голодали все больше. Четырех тысяч франков, присланных из Лондона, не хватило и на три дня. Не на что было покупать хлеб. Больше ничего не поступало. Великая надежда рухнула, убивая мужество. На кого же теперь рассчитывать, если и братья покинули их? Углекопы чувствовали себя брошенными на произвол судьбы в самой середине суровой зимы, оторванными от всего мира.

Настал день, когда в поселке Двести Сорок иссякли все ресурсы. Это было во вторник. Этьен и делегаты разрывались на части, пытаясь найти выход: рассылали новые подписные листы в соседние города, и даже в Париж; проводили сборы пожертвований, устраивали доклады. Все эти усилия ничего существенного не давали; общественное мнение сначала расчувствовалось, а теперь проявляло равнодушие,— ведь забастовка затянулась и проходила очень спокойно, без всяких драматических волнующих эпизодов.

Скудных пожертвований едва хватало на то, чтобы поддерживать самые нуждающиеся семьи. Остальные жили тем, что закладывали свою одежду, распродавали домашние вещи. Все уплывало к старьевщикам — и шерсть из тюфяков, и кухонная утварь, даже столы и стулья!

Ненадолго возникла было надежда на спасение: мелкие лавочники, которых разорял Мегра, предложили отпускать товар в кредит, думая отбить покупателей у своего могущественного конкурента; и в течение недели бакалейщик Вердонк и два булочника Карубль и Смельтен действительно давали продукты в долг; но когда назначенная ими сумма первого аванса была исчерпана, все трое остановились. Судебные приставы радовались: эта попытка привела лишь к увеличению долгов, которыми предстояло в дальнейшем обременять углекопов. И вот — кредита нигде не дают; нет ни одной лишней кастрюли — нечего продать, остается только одно: забиться в угол и подохнуть, как старым, облезлым собакам.

Этьен готов был продать самого себя. Он отказался от жалованья секретаря, он сходил в Маршьен и заложил в ссудной кассе свой суконный сюртук и брюки, радуясь, что на эти деньги семейство Маэ прокормится некоторое время. Остались у него только сапоги, но с ними невозможно было расстаться. «Надо ноги поберечь»,— говорил он. Он с отчаянием думал, что забастовка началась слишком рано, когда касса еще не успела собрать достаточно средств. В этом он видел единственную причину катастрофического положения,— ведь забастовщики, несомненно, восторжествовали бы над хозяевами, будь у них собрано достаточно денег: тогда они могли бы продержаться. Ему вспомнились слова Суварина, который обвинял Компанию в нарочитом стремлении вызвать забастовку для того, чтобы растаяли первые фонды рабочей кассы.

Мучительно было смотреть, как страдают в поселке несчастные люди без хлеба и без топлива; Этьен предпочитал уходить из дому и долго бродил, ища забвения в усталости. Однажды вечером, возвращаясь в поселок, он проходил мимо Рекильярской шахты и заметил на обочине дороги старуху, упавшую в обморок. Несомненно, она была близка к голодной смерти; приподняв ее, он окликнул девушку, которую увидел во дворе шахты.

— А-а, это ты! — сказал он, узнав Мукетту.— Помоги-ка мне. Ей надо чего-нибудь выпить.

Мукетта разжалобилась до слез и сбегала домой — в шаткую лачугу, в которой ее отец ютился среди развалин. Она тотчас вернулась, принесла водки и хлеба. Водка подбодрила старуху, и она молча, с жадностью накинулась на хлеб. Это была мать углекопа, она жила в рабочем поселке близ Куньи; упала она, возвращаясь из Жуазеля, куда понапрасну сходила, пытаясь занять десять су

у какой-то родственницы. Поев, она встала и неровной поступью пошла дальше.

Этьен остался на пустыре Рекильярской шахты, где над рухнувшими сараями разрослись кусты терновника.

— Ну как? Может, зайдешь выпить стаканчик? — весело спросила Мукетта.

Этьен замялся.

— Эх ты! Значит, все еще меня боишься?

Этьену понравился ее добродушный смех, и он пошел за нею. Его растрогало, что Мукетта от всего сердца поделилась со старухой хлебом. Приняла она Этьена не в отцовской комнате, а повела к себе, и тотчас налила две рюмочки можжевеловой водки. В комнате было очень чисто, Этьен похвалил за это хозяйку. Впрочем, это семейство, по-видимому, не терпело нужды: отец по-прежнему работал конюхом в Ворейской шахте, а Мукетта, не желая сидеть сложа руки, стирала на людей белье и зарабатывала по тридцать су в день. Да, да, она хоть и любит с мужчинами погулять, а лентяйкой ее не назовешь.

— Послушай,— вдруг пробормотала она, обняв его за талию.— Ну, почему ты не хочешь полюбить меня?

Этьен невольно засмеялся вслед за ней,— так умильно задала она свой вопрос.

— Да я тебя очень люблю,— ответил он.

— Нет, нет. Не так любишь, как я хочу... А я прямо умираю по тебе. Ну, послушай, миленький мой! Порадуй меня!

В самом деле она уже полгода домогалась его внимания. Сейчас она прижималась к нему, обхватив его обеими руками, и, вся дрожа, смотрела на него таким молящим влюбленным взглядом, что ему стало жаль ее. В полном круглом лице Мукетты не было ничего красивого, оно пожелтело в угольной шахте, но глаза горели огнем, от нее исходило какое-то очарование, трепет страсти; она разрумянилась и казалась совсем юной. Она приносила ему в дар свою любовь, такую смиренную, такую пламенную, что у него не хватило духу ее отвергнуть.

— Ах, ты согласен! — восторженно лепетала она.— Ты согласен!

И она отдалась ему неловко и самозабвенно, словно это случилось с нею в первый раз, словно она была девственницей, еще не знавшей мужчины. Когда он прощался с ней, не он, а она была полна признательности, она говорила ему «спасибо», целовала ему руки.

Этьену было немного стыдно за такое любовное приключение. Никто не стал бы гордиться связью с Мукеттой. Уходя, он дал себе клятву, что это больше не повторится. И все же он сохранил о ней

дружеское воспоминание, как о славной женщине. Впрочем, вернувшись в поселок, он услышал столь важные новости, что позабыл о всяких похождениях. Прошел слух, что Компания, быть может, и согласится на уступки, если к директору еще раз явится делегация для переговоров. Тут была доля правды: в завязавшейся борьбе хозяева по-своему страдали не меньше, чем углекопы. Для обеих сторон упорство становилось пагубным: рабочие голодали, капитал таял. Каждый день забастовки приносил Компании сотни тысяч франков убытка. Любая машина, остановившись, становится мертвой. Оборудование и материал портились, вложенные в дело капиталы утекали, как вода, которую впитывает песок пустыни. Небольшие запасы угля на складах истощались, и клиенты собирались закупить уголь в Бельгии,— в этом была угроза для будущего. Но больше всего пугали Компанию,— хоть она тщательно это скрывала,— все увеличивавшиеся повреждения в выработках и в забоях. Штейгеры не могли своими силами исправлять эти повреждения; везде ломалась крепь, ежечасно происходили обвалы. Вскоре разрушения приняли такие размеры, что для их исправления требовалось потратить несколько месяцев, и лишь после этого удалось бы возобновить добычу. Рассказывали о настоящих катастрофах, случившихся за время забастовки: в Кревкере обрушилась на протяжении трехсот метров кровля в штреке, закупорив доступ к разработкам Сен-Пом; в Мадлен пласт Могрету раздавливался и выработка заполнялась водой. Дирекция желала избежать огласки, но две катастрофы, случившиеся вдруг, одна за другой, заставили ее признать опасность положения. Однажды утром близ Пиолены была обнаружена трещина над Северным крылом шахты Миру, где накануне произошел обвал; а на следующий день вдруг осела порода в Ворейской шахте, и так сильно, что на краю предместья земля содрогнулась и два дома едва не рухнули.

Этьен и делегаты колебались — стоит ли пойти на новые переговоры, ничего не зная о намерениях правления. Спросили Дансара, он ответил уклончиво: разумеется, начальство весьма огорчено плачевным недоразумением и, наверное, предпримет шаги, чтобы достигнуть соглашения, но какие именно шаги,— не сказал. В конце концов решили, что надо пойти к г-ну Энбо, подав тем самым пример рассудительности: пусть впоследствии их не обвиняют в том, что они не дали Компании возможности понять свою вину. Однако они поклялись не уступать и во что бы то ни стало поддерживать свои справедливые требования.

Переговоры состоялись во вторник утром, в тот день, когда в поселке угроза голода схватила людей за горло. Встреча оказалась далеко не столь дружелюбной, как первая. Опять выступил Маэ, сказал, что товарищи поручили ему спросить, не хочет ли дирек-

ция сообщить им какие-нибудь новые известия. Г-н Энбо сначала изобразил удивление; он якобы не получил никаких приказов, положение не может измениться, пока углекопы не перестанут упрямиться и не прекратят свой глупый бунт. Его жесткая, властная речь произвела крайне неприятное впечатление; делегаты явились с мирными намерениями, но от этого черствого приема их упорство возросло. Затем директор, спохватившись, заговорил о желательности взаимных уступок; если рабочие согласятся на отдельную оплату крепления, Компания повысит расценки на уголь — вернет те два сантима, которые она, по мнению рабочих, кладет себе в карман. Впрочем, он добавил, что делает такое предложение от своего имени, что ничего еще не решено, но он все же льстит себя надеждой добиться в Париже этой уступки. Однако делегаты отклонили предложение и подтвердили свои требования: прежняя система оплаты и повышение расценки на пять сантимов с вагонетки. Тогда г-н Энбо сознался, что может сейчас же повести переговоры, и стал настойчиво убеждать, чтобы они ради своих жен и малых детей, умирающих с голоду, приняли предложенные условия. Углекопы, насупив брови, смотрели в пол, отвечали: «Нет! Нет!» — и гневно качали головой. Расстались врагами. Г-н Энбо на прощание хлопнул дверью. Этьен, Маэ и другие делегаты, полные немой ярости побежденных, доведенных до крайности, двинулись в обратный путь, топая по мостовой грубыми башмаками с подковками.

Около двух часов дня в поселке Двести Сорок женщины решили поговорить с Мегра. Только на него и была надежда: быть может, удастся смягчить лавочника, вымолить у него кредит еще на одну неделю. Эта мысль пришла в голову жене Маэ,— она слишком часто рассчитывала на доброту человеческую. Она уговорила жену Левака и Горелую пойти вместе с нею; жена Пьерона отказалась, заявив, что не может отойти от постели мужа — все не проходит его хворь. К троим просительницам присоединились другие женщины, всего собралось человек двадцать.

Когда по главной улице Монсу, перегородив ее во всю ширину, зашагал отряд ниценски одетых, угрюмых женщин, обыватели, глядя на них из окон, встревоженно качали головами. Во всех домах заперли двери; одна дама даже убрала подальше столовое серебро. Впервые за время забастовки видели такое шествие, и, конечно, оно не предвещало ничего хорошего; обычно все столкновения принимали опасный оборот, если на улицу выходили женщины. В лавке Мегра произошла бурная сцена. Сперва он, ехидно посмеиваясь, пригласил их войти,— якобы вообразив, что они пришли расплатиться с ним. Ах, как это мило с их стороны,— сговорились друг с дружкой и пришли компанией, принесли ему долг!

А затем, когда слово взяла жена Маэ, он выразил негодование. Как им не совестно! Смеются они над ним, что ли? Еще продлить им кредит? Они, значит, задумали довести его до нищеты! Ну нет, он не даст больше ни одной картофелины, ни одной крошки хлеба! Пускай обращаются в бакалейную Вердонка, в булочные Карубля и Смельтена, раз поселок теперь покупает в их лавках... Женщины слушали с испуганным и смиренным видом, приносили извинения, заглядывали ему в глаза, ждали, не разжалобится ли он. А он принялся отпускать свои обычные грубые шутки, пообещал отдать Горелой всю лавку, если она возьмет его в ухажеры. Голод довел женщин до такого малодушия, что в ответ они смеялись, а жена Левака даже говорила, что она не прочь его полюбить. Но он тут же переменил тон и стал всех гнать. Они упрашивали, молили, тогда он одну вытолкал за дверь. Сгрудившись перед его лавкой, они ругали его, обзывали продажной шкурой, а жена Маэ, охваченная негодованием и жаждой мести, призывала на него смерть, кричала, что такой человек только обременяет собою землю и зря ест хлеб.

Просительницы возвратились в поселок угрюмые, мрачные. А дома мужья, увидев, что жены вернулись с пустыми руками, молча посмотрели на них и понурили головы. Значит, в этот день так и не придется поесть, проглотить хотя бы ложку супа; а впереди в холодном мраке их ждет череда голодных дней, и нет ни единого проблеска надежды. Но ведь они заранее знали, какие муки им предстоят, никто ни слова не промолвил, что надо сдаться. От чрезмерных страданий росло их упорство, они терпели молча, как затравленные звери, готовые скорее умереть в своей норе, чем выйти наружу. Кто посмел бы первый заговорить о покорности? Ведь все поклялись держаться вместе, как в шахте, когда бывало нужно спасти товарища, засыпанного обвалом. Это был их долг, они прошли хорошую школу и научились стойкости. Как-нибудь надо вытерпеть еще неделю, стиснуть зубы, не жаловаться — недаром тянули они лямку с десяти лет, и в огне горели, и в воде тонули; в их самоотверженности была также и гордость людей, которых на каждом шагу подстерегают опасности, людей, которые не раз смотрели смерти в глаза.

Вечер в доме Маэ прошел ужасно. Все молчали, собравшись у печки, где тлели последние горсточки угля. За время забастовки мало-помалу вытащили из тюфяков всю шерсть и снесли ее к старьевщику, а третьего дня решились наконец продать часы с кукушкой,— получили за них три франка, и с тех пор комната, в которой не слышно было привычного тиканья, казалась голой и мертвой. Осталось одно-единственное украшение — стоявшая на буфете розовая коробка, давнишний подарок Маэ, которым его

жена дорожила, как драгоценностью. Два хороших стула уже были проданы. Бессмертный и дети сидели на старой замшелой скамье, принесенной из садика. В сгущавшихся сумерках всем как будто было еще холоднее.

— Как же быть теперь? — повторяла мать, сидя на корточках у печки.

Этьен стоял, глядя на портреты императора и императрицы, наклеенные на стену. Он давно бы их содрал, если бы хозяева не защищали свою картинную галерею. Он процедил сквозь зубы:

— Что, лодыри проклятые, за ваши рожи не дадут и двух су! Так и будете тут висеть да любоваться, как мы дохнем с голоду?

— Может, коробку продать? — нерешительно спросила жена.

Маэ, угрюмо сидевший на краешке стола, резко выпрямился:

— Нет, не хочу. Не продавай!

Жена с трудом поднялась и обошла всю комнату.

— Господи боже, до какой нищеты дошли! В буфете ни единой корочки, и продать нечего, не придумаешь, как достать хлеба! А тут еще и огонь того гляди угаснет.

И она принялась бранить Альзиру: вот послала ее утром на террикон пособирать угля, а девчонка вернулась с пустыми руками. Компания теперь запрещает беднякам собирать угольную мелочь. Да что Компанию слушать? Кому люди урон наносят, если подбирают крохотные осколочки угля? Девочка плача рассказывала, как сторож увидел ее и пригрозил затрещиной, если не послушается; и все же она пообещала матери, что завтра опять пойдет на террикон — пусть даже сторож ее отколотит.

— А этот поганец Жанлен куда девался? — кричала мать.— Где он, спрашивается?.. Я его послала салату нарвать; хоть бы травы пожевали, как овцы! А вот увидите, он не придет. Вчера ведь не ночевал дома. Не знаю, чем Жанлен промышляет, а похоже, что всегда сыт.

— Может, милостыню просит на улице? — заметил Этьен.

Мать вскипела, затрясла кулаками:

— Ох, если я узнаю!.. Не позволю своим детям милостыню просить!.. Лучше я их своими руками убью, а потом... потом и себя порешу!

Маэ опять вяло опустился на край стола. Ленора и Анри, удивляясь, что их не кормят, принялись хныкать; старик дед с философским спокойствием перекатывал язык во рту, стараясь заглушить голод. Все умолкли, оцепенев перед лицом страшной беды; дед кашлял и сплевывал черным; его мучил обострившийся ревматизм, который уже привел к водянке; отец тяжело дышал от астмы, колени у него распухли, мать и дети страдали от наследственной золотухи и наследственного малокровия. На это они не жа-

ловались: что поделаешь, это неизбежно, такова судьба углекопов и их потомства. Страшно было то, что в поселке люди таяли от истощения и мерли как мухи. Надо же все-таки достать что-нибудь на ужин. Что делать, к кому пойти? Боже мой!

Все больше сгущались сумерки, все темнее и угрюмее становилось в комнате; Этьен задумался и, не выдержав, решился наконец сделать то, что ему так претило.

— Подождите меня,— сказал он.— Я схожу поищу.

И он вышел. Ему пришло в голову обратиться к Мукетте. Возможно, у нее есть хлеб, и с ним-то она охотно поделится. Неприятно было идти в Рекильяр; Мукетта опять будет целовать ему руки, словно покорная раба. Но ведь нельзя же бросить друзей в беде; если понадобится, он готов был ласково обойтись с ней.

— И я пойду поищу,— сказала мать.— Не помирать же...

Она вышла вслед за Этьеном, громко стукнув дверью. Остальные сидели безмолвно, неподвижно, при тусклом свете огарка, который зажгла Альзира.

На улице мать на секунду остановилась в нерешительности, потом направилась к Левакам.

— Слушай-ка, я тебе недавно дала каравай хлеба взаймы. Можешь ты мне отдать сейчас?

И тут же она остановилась: картина, представшая перед ее глазами, была безотрадна,— здесь еще больше чувствовалась нищета, чем в ее доме.

Жена Левака сидела, не сводя взгляда с потухшего очага, а сам Левак, которого угостил вином приятель с гвоздильного завода, сразу опьянел, выпив на пустой желудок, и теперь спал за столом, уронив голову на руки. Бутлу сидел, прислонившись к стене, и машинально потирал себе плечи; на его благодушном глуповатом лице застыло удивленное выражение: вот проели все его сбережения, теперь ему приходится голодать,— как же это так?

— Хлеб? Ох, милая ты моя! — заговорила жена Левака.— А я-то хотела было попросить у тебя еще один каравай.

Потом, услышав болезненный стон пьяного мужа, ткнула его лицом в стол.

— Молчи, свинья! Что, нутро жжет? Так тебе и надо! Не пил бы на даровщинку, а лучше бы попросил у приятеля двадцать су в долг!

И она продолжала осыпать его упреками и бранью, облегчая себе сердце. Кругом была невероятная грязь, мерзость запустения, от давно не мытого пола исходил отвратительный запах. А, пусть все пропадает пропадом! — кричала жена Левака, ей теперь на все наплевать. С утра исчез ее сын Бебер, и очень хорошо, что мальчишка болтается где-то, она рада будет от него избавиться, пускай

и не возвращается домой. И тут же заявила, что ляжет сейчас спать. По крайней мере согреется. Она толкнула Бутлу:

— Ну-ка, вставай, пойдем наверх... Огонь погас, свечку зажигать не стоит. Чего смотреть на пустые тарелки... Ну, пойдешь ты наконец, Луи! Я же тебе говорю, спать сейчас ляжем. Прижмемся друг к дружке, тепло станет... А этот пьяница окаянный пускай тут один околеет от холода.

Выйдя от Леваков, жена Маэ, не раздумывая, повернула к другим соседям и через огород прошла к Пьеронам. Оттуда доносился смех. Она постучалась. В доме все смолкло. Ей долго не отворяли.

— Ах, это ты! — воскликнула хозяйка с притворным удивлением.— А я думала — доктор.

И, не давая посетительнице вымолвить ни слова, затараторила, указывая на Пьерона, который сидел у ярко горевшего огня:

— Ах, не легче ему, все никак не поправится! С виду как будто и не болен, а в животе все режи, режи! Ему тепло нужно. Вот и сжигаем последний уголь.

Пьерон и в самом деле казался вполне здоровым,— румянец во всю щеку, плотная фигура. Он кряхтел, тщетно пытаясь изобразить больного. Как только Маэ вошла, она сразу услышала запах кроличьего рагу,— блюдо, несомненно, спрятали. На столе оставались крошки хлеба, а на самой его середине красовалась забытая бутылка вина.

— Мать пошла в Моису,— может, хлеба кто даст. Вот и ждем ее, томимся голодные.

Вдруг голос ее оборвался от смущения: она заметила, что соседка смотрит на бутылку. Но мгновенно оправившись, принялась сочинять: да, да, в бутылке вино, его принесли из Пюлены хозяйка с дочерью: доктор им сказал, что Пьерону нужно пить красное вино. И она рассыпалась в похвалах благодетельницам: такие славные люди, барышня совсем не гордая, заходит в дома к рабочим, сама раздает кому что.

— Знаю,— подтвердила Маэ.— Я с ними знакома.

Сердце у нее защемило при мысли, что всякие блага постоянно идут тому, кто в них не очень нуждается. А другим сроду не бывает удачи. Хозяева Пюлены подлили, как говорится, воды в речку. И когда это они были в поселке? Она их и не заметила. Может, и ей бы что-нибудь перепало.

— Я к тебе пришла попросить хлеба,— проговорила она наконец.— Думала — у вас в доме посытнее, чем у нас... Нет ли у тебя хоть вермишели... Я бы отдала потом.

Хозяйка разахалась:

— Милая ты моя, нет ничего! Хоть шаром покати!.. И мать

все не возвращается. Верно, не удалось хлеба достать. Придется лечь без ужина.

В эту минуту из подвала донесся плач, и хозяйка, разгневавшись, принялась колотить кулаком в дверцу. Там заперта ее падчерица Лидия, сообщила она, в наказание за то, что дрянная девчонка целый день где-то шлялась и домой пришла только в пять часов вечера. Негодница от рук отбилась, то и дело куда-то убегает.

А Маэ все стояла у порога, не решаясь уйти. Так приятно было погреться в теплой комнате. Но здесь пахло жареным мясом, а от этого у нее еще больше засосало под ложечкой. Наверняка Пьероны нарочно услали старуху, а Лидию заперли, и хотят на свободе полакомиться крольчатиной! Эх, что ни говори, а в доме у распутных баб нужды не знают!

— Прощай,— сказала она, помолчав.

На дворе было уже совсем темно; луна, прячась за облаками, озаряла землю тусклым светом. Маэ не пошла напрямик, через огороды, а направилась в обход, ее терзало отчаяние, страшно было вернуться с пустыми руками. Все дома словно вымерли, чувствовалось, что за каждой дверью воцарился голод, что в комнатах гулкая пустота. К кому же постучаться? Везде нищета и мученья. Вот уже третью неделю нечего есть. Даже испарился запах поджаренного лука, въедливый, крепкий запах, который прежде слышен был еще в поле, далеко от поселка; теперь везде тянуло только сыростью и плесенью, как из старого погреба,— запахом подземелья, где никто не живет. Затихли смутно доносившиеся звуки — глухие рыдания, бранные возгласы, настала глубокая, гнетущая тишина, и Маэ ясно представляла себе, как подкрадывается к голодным тяжелый сон и как их мучают кошмары.

Проходя мимо церкви, она заметила быстро промелькнувшую фигуру. В ее душе забрезжила надежда. Маэ узнала священника приходской церкви в Монсу аббата Жуара, который по воскресеньям служил мессу в маленькой церкви поселка; вероятно, он приходил в ризницу по какому-нибудь делу и теперь возвращался домой... Сутулый, пухлый, ласковый, желавший со всеми ладить, он шел торопливо, почти бежал, стараясь проскользнуть незаметно под покровом темноты, так как не желал компрометировать себя, якшаясь с забастовщиками. Говорили, впрочем, что он получил повышение и уезжает. Некоторые видели, как он прогуливался в обществе своего преемника, тощего аббата с горящим взглядом.

— Господин кюре, господин кюре! — пробормотала Маэ.

Но он не остановился.

— Добрый вечер, добрый вечер, голубушка.

И вот Маэ очутилась перед своим домом. Ноги больше не держали ее. Она вошла.

Она застала все ту же картину. Маэ в глубокой тоске по-прежнему сидел на краю стола. Старик дед и дети, чтобы не так было холодно, жались друг к другу на скамье. Никто не произнес ни слова, свечка почти догорела; каждый знал, что еще немного — и наступит темнота. Когда стукнула дверь, дети оглянулись, но, видя, что мать ничего не принесла, снова уставились в пол, не смея заплакать — а то еще накажут. Мать пришла и вновь присела на корточки перед угасающим огнем. Никто ни о чем не спросил, не нарушил молчания. Все понимали, что спрашивать бесполезно: зачем еще утомлять себя разговорами? Все пали духом, застыли в угрюмом, вялом ожидании помощи, которую, может быть, принесет им Этьен, раздобыв где-нибудь пищи. Шли минуты, одна за другой, никто не считал их.

Наконец явился Этьен, принес в узелке десятка полтора вареных холодных картофелин.

— Вот все, что я добыл,— сказал он.

У Мукетты хлеба тоже не было: она отдала свой обед, насильно заставила его взять этот узелок и от всего сердца расцеловала Этьена.

— Спасибо, я не хочу,— сказал он, когда жена Маэ положила перед ним его долю.— Я там поел.

Он солгал и с угрюмым видом смотрел, как дети набросились на еду. Отец и мать взяли понемногу, чтобы детям досталось больше, но дед ел с жадностью. Пришлось отобрать у него одну картофелину для Альзиры.

Потом Этьен сказал, что узнал кое-какие новости. Компания, раздраженная упорством забастовщиков, собирается уволить самых скомпрометированных. Очевидно, она решила перейти в наступление. И еще одна важная новость: говорят, дирекция хвастается, что она уговорила очень многих углекопов с завтрашнего дня прекратить забастовку. В шахтах Виктуар и Фетри-Кантель будто бы все выйдут на работу; даже в Мадлен и в Миру треть состава согласилась выйти.

— Ах, сволочи! — крикнул отец.— Если нашлись предатели, надо с ними расправиться.

И, вскочив на ноги, он, весь дрожа от гнева и муки, воскликнул:

— Завтра вечером соберемся в лесу!.. Раз нам мешают совещаться в «Весельчаке» — пойдем в лес. Там мы как у себя дома. В лес!

Старик Бессмертный очнулся от дремоты, в которую погрузился после еды. Ведь он услышал давний клич сбора — именно в

лесу в прежние времена углекопы сговаривались меж собой, организуя сопротивление королевским войскам.

— Да, да. В Вандамский лес! И я пойду, ежели там соберутся.

Жена Маэ широко взмахнула рукой:

— Все пойдем! Пора кончать с несправедливостью и предательством.

Этьен решил, что сходку, на которую соберутся все рабочие поселка, надо созвать на следующий день вечером.

Пока говорили об этом, в доме, так же как у Леваков, погас огонь в очаге и догорела свеча — свет вдруг потух. Угля больше не было, не было и керосина для лампы. Пришлось ощупью подниматься наверх и ложиться в потемках. От холода зуб на зуб не попадал. Дети плакали...

VI

Жанлен поправился и стал ходить; но кости у него срослись плохо, он хромал на обе ноги; однако стоило посмотреть на него: ковыляя и переваливаясь, словно утка, он бегал так же быстро, как прежде, и проявлял все такую же ловкость зловредного и воровато зверька.

В тот день, уже в сумерках, в компании с неразлучными своими приятелями, Бебером и Лидией, он устроил засаду у Рекильярской шахты за оградой пустыря, как раз напротив жалкой, кособокой лавчонки, стоявшей близ дороги. Полуслепая старуха лавочница расставила там четыре мешка чечевицы и черных от пыли бобов; на двери висела засиженная мухами вяленая треска, с которой Жанлен не сводил своих узких глаз. Он дважды посылал туда Бебера, приказывая ему стащить этот предмет своих вожделений, но всякий раз кто-нибудь появлялся на повороте дороги. Вот ведь мешают, черти! Не дают людям заняться своими делами.

На дороге показался какой-то человек верхом на лошади, и тройка воришек распласталась на земле за изгородью, узнав во всаднике г-на Энбо. С первых же дней забастовки его часто видели на дорогах и на улицах взбунтовавшихся рабочих поселков. Он со спокойной смелостью разъезжал один, желая лично удостовериться, каково положение. И ни разу мимо его уха не просвистел камень; г-н Энбо встречал лишь молчаливых, угрюмых людей, не спешивших поклониться ему, а чаще всего наталкивался на влюбленные парочки,— ничуть не думая о политике, они превесело проводили время в укромных уголках. Пустив лошадь рысью, он проезжал, не поворачивая головы, чтобы никого не смущать; но в этой атмосфере жадного и грубого вожделения в его сердце поднима-

лась неутолимая жажда любви. Он прекрасно заметил, как бросились на землю трое озорников — девочка и двое мальчишек. Скажите, пожалуйста, даже какие-то сопляки стремятся скрасить любовными утехами свою нищету. А он-то!.. Глаза у г-на Энбо предательски увлажнились, но он держался в седле как влитой, с военной выправкой, и ехал чопорный, важный, в наглухо застегнутом сюртуке.

— Фу ты, окаянные! — выругался Жанлен.— Да когда же этому конец будет? Валяй, Бебер! Тащи ее за хвост!

Но тут опять появились двое прохожих, и мальчишка выругался про себя, узнав голос старшего брата. Захарий рассказывал шагавшему рядом с ним Муке, как он нашел сорок су,— жена зашила монеты за подкладку юбки. Оба приятеля весело посмеивались, хлопая друг друга по плечу. Муке пришла в голову мысль устроить завтра состязание — поиграть в чижа. Большую можно устроить партию! Начать в два часа дня от заведения Раснера и двинуться в сторону Монтуара, добежать почти до самого Маршьена. Захарий согласился. А то что в самом деле? Довольно неприятностей с этой забастовкой. Надо и позабавиться, раз никто ни черта не делает! И они повернули было к шоссе, как вдруг их окликнул Этьен, подходивший со стороны канала; все трое остановились и о чем-то стали разговаривать.

— Да что они, ночевать, верно, здесь собираются! — возмущенно зашептал Жанлен.— Ведь стемнело совсем, старуха убирает свои мешки.

На дороге показался какой-то углекоп, направлявшийся к Рекильяру. Этьен пошел вместе с ним, и когда они проходили мимо изгороди, Жанлен услышал, что они говорят о сходке в лесу: ее отложили до завтра, так как боялись, что не успеют за один день оповестить все рабочие поселки.

— Вон оно что! — шепнул Жанлен двум своим подручным.— Завтра большое дело заварится. Надо туда пробраться. Верно? Под вечер сбегаем.

Как только дорога оказалась свободной, он погнал Бебера на промысел:

— Не робей! Дергай за хвост. Только осторожнее,— как бы старуха палкой не съездила.

На их счастье, совсем стемнело. Бебер, подпрыгнув, ухватился за треску, бечевка лопнула, и мальчишка помчался, размахивая рыбой, болтавшейся за его спиной на бечевке, как бумажный змей. Вслед за ним бежали во весь опор двое других. Удивленная лавочница вышла из своего ларька, не понимая, что стряслось, ее старческие подслеповатые глаза не различали в сумраке убегавшую стаю.

Эти воришки в конце концов стали бичом всей округи. Мало-помалу они завладели ею как орда дикарей. Сперва они ограничивались площадкой Ворейской шахты, возились на куче угля, слезали оттуда перемазанные, черные как негры, играли в прятки между штабелями крепежного леса, теряясь в проходах, как в девственном лесу. Затем они взяли приступом терриkон, скатывались с него по голому откосу, еще горячему от внутреннего пожара, или же забирались в кусты, покрывавшие старую часть отвала, и, юркнув в их чащу, как шаловливые мышата, часами сидели там тихонько, занявшись спокойными играми. С каждым днем они расширяли свои завоевания, забирались на склад кирпича, дрались там до крови, бегали по лугам и ели без хлеба всякие травы с сочными стеблями, копошились в тине у берегов канала, ловили рыбешек и поедали их сырыми; затем стали совершать дальние путешествия, за несколько километров,— в Вандамский лес, наедались там летом земляникой, а под осень — орехами и черникой. Вскоре они стали хозяйничать на всей огромной равнине.

Чаще всего они сновали по дорогам между Монсу и Маршьеном и, оглядывая все жадным взглядом, как голодные волчата, искали, что бы им стащить, все больше смелея в мародерских набегах. Атаманом по-прежнему оставался Жанлен, направлявший своих подначальных на поиски добычи: они опустошали луковые плантации, залезали в сады и огороды, воровали товары, выставленные у дверей лавок. Они действовали во всех окрестностях, а там обвиняли в хищениях забастовщиков, уверяли, что это орудует хорошо организованная шайка.

Однажды Жанлен даже заставил Лидию обворовать мачеху, и девчонка утащила у нее дюжины две палочек ячменного сахара из стеклянной банки, которая стояла на одной из полок в окне, служившем жене Пьерона витриной; мачеха избила ее, но девочка не выдала Жанлена — она трепетала перед ним. Обиднее всего было то, что при дележе он всегда брал себе львиную долю. Бебер тоже обязан был приносить ему все, что удавалось украсть, и почитал себя счастливым, если атаман не отнимал у него всю добычу целиком, наградив его вдобавок затрещинами.

С некоторого времени Жанлен стал злоупотреблять своей властью. Он колотил Лидию, как будто она была его женой, а Бебера, пользуясь его доверчивостью, втягивал во всякие неприятные приключения, обращая его в осла, на которого сыплются удары, и потешался над ним, хотя рослый крепыш Бебер был куда сильнее его и мог бы свалить его одним ударом кулака. Жанлен презирал их обоих, довел их до рабской покорности, рассказывал им всякие небылицы, уверил их, что у него есть возлюбленная — прекрасная принцесса, которой они недостойны показаться. И действительно.

за последние дни случалось, что он вдруг исчезал на углу улицы, на повороте тропинки или еще где-нибудь, с грозным видом приказав им немедленно возвращаться в поселок. Предварительно он всегда отбирал у них наворованное.

Так было и в тот вечер.

— Дай сюда! — сказал он, вырвав треску из рук Бебера, когда все трое остановились на повороте дороги, близ Рекильяра.

Бебер запротестовал:

— А мне? Я тоже хочу рыбы. Ведь это я ее стащил.

— Еще что? Захочу дам, а не захочу — получишь фигу. Нынче ни за что не дам. Завтра так и быть... если останется.

И, толкнув Лидию, поставил их в ряд, как солдат на смотру. Затем обошел их и сзади отдал приказ:

— Стойте пять минут. Оборачиваться не смейте... А если обернетесь — крышка! — вас сожрут звери... Через пять минут марш домой, да чтоб Бебер дорогой не смел лезть к Лидии, а то я все узнаю и завтра вздую обоих.

И вдруг он исчез, растаял в сумраке,— совсем не слышно было шагов его босых ног. Два раба долго стояли, не шевелясь, не оглядываясь,— а то повернешься, и невидимый Жанлен даст оплеуху. Они безумно боялись его, и этот страх постепенно соединил их взаимным чувством глубокого сострадания. Бебер всегда мечтал о Лидии. Вот бы схватить ее в объятия и крепко прижать к себе, как это делают взрослые парни и девушки. Хотела этого и Лидия — она чувствовала, что стала бы совсем иной, если б с ней обращались деликатно и ласково. Но ни Бебер, ни она не смели ослушаться Жанлена. И когда наконец оба двинулись к поселку, они не дерзнули поцеловаться, хотя было совсем темно; они чинно шли рядышком, преисполненные нежности и отчаяния, глубоко уверенные, что лишь стоит им коснуться друг друга, как сзади протянется рука и атаман надает им тумаков.

В этот самый час Этьен стоял у двора Рекильярской шахты. Накануне Мукетта упросила его прийти еще раз, и он пришел, так как, не желая себе в том признаться, питал теперь некоторую симпатию к этой девушке, страстно обожавшей его. Впрочем, он шел с намерением порвать с ней: вот они встретятся, и он ей все объяснит, скажет, чтобы она больше не гонялась за ним, а то ему неловко перед товарищами. Не время сейчас веселиться и тешиться, когда люди умирают с голоду. Не застав Мукетты, он решил дождаться ее и стоял у пустыря, всматриваясь в темноту.

Под остовом развалившегося копра открывался спуск в шахту. Черную дыру осеняло что-то похожее на виселицу — прямой столб с перекладиной наверху; из расщелин каменной кладки, сохранившейся вокруг отверстия, тянулись к небу два дерева — рябина

и платан, казалось, поднимавшиеся из глубины недр земных. Дикий заброшенный пустырь покрыт был травой и косматыми кустами — они скрывали пропасть, заваленную сверху старыми бревнами, заросшую терновником и боярышником, где весною малиновки свивали себе гнезда. Не желая тратить большие деньги на поддержание этой выработанной, мертвой шахты, Компания лет десять собиралась завалить ствол, но все тянула, выжидая, когда в Ворейской шахте установят вентилятор, так как вентиляционная камера обеих шахт, сообщавшихся между собой, находилась у подошвы Рекильярского шахтного колодца, и бывший запасной ход служил вытяжной трубой. Пока что только укрепили сруб шахтного ствола поперечными балками, перегородившими его пролет; верхние выработки забросили, поддерживали только самую нижнюю, в которой пылал адский огонь — огромная печь, набитая каменным углем, горевшим с такой мощной тягой, что из конца в конец соседней шахты дул ураганный ветер. Из осторожности, желая сохранить для Ворейской шахты возможность спуска и подъема по лестницам рекильярского запасного хода, отдали приказ содержать его в порядке, но, однако, никто этим не занимался, лестницы гнили от сырости, лестничные площадки обваливались. Вверху спуск в запасный ход закрывали большие кусты терновника; на первой лестнице не хватало нескольких ступенек, и, чтобы достать ногами до уцелевших ступеней, нужно было ухватиться за корни рябины и, повиснув в темноте, спрыгнуть наудачу вниз.

Этьен терпеливо ждал, стоя за кустом, и вдруг услышал долгий шорох в ветвях. Он подумал, что шуршит, уползая, испуганный уж. Но вот внезапно вспыхнул огонек спички, и Этьен остолбенел, увидев Жанлена: мальчишка зажег свечу и исчез, как будто провалился сквозь землю. Этьена взяло любопытство, он подошел к отверстию ствола; Жанлен скрылся,— только на второй площадке мерцал слабый свет. Замявшись было, Этьен последовал за ним: ухватился за корни, прыгнул вниз, и ему показалось, что он сейчас пролетит все пятьсот восемьдесят четыре метра глубины Рекильярской шахты,— и вдруг почувствовал под ногами площадку. Он стал потихоньку спускаться. Должно быть, Жанлен ничего не слышал — Этьен все время видел внизу, под собою, мерцающий огонек и огромную, мелькавшую на стенке ствола безобразную тень маленького калеки, ковылявшего на хромых ногах. Жанлен прыгал с ловкостью обезьяны, вытягивался всем телом вниз, когда не хватало ступенек, цеплялся за уцелевшие перекладины руками, ногами, даже подбородком. Лестницы, длиною в семь метров, следовали одна за другой. одни были еще крепкие, а некоторые шатались, трещали,— казалось, вот-вот обрушатся; одна за другой шли узкие площадки с позеленевшими, гнилыми и такими трухля-

выми настилами, что нога утопала в них, как во мху; а чем ниже спускались, тем удушливее становился накаленный воздух, тянувший из вентиляционной камеры; к счастью, во время забастовки печь топилась слабо, а когда шли работы, она пожирала по пяти тонн угля в день; тогда невозможно было бы спуститься сюда, не опалив себе волосы.

— Ах ты лягушонок поганый! — задыхаясь, бранился Этьен.— Да куда это он лезет?..

Два раза он чуть не сорвался — ноги скользили на мокрых ступеньках. Если бы хоть свечка была, а то он поминутно ушибался, спускаясь в темноте вслед за слабым огоньком, все убегавшим вдаль. Наверняка уже одолели двадцать лестниц, а спуск все еще не кончился. Этьен стал считать: двадцать одна, двадцать две, двадцать три,— но пришлось спускаться еще ниже, еще ниже. Голову ему так и жгло, как будто он попал в раскаленную печь. Наконец добрались до рудничного двора, и Этьен увидел, что огонек мелькает в квершлаге. Одолели тридцать лестниц,— значит, спустились на двести десять метров или около того.

«Долго он еще будет меня мучить? — думал Этьен.— Наверно, в конюшне устроил себе нору».

Но штрек, который вел влево, к конюшне, был загорожен обвалом. Путешествие продолжалось, все более тяжелое и опасное. Вокруг летали испуганные летучие мыши, прицеплялись к каменному своду. Этьену пришлось ускорить шаг, чтобы не потерять из виду огонек; он бросился в тот же ход, но там, где гибкий мальчишка проскальзывал, как змея, Этьен, пролезая, больно ушибался. Этот квершлаг, как и все заброшенные выработки, сузился и с каждым днем становился все уже — он сжимался под непрестанным напором оседавшей породы: в некоторых местах он стал узким, как кишка, и, несомненно, его стенкам вскоре предстояло сомкнуться. При этом постепенном сжатии крепление ломалось, раскалывалось; острые, как кинжалы, щепки грозили перепилить Этьену спину или проткнуть его насквозь. Этьен пробирался очень осторожно, то полз на коленках, то на животе, ощупывая темный проход впереди. Вдруг по всему его телу, от затылка до ног, промчалась стая крыс, словно убегавших от кого-то.

— Ах, разрази тебя гром! Скоро ли конец?..— задыхаясь, ворчал Этьен, чувствуя, что у него болят все кости.

Мученье кончилось. Пробрались вперед еще на километр: ход расширился и привел в превосходно сохранившуюся выработку — в откаточный штрек, высеченный прямо в твердой породе и похожий на естественную пещеру. Этьену пришлось остановиться: он увидел вдалеке, что Жанлен преспокойно укрепил свечу двумя камнями и располагается с удобствами, явно чувствуя облегчение,

словно человек, вернувшийся к себе домой. Этьену сразу бросилось в глаза, как много мальчишка потрудился, чтобы обратить этот глухой подземный тупик в удобное жилище. В углу на земле лежала куча сена, служившая мягкой постелью, на столе, сделанном из старых досок, нашло себе место всякое добро: хлеб, яблоки, початые бутылки можжевеловой водки. Настоящая разбойничья пещера, в которую он неделями таскал свою воровскую добычу, даже и бесполезные вещи,— например, мыло и ваксу для сапог, украденные просто ради удовольствия красть; юный грабитель эгоистически, в полном одиночестве, наслаждался здесь своими сокровищами.

— Эй ты, малый! Смеешься, что ли, над людьми,— крикнул Этьен, передохнув немного.— Лазаешь сюда и пируешь, а мы там, наверху, с голоду подыхаем.

Жанлен оторопел, затрясся от страха, но, узнав Этьена, быстро успокоился.

— Хочешь со мной пообедать, а? — спросил он.— Кусочек вяленой трески?.. Погляди-ка!

Жанлен так и не выпустил из рук добычу и теперь принялся аккуратно счищать ножом с трески мушиные следы; щегольской нож с костяным черенком похож был на маленький кинжал,— обычно рукоятки таких ножей бывают украшены каким-нибудь девизом; на этом написано было одно слово: «Любовь».

— Красивый нож! — заметил Этьен.

— Лидия подарила,— ответил Жанлен, позабыв добавить, что Лидия, по его приказанию, украла этот нож в Монсу у разносчика, расположившегося со своим лотком у пивной «Сорвиголова».

И, очищая треску, добавил с гордостью:

— А хорошо у меня тут, правда? Куда теплее, чем наверху, и пахнет лучше.

Этьен сел на корточки около Жанлена. Ему было любопытно побеседовать с ним. Теперь он не чувствовал гнева против Жанлена, его даже интересовал мерзавец мальчишка, такой смелый и изобретательный в своих гнусных проделках. И в самом деле, в этой глухой норе было хорошо: не очень жарко — температура во всякое время года была ровная, тепло, как в бане, хотя на дворе стояла суровая декабрьская стужа, от которой у бедняков руки покрывались кровоточащими трещинами. С течением времени старые выработки очистились от вредных газов, весь гремучий газ вышел, и теперь тут чувствовался только запах гнилого дерева, запах брожения, эфира и еще какой-то пряный запах, похожий на аромат левкоя. И крепление тоже приобрело своеобразный вид: древесина стала похожа на пожелтевший мрамор, украсилась бахромой, фестонами из пушистой белой плесени, протянувшей по

столбам свои шелковистые драпировки с позументами и бисером. На дощатой обшивке топорщились грибы. Вокруг летали белые бабочки, мухи, ютились пауки — обесцвеченная фауна, не знавшая солнца.

— Ну как? Не боязно тебе?

Жанлен с удивлением посмотрел на него.

— Боязно? А чего же бояться, раз я тут один.

Он уже успел отскоблить рыбу, разжег маленький костер и поджарил треску на углях. Затем разломил надвое хлеб. Треска была ужасно соленая, но для здорового желудка представляла собою превосходное кушанье.

Этьен принял свою долю.

— Ну теперь я не удивляюсь, что ты поправился, когда мы все исхудали. Но только ты поступаешь по-свински — наедаешься в одиночку. О других тебе, значит, и заботы нет?

— Ну и что? А зачем они такие дураки?

— Впрочем, хорошо, что ты прячешься. Ведь если б отец узнал, что ты воруешь, задал бы он тебе трепку.

— Ну и зря... Буржуи-то обкрадывают нас, верно? Ведь ты сам всегда это говоришь. Стащил я каравай хлеба у Мегра,— так, можно сказать, свое взял, долг получил.

Этьен удивленно уставился на мальчика, прожевывая хлеб... Как будто впервые он видел его мордочку, зеленые узкие глазки, большие оттопыренные уши. Заморыш, на котором лежит печать вырождения, темный неразвитый ум, зато полон дикарской хитрости, и постепенно в нем пробуждаются древние животные инстинкты. Шахта, в которой он рос, докопала его, переломав ему ноги.

— А Лидия? — спросил Этьен.— Ты иной раз приводишь ее сюда?

Жанлен презрительно засмеялся:

— Девчонку-то? Как бы не так! Бабы болтливы.

И он долго смеялся, преисполненный глубочайшего презрения к Лидии и Беберу. Видали вы еще таких простофиль? Какой чепухи им ни наплетешь, они всему верят. И при мысли, что они ушли с пустыми руками, а он сидит тут в тепле и ест треску, Жанлен хихикал от удовольствия. А в заключение сказал с важностью мудреца:

— Одному лучше быть, по крайней мере без ссор живешь.

Этьен доел свою краюшку. Потом выпил глоток можжевеловой водки. Пришла было в голову мысль, не следует ли отплатить Жанлену за его гостеприимство черной неблагодарностью: вытащить его за ухо на поверхность да приказать, чтоб впредь не занимался воровством, а иначе обо всем будет доложено отцу. Но, разглядев

хорошенько это глубокое подземелье, он пришел к другим соображениям: как знать, не пригодится ли оно как убежище для товарищей или для него самого, если там, наверху, дело обернется плохо? Он взял с Жанлена честное слово, что больше тот не будет пропадать из дому по ночам, как это случалось, когда он заспится тут, на сене, и, захватив с собою огарок, Этьен ушел первым, предоставив мальчишке спокойно заняться уборкой и прочими хозяйственными делами.

Мукетта, поджидая его, сидела на упавшей балке, мерзла и все-таки не уходила. Увидев Этьена, она бросилась ему на шею, но он, словно нож вонзил ей в сердце, сказал, что решил больше с ней не видеться. Боже ты мой! Да почему же? Иль она мало любила его? Чтобы не поддаться искушению заглянуть в ее комнату, он увел Мукетту на дорогу и, стараясь говорить как можно мягче, объяснил, что эта связь вредит ему в глазах товарищей, вредит и политическому делу, которому они все служат. Мукетта удивилась: какое это имеет отношение к политическим делам? Наконец ей пришла мысль, что Этьен просто стыдится своей связи с ней; и она не обиделась, сочла это вполне естественным, даже предложила выход из положения: пусть он даст ей при всех оплеуху, пусть люди думают, что между ними все кончено, а он все-таки будет встречаться с ней, хоть изредка, хоть на минутку. Она молила его, клялась, что будет благоразумной и задержит его минут пять, не больше. Он был растроган, но все же отказался. Так надо. На прощанье он решил поцеловать ее. Шаг за шагом они дошли по дороге до первых домов Монсу и, остановившись, крепко обнялись. Было светло, на них падал яркий лунный свет; вдруг какая-то женщина, проходившая мимо, отпрянула в сторону, словно споткнулась о камень.

— Кто это? — встревожился Этьен.

— Катрин,— ответила Мукетта.— Из Жан-Барта возвращается.

Женщина шла, низко опустив голову, усталой походкой и казалась очень утомленной. Этьен смотрел на нее в отчаянии — она увидела его и, конечно, узнала. На совести у него стало неспокойно, словно он был виноват перед ней. А в чем, спрашивается? Ведь у нее есть возлюбленный. Разве сама она не доставила Этьену такое же страдание, когда возвращалась из Рекильяра, где впервые отдалась Шавалю? Значит, теперь Этьен отплатил ей той же монетой, только и всего. Однако от таких рассуждений тоска не проходила.

— Знаешь, что я тебе скажу? — прошептала Мукетта, когда Катрин уже была далеко.— Ты потому и не хочешь больше видеться со мной, что другая у тебя на сердце.

На следующее утро погода выдалась прекрасная — голубое небо, ясный и студеный зимний день. Подмерзшая земля звенела под ногами, как хрустальная. Жанлен удрал из дому в час дня; но ему пришлось довольно долго ждать Бебера в условленном месте — за церковью, и они чуть было не отправились вдвоем, без Лидии, так как мачеха опять заперла ее в подвал. Все же девочку выпустили на волю, надели ей на руку корзину и велели принести листьев одуванчика, а иначе ее снова запрут в подвал, и она будет ночевать там вместе с крысами. Лидия перепугалась и хотела тотчас же отправиться за листьями для салата. Жанлен отговорил: нечего спешить. Там видно будет. Его давно подмывало потешиться над Польшей, толстой крольчихой Распера. Как раз, когда они проходили мимо «Выгоды», крольчиха вышла на дорогу. Жанлен подскочил, схватил ее за уши, засунул в корзину Лидии, и трое озорников умчались. Вот-то будет потеха! Погнать ее камнями, и пусть бежит, как собачонка, до самого леса.

Но дорогой они остановились посмотреть, как Захарий и Муке, выпив по кружке пива с двумя приятелями, приступили к состязанию. Ставкой была новая фуражка и красный шейный платок,— хранителем их избрали Распера. Четыре игрока — двое на двое — начали первый кон — от Воре́ до фермы Пайо, около трех километров; победителем тут оказался Захарий — у него чиж пролетел это расстояние с семи ударов, тогда как Муке держал пари на восемь. Чижа — самшитовую чурочку с закругленным кончиком — положили на мостовую носиком вверх. Каждый держал на изготовке длинную клюшку с изогнутым, окованным железом концом и рукоятью, туго обмотанной бечевкой. Игра началась в два часа дня. Мастерским ударом — в три приема (ударил, поддел и отбил) — Захарий послал чижа дальше, чем на четыреста метров, в свекловичное поле; вести эту игру в деревнях или на дорогах запрещалось, из-за нее не раз бывали жертвы. Муке, тоже крепкий парень, послал чижа одним ударом в обратном направлении на сто пятьдесят метров. И пошла игра: одна партия бросала чижа вперед, другая — отбивала назад, игроки мчались во всю прыть, выворачивая себе ноги в мерзлых бороздах вспаханной земли.

Сперва Жанлен, Бебер и Лидия бежали за игроками, восхищаясь мощными ударами их клюшек. Потом вспомнили о Польше, которую от их прыжков подбрасывало в корзине, и, оставив наблюдение за игрой, выпустили крольчиху, чтобы посмотреть, быстро ли она бегает. Пленница помчалась, они кинулись за ней вдогонку, и целый час шла охота, сумасшедшая беготня, крутые повороты, дикие вопли для устрашения опалевшей крольчихи, неистовые взмахи жадных рук, тщетные попытки схватить несча-

этого зверька. Не будь крольчиха беременной, им бы ни за что ее не поймать.

Охотники остановились передохнуть, и тут до них донеслась громкая брань — они вновь очутились среди игроков, причем Захарий чуть не пробил голову своему брату Жанлену. Игроки вели четвертый кон: от фермы Пайо они добежали до Четырех дорог, затем от Четырех дорог до Монтуара, а теперь в шесть ударов должны были добежать до Коровьей развилки. За час они проделали путь в два с половиной лье, успев за это время выпить по кружке в кабачке Венсана и в распивочной «Три волхва». Игру на этом перегоне вел Муке. Ему осталось сделать еще два удара, победа наверняка была на его стороне, как вдруг Захарий, пользуясь своим правом отгонять противника, с хохотом отбил чижа и так ловко, что он упал в глубокую канаву. Партнеру Муке не удалось вышвырнуть чижа оттуда — сущее несчастье! Поднялся крик: все четверо страшно волновались, так как у противников счет был теперь равный, и приходилось начинать игру сначала. От Коровьей развилки до бугра Паленая Трава оставалось не больше двух километров. Там они предполагали освежиться у Лерепара.

Жанлена вдруг осенила удачная мысль. Как только игроки умчались дальше, он достал из кармана веревочку и привязал ее к задней лапке крольчихи. Началась забава! Крольчиха пыталась убежать от тройки сорванцов и с таким усилием ковыляла, дергала, выворачивала ногу, у нее был такой жалкий вид, что они хохотали до упаду. Затем от лапы веревочку отвязали, привязали крольчиху за шею, чтобы она могла прыгать, а когда она совсем выбилась из сил, стали волочить ее, то вниз животом, то спиной, и она катилась по земле, как живая тележка. Они забавлялись больше часа, а потом, у леса Крюшо, опять услышали голоса игроков и тогда мигом засунули полумертвую крольчиху в корзину.

Теперь Захарий, Муке и двое остальных пробегали километр за километром, от кабака до кабака, отмечавших конец каждого перегона, и, делая там короткую передышку, выпивали по кружке пива. От Паленой Травы примчались к Бюши, затем к Каменному Кресту, затем к Шамбле. Земля звенела под их мелькающими ногами; они без устали преследовали чижа, отпрыгивавшего от мерзлой земли; погода для игры была превосходная, никто не увязал в грязи, грозила только опасность переломать себе ноги. В сухом воздухе мощные удары клюшки звучали, как выстрелы. Мускулистые руки крепко сжимали рукоятку, обмотанную бечевкой, все тело напрягалось, словно игрок мощным ударом оглушал быка, и так длилось несколько часов, так мчались они с одного конца равнины до другого: через все преграды, через канавы, живые изгороди, откосы дорог, ограды крестьянских усадеб. Для этих

скачек с препятствиями нужно было иметь очень здоровые легкие и стальные мышцы ног. Забойщики, у которых суставы заржавели в шахте, со страстью вели эту игру. Иные двадцатипятилетние парни, отчаянные любители чижа, пробегали в игре по десять лье. Сорокалетние были слишком тяжелы для таких состязаний и не гоняли чижа.

Пробило пять часов, уже смеркалось. Еще один кон — до Вандамского леса, и тогда решится, кто выиграл фуражку и платок, и Захарий, с обычным своим насмешливым равнодушием к политике, зубоскалил, что забавно будет влететь с чижом на сходку. Что касается Жанлена, он с той минуты, как вышел с приятелями из поселка, метил попасть в Вандамский лес, хотя и делал вид, что занят только погоней за крольчихой. Он с возмущением погрозил кулаком Лидии, когда она, терзаясь угрызениями совести, напомнила, что пора возвратиться в Воре́ и нарвать листьев одуванчика. Да что она? Разве можно пропустить сходку? Жанлену хотелось послушать, как будут говорить старики. Он подтолкнул Бебера и предложил для развлечения отвязать в дороге крольчиху и, пустив ее по полю, обстрелять камнями. У него зрела тайная мысль убить ее — захотелось полакомиться жареной крольчатиной под землею, в Рекильярской шахте. Крольчиха вновь поскакала, поводя носом и заложив назад длинные уши; и тотчас камень ободрал ей спину, другой оторвал короткий хвостик, и хотя совсем стемнело, она наверняка не уцелела бы, если б ее преследователи не увидели на лесной поляне Этьена и Маэ. Тогда юные живодеры набросились на крольчиху и снова засунули ее в корзину. И почти в ту же самую минуту прибежали Захарий, Муке и двое их подручных; в последний раз клюшка ударила по чижу, и он упал в нескольких шагах от поляны. Игроки очутились на сходке.

Лишь только стало смеркаться, по дорогам, по тропинкам, избороздившим голую равнину, двинулись со всей округи молчаливые фигуры,— иные без спутников, другие группами; все направлялись к лесу, выделявшемуся вдали лиловатой полосой. Рабочие поселки опустели — женщины и даже дети, словно на прогулку, шли в Вандамский лес под необъятным безоблачным небом. Становилось все темнее, и уже нельзя было различить на дорогах эту толпу углекопов, стекавшихся к одной цели; слышен был лишь топот ног, смутно виднелась темная масса людей, охваченных единодушным порывом. В проходах между живыми изгородями, в зарослях кустов слышен был только легкий шорох, неясный гул голосов.

Господин Энбо возвращался с прогулки и, проезжая верхом на лошади, прислушивался к этому отдаленному шуму. Навстречу ему попадались парочки и целые вереницы людей, которые не

спеша прогуливались в прекрасный зимний вечер. И снова ему бросались в глаза влюбленные — он видел, как они жадно прижимались друг к другу поцелуем и скрывались в тени под изгородями, где, несомненно, предавались любовным утехам — единственному и к тому же даровому удовольствию этой голытьбы. Да как эти дураки еще смеют жаловаться на свою участь! Ведь у них есть возможность полной чашей пить наслаждения любви. А существует ли иное счастье на земле? Г-н Энбо с радостью согласился бы голодать так же, как они, если бы мог заново начать жизнь с какой-нибудь женщиной, которая отдавалась бы ему на куче щебня со всею силой страсти, всем своим существом. Нет ему, несчастному, утешения! Как не завидовать этим беднякам! Опустив голову, он возвращался домой, придерживая лошадь, с отчаянием в сердце прислушиваясь к шорохам, доносившимся с темных полей, ибо ему чудились в них звуки поцелуев.

VII

Сходка собралась в Бабьем логу, на широкой, недавно вырубленной лесной просеке. Эта просека тянулась по пологому склону и окружена была высокими деревьями, прямые ровные стволы великолепных буков высились вокруг нее белой колоннадой, расписанной зеленоватым узором лишайника; на траве еще лежали поваленные исполины, а с левой стороны выстроились геометрически правильными кубами штабеля обтесанных бревен.

К вечеру стужа усилилась, под ногами хрустел замерзший мох. На земле было совсем темно, зато верхушки деревьев четко вырисовывались в светлом небе,— полная луна поднималась над горизонтом, готовясь затмить бесчисленные звезды.

Собралось около трех тысяч углекопов; огромный, гудящий рой — мужчины, женщины, дети — постепенно заполнил всю просеку; для тех, кто пришел позднее, не нашлось на ней места — они стояли вдали, под деревьями, а люди все прибывали и прибывали, толпа, утопавшая во мраке, все ширилась и живыми волнами заливала смежные делянки.

Раздавался невнятный гомон огромной толпы,— казалось, в этом недвижном заиндевелом лесу загудел ветер, предвещавший бурю. На верху ската стояли Этьен, Раснер и Маэ. У них шел спор, слышались резкие выкрики. Около споривших теснились другие углекопы: Левак, сердито сжимавший кулаки, Пьерон, поровнявшийся держаться спиною к зрителям и крайне огорченный, что ему не удалось подольше протянуть свою мнимую лихорадку; по соседству сидели рядышком на повалившемся сухом дереве старик

Бессмертный и Мук, оба, казалось, погруженные в глубокую задумчивость. Позади них пристроились зубоскалы Захарий, Муке и прочие, явившиеся на сходку просто из любопытства — «для смеха», как они говорили; резкую противоположность им представляли собравшиеся вместе женщины — строгие, сосредоточенные, как в церкви. Жена Маэ молча кивала головой, слушая приглушенную ругань жены Левака. Филомена кашляла — зимой у нее опять начался бронхит. Только Мукетта, сверкая зубами, весело смеялась, одобряя старуху Горелую, на все корки честившую свою дочь за то, что она, негодница, нарочно отсылает мать из дому, а без нее обжирается жареной крольчатиной, и за то, что она, шкура продажная, живет приневаючи, пользуясь подлостью своего мужа. А на штабель бревен взобрался Жанлен, подтянул к себе Лидию, приказал Беберу вскарабкаться к ним, и все трое торчали наверху, возвышаясь надо всеми.

Ссору затеял Раснер, требуя, чтобы на сходке был по всем правилам выбран президиум. Поражение, которое он потерпел в «Смелом весельчаке», привело его в бешенство, он дал себе клятву одолеть противника и надеялся завоевать былой свой авторитет, когда будет иметь дело не с делегатами, а непосредственно с рабочими массами. Этьен с возмущением отверг мысль об избрании президиума, считая нелепым делать это в лесу. Надо действовать революционно и попросту, раз их травят, как волков. Видя, что спору конца не будет, он разом завладел аудиторией — взобрался на высокий пень и крикнул:

— Товарищи! Товарищи!

Неясный гомон словно сменился долгим вздохом и затих, и пока Маэ старался унять протестовавшего Раснера, Этьен продолжал звучным голосом:

— Товарищи! Раз нам запрещают говорить, насылают на нас жандармов, словно мы душегубы, разбойники, давайте потолкуем в лесу! Здесь мы на свободе, здесь мы как у себя дома, никто не ворвется сюда и не заставит нас замолчать, так же как никто не заставит умолкнуть птиц и зверей.

В ответ раздались громовые возгласы и крики:

— Да, да, это наш лес! Мы имеем право тут побеседовать. Говори!

Мгновенье Этьен молчал. Луна, еще стоявшая низко над горизонтом, по-прежнему освещала лишь вершины деревьев, а притихшая, безмолвная толпа тонула в темноте. Этьен, стоявший у верхушки ската, возвышался над морем голов, вырисовываясь черным силуэтом.

Медленным движением он поднял руку и начал свою речь. Но голос его не гремел раскатами, он говорил спокойно, деловым то-

ном, как доверенное лицо народа, отдающее ему отчет. Наконец-то он мог произнести ту речь, с которой полицейский комиссар помешал ему выступить в «Весельчаке». Он начал с изложения хода забастовки, стараясь держаться того особого красноречия, которое свойственно научным трудам: факты, только факты. Сначала сказал, что он, как и все углекопы, был против забастовки; углекопы не хотели забастовки — дирекция сама ее вызвала новым своим тарифом на крепежные работы. Затем он напомнил о том, как была направлена к директору первая делегация, как бессовестно поступило правление, и о том, как позднее, при вторичных переговорах, оно сделало запоздалые уступки, согласившись вернуть углекопам те два сантима с вагонетки, которые сначала попыталось украсть у них. Так обстоит дело. Касса взаимопомощи опустела, и Этьен, приведя цифры, доложил, куда ушли фонды, сказал, на что израсходованы присланные пособия, в нескольких словах извинил Интернационал, Плюшара и других, сказав, что они не могли сделать больше для забастовщиков, ибо поглощены заботами о распространении своих идей во всем мире. Итак, положение ухудшается с каждым днем; Компания увольняет углекопов и грозит нанять рабочих в Бельгии; кроме того, она запугивает слабодушных и уговорила некоторое количество углекопов возобновить работу. Этьен перечислял все это ровным голосом, словно хотел подчеркнуть значение этих дурных вестей, говорил о всепобеждающем голоде, о погибших надеждах, о последних лихорадочных усилиях мужественных борцов. И вдруг, в заключение, не повышая голоса, сказал:

— И вот при таких обстоятельствах вы должны, товарищи, принять нынче вечером решение. Хотите вы продолжать забастовку? И если хотите, что рассчитываете вы сделать, чтобы одолеть Компанию?

С широкого звездного неба спустилась глубокая тишина. Толпа, которую не видно было в темноте, безмолвствовала; у всех стеснилось сердце от слов Этьена; в лесу под деревьями слышны были лишь тяжкие вздохи.

Но Этьен продолжал свою речь, и голос его зазвучал иначе. Теперь говорил не секретарь ассоциации, а глава восставших, апостол, возвещающий истину. Неужели среди углекопов найдутся подлецы, способные изменить своему слову? Как! Люди страдали целый месяц, и муки их будут напрасны? Склонив голову, забастовщики вернутся на работу, и вновь начнется вековечная каторга? Не лучше ли погибнуть сейчас же, попытавшись свергнуть тиранию капитала, который морит трудящихся голодом? Не может дольше продолжаться нелепая игра, в которой голод заставляет людей терпеть и покоряться,— до тех пор пока тот же голод вновь приведет даже самых кротких к восстанию. Этьен говорил о том,

как Компания эксплуатирует углекопов, как на них, и только на них одних, падает вся тяжесть промышленного кризиса, как им приходится голодать, когда из соображений конкуренции хозяева понижают себестоимость угля. Нет, новую систему оплаты крепежных работ принять невозможно — это скрытый способ урезать заработную плату. Компания хочет ежедневно красть у каждого углекопа по часу его работы. Ну, это уж слишком! Настало время, когда обездоленные, доведенные до крайности, добьются справедливости.

Он умолк, простирая вверх руки. При слове «справедливость» толпа вдруг затрепетала, всколыхнулась, раздались рукоплескания, прокатившиеся по лесу, словно шорох сухих листьев под внезапным порывом ветра. Люди кричали:

— Справедливость!.. Настало время!.. Справедливость!

Постепенно Этьен разгорячился. Он не был речист, как Раснер, который с легкостью краснобая нанизывал фразу за фразой. Зачастую ему недоставало слов, он строил корявые предложения, путался и, выходя из затруднения, резко вздергивал плечом. Но хоть он и спотыкался на каждом шагу, ему на ум приходили образы, исполненные энергии и всем близкие, захватывавшие слушателей; образны были и его жесты — жесты рабочего, занятого делом: то он откидывал локти назад, то вдруг выбрасывал вперед сжатые кулаки и, вытягивая шею, выдвигал подбородок, словно готов был укусить врага,— все это производило необыкновенное впечатление. Все его хвалили: «Ростом невелик, зато как заговорит, не наслушаешься».

— Наемный труд — это новая форма рабства,— произнес он более взволнованно.— Шахты должны принадлежать шахтеру, как море принадлежит моряку, а земля — крестьянину... Поймите же! Шахты принадлежат вам, всем вам, ибо за целое столетие вы купили их ценою своей крови и своих страданий.

Он смело подошел к запутанным правовым вопросам, к специальным законам о копях и рудниках. Недра земли, так же как и земля, говорил он, должны быть достоянием нации: монопольное право на разработку недр, представляемое акционерным обществам,— это гнусная привилегия; и в отношении Монсу это тем более верно, что здесь так называемое законное пользование месторождением угля осложняется давними договорами, заключенными с владельцами бывших феодальных поместий, согласно древним обычаям провинции Эно. Следовательно, углекопам нужно отвоевать свое добро. И, протягивая руки, он указывал вдаль, словно охватывал весь край, простиравшийся за лесом.

В это мгновение свет луны, поднявшейся над горизонтом, скользнул с верхушек деревьев и осветил оратора. И когда толпа,

еще сокрытая в темноте, увидела, как он, в ореоле лунного сияния, простирает руки, дабы оделить бедняков всеми благами жизни,— вновь раздались долгие, восторженные рукоплескания:

— Верно! Правильно! Молодец!

А дальше Этьен пустился в излюбленные свои рассуждения. Передача средств производства в коллективную собственность, несколько раз повторил он, и сама угловатость фразы ласкала его слух. К этому времени его взгляды установились. Начав с благоговейного умиления неофита перед идеями братства людей, улучшения условий наемного труда, он пришел к политической идее — о необходимости уничтожить наемный труд. Со времени собрания в «Смелом весельчаке» его коллективизм, еще сентиментальный и расплывчатый, стал более четким и вылился в сложную программу, которую он и излагал теперь, давая научное обоснование каждому ее пункту. Во-первых, он заявил, что свободы можно достигнуть лишь путем полного уничтожения государственного строя. А когда народ захватит власть, начнутся преобразования: возвращение к первобытной коммуне, замена семьи, основанной на ханжеской морали и угнетении, семьей, где царствует свобода и равенство; полное равенство в правах гражданских, политических и экономических; независимость личности, обеспечиваемая всеобщим владением средствами производства и продуктами труда; наконец бесплатное профессиональное образование за общественный счет. Все это вызовет полную переделку старого, прогнившего общества. Оратор нападал на брак, на право наследования, устанавливал право каждого на благосостояние, низвергал все беззакония — памятник многовекового мертвого прошлого. И говоря это, он делал один и тот же жест: взмахивал одной рукой, словно под корень срезал поспевшую жатву, и тотчас другой рукой строил грядущее, воздвигал храм истины и справедливости, который возникает на заре двадцатого столетия. В его напряженной внутренней работе рассудок не участвовал — осталась лишь навязчивая идея фанатика. Все преграды чувствительности и здравого смысла были отброшены; казалось, ничего нет легче, как осуществить полную переделку мира; оратор все предвидел и говорил об этом новом обществе, словно о машине, которую можно собрать за два часа; и тут ни огонь, ни кровь не имели никакого значения.

— Настала наша очередь! — бросил он последний клич.— Нам должны принадлежать и власть и богатство!

В лесной чаще загремели и докатились до него крики восторга. Луна заливала теперь ярким сиянием всю просеку, четко обрисовывая море голов, захлестнувшее своими волнами даже густую поросль, темневшую вдали, между сероватыми стволами высоких буков. И эта морозная ночь явила картину ярости народной: по-

всюду пылающие лица, сверкающие глаза, раскрытые в неистовом крике рты; изголодавшиеся люди — мужчины, женщины, дети — откликнулись на призыв совершить справедливое насилие, отбить отнятое у них добро. Они не чувствовали холода, от пламенных речей у них все горело внутри. В благоговейном восторге они вознеслись над землей и, подобно первым христианам, полны были страстной надежды на скорое пришествие царства справедливости. Смысл многих фраз остался для них темным; им непонятны были технические и отвлеченные рассуждения, но от самой этой неясной отвлеченности ширились пределы Земли обетованной, озаренной ослепительным светом мечты. Ах, что ждет их впереди! Они станут хозяевами, избавятся от страданий, будут наконец наслаждаться жизнью.

— Правильно, черт их дери! Настала наша очередь! Смерть эксплуататорам!

Женщины были как в бреду; жена Маэ утратила обычную свою выдержку, от голода у нее кружилась голова; жена Левака вопила громче всех; старуха Горелая, похожая на колдунью, в исступлении размахивала костлявыми руками; Филомена раскашлялась, а Мукетта до того воспламенилась, что кричала оратору нежные слова. Волнение захватило и мужчин. Маэ издавал гневные возгласы, один его сосед — Пьерон — дрожал от страха, а другой — Левак — в лихорадочном возбуждении говорил не умолкая; только зубоскалам, Захарию и Муке, было не по себе — они пытались насмешничать и выражали удивление, что Этьен мог говорить так долго, не выпив ни одного глотка пива. А на штабеле бревен визжал и бесновался Жаплен и, заставляя орать Лидию с Бебером, размахивал корзинкой, в которой сидела полумертвая крольчиха Польша.

Вновь раздались приветственные крики. Этьен изведал, какое опьяняющее наслаждение дает популярность. Какой властью он обладал! Живым ее воплощением стала вот эта трехтысячная толпа, где у всех при каждом его слове бьется от волнения сердце. Если бы сюда пожаловал Суварин, он одобрил бы идеи, которые развивал Этьен, распознав в них свои собственные взгляды, и был бы доволен, что развитие его ученика пошло в сторону анархизма; Суварин согласился бы с его программой, за исключением требования всеобщего образования, так как считал это сентиментальным вздором, усматривая в невежестве святой и спасительный источник возрождения человеческой энергии. Что касается Раснера, он презрительно и злобно пожимал плечами.

— Дай мне слово! — крикнул он Этьену.

Тот спрыгнул с пня.

— Говори. Посмотрим, станут ли тебя слушать.

«Жерминаль».

Раснер мигом занял его место и протянул руку, чтобы восстановить тишину. Но шум все не затихал; от первых рядов, где узнали Раснера, его имя прокатилось до последних рядов, терявшихся в тени, под буками; слушать его не желали,— он был низвергнутым кумиром, один его вид раздражал прежних почитателей. Его благодушное красноречие, поток слов, текущих так легко, плавно, так долго очаровывавший людей, теперь называли тепленьким отваром из маковых головок — для усыпления трусов. Тщетно пытался он говорить в поднявшемся шуме, надеясь и на этом собрании выступить, как всегда, с успокоительной речью, убедить, что внезапным провозглашением новых законов мир переделать невозможно, надо подождать, пока произойдет необходимая социальная эволюция. Его высмеяли, освистали; поражение, которое он потерпел в «Смелом весельчаке», углубилось, стало непоправимым. Под конец в него стали бросать пригоршнями замерзшего мха, а какая-то женщина крикнула пронзительным голосом:

— Долой изменника!

Раснер все старался внушить, что шахта не может быть собственностью шахтера, как ткацкий станок для ткача,— нет, гораздо лучше добиться участия рабочего в прибылях, материальной его заинтересованности в успехе предприятия, где он будет как бы родным сыном.

— Долой предателя! — раздался тысячеголосый крик, и в оратора полетели камни.

Раснер побледнел, от отчаяния у него слезы выступили на глазах. Ведь это было крушение всей его жизни: двадцать лет товарищеской близости с рабочими и честолюбивые замыслы — все рухнуло из-за черной неблагодарности толпы. Он слез с пня, пораженный в самое сердце, не имея сил продолжать свою речь.

— Тебе смешно? — заикаясь, сказал он торжествующему Этьену.— Хорошо! Желаю и тебе это испытать! Так оно и будет... Слышишь?

И, словно решив сбросить с себя бремя ответственности за все беды, которые он предвидел, Раснер широко взмахнул рукой и ушел, шагая в одиночестве по безмолвному, белому от инея полю.

Его проводили улюлюканьем, и вдруг, ко всеобщему удивлению, на пень взобрался старик Бессмертный, пытаясь что-то сказать среди оглушительного гама и шума. До этой минуты и Мук и он сидели тихонько, с обычным своим задумчивым видом, как будто погрузившись в мысли о далеких днях. Вероятно, он поддался внезапному приливу словоохотливости, порою с такой силой ворошившему в его душе прошлое, что он часами изливал свои воспоминания в бессвязных речах.

Настало глубокое молчание, все слушали старика, бледного

при лунном свете, как смерть; слушали с изумлением, которое все усиливалось, так как его длинные, никому не понятные истории не имели непосредственной связи с обсуждавшимися вопросами. Он говорил о своей молодости, о том, что двое его дядьев погибли под обвалом в Ворейской шахте, потом перешел к смерти своей жены, которую унесло воспаление легких; однако ж он не отступал от своей всегдашней мысли: не было и не будет никогда беднякам счастья. Вот, например, собралось в лесу на сходку пятьсот углекопов, потому как король не пожелал сократить многочасовой рабочий день, но тут же старик спутался и стал рассказывать о другой забастовке: он-то перевидал их на своем веку! Все забастовки приводили ворейских углекопов в этот лес — вот сюда, в Бабий лог, а других — в Угольную печь, а тех, кто подальше,— в Волчью яму. Иной раз, бывало, морозит, а иной раз жара стоит. А как-то вечером полил дождь, до того сильный, что так и разошлись люди по домам, ничего друг дружке не сказав. А все равно — прилют королевские войска, начнут солдаты из ружей стрелять, и на том все и кончится.

— Мы, бывало, руку поднимаем — вот так — и клятву даем: не спустимся, мол, в шахту... Да, и я клятву давал... Да, давал клятву!

Люди слушали с чувством удивления и какой-то тяжелой неловкости, как вдруг Этьен, следивший за этой сценой, вспрыгнул на срубленное дерево и встал рядом со стариком. Он заметил Шаваля в первом ряду, среди друзей. Значит, где-то здесь стоит и слушает Катрин, и мысль об этом вновь его воспламенила: ему так хотелось стяжать при ней лавры успеха.

— Товарищи! — воскликнул он.— Сейчас вы слышали одного из наших старейших рабочих. Вот сколько он выстрадал. Помните, что так же страдать будут и наши дети, если мы не покончим с грабителями и палачами.

Речь его была грозной; еще никогда он не говорил с такой неистовой яростью. Одной рукой он поддерживал старика Бессмертного, он выдвигал его как знамя нищеты и скорби, он страстно взывал об отмщении. Короткими, энергичными фразами он описал историю семейства Маэ,— начиная от первого углекопа Маэ; он показал, что вековая работа на шахте изнурила всю эту семью, что Компания Монсу, отняв у нее и силы и здоровье, теперь обрекла ее на существование еще более голодное, чем сто лет назад; а этой нищете он противопоставил толстобрюхих, откормленных хозяев, всю шайку акционеров, которые целое столетие живут, не ведая труда, словно содержанки, и кутят напропалую. Разве это не возмутительно? Тысячи людей, и отцы и дети, надрываются на каторжной работе под землей для того, чтобы прав-

ление давало взятки министрам да чтобы потомственные аристократы и буржуи задавали пиры или жирели бы дома, сидя у камелька! Недаром Этьен прочел и даже изучил книгу о болезнях углекопов — теперь он описывал их с ужасающими подробностями: белокровие, золотушные язвы и опухоли, поражение бронхов, астма, которая душит больного, жестокий ревматизм, сковывающий его тело. Несчастных углекопов обращали в машины, держали их в рабочих поселках, как скот в загонах, крупные акционерные компании мало-помалу закрепощали их, узаконивали это рабство, грозили закабалить всех трудящихся страны: пусть миллионы рабочих рук создают богатства для одной тысячи бездельников. Но теперь шахтеры не такой темный народ, как прежде, они не хотят жить по-скотски и умирать раздавленными в недрах земли. Из глубины шахт поднимается целая армия бойцов, семена гражданского сознания прорастут, и в один прекрасный день всходы пробьются сквозь корку земли, и под ярким солнцем созреет обильная жатва. И тогда посмотрим, посмеют ли измываться над шестидесятилетним стариком, назначая ему пенсию в сто пятьдесят франков за сорокалетнюю работу в забоях, где он погубил свое здоровье, ведь он харкает углем и нажил себе водянку. Да. Труд потребует отчета у капитала — у этого безликого божества, невидимого рабочему человеку, восседающему где-то в таинственном своем капище, жиреющего от пота и крови бедняков, которые откармливают его, а сами дохнут с голоду! Они ворвутся туда, они наконец увидят лицо этого идола при свете пожаров, и он захлебнется в собственной крови, этот гнусный боров, это чудовище, пожирающее человечье мясо.

Оратор умолк, но рука его, все еще протянутая вперед, указывала на врага, таящегося где-то вдали, рассеянного по всему свету. И на этот раз толпа ответила такими громовыми криками восторга, что их услышали даже в Монсу, и богатые обыватели с тревогой посмотрели в сторону Вандама,— не случилось ли там беды, не произошло ли нового страшного обвала?

Взлетели ночные птицы и закружили над лесом в бездонном светлом небе.

Этьен закончил свою речь:

— Товарищи! Какое же решение вы примете?.. Будете ли продолжать забастовку?

— Да! Да! — взвились голоса.

— А какие меры вы примете? Если завтра трусы возобновят работу, мы, несомненно, потерпим поражение.

Как дыхание бури, понеслись выкрики:

— Смерть предателям!

— Итак, вы решаете призвать их к выполнению долга,

напомнить им клятвенное их обещание... Вот что мы могли бы сделать — пойти к шахтам: пусть изменники, увидев нас, образумятся, пусть Компания поймет, что мы единодушны и скорее умрем, чем уступим.

— Правильно! К шахтам! К шахтам!

С самого начала своей речи Этьен искал взглядом Катрин среди бледных женских лиц в гудевшей перед ним толпе. Нет, ее нигде не было. Зато Шаваль все время торчал у него перед глазами. Он язвительно ухмылялся и пожимал плечами; его терзала зависть, Шаваль рад был бы продать себя хоть за частицу такой популярности.

— А если, товарищи, найдутся среди нас доносчики,— продолжал Этьен,— им не поздоровится, мы их знаем... Да, да... Я вот вижу вандамских углекопов, а ведь они не прекратили работы на своей шахте.

— Ты это про кого говоришь? Про меня? — вызывающим тоном спросил Шаваль.

— Про тебя или про кого другого... Но раз ты заговорил, так вспомни пословицу: сытый голодного не разумеет... Ты-то работаешь на Жан-Барте...

Его прервал насмешливый голос:

— Ну да, работает!.. За него жена работает...

Шаваль густо покраснел и выругался:

— Убирайтесь вы к черту! Или запрещается работать?

— Да, запрещается,— крикнул Этьен.— Когда товарищи терпят лишения ради общего блага, запрещается быть эгоистом, лицемером и вставать на сторону хозяев! Если бы забастовка охватила все шахты до единой, мы давно стали бы господами положения... Раз на копях Монсу забастовали — в Вандаме ни один человек не должен был спуститься в шахту. Мы нанесли бы хозяевам решающий удар, если бы работа остановилась во всем краю, не только здесь, но и у господина Денелена... Понял? В забоях Жан-Барта только предатели рубят уголь... Да, да... все вы там предатели.

Вокруг Шаваля люди угрожающе зарокотали, замахали руками, послышались крики: «Бей его! Бей предателя!» Он побледнел. Но неистовое желание восторжествовать над Этьеном внушило ему некую мысль. Он гордо выпрямился:

— Ну так слушайте! Все слушайте! Приходите завтра в Жан-Барт и увидите, работаю ли я!.. Мы на вашей стороне. Товарищи послали меня сказать вам это. Надо загасить топки, надо, чтоб и машинисты тоже забастовали. Пусть себе насосы остановятся. Тем лучше. Вода затопит шахту. Все полетит к черту!

Шавалю тоже рукоплескали, и с этой минуты Этьена оттерли

в сторону. Один за другим на пень залезали ораторы и произносили речи, утопавшие в шуме; они жестикулировали, предлагали самые крайние меры. Всеми овладело какое-то исступление, неистовство, свойственные фанатикам, когда они, устав надеяться на долгожданное чудо, решают наконец вызвать его сами. Люди, у которых в голове мутилось от голода, мечтали о пожарах и кровопролитии, за коими немедленно воссияет апофеоз — придет всемирное счастье.

Луна заливала своим безмятежным светом бушующую толпу; лесную тишину нарушали крики, призывавшие к резне. Подмерзший мох хрустел под ногами, а могучие буки, ветви которых вырисовывались в светлом небе тонким черным узором, не слышали, не замечали обездоленных, суетившихся у их подножия.

В суматохе супруги Маэ оказались рядом; оба были выбиты из колеи, утратили свое здравомыслие и, дойдя до предела отчаяния, мучившего их целый месяц, рукоплескали Леваку, который, подливая масла в огонь, требовал смерти инженеров. Пьерон куда-то исчез. Бессмертный и Мук говорили разом, кричали что-то гневное и бессвязное, чего никто не мог разобрать. Захарий «для смеху» предлагал, чтобы снесли разом все церкви, а Муке изо всей силы стучал о землю своей клюшкой — просто для того, чтобы шуму было побольше. Женщины подхлестывали друг друга; жена Левака, подбоченившись, напала на свою дочь Филомену, обвиняя ее в том, что она над людьми смеется; Мукетта кричала, что надо силой стащить жандармов с лошадей; Горелая отколотила Лидию за то, что девчонка не нарвала листьев одуванчика, и, разгорячившись, старуха продолжала размахивать кулаками, адресуя свои удары всем хозяевам и страстно желая, чтобы они попали ей в руки. Жаплен оторопел и на мгновение притих, когда Бебер узнал от мальчишки-откатчика, что жена Раснера видела, как они утащили крольчиху, но затем Жаплен решил, что, возвращаясь домой, он потихоньку выпустит ее у дверей заведения Раснера, и, успокоив себя таким решением, принялся орать еще громче прежнего, раскрыл свой новенький складной нож и размахивал им, гордясь тем, что лезвие блестит при луне.

— Товарищи! Товарищи! — кричал охрипшим голосом измученный Этьен, пытаясь добиться хоть короткого молчания и окончательно столковаться.

Наконец толпа умолкла и стала слушать.

— Товарищи! Завтра утром соберемся у шахты Жан-Барт. Решено?

— Да, да! В Жан-Барт. Смерть предателям!

Трехтысячный хор голосов поднялся к бескрайнему небу, прокатился в даль, залитую чистым лунным сиянием, и замер.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В четыре часа утра луна зашла, настал непроглядный мрак. У Денеленов все еще спали; двери и окна были заперты; старый кирпичный дом, отделенный от шахты Жан-Барт большим запущенным садом, стоял немой и мрачный. Другой стороной он выходил на дорогу к Вандаму — большому селу, расположенному за лесом, километрах в трех.

Денелен, сильно уставший, так как вчера он почти не выходил из шахты, крепко спал, повернувшись лицом к стене. Вдруг ему приснилось, что его кто-то зовет. В конце концов он проснулся и, наяву услышав голос, окликавший его из сада, вскочил с постели и отворил окно. Он увидел одного из своих штейгеров.

— Что случилось? — спросил Денелен.

— Господин Денелен, рабочие взбунтовались. Половина смены отказалась работать и другим не дает спуститься в шахту.

Спросонок Денелен ничего не понял, в голове у него гудело. От промозглой сырости его стало знобить, словно от ледяного душа.

— Заставьте их спуститься, черт побери! — заикаясь, пробормотал он.

— Они целый час буянят,— продолжал штейгер.— Вот мы и решили вас позвать. Может, вам удастся их образумить.

— Хорошо. Сейчас иду.

Он быстро оделся. Голова была теперь совершенно ясная. Тревога отогнала сон. Как уйти из дому? Ни кухарка, ни слуга не пошевелились, воры свободно могут забраться в дом. Но с другой стороны лестничной площадки послышалось испуганное перешептывание, и, когда он вышел из спальни, отворилась дверь из комнаты дочерей, и они обе появились в белых капотах.

Люси, старшей дочери, высокой статной брюнетке, было два-

дцать два года, а младшей, Жанне, едва минуло девятнадцать; миниатюрная, с золотистыми косами, она была изящна, миловидна и ласкова.

— Отец, что случилось?

— Ничего серьезного,— ответил Денелен, чтобы успокоить дочерей.— Кажется, там расшумелись какие-то буяны. Пойду посмотрю.

Но дочери взволновались и заявили, что не пустят его, пока он не выпьет чего-нибудь горячего. Иначе он непременно расхворается — ведь у него такой больной желудок. Отец отнекивался, заверял честным словом, что очень торопится.

— Слушай,— сказала наконец Жанна, обвив руками его шею.— Ну хоть выпей стаканчик рома и съешь два сухарика. А не послушаешься, так и буду висеть у тебя на шее, и тащи тогда меня с собой.

Денелену пришлось покориться, хотя он клялся и божился, что никакие сухари и печенья ему не полезут в глотку. Дочери побежали вниз по лестнице впереди него, каждая со свечой в руке. В столовой они принялись ухаживать за отцом — одна налила ему рому, другая сбегала в буфетную за сухариками.

Потеряв мать в раннем детстве, они росли, предоставленные сами себе, и воспитывались плохо, так как отец баловал их; старшая мечтала стать оперной певицей, а младшая безумно любила живопись и, как художница, отличалась весьма смелой манерой. Но когда у отца дела пошатнулись, начались денежные затруднения и нельзя было, как прежде, жить на широкую ногу, у девушек, казавшихся экстравагантными особами, вдруг пробудились задатки весьма бережливых и сметливых хозяек, которые мигом обнаружат в счетах лавочников даже грошовые ошибки. При всех своих мальчишеских повадках они теперь сами стали в доме казначеями, берегли каждое су, торговались с поставщиками, не шили себе новых нарядов, без конца переделывали свои старые платья и сумели наконец добиться, чтобы все в доме имело приличный вид, хотя нужда в семье с каждым днем возрастала.

— Покушай, папа,— твердила Люси.

Она заметила, что отец угрюмо молчит и не может скрыть своей озабоченности, и ей опять стало страшно.

— Значит, что-то важное, раз ты так хмуришься?.. Скажи по правде. Мы тогда останемся дома, с тобой. На этом завтраке прекрасно обойдутся и без нас.

Она имела в виду предполагавшееся в тот день развлечение. Г-жа Энбо должна была заехать сперва к Грегуарам, а потом за сестрами Денелен и повезти их в своей коляске в Маршьен к супруге директора литейного завода, которая их всех пригласила к

себе на завтрак. Воспользовавшись случаем, можно было побывать в цехах, поглядеть на доменные печи и коксовые батареи.

— Ну конечно, мы останемся! — заявила в свою очередь и Жанна.

Но отец рассердился:

— Что вы это выдумали! Я же говорю, ничего серьезного... Доставьте мне удовольствие, забирайтесь опять в постель, поспите, а к девяти часам будьте готовы и поезжайте, как было условлено.

Он поцеловал дочерей и быстро вышел. Сапоги его звонко стучали в саду по подмерзшей земле.

Жанна старательно заткнула пробкой бутылку с ромом, а Люси заперла сухарики в буфет. Кругом царила холодная, чопорная опрятность, отличающая столовые, в которых трапезы не блещут обилием. Воспользовавшись ранним часом, девушки произвели смотр — все ли вечером было прибрано, нет ли какого беспорядка. Обнаружив валявшуюся на столе салфетку, решили побранить за это слугу. Наконец обе поднялись к себе в спальню.

Денелен шел кратчайшим путем, через огород, и, шагая по узкой дорожке, все думал о том, какую он совершил ошибку, продав за миллион свой пай в акционерном обществе Монсу и вложив эти деньги в собственную шахту,— он мечтал удесятерить свое состояние, а вот оно подвергается такому большому риску.

Его преследовали неудачи. Огромные, совершенно неожиданные повреждения, потребовавшие дорогостоящего ремонта, разорительные условия эксплуатации, а затем — страшное бедствие — промышленный кризис, разразившийся как раз в то время, когда шахта стала приносить доход. А теперь эта забастовка! Если и на Жан-Барте остановится работа,— конец! Его ждет банкротство. Он отворил калитку; надшахтные строения казались в темноте сгустками мрака, пронизанного кое-где огоньками фонарей.

Шахта Жан-Барт не имела такого значения, как Ворейская, но она была заново оборудована и, по выражению инженеров, стала хороша, будто игрушечка. Там не только расширили на полтора метра шахтный ствол и углубили его до семисот восьми метров, но еще поставили новую машину, новые клети; да и все оборудование было новым, по последнему слову техники; даже надшахтные постройки радовали взгляд некоторым изяществом: сортировочную украшал зубчатый карниз, а вышку копра — башенные часы; приемочная и машинное отделение помещались в полукруглых выступах, словно клиросы часовни в стиле Возрождения; возвышавшаяся над шахтой труба отделана была спиральным мозаичным узором из красных и черных кирпичей. Водоотливный насос поставили в другом месте — в старой шахте Гастон-Мери, сохраненной

только для откачки воды. В Жан-Барте, справа и слева от главного ствола, было еще два колодца — один для вентиляции, другой — с запасными лестницами.

Шаваль явился на шахту первым, в три часа утра, и принялся подговаривать товарищей, убеждать их, что надо последовать примеру рабочих, бастующих в Монсу, и потребовать прибавки в пять сантимов с вагонетки. Вскоре из раздевальни в приемочную пришли все четыреста углекопов, поднялась сумятица, шум, крики. Те, кто желал работать, стояли босые, держа в руке лампу, а под мышкой — лопату или обушок; другие же, еще в деревянных башмаках, накинув на плечи пальто, загораживали подступы к клети; штейгеры охрипли, призывая рабочих к порядку, упрашивали вести себя благоразумно, не препятствовать тем, кто хочет спуститься в шахту.

Шаваль вышел из себя, заметив, что Катрин стоит в штанах, в куртке и синем шлеме. Поднявшись утром, он строго приказал ей оставаться в постели. Катрин все-таки пошла вслед за ним. Неужели придется прекратить работу? Эта угроза приводила ее в отчаяние. Ведь Шаваль никогда не давал ей денег, и ей часто приходилось платить и за себя и за него; что же с ней станется, если она больше ничего не будет зарабатывать? Ее все время преследовала страшная мысль, что она очутится в марьенском публичном доме, куда в конце концов попадали работницы с шахты, лишившись хлеба и пристанища.

— Ах ты чертовка! — крикнул Шаваль.— Ты зачем сюда приплелась?

Катрин пробормотала, что у нее никаких доходов нет и она хочет работать.

— Так ты, значит, против меня пошла, мерзавка? Ступай домой! Сию же минуту, а не то провожу тебя пинками!

Катрин боязливо попятилась, но не ушла, решив посмотреть, как обернется дело.

Денелен прошел через лестницу сортировочной. При слабом свете фонарей он окинул быстрым взглядом шумевшую в полутьме толпу людей,— он знал в лицо всех забойщиков, стволовых, крепильщиков, откатчиц, знал всех, вплоть до мальчишек тормозных и коногонов. В высоком бараке, новом и еще чистом, остановившаяся работа как будто ждала: паровая машина с легким посвистыванием выпускала пар; клеть повисла на застывших недвижно тросах; брошенные вагонетки загромождали чугунные плиты пола. Взято было не больше восьмидесяти ламп; остальные спяли в ламповой. Но, несомненно, стоит ему сказать слово, и работа закипит.

— Ну что? Что тут происходит, ребята? — крикнул Денелен

во весь голос.— Чем вы недовольны? Объясните-ка, мы с вами столкуемся.

Обычно он выказывал углекопам отеческую благожелательность, хотя и требовал от них много работы. Человек властный и резкий, он прежде всего старался завоевать сердца добродушием, звучавшим в его трубном голосе, говорил с рабочими попросту и зачастую вызывал в них симпатию; больше всего углекопы уважали его за смелость: он был с ними в забоях, был первым в борьбе с опасностью, когда случалась беда, приводившая в ужас всю шахту. Дважды бывало, что после взрыва гремучего газа, когда отступали самые отважные, его спускали в шахту, обвязав канатом под мышками.

— Как же это вы? — заговорил он.— Неужели я должен раскаяться в том, что поручился за вас? Здесь хотели устроить жандармский пост,— вы ведь знаете, что я отказался от него... Говорите спокойно. Я слушаю вас.

Все, однако, смущенно молчали, пятились от него. Наконец заговорил Шаваль:

— Вот что, господин Денелен, мы не можем работать на прежних условиях. Дайте нам прибавку — пять сантимов с вагонетки.

Денелен, казалось, был удивлен:

— Что?! Пять сантимов?! А почему такое требование? Я-то ведь не жалуюсь на ваше крепление, не собираюсь навязывать вам новый тариф, как правление копей Монсу.

— Может, оно и так. А только товарищи в Монсу правильно поступают. Нового тарифа не признают и требуют прибавки в пять сантимов,— ведь при нынешних расценках хорошего крепления все равно не дашь. Мы требуем прибавки в пять сантимов, верно, товарищи?

Раздались возгласы одобрения. Опять поднялся шум, люди замахали руками. Мало-помалу все приблизились, тесным кругом обступили Денелена.

У него в глазах вспыхнула злоба, и этот почитатель сильной власти крепко сжимал кулаки, чтобы не поддаться искушению и не схватить за шиворот кого-нибудь из бунтовщиков. Нет, лучше поговорить с ними по-хорошему, образумить их.

— Вы желаете получить прибавку в пять сантимов? Признаю,— работа стоит того. Но дать прибавку не могу. Если я это сделаю, мне крышка. Поймите же, что мне надо жить хотя бы для того, чтобы и вы могли жить. А я дошел до крайности. При малейшем увеличении себестоимости я вылечу в трубу... Вспомните, два года назад, во время последней забастовки, я уступил,— тогда я еще мог это сделать. Однако это повышение заработной платы было для меня разорительным... Вот уже два года, как я бьюсь...

А теперь я предпочту сразу же закрыть лавочку, чем мучиться, не зная, где взять денег, чтобы заплатить вам в будущем месяце.

Шаваль язвительно засмеялся в лицо чудаку хозяину, столь откровенно рассказывавшему о своих делах. Остальные потупились, упрямо не желая ему верить: у них в голове не укладывалось, что не все хозяева наживают миллионы на труде своих рабочих.

А Денелен настаивал на своем. Он объяснил, какую борьбу ему приходится вести с Компанией Монсу, которая всегда держится настороже и готова пожрать его, если он когда-нибудь поскользнется и сломает себе шею. Между ними — беспощадная конкуренция, а поэтому приходится соблюдать экономию, тем более что при большой глубине шахты Жан-Барт себестоимость добычи угля у него, Денелена, возросла, и это неблагоприятное обстоятельство не возмещается значительной толщиной угольного пласта. Никогда бы он не пошел на увеличение заработной платы, которого рабочие добились последней забастовкой,— но ведь ему нельзя было отставать от Компании Монсу, иначе он лишился бы рабочих. А теперь что будет? И он грозил им бедами, которые ждут их завтра. Что они выгадают, если ему придется из-за теперешней забастовки продать шахту? Ведь они тогда попадут под ужасное иго Акционерной компании Монсу. Он-то ведь не восседал на престоле где-то вдалеке, в неведомом капище; не состоял в числе пайщиков, нанимающих управляющего, чтобы удобнее было стричь рабочих, которых эти господа никогда и в глаза не видели. Нет, он, Денелен, единоличный хозяин, он рискует не только своими деньгами, но и своим рассудком, своим здоровьем, своей жизнью. Остановка работы — это смерть для него. У него нет запасов угля, а ведь он должен выполнять заказы. Кроме того, капитал, вложенный в оборудование, нельзя замораживать. Как же он выполнит свои обязательства? Кто заплатит проценты за те суммы, которые ему доверили друзья? Нет, его ждет крах.

— Ну вот, ребята,— сказал он в заключение.— Я хотел убедить вас... Нельзя же требовать от человека, чтобы он наложил на себя руки, не правда ли? А для меня дать вам прибавку в пять сантимов или допустить вашу забастовку — все равно что полоснуть себя ножом по горлу.

Он умолк. Толпа зароптала. Часть ее заколебалась. Многие направились к клети.

— Да пусть хоть не стесняют никого,— сказал один из штейгеров.— Ну? Кто хочет работать?

Катрин одна из первых вышла вперед. Но Шаваль, злобно оттолкнув ее, крикнул:

— Мы все заодно. Только подлецы бросают товарищей.

И примирение стало невозможным. Снова поднялись крики. Желающих спуститься отгоняли от клети толчками, отшвыривали к стенам; в свалке люди чуть не передавили друг друга. Денелен сделал было отчаянную попытку справиться в одиночку с разбушевавшейся стихией, но это была тщетная и безумная затея, ему пришлось отойти в сторону. Несколько минут он просидел на стуле в углу конторы приемщика, тяжело дыша и до того подавленный своим бессилием, что ни одна спасительная мысль не приходила ему в голову. Наконец он успокоился и велел сторожу привести к нему Шаваля. А когда тот согласился поговорить с ним, Денелен выслал всех из конторы:

— Оставьте нас.

Денелен хотел разобраться, что представляет собой этот парень. С первых же слов он понял, что перед ним существо тщеславное, снедаемое жгучей завистью. И он подкупил Шаваля лестью, притворился удивленным, что такой способный рабочий сам портит свое будущее. По словам Денелена, он давно приглядывался к Шавалю и собирался в скором времени повысить его; в заключение он напрямик предложил ему должность младшего штейгера. Шаваль слушал молча и сначала крепко сжимал кулаки, но постепенно обмяк. В мозгу у него шла напряженная работа: если остаться в лагере забастовщиков, он всегда будет только подручным Этьена, а тут для него открывается иной путь, он может выйти в начальники; хмель честолюбия ударил ему в голову... К тому же отряд забастовщиков, которых он ждал с самого раннего утра, несомненно, не придет; должно быть, возникло какое-то препятствие,— возможно, жандармы не пропустили. Значит, пора покориться. Мысли эти, однако, не мешали ему ломать комедию, отрицательно мотать головой, разыгрывать роль неподкупного человека, с негодованием бить себя кулаком в грудь. Наконец, не сказав хозяину ни слова о встрече, которую он назначил углекопам из Монсу, он пообещал успокоить товарищей и уговорить их спуститься в шахту.

Денелен остался один в своем укрытии, даже штейгеры держались в стороне. В течение часа слышно было, как Шаваль разглагольствует, спорит, взобравшись в приемочной на вагонетку. Часть рабочих освистала его, сто двадцать человек в негодовании ушли, упорствуя в том решении, которое он сам и убедил их принять. Был восьмой час утра; занимался день, ясный и веселый морозный день. И вдруг все в шахте пришло в движение: работа возобновилась. Сначала запыхтела паровая машина, стал клаяться шатун, разматывая и наматывая на барабаны стальной трос. Затем загремели сигналы, и начался спуск; клеть принимала людей, неслась вниз, поднималась; шахта поглощала свой ежедневный ра-

ции — забойщиков, конюхов, откатчиков, откатчиц, а по чугунным плитам стволовые с грохотом катили к клети пустые вагонетки.

— Ах ты тварь! Ты что тут болтаешься! — крикнул Шаваль Катрин, ожидавшей своей очереди.— Нечего бездельничать, спускайся скорей.

В девять часов утра, когда г-жа Энбо, захватив Сесиль Грегуар, приехала в собственной коляске за дочерьми г-на Денелена, те уже были готовы, и обе казались очень элегантными в своих двадцать раз перешитых туалетах. Денелен удивился, увидя, что коляску сопровождает Негрель верхом на лошади. Что такое? Разве и мужчины приглашены на завтрак? Г-жа Энбо объяснила с материнским видом, что ее напугали рассказами о подозрительных людях, которые бродят по дорогам, и она решила взять с собою защитника. Негрель, смеясь, успокаивал их: ничего страшного; как всегда, крикуны орут, грозятся, но никто не посмеет разбить хоть одно окно. Г-н Денелен, радуясь своему успеху, рассказал, как ему удалось подавить бунт на Жан-Барте. Теперь беспокоиться нечего, говорил он. И когда обе его дочери сели в коляску, а кучер готов был свернуть на Вандамскую дорогу, все очень радовались великолепной погоде и не подозревали, что вдалеке, на равнине, в воздухе трепещет и нарастает протяжный гул, что там движется колонной народ,— можно было бы услышать быстрый топот ног, если бы приникли ухом к земле.

— Итак, решено! — повторила г-жа Энбо.— Вечером вы приедете за своими дочками и пообедаете с нами... Госпожа Грегуар тоже обещала заехать за Сесиль.

— Благодарю вас, непременно приеду,— ответил Денелен.

Коляска покатила в сторону Вандама; Жанна и Люси высунулись и, смеясь, что-то еще крикнули отцу, стоявшему у обочины дороги. Негрель гарцевал почти у самых колес экипажа.

Проехали через лес, от Вандама свернули на Маршьенскую дорогу. Когда подъезжали к Тартаре, Жанна спросила у г-жи Энбо, знает ли она Зеленый Склон, и оказалось, что супруга директора копей, хотя она пять лет прожила в Монсу, никогда не ездила в ту сторону. Тогда решили сделать крюк. Тартаре, находившаяся у опушки леса, представляла собою дикую, невозделанную пустошь, бесплодную, словно вулканический гранит,— под нею в недрах земли целые века горели угольные пласты. Об этом подземном пожаре сложились легенды; местные углекопы рассказывали страшную сказку о том, как огонь небесный поразил подземный Содом, где откатчицы погрязли в скверне любострастия; кара была столь внезапной, что грешницы не успели выбраться на поверхность и до сих пор горят в глубине этой преисподней. Опаленные

породы темно-красного цвета были, словно проказой, покрыты белесыми пятнами квасцов. По краям трещин, как желтые цветы, проглядывали кристаллы серы. Смельчаки, дерзавшие заглянуть в эти расщелины, клялись и божились, что ночью они видели там пламя и слышали, как стонут, сгорая на раскаленных угольях пожарища, грешные души. По поверхности земли пробегали блуждающие огни; постоянно клокотали горячие пары, отравлявшие воздух зловонием мерзкой кухни дьявола. И, словно чудо вечной весны, посреди этой проклятой Адовой пустоши возвышался Зеленый Склон, с вечно зеленевшей травой, развесистыми буками, на которых непрестанно возобновлялись листья, с нивами, на которых собирали по три урожая в год. Это была природная теплица, обогреваемая пожаром, не затихавшим в глубоких горючих пластах. Снег там не задерживался. В этот декабрьский день близ оголенного Вандамского леса красовался огромный букет зелени, даже по краям не пожелтевшей от заморозков.

Вскоре коляска опять покатила по равнине. Негрель, высмеивая легенду, объяснял, каким образом возникают пожары в угольных копях — чаще всего от самовозгорания слежавшейся угольной пыли; если не удается потушить пламя, оно горит бесконечно долго; Негрель привел в пример одну шахту в Бельгии, которую пришлось затопить, отведя в сторону речку и направив ее в шахтный ствол. Но Негрель оборвал свой рассказ и притих, заметив, что навстречу коляске поминутно попадаются идущие кучками углекопы. Они проходили молча, бросая косые взгляды на седоков и неохотно уступали дорогу роскошному экипажу. Число встречных все увеличивалось. По мосту, перекинутому через Скарпу, лошадей пришлось пустить шагом. Что же это происходит? Почему столько народу на дорогах? Барышни испугались. Негрель понял, что в краю, охваченном волнением, готовится схватка, и почувствовал великое облегчение, когда приехали наконец в Маршьен. При ярком солнечном свете померкли огни коксовых батарей и доменных печей; они выбрасывали только султаны дыма и дождем рассыпали в воздухе черную сажу.

II

В шахте Жан-Барт Катрин работала уже целый час, подталкивая вагонетки до «подставы»; она обливалась потом, ей приходилось останавливаться на секунду, чтобы вытереть лицо.

В лаве, где Шаваль рубил уголь вместе с другим забойщиком своей артели, вдруг не стало слышно грохота колес. Он удивился. Лампы горели плохо, угольная пыль мешала видеть.

— Что там? — крикнул он.

Катрин ответила, что она наверняка растает, а сердце у нее вот-вот вырвется из груди.

Шаваль сердито заметил:

— Дура! Сделай, как мы,— сними рубашку.

Работа шла на глубине в семьсот восемь метров, в первом штреке пласта Дезире, в трех километрах от рудничного двора. Когда речь заходила об этой части шахты, местные углекопы бледнели и понижали голос, как будто говорили об аде; чаще всего они просто качали головой, словно им совсем не хотелось говорить об этих глубинах, пышущих жаром. По мере того как выработки углублялись к северу, они все больше приближались к Тартаре, проникали в область подземного пожара, от которого вверху обугливались камни. В том месте, до которого доходили выработки, средняя температура равнялась сорока пяти градусам. Углекопы попали в проклятое место, в самое пекло, люди, проходившие по равнине, как раз там и видели пламя в трещинах, изрыгавших серу и смрадные пары.

Катрин, уже работавшая без куртки, после некоторого колебания сняла и штаны; оставшись в одной рубашке, она подпоясалась бечевкой и сделала напуск, как у блузы; потом ухватилась обнаженными руками за вагонетку и покатила ее.

— Так все же лучше! — громко сказала она.

Она задыхалась, да и смутный страх не давал ей покоя. Пять дней они работали тут, и все эти дни ей вспоминались страшные сказки, слышанные в детстве,— легенды об откатчицах давних времен, сгоревших под Адовой пустошью в наказанье за такие страшные грехи, что о них и говорить-то никто не смел. Конечно, теперь она взрослая и не верит всяким выдумкам, ну, а все-таки... Вдруг выйдет из стены нагая девушка,— тело у нее будет красное, как раскаленная чугунная печка, а глаза так и вспыхнут, как горящие головни. От таких мыслей у Катрин еще больше колотилось сердце.

На «подставе», в восьмидесяти метрах от забоя, другая откатчица брала у нее вагонетку и катила еще на протяжении восьмидесяти метров дальше — к бремсбергу, а там тормозной отправлял их вагонетку вместе с теми, которые спускали из верхних промежуточных штреков.

— Ну и вырядилась! — заметила вторая откатчица, тридцатилетняя тощая вдова, заметив, что Катрин работает в одной рубашке.— А вот я не могу так — конюгоны и без того житья не дают, кричат всякие пакости.

— А ну их! — ответила Катрин.— Наплевать на мужчин. Невмоготу мне!

Она двинулась в обратный путь, толкая пустую вагонетку. В этом глубоком штреке, кроме соседства Тартаре, нестерпимую жару поддерживало и то, что рядом находилась выработка очень глубокой заброшенной шахты Гастон-Мари, где десять лет тому назад произошел взрыв гремучего газа, вызвавший пожар,— пласт угля до сих пор горел там, за построенной глиняной перемычкой, которую постоянно поддерживали, чтобы пожар не распространился дальше. Без доступа воздуха огонь должен был погаснуть, но, вероятно, его раздувал никому не ведомый приток воздуха, и уголь горел уже десять лет, накаляя глиняную плотину, как кирпичи в печке, до такой степени, что она так и обдавала жаром тех, кто проходил мимо нее. И как раз вдоль этой раскаленной стены, тянувшейся на протяжении ста метров, Катрин и приходилось вести откатку при температуре в шестьдесят градусов.

После двух таких путешествий Катрин совсем задохнулась. К счастью, на пласте Дезире, одном из самых мощных в этом районе, выработки были широкие и удобные. Пласт угля был почти двухметровой толщины, так что забойщики могли работать стоя. Но они предпочли бы рубить уголь в самом неудобном положении, лишь бы было прохладнее.

— Эй ты, там, уснула, что ли? — опять разозлился Шаваль, не слыша больше Катрин.— Вот кляча дохлая! Ну-ка, живо! Насыпай вагонетку да кати.

Катрин стояла в конце лавы, опершись на лопату, и в каком-то оцепенении тупо смотрела на забойщиков. Она плохо их различала при красноватом свете ламп; все они были совершенно голые, но такие черные, покрытые корой из угольной пыли, смешавшейся с потом, что их нагота не смущала Катрин. Казалось, в полумраке работают какие-то животные, огромные обезьяны: мелькают взмахи мохнатых рук, напрягаются спины,— или то картина ада, где осужденные на вечные муки несчастные существа надрываются в непосильном труде и слышны их стенанья, глухие удары их орудий. Но мужчины, должно быть, лучше видели ее, чем она их, обушки перестали стучать, послышались насмешливые голоса:

— Эй, девка, берегись, простудишься!

— Гляди-ка, а ноги-то у нее настоящие, не щепки какие-нибудь. Слушай, Шаваль, тут ведь и на двоих хватит.

— Постой, надо посмотреть. Подними-ка шлейф. Повыше! А ну еще выше!

Шаваль, не сердясь на эти насмешки, набросился на Катрин:

— Ну, так и есть, развесила уши! Слушать пакости — это она любит. До самого утра будет торчать тут.

С трудом загребая лопатой уголь, Катрин наполнила наконец

вагонетку, потом покатила ее. Штрек был широкий, она не могла упираться в стойки, поставленные по его стенкам, босые ступни подвертывались на рельсах, когда она искала там точки опоры; и она двигалась медленно, вытянув вперед напряженные руки и согнувшись под прямым углом. А когда пришлось проходить мимо глиняной перегородки, опять началась пытка; Катрин сразу же стала обливаться потом, крупные капли градом падали с нее. Она кое-как одолела треть пути, но дальше идти не могла, ослепнув от струящегося пота и черной угольной грязи. Рубашка, как будто смоченная чернилами, прилипала к телу и в напряженном усилии ног задиралась чуть ли не до пояса, шагать было так трудно и больно, что ей опять пришлось остановиться.

Да что это с нею сегодня? Еще никогда так не бывало... Ноги точно ватные, кости будто размякли. Должно быть, все от духоты. Вентиляция не доходит до такого далекого закоулка. Воздух спертый, да еще из угольного пласта с легким бульканьем и журчанием выбиваются какие-то пары, и подчас их бывает так много, что лампы еле-еле горят; о гремучем газе и говорить нечего — никто на него и внимания не обращает: столько его нанюхаются рабочие, что больше и не замечают. Катрин хорошо знала этот «мертвый воздух», как говорили углекопы,— внизу тяжелые, удушливые газы, вверху легкие — те, которые, вдруг вспыхнув, взрывают все выработки шахты, убивают сотни людей единым ударом грома. С детства она много наглоталась гремучего газа, удивительно, почему она сегодня так плохо его переносит, почему у нее так звенит в ушах, так першит в горле.

Нет больше сил! Сорвать, сорвать с себя рубашку! Ведь это сущая пытка, малейшая складочка режет, жжет тело. Катрин боролась с собой, пыталась толкать вагонетку и вынуждена была все бросить и выпрямиться. И сразу же, решив, что прикроется на «подставе», она с лихорадочной поспешностью сорвала с себя и бечеву и рубашку и, если бы можно было, содрала бы с себя и кожу. И, раздевшись теперь догола, жалкая, несчастная, словно голодная собака, что семенит в грязи по дорогам в поисках пропитания,— она надрывалась, как ломовые клячи, перемазанные по самое брюхо жидкой черной грязью. Она ползла на четвереньках и толкала вагонетку.

Но муки не стихали, нагота не принесла ей облегчения. Что же еще сбросить с себя? В ушах стоял оглушительный звон, виски как будто сдавило тисками. Она упала на колени. Лампа, поставленная стоймя в вагонетке среди кусков угля, казалось, угасла. Мысли в голове путались, из хаоса их выплывало только одно — надо подкрутить фитиль. Два раза она пыталась осмотреть лампу, но как только ставила ее перед собою на землю, огонь становился

тусклым, бледным, будто и он тоже задыхался. Вдруг лампа потухла. И тогда все полетело в черную бездну; в голове как будто вращался мельничный жернов, сердце сразу остановилось, перестало биться, словно тоже оцепенело от той бесконечной усталости, которая сковала все тело Катрин. Она упала навзничь, задыхаясь в пелене удушливых газов, стлавшихся над землей.

— Ах ты собака этакая! Кажется, опять лодырничает! — загудел голос Шаваля.

Он прислушался, стоя в верхнем конце забоя, и не услышал грохота колес.

— Эй, Катрин, змееныш дохлый!

Голос разнесся далеко по темной галерее.

В ответ — ни звука.

— Ну погоди! Я сейчас тебя расшевелю!

Никакого отклика, ни малейшего движения. Могильная тишина. Шаваль, разозлившись, побежал со своей лампочкой так быстро, что чуть не упал, споткнувшись о тело, лежавшее поперек штрека. Катрин? Он с изумлением глядел на нее. Что это с ней? Это не притворство. Легла не затем, чтобы соснуть. Он нагнулся, опустил лампу, чтобы осветить лицо упавшей, но лампа едва не угасла. Он приподнял ее, снова опустил и тогда все понял: Катрин в обмороке от «мертвого воздуха». Злоба улеглась, в душе пробудилось благородное чувство — стремление помочь товарищу в минуту опасности. Он крикнул, чтобы принесли ему рубашку, и, подхватив нагое бесчувственное тело, поднял его как можно выше. Когда ему набросили на плечи одежду их обоих, он побежал бегом, обхватив одной рукой свою ношу, в другой держа обе лампы. Без конца тянулась галерея. Шаваль мчался, сворачивал направо, сворачивал налево, искал животворной струи холодного воздуха, который дул над равниной и проникал в шахту через вентиляционный ствол. Наконец он остановился, услышав журчание воды,— из-под каменной глыбы вытекал подземный ручеек. Они оказались на перекрестке главного откаточного пути, проложенного когда-то для шахты Гастон-Мари. Из вентиляционного хода воздух дул с ураганной силой, тут было так холодно, что Шаваль весь дрожал; посадив Катрин на землю, он прислонил ее к деревянной обшивке; она все еще была без сознания и не открывала глаза.

— Катрин, ну, Катрин!.. Ах, черт!.. Не дури! Погоди немножко, сейчас я водой тебя побрызгаю.

Ему стало страшно, что она такая вялая, безжизненная. Он торопливо намочил в ручейке свою рубашку, вымыл Катрин лицо. Она не шевелилась, словно мертвая, погребенная в подземном склепе, скрывшем ее хрупкое тело, только еще вступившее в пору созревания. Потом дрожь пробежала по груди, по животу, по узким

бедрам этой несчастной девочки, преждевременно ставшей женщиной. Она открыла глаза, пролепетала:

— Холодно!

— Ух! — с облегчением вздохнул Шаваль.— Ну вот! Так-то оно лучше!

Он поспешил одеть ее, просунул ее голову в вырез рубашки, ворчал и ругался, натягивая на нее штаны,— Катрин не могла помочь ему. Она все еще была как во сне, не понимала, где находится, почему оказалась голая. Когда она все вспомнила, ей стало стыдно. Да как же она решилась все с себя снять! Шаваль посмеивался и придумывал всякую чепуху,— говорил, что, пока он нес ее, все товарищи шпалерами стояли на пути и смотрели на нее. Что ж это ей вздумалось послушаться его совета и ползать нагишом? Потом стал ее успокаивать, дал честное слово, что товарищи даже не успели разглядеть, толстая она или тощая, так быстро он мчался.

— Ох и холодно! Замерз я! — сказал он, одеваясь, в свою очередь.

Никогда еще он не был с Катрин таким добрым. Ей редко доводилось услышать от него ласковое слово, зато уж сколько угодно она слышала грубостей. Как хорошо было бы жить дружно, в согласии. В эту минуту болезненной слабости и утомления нежность заливала ее душу. Она улыбнулась ему и шепнула:

— Поцелуй меня!

Он поцеловал ее и прилег рядом с нею, дожидаясь, когда она сможет пойти.

— Вот видишь,— заговорила она,— зря ты на меня кричал. Ведь я из сил выбилась, право! В забое вам еще не так жарко. А вот если бы ты знал, как печет в штреке около перемычки!

— Ну понятно, в лесу под деревьями куда прохладнее,— ответил Шаваль.— Трудно тебе на этой шахте, я знаю, бедняжка ты моя!

Она была тронута его сочувствием и стала бодриться:

— Да, тут плохое расположение. И нынче еще такой воздух испорченный... Но вот погоди, сейчас увидишь — я вовсе не дохлый змееныш. Раз взялся за работу, так работай, верно? Я лучше помру, а свое дело сделаю.

Наступило молчание. Обняв Катрин одной рукой, он прижимал ее к своей груди, чтоб она не простудилась на сквозняке. А Катрин хоть и чувствовала, что она уже в силах вернуться к работе, с наслаждением длила минуту забытья.

— Только вот мне очень хочется,— вполголоса промолвила она,— очень хочется, чтобы ты был поласковее... Ведь так хорошо, когда люди любят друг друга.

И она тихонько заплакала.

— А я разве не люблю тебя? — рявкнул Шаваль.— Ведь я же взял тебя к себе.

Она ничего не ответила, только покачала головой. Часто бывало, что мужчины сходились с женщинами, чтобы обладать ими, но нисколько не заботились об их счастье. Слезы ее стали теперь горючими,— так тяжело было думать, что она могла бы жить счастливо, если бы попался ей другой, добрый парень, который всегда вот так бы защищал ее крепкой своей рукой. Другой, добрый? И в этот миг душевного смятения перед нею вставал смутный образ другого. Да что ж вспоминать? Все кончено, теперь у нее было лишь одно желание — прожить до конца дней своих вот с этим человеком, только бы он не мучил ее.

— Пожалуйста,— сказала она,— пожалуйста, постарайся быть иногда таким, как сейчас.

Разрыдавшись, она не могла говорить, и он снова поцеловал ее.

— Глупенькая! Ладно! Ей-богу, вот клянусь, не стану больше обижать тебя! Или я хуже других? А?

Она смотрела на него и улыбалась сквозь слезы. Может быть, он и прав. Где встретишь счастливых женщин? И хоть она не очень верила его клятве, было так радостно видеть его ласковым. Боже мой, если б навеки так осталось! Наконец они успокоились и прильнули друг к другу в долгом объятии, но тут послышались шаги, и тогда оба встали. Трое товарищей, видевших, как Шаваль нес Катрин, пришли узнать, что с ней.

Назад отправились все вместе. Было около десяти часов; выбрав прохладный уголок, позавтракали, прежде чем опять приняться за работу в жаре, в духоте и вновь обливаться по́том. Доев «двойной» бутерброд из черного хлеба, только собрались было выпить по глотку кофе из фляги, как вдруг их встревожил гул, донесшийся издали. Что там? Какая еще беда стряслась? Все поднялись, побежали. Ежеминутно встречались им в квершлаге забойщики, откатчицы, конюхи, тормозные, и никто не знал, что случилось. Люди кричали. Верно, случилось несчастье. Мало-помалу страх охватил всю шахту, из штреков выбегали обезумевшие от ужаса люди, с лампочками, плясавшими в руках, мчались в темноте. Да где произошла катастрофа? Почему не предупреждают?

Вдруг прошел штейгер, выкрикивая на ходу:

— Режут тросы! Режут тросы!

Началась паника. Люди как бешеные понеслись по темным ходам. Все потеряли голову. Зачем перерезают тросы? Кто перерезает? Ведь в шахте люди работают. Это казалось чудовищным.

Раздался и пропал вдали голос другого штейгера:

— Забастовщики из Монсу режут тросы. Все наверх!

Лишь только Шаваль услышал это, он сразу остановил Катрин. При мысли, что, выбравшись из шахты, он встретит тех, что пришли из Монсу, у него подкосились ноги. Так, значит, явилась та шайка! А он-то полагал, что ее утихомирили жандармы! Шаваль решил было повернуть назад и подняться через ствол шахты Гастон-Мари, но там давно не было ни бадьи, ни лестниц. Он сыпал ругательствами, колебался и, скрывая страх, кричал, что глупо бежать как сумасшедшим. Разве их оставят на дне шахты?

Снова вблизи раздался голос штейгера:

— Все наверх! Скорее! К лестницам!

И волна бежавших подхватила Шаваля. . . . . .

Он грубо толкал Катрин, кричал, что она еле тащится. Хочет, верно, чтобы они одни остались в шахте и сдохли бы тут с голоду. Ведь разбойники, нагрянувшие из Монсу, способны сломать лестницы, не дожидаясь, когда люди поднимутся. Это гнусное подозрение довершило всеобщее безумие; люди неслись по выработкам как исступленные, как сумасшедшие, стараясь обогнать других, первыми примчаться к лестницам и подняться раньше всех. Бегущие кричали, что лестницы сломаны и никто не выйдет. А когда опалевшие от страха люди начали выбегать в рудничный двор, там поднялась свалка,— все бросились к запасному стволу, устроили драку перед узкой дверцей лестничного хода; старик конюх, уведя, осторожности ради, лошадей в конюшню, смотрел на эту картину с презрительной беспечностью, ибо привык проводить ночи под землей и был уверен, что его-то всегда вытащат отсюда.

— Черт тебя дери, лезь впереди меня! — сказал Шаваль, подталкивая Катрин.— Я хоть поддержу тебя, если ты сорвешься.

Пробежав три километра, ошеломленная, едва дыша, вновь обливаясь потом, она ничего не соображала и только отдавалась течению людского потока. Тогда Шаваль потащил ее за собой с такой силой, что чуть не сломал ей руку; она жалобно вскрикнула, слезы брызнули у нее из глаз. Значит, он уже забыл о своей клятве? Никогда ей не быть счастливой!

— Да иди же ты! — зарычал он.

Но Катрин очень боялась его. Если подниматься впереди него, он все время будет ее мучить, делать ей больно. И она упиралась, а толпа обезумевших людей отталкивала их в сторону. Вода, просочившись из стенок шахтного ствола, падала крупными каплями, дощатый настил, дрожавший под ногами бежавших, вот-вот мог проломиться над сточным колодцем глубиною в десять метров. Как раз в Жан-Барте два года назад произошел ужасный случай: оборвался трос, клеть упала в сточный колодец, и два человека утонули в жидкой грязи. И теперь каждый думал об этом: ведь все могли погибнуть тут, если толпа сгрудится и настил провалится.

— Дура несчастная! — крикнул Шаваль.— Подыхай, коли так! Мне руки развяжешь.

Он полез по лестнице. Катрин последовала за ним.

От подошвы шахты до поверхности было устроено сто две лестницы — все одинаковой длины — около семи метров; каждая поставлена была на узкую площадку, занимавшую весь поперечник колодца; человек с трудом мог протиснуться в остававшийся свободным квадратный тесный просвет; это была как бы плоская труба высотою в семьсот метров; между стенкой шахтного ствола и стенкой сруба, в котором прежде двигалась клеть, тянулась вверх сырая, темная, бесконечная нора, где правильными ярусами громоздились одна над другой лестницы, поставленные почти отвесно. Сильному мужчине и то требовалось двадцать пять минут, чтобы одолеть этот гигантский подъем. Впрочем, запасным ходом пользовались лишь в случаях катастроф.

Сначала Катрин поднималась бодро. Ее босые ноги привыкли к острому щебню, устилавшему откаточные ходы, их не резали прямоугольные ступени лестниц, окованные для прочности железом. Руки, крепкие, как у всех откатчиц, без устали хватались за перила, слишком для них широкие. Трудности этого нежданного подъема даже занимали ее, отвлекали от горестных мыслей. Как длинная змея, ползла вереница людей, по три человека на каждой лестнице,— такая длинная, что если бы голова ее уже выбралась на поверхность, хвост еще тянулся бы по настилу над сточным колодцем. Однако до поверхности еще было далеко; люди, взбиравшиеся первыми, одолели около трети подъема. Никто не произносил ни слова, ноги ступали с глухим стуком, лампы, словно гирлянда блуждающих звезд, поднимались все выше, выше, бесконечной, все удлинявшейся вереницей.

Катрин слышала, как мальчишка-откатчик, поднимавшийся вслед за нею, считал, сколько пройдено лестниц. Тогда и она принялась считать. Одолели пятнадцать лестниц, приближались ко второму рудничному двору. Вдруг она ударилась головой о ноги Шаваля. Он выругался и крикнул: «Эй, осторожней!» От одного к другому звену вся цепь остановилась, замерла. Что там? Что случилось? Каждый вдруг обрел голос, спрашивал, ужасался. Особенно волновались нижние,— то неведомое, что ожидало их наверху, томило их тем больше, чем выше они карабкались. Кто-то заявил, что надо спускаться: вверху сломаны лестницы. Всех терзал страх — вдруг впереди разверзнется пустота. Затем из уст в уста перелетело другое объяснение: какой-то забойщик поскользнулся и едва не упал с лестницы. Никто в точности не знал, что произошло; в начавшемся вдруг шуме ничего не было слышно. Да как же это? Ночевать тут, что ли? Наконец, хотя так ничего и не

выяснилось, люди снова начали взбираться вверх, все так же медленно и тяжко; опять затопали ноги, заплясали лампы. Должно быть, лестницы сломаны где-то выше.

На тридцать второй лестнице, когда миновали рудничный двор, у Катрин стало сводить судорогой руки и ноги. Сначала она почувствовала только легкое покалывание. Потом ступни и ладони онемели, не ощущали ни железа, ни дерева. Боль, сначала тупая, потом острая, жгучая, скручивала мышцы. Вся замирая от ужаса, Катрин вспомнила рассказы старика деда о тех временах, когда не было подъемной машины и клетей и когда десятилетние девчонки выносили в корзинах уголь из шахты на своих плечах, карабкаясь по лестницам без перил; стоило одной из носильщиц поскользнуться или просто куску угля выпасть из корзины, и три-четыре девочки падали головой вниз. Судороги становились нестерпимыми,— никогда ей не выбраться отсюда.

Каждая остановка была для Катрин отдыхом. Но всякий раз сверху, с поверхности земли, веяло что-то грозное и ошеломляло ее. А снизу неслось тяжелое, прерывистое дыхание измученных людей; от этого бесконечного подъема у них кружилась голова, их начинало мутить. Катрин задыхалась, была как пьяная, одурманенная этим мраком, этим карабканьем в тесной норе, царапавшей ей плечи корявыми стенками. Она вся дрожала от холодной сырости, ледяные капли проникали сквозь одежду и, как иголками, кололи тело, покрытое испариной. Близка была поверхность земли, грунтовая вода низвергалась проливным дождем, грозившим погасить лампы.

Шаваль дважды окликал Катрин и не получал ответа. Что она там, спрашивается, делает? Или язык проглотила? Могла бы, кажется, сказать, держится ли она на ногах. Подъем длился полчаса, но люди шли так медленно, с таким трудом, что пока еще добрались только до пятьдесят девятой лестницы. Оставалось еще сорок три. Катрин наконец пролепетала, что она держится,— ведь Шаваль обругал бы ее дохлым змеенышем, если б она призналась, что очень устала. Должно быть, окованные железом ступени поранили ей подошвы ног. Катрин чудилось, что в них до самых костей впиваются зубья пилы. Ладони покрылись ссадинами. Пальцы так закоченели, что она не могла как следует согнуть их. Она судорожно хваталась за перила, но все боялась, что руки соскользнут с них; ей казалось, что вот-вот она опрокинется навзничь, или вывихнет себе плечи из-за непрестанного напряжения мышц, или вывернет ногу в бедре. Как мучительно было карабкаться по этим бесконечным, почти отвесным лестницам, подтягиваясь на руках, прижимаясь животом к ступенькам. Теперь шум тяжелого дыхания поднимавшихся людей заглушал шорох их шагов; это дыха-

ние, этот прерывистый хрип, гулко отдававшийся в узкой трубе, шел от самого дна шахты и замирал на поверхности земли. Раздался жалобный стон; по вереницам людей пробежали испуганные возгласы: какой-то откатчик разбил себе лоб о карниз площадки.

Катрин все взбиралась и взбиралась. Поднялись выше выработок. В сыром промозглом воздухе, пропитанном запахом старого железа и гниющего дерева, расплывался туман. Катрин машинально считала шепотом: восемьдесят одна, восемьдесят две, восемьдесят три,— осталось еще девятнадцать лестниц. Только это ритмичное бормотание еще и поддерживало ее. Она не сознавала, что делает. Когда она вскидывала глаза, огни лампочек кружились перед ней, извивались спиралью. Кровь застывала у нее в жилах; она чувствовала близость смерти, малейший ветерок мог бы сбросить ее в пропасть. Хуже всего было то, что нижние заторопились, и всю колонну охватило гневное, все возраставшее нетерпение, порожденное усталостью и неистовым желанием поскорее увидеть солнце. Все, кто поднимался первым, вышли,— значит, лестницы не были сломаны; но страшное подозрение, что их еще могут сломать, чтобы не дать последним выбраться, когда другие успели выйти и дышат свежим воздухом,— окончательно свело людей с ума. И стоило произойти остановке, они разражались руганью, лезли вверх, карабкались, дрались, отталкивали друг друга, готовые подняться вверх по трупам.

И тут Катрин упала. Она в отчаянии выкрикнула имя любовника, но Шаваль не слышал,— он сражался, он каблуками ломал ребра товарищу, чтобы вылезти раньше. Катрин покатилась вниз, под ноги людям, и ее едва не затоптали; ей чудилось, что она — маленькая откатчица былых лет и что кусок угля, выпавший вверху из корзины, сбросил ее в шахту, как воробушка, подбитого камнем. Оставалось одолеть только пять лестниц. На подъем ушло около часу, Катрин так никогда и не узнала, как она выбралась, как ее вынесли на плечах, как ей не дала упасть сама теснота хода. И вдруг в глаза ей ударило солнце, а вокруг заревела, заулюлюкала толпа разгневанных людей.

III

Утром, еще до рассвета, рабочие поселки заволновались; по дорогам потянулись люди. Но предполагавшийся поход не состоялся: распространилась весть, что по равнине рыщут драгуны и жандармы. Говорили, что они прибыли ночью из Дуэ. Раснера обвиняли в предательстве: уверяли, будто именно он предупредил директора; одна сортировщица утверждала, что она сама видела,

как директорский камердинер понес на телеграф депешу. При бледном свете занимающегося для углекопы, сжимая кулаки, следили сквозь щели решетчатых ставен за проезжавшими по улице солдатами.

Около половины восьмого утра, когда вставало солнце, разнесся другой слух, успокоивший нетерпеливые головы. Весть о карательных отрядах оказалась ложной. Солдаты выехали просто на военную прогулку, какие с начала забастовки генерал иногда устраивал по просьбе префекта города Лилля. Забастовщики ненавидели префекта за то, что этот сановник обманул их: обещал выступить посредником и примирителем, а вместо этого по его требованию каждую неделю, для устрашения рабочих, в Монсу дефилировали конные отряды. И когда драгуны и жандармы спокойно двинулись в обратный путь, на Маршьен, ограничившись объездом рабочих поселков, оглушая их топотом своих коней, отбивавших копытами барабанную дробь по мерзлой земле, углекопы посмеялись над болваном префектом и его солдатами, убравшимися восвояси, хотя именно теперь-то дело и станет жарким. До девяти часов они смирно стояли у своих домов, провожая взглядом широкие спины последних в колонне жандармов, проезжавших по мостовой. В Монсу буржуа еще спали на широких постелях, зарывшись в подушки. Служащие дирекции видели из окон, как г-жа Энбо поехала куда-то в коляске, а сам директор, вероятно, остался дома за работой; в запертом особняке царила мертвая тишина. Ни одну из шахт не охраняли войска — роковая непредусмотрительность в час опасности, обычная глупость властей, когда они, не замечая надвигающейся катастрофы, не понимая обстановки, допускают ошибку за ошибкой. Пробило девять часов, и углекопы двинулись наконец по Вандамской дороге, направляясь к месту сбора, назначенному накануне на сходке в лесу.

Впрочем, Этьен сразу понял, что у шахты Жан-Барт не соберутся три тысячи рабочих, как он рассчитывал: многие полагали, что выступление отложено. Но больше всего следовало опасаться, что две-три группы, уже отправившиеся туда, могут испортить все дело, если он не станет во главе их. Человек сто, вышедших еще до рассвета, должны были, укрывшись в лесу под буками, дождаться остальных. Суварин, к которому он зашел посоветоваться, пожал плечами: десять решительных молодцов сделают куда больше, чем огромная толпа; и, отказавшись принять участие в этом походе, он вновь погрузился в чтение книги, лежавшей перед ним. Ведь опять на сцену выступят всякие чувства, а было бы совершенно достаточно прибегнуть к весьма простому средству: спалить Монсу. Выйдя из комнаты Суварина в коридор, Этьен увидел, что Раснер сидит перед камином весь бледный; его жена, в неизмен-

ном своем черном платье, стояла, выпрямившись во весь рост, и обличала мужа в язвительных, но вежливых выражениях.

Маэ считал, что слово надо сдержать. Раз приняли решение собраться — это свято. Однако за ночь лихорадочное возбуждение, несомненно, у всех улеглось, и теперь Маэ опасался, как бы не случилось провала. Он говорил Этьену, что им обоим надо быть в Жан-Барте и поддержать в товарищах стремление бороться за свои законные права. Жена Маэ одобрительно кивала головой. Этьен все твердил, что нужно действовать революционным путем, не посягая, однако, ни на чью жизнь. Перед уходом он отказался от своей доли хлеба, которую ему выдали накануне вместе с бутылкой можжевеловой водки; но он выпил три стаканчика подряд,— просто для того, чтобы согреться,— и даже захватил с собою полную флягу. Альзиру оставили дома, велели ей присматривать за детьми; старик дед столько ходил вчера, что у него разболелись ноги, и он не мог встать с постели.

Из осторожности не пошли гурьбой. Жанлен куда-то исчез. Маэ с женой двинулись вдвоем в сторону Монсу, а Этьен направился к лесу, решив присоединиться там к товарищам. Дорогой он встретил группу женщин и среди них приметил Горелую и жену Левака: они ели на ходу принесенные Мукеттой каштаны, поглощая их вместе с кожурой,— «чтобы подольше жевать и побольше живот набить». Но в лесу Этьен никого не нашел, все направились в Жан-Барт. Он бросился туда и поспел как раз в ту минуту, когда человек сто углекопов, среди которых был Левак, подходили к шахте. Люди собирались со всех сторон: Маэ с женой шли по большой дороге, женщины — напрямик, через поля; все шли вразброд, без вожаков, без оружия, стремясь к шахте так же естественно, как вода разлившихся ручьев стекает по склонам к низине. Этьен заметил Жанлена. Забравшись на мостки сортировочной, мальчишка устроился там, словно зритель на спектакле. Тогда Этьен побежал быстрее и вошел во двор вместе с первыми прибывшими. Собралось не более трехсот человек.

Все немного растерялись, когда на верхней площадке лестницы, которая вела в приемочную, показался Денелен.

— Что вам угодно? — крикнул он зычным голосом.

Проводив взглядом коляску, из которой его дочери, оборачиваясь, улыбались ему, он вернулся на шахту, вновь охваченный смутной тревогой. Однако все там было как будто в порядке, рабочие спустились в шахту, уже выдавали уголь на-гора́, и Денелен немного успокоился; но лишь только он занялся деловым разговором с главным штейгером, сообщили, что подходят забастовщики. Он тотчас бросился к окну сортировочной и, увидев бурлящий людской поток, наводнивший двор его шахты, сразу понял свое бес-

силие. Как защитить эти строения, открытые со всех сторон? Ему едва удалось собрать вокруг себя человек двадцать рабочих. Все погибло.

— Что вам угодно? — повторил он, бледнея от ярости и делая над собою усилие, чтобы мужественно встретить беду.

Толпа загудела, заволновалась. Наконец выступил вперед Этьен и сказал:

— Господин Денелен, мы не хотим причинить вам зло. Но работу надо прекратить повсюду!

Денелен без стеснения назвал его дураком.

— А если вы остановите у меня работу, так что ж, вы добро мне сделаете? Да ведь это все равно, что вы бы мне в спину выстрелили, в упор... Нет, извините, мои рабочие спустились в шахту и не поднимутся раньше срока. Разве только вы сначала убьете меня!

В ответ на эти резкие слова раздался многоголосый крик. Маэ пришлось удерживать Левака, порывавшегося выскочить с угрозами; меж тем Этьен, выступивший парламентером, все пытался убедить Денелена в законности революционных действий забастовщиков. Но тот кричал о праве каждого не подчиняться им и работать. А впрочем, заявлял он, не к чему и обсуждать эти глупости,— он хочет быть хозяином на своей шахте. Он жалеет лишь о том, что в его распоряжении нет трех-четырех жандармов, чтобы очистить место от всякого сброда.

— Да, да, поделом мне, сам виноват! С такими людьми, как вы, можно действовать только силой. А то получится, как с нашим правительством, которое воображает, что удастся подкупить вас уступками. Но как только вам дадут оружие, вы свергнете правительство.

Этьен кипел негодованием, но все еще сдерживал себя. Он сказал, понизив голос:

— Прошу вас, господин Денелен, отдайте распоряжение, чтобы рабочих подняли на поверхность! Иначе я не отвечаю за своих товарищей, мне их не удержать. Пока еще можно избегнуть несчастья.

— Нет! Убирайтесь к черту! Кто вы такой? Я вас не знаю. Вы не из моей шахты, нечего вам и рассуждать... Только разбойники рыщут вот так по дорогам и грабят дома.

Злобные выкрики заглушили его голос; в особенности изощрялись в оскорблениях женщины. Денелен не унимался — у этого властного человека становилось легче на душе оттого, что он откровенно изливал свое негодование. Раз все равно его ждет разорение, нечего трусить и рассыпаться в бесполезных любезностях. А число подходивших забастовщиков все увеличивалось — их на-

бралось уже человек пятьсот; они сгрудились у ворот и готовы были ринуться и растерзать Денелена. Главный штейгер шахты отдернул его назад:

— Господин Денелен, ради бога! Ведь они всех перебьют! Нельзя же так!

Денелен отбивался, негодовал и в последний раз крикнул толпе:

— Шайка бандитов, вот вы кто! Погодите, будет опять сила на нашей стороне! Будет! Вот тогда мы с вами поговорим!

Денелена увели. Толпа ринулась к лестнице, втолкнула передних на ступеньки, скрутила железные перила жгутом; женщины визжали, вопили, толкали мужчин вперед, натравливали их. Дверь сразу подалась, она была без засовов и замков, запиралась только на щеколду. Но лестница оказалась слишком узка для лавины осаждающих, в сумятице они сдавили друг друга на ступеньках и долго не могли бы войти, если бы в задних рядах не догадались пробраться через другие проходы. И тогда они заполнили все: приемочную, сортировочную, машинное отделение. Через пять минут им принадлежала вся шахта. Яростно размахивая руками, они с криками рассыпались по всем четырем ярусам, подхваченные бурей восторга, торжествуя свою победу над упрямым хозяином.

Маэ в испуге бросился по лестнице одним из первых, крикнув Этьену:

— Смотри, как бы его не убили. Не давай!

Этьен тоже помчался; потом, догадавшись, что Денелен забаррикадировался в комнате штейгеров, ответил:

— А что поделаешь? Разве мы будем виноваты? Он взбесился.

Все же Этьен очень тревожился, так как еще владел собою и не хотел поддаваться порыву гнева. Кроме того, задета была его гордость — гордость вожака, увидевшего, что приведенное войско вышло из-под его власти, что это неистовство не похоже на картину, рисовавшуюся ему в мечтах: хладнокровное выполнение воли народа. Напрасно он призывал к спокойствию, кричал, что не следует бесцельными разрушениями действовать на руку врагам.

— В котельную! — вопила Горелая.— Погасим огонь.

Левак, найдя напильник, размахивал им, как кинжалом, и, перекрывая страшный шум, пронзительным голосом издал грозный клич:

— Перережем тросы! Перережем тросы!

Вскоре все подхватили клич. Только Этьен и Маэ все еще пытались уговорить товарищей, но голоса их терялись в буре криков, а добиться тишины они не могли.

— Но ведь в шахте люди, товарищи!

Шум усилился, со всех сторон кричали:

— Так им и надо! Зачем спустились?..

— Поделом предателям! Так и надо. Пусть там остаются... Да и нечего хныкать,— могут по лестницам вылезть!

Брошенная кем-то мысль о лестницах подлила масла в огонь, и Этьен понял, что придется уступить. Боясь, что произойдет еще большее несчастье, он кинулся к подъемной машине, решив хотя бы поднять клети, а иначе тросы, перепиленные на самом верху, могли разнести их в щепы, рухнув на них всей своей огромной тяжестью. Машинист куда-то исчез, так же как и дежурные рабочие; Этьен сам ухватил пусковую рукоятку; пока он маневрировал рычагами, Левак и двое других забрались на массивные стропила, поддерживавшие шкивы. Едва только клети встали на упоры, послышался пронзительный визг напильника, врезавшегося в сталь. Настала мертвая тишина; этот звук, казалось, потряс всю шахту, все подняли головы, смотрели, слушали в глубоком волнении. Маэ, стоявший в первом ряду, чувствовал, как его захватывает угрюмая радость, словно он надеялся, что сталь напильника избавит всех углекопов от горькой судьбы; когда перережут горло одной из проклятых черных пропастей, люди не будут туда спускаться.

А тут вдруг Горелая побежала по лестнице и снова завопила:

— Топки гасить! В котельную! В котельную!

Женщины помчались вслед за ней. Жена Маэ присоединилась к ним, чтобы не дать им все переломать: так же как ее муж, она хотела урезонить товарищей. Она была спокойнее всех в этой толпе и находила, что можно защищать свое право, не производя у хозяев разгрома. Когда она вошла в котельную, женщины успели изгнать оттуда двух кочегаров, и Горелая, вооружившись большой лопатой, присела на корточки перед одной из топок и с яростью принялась выгребать из нее раскаленный жар прямо на кирпичный пол, где уголь продолжал гореть, выпуская черный дым.

Всего в котельной было десять топок на пять генераторов. Вскоре и другие женщины яростно принялись за работу; усердствовала жена Левака, ухватив лопату двумя руками; рядом старалась Мукетта, подоткнув юбки выше колен, чтоб они не загорелись; в этой адской кухне, словно освещенной заревом пожара, все фигуры казались кроваво-красными, все были потные, растрепанные, страшные, словно ведьмы на шабаше. Гора раскаленного угля росла, от жара потолок обширного помещения котельной пошел трещинами.

— Довольно! — крикнула жена Маэ.— Загорится халупа!

— Вот и хорошо! — ответила Горелая.— Чистая будет работа!.. Ах они проклятые! Я ведь говорила, что отплачу им за мужа!

В эту минуту раздался голос Жанлена:

— Осторожней!.. Я сейчас погашу! Сразу пар выпущу!

Он прибежал одним из первых, проскользнул в толпе, радуясь этой суматохе и придумывая, что бы натворить; и ему пришла мысль открыть краны и выпустить из котлов пар. Струи пара вырвались, словно грянули выстрелы; пять котлов вмиг опустели — с воем, с шипением и свистом, с таким громовым грохотом, что ушам было больно. Все исчезло в облаках пара; раскаленный уголь потускнел; жестикулирующие женщины казались тенями. Хорошо был виден только Жанлен,— забравшись на галерею, возвышавшуюся над белой, клубившейся пеленой, он взирал на толпу с восторгом и хохотал, разевая рот до ушей, торжествуя, что ему удалось вызвать такой ураган.

Длилось это с четверть часа. На кучу горящего угля вылили несколько ведер воды, чтобы окончательно его загасить, угроза пожара была устранена, но гнев толпы не стихал, наоборот, распалился еще больше. По лестнице сбежали мужчины с молотками в руках, женщины хватали железные прутья; кричали, что нужно разбить генераторы, сломать машины, разрушить шахту.

Этьена предупредили, он прибежал вместе с Маэ. Его и самого захватывала, опьяняла эта буйная жажда мести. Все же он боролся с собой, молил и других успокоиться: ведь тросы перерезаны, топки погашены, котлы опустели,— значит, работы в шахте невозможны. Его не слушали; он видел, что опять его захлестнет эта волна, как вдруг со двора, около низкой дверцы запасного спуска, раздались крики, свист, улюлюканье:

— Долой изменников! Трусы поганые, сволочи! Долой! Долой!

Выходили углекопы, поднявшиеся из шахты по лестницам. Первые, ослепнув от яркого солнца, застыли на месте, растерянно моргая глазами. Потом торопливо двинулись вереницей, думая лишь о том, как бы поскорее выбраться на дорогу и убежать.

— Долой подлецов! Сволочи! Предатели!

Сбежались все забастовщики. В две-три минуты никого не осталось в надшахтных строениях,— пятьсот человек, явившихся из Монсу, выстроились шпалерами: пусть-ка пройдут меж двумя рядами вандамские углекопы, отступники, предатели, вероломно спустившиеся в шахту; и каждого выходившего углекопа, одетого в отрепья, покрытого черной грязью, встречали жестокими насмешками: «Гляди-ка, гляди — ножки будто кочки, а зад как бочка», «А у этого нос провалился. Скажи спасибо шлюхам из «Вулкана», «А вон у того глаза слиплись, разлепить не может, желтым воском заросли!», «А этот-то, этот! Ну и долговязый, ну и сухопарый! Чисто жердь!» Вылезла толстая откатчица,— раздался неистовый хохот: «Эй, грудастая, брюхастая, задастая!» Каждый норовил ее

пощупать. Насмешки переходили в издевательства, того и гляди посыпались бы тумаки. Шествие несчастных углекопов все не кончалось, они проходили гуськом, дрожа от холода, молча сносили оскорбления, бросая исподлобья косые взгляды, втягивали голову в плечи, ожидая побоев, и с облегчением вздыхали, когда оказывались за воротами и могли наконец убежать.

— Да что ж это! Сколько их там? — воскликнул Этьен.

Он удивлялся, что углекопы все выходят и выходят, его возмущала мысль, что спустилась в шахту вовсе не горстка голодных людей, запуганных штейгерами. Значит, на вчерашней сходке в лесу ему солгали? В шахте Жан-Барт почти все вышли на работу. И вдруг у него вырвался крик негодования, он бросился к двери, увидев у порога Шаваля.

— Ах негодяй! Так вот для чего ты нас позвал?

Послышались ругательства, началась толкотня, забастовщики готовы были кинуться на предателя! Вот оно что! Вчера вместе с нами клятву давал, а нынче со всей своей шатией-братией в шахту полез! Посмеяться над людьми вздумал?

— Хватай его! В шахту! В шахту!

Шаваль, бледный от страха, что-то бормотал, пытаясь оправдаться. Но Этьен, охваченный, как и все, яростью, оборвал его и закричал вне себя:

— Ты хотел с нами идти, вот и пойдешь... Ну, марш, гадина!

Новые крики заглушили его голос. Появилась Катрин, ослепшая от яркого солнца, замиравшая от ужаса перед исступленной толпой. Ноги ее, перебравшие каждую ступеньку ста двух лестниц, подкашивались, ладони кровоточили, она задыхалась. И вдруг мать, увидев ее, бросилась к ней, замахнулась, чтобы ее ударить.

— Ах мерзавка! И ты тоже?.. Мать подыхает с голоду, а ты ее предаешь ради любовника!

Она хотела дать дочери пощечину, но муж удержал ее руку. Но Маэ и сам был в бешенстве и, схватив Катрин за плечи, тряс ее, осыпая упреками за недостойное поведение. Они с женой потеряли голову и кричали громче всех.

При виде Катрин Этьен окончательно пришел в неистовство, он повторял:

— В дорогу! К другим шахтам! И ты тоже пойдешь с нами, мерзавец!

Шаваль едва успел взять в раздевальне свои деревянные башмаки и натянуть на себя вязаную шерстяную фуфайку. Его обступили, дергали, и он поневоле бежал вместе с другими. Катрин тоже надела башмаки, наспех застегнула у ворота старую мужскую куртку, которую носила зимой вместо пальто, и, обезумев

от ужаса, побежала вслед за любовником, не желая бросать его в беде,— она была уверена, что его растерзают.

В какие-нибудь две минуты шахта Жан-Барт опустела. Жанлен, подобрав где-то пастуший рожок, дул в него, издавая хриплые звуки, как будто собирал стадо коров. Женщины — Горелая, жена Левака, Мукетта — подоткнули юбки, чтоб легче было бежать, а Левак, высоко подняв топор, вертел им, словно тамбурмажор своим жезлом. Подходили все новые люди, собралось уже около тысячи, и толпа вновь устремилась по дороге, словно разлившийся поток. Ворота оказались слишком узки; сломали забор.

— К шахтам! Долой предателей! Снимать с работы!

А в Жан-Барте внезапно настала глубокая тишина. Ни одного человека, ни единого звука. Денелен вышел из комнаты штейгеров и в одиночестве, жестом запретив следовать за ним, осмотрел, что произошло. Он был бледен, но спокоен. Сначала он направился к стволу шахты, остановившись там, вскинул глаза, долго разглядывал перерезанные тросы,— над клетью свешивались теперь бесполезные обрывки стального жгута; смертельные раны, нанесенные ему напильником, совсем еще свежие, блестели, резко отличаясь от черной его поверхности, смазанной тавотом. Затем Денелен поднялся в машинное отделение, посмотрел на неподвижный шатун, похожий на голень исполинской парализованной ноги; потрогал остывший металл и вздрогнул, словно коснулся холодного тела мертвеца. Спустился затем в котельную, медленно прошел перед угасшими топками, раскрывшими свои зияющие черные пасти, залитые водой; постучал ногой по генераторам,— они издали гулкий звук, как пустые бочки. Ну вот, все кончено! Разорения не миновать. Даже если бы сваркой починить тросы, разжечь огонь под котлами, где взять рабочих? Еще две недели забастовки,— и он банкрот! Но, удостоверившись в совершившейся катастрофе, он не испытывал ненависти к «разбойникам из Монсу»,— он чувствовал всеобщую ответственность за эту беду, всеобщую вековую вину. Скоты они, конечно, но ведь они невежественны, даже читать не умеют. А живут-то как! С голоду подыхают.

IV

По равнине, белой от инея, озаренной бледным зимним солнцем, шла толпа забастовщиков, растекаясь в обе стороны от дороги по свекловичному полю.

Начиная от Коровьей развилки, Этьен вновь стал вожаком. Не останавливая идущих, он выкрикивал распоряжения, вносил порядок в шествие. Впереди бежал Жанлен и трубил в рожок; за ним, в первых рядах, шли женщины,— иные были вооружены нал-

«Жерминаль».

ками; жена Маэ, у которой в глазах появилось что-то дикое, казалось, искала взглядом, не появится ли вдали земля Обетованная, царство Справедливости; Горелая, жена Левака и Мукетта шли широким шагом, словно солдаты, отправившиеся на войну. В случае неприятной встречи с жандармами посмотрим, посмеют ли они напасть на женщин. Затем шли вразброд мужчины; шествие растянулось по дороге, расширяясь к хвосту, ощетинившись железными прутьями, и выше всех поднимался, поблескивая на солнце отточенным лезвием, единственный топор, которым помахивал Левак. Этьен двигался в середине процессии, не выпуская из виду Шаваля, которого он поставил впереди себя; а Маэ, шагая позади него, бросал мрачные взгляды на Катрин — она была единственной женщиной в толпе мужчин и упорно семенила вслед за любовником, боясь, как бы с ним не расправились. Многие шли с обнаженными головами, и ветер трепал их волосы; все молчали, слышался только быстрый топот деревянных башмаков, словно бежало по дороге стадо, подгоняемое раскатами пастушьего рожка Жанлена.

Но вскоре вновь раздался крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Был уже полдень. За полтора месяца забастовки люди изголодались. В этом походе среди полей голод терзал их с особой силой. Утром кто съел сухую корку хлеба, кто несколько каштанов, принесенных Мукеттой. Но это было давно, а сейчас у всех нестерпимо сосало под ложечкой, и муки голода увеличивали злобу против предателей.

— К шахтам! Снимать с работы! Хлеба!

Утром Этьен отказался от своей доли хлеба, а сейчас у него так мучительно жгло в груди. Он не жаловался, но время от времени машинально хватался за флягу и отпивал глоток можжевеловой водки,— он весь дрожал, и ему казалось, что без водки ему не выдержать, что он свалится. Лицо у него пылало, глаза лихорадочно блестели. Однако голова была ясная, он все еще хотел избежать бесцельных разрушений.

Когда подходили к дороге на Жуазель, один из вандамских забойщиков, присоединившийся к шествию по злобе на хозяина и желавший отомстить ему, повернул товарищей вправо, громко закричав:

— К Гастон-Мари! Остановить насос! Пускай вода затопит Жан-Барт!

Повинуясь его призыву, толпа уже поворачивала вправо, несмотря на уговоры Этьена, умолявшего товарищей не останавливать откачку воды из шахты. Зачем же разрушать квершлаги и штреки? Сердце рабочего восставало против этого, несмотря на его вражду к хозяевам. Маэ тоже считал несправедливым обращать

гнев на машину. Но забойщик по-прежнему бросал свой клич о возмездии, и тогда Этьен постарался перекричать его:

— В Миру́! Предатели не бросили там работу!.. В Миру́! В Миру́!

Решительным жестом он направил толпу влево, а Жанлен, опять зашагав впереди, затрубил во всю мочь. Толпа заколыхалась, повернула. Шахта Гастон-Мари на этот раз была спасена.

Толпа вновь двинулась, но теперь в сторону Миру́, и расстояние в четыре километра прошла, вернее почти пробежала, в полчаса. В этой стороне бескрайнюю равнину перерезал канал, тянувшийся ледяной лентой. Только прибрежные оголенные деревья, похожие в оболочке инея на гигантские канделябры, нарушали однообразие низменности, расстилавшейся до самого горизонта и там сливавшейся с небом. Гряда холмов скрывала Монсу и Маршьен,— кругом было голое поле, необъятная ширь.

Подойдя к шахте, забастовщики увидели старика штейгера, поднявшегося на мостки сортировочной, чтобы их остановить. Все хорошо знали дядюшку Кандье, старейшего из штейгеров на шахтах Монсу, благообразного старика с белоснежными сединами,— он был знаменитостью, ибо каким-то чудом сохранил до семидесяти лет здоровье и силы, все время работая в угольных копях.

— Вы зачем сюда явились, бродяги несчастные? — крикнул он.

Толпа остановилась. Ведь перед ними был не хозяин, а товарищ, и уважение к этому старику рабочему сдерживало их.

— В шахте у вас работают,— сказал Этьен.— Вели всем выйти.

— Да, работают,— заговорил опять старик Кандье.— Человек семьдесят спустилось, а другие не пошли — вас, поганцев, испугались!.. Но так и знайте, ни один раньше времени не поднимется из шахты, а не то вам придется иметь дело со мной!

Раздались гневные возгласы. Мужчины нетерпеливо переминались с ноги на ногу, женщины двинулись вперед. Быстро спустившись с мостков, штейгер загородил калитку.

Маэ решил вмешаться:

— Старик, мы в своем праве. Как же нам добиться всеобщей забастовки, если мы не будем снимать несознательных с работы.

Штейгер помолчал. В вопросах рабочего движения он, очевидно, был столь же несведущ, как и забойщик Маэ. Наконец он ответил:

— Вы в своем праве, я против ничего не говорю. Но у меня приказ, и больше я знать ничего не знаю... Я тут один. Люди должны работать под землей до трех часов, и они останутся там до трех.

Свист и крики заглушили его ответ. Ему грозили кулаками.

Женщины подступили к нему вплотную, он чувствовал на своем лице их горячее дыхание, но держался стойко, высоко подняв голову; ветер шевелил его седые волосы; мужество придало столько силы его голосу, что его ясно было слышно даже в этом гаме.

— Не пущу! Не пройдете, черт бы вас взял!.. Вот клянусь, светом солнечным клянусь, лучше я сдохну, а не позволю коснуться тросов!.. Не ходите дальше, не ходите, а не то я на ваших глазах брошусь в шахту!

Толпа дрогнула и отступила. Старик продолжал:

— Ну, кто этого не поймет? Только свинья какая-нибудь. Ведь я такой же рабочий, как и вы. Мне велели стеречь, я и стерегу.

Дальше этого разумение дядюшки Кандье не шло: ограниченный старик закоснел в своем упрямстве, в подчинении военной дисциплине за пятьдесят лет работы под землей, в угрюмой тьме, погасившей его взгляд. Товарищи в волнении смотрели на него: у каждого где-то в тайниках души находили отклик его слова, его повиновение солдата и смиренное мужество в минуту опасности. Он подумал, что они еще колеблются, и повторил:

— Брошусь в шахту на ваших глазах!

Толпу это потрясло. Она метнулась в сторону и понеслась по дороге, ровной, прямой дороге, тянувшейся среди полей в бесконечную даль. Вновь раздались крики:

— В Мадлен! В Кревкер! Снимать с работы! Хлеба! Хлеба!

Но в середине, в самой гуще бежавших, произошла свалка. Говорили, что Шаваль хотел удрать, воспользовавшись неожиданной остановкой. Этьен схватил его за шиворот и пригрозил переломать ребра, если он замыслил какое-нибудь предательство. Шаваль отбивался, в бешенстве кричал:

— Ты что? Чего хватаешь? Или мы больше не свободны?.. Я тут с вами замерз совсем. Целый час на холоде! И помыться мне надо! Пусти сейчас же!

Его и в самом деле мучил болезненный зуд — к влажной от пота коже прилипли мелкие осколки угля и угольная пыль; да еще ему было холодно, фуфайка совсем не грела.

— Иди да помалкивай, а то мы сами тебя умоем,— отвечал Этьен.— Ты зачем людей науськивал, крови требовал?

И все стремительно бежали вперед, вперед.

Этьен наконец повернулся к Катрин. Она держалась стойко, но ему тяжело было чувствовать, что она идет вот тут рядом, такая жалкая, дрожит от холода в вытертой мужской куртке и в испачканных грязью штанах. Должно быть, она еле жива от усталости, а все-таки бежит, стараясь не отставать от других.

— Уходи,— сказал он наконец.— Тебя мы отпустим. Уходи.

Катрин как будто не слышала. Только взглянула на Этьена, и в глазах ее вспыхнул упрек. Она ни на секунду не остановилась. Как это она может бросить в беде своего возлюбленного? Шаваль, конечно, не ласков, даже бьет ее, но ведь он ее возлюбленный, первый мужчина в ее жизни. И Катрин возмущало, что больше тысячи человек набросились на него одного. Она готова была защищать его,— без любви, из гордости.

— Убирайся! — злобно повторил Маэ.

Но и услышав приказ отца, она только замедлила шаг. Она вся дрожала, веки у нее опухли от слез; через минуту она вернулась на свое место и опять побежала вместе со всеми. Ее больше не гнали.

Все полчище пересекло Жуазельскую долину, пробежало немного по Кронской дороге, затем повернуло в направлении Куньи. В той стороне маячили вдалеке заводские трубы, вдоль шоссе тянулись деревянные сараи, кирпичные строения мастерских с широкими пыльными окнами. Миновали один за другим два рабочих поселка — Сто Восемьдесят, потом Семьдесят Шесть, и в каждом на призывный звук рожка, на тысячеголосый клич толпы выходили из низких домиков мужчины, женщины, бежали изо всех сил и догоняли шествие. Когда подошли к Мадлен, уже набралось не меньше полутора тысяч человек. Дорога спускалась по пологому склону. Рокочущему потоку забастовщиков пришлось обогнуть терриконы, прежде чем захватить шахту.

Было только два часа дня. Но предупрежденные штейгеры постарались ускорить подъем, и, когда явились забастовщики, из клети выходили последние оставшиеся в шахте рабочие — человек двадцать. Они пустились бежать со всех ног, в них швыряли камнями. Двоих отколотили, у одного оторвали рукав куртки. Погоня за беглецами спасла оборудование,— ни тросов, ни котлов не тронули. Людской поток покатился дальше, к соседней шахте.

Эта шахта, Кревкер, находилась в каких-нибудь пятистах метрах от Мадлен. И там тоже забастовщики натолкнулись на выходивших рабочих. Женщины схватили и выпороли одну из откатчиц, били так сильно, что на ней разорвались штаны и обнажился зад, на глазах у хохотавших мужчин; намяли бока забойщикам, насажали им синяков, расквасили носы. Возрастала жестокость: заговорила давняя жажда возмездия, безумие туманило всем головы; из груди рвались и, обрываясь, гремели крики: «Смерть предателям!», неслись вопли ненависти, жалобы на нищенскую оплату труда, рычание голодных, требовавших хлеба. Принялись перепиливать тросы, но напильник не брал, и слишком долгой казалась работа, когда лихорадка гнала всех вперед, вперед. В котельной

сломали кран, выплеснули с размаху ведра воды в пылающие топки, и от этого полопались чугунные решетки зольников.

А оставшиеся во дворе торопили идти на Сен-Тома. В этой шахте царила строгая дисциплина, забастовка ее не затронула,— должно быть, там, под землей, работали сейчас человек семьсот; это возмущало забастовщиков. Погоди, схватим дубинки, подождем вас и пойдем стенка на стенку, посмотрим, чья возьмет. Но прошел слух, что в Сен-Тома — жандармы, те самые жандармы, над которыми смеялись, когда они проезжали утром через поселки. Как же это сделалось известно? Никто не мог бы сказать. Все равно стало страшно, и решили повернуть на Фетри-Кантель. Снова толпу подхватил вихрь, снова все очутились на большой дороге и, стуча деревянными башмаками, ринулись вперед: «В Фетри-Кантель, в Фетри-Кантель! Там тоже не меньше четырехсот подлецов еще работают. Вот потеха-то будет!» Шахта находилась на расстоянии трех километров, за складкой земли, около речки Скарпы. Люди уже поднимались по склону холма Платриер, перейдя дорогу на Боньи, как вдруг кто-то — так и не узнали кто — крикнул, что, пожалуй, в Фетри-Кантель прислали драгун. Сразу по всей колонне заговорили, что так оно и есть: наверняка там драгуны. Все растерялись, замедлили шаг, ветер паники подул в этом угольном крае, погруженном забастовкой в бездействие, на этих дорогах, по которым люди блуждали несколько часов. Почему, спрашивается, они ни разу не наткнулись на солдат? Странная безнаказанность! Это смущало их, они чувствовали, что приближается расправа, и думали о карателях.

Неизвестно кем брошенный клич направил всю толпу в другую сторону, к другой шахте:

— Виктуар! К шахте Виктуар!

Значит, на этой шахте нет ни драгун, ни жандармов? Никто этого не знал. Но все, по-видимому, успокоились; сделав крутой поворот, направились в сторону Бомона и пустились напрямик через поля, обратно на Жуазельскую дорогу. Путь им преграждала железнодорожная линия, они пересекли ее, своротив заградительные щиты. Теперь они приближались к Монсу; плавные волны холмов становились все ниже, ширилось море свекловичных полей, тянувшихся далеко, далеко — до окраины Маршьена с черными его домами.

Теперь нужно было пробежать добрых пять километров. Но людей поддерживал такой пламенный порыв, что ни один словно и не чувствовал, как мучительно он устал, как болят у него стертые в кровь ноги. Шествие все увеличивалось, в хвосте двигались люди из рабочих поселков, присоединившиеся по дороге. Когда перебрались через канал по мосту Магаш и подошли к шахте Вик-

туар, собралось две тысячи человек. Но к тому времени пробило три часа, смена кончилась, под землей никого не осталось. Излив свое разочарование в бесплодных угрозах, забастовщики могли только встретить обломками кирпичей проходчиков, плотников, разборщиков, ремонтных рабочих, явившихся на смену углекопам. Атакованные бросились врассыпную. Опустевшая шахта принадлежала теперь забастовщикам. И, разъярившись из-за того, что изменники скрылись и некому надавать оплеух, они обрушились на неодушевленные предметы. Прорвался ядовитый гнойник злобы, постепенно нараставшей ненависти. Годы и годы голодного существования породили жажду отомстить виновникам резней и разрушениями.

За сараем Этьен заметил грузчиков, нагружавших телегу углем.

— Вон отсюда сию же минуту! — крикнул он.— Ни одного куска угля не выпустим!

По его приказу прибежала целая сотня забастовщиков, грузчики едва успели скрыться. Испуганных лошадей выпрягли, кольнули в круп, и они ускакали; телегу опрокинули, сломали оглобли. Левак в исступлении рубил устои мостков, по которым в сортировочную возят вагонетки с углем. Столбы не поддавались, тогда ему пришла мысль снять рельсы, разобрать рельсовый путь на всей площадке шахты. И вскоре все принялись за эту работу. Вооружившись ломом и пользуясь им, как рычагом, Маэ срывал рельсовые подушки. А тем временем Горелая, увлекая за собою женщин, ворвалась в ламповую; тотчас они замахали там палками, и пол усеяли осколки стекла и обломки разбитых ламп. Жена Маэ, разъярившись, била палкой так же неистово, как и жена Левака. Все выпачкались маслом, выливавшимся из ламп, и Мукетта, вытирая руки о юбку, с хохотом кричала, что все «перемаслились». Жанлен для забавы вылил ей масло из лампы за шиворот.

Но месть не насыщала пустого желудка. Голод терзал людей все больше. И снова разнесся жалобный вопль:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

У самой шахты бывший штейгер держал лавочку. Вероятно с перепугу, он все бросил и убежал. Когда женщины возвратились из ламповой, а мужчины кончили разбирать рельсы, все бросились громить лавочку и тотчас сорвали ставни. Хлеба там не оказалось, только два куска сырого мяса и мешок картошки. Но при разгроме нашли пятьдесят бутылок можжевеловой водки, и она исчезла мгновенно, словно капля воды, упавшая на песок.

Этьен вновь наполнил свою опустевшую фляжку. Постепенно им овладело опьянение, тяжелое опьянение голодного человека; его бледные губы кривились в злобной усмешке, обнажавшей

оскал острых зубов. Вдруг он заметил, что Шаваль убежал, воспользовавшись суматохой. Этьен выругался, крикнул, сбежались люди, нашли и схватили беглеца — он спрятался вместе с Катрин за штабелями крепежного леса.

— Ах ты сволочь! Боишься, как бы тень на тебя не упала! — вопил Этьен.— Ведь ты сам в лесу кричал: «Пускай машинисты при насосах забастуют и остановят откачку воды!» Хочешь теперь нам напакостить?.. Ну нет, негодяй! Мы сейчас вернемся в Гастон-Мари, и ты сам сломаешь насос! Да, сломаешь! Черт тебя дери! Я тебя заставлю сломать!

Он был пьян, он теперь подбивал товарищей сломать насос, который спас от разрушения несколько часов назад.

— В Гастон-Мари! В Гастон-Мари!

Раздался довольный рев, все рванулись на дорогу; Шаваля схватили за плечи, толкали, подгоняли, а он все требовал, чтобы его отпустили помыться.

— Уходи ты отсюда! — кричал Маэ дочери, когда она кинулась вслед за любовником.

Но теперь Катрин не отставала ни на секунду, только бросила на отца горящий взгляд и побежала дальше.

Полчище голодных людей вновь понеслось по равнине и, повернув вспять, помчалось по длинным, прямым дорогам, по ровным, широким пашням. Было четыре часа дня, солнце спускалось, и по замерзшей земле вытягивались тени бегущих людей, повторяя их яростные жесты.

Не доходя Монсу, опять свернули на Жуазельскую дорогу и, для сокращения пути, пошли не через Коровью развилку, а мимо ограды Пюлены. В это время супруги Грегуар отсутствовали: они решили навестить нотариуса, а затем отправиться на обед к Энбо, где должны были встретиться с дочерью. Усадьба, казалось, спала: дремала ее пустынная тополевая аллея, ее оголившийся огород и плодовый сад. Ничто не шевелилось в доме, в запертых окнах запотели изнутри стекла,— как видно, в комнатах было тепло; от этой глубокой тишины веяло уютом и благоденствием, чувствовалось, что в усадьбе патриархальные, мирные нравы, что владельцы ее спокойно спят, вкусно едят, наслаждаются своим счастьем благоразумных и состоятельных людей.

Не останавливаясь, забастовщики бросали мрачные взгляды на все, что виднелось за решетчатыми воротами усадьбы, и на глухие стены ограды, утыканные вверху острыми осколками бутылок. Опять раздались крики:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

В ответ послышался только лай собак, двух больших рыжеватых догов,— вставая на задние лапы, они рвались с цепи, широко

открывая пасть. За одним из окон с закрытыми решетчатыми ставнями притаились две служанки — кухарка Мелани и горничная Онорина, прибежавшие на этот крик; побледнев от страха, они глядели, как проходят мимо дома свирепые люди, и когда один-единственный брошенный камень разбил стекло в соседнем окне, обе упали на колени, решив, что пришел их смертный час. Это была шуточка Жанлена: он соорудил себе пращу из обрывка веревки и решил мимоходом «поздороваться» с Грегуарами. Запустив в окошко камнем, он опять принялся трубить в рожок; а вскоре толпа была уже далеко, и все слабее доносился крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Полчище все росло и росло. К шахте Гастон-Мари пришло более двух с половиной тысяч разъяренных голодных людей; они все перебили, переломали, смели на своем пути с дикой силой разбушевавшегося потока. Жандармы проехали здесь за час до этого и, введенные в заблуждение крестьянами, направились в сторону Сен-Тома, в спешке даже не оставив поста из нескольких человек для охраны шахты. Не прошло и четверти часа, как топки были вывернуты, потушены, вода из котлов выпущена, все строения захвачены и разгромлены. Но главное, разрушители рвались к насосу. Недостаточно было, что он остановился с последней струйкой иссякшего пара,— на него набросились как на одушевленное существо, которое хотят лишить жизни.

— Ну, бей первым,— твердил Этьен, всовывая в руку Шаваля молоток.— Бей! Ведь ты клятву давал вместе с другими.

Шаваль дрожал, пятился; в свалке молоток упал на землю; а тем временем другие, не дожидаясь его, принялись колотить по насосу железными брусьями и всем, что попадало под руку. Иные даже измочалили о него захваченные с собою дубинки. Слетали гайки, отваливались стальные и медные части, словно оторванные куски живого тела. Со всего размаху ударили ломом по чугунному корпусу — вырвалась вода, взлетела фонтаном, и насос захлебнулся, забулькал, словно в предсмертной икоте.

Все было кончено; обезумевшая толпа бросилась во двор, теснясь в проходе позади Этьена, не выпускавшего Шаваля из рук.

— Смерть предателю! В шахту его! В шахту!

Несчастный был бледен как полотно, бормотал что-то невнятное и с нелепым упорством все возвращался к своей назойливой мысли: твердил, что ему надо помыться.

— Постой, тебе немытым ходить неприятно? Пожалуйста, — вот тебе водица!

Во дворе была глубокая лужа — натекла вода из насоса. Сверху ее белой, толстой пленкой затянул лед; Шаваля толчками пог-

нали к этой луже, разбили лед и заставили окунуть голову в обжигающую холодом воду.

— Окунай башку! — приказывала Горелая.— Окунай, проклятый! А не то мы сами тебя окунем. Так, так!.. А теперь ноней водицы! Суй морду. Пей, как скотина пьет на водопое!

И он пил, стоя на четвереньках. Все смеялись жестоким смехом. Одна из женщин выдрала его за уши, другая набрала на дороге свежего конского навоза и бросила его Шавалю в лицо. Старая фуфайка клочьями свисала с его плеч. Он глядел вокруг диким взглядом, упирался, дергался, пытаясь вырваться и убежать.

Отец Катрин толкал его, мать оказалась в числе самых ярых гонительниц,— они сейчас поддались чувству давней ненависти к своему обидчику; и даже Мукетта, обычно остававшаяся в приятельских отношениях с бывшими своими любовниками, тут загорелась бешеной злобой, обзывала Шаваля слизняком, кричала, что надо снять с него штаны, посмотреть, остался ли он мужчиной.

Этьен оборвал ее:

— Ну, довольно. Нечего на него всем скопом набрасываться. Выходи, мерзавец, посчитаемся один на один! — И, сжимая кулаки, он впивался в Шаваля взглядом; глаза его горели яростью безумия, в пьяном мозгу возникла жажда убийства.— Ты готов? Подходи! Или тебе, или мне не жить. Дайте ему нож. Мой-то нож при мне.

Катрин, измученная, едва живая, в ужасе смотрела на обоих. Ей вспомнились откровенные слова Этьена, когда он рассказывал ей, что, стоит ему выпить два-три стаканчика, он делается сам не свой и его тянет тогда к ножу, хочется зарезать человека,— эта отрава сидит у него в крови по вине его родителей, закоренелых пьяниц. Внезапно Катрин бросилась к нему, маленькими своими руками надавала ему пощечин по одной, по другой щеке и, задыхаясь от негодования, крикнула;

— Подлец! Подлец! Подлец!.. Мало тебе измываться над ним? Ты еще задумал убить его, когда он на ногах не держится.— Повернувшись, она посмотрела на мать, на отца, потом окинула взглядом других.— Все вы подлецы! Подлецы! Убейте и меня вместе с ним! Только троньте его, я вам глаза выцарапаю. Ах, какие же вы подлые!

И она встала перед своим любовником, она взяла его под свою защиту, забыв побои, забыв, как она несчастна с ним; она восстала против всех, ибо считала, что принадлежит этому человеку, раз он первый овладел ею, и что для нее позорно сносить его унижение.

Этьен весь побелел, получив пощечины от этой девушки. Он

едва не бросился на нее. Но вдруг, отрезвев, провел по лицу рукой и среди наставшей глубокой тишины сказал Шавалю:

— Она права. Хватит с тебя... Убирайся!

Шаваль тотчас помчался прочь, и за ним опрометью побежала Катрин.

Ошеломленная толпа не двигалась, все молча следили за беглецами, пока они не скрылись за поворотом дороги. Только мать Катрин сказала:

— Зря его выпустили! Ждите теперь еще какой-нибудь гадости. Наверняка предаст.

Но забастовщики двинулись дальше. Было около пяти часов вечера; багровое солнце опустилось к горизонту и, словно заревом пожара, освещало равнину. Проходивший по дороге коробейник сообщил, что драгуны направились в сторону Кревкера. Тогда толпа круто повернула, раздался клич:

— В Монсу! В дирекцию! Хлеба! Хлеба! Хлеба!

V

Господин Энбо подошел к окну кабинета посмотреть, как его жена проедет по улице в ландо, отправляясь на званый завтрак в Маршьен. Проводив взглядом Негреля, гарцевавшего рядом с дверцей экипажа, он спокойно вернулся к письменному столу и сел за работу. Когда ни жена, ни племянник не оживляли дом шумной суетой своего существования, он казался пустым. В этот день кучер повез г-жу Энбо; Розу, новую горничную, отпустили со двора до пяти часов вечера; остался только камердинер Ипполит, неслышно ходивший по комнатам в мягких туфлях, и кухарка, с рассвета сражавшаяся с кастрюлями, поглощенная приготовлением обеда, на который хозяева пригласили гостей. В опустевшем доме стояла грубокая тишина, и г-н Энбо рассчитывал как следует поработать.

Около девяти часов утра Ипполит, хоть он и получил распоряжение никого не принимать, позволил себе доложить, что пришел Дансар с какими-то важными вестями. И только тогда директор узнал о сходке, состоявшейся накануне в лесу; подробности сообщения отличались такой точностью, что, слушая их, г-н Энбо вспомнил о любовных шашнях Дансара с женой Пьерона, столь широко известных, что каждую неделю два-три анонимных письма в дирекцию разоблачали распутство главного штейгера. Очевидно, Пьерон все рассказал жене, а та — любовнику,— в доносе чувствовались разговоры на супружеском ложе. Воспользовавшись случаем, г-н Энбо дал понять, что ему все известно и пока он ограни-

чится советом быть поосторожнее, во избежание скандала. Дансар отвлекся на минутку от доклада, отрицал, оправдывался, но внезапная краснота его толстого носа выдавала вину грешника. Впрочем, он не особенно растерялся, радуясь, что отделался так легко: обычно директор проявлял неумолимую строгость высоконравственного человека, когда какой-нибудь служащий позволял себе позабавиться с хорошенькой работницей. Затем разговор опять пошел о забастовке. Решили, что эта сходка в лесу просто фанфаронство, пустое хвастовство крикунов. Серьезной угрозы нет. Во всяком случае, рабочие поселка еще несколько дней не посмеют пошевелиться,— несомненно, на всех нынче утром произвела большое впечатление военная прогулка.

Но когда Дансар ушел и г-н Энбо остался один, он чуть было не послал депешу префекту. Удержал его только страх, что он, быть может, зря выдает свое беспокойство. Он и так не мог простить себе недостаток чутья: ведь он повсюду говорил и даже писал в правление, что забастовка больше двух недель не продлится. Однако, к великому его удивлению, она тянется почти два месяца. Это приводило г-на Энбо в отчаяние,— с каждым днем его престиж уменьшался, падал его авторитет, он видел, что ему необходимо придумать какой-нибудь блестящий ход, чтобы вновь войти в милость к правлению. Он как раз запросил оттуда распоряжений на случай возможного столкновения с забастовщиками. Ответ еще не поступил, г-н Энбо надеялся получить его с дневной почтой. Он полагал, что успеет послать телеграммы — вызовет воинские части для охраны шахт, если такова будет воля правления. Он был уверен, что это наверняка вызовет схватку, прольется кровь, будут убитые. Такая перспектива его смущала,— при всем своем усердии, он хотел избежать подобной ответственности.

До одиннадцати часов он мирно работал в кабинете: мертвую тишину нарушало только шарканье щетки,— Ипполит натирал воском пол где-то на втором этаже. Потом принесли одну за другой две телеграммы: в первой сообщали о захвате ордой забастовщиков шахты Жан-Барт, а во второй говорилось, что там перерезаны тросы, погашены топки котлов, все разгромлено. Г-н Энбо удивился. Зачем забастовщики пошли к Денелену, вместо того чтобы напасть на одну из шахт Компании? А впрочем, пусть их громят Вандам,— это пойдет на пользу его плану отнять кони у Денелена. В полдень г-н Энбо спокойно позавтракал один в просторной столовой, где ему безмолвно прислуживал Ипполит, неслышно ступая в войлочных туфлях. Однако от этого одиночества беспокойство г-на Энбо усилилось, и у него все похолодело внутри, когда бегом прибежавший штейгер доложил ему о том, что произошло на шахте Мируд. А вслед за этим, когда он заканчивал пить кофе,

принесли еще телеграмму, из которой он узнал, что шахты Мадлен и Кревкер тоже под угрозой. Тут он совсем встревожился, но решил подождать почты, которую приносили в два часа. Как быть? Немедленно вызвать войска? Или лучше подождать распоряжения правления? Он вернулся в кабинет, хотел прочесть докладную записку префекту, которую накануне поручил Негрелю написать. Не найдя ее на столе, он подумал, что, вероятно, племянник оставил ее у себя в комнате, где он зачастую работал по ночам. И, не приняв еще никакого решения, думая лишь об этой докладной, он торопливо поднялся на второй этаж, поискать бумагу у Негреля.

Войдя к племяннику, он удивился: по забывчивости или из лени Ипполит еще не прибрал комнату. Из отдушины калорифера, не закрытой с вечера, тянуло теплом, и в этой запертой спальне застоялся жаркий, душный, влажный воздух, пропитанный каким-то пронизывающим, крепким ароматом, от которого г-н Энбо задохнулся,— он подумал, что это пахнет от таза с невылитой мыльной водой, стоявшего на умывальнике. В комнате был страшный беспорядок: везде раскидана одежда, на спинках стульев висят мокрые полотенца, постель не застлана, смятая простыня упала на ковер. Впрочем, он бросил вокруг лишь рассеянный взгляд и направился к столу, заваленному бумагами. Дважды перебрав по одной все бумаги, он убедился, что докладной тут нет. Что за черт! Куда ж ее засунул этот легкомысленный мальчишка?

Отойдя от стола, г-н Энбо обвел взглядом всю комнату и вдруг заметил на незастланной постели какую-то яркую, сверкающую, как искра, точку. Он подошел, машинально протянул руку. Из складок простыни выглядывал золотой флакончик. Он сразу узнал флакончик своей жены — флакончик с эфиром, с которым она никогда не расставалась. Но он не мог понять, каким образом эта безделушка оказалась тут, как она попала в постель его племянника. И вдруг он побледнел как смерть. Значит, жена спала в этой постели.

— Извините, барин,— послышался за дверью голос Ипполита.— Я видел, вы сюда поднялись.

Лакей вошел, и беспорядок, царивший в спальне, поразил его.

— Ах ты господи! Я ведь еще и не прибрал комнату! Розу нынче отпустили со двора, она убежала спозаранку и всю работу на меня взвалила.

Господин Энбо спрятал флакончик в руке и так крепко сжал его, что чуть не раздавил.

— Вы что?

— К вам опять пришли, барин. Какой-то человек из Крекера письмо принес.

— Хорошо. Скажите, чтоб подождал.

Значит, его жена спала тут. Заперев дверь на задвижку, он разжал руку, посмотрел на флакончик, оставивший красный след на ладони. И внезапно он догадался, понял, что эта мерзость происходит в его доме много месяцев. Он вспомнил свои прежние подозрения, ночные шорохи за его дверью, чуть слышные шаги босых ног в безмолвном доме. Это его жена пробиралась сюда.

Рухнув на стул, стоявший напротив кровати, он не сводил с нее глаз и долго сидел так. Его словно обухом ударили. Вдруг он очнулся: в дверь стучались, пытались ее отворить. Он узнал голос слуги:

— Барин! Ах, у вас заперто, барин...

— Что еще?

— Кажется, очень срочное дело. Рабочие все громят. К вам двое пришли, ждут внизу. И телеграммы есть.

— Оставьте меня в покое. Сейчас приду.

Он весь похолодел при мысли, что Ипполит мог найти флакончик, если бы прибрал утром комнату до его прихода. А впрочем, слуга, вероятно, все знал, ведь двадцать раз он застилал эту постель, еще теплое ложе прелюбодеяния; он находил на подушках волосы директорши, видел гнусные следы на простынях. Сейчас он нарочно лезет сюда, хочет поиздеваться. Может быть, он стоял тут у двери, подслушивал, насмехаясь над развратом своих хозяев.

И г-н Энбо не шевелился, все смотрел на постель. Долгое мучительное прошлое вставало в его памяти. Его брак с этой женщиной,— поженились, и сразу же стало ясно, что они не подходят друг другу ни душой, ни телом; у нее, конечно, были любовники, о которых он не знал, а про одного он знал и терпел эту связь десять лет, как терпят извращенный вкус к чему-нибудь мерзкому у больного человека. Потом переехали в Монсу, у него возникла нелепая надежда исцелить ее; тянулись месяцы затишья, дремоты в этом изгнании; к жене приближалась старость, которая наконец должна была возвратить ее мужу. Потом приехал племянник, она выступила в роли матери Поля и вместе с тем взяла его в наперсники, говорила ему, что сердце ее мертво, навсегда погребено под пеплом пережитого. А муж? Какой глупец! Ничего не видел, ничего не мог предусмотреть. Он обожал эту женщину, которая считалась его женой, женщину, которой обладали многие мужчины, и только он один не мог ею обладать. Он обожал ее, он полон был постыдной страсти, готов был ползать перед ней на коленях, лишь бы она пожелала отдать ему объедки, оставшиеся от других! Но даже объедки она отдавала другому, этому юнцу.

Издалека донесся звонок, и г-н Энбо вздрогнул. Он узнал этот звонок,— по его распоряжению так звонили, когда приходил почтальон. Он поднялся и заговорил вслух, выкрикивая грубые слова, вырывавшиеся у него помимо воли:

— А ну вас всех к черту! Плевать я хотел на вас, и на ваши депеши, и на ваши письма!

Бешеная злоба овладела им. Пусть, пусть везде будет грязь. Втоптать в нее всю эту пакость. Его жена — потаскуха, вот она кто. И Энбо площадной руганью поносил распутницу, как будто давал ей пощечины. Внезапно ему вспомнилось, что она со спокойной улыбкой осуществляет свой замысел женить Поля на Сесиль Грегуар, и мысль об этом окончательно его взбесила. Так, значит, в ее чувстве нет ни страсти, ни даже ревности, а только животная похоть. Ее связь — лишь порочная забава, привычка валяться с мужчиной, развлечение, которое она ищет, как излюбленное лакомство. Во всем он обвинял только ее одну и почти оправдывал Поля: развратницу просто потянуло полакомиться его юной свежестью, и она вонзила в него зубы, словно отведала незрелый плод, украденный с придорожного дерева. А дальше с кем она еще будет хороводиться, до чего опустится, когда больше не найдет под рукой податливых и практичных племянников, готовых принять в семье родственников стол, постель и женщину?

Кто-то робко постучался в дверь, затем послышался голос Ипполита, дерзнувшего тихонько сказать сквозь замочную скважину:

— Барин, почту принесли... И господин Дансар опять пришел... говорит — резня началась...

— Оставь меня в покое... Сейчас приду.

Что же теперь делать? Выгнать их вон, когда они вернутся из Маршьена, выгнать, как вонючих животных, которых он не в силах терпеть в своем доме? Взять дубину и крикнуть, чтоб они убирались прочь, пусть где-нибудь в другом месте отравляют воздух своим блудом. Ведь теплый влажный воздух в этой спальне пропитан отравой их вздохов, их жаркого дыхания; острый удушливый аромат, поразивший его здесь,— это запах мускуса, которым душится его жена,— еще одна извращенная склонность, чувственная потребность обливаться крепкими духами. Да, все так живо говорило о прелюбодеянии,— эта жара, этот одуряющий запах, эти кувшины с водой, стоящие на полу, еще невылитые тазы, разбросанные полотенца; вся эта мебель, вся комната — тут решительно все дышит пороком. В бессильной злобе он бросился к постели и яростно бил по ней кулаками, царапал те места, где сохранились впадины, вдавленные телами любовников, и в бешенстве наносил удары по отброшенным одеялам, смятым

простыням, мягким, податливым, словно и они были утомлены долгой ночью любви.

Но вдруг ему послышались шаги, показалось, что Ипполит опять поднимается по лестнице. Ему стало стыдно, он остановился, тяжело дыша, постоял несколько секунд, вытирая лоб, выжидая, пока утихнет сердцебиение. Долго смотрел в зеркало, разглядывая свое бледное, до неузнаваемости искаженное лицо. Постепенно оно приняло более спокойное выражение; г-н Энбо тяжким усилием воли взял себя в руки и сошел вниз.

В прихожей его ждали пять нарочных, не считая Дансара. Все принесли сообщения о грозном, все более грозном шествии бастующих по шахтам; старший штейгер подробно рассказал, что произошло в Мирý,— шахта спасена только благодаря мужеству старика Кандье. Г-н Энбо слушал, покачивая головой, но не понимал ни слова, мыслями он все еще был там, наверху, в спальне Негреля. Наконец он всех отпустил, сказав, что немедленно примет меры. Оставшись один, он долго сидел за письменным столом, подперев голову руками и закрыв глаза. Казалось, он дремал. Перед ним лежала принесенная почта; он наконец встрепенулся и поискал ожидаемое письмо — ответ правления. Сперва строчки плясали у него перед глазами. В конце концов он все же понял, что правление не возражает против небольшой стычки. Конечно, оно не советовало обострять положение, но давало понять, что беспорядки ускорят развязку, ибо они будут энергично подавлены, и забастовка кончится. И тогда г-н Энбо, отбросив все колебания, разослал во все концы депеши: префекту в Лилль, командующему военным округом в Дуэ, в маршьенскую жандармерию. Он вздохнул с облегчением; теперь он мог запереться у себя, даже велел говорить всем, что у него приступ подагры. До вечера он прятался от всех в своем кабинете, никого не принимал, только читал депеши и письма,— они по-прежнему градом сыпались в дирекцию. Таким образом, он издали следил за продвижением бастующих — от Мадлен к Кревкер, от Кревкер к Виктуар, от Виктуар к Гастон-Мари. С другой стороны, к нему поступали сведения, что жандармы и драгуны находятся в растерянности, сбились с дороги — все время поворачивают в сторону от шахт, подвергшихся нападению. Ему было все равно,— пусть себе режут друг друга, пусть все разрушают... Он опять подпер голову руками, прижал к глазам ладони и сидел не шевелясь. В пустом доме стояла тишина, лишь иногда слышно было, как гремит кастрюльками кухарка, усердствуя в приготовлении обеда.

Сгущались сумерки, в комнате стало темно, было пять часов вечера. Г-н Энбо по-прежнему сидел в оцепенении, прижав локтями бумаги. Вдруг раздался грохот, г-н Энбо, вздрогнув, подумал,

что возвратились любовники. Ах, негодяи! Но шум все возрастал, и, когда г-и Энбо подошел к окну кабинета, раздался грозный клич:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Бастующие вторглись в Монсу, тогда как жандармы, вообразив, что нападение угрожает Ворейской шахте, повернули коней и поскакали туда.

Как раз в это время, в двух километрах от первых домов города, не доезжая перекрестка, где шоссе пересекало Вандамскую дорогу, г-жа Энбо и ее молодые спутницы увидели, как проходит грозное полчище. Они весело провели в Маршьене весь день; завтрак в доме директора литейного завода очень удался; затем осматривали заводские цеха и соседний стекольный завод — все было так интересно. А когда погожий зимний день уже был на исходе, отправились домой, и Сесиль пришла фантазия выпить кружку молока на маленькой ферме, стоявшей у дороги. Все вылезли из коляски, Негрель ловко соскочил с седла. Увидев столь блестящее общество, хозяйка испуганно заметалась, собралась было постелить на стол скатерть и подать молоко в горнице, но Люси и Жанна пожелали увидеть, как доят коров, и, захватив с собой кружки, отправились в хлев, обратив это знакомство со скотным двором в забавное похождение, и весело смеялись, когда путались ногами в соломенной подстилке.

Госпожа Энбо с видом снисходительной мамаши прихлебывала парное молоко, как вдруг ее встревожил странный шум, донесшийся с улицы.

— Что там такое?

В хлеву, построенном близ дороги, были сделаны широкие ворота, так как вторая его половина служила сеновалом. Девушки высунули головы и с удивлением смотрели, как с левой стороны по дороге движется что-то черное, потом различили, что это толпа народу, которая с воем свернула на шоссе с Вандамской дороги.

— Ах, дьявол! — пробормотал Негрель, выйдя из хлева.— Неужели наши крикуны в конце концов рассердились?

— Да это, верно, опять углекопы,— сказала крестьянка.— Второй раз идут. Дело-то, видать, плохо повернулось, они по всей округе хозяйничают...

Она говорила осторожно, стараясь по выражению лиц угадать, какое впечатление производят на гостей ее слова, и, заметив, что нежданная встреча вызвала у всех испуг, поспешила добавить:

— Ах, уж эти оборванцы! Ах, оборванцы!

Видя, что теперь не успеть сесть в коляску и умчаться в Монсу, Негрель велел кучеру поскорее въехать во двор фермы и поставить упряжку за сараем, чтобы ее не было видно с дороги. Свою

верховую лошадь, которую держал под уздцы соседский мальчишка, он сам привязал во дворе под навесом. Возвратившись, он нашел свою тетушку и барышень в полном расстройстве чувств; они собирались идти вслед за крестьянкой в дом и укрыться там. Но Негрель полагал, что остаться в хлеву безопаснее,— конечно, никому в голову не придет искать их в сене. Ворота, однако, закрывались неплотно, и в щели между ветхими досками видно было все, что делается на дороге.

— Ну, смелее! — сказал Негрель.— Мы дорого продадим свою жизнь.

От этой шутки дамам стало еще страшнее. Шум все возрастал, но пока никого не было видно: по пустынному шоссе словно проносился ветер, предвещавший грозу и бурю.

— Нет, не хочу смотреть, не хочу! — сказала Сесиль и зарылась в сено.

Госпожа Эйбо, очень бледная, исполненная гнева против этих людей, которые испортили ей такой приятный день и такое милое развлечение, стояла в глубине сарая и брезгливо, исподлобья глядела на створки ворот; Люси и Жанна, хоть их и била дрожь, смотрели в щель между досками, не желая упустить захватывающее зрелище.

Гул, подобный раскатам грома, приближался; земля дрожала под ногами идущих: впереди колонны вертелся Жанлен и дул в пастуший рожок.

— Открывайте скорей свои флакончики с духами,— народ шествует весь в поту! — прошептал Негрель, который, несмотря на свои республиканские взгляды, любил позабавить дам насмешками над чернью. Но ураган криков и злобных жестов мигом развеял все его остроумие. На дороге показались женщины, около тысячи женщин с рассыпавшимися по плечам волосами, все растрепавшиеся за эти часы скитаний в ветреный день, все в лохмотьях; сквозь прорехи у многих видно было голое тело, изнуренное, преждевременно увядшее тело, уставшее рожать детей, обреченных на голодную жизнь. Иные несли на руках младенцев и высоко поднимали их, как хоругви скорби и мести, другие, помоложе, с тугой грудью вожательниц, потрясали палками; а старухи, ужасные старухи, вопили так громко, что казалось, на их худых шеях вот-вот лопнут жилы. Затем показались мужчины, две тысячи разъяренных мужчин — забойщики, крепильщики, проходчики, ремонтные рабочие; они шли тесными рядами, такой густой, плотной толпою, что сливались в единый поток, и нельзя было различить ни выцветших линялых штанов, ни рваных шерстяных фуфаек — все как будто облеклись в однообразное бурое одеяние нищеты. Глаза блестели, из широко открытых ртов вылетали ритми-

ческие звуки — пели «Марсельезу»,— слов нельзя было разобрать, они терялись в неясном реве, которому вторил дробный стук деревянных башмаков по мерзлой земле. Над головами, среди целого леса железных прутьев, поднимался топор, который держали прямо, как свечу; и этот единственный топор был словно знаменем всего полчища, острое его лезвие вырисовывалось в еще светлом небе, как нож гильотины.

— Какие зверские лица! — пролепетала г-жа Энбо.

Негрель процедил сквозь зубы:

— Что за дьявол! Ни одного не узнаю! Откуда взялись эти разбойничьи физиономии?

И в самом деле, гнев, голод, страдания, длившиеся два месяца, и эта бешеная скачка от одной шахты к другой разительно изменили добродушные лица углекопов Монсу, придали им что-то звериное, хищное. Как раз в эти минуты закатывалось солнце, последние его лучи темно-красной, словно кровавой, пеленой покрыли равнину. Казалось, по дороге рекой льется кровь; женщины, мужчины бежали, как будто обагренные кровью, как мясники на бойне.

— О, великолепно! — вполголоса воскликнули Люси и Жанна; как артистические натуры обе были взволнованы грозной красотой этой картины. И все же они перепугались и отошли поближе к г-же Энбо, стоявшей у колоды для водопоя. Всех мороз по коже подирал при мысли, что достаточно одному из идущих заглянуть в щель между рассохшимися досками этих ворот, и всех, кто спрятался тут, растерзают. Даже Негрель, весьма храбрый молодой человек, побледнел от непреодолимого страха, от ужаса перед чем-то неведомым, непостижимым. Сесиль зарылась в сено и не смела пошевелиться; остальные же, хотя им и хотелось отвести взгляд, не могли отвернуться и, против своей воли, смотрели на дорогу.

Перед ними в багровом свете заката предстало видение — призрак революции, которая неизбежно совершится в конце века и в кровавый вечер всех их сметет. Да, когда-нибудь вечером народ, вырвавшись на волю, сбросив узду, вот так помчится по дорогам и, обагренный кровью богачей, вздернет на пики отрубленные головы и будет носить их, будет разбрасывать по земле золото из их разбитых сундуков. Вот так же будут выть женщины, а у мужчин будет этот страшный, волчий оскал зубов, готовых перегрызть врагам горло. Да, да — будут на тех людях такие же лохмотья, так же будут греметь их грубые деревянные башмаки: такие же полчища будут обдавать встречных запахом немытых тел, смрадным дыханием, и натиск этой орды варваров сметет старый мир. Запылают пожары, в городах не оставят камня на камне; люди разбегутся по лесам и возвратятся к жизни дикарей; так будет

после великого разгула, великого пира, когда голытьба за одну ночь овладеет женами богачей и опустошит их винные погреба. Не останется больше ничего — ни единого су из прежних богатств, ни малейшей тени былой власти, и тогда на обновленной земле вырастет нечто новое. Все эти ужасы и нес с собою людской поток, проносившийся по дороге, неумолимый, словно стихийная сила природы, словно ураганный ветер, хлеставший в лицо тем, кто, притаясь, укрывался от него.

Перекрывая «Марсельезу», раздался громкий клич:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Люси и Жанна прижались к г-же Энбо, а та и сама замирала от страха; Негрель встал впереди женщин, словно хотел грудью защитить их. Не в этот ли вечер рухнет старое общество? То, что они видели, ошеломило их. Полчище прошло, по дороге тянулись в хвосте лишь отставшие, как вдруг откуда-то вынырнула Мукетта. Она замешкалась, оттого что подстерегала обывателей — не появятся ли они у садовой калитки или в окнах особняков, и как только замечала их, то, не имея возможности плюнуть им в лицо, тотчас иным способом выражала им величайшее свое презрение. Вероятно, она и тут доглядела какого-нибудь буржуа, потому что вдруг задрала юбки и, наклонившись, выпятила свой огромный голый зад, на который пал последний багровый луч солнца. И эта выходка никому не показалась непристойной или смешной,— в ней было что-то страшное.

Все исчезло, людской поток понесся к Монсу, петляя по извилистой улице между низкими домишками, выкрашенными в яркие цвета. Коляска выехала со двора фермы, но кучер не решался тронуться в путь, ибо не мог поручиться, что благополучно довезет хозяйку и барышень, если дорога занята забастовщиками. А другого пути не было.

— Но ведь надо же нам вернуться домой, обед ждет! — раздраженно сказала г-жа Энбо, вне себя от возмущения и страха.— Эти негодяи рабочие опять выбрали для своего бунта такой день, когда у меня гости. Вот и делайте добро бессовестным людям!

Люси и Жанна принялись вытаскивать Сесиль, зарывшуюся в сено; она отбивалась, думая, что шествие «этих дикарей» все еще не кончилось, и все твердила, что она не хочет их видеть. Наконец все дамы снова сели в коляску. Негрель вскочил в седло, и ему пришла мысль, что можно проехать проселками через Рекильяр.

— Езжайте потихоньку,— сказал он кучеру,— дорога ужасная. Если встретятся нам кучки бунтовщиков, остановитесь за старой шахтой, мы немного пройдемся пешком и через садовую ка-

литку попадем к себе домой, а вы поставьте куда-нибудь лошадей и коляску,— ну хотя бы под навес на постоялом дворе.

Лошади тронулись. Толпа двигалась вдалеке, вступая в Монсу. Обыватели волновались, все были в панике: ведь недаром через город два раза проскакали и драгуны и жандармы. Ходили ужасающие слухи, рассказывали о написанных от руки объявлениях, в которых рабочие будто бы угрожали выпустить кишки всем буржуям: никто таких объявлений не видел, не читал, но «дословно» приводили оттуда целые фразы. В семействе нотариуса едва дышали от страха,— ведь он получил по почте анонимное письмо, в котором сообщалось, что в его погребе зарыли бочонок с порохом и что господин нотариус взлетит на воздух, если не выступит в защиту народа.

Как раз после получения этого письма супруги Грегуар зашли навестить нотариуса и задержались у него, обсуждая послание, причем владельцы Пиолены приходили к выводу, что это дело рук каких-нибудь шутников; но вдруг произошло вторжение бастующих и окончательно всполошило нотариуса и всех его домочадцев. Грегуары же только улыбались. Отогнув занавеску на окне, они смотрели, что творится на улице, и решительно отказывались допустить мысль об опасности, утверждая, что все кончится «по-хорошему». Пробило пять часов, они еще могли подождать, пока путь будет свободен, а потом перейти через улицу и постучаться к господам Энбо, пригласившим их на обед. Сесиль, конечно, вернулась и ждет там родителей. Но, по-видимому, в Монсу никто не разделял их уверенности в благополучном завершении событий: люди бежали как сумасшедшие, с громким стуком запирали двери и окна. Видно было, как Мегра старается покрепче запереть свою лавку при помощи толстых железных перекладин. В лице у него не было ни кровинки, а руки так дрожали, что его жене — маленькой, щуплой женщине — самой приходилось завинчивать гайки.

Полчище забастовщиков сделало остановку перед особняком директора. Раздался крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Господин Энбо стоял у окна и смотрел, но тут вошел Ипполит закрыть ставни, опасаясь, как бы не поразбивали камнями окна. Он сначала обезопасил все окна первого этажа, потом перешел во второй этаж; слышно было, как он щелкает шпингалетами, захлопывает решетчатые ставни. К несчастью, он не мог замаскировать также и окошко в подвальной кухне,— весьма заметное окошко: за стеклами сверкали языки пламени в печке и красноватые отблески огня на кастрюлях.

Господин Энбо машинально перешел на третий этаж, в комнату Поля. Смотреть оттуда было удобнее всего, из окна взгляду от-

крывалась дорога до самых мастерских Компании. Г-н Энбо встал за решетчатыми ставнями, поднявшись высоко над толпой. Но какое волнение вызвала в нем эта комната, где все уже было прибрано, тазы вылиты, умывальник вытерт, а застланная постель с туго натянутым покрывалом имела такой холодный, чопорный вид. Вся эта бурная, бешеная злоба, потрясавшая его утром в часы одиночества, в глубокой тишине, царившей в доме, привела лишь к безмерной усталости. К нему вернулась обычная его корректность, так же как к этой спальне, которую успели проветрить, вымести пачкавшую ее грязь. К чему затевать скандал? Разве что-нибудь изменилось в его доме? Все очень просто. Жена завела себе нового любовника. И так ли уж страшно, что она выбрала его среди родственников? Пожалуй, это даже лучше: легче будет соблюдать приличия. Г-ну Энбо вспомнилось, как он терзался тут ревностью, и ему стало жалко себя. Что за пеленость: бесился, колотил кулаками по смятой постели. Чего уж там! Раз терпел прежних любовников, будет терпеть и этого. Прибавится немножко больше презрения к самому себе — вот и все. Но какой горечью наполняло душу чувство бесцельности всей его жизни, неизбывная боль и стыд за то, что он все еще обожает эту женщину, хорошо зная, что она погрязла в мерзости разврата.

А под окнами с новой яростью раздались крики:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

— Болваны! — процедил сквозь зубы г-н Энбо.

Он слышал, как его ругают, попрекая большим жалованьем, которое он получает, обзывают толстобрюхим бездельником, поганой свиньей, которая того и гляди лопнет от обжорства, тогда как рабочие пухнут с голоду. Женщины заглянули в окошко кухни, и тогда поднялась буря, директора осыпали проклятиями из-за того, что кухарка жарит ему на вертеле фазана, готовит всякие лакомые жирные соусы,— от вкусных запахов у голодных сводило желудок судорогой. Ах, сволочи буржуи, погодите! Лакают шампанское, жрут трюфели, а тут людям есть нечего. Пусть бы проклятые сластены сдохли!

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

— Болваны! — повторил г-н Энбо.— А разве я счастлив?

И в душе его поднимался гнев против этих непонятливых людей. Ведь он с радостью отдал бы свое жалованье, лишь бы стать таким же толстокожим, как они, так же легко, без всяких сантиментов, брать женщин. Ах, почему он не может усадить их за свой стол — пусть себе угощаются его фазанами, а он пойдет блудить с девками в кустах живой изгороди, и наплевать ему будет, что кто-то другой валялся с ними до него! Все, все он отдал бы — и свое образование, свое благодетельство, роскошь в своем доме, свою

власть директора, если бы мог на один-единственный день стать последним из этой голытьбы, которая находилась у него в подчинении. Как было бы хорошо давать волю чувственным желаниям, быть хамом, хлестать по щекам свою жену и заводить шашни с соседками. Он даже согласен был голодать, пусть бы у него от голода сводило судорогой пустой желудок и кружилась бы голова,— может быть, эти муки заглушили бы вечные его страдания. Ах, жить бы скотской жизнью, не иметь ничего своего, прятаться в хлебах с какой-нибудь уродливой, грязной откатчицей и не искать иной любви!

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Тогда г-н Энбо рассердился, и с громовым кличем толпы смешался его голос:

— Хлеба? Да разве в этом счастье, болваны?

Ведь он-то ел досыта и все же готов был кричать от боли душевной. В семье у него развал, вся жизнь исковеркана,— и от мысли об этом у него подкатывали к горлу рыдания, стоны смертельной муки. Да разве все дело в том, чтобы не знать голода? Разве все тогда пойдет как нельзя лучше? Какой это идиот решил, что счастье состоит в разделе богатства? Пусть даже этим пустым мечтателям, революционерам, удастся разрушить существующее общество и построить новое,— это не прибавит человечеству ни капельки радости. Отрезайте каждому положенный ему ломоть хлеба, а душу вы не избавите ни от одной горести. Нет, вы лишь добьетесь того, что на земле чаша страданий переполнится, и придет день, когда люди, как собаки, завоют от безысходного отчаяния, ибо они распростятся с бездумным удовлетворением своих инстинктов и поднимутся до страдания, порождаемого неутоленными страстями. Нет, единственное благо — это небытие, а уж если существовать, то существовать подобно дереву, или камню, или крохотной песчинке, которая не может истекать кровью, когда ее топчут прохожие.

В эту минуту жестокой муки жгучие слезы хлынули из глаз г-на Энбо и потекли по щекам. Вдруг в сумерках, затягивавших дорогу, градом полетели камни, ударяясь о фасад директорского особняка. А г-н Энбо все плакал,— он уже не испытывал гнева против этих голодных людей и, терзаясь лишь собственной сердечной болью, бормотал сквозь слезы:

— Болваны! Болваны!

Но утробный вой, неистовый вопль голодных, заглушил этот лепет, и, как рев урагана, сметающего все на своем пути, раздался крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

VI

Отрезвев от пощечин, которые дала ему Катрин, Этьен встал во главе товарищей. Но когда он, выкрикивая хриплым голосом слова призыва, повел всех на Монсу, внутренний голос, голос рассудка, заговорил в его душе, удивляясь и вопрошая: зачем все это делается? Ведь Этьен вовсе этого не хотел, как же могло случиться, что, направившись в Жан-Барт с намерением действовать хладнокровно и помешать разрушениям, он переходил от насилия к насилию и теперь заканчивал день осадой директорского особняка?

Ведь именно он крикнул: «Стой!» — когда подошли к дому. Правда, у него сначала была мысль уберечь от опасности склады Компании,— кругом кричали, что надо их разгромить. А теперь, когда камни царапали фасад особняка, он тщетно старался придумать, на какую законную добычу направить свое войско, чтобы избежать еще больших бедствий. В бессильном раздумье он стоял один посреди дороги, и в эту минуту его окликнул какой-то человек, стоявший у порога распивочной «Головня», в которой кабатчица поспешила закрыть ставнями окна, оставив открытой только дверь.

— Да, да, это я... Слушай-ка!..

Это был Раснер. Человек тридцать мужчин и женщин, почти все из поселка Двести Сорок, оставшиеся утром дома, явились вечером в Монсу разузнать новости, а с приближением колонны бастующих заполнили распивочную. За одним из столиков сидел Захарий с Филоменой; подальше, спиной к двери, пряча лицо, примостился Пьерон со своей женой. Никто, впрочем, не пил — все только укрылись здесь.

Этьен узнал Раснера и отошел от него, но тот вдруг добавил:

— Что? Стыдно смотреть на меня?.. Я тебя предупреждал. Вот и начались неприятности!.. Кричите теперь сколько угодно, просите хлеба — вместо хлеба получите пули.

Этьен вернулся и ответил:

— Мне стыдно, что есть трусы, которые сидят сложа руки и смотрят, как мы рискуем своей жизнью.

— Ты, стало быть, решил грабежом заняться? — спросил Раснер.

— Я решил до конца оставаться с товарищами, хотя бы всем нам пришлось погибнуть.

И Этьен замешался в толпе, полный отчаяния, действительно готовый умереть. Трое подростков, стоя на дороге, бросали в окна камни, он разогнал озорников пинками, желая остановить взрос-

лых, он громко кричал, что бить стекла ни к чему — от этого никакой пользы не будет.

Бебер и Лидия пробрались наконец к Жанлену и сейчас учились у него орудовать пращой. Началась потеха: каждый бросал камень, выиграть должен был тот, кто больше перебьет окон. Лидия, неловко швырнув камень, попала в голову какой-то женщине, стоявшей в толпе, и оба мальчишки от хохота хватались за бока. В сторонке сидели на скамье и смотрели на них два старика — Бессмертный и Мук. Опухшие ноги еле держали Бессмертного, и он с великим трудом дотащился сюда; неизвестно, что именно привело его сюда; он молчал словно истукан, как то нередко теперь бывало, и его землистое лицо ничего не выражало.

Никто, однако, больше не слушал Этьена. Сколько он ни кричал: «Перестаньте!» — из толпы все летели камни, и он испытывал теперь удивление и страх перед слепой яростью, в которую он сам ввергнул этих людей, обычно спокойных, нелегко поддающихся волнению, но в гневе таких неукротимых, неистовых. Сказывалась фламандская кровь: нужны были долгие месяцы, чтобы она вскипела, но уж если эти миролюбивые люди приходили в неступление, оно толкало их на неслыханные жестокости и не стихало до тех пор, пока они не утоляли своей ярости. На юге, родине Этьена, толпа воспламенялась быстрее, но действовала менее решительно. Ему пришлось силой вырвать у Левака топор, он не знал, как сдержать Маэ и его жену, бросавших камни обеими руками. Особенно его пугали женщины — жена Левака, Муретта и многие другие: они рвали и метали, готовы были душить, убивать, они выли, как собаки, теснясь вокруг своей предводительницы, высокой, худой старухи Горелой, возвышавшейся над ними.

Но вдруг наступило затишье: самый обыденный случай вызвал глубокое изумление толпы и как будто успокоил ее, чего Этьен не мог добиться никакими мольбами. Дело было в том, что супруги Грегуар решились наконец распроститься с нотариусом и отправились в директорский особняк, для чего им понадобилось перейти через улицу; они казались такими благодушными, их лица выражали такую твердую уверенность, что все происходящее — просто-напросто шутка со стороны их рабочих, милых славных людей, чья покорность более столетия кормила племя Грегуаров, что углекопы в изумлении перестали бросать камни, боясь попасть в почтенного старичка и старушку, будто с неба свалившихся к ним. Они пропустили супругов, дали им войти в сад, подняться на крыльцо, позвонить у крепко запертой двери, которую гостям не спешили отворить. Как раз в это время возвращалась отпущенная со двора директорская горничная Роза; она шла, улыбаясь разъяренным углекопам,— она всех хорошо знала, так как сама была

родом из Монсу. Роза принялась барабанить кулаками в дверь и в конце концов заставила Ипполита отворить. Как раз вовремя! Едва Грегуары вошли в дом, опять полетели камни. Оправившись от изумления, толпа заревела:

— Смерть буржуям! Да здравствует социальная революция!

Роза и в прихожей все еще весело смеялась, словно оказалась свидетельницей забавного происшествия, и твердила перепуганному слуге:

— Да они же совсем не злые, я их знаю!

Господин Грегуар аккуратно повесил на крючок свою шляпу. Затем помог жене снять пальто из пушистого драпа и сказал в свою очередь:

— Конечно, они, в сущности, не злые. Покричат, покричат и пойдут домой ужинать. Аппетит себе нагуляют.

В ту минуту спустился с третьего этажа г-н Энбо. Он видел из окна сцену с участием Грегуаров и вышел встретить гостей. Как всегда, вид у него был холодный и учтивый. Лишь необычайная его бледность свидетельствовала о пережитом потрясении и пролитых слезах. Человеческие страсти были укрощены, г-н Энбо остался только чиновником, корректным и непреклонным, решившим исполнить свой долг.

— А знаете,— сообщил он,— наши дамы еще не вернулись.

Грегуары впервые встревожились. Сесиль еще не возвратилась? Но как же она возвратится, если шутка углекопов затянется?

— Я думал было разогнать их,— добавил г-н Энбо.— К сожалению, я в доме один и к тому же не знаю, куда послать слугу, чтобы он привел четырех солдат и капрала,— они живо очистили бы улицу от этого сброда.

Роза, все еще стоявшая в передней, вновь осмелилась вмешаться:

— Да что вы, барин!.. Они же совсем не злые.

Директор покачал головой, а шум на улице все возрастал, и камни с глухим стуком непрестанно ударялись о фасад.

— Я на них не сержусь. И даже извиняю их: ведь только по своей тупости они воображают, будто мы упорствуем от того, что желаем им зла. Однако я отвечаю за спокойствие... Подумать только, по дорогам, как меня уверили, разъезжают жандармы, а я с самого утра не могу дозваться ни одного!..

Он оборвал свою тираду и, пропуская г-жу Грегуар, сказал:

— Да что же мы тут стоим, прошу вас, сударыня, пожалуйте в гостиную.

Но тут прибежала из кухни перепуганная кухарка и на несколько минут задержала всех в передней. Она заявила, что не ее

вина, если обед получится невкусный,— ведь до сих пор из Мариьена не привезли заказанное слоеное тесто для курника, хотя кондитер должен был прислать его к четырем часам дня. Очевидно, посыльный заблудился, мечется где-то по дорогам, испугавшись этих разбойников. А может быть, они даже ограбили его, вытащили все, что было у него в корзинах; она ясно представляет себе, как кондитера подкараулили за кустами, расхватали все сдобные пироги, и их мигом проглотила трехтысячная армия этих несчастных, которые кричат перед домом, требуя хлеба. Во всяком случае, она тут ни при чем, хозяина она предупредила, и если из-за революции обед выйдет неудачным, то лучше она все кушанья бросит в огонь, чем осрамится, подав их на стол.

— Потерпите немного,— сказал г-н Энбо.— Еще ничего не потеряно. Возможно, кондитер приедет.

Повернувшись к г-же Грегуар, он сам отворил перед ней дверь в гостиную, и только тогда, к великому своему удивлению, увидел, что на диванчике в передней сидит человек, которого он до этой минуты в полумраке не заметил.

— Как! Это вы, Мегра? Что случилось?

Мегра поднялся, и из темноты возникла его пухлая, искаженная ужасом физиономия. Куда девалось его спокойное самодовольство важной шишки? Он смиренно объяснил, что позволил себе пробраться к господину директору, чтобы попросить о помощи и покровительстве, если разбойники нападут на его лавку.

— Вы же видите, мне самому грозит опасность, и у меня никого нет,— ответил г-н Энбо.— Лучше бы вам сидеть у себя дома и стеречь свои товары.

— О-о! У меня в лавке железные решетки. Да и жену я там оставил стеречь.

Директор говорил нетерпеливо и с явным презрением. Нечего сказать, хороша охрана — хилая, худенькая женщина, которую муж скоро в гроб вгонит своими побоями!

— Я, право, ничем не могу вам помочь, постарайтесь сами защитить себя. И советую вам сейчас же возвратиться домой,— а то они опять требуют хлеба. Слышите?

Действительно, опять раздались громовые возгласы; Мегра показалось, что выкрикивают и его имя. Вернуться сейчас домой было невозможно — его бы растерзали. И вместе с тем ему не давал покоя страх перед разорением. Он приник лицом к застекленной двери и, обливаясь потом, дрожа всем телом, смотрел и слушал, ожидая катастрофы. Грегуары же решились наконец пройти в гостиную.

Господин Энбо старательно выполнял роль радушного хозяина. Но напрасно он приглашал гостей присесть; в запертой комна-

те, где еще засветло затворили ставни и зажгли две лампы, веяло ужасом при каждом новом крике толпы, доносившемся с улицы. Приглушенные гардинами, портьерами, коврами, эти гневные крики сливались в протяжный гул, исполненный смутной, но жуткой угрозы, и внушали сидящим в гостиной жестокую тревогу. Разговор поминутно обращался к этому необъяснимому бунту. Г-н Энбо удивлялся: как он ничего не предвидел! Должно быть, доносчики плохо осведомляли его,— он и сейчас главным образом обрушивался на Распера, заявляя, что хорошо распознает во всем этом его зловредное влияние. Впрочем, беспокоиться нечего — скоро явятся жандармы, ведь не могут же бросить его на произвол судьбы! Грегуары думали только о своей дочери: бедная девочка, она так пуглива! Может быть, из-за опасных встреч коляска вернулась в Маршьен. Прошло еще четверть часа в томительном ожидании; нервы были напряжены от тысячеголосого гула, не стихавшего на улице, от стука, похожего на барабанную дробь,— ведь в запертые ставни градом летели камни. Положение стало нестерпимым. Г-н Энбо говорил, что сейчас он выйдет, один разгонит горлодеров и отправится навстречу коляске; но вдруг с криком вбежал Ипполит:

— Барин! Барин! Барыня приехала, ее убивают!

Коляска не могла проехать по Рекильярскому проселку среди бунтовщиков, которые толпились на дороге и угрожали ей, а поэтому Негрель решил осуществить свой план: пройти немного пешком (до особняка оставалось каких-нибудь двести шагов) и постучаться в калитку, проделанную в садовой ограде около дворовых служб,— садовник их услышит, а если не он, так отопрет кто-нибудь другой. И сначала все шло прекрасно, г-жа Энбо и барышни постучались в калитку, как вдруг кто-то предупредил бунтовщиц, и они ринулись к ограде. Дело приняло дурной оборот. Калитку все не отпирали; Негрель попытался высадить ее плечом. Женщины прибежали гурьбой, их становилось все больше; Негрель боялся, что его собьют с ног, и принял отчаянное решение: подталкивая впереди себя г-жу Энбо и девушек, пробраться к подъезду сквозь толпу осаждающих. Но этот маневр привел к свалке: преследовательницы их не выпускали, с воем цеплялись за них, а толпа расступалась направо-налево, удивляясь, зачем и как в нее замешались нарядные дамы. И тогда произошел невероятный, необъяснимый случай, который возможен лишь в минуты неописуемого смятения. Люси и Жанна, добравшись до крыльца, проскользнули в дверь, которую приотворила горничная, г-же Энбо удалось протиснуться вслед за ними, а за нею проскочил Негрель и задвинул засов: он был уверен, что Сесиль вошла первая, что он собственными своими глазами это видел. А между тем Сесиль не дошла до

крыльца,— охваченная паническим страхом, она повернула прочь от дома и сама бросилась навстречу опасности.

Вокруг раздались крики:

— Да здравствует социальная революция! Смерть буржуям! Смерть!

Не узнавая Сесиль под опущенной вуалеткой, некоторые издали принимали ее за жену директора. Другие выкрикивали имя приятельницы г-жи Энбо — молодой жены соседнего фабриканта, которого рабочие ненавидели. Да и не имело особого значения, кто она такая,— всех раздражало шелковое платье, меховое манто и даже белое перо на шляпке. От дамы пахло духами, у нее были хорошенькие часики, а такие холеные белые руки могли быть только у бездельницы, никогда не прикасавшейся к углю.

— Погоди! — кричала Горелая.— Мы тебе разрисуем морду. Будешь знать, как в вуалетках ходить!

— Сволочи проклятые, нас обкрадывают и наряжаются,— подхватила жена Левака.— Скажи пожалуйста, вся в мехах, а мы мерзнем, того и гляди помрем... Давайте разденем ее догола, пускай узнает, каково людям живется.

Тут выскочила Мукетта:

— Давай, давай! Выпороть ее!

И женщины, пылая жгучей завистью, теснились вокруг Сесиль, показывая свои лохмотья, готовы были разорвать в клочья наряды богатой барышни. Разве она лучше устроена, чем они? Мало разве буржуек хоть и расфуфыренных, да гнилых? Хватит терпеть несправедливость! Этим мерзавкам ничего не стоит потратить пятьдесят су на стирку накрахмаленной нижней юбки. Пусть они теперь одеваются как работницы! И будут так одеваться, их заставят!

У Сесиль подкашивались ноги, она с ужасом смотрела на окружавших ее рассвирепевших женщин и без конца лепетала одни и те же слова:

— Голубушки, прошу вас... Голубушки, не делайте мне больно!

И вдруг она испустила хриплый крик,— чьи-то холодные руки схватили ее за горло. На нее кинулся старик Бессмертный, к которому толпа оттеснила ее. Он был словно пьян от голода, он отупел от долгой нищеты и сейчас вдруг сбросил узду полувекового смирения, хотя никто не мог бы сказать, какая давняя обида толкнула его на это. За долгую свою жизнь он спас от смерти не меньше десяти товарищей, ради других шел навстречу опасности при взрывах рудничного газа и при обвалах, а тут внезапно поддался властному чувству, которое он не мог бы выразить словами, под-

чинился какому-то наваждению, которое нашло на него при виде белой шеи холеной барышни. В этот день калека, казалось, лишился дара речи,— он молчал и сейчас, только крепко сжимал своими заскорузлыми пальцами шею Сесиль и как будто по-прежнему был поглощен далекими воспоминаниями.

— Нет! Нет! — завопили женщины.— Оголить ей зад! Оголить ей зад!

Как только в особняке поняли, что случилось, Негрель и г-н Энбо отперли дверь и бросились на помощь девушке. Но толпа сбилась у решетчатых ворот, и выйти было не так-то легко. Завязалась схватка, а в это время на крыльце появились испуганные супруги Грегуар.

— Дед, пусти ее, пусти! Это ведь барышня из Пиолены! — закричала старику Бессмертному жена Мао, узнав Сесиль, с которой женщины сорвали вуалетку.

Этьен, потрясенный этим возмездием, обращенным против юной девушки, тоже пытался спасти ее от разъяренной толпы. И вдруг его осенила мысль,— он взмахнул топором, который вырвал у Левака, и крикнул:

— К Мегра! Бросайте все к чертовой матери! Идем к Мегра!.. Там есть хлеб. Разнесем лавку Мегра.

И первый со всего размаху ударил топором в дверь лавки. Вслед за ним прибежали Левак, Мао и кое-кто еще. Но женщины разъярились и не выпускали Сесиль. Из тисков Бессмертного она попала в руки Горелой. Лидия и Бебер, которых науськивал Жанлен, поползли на четвереньках, собираясь подлезть под кринолин модницы. Сесиль дергали в разные стороны, платье ее трещало по швам, как вдруг прискакал какой-то верховой, расталкивая лошадью толпу, разгоняя хлыстом тех, кто не сразу отскакивал в сторону.

— Ах, мерзавцы! Вы принялись избивать наших дочерей?

Это был Денелен, приехавший за дочерьми и на обед к директору. Соскочив с седла, он обнял Сесиль за талию и повел; другой рукой он с необыкновенной ловкостью и силой управлял лошадью и, пользуясь ею, как живым тараном, раздвигал толпу, отступавшую перед ее скачками. У ворот опять началась схватка, однако Денелен прошел, отдавив многим ноги. Эта нежданная помощь избавила от опасности и Негреля и г-на Энбо, которых осыпали ругательствами и тумаками. А когда Негрель вошел наконец в дом, подхватив на руки упавшую в обморок Сесиль, в рослого Денелена, который стоял на крыльце, заслоняя директора, швырнули камень, едва не раздробив ему плечо.

— Правильно! — крикнул он.— Сломали мои машины, теперь переломайте мне кости!

Он живо захлопнул дверь. По деревянной филенке застучали камни.

— Вот бешеные! — заговорил Денелен.— Еще секунда, и они продырявили бы мне череп, как пустую тыкву... Да что теперь с ними разговаривать! Даже и не пытайтесь. Они ничего не сознают. Остается только дубиной их бить.

В гостиной плакали Грегуары, глядя на очнувшуюся дочь. Сесиль возвратилась цела и невредима,— без единой царапинки, только вуалетка ее потерялась. Но какого страху она натерпелась! А тут вдруг явилась кухарка Грегуаров Мелани и принялась рассказывать, как шайка бунтовщиков все разгромила в Пиолене. До смерти перепугавшись, она прибежала предупредить хозяев. Кухарка тоже прошмыгнула с улицы в приотворенную дверь, когда происходила свалка, только никто ее не заметил; в ее бесконечном повествовании единственный камень, брошенный Жанленом и разбивший лишь одно стекло, превратился в форменную канонаду, от которой растрескались стены. И тогда у г-на Грегуара все перемешалось в голове. Что ж это такое? Чуть не удушили его дочь, стерли с лица земли его дом! Так, значит, это правда, что углекопы рассердились на него за то, что он так хорошо жил их трудом?

Горничная, принеся для Сесиль полотенце и одеколон, твердила свое:

— Удивительное дело! Ведь они совсем не злые!

Госпожа Энбо сидела, вся бледная, и не могла оправиться от жестоких треволнений. Она только улыбнулась томной улыбкой, когда стали хвалить Негреля. Родители Сесиль благодарили главным образом его; несомненно, они вполне согласны были выдать за него дочь. Г-н Энбо молча смотрел на всех, переводил взгляд с жены на ее любовника, которого он утром клялся убить, глядел на девушку, которая избавит его от Негреля. А зачем спешить с этим браком? Он теперь боялся только одного: как бы его супруга не опустилась еще ниже,— быть может, до какого-нибудь лакея.

— А как вы, мои дорогие? — спросил Денелен дочерей.— Вас не ушибли?

Несмотря на пережитый испуг, Люси и Жанна были довольны, что видели картину бунта. Теперь они смеялись.

— Черт подери! — продолжал отец.— Ну и денек выдался! Если желаете, дочки, иметь приданое, то постарайтесь сами его заработать. Да еще, пожалуй, придется вам и меня кормить.

Денелен старался шутить, но голос у него дрожал, на глаза навернулись слезы, когда дочери бросились его обнимать.

Господин Энбо слышал это признание в разорении. Какая-то мысль мелькнула у него, и лицо его просветлело. А ведь и в самом

деле, теперь-то Вандамские кони наверняка перейдут в руки Компании Монсу. Наконец-то удача! Надежда его осуществилась,— вот на чем он отыграется: благодаря этому случаю он вновь вернет себе благосклонность правления. При каждой катастрофе в своей личной жизни он искал успокоения в строгом исполнении полученных приказов; военная дисциплина, которой он подчинял себя, давала ему некое подобие счастья.

Постепенно все успокоились: наступившая тишина, ровный свет двух ламп, тепло и уют, плотные драпировки, заглушавшие звуки,— все радовало после утомительных волнений. А что происходило там, на улице? Крики смолкли, камни больше не били по фасаду; слышались только глухие размашистые удары, похожие на отдаленный стук топора лесоруба. Всем хотелось узнать, что происходит. Мужчины вернулись в прихожую и дерзнули бросить взгляд на улицу сквозь застекленную верхнюю часть двери. Дамы и барышни поднялись на второй этаж и встали за решетчатыми ставнями.

— Видите, вон стоит мерзавец Раснер,— вон тот, на другой стороне улицы, у дверей кабака? — сказал Денелену г-н Энбо.— Я сразу почуял, что без него дело не обошлось.

А меж тем не Раснер, а Этьен рубил топором дверь в лавке Мегра. Рубил и звал к себе товарищей. Разве весь товар в этой лавке не принадлежит углекопам? Разве не имеют они право отнять свое добро у вора, который так долго обкрадывал их, да еще морил их голодом по приказу Компании? Мало-помалу все бросили особняк директора и побежали громить лавку Мегра. Снова раздались крики: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Уж здесь-то, за этой дверью, хлеба сколько хочешь! И голодные в исступлении ринулись туда, словно больше не могли ждать, словно вот-вот они упадут на улице бездыханными. У дверей была такая давка, что Этьен боялся поранить кого-нибудь топором.

А Мегра, убравшись из передней директора, сперва укрылся в кухне, но оттуда ничего не было видно, а ему чудились ужасные покушения на его лавку; тогда он перебрался из подвального помещения во двор, решив спрятаться за насосом, и тут вдруг ясно услышал, как трещит дверь его лавки, как вопят осаждающие, призывая разграбить его товары, и выкрикивают его имя. Значит, это не страшный сон, а явь,— он не видел нападавших, зато хорошо их слышал, от их воя у него звенело в ушах. Каждый удар ломом или топором отдавался у него в сердце. Вот, должно быть, сорвали дверные петли, еще пять минут, и лавку возьмут приступом. Воображение рисовало ему страшные картины: эти разбойники ворвутся, взломают ящики, распорют мешки, все съедят, разнесут в щепки весь дом, не будет у него даже клюки, чтобы пойти

с ней побираться по деревням. Нет, он не даст разбойникам разорить его дотла, лучше сдохнуть! Со двора особняка ему видно было одно окно в боковой стене его дома, и в нем вырисовывалась худенькая женская фигурка,— там стояла его жена, за запотевшим стеклом смутно виднелось ее бледное лицо; вероятно, она с обычным своим видом побитой собачонки смотрела, как ломятся в дверь лавки, принадлежащей ее мужу. Под окном находился амбар, и на крышу его можно было взобраться из директорского сада, вскарабкавшись по деревянной решетке трельяжа, прикрывавшего глухой забор; затем проползти на четвереньках по черепичной крыше амбара до окна и влезть в него. Теперь Мегра одолевала одна неотвязная мысль — пробраться таким путем в свой дом. Как он раскаивался, что бросил свою лавку на произвол судьбы. Может быть, он еще успеет забаррикадировать дверь лавки шкафами, комодом, столами; он даже придумывал другие героические способы защиты: лить сверху на грабителей кипящее масло и пылающий керосин. Но страстная любовь к своему имуществу боролась в его душе с мучительным страхом, и преодолеть трусость было трудно. И вдруг, вздрогнув от особенно громкого удара топора, он решился. Алчность взяла верх,— они с женой телом своим прикроют мешки, но не выпустят из лавки ни одной бухханки хлеба.

И вот он полез. Но тотчас раздался вой:

— Смотрите! Смотрите! Кот на крыше! Ловите кота! Ловите!

Осаждавшие заметили Мегра на крыше амбара. Лихорадочное возбуждение придало грузному лавочнику ловкость, он проворно взобрался по трельяжу, безжалостно переломав деревянные планки; потом распластался на черепичной крыше и пополз, пытаясь добраться до окна. Но крыша была с крутым скатом, толстый живот мешал лавочнику; цепляясь за черепицы, он сорвал себе ногти. И все же он дополз бы до конька крыши, если б его не стала бить дрожь от страха, что в него будут швырять камни. Толпа, которую он потерял из виду, кричала внизу:

— Ловите кота! Ловите! Свернуть ему шею!

И сразу его руки потеряли точку опоры, Мегра сорвался, как шар, покатился вниз, подпрыгнул на водосточной трубе, упал на гребень стены, отделявшей его дом от директорского, и так неудачно, что покатился в сторону улицы, полетел на мостовую и раскроил себе череп о каменную тумбу. Из головы брызнул мозг. Мегра был мертв. Вверху бледным затуманенным пятном вырисовывалось в окне лицо его жены,— она по-прежнему смотрела вниз.

Сперва все были ошеломлены. Этьен остановился, топор выпал у него из рук. Маэ, Левак, да и все остальные, позабыв о лавке, смотрели на стену, по которой медленно стекала струйка крови.

«Жерминаль».

Смолкли крики. На улице, окутанной сумраком, вдруг настала мертвая тишина.

Но тотчас толпа опять завыла. Сбежались женщины, опьяненные пролившейся кровью.

— Так, значит, бог правду видит! Послал подлецу смерть! Кончено! Кончено!

Они окружили еще теплый труп, они хохотали, выкрикивали ругательства и насмешки, называли свинячьей башкой его разбитую голову и осыпали мертвеца бранью, изливая накопившиеся жестокие обиды за свою горькую, голодную жизнь.

— Я тебе должна шестьдесят франков,— вот теперь и получай должок, вор проклятый! — в исступлении кричала Маэ.— Больше не будешь выгонять меня из лавки... Постой, постой, надо тебя угостить, чтобы ты еще больше растолстел...

Она обеими руками поскребла землю и, набрав две пригоршни грязи, затолкала ее в рот мертвецу.

— На, ешь, проклятый! Ты нас жрал, а теперь землю жри!

Оскорбления сыпались градом, а мертвец лежал недвижно на спине, устремив застывший взгляд выпуклых глаз в беспредельное темнеющее небо. Земля, забившая ему рот, была отплатой — ведь он отказывал в хлебе голодным. Кроме земли, ему больше ничего есть не придется. Не принесло ему счастья то, что он морил голодом бедняков.

Но женщинам мало было этой мести. Они кружили вокруг, как волчицы, и словно обнюхивали труп. Каждая старалась придумать издевательство пострашнее, посвирепее, чтобы облегчить сердце.

И вот послышался пронзительный голос Горелой:

— Надо его, кота блудливого, выхолостить.

— Верно, верно! Кот поганый! Сколько он наблудил, сволочь этакая!

Мукетта бросилась к нему, стащила с него штаны, стащила исподнее, жена Левака подняла его ноги. Тогда Горелая своими старческими, иссохшими руками ухватила мертвую мужскую плоть и, напрягая в отчаянном усилии худую спину, дернула изо всей силы, так что хрустнули суставы ее ширококостных рук. Дряблые складки кожи не поддались, пришлось их отдирать, и, наконец, старуха оторвала мохнатый кровавый комок и с торжествующим смехом замахала им:

— Вот он! Вот он!

Пронзительные голоса приветствовали издевательствами отвратительный трофей.

— А-а, гад окаянный! Не будешь больше брюхатить наших дочерей!

— Да, теперь конец! Больше не заставишь нас платить тебе долги своим телом. Не испоганишь всех баб. Не будут они тебе поддаваться за краюху хлеба.

— Эй, слушай, я тебе должна шесть франков, может, хочешь получить в счет займа, а? Я согласна, бери, если можешь!

Шутка вызвала злорадный хохот. Женщины указывали друг другу на кровавый лоскут, как на мерзкое животное, от которого каждой пришлось пострадать,— но вот теперь они раздавили его, и, бессильное, мертвое, оно было в их власти.

Они плевали на него и, брезгливо скривив губы, кричали:

— Он больше не может! Не может! Он теперь не мужчина... Таким и зароют тебя в землю... Так и сгниешь, немогучка!

Горелая надела кровавый обрывок на палку, подняла ее высоко, словно флаг, и попеслась по улице, во главе завывавших женщин. Падали капли крови, жалкие лоскутья плоти свешивались, как обрезки мяса с прилавка мясника. Вверху, за окном, все так же неподвижно стояла жена Мегра; но в последних отсветах заката мутное оконное стекло, должно быть, искажало ее бледное лицо, и казалось, что она смеется. Забитая, ежечасно оскорбляемая развратником мужем, с утра до вечера корпевшая над приходо-расходной книгой, она, быть может, и в самом деле смеялась, когда женщины гурьбой промчались по улице, глумясь над злым животным, над раздавленным животным, свисавшим с длинной палки.

Но все вокруг застыли в ужасе от этого зрелища. Ни Этьен, ни Маэ, ни другие не успели вмешаться и теперь, остолбенев, смотрели на разъяренных мстительниц, бежавших по улице. Из питейной «Головня» вышли люди. Раснер был бледен от возмущения, Захария и Филомену, по-видимому, потрясло зрелище, представшее перед ними; два старика, Бессмертный и Мук, со строгим видом покачивали головой. Только Жанлен, хихикая, подталкивал локтем Бебера и заставлял Лидию поднимать голову и смотреть во все глаза. Вскоре женщины повернули обратно и прошли под окнами директора. Дамы и барышни, стоявшие за решетчатыми ставнями, глядели, вытянув шею. Они не видели того, что произошло у лавки,— все скрывала стена, а сейчас стемнело и трудно было что-нибудь различить.

— Что это несут на палке? — спросила Сесиль, которая настолько осмелела, что решилась посмотреть в окно.

Люси и Жанна заявили, что, должно быть, это кроличья шкурка.

— Нет, нет,— возразила г-жа Энбо,— вероятно, они разграбили мясную,— у них там что-то похожее на обрезки свинины...— Вдруг она вздрогнула и умолкла. Г-жа Грегуар предостерегающе

толкнула ее коленом. Обе они смотрели с ужасом. Барышни побледнели и, больше ни о чем не спрашивая, испуганно глядели на возникшее из мрака кровавое видение.

Этьен снова поднял топор. Но тяжелое чувство не рассеивалось. Распростертый на дороге труп преграждал теперь путь живым и защищал лавку. Многие отступили. Все как будто утолили свой гнев и успокоились. Маэ стоял в угрюмом раздумье, и вдруг кто-то сказал ему на ухо: «Беги скорей отсюда!» Он обернулся и увидел Катрин, запыхавшуюся от быстрого бега, все в той же обтрепанной мужской куртке, все такую же чумазую. Отец оттолкнул ее, не хотел ее слушать, пригрозил отколотить. Она в отчаянии всплеснула руками, растерянно посмотрела вокруг и подбежала к Этьену:

— Беги отсюда! Беги скорей! Жандармы!

Он тоже оттолкнул ее, ответил бранью, вспыхнув при воспоминании о пощечинах. Но Катрин все не отставала, заставила его бросить топор и, с дикой силой схватив за руку, оттащила в сторону.

— Говорю тебе: жандармы!.. Правду говорю. Ведь Шаваль их разыскал и привел сюда. А мне это противно, вот я и пришла... Беги же, беги! Не хочу, чтоб тебя забрали.

И Катрин увела его в то самое мгновение, когда вдали задрожала земля от тяжелого топота скачущих коней. Тотчас взвился крик: «Жандармы! Жандармы!» Все бросились врассыпную, помчались с такой быстротою, что через две минуты улица была совершенно пуста,— людей как будто вихрем смело. Только труп Мегра темным пятном выделялся на белых булыжниках мостовой. У дверей распивочной «Головня» остался лишь Раснер, который с полным удовлетворением, не скрываясь, приветствовал легкую победу жандармских сабель; а в притихшем Монсу, где все как будто вымерло, где в наглухо запертых домах не горело ни одного огонька, обыватели, все в холодном поту, стучали от страха зубами и не смели хотя бы в щелочку взглянуть на улицу. Равнина утонула в густом мраке; лишь зарево, стоявшее над домнами и коксовыми батареями, освещало на горизонте небо в эту трагическую ночь. Все ближе слышался конский топот; грузной темной массой, неразличимой в темноте, въехали в город жандармы. А за ними, под их охраной, прибыла наконец двухколесная тележка маршьенского кондитера; из тележки выскочил поваренок и преспокойно принялся распаковывать корзину со слоеными пирожками.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Всю первую половину февраля стояли сильные холода,— зима была долгая, суровая, безжалостная к беднякам. По дорогам угольного края разъезжали власти — лилльский префект, прокурор, генерал. Жандармов оказалось недостаточно, в Монсу прислали целый полк солдат и расставили его по всем угольным копям — от Боньи до Маршьена. Каждую шахту охранял военный пост, перед каждой машиной стояли солдаты. Особняк директора, склады, мастерские, контора Компании и даже дома некоторых богатых жителей города ощетинились штыками. На безлюдных улицах раздавались только шаги патрульных. Коченея на ледяном ветру, задувавшем порывами, на терриконе постоянно стоял часовой, словно дозорный, наблюдавший за открытым полем; и каждые два часа при смене караула, будто дело было во вражеской стране, слышался выкрик:

— Стой! Кто идет? Пароль!

Работа нигде не возобновилась. Наоборот — забастовка ширилась, захватила Кревкер, Мирý и Мадлен; в Фетри-Кантель с каждым утром клеть спускала все меньше углекопов; недосчитывала людей шахта Сен-Тома, до тех пор не участвовавшая в забастовке. На вторжение военной силы, оскорблявшее гордость углекопов, они ответили сплоченностью и упорством. Рабочие поселки, разбросанные среди свекловичных полей, словно опустели; углекопы сидели по домам; редко-редко покажется на улице одинокий прохожий, при встрече с солдатом в красных штанах опустит голову и бросит на него исподлобья косой взгляд. В этом угрюмом спокойствии, в этом пассивном упорстве, противопоставленном заряженным ружьям, была обманчивая кротость, та вынужденная терпеливая покорность, с которой звери, запертые в клетку, устремляют глаза на укротителя, но готовы отгрызть ему голову, лишь только

он повернется к ним спиной. Для Компании забастовка на шахтах была разорительна. В правлении поговаривали, что надо нанять рабочих в Боринаже — бельгийской пограничной области; но сделать это до сих пор не решались, и таким образом положение оставалось неизменным: углекопы заперлись в своих поселках, солдаты охраняли мертвые шахты.

Наутро после того ужасного дня сразу наступило спокойствие, за которым, однако, скрывался такой панический страх владельцев копей, что они и вопроса не поднимали о понесенных ими убытках, о жестокостях забастовщиков. Назначенное следствие установило, что причиной смерти Мегра явилось падение с крыши амбара, а глумление над его трупом держали в тайне, и о нем складывались легенды. Компания не желала признаться в нанесенном ей ущербе, а Грегуарам совсем не улыбалась мысль о громком судебном процессе, в котором их дочь скомпрометировала бы себя, выступая на суде в качестве свидетельницы. Однако кое-кого арестовали, схватив, как водится, случайных лиц — ничего не ведавших, тупых, растерявшихся от страха людей. По ошибке взяли Пьерона, и ему пришлось в наручниках прогуляться до Маршьена,— углекопы долго смеялись над этой историей. Чуть было не увели и Раснера под конвоем двух жандармов. В дирекции ограничились только составлением огромного списка рабочих, подлежащих увольнению; в одном только поселке Двести Сорок уволили Маэ, Левака и еще тридцать четыре человека. Самая суровая кара ожидала Этьена, однако он исчез вечером в суматохе, и теперь его искали, но не могли найти. Донес на него из ненависти Шаваль, который, однако, отказался назвать имена других зачинщиков беспорядков,— Катрин, желая спасти родителей, умолила его никого больше не выдавать. Шел день за днем, люди чувствовали, что борьба еще не кончена, и со щемящим сердцем ждали развязки.

В Монсу буржуа лишились покоя: они вскакивали по ночам с постели, им чудились грозные звуки набата, их преследовал запах пороха. И все у них окончательно перемешалось в голове от проповедей нового священника их прихода, аббата Ранвье, худого, высокого фанатика с горящими глазами, преемника аббата Жуара. Как он был не похож на своего улыбающегося дородного предшественника, такого любезного и мягкого человека, неизменно стремившегося жить со всеми в ладу! Этот аббат Ранвье, подумайте только, позволил себе защищать забастовщиков, разбойников, которые позорят всю округу. Он находил извинения их гадким поступкам, он яростно нападал на буржуазию и возлагал на нее всю ответственность за случившееся. По его мнению, буржуазия, отняв у церкви ее исконные права, весьма дурно пользовалась ими и

обратила мир земной в юдоль несправедливости и страданий. Именно она, буржуазия, разжигает распри и приведет мир к ужасной катастрофе, виной которой является ее атеизм, ее отказ вернуться к вере и братской любви, соединявшим людей в первые времена христианства. Аббат даже осмелился угрожать богачам, он дерзко предупреждал их, что если они и дальше будут упрямиться и не захотят внять гласу господню, то бог наверняка встанет на сторону бедняков: он отнимет богатства у неверующих, наслаждающихся благами земными, и разделит их сокровища между страдающими и обездоленными, ради вящей славы своей. Благочестивые обыватели трепетали, а некоторые заявляли, что это чистейший социализм, и все уже видели, как аббат Ранвье, во главе полчища рабочих, потрясая крестом, сокрушает буржуазное общество, порожденное революцией тысяча семьсот восемьдесят девятого года.

Предупредили г-на Энбо, но он только пожал плечами и сказал:

— Если он очень будет надоедать нам, епископ уберет его отсюда.

А пока ветер панического страха дул по всей равнине, Этьен жил под землей, в глубине Рекильярской шахты, в норе Жанлена. Он скрывался там, и никто не думал, что он находится так близко; смелое его решение спрятаться в заброшенной шахте сбило с толку всех ищеек. Вверху вход в яму прикрывали кусты терновника и боярышника, разросшиеся среди рухнувших балок старого копра; никто не дерзал проникнуть туда,— для этого нужно было прибегать к акробатическим приемам: повиснуть в воздухе, уцепившись за корни рябины, и бесстрашно низринуться в темноту — на площадку, от которой шли вниз уцелевшие ступеньки лестницы; да и другие препятствия охраняли тайник: удушливая жара, стоявшая в этом запасном стволе, сто двадцать метров опасного спуска. Потом надо было с четверть лье проползти по узкому штреку, и лишь тогда можно было попасть в разбойничью пещеру Жанлена, где он собирал наворованные им сокровища. Этьен жил там среди изобилия этих благ: там оказалась и можжевеловая водка, и недоеденная соленая треска, и другая снедь. Куча сена служила превосходной постелью. В этом углу совсем не дули сквозняки, все время стояла ровная температура,— правда, было довольно жарко. Одно оказалось плохо: грозила неприятность остаться без света. Жанлен, опекавший его, действовал осторожно и крепко хранил тайну, радуясь случаю посмеяться над жандармами; он приносил Этьену всевозможные вещи, вплоть до помады для волос, но никак не мог стянуть где-нибудь пачку свечей.

На пятый день Этьен зажигал свет только за своими трапе-

зами, в темноте он не мог есть, кусок не лез в горло. Темнота, бесконечная, беспросветная, непроглядная темнота, была для него пыткой. Хоть он мог и спать тут спокойно, хоть и был сыт, сидел в тепле, никогда еще темнота так не угнетала его — словно какая-то тяжесть навалилась на него. Вот оно как обернулось,— несмотря на все коммунистические теории, Этьен Лантье ест и пьет краденое! Против этого восставала его щепетильная честность, привитая воспитанием, и он ограничивался сухим хлебом, урезывая себе паек. Но надо было жить: его задача еще не выполнена. Он терзался стыдом и раскаянием оттого, что недавно напился и вел себя как дикарь. В тот день было так холодно — зуб на зуб не попадал, и так голодно; он пил эту проклятую водку на пустой желудок, опьянел и стал зверем — кинулся с ножом на Шаваля. Под влиянием алкоголя зашевелилось в его существе что-то неведомое и страшное — наследственная болезнь. Вот действительно проклятое наследство, полученное от многих поколений пьяниц, раз от одной рюмки спиртного приходишь в исступление и готов зарезать человека. Неужели он станет в конце концов убийцей? Очутившись в подземном убежище, среди глубокой тишины недр земных, устав от насилий, он двое суток спал беспробудно, словно наевшееся до отвала, но измученное животное; и отвращение к случившемуся все не проходило, он чувствовал себя совсем разбитым, во рту была горечь, голова нестерпимо болела, словно после мерзкой попойки. Прошла неделя. Жанлен предупредил родителей, но им не удалось прислать Этьену свечу; ему приходилось сидеть без света и даже есть в темноте.

Теперь он часами валялся на сене. Какие-то странные мысли одолевали его,— он не ожидал, что они могут у него возникнуть. Но с тех пор, как он занялся самообразованием, читал и приобретал познания, у него развилось чувство собственного превосходства, уверенность, что, по сравнению с товарищами, он выдающаяся личность. Ему еще никогда не приходилось столько размышлять; он задался вопросом, почему ему все опротивело на другой день после исступленного шествия и разгрома; и он не решался ответить на этот вопрос; он с отвращением вспомнил все то, что было: и низменные вожделения, и грубость инстинктов, и запах нищенских отрепьев, развеваемых ветром. Жить в непроглядной тьме было мучительно, и все же он со страхом думал о возвращении в поселок. Что за жизнь у этих обездоленных! Спят чуть ли не вповалку, все моются в одной лохани! Подумать тошно! И ни с кем нельзя серьезно поговорить о политике; существование у них просто скотское; в домах нечем дышать, спертый воздух пропитан запахом жареного лука. Он хотел расширить их кругозор, поднять их умственный уровень, добиться, чтобы они стали хозяевами,— ведь

когда они достигли бы такого же благосостояния, как буржуазия, имели бы такие же хорошие манеры. Но как долго этого ждать! Он не чувствовал в себе достаточно мужества, чтобы в ожидании победы голодать и надрываться на этой каторге. Тщеславное сознание, что он стал вожаком этих бедняков, постоянная его обязанность думать за них постепенно отдаляли его от товарищей,— душой он становился сродни буржуа, которых так ненавидел.

Однажды вечером Жанлен принес ему свечку, украденную из фонаря ломового извозчика; это было большим облегчением для Этьена. Когда темнота нагоняла на него невыносимую тоску и гнет этого мрака доводил его чуть не до сумасшествия, он на минуту зажигал огарок; а как только кошмарные мысли рассеивались — тушил его, дрожа над этим жалким источником света, необходимого ему для жизни, как хлеб. Кругом была тишина, он напряженно вслушивался в нее — вот пробежала стая крыс; потрескивает старая крепь; а вот чуть слышный шелест — это паук плетет свою паутину. Глядя широко открытыми глазами в теплую тьму, он возвращался к неотвязным своим думам. Что делают там, на поверхности земли, его товарищи? Отступничество он счел бы величайшей подлостью. Он прятался здесь лишь для того, чтобы остаться на свободе, давать советы и действовать. За долгие часы раздумий его честолюбивые мечты определились: в ожидании лучшего он хотел бы стать вторым Плюшаром, бросить физическую работу, заняться исключительно политикой и жить одному, в чистой комнате: ведь умственный труд поглощает всю жизнь целиком и требует спокойной обстановки.

В начале второй недели Жанлен сообщил Этьену, что жандармы вообразили, будто он бежал в Бельгию. И тогда Этьен, как только стемнело, осмелился выбраться из своей норы. Он хотел узнать, каково положение, посмотреть, следует ли дальше упорствовать. Сам он считал, что игра проиграна; еще до забастовки он сомневался в ее исходе и согласился на нее только в силу обстоятельств; а теперь, после опьянения бунтом, вернулись прежние его сомнения, и он уже не надеялся, что рабочие заставят Компанию пойти на уступки. И хоть он и не признавался себе в этом, у него больно щемило сердце при мысли о тех бедствиях, которые принесет поражение, и о том, какая тяжелая ответственность за страдания побежденных ляжет на него. А с концом забастовки кончится и его роль, рухнут его честолюбивые планы, его уделом будет отупляющая работа на шахте и безрадостный быт рабочего поселка. Но он совершенно искренне, без всякой задней мысли, без низких расчетов и лжи старался возродить в душе веру, доказать себе, что сопротивление еще возможно, что капитал не усто-

нт и скоро падет пред лицом этого героического самоубийства армии труда.

В самом деле, по всему краю ветер разносил отзвуки разорения. Ночью, когда Этьен рыскал по черным полям, словно волк, выбежавший из леса, ему слышалось, как по всей равнине, из конца в конец, раздается грохот падения: рушатся крепости капитала. Блуждая по дорогам, он проходил мимо закрывшихся, мертвых заводов, строения которых гнили и разваливались под куполом белесого неба. Больше всего пострадали сахарные заводы: Готонский и Фовельский заводы сначала сократили число рабочих, а затем закрылись,— один за другим. На механической мельнице Дютилейля последний постав остановился во вторую субботу февраля; отсутствие заказов совсем убило мастерские в Блезе, выделывавшие канаты для угольных копей, и они больше не работали. В окрестностях Маршьена положение ухудшалось с каждым днем: в Гажбуа стекольный завод загасил все печи; в Сонвильских машиностроительных мастерских шло увольнение рабочих; на литейном заводе горела только одна из трех доменных печей; на горизонте не светилось пламя ни одной коксовой батареи. Забастовка на угольных копях Монсу, порожденная все расширявшимся промышленным кризисом, который длился уже два года, усугубляла этот кризис, ускоряла наступление катастрофы. К причинам бедствия — прекращению заказов из Америки, затору в обороте капиталов, вызванному перепроизводством, присоединилась теперь еще одна причина — нежданная нехватка каменного угля для топок тех паровых котлов, которые еще действовали; настали последние минуты агонии, ибо шахты больше не давали угля, этого хлеба насущного паровых машин. Испугавшись повальной болезни, Компания Монсу сократила добычу, обрекла рабочих на голодное существование, а роковым следствием сокращения оказалось то, что с конца декабря на площадках шахт не было ни одного куска угля. Все находилось во взаимной связи, ветер бедствия дул издалека, крах одного предприятия влек за собою банкротство другого; в падении своем они задевали, опрокидывали и давили друг друга; катастрофы следовали быстрой чередой, отзвуки крушений долетали и до соседних городов — Лилля, Дуэ, Валансьена, где они вызывали крах банков и бегство банкиров, разоривших тысячи семей.

Нередко Этьен, блуждая ночью, останавливался на повороте дороги и замирал в раздумье. Вот они падают, падают обломки крепостей. И он глубоко вдыхал холодный воздух, всматривался в темноту. Как радовался он этому уничтожению, предавшись надежде, что солнце взойдет над обломками старого мира,— не останется тогда ни одной башни богатства, их развалины сровняют с

землей, и принцип равенства, словно острая коса, под корень срежет все несправедливости. Больше всего его интересовали в этом уничтожении кони Монсу. В своих ночных скитаниях он побывал близ каждой шахты и радовался, узнавая о каком-нибудь новом ущербе, нанесенном Компании. Ведь в шахтах один за другим происходили обвалы, и все более значительные, так как квершлаги и штреки все больше приходили в запустение. Над северным крылом шахты Мирý земля так осела, что Жуазельская дорога провалилась на протяжении ста метров, словно ее проглотила трещина при землетрясении; Компания, не торгуясь, платила землевладельцам за исчезнувшие поля, опасаясь, что из-за этих катастроф поднимется шум. Шахты Кревкер и Мадлен, где порода была очень неустойчивая, все больше закупоривались. Говорили, что в шахте Виктуар погибли под обвалом два штейгера; в Фетри-Кантель выработки затопила хлынувшая вода; в Сен-Тома пришлось укрепить главный квершлаг на протяжении километра каменной кладкой, так как плохо поддерживаемое деревянное крепление повсюду ломалось. Словом, Компания несла огромные убытки, возраставшие с каждым часом, дивиденды акционеров утекали в эти зияющие бреши; шахты быстро разрушались, и в конце концов все это должно было поглотить знаменитые паи Компании угольных копей в Монсу, стоимость которых за столетие увеличилась во сто раз.

И благодаря этим непрекращающимся ударам у Этьена возродилась надежда; он в конце концов уверовал в то, что третий месяц забастовки доконает чудовище — усталого и разжиревшего зверя, сидящего, словно идол, где-то там, в неведомом капище. Этьен знал, что после беспорядков в Монсу парижские газеты заволновались, поднялась яростная полемика между официозными газетами и газетами оппозиционных кругов; в печати появились ужасающие рассказы о происходивших событиях, направленные главным образом против Интернационала, влияния которого теперь боялись, тогда как раньше поощряли его. Словом, Компания уже не могла прикидываться равнодушной к создавшемуся положению: два члена правления соблаговолили приехать для расследования, но как будто сожалели, что потратили на это время, совсем не интересовались ходом забастовки, выказывали полное безразличие к ней и через три дня уехали обратно, заявив, что все идет прекрасно. Однако ж Этьену говорили, что эти важные особы во время своего пребывания в Монсу сидели в конторе день и ночь, развили лихорадочную деятельность, поглощены были какими-то делами, о которых никто из их окружения не обмолвился ни единым словом. Этьен считал, что самоуверенность приезжих господ — чистейшая комедия, даже полагал, что они не уехали, а бежали

в паническом страхе; он теперь не сомневался в победе забастовки, раз эти ужасные люди все бросили и умчались прочь.

Но в следующую ночь он опять пришел в отчаяние. Компания весьма крепко стояла на ногах, и не так-то легко было ее свалить: ей не страшно было потерять несколько миллионов — она знала, что позднее все наверстает на рабочем, урезав его голодный паек. В ту ночь он дошел до Жан-Барта и угадал правду, когда сторож сообщил ему, что Вандамские копи, кажется, перейдут в руки Компании Монсу. Говорили, что в доме Денелена теперь жалкая нищета — нищета разорившихся богачей; отец заболел от сознания своей беспомощности, постарел из-за денежных забот; дочери борются с кредиторами, пытаются спасти хоть свои рубашки. В рабочих поселках люди не так страдали, как в доме этих буржуа, где хозяева, прячась от всех, пили за столом воду вместо вина. В Жан-Барте работа не возобновилась, да еще пришлось поставить новый насос в шахте Гастон-Мари, и, хотя откачку вели день и ночь, вода уже начала заливать выработки; борьба с этим бедствием требовала больших расходов. Денелен осмелился наконец попросить у Грегуаров взаймы сто тысяч франков, и их отказ, которого он, впрочем, ожидал, совсем его убил. Они заявили, что отказывают из дружеской приязни к нему — хотят, чтобы он бросил непосильную борьбу, и советовали ему продать концессию. Денелен яростно твердил: «Нет!» Его приводило в бешенство, что именно ему приходится расплачиваться за забастовку; он сперва надеялся, что умрет из-за этого,— вот-вот кровь бросится в голову, апоплексия задушит его. А потом (ничего не поделаешь!) пришлось выслушать предложения. С ним повели кляузный торг, желая обесценить эту великолепную, отремонтированную, оснащенную новым оборудованием шахту, в которой он только из-за нехватки оборотного капитала не мог как следует развернуть добычу. Теперь ему давали за нее гроши,— хорошо, если хватит ублаготворить кредиторов. Два дня он сражался с членами правления, приехавшими в Монсу, приходил в бешенство, видя, как хладнокровно они стараются извлечь для себя выгоду из его тяжелого положения, кричал им своим зычным голосом: «Никогда! Нет! Нет!» Сделка не состоялась; члены правления вернулись в Париж, решив терпеливо ждать, когда Денелен будет при последнем издыхании. Этьен чутьем угадал, каким путем Компания возместит свои катастрофические убытки, и пал духом перед непобедимой мощью крупных капиталов, столь сильных в схватке, что они жиреют даже при поражении, пожирая трупы малых капиталов, павших рядом с ними.

К счастью, на следующий день Жанлен принес ему добрую весть. В Ворейской шахте сруб шахтного ствола того и гляди разо-

рвет: вода льет из всех пазов; для ремонта пришлось поставить туда артель плотников, идет срочнейшая работа.

До тех пор Этьен не подходил к Ворейской шахте, опасаясь черной фигуры часового на терриконе. Его нельзя было избежать, он возвышался надо всей равниною, он виден был отовсюду, словно знамя полка. В третьем часу утра, когда тучи затянули небо и стало очень темно, Этьен направился к шахте; товарищи, попадавшиеся ему навстречу, рассказали, в каком плохом состоянии сруб,— они даже полагали, что необходимо его срочно перебрать, а для этого придется на три месяца прекратить добычу. Этьен долго бродил близ шахты, слушал, как стучат молотками плотники, исправляя сруб. Сердце у него радовалось: вот еще и эту рану пришлось хозяевам залечивать. Возвращаясь к себе на рассвете, он увидел на терриконе часового. Наверняка и часовой его увидит, если подойти к шахте. Этьен шел и думал об этих солдатах, которых взяли в гуще народной и, вооружив, послали против народа. А как легко было бы революции одержать победу, если б армия вдруг перешла на ее сторону. Достаточно было бы, чтобы в казармах рабочий и крестьянин, которых одели в солдатские мундиры, вспомнили о своем происхождении. Буржуа понимают, какая это страшная для них опасность, и приходят в такой ужас при мысли о возможной измене войск, что их бросает в озноб от страха. За каких-нибудь два часа их бы смели, уничтожили — пришел бы конец всем их наслаждениям, всем гнусностям их подлой жизни. А ведь говорят, что целые полки заражены социализмом. Правда ли это? Неужели справедливость воцарится благодаря патронам, которые выдает солдатам буржуазия? И тут же у Этьена возникла новая надежда,— он мечтал, что полк, который охраняет шахты, присоединится к забастовщикам, расстреляет всю Компанию и отдаст наконец угольные копи углекопам.

Только тут Этьен заметил, что, увлекшись своими размышлениями, он поднялся на террикон. А почему бы ему не поговорить с часовым? Узнаешь тогда, что у солдат на уме. И он с равнодушным видом все ближе подходил к часовому, как будто собирал обломки крепежного леса, выброшенные на отвал. Часовой стоял как вкопанный.

— Что, друг, поганая погода? — сказал Этьен.— Пожалуй, снег пойдет.

У часового, низкорослого и щуплого белесого парня, было доброе бледное лицо с крупными веснушками. Солдатская шинель сидела на нем коробом, амуниция мешала,— видно было, что он новобранец.

— Да, видно, снег выпадет,— пробормотал он и поднял голову, всматриваясь в чуть посветлевшую над терриконом полоску

предрассветного неба, тогда как вдалеке оно нависло над равниной тяжелой, как свинец, густой чернотой.

— Вот дураки-то! Поставили солдата на самом юру! Вы поди до костей промерзли! — продолжал Этьен.— И чего, спрашивается, всполошились! Будто казаков ждут!

Солдат весь дрожал от холода, но не смел жаловаться. Неподалеку виднелась сложенная из дикого камня будка,— там старик Бессмертный укрывался по ночам в бурю и в ливень, но часовой получил приказ не сходить с гребня террикона, и он не трогался с места, хотя руки у него так закоченели, что он уже не чувствовал, держит ли ружье. Он состоял в отряде из шестидесяти солдат, охранявших Ворейскую шахту; ему часто приходилось нести караульную службу в этих тяжелых условиях, и как-то раз он едва не отморозил себе ноги, стоя на часах. Что поделаешь, таково солдатское дело — терпи! Безропотно подчиняясь военной дисциплине, он стоял, коченея на ветру, и отвечал на вопросы Этьена несвязным лепетом, словно ребенок, которому ужасно хочется спать.

Целых четверть часа Этьен тщетно пытался завязать с ним разговор о политике. Солдат отвечал односложно — да, нет, но, по-видимому, ничего не понимал. Он слыхал от товарищей, что их ротный командир — «за республику», а сам он про такие дела не думает: ему все равно. Прикажут стрелять — будет стрелять, а то ведь под суд пойдешь. Этьен, рабочий, слушал этого солдата, испытывая чувство ненависти, той ненависти, какую народ питает к армии, к своим же братьям, у которых, однако, меняется сердце, как только наденут на них красные штаны.

— Вас как зовут?

— Жюль.

— А вы откуда?

— Из Плогофа — вон оттуда.— И часовой наугад ткнул куда-то рукой. Плогоф в Бретани, а больше он ничего не мог о нем сказать. Но его бледное лицо оживилось, на сердце стало теплее, он засмеялся.

— У меня мать и сестра там. Ждут, понятно... Да еще не скоро мне домой... Когда забрили лоб, они меня провожали до Пон-л'Аббе. Мы взяли лошадь у соседей, у Лепальмеков, а лошадь чуть себе ноги не сломала на спуске к Одьерну. Двоюродный брат Шарль ждал нас, колбасы домашней они приготовили. Но уж очень женщины плакали, прямо кусок не лез в горло... Ах, боже ты мой! Боже мой! Далеко до наших краев!

Глаза у него наполнились слезами, но он все смеялся. Каменистые пустоши вокруг Плогофа, дикие скалы у мыса Ратз, на которые в непогоду приступом идут волны, представали перед его

глазами в ослепительном солнечном свете, в пору цветения вереска, осыпанного нежно-розовыми цветочками.

— Как вы думаете,— спросил он,— если не будет у меня взысканий, отпустят меня через два года на побывку домой — на месяц?

Тогда Этьен заговорил о своей родине, о Провансе, с которым расстался еще в детстве. В землисто-сером небе забрезжил рассвет; начали падать летучие хлопья снега. Этьен в конце концов встревожился, заметив Жанлена, который выглядывал из-за кустов терновника, поражаясь, что видит его на терриконе. Мальчишка нетерпеливо манил его к себе. Да и что в самом деле, разве можно сейчас мечтать о братстве с солдатами? Этого ждать надо еще годы и годы. А все же неудавшаяся попытка глубоко огорчила Этьена, словно он надеялся на успех. Вдруг он понял, почему Жанлен зовет его: сейчас придут сменять часового. И Этьен ретировался, бегом побежал к Рекильярской шахте, спеша укрыться в своей норе, полный горькой уверенности в неизбежном поражении; Жанлен, бежавший рядом с ним, отрывисто ругал часового, уверял, что «этот черт» нарочно вызвал патруль с военного поста и сейчас их обстреляют.

А солдат Жюль стоял как вкопанный на гребне террикона, устремив тоскливый взгляд на падающий снег. По дороге шел разводящий со сменой караула. Раздались предписанные уставом возгласы:

— Кто идет?.. Пароль!

Затем сержант с подчиненными повернули обратно. Все было, как в завоеванной стране. Уже совсем рассвело, но в рабочих поселках, затихших под солдатским сапогом, никто не шевелился: углекопы замкнулись в гневном молчании.

II

Снег шел два дня, на третий день, утром, перестал, разостлав огромную белую скатерть; в изморозь она подернулась льдистой пленкой; угольный край, с черными, как сажа, дорогами, с деревьями, обсыпанными черной угольной пылью, сверкал теперь белизной, простирая куда-то в бесконечность белые просторы. Поселок Двести Сорок занесло снегом, будто и не было его. Ни одной струйки дыма не подымалось над крышами. В домах не разжигали огня, они стояли холодные, как лед; толстый слой снега не таял на черепичных крышах вокруг дымовых труб. Казалось, тут просто каменоломня: выстроили в ряд на заснеженной равнине добытые белые глыбы. Мертвое селение в белом саване. Только проходившие патрули протоптали на улице тропинку, перемешав снег с грязью.

В доме Маэ накануне сожгли последнюю лопату угольной мелочи; в такую ужасную погоду нечего было и думать идти на терикон подбирать крохотные осколки угля, все засыпало снегом,— воробей и тот не найдет ни единой былинки. Альзира в поисках угля упрямо разгребала снег худенькими ручонками, простудилась, заболела и была теперь при смерти. Мать закутала ее в рваное одеяло, ждала доктора Вандергагена, к которому ходила два раза и все не заставала его; однако его горничная обещала, что передаст барину и он придет в поселок к вечеру; мать стерегла теперь у окна, а больная девочка, пожелавшая, чтоб ее снесли вниз, прикорнула на стуле около холодной печки — бедняжке казалось, что тут лучше, теплее. Напротив нее, как будто в дремоте, сидел старик Бессмертный, у которого опять распухли ноги. Лепора и Анри еще не вернулись домой — они ходили по дорогам в сопровождении Жанлена, просили милостыню. В голой, пустой комнате никто не шевелился, только отец ходил тяжелым шагом из угла в угол, натыкаясь при каждом повороте на стену,— так ходит зверь, запертый в клетку и до того отупевший в плену, что он не замечает решеток. Керосин в доме тоже весь вышел, но в окно падали белые отблески снега, завалившего улицу, и чуть-чуть освещали комнату, хотя уже наступили сумерки.

Послышался стук деревянных башмаков, и в комнату как сумасшедшая ворвалась жена Левака, закричав еще с порога хозяйке дома:

— Так это ты сказала, будто я беру со своего жильца по двадцать су всякий раз, как он спит со мной?

Жена Маэ пожала плечами:

— Ты что, рехнулась? Ничего я не говорила! Кто тебе это сказал?

— Люди сказали, что ты про меня так говоришь, а кто сказал, тебе незачем знать... Ты даже еще говоришь, будто тебе все слышно через стенку, как мы с ним блудом занимаемся, и что у меня в доме грязь несусветная, потому что я все время в постели валяюсь... Ну-ка, посмей сказать, что ты этого не говорила, ну?

В поселке и раньше вспыхивали ссоры из-за постоянных сплетен, особенно в семьях, живших по соседству, в одном доме,— там ежедневно происходили стычки и примирения. Но еще никогда в этих схватках не проявлялось столько злобы. Со времени забастовки, когда в рабочих поселках начался голод, люди стали крайне раздражительны, злопамятны, всегда готовы были дать трепку за обиду; объяснения между повздорившими кумушками обычно кончались дракой между их мужьями.

После вторжения жены явился и сам Левак, насильно притащив с собою Бутлу.

— Вот он, пожалуйста... Пусть сам скажет, давал ли он моей жене по двадцать су за то, чтоб она спала с ним.

Бородатый тихоня Бутлу, испуганно и кротко протестуя, бормотал:

— Ну уж это нет. Ни гроша! Никогда! Никогда!

И Левак тотчас с угрозой замахал кулаком перед носом Маэ.

— Так и знай, со мной шутки плохи! Если у тебя жена такая врунья, ты ей должен намять бока... А раз ты позволяешь ей врать, значит, веришь ее брехне. Так, что ли?

— Да убирайся ты к дьяволу! — воскликнул Маэ, рассердившись на то, что нарушили его угрюмое оцепенение.— Бросьте вы все эти сплетни. Оставь меня в покое, Левак, а то дам как следует. И кто вам сказал, что это моя жена говорила?

— Кто сказал?.. Жена Пьерона сказала, вот кто.

Жена Маэ засмеялась и повторила:

— Ах, вот что! Жена Пьерона сказала? Ну коли так, я могу тебе сказать, что она мне про тебя сказала. Да, да. Она мне говорила, будто ты спишь с двумя мужьями сразу: один у тебя снизу, другой — сверху!..

Примирение стало невозможным. Все рассвирепели. Леваки в отместку заявили супругам Маэ, что жена Пьерона говорит про них кое-что почище: они Катрин свою продали, и все семейство, даже малые дети, гниет теперь: заразились дурной болезнью, которую жилец Этьен подцепил в «Вулкане».

— Она так и сказала? Так и сказала? — рявкнул Маэ.— Ну ладно! Пойдем к ней. Если она так сказала, я ей морду набью.

И Маэ бросился из дому. Леваки последовали за ним в качестве свидетелей. А Бутлу, до смерти не любивший ссор, под шумок удрал домой. Разгорячившись при этом объяснении, жена Маэ хотела было идти вслед за мужем, но жалобный стон Альзиры остановил ее. Она укутала поплотнее одеялом дрожащую девочку и опять стала у окна, с тоской вглядываясь в темноту. Да что же это доктор не идет!

У крыльца Пьеронов Маэ и Леваки натолкнулись на Лидию, топтавшуюся на снегу. Дом был заперт, сквозь щели в ставне пробивалась тоненькая полоска света; девочка сперва очень смущенно отвечала на вопросы: нет, папы нет дома, он пошел на речку, там бабушка полощет белье, он поможет ей донести корзину. Потом замолчала, не желая сказать, что делает мачеха. И, наконец, с хитрой улыбкой, радуясь случаю отомстить за обиды, вдруг выпалила: мачеха выставила ее за дверь, потому что пришел господин Дансар и она мешает им поговорить. Дансар с утра расхаживал по поселку в сопровождении двух жандармов, уговаривал выйти на работу, нажимал на слабодушных, повсюду заявлял, что, если

с понедельника рабочие не спустятся в шахту, Компания наймет углекопов в Бельгии,— это решено. А когда стемнело, он зашел к Пьеронам; застав жену стволового одну, отослал жандармов и остался у нее, решив выпить стаканчик можжевеловой водки и погреться у жаркого огня.

— Тише! Молчите! Давайте на них поглядим! — прошептал Левак с похотливой усмешкой.— Потом объяснимся. А ты, чертенок паршивый, убирайся отсюда!

Лидия отошла на несколько шагов; Левак прильнул глазом к щели, светившейся в ставне. Он тихонько ахал, согнутая спина его вздрагивала от приглушенного смеха; затем к щели приникла его жена, но, посмотрев, заявила с такой гримасой, словно ее схватили колики, что ей противно глядеть на это. Маэ, оттолкнув ее, тоже посмотрел и затем сказал, что тут зря времени не теряют. Потом по очереди все посмотрели еще раз, словно на забавное представление. Комната блестела чистотой, в очаге весело горел яркий огонь; на столе стояла бутылка, стакан и тарелка с печеньем,— словом, шел настоящий пир. Именно поэтому зрелище, представшее перед ними, в конце концов возмутило обоих мужчин, а при других обстоятельствах они полгода смеялись бы над этим. Черт с ней, с бесстыжей бабенкой, пусть забавляется. Но разве это не свинство: разожгла для своих развлечений такой жаркий огонь, подкрепляется вином и бисквитами, а у товарищей нет в доме ни корки хлеба, ни горсточки угля.

— Отец идет! — крикнула Лидия и бросилась наутек.

Пьерон спокойно возвращался с речки, с корзинкой мокрого белья на плече. Маэ тотчас подверг его допросу:

— Слушай, мне сказали, что твоя жена говорит, будто я продал свою дочь и будто у нас в доме все гнилые от дурной болезни... А как в твоем доме? Сколько тебе платит за твою жену вон тот господин? Или он ее даром полирует?

Ошеломленный Пьерон ничего не мог понять, но вдруг его жена, услышав сердитые голоса, перепугалась и, потеряв голову, приоткрыла дверь посмотреть, что происходит. И тогда соседи увидели, что она вся красная, корсаж у нее расстегнут, подоткнутая за пояс юбка еще не опущена; а в глубине комнаты растерянный Дансар оправляет свой костюм. Старший штейгер выскочил из двери и мигом исчез, трепеща от страха, как бы это происшествие не дошло до ушей директора. У крыльца поднялся ужасный шум, хохот, свист, улюлюканье, ругань.

— Эй, ты, барыня! — кричала жена Левака.— Недаром ты про всех говоришь, что мы неаккуратные да грязнули. Знаем теперь, почему ты такая чистенькая, тебя вон какие начальники начищают!

— Да как она смеет про других говорить! — подхватил Левак.— Мерзавка этакая! Ты зачем сказала, что моя жена спит и со мной и с жильцом разом!.. Да, да, мне передали, что ты это сказала.

Но жена Пьерона успокоилась и, не обращая внимания на брань и грубые слова, весьма презрительно смотрела на оскорбителей, уверенная в том, что она самая красивая и богатая женщина во всем поселке.

— Что я сказала, то сказала, оставьте меня в покое. Мои дела вас не касаются, завистники несчастные. Ну да, вы на нас злобитесь за то, что мы деньги на сберегательную книжку кладем! Вот разошлись! Можете орать сколько угодно, мой муж знает, почему господин Дансар был у нас.

И тут Пьерон стал горячиться, защищать свою жену. Ссора приняла другой оборот. Пьерона назвали продажной шкурой, доносчиком, хозяйским псом; упрекали в том, что он, запершись в своем доме, угощается лакомствами, которыми начальство платит ему за предательство. Пьерон в ответ кричал, что Маэ хочет его со свету сжить и не раз подсовывал ему под дверь подметные письма с угрозами; а на одном листке были нарисованы две перекрещенные кости, череп и сверху — кинжал. Кончилось все это, разумеется, дракой между мужчинами — так всегда кончались начатые женщинами ссоры с тех пор, как голод доводил до исступления самых смирных людей. Маэ и Левак бросились с кулаками на Пьерона, пришлось их разнимать.

Из разбитого носа Пьерона ручьем лилась кровь, а в это время с речки пришла старуха Горелая. Ей сообщили, что произошло, и, посмотрев на зятя, она только сказала:

— Боров проклятый! Позорит он меня!

Улица опять опустела, ни одного человека, ни единой тени на голой белизне снега; поселок опять впал в мертвую неподвижность; голод и холод уже грозили смертью.

— Ну как, был доктор? — спросил Маэ, затворяя за собою дверь.

— Не приходил,— ответила мать, по-прежнему стоя у окна.

— Малыши вернулись?

— Нет.

Маэ опять зашагал от стены к стене все с тем же угрюмым и тупым видом, как у быка, оглушенного ударом обуха. Старик Бессмертный сидел на стуле не шевелясь, словно каменный: так и не поднял головы... Альзира тоже молчала и старалась унять дрожь, которая била ее; но хотя бедная девочка мужественно переносила страдания, минутами она дрожала так сильно, что слышно было, как шуршит одеяло, в котором тряслось от озноба все ее ху-

денькое искалеченное тело; широко раскрытыми глазами она уставилась в потолок, на котором лежал отблеск снега, заваливщего палисадник и, словно лунный свет, озарявшего комнату.

Поистине всему пришел конец: дом был опустошен, в нем ничего не оставалось. Продали старьевщику шерсть из тюфяков, а за ней и тиковый чехол, потом продали одеяла, простыни, белье — все, что можно было продать. Однажды вечером продали за два су носовой платок деда. Со слезами расставались с каждой вещью, разоряя свое скудное хозяйство, и мать все еще горько сетовала, вспоминая, как она завернула в свою старую юбку розовую картонную коробку — давний подарок мужа — и унесла ее из дому, как уносят младенца, чтобы подкинуть его чужим людям. Вот и остались голы, больше нечего продавать,— разве что содрать с себя кожу, но кому она нужна, такая грубая, потемневшая, вся в шрамах и ссадинах — за нее и гроша ломаного не дадут. И теперь уж не шарили, не искали,— знали, что нет в доме ничего, все кончено; нет ничего и не будет — ни свечи, ни куска угля, ни одной картофелины; теперь оставалось только умереть, и они ждали смерти; обидно было только за детей — возмущала эта бесцельная жестокость судьбы: зачем она послала болезнь несчастной девочке, прежде чем уморить ее голодом.

— Наконец-то! Доктор! — сказала мать.

Мимо окна промелькнула черная фигура. Отворилась дверь. Но вошел не доктор Вандергаген, а новый приходский священник, аббат Ранвье; он, по-видимому, не удивился, что попал в мертвый дом, дом без света, без огня, без хлеба. Ведь он уже побывал в трех соседних домах, переходил из семьи в семью, как Дансар со своими жандармами, и вербовал людей в лоно церкви. Перешагнув порог, он тотчас заговорил с пафосом фанатика:

— Почему вы не были в воскресенье у обедни, дети мои? Вы себе же вредите,— ведь только церковь может вас спасти!.. Ну, обещайте мне, что придете в следующее воскресенье.

Маэ посмотрел на него и, не сказав ни слова, опять стал ходить по комнате тяжелым своим шагом. Вместо него ответила жена:

— К обедне ходить?.. А зачем? Господу богу наплевать на нас... Разве не верно? Чем ему не угодна моя дочка? Вот она, дрожит тут в лихорадке. Мало ему было нашей нищеты, мучений наших,— он послал ей болезнь, а я даже не могу напоить бедную свою девочку чем-нибудь горяченьким.

И тогда священник, стоя в полумраке, произнес речь, в которой говорил о забастовке, об ужасных страданиях, вызванных ею, о великом озлоблении, порожденном голодом,— говорил с пылом миссионера, проповедующего дикарям ради вящей славы религии.

Он уверял, что церковь стоит на стороне бедняков, что настанет день, когда благодаря ей восторжествует справедливость, ибо она призовет гнев божий на беззакония богачей. И этот день воссияет скоро, бог покарает богатых за то, что они заняли место бога; эти нечестивцы, приписывая себе его могущество, дошли до того, что правят миром без господа. Но если рабочие хотят добиться справедливого распределения благ земных, они должны немедленно вверить свою судьбу священникам, подобно тому как после смерти Иисуса Христа смиренные и малые мира сего сплотились вокруг апостолов. Какую силу получит папа римский, каким воинством будет располагать духовенство, если станет во главе бесчисленных масс трудящихся! За одну неделю мир будет избавлен от жестокосердных богачей, изгнаны будут недостойные повелители, наступит наконец истинное царство божие, каждый вознагражден будет по заслугам своим, труд станет законом и основой всеобщего счастья.

Слушая эти слова, жена Маэ вспомнила речи Этьена, звучавшие здесь в осенние вечера, когда собиралось все семейство,— он тогда тоже возвещал скорое окончание всех бедствий. Но она никогда не доверяла людям в сутанах.

— Хорошо вы говорите, господин кюре! — произнесла она.— Стало быть, вы не согласны с богатыми? Вот прежние наши священники сладко ели, обедали у директора, а нам грозили адом, ежели мы требовали себе хлеба.

Аббат Рапвье продолжал свою речь. Он заговорил о плачевном недоразумении между церковью и народом. В туманных выражениях он нападал на городских священников, на епископов, на все высшее духовенство, развращенное наслаждениями, жаждущее господства, вступившее в сговор с буржуазными вольнодумцами и не видящее в безумном ослеплении своем, что именно буржуазия-то и отнимает у церкви власть над миром. Освобождение придет от сельских пастырей, все подымутся, дабы установить с помощью обездоленных царство Христово. И аббату Рапвье казалось, что он уже ведет за собою восставших. Он стоял, выпрямившись во весь рост, высокий, костлявый, чувствуя себя предводителем воинства, революционером во имя евангелия, и глаза его полны были такого огня, что как будто светились в полумраке. Пламенная проповедь увлекала его самого, но бедняки давно не понимали его мистических восторгов.

— Зачем столько слов тратить? — проворчал вдруг Маэ.— Лучше бы вы для начала принесли нам хлеба.

— Приходите в воскресенье к обедне,— воскликнул аббат.— Бог всего вам пошлет!

И он ушел,— направился к Левакам, дабы просветить их своей проповедью. Он так высоко вознесся в своих мечтах о конечном

торжестве церкви, так презирал житейскую действительность, что бегал по всем рабочим поселкам с пустыми руками, проходя сквозь эту армию бойцов, умирающих от голода, без всякого подаяния, ибо сам был бедняком и смотрел на страдания как на средство к спасению души.

Маэ все ходил по комнате; слышны были только его ровные, тяжелые шаги, сотрясавшие плитки пола. Потом как будто заскрипел ржавый железный блок, и старик дед сплюнул в холодный очаг. И снова все смолкло. Раздавались только мерные шаги отца. Альзира, в лихорадочном забытьи, начала тихонько бормотать, весело смеяться, воображая в бреду, что ей очень тепло, что она играет на солнышке в весенний день.

— Ах, жизнь проклятая! — простонала мать, потрогав ей щеки.— Вот в жару теперь горит!.. Я больше не жду доктора. Не придет. Свинья! Верно, эти разбойники запретили ему ходить к нам.

Так она бранила врача, которого содержала Компания. И все-таки с радостным возгласом бросилась к порогу, когда снова отворилась дверь. Но сразу же руки у нее опустились, и она застыла, мрачно глядя на вошедшего.

— Добрый вечер,— вполголоса сказал Этьен, тщательно затворив за собой дверь.

Он часто заходил теперь, когда на дворе было совсем темно. Супруги Маэ на второй же день узнали, где он скрывается, но хранили тайну: никто в поселке не знал, что с ним сталось. Вокруг его исчезновения складывалась легенда. В Этьена все еще верили; о нем рассказывали таинственные истории: вот скоро он опять появится с целой армией, с полными ящиками золота. По-прежнему благоговейно верили и ждали некоего чуда — осуществления мечты, внезапного пришествия обещанного им царства Справедливости. Одни говорили, что видели, как он проехал в коляске по дороге к Маршьену с какими-то тремя господами; другие утверждали, что он в Англии и задержится там еще дня на два. Однако постепенно начало пробуждаться недоверие; шутники уверяли, что он прячется где-то в подвале в обществе Мукетты и ему там тепло в ее объятиях. Эта связь, о которой все знали, вредила авторитету Этьена. А теперь, когда он достиг наибольшей популярности, началось медленное охлаждение: у тех, кто от убежденности перешел к отчаянию, росло глухое недовольство, и число таких людей неизбежно должно было увеличиваться.

— Погода собачья! — добавил Этьен.— А что у вас? Ничего нового? Все хуже да хуже?.. Мне говорили, будто Негрель уехал в Бельгию нанимать в Боринаже рабочих. Эх, дьявол! Если это правда, нам крышка.

Его пробирала дрожь в этой нетопленой, холодной и темной комнате; глазам нужно было привыкнуть к сгущавшемуся сумраку, он не сразу различил в нем смутно видневшиеся фигуры обитателей дома. И он испытывал отвращение, чувство брезгливости — ведь он оторвался от своего класса, приобрел благодаря образованию более тонкие вкусы и полон был честолюбивых стремлений. Ах, какая тут нищета! И этот запах, и эти сбившиеся в кучу несчастные люди! Горло у него сжималось от мучительной жалости. Зрелище этой агонии потрясло его, он искал слов, чтобы дать им совет — покориться.

И тут вдруг Маэ остановился перед ним и крикнул в ярости:

— Рабочих из Боринажа? Да как они смеют, мерзавцы!.. Пусть только привезут из Боринажа углекопов да попробуют подвести их к клетям! Мы разрушим шахты.

Этьен смущенно объяснил, что ничего нельзя поделать: бельгийские рабочие спустятся в шахты под защитой солдат, охраняющих копи. И Маэ, гневно сжимая кулаки, заявил, что его главным образом возмущают эти штыки, которые чувствуешь за своей спиной. Значит, углекопы не хозяева у себя дома? На них, значит, смотрят как на каторжников — хотят принудить их работать под дулами заряженных ружей? Он любил свою шахту, ему было очень горько, что он уже два месяца не спускается туда. И его приводила в бешенство мысль об оскорблении, которое хотят нанести ворейским углекопам, намереваясь привезти на шахту иностранцев. Но вдруг он вспомнил, что самого-то его уволили, и сердце у него защемило.

— Да чего это я сержусь? — промолвил он упавшим голосом.— Мне-то нечего делать в их лавочке. Вот вышвырнут еще из дома, выгонят из поселка, поди подыхай где-нибудь на дороге.

— Оставь, пожалуйста! — сказал Этьен.— Если ты захочешь, они завтра же примут тебя обратно. Таких умелых рабочих, как ты, не увольняют.

Он умолк, услышав голосок Альзиры,— девочка внезапно засмеялась в бреду. До той минуты он различал лишь темную неподвижную фигуру старика Бессмертного, и веселый смех больного ребенка испугал его. Нет, это слишком!.. Дети стали умирать, это страшнее всего. Он наконец решился и дрожащим голосом произнес:

— Ну вот... Больше нельзя тянуть. Нам крышка! Надо сдаться.

Жена Маэ, до тех пор стоявшая неподвижно и не произносившая ни слова, вдруг вспыхнула от негодования, грубо выругалась, как мужчина, и крикнула Этьену, называя его на «ты»:

— И это ты говоришь?.. Ты говоришь? Эх ты, сукин сын!

Он попытался было объяснить, оправдаться, но она оборвала его:

— Молчи лучше, сукин ты сын! А то я, хоть и женщина, набью тебе морду!.. Это что ж выходит? Мы два месяца голодаем, чуть не подохли, я распродала весь наш скарб, дети мои малые заболели, и все это, значит, зря? Опять все будет по-старому? Значит, нет справедливости? Ох, как подумаю, кровь во мне так и кипит, душит меня! Нет! Нет! Лучше я все сожгу, поубиваю всех, а сдаться я не согласна.

И грозным жестом, указывая в темноте на черную фигуру мужа, она воскликнула:

— Вот слушай, если муж мой вернется на работу в шахту, я выйду на дорогу, дождусь его и прямо в лицо ему плюну, подлецом назову!

Этьен не видел ее, но чувствовал ее жаркое дыхание, вырывавшееся словно из пасти яростно лаявшей собаки; и он попятился, пораженный этой лютой злобой, которая была делом его рук. Как она изменилась! Не узнать ее! Раньше была такая рассудительная, упрекала его за горячность, говорила, что никому нельзя желать смерти, а теперь ничего не хочет слушать, кричит, что всех поубивает. Теперь не он, а она говорит о политике, хочет одним ударом смести буржуазию, требует республику и гильотины, чтобы избавить землю от богачей, от этих грабителей, разжиревших на трудах голодных бедняков.

— Да, да, я им рожи раскровеню, с живых шкуру сдеру... Хватит! Довольно терпели! Может, наш черед теперь пришел. Ты сам так говорил... Ведь подумать только! И отцы, и деды, и прадеды, и все, кто еще раньше их жил,— все маялись так же, как мы маемся. Нет, просто с ума сойдешь и за нож схватишься... В прошлый раз мы мало сделали. Нам бы надо все Монсу с землей сровнять, камня на камне не оставить. Что, или неправда? Об одном я только жалею, зачем не дала нашему деду удушить ту девку из Пиолены. Ведь они-то допускают, чтобы моих детей уморили голодом.

Во мраке слова ее звучали, как удары топора. Замкнутый горизонт так и не раскрылся, неосуществимая мечта обратилась в яд, отравлявший мозг в этой голове, помутившейся от горя.

Этьен пошел на попятный.

— Да вы меня не поняли,— забормотал он, как только ему удалось вставить слово.— Надо как-то договориться с хозяевами. Наверно, удастся. Я знаю, что шахты сильно пострадали, и, конечно, Компания пойдет на соглашение.

— Нет! Никаких соглашений! — закричала жена Маэ.

И тут как раз вернулись домой Ленора и Анри. Они пришли с

пустыми руками. Какой-то господин дал им два су, но Ленора, постоянно обижавшая братишку, дернула его, и два су упали в снег. Жанлен стал искать денежку вместе с ними, да так и не нашел.

— А где Жанлен?

— Убежал, мама. Сказал, что у него дела.

Этьен слушал с болью в сердце. Когда-то мать грозила своим малышам, что убьет их, если они протянут руку за подаянием. А нынче сама посылает их побираться и говорит, что все углекопы Компании Монсу — все десять тысяч человек возьмут, как немощные бедняки, нищенскую суму, клюку и пойдут по дорогам во все концы несчастного их края просить милостыню.

Еще тоскливее стало в этом мраке. Дети вернулись голодные и просили есть, удивлялись, почему им ничего не дают, хныча, бродили по комнате и в конце концов отдавили ноги умирающей сестре; девочка тихонько застонала. Мать вне себя схватила их наугад в темноте и надавала затрещин. Дети заплакали громче, с криком просили хлеба, тогда мать бросилась на пол и, заливаясь слезами, сжала в объятиях плачущих малышей и больную калеку; она долго плакала и, вся обмякнув в эту минуту нервной разрядки, двадцать раз повторяла одну и ту же фразу, призывая смерть:

— Господи, смилуйся, прибери ты нас всех! Господи, смилуйся, прибери нас, положи всему конец!

Дед застыл в темном углу недвижно, словно старое кривое дерево, привычное к дождю и к ветру; отец все ходил от печки к буфету, не поворачивая головы.

Но вот отворилась дверь,— на этот раз пришел доктор Вандергаген.

— Ах, черт! — воскликнул он.— Хоть бы свечку зажгли, глаза от нее не испортятся... Ну-ка, поживее! Мне некогда.

Он, по своему обыкновению, ворчал, так как работа совсем измотала его. К счастью, у него были с собой спички. Отцу пришлось сжечь пять-шесть спичек, чиркая их одну за другой и держа высоко, чтобы доктор мог осмотреть больную.

Развернули одеяло. Альзира вся дрожала; трепещущий слабый огонек горевшей спички освещал ее тельце, худенькое, как у птенца, умирающего на снегу, такое хилое, что казалось, оно все состоит только из горба. И все же девочка улыбалась непостижимой улыбкой умирающих и, глядя в одну точку широко раскрытыми глазами, крепко прижимала ко впалой груди жалкие костлявые ручонки. Мать, задыхаясь от слез, вопрошала бога, хорошо ли он поступает, призвав к себе раньше матери единственную ее помощницу в доме, такую умницу, такую ласковую девочку. И тут доктор рассердился:

— Эх! Она отходит!.. От голода умерла несчастная девчонка! И она не единственная. Сейчас только другую осматривал,— около вас тут... Вот все вы так... Зовете меня, а я ничего сделать не могу. Хлеба надо, мяса... Вот чем лечить вас надо.

Спичка догорела и обожгла Маэ пальцы, он выронил ее, и опять густой мрак окутал маленький, еще теплый трупик. Доктор побежал дальше. Этьен молча слушал, как в темной комнате рыдает мать и без конца твердит мрачное свое заклятие, призывая смерть:

— Господи, да прибери ты меня, прибери!.. Господи, и мужа моего прибери, пошли нам всем смерть!.. Смилуйся, положи конец мучениям нашим!

III

В это воскресенье Суварин сидел один в зале «Выгоды», на обычном своем месте, прислонившись головой к стене. Теперь углекопы нигде не могли раздобыть хоть два су на кружку пива, никогда еще в питейных заведениях не бывало так мало посетителей. Жена Раснера застыла за конторкой в сердитом молчании, а сам Раснер, стоя перед чугунным камином, казалось, задумчиво следил за рыжеватыми струйками дыма, поднимавшегося от горящих кусков каменного угля.

Напряженную тишину, царившую в этой жарко натопленной комнате, внезапно нарушил стук — три коротких, сухих удара: кто-то постучался в окно. Суварин повернул голову, потом поднялся, услышав знакомый стук, которым Этьен не раз вызывал его, когда видел в окно, что машинист сидит в одиночестве за столом, покуривая папиросу. Но Суварин еще не успел подойти к порогу, как Раснер, узнав Этьена, стоявшего у окна в полосе света, отворил дверь и сказал:

— Неужели боишься, что я предам тебя? Заходи. Здесь-то вам удобнее будет поговорить, чем на дороге.

Этьен вошел. Жена Раснера любезно предложила ему кружку пива, он отказался жестом. Кабатчик добавил:

— Я давно догадался, где ты прячешься. Будь я доносчиком, как твои приятели говорят про меня, мне бы ничего не стоило уже неделю тому назад натравить на тебя жандармов.

— Зачем ты оправдываешься? — ответил Этьен.— Я и так хорошо знаю, что ты никогда таким подлым ремеслом не занимался... Можно не сходиться во взглядах, а все-таки уважать друг друга.

Снова наступило молчание. Суварин вернулся на свое место и, откинувшись на спинку стула, рассеянным взглядом следил за колечками дыма от папиросы; но пальцами правой руки он в каком-то лихорадочном беспокойстве проводил по своим коленям.

словно удивляясь, что их не согревает теплая шерстка его любимицы, крольчихи Польши, которая куда-то пропала в тот вечер; он испытывал безотчетное недовольство, ему чего-то недоставало, хотя он и не мог бы сказать, чего именно ему не хватает.

Этьен, сидевший по другую сторону стола, сказал наконец:

— Завтра на Ворейской шахте работа возобновляется. Негрель привез бельгийцев.

— Да. Выгрузились из вагонов, когда стемнело,— пробормотал Раснер, стоя поодаль.— Как бы не началась резня! — И, повысив голос, добавил: — Нет, не бойся, я спорить с тобой не стану. А только вот что скажу: плохо дело кончится, если вы не перестанете упрямиться... Чего там... Ведь у вас не вышло, точно так же как и в Интернационале вашем не клеится. Я вот ездил в Лилль по делам и позавчера встретил там Плюшара. Кажется, разладилась машина.

И он сообщил подробности. Товарищество завоевало симпатию рабочих всего мира, развив такую энергичную пропаганду, что буржуазия и до сих пор трепещет, но теперь организацию с каждым днем все больше подтачивают внутренние раздоры и борьба честолюбцев. С тех пор как там взяли верх анархисты, изгнав эволюционистов, основателей Товарищества, все трещит; первоначальные цели: изменение положения рабочего класса — все это потонуло в распрях между сектами; отряд ученых людей распадается из-за их ненависти к дисциплине. И можно предвидеть неизбежную неудачу той мобилизации масс, которая одно время была столь грозной: казалось, они могли одним ударом разрушить старое, прогнившее общество.

— Плюшар просто заболел из-за этого,— продолжал Раснер.— Да еще с голоса совсем спал. А все-таки говорит, ораторствует. Хочет ехать в Париж, там будет выступать... И вот он-то мне трижды повторил, что наша забастовка провалилась.

Этьен слушал понурившись, ни разу не прервав Раснера. Накануне он беседовал с товарищами и чувствовал, как повеяло на него ветром враждебности и подозрения; эти первые признаки утраты популярности были, как водится, предвестниками поражения. Сейчас он угрюмо молчал, не желая признаться при Раснере в своей тоске,— ведь кабатчик предсказал, что придет день, когда толпа освищет и его, Этьена, вымещая на нем свое разочарование.

— Да, забастовка провалилась,— сказал он,— я это знаю не хуже Плюшара. Но ведь мы это предвидели. Мы пошли на нее скрепя сердце и не рассчитывали сразу же покончить с Компанией. Только вот хмель в голову ударяет, рождаются большие надежды, а когда дело принимает дурной оборот, все позабывают, что этого

и следовало ожидать,— люди начинают плакаться, ссориться, словно катастрофа нежданно-негаданно с неба свалилась.

— Так что ж ты? — спросил Раснер.— Если ты считаешь, что партия проиграна, почему не стараешься образумить товарищей?

Этьен пристально посмотрел на него.

— Ну ладно, хватит... У тебя свои взгляды, у меня свои. Я зашел сюда, чтобы показать, что я все-таки тебя уважаю, но я по-прежнему думаю, что, если мы с голоду подохнем, наши скелеты больше послужат делу народа, чем вся твоя политика благоразумия. Ах, если бы кто-нибудь из этих мерзавцев солдат всадил мне пулю в сердце! Хорошо бы кончить так!

У него слезы навернулись на глаза при этом возгласе, который был криком души, выдавшим тайное желание побежденного найти в смерти прибежище, навеки избавиться от своих терзаний.

— Прекрасные слова! — заявила жена Раснера и бросила на мужа взгляд, полный презрения к нему и гордости за свои радикальные убеждения.

Устремив куда-то вдаль затуманенный взор, Суварин перебирал по коленям руками и, казалось, совсем не слышал разговора. В его белом девичьем лице с тонкими чертами появилось что-то дикое, отражавшее его сокровенные мечтания, уголки губ приподнялись, обнажая мелкие, острые зубы. Перед глазами его вставали кровавые видения. И вот, уловив в разговоре какое-то замечание Раснера по поводу Интернационала, он стал думать вслух:

— Все они там трусы. Был только один человек, который мог бы превратить их организацию в грозное орудие разрушения. Но для этого нужно хотеть, а никто не хочет, вот почему революция опять провалится.

Он продолжал говорить, брезгливо жалуясь на глупость человеческую, а слушатели молча смотрели на него, смущенные этими отрывочными признаниями лунатика, блуждавшего где-то в потемках. В России ничего не получается, возмущался он. От тех известий, которые до него дошли, можно в отчаяние прийти. Прежние его товарищи все превратились в политиканов, в пресловутых нигилистов, перед которыми трепещет Европа; все эти сыновья попов, мещан, купцов не могут подняться выше национальных целей — то есть освобождения своего народа; и если бы им удалось убить деспота, они, наверно, вообразили бы себя спасителями всего мира; а когда он, Суварин, говорил им, что надо скосить старое общество под корень, как созревшую ниву, даже как только он произносил слово «республика»,— а ведь это просто детское требование,— он чувствовал, что его не понимают, что он тревожит этих людей, становится для них чужим. А теперь вот он совсем оторвался от них, вошел в число неудачливых вождей революци-

онного космополитизма. Однако его сердце патриота все еще не могло забыть родину, и он с горькой скорбью повторял любимое свое слово:

— Глупости! Никогда они не выберутся из болота из-за своих глупостей!

И, еще более понизив голос, он с горечью заговорил о том, как мечтал когда-то о братстве всех людей. Ведь он отказался от своего звания и богатства в надежде, что на его глазах будет создано новое общество, основанное на всеобщем труде. Уже давно он жил в поселке, раздавал ребятишкам мелочь, бренчавшую в его карманах, выказывал углекопам поистине братское чувство, с улыбкой сносил их недоверие. Он привлекал их симпатии своим спокойным видом умелого и неговорливого рабочего, и все-таки тесного сближения не произошло: для рабочих оставался чужаком этот пришелец, который презирал все узы, соединявшие людей, и, желая сохранить свое мужество, отказывался от всех радостей жизни. В этот день его особенно возмущал злободневный факт, о котором он прочел утром в газетах, поднявших шум вокруг сенсационного события.

Глаза у Суварина стали ясными и жесткими, в голосе зазвучал металл, и он сказал, пристально глядя на Этьена и обращаясь непосредственно к нему:

— Ты можешь это понять, а? Рабочие-шапочники в Марселе выиграли в лотерее крупный куш — сто тысяч франков; тотчас же они купили себе ренту и заявили, что теперь будут жить-поживать и ничего делать не станут! Каково? Все вы такие, французские рабочие. Все мечтаете найти клад и, забившись в угол, проедать его в одиночку, ни с кем не делясь и наслаждаясь бездельем. Эгоисты и лодыри! Кричите, обличая богатых, а если фортуна пошлет вам самим богатство, у вас духу не хватит отдать его беднякам... Никогда вы не будете достойны счастья, пока не перестанете гнаться за собственностью и пока ваша ненависть к буржуазии будет вызываться только бешеным желанием самим сделаться буржуа.

Раснер захохотал, считая нелепой мысль, что двое марсельских рабочих, которым достался крупный выигрыш, должны были кому-то его отдать. Но Суварин побледнел как полотно, его искажившееся лицо стало страшным, и он крикнул в порыве гнева, неистового гнева, свойственного фанатикам, готовым во имя своей веры истребить целые народы:

— Всех вас сметут, опрокинут, выбросят на свалку. Родится тот, кто уничтожит вашу породу трусов и прожигателей жизни. Постойте, вот поглядите на мои руки. Если б я только мог, то схватил бы я руками землю, стиснул и так бы ее встряхнул, чтоб она рассыпалась и вас бы всех придавило под обломками!

— Прекрасно сказано! — повторила с вежливым и убежденным видом жена Раснера.

Опять настало молчание. Потом Этьен заговорил о рабочих, привезенных из Боринажа. Он спросил Суварина, какие меры приняты на Ворейской шахте. Но машинист опять впал в задумчивость и едва отвечал ему; знал он только то, что солдатам, охраняющим шахту, собирались раздать патроны; он все больше нервничал, беспокойно проводил пальцами по своим коленям и в конце концов догадался, что ему недостает его любимицы, ручной крольчихи,— прикосновение к ее нежному, пушистому меху как-то успокаивало его.

— Где же Польша? — спросил он.

Кабатчик, замявшись, переглянулся с женой и решился наконец сказать:

— Польша? Она разогревается.

После потехи Жанлена над крольчихой, которая, наверно, была тогда ранена, она приносила мертвых крольчат, и, чтобы зря не кормить ее, хозяева как раз в этот день зарезали ее и зажарили с картофелем.

— Ну да, ты нынче за ужином съел кусочек... Забыл? Ел и пальчики облизывал.

Суварин сперва не понял; потом вдруг побледнел, подбородок у него задергался от тошноты, а глаза, несмотря на стоическую твердость его характера, наполнились слезами.

Но никто не заметил его волнения,— в эту минуту дверь распахнулась и вошел Шаваль, подталкивая впереди себя Катрин. Обойдя все кабаки в Монсу, пьяный от выпитого там пива и от бахвальства, он вздумал заглянуть в заведение Раснера, показать бывшим приятелям, что он их не боится. Он вошел, ворча на любовницу:

— Ступай ты к чертовой матери! Раз я сказал, значит, выпьешь кружку пива у Раснера. А кто на меня посмотрит косо, тому я в рожу дам.

Увидев Этьена, Катрин побледнела. А Шаваль, заметив его, злобно ухмыльнулся.

— Хозяйка, две кружки! Празднуем нынче конец забастовки. Завтра выходим на работу.

Жена Раснера, не сказав ни слова, налила две кружки,— хозяйке пивной не полагается ссориться с посетителями. Остальные молча смотрели на них.

— Знаю я, знаю: кое-кто меня доносчиком называет,— не унимался Шаваль.— Пусть-ка они меня в лицо так назовут. Вот тогда мы поговорим. Пора!

Никто не отозвался. Мужчины отворачивались, рассеянным взглядом окидывали стены.

— Есть которые лодыри, а другие не лодыри,— продолжал Шаваль, повышая голос.— Мне скрывать нечего. Я из паршивой лавочки Денелена ушел, а завтра на Ворейской шахте спущусь на работу, с бельгийцами. Двенадцать бельгийцев под мое начало поставили, дирекция меня уважает. А если кому такое дело не нравится, пускай скажет, мы потолкуем.

Его вызывающие слова по-прежнему встречены были презрительным молчанием. Тогда он обрушился на Катрин:

— Почему не пьешь, чертова кукла? Пей, говорят тебе! Давай чокнемся да выпьем за то, чтобы сдохли лентяи, которые работать отказываются.

Катрин чокнулась с ним, но рука у нее дрожала, еле слышно звякнули друг о друга стеклянные кружки. Шаваль вытащил из кармана пригоршню серебра и, высыпав его на стойку, с пьяной назойливостью бормотал, что эти денежки он в поте лица заработал, а вот пускай лодыри, бездельники покажут хоть десять су. Молчание бывших товарищей раздражало его, и он перешел к прямым оскорблениям:

— Так вот оно как? По ночам кроты из нор выползают. Видно, жандармы спят, раз такие бандиты разгуливают.

Этьен поднялся и очень спокойным, твердым тоном сказал:

— Слушай, ты мне надоел... Да, ты доносчик, от твоих денег воняет новым предательством. Ты продажная шкура, мне и дотронуться до тебя противно. Но все равно, давай посчитаемся. Кто кого на тот свет отправит. Давно пора.

Шаваль сжал кулаки:

— Наконец-то! Не легко тебя расшевелить, трус паршивый!.. Давай. Согласен. Один на один. Я тебе отплачу за все пакости, какие вы мне сделали.

Сложив умоляюще руки, Катрин встала было между ними, но им даже не пришлось ее отталкивать, она сама попятилась, чувствуя, что эта схватка неизбежна, и медленно, шаг за шагом, отступила. Прислонившись к стене, она стояла, широко открыв глаза, молча глядя на двух соперников, готовых убить друг друга из-за нее, и вся замирала от страха; она до того была скована ужасом, что даже дрожь больше не сотрясала ее.

Жена Раснера без долгих разговоров убрала со стойки пивные кружки, опасаясь, как бы их в драке не разбили. Затем она уселась на мягкую скамейку, не проявляя неуместного любопытства. Но ведь нельзя было допустить, чтобы бывшие товарищи убили друг друга. Раснер все порывался вмешаться. Тогда Суварин взял его за руки и, подведя к столу, сказал:

— Это тебя не касается... Один из них лишний на земле. Кто сильнее — выживет.

Шаваль, не дожидаясь нападения, бил в пустоте крепко сжатыми кулаками. Ростом он был выше Этьена, весь какой-то расхлябанный, и сейчас все метил попасть в лицо противнику, норовил ударить его со всего размаху то одной, то другой рукой, словно орудовал двумя саблями. Все время он выкрикивал угрозы и оскорбления, позируя для публики и взвинчивая себя этими выкриками:

— Ах ты кот проклятый! Я тебе нос оторву! Оторву, и пойдет твой нос на затычку! Раскровеню тебе твою смазливую рожу, разобью в лепешку. Прежде шлюхи любовались, а теперь только на корм свиньям она пригодится. Вот тогда посмотрим, как за тобой потаскушки будут бегать.

Стиснув зубы, Этьен дрался молча. Маленький, подобранный, он соблюдал правила: прикрыв кулаками лицо и грудь, подстерегал мгновение и, как развернувшаяся пружина, наносил сильные прямые удары.

Вначале противники не причиняли друг другу большого вреда. Один кричал и «делал мельницу», другой хладнокровно выжидал. Драка затягивалась. Стукнул опрокинутый стул; под грубыми башмаками хрустел песок, которым посыпан был каменный пол. Противники запыхались, дышали хрипло, с натугой, лица у обоих побагровели, словно внутри у них горели раскаленные угли и пламя жаровни сверкало в блестящих запавших глазах.

— На, получай! — завопил Шаваль.— Переломаю тебе все кости.

И в самом деле, взмахнув длинной рукой, словно цепом, он обрушил кулак на плечо Этьена. Тот едва не застонал от боли, но сдержался; слышно было, как глухо шмякнул кулак, ушибив ему мышцы. Этьен ответил прямым сокрушительным ударом в грудь и сбил бы Шаваля с ног, если б тот не отскочил в сторону, так как, увертываясь, прыгал все время, словно коза. Все же его задело по левому боку так сильно, что он зашатался, не мог перевести дыхание, от боли у него вдруг обмякли руки. Тогда его охватило бешенство, он ринулся на Этьена, как зверь, и попытался ударить его ногой в живот.

— А я тебя в брюхо! — бормотал он сдавленным голосом.— Выпущу кишки и на солнышке развешу.

Этьен увернулся. Но такое нарушение правил честной драки возмутило его, и он крикнул:

— Молчи, скотина! Черт бы тебя побрал! Не смей лягаться, а то возьму стул и оглушу тебя.

Поединок стал ожесточенным. Раснер, в негодовании, снова

попытался вмешаться, но жена суровым взглядом удержала его: разве два посетителя не имеют право свести счеты в их заведении? Тогда Раснер встал перед камином, боясь, что противники свалятся прямо в огонь. Суварин с обычным своим спокойным видом свернул папиросу, но так и не закурил ее. Катрин неподвижно стояла у стены, только поднесла бессознательно руки к поясу и судорожными движениями дергала складки платья. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не закричать, не убить одного из противников, выдав своим возгласом, кто ей дороже; впрочем, в эту минуту она в смятении своем даже не знала, кого хотела бы спасти.

Вскоре Шаваль выдохся и, обливаясь потом, бил наугад. Этьен даже и в ярости не забывал прикрываться, отбивал почти все выпады; некоторые удары слегка задели его. У него было надорвано ухо, содран лоскуток кожи на шее, и ссадина эта вызвала такую жгучую боль, что он тоже выругался и ответил ударом в грудь. Шаваль успел отскочить, но Этьен слегка присел и кулаком хватил его по лицу, разбил нос, подшиб глаз. Из носу брызнула и полилась кровь, глаз украсился синяком и сразу заплыл... Шаваль ослеп, оглох, обливался кровью, в голове у него гудело; он без толку размахивал кулаками, и вдруг страшный удар под ложечку докопал его. В груди у него что-то хрустнуло, и он упал навзничь, рухнув, как мешок с алебастром, сброшенный с телеги.

Этьен выждал.

— Вставай! Если хочешь еще получить, давай продолжим.

Шаваль лежал пластом, ничего не соображая, потом зашевелился, потянулся всем телом, с трудом приподнялся на колени и, сжавшись в комок, постоял так секунду, что-то отыскивая в кармане правой рукой. Наконец встал на ноги и с диким воплем вновь бросился на Этьена.

Но Катрин все видела, громкий крик вырвался у нее, словно невольное признание сердца, удивившее ее самое, крик, выдавший то, чего она сама еще не ведала:

— Берегись! У него нож!

Этьен едва успел поддать предплечьем под руку, нанесшую первый удар. Его вязаную шерстяную фуфайку раскроил нож с толстым лезвием, острый нож с деревянной самшитовой рукояткой, которую скрепляло с клинком медное кольцо. Схватив Шаваля за руку, Этьен стиснул ему запястье; началась ужасающая борьба; один знал, что погибнет, если выпустит эту руку, другой дергал руку, вырывался, чтобы ударить и убить. Рука с ножом постепенно опускалась, напряженные мышцы обоих противников ослабевали; два раза Этьен ощущал, как холодная сталь касалась его кожи; собрав все силы, он так больно сдавил запястье противника, что тот не выдержал, разжал руку и выронил нож. Оба бросились на

«Жерминаль».

пол. Этьен первым успел схватить нож и замахнулся. Он опрокинул Шаваля, прижал коленом к полу и грозил перерезать ему горло.

— Ах ты сволочь проклятая! Зарежу!

Какой-то голос звучал в его ушах, оглушительно громко кричал: «Убей!» Голос поднимался из темных тайников его существа и, как удар молота, отдавался в голове: «Убей!» То было внезапно налетевшее безумие, жажда крови. Еще никогда она так не потрясала его. А ведь он не был пьян. И он боролся против этого наследственного безумия, весь трепеща, как человек в любовном исступлении борется с соблазном совершить насилие. Наконец он победил себя, отшвырнул нож и хриплым голосом сказал:

— Убирайся!

На этот раз Распер бросился к противникам. Но все еще не решался встать между ними, опасаясь попасть им под руку. Он заявил, что не допустит смертоубийства в своем заведении, он сердился, возмущался. Жена, наблюдавшая за поединком из-за стойки, заметила ему, что он всегда кричит раньше времени. Суварин, которому отлетевший нож чуть не угодил в ногу, решился наконец закурить папиросу. Так все, значит, кончено? Катрин смотрела на противников, не веря своим глазам. Неужели оба живы?

— Убирайся! — повторил Этьен.— Уходи, а не то прикончу тебя.

Шаваль поднялся, вытер тыльной стороной руки кровь, все еще лившуюся из носа по подбородку, и, ничего не видя заплывшим глазом, еле волоча ноги, поплелся к выходу в бешенстве от своего поражения. Катрин машинально последовала за ним. Тогда он выпрямился во весь рост, разразился потоком грязной ругани:

— Ну нет! Нет! Раз ты его выбрала, так и сиди с ним, шлюха поганая! И чтоб твоей ноги у меня не было, если хочешь жива быть!

И он вышел, громко хлопнув дверью. В жарко натопленной комнате опять стало тихо, слышно было только легкое гудение огня в камине. На полу валялся опрокинутый стул; песок, покрывавший каменные плитки пола, впитывал капли крови, дождем окропившей его.

IV

Выйдя от Распера, Этьен и Катрин долго шли молча. На дворе начиналась оттепель, а все же было холодно; грязный снег, потемневший от промозглой сырости, еще не таял. В белесом небе сквозь большие облака тусклым пятном проглядывала полная луна; черные обрывки туч неслись с бешеной быстротой, гонимые ветром, бушевавшим в высоте; а на земле стояла полная тишина, слышны

были только звуки капели да с глухим, мягким стуком падали с крыш белые комья снега. Этьен был полон тяжелого смятения и не знал, что сказать женщине, которую любовник отдал ему. Мелькнула было мысль увести ее в Рекильяр и спрятать в своем тайнике, но он счел это нелепостью. Он предложил Катрин отвести ее в поселок к родителям,— она отказалась, и в голосе ее слышался ужас. Нет, нет, что угодно, но только не это! Разве она может просить у них помощи, после того как бессовестно покинула их! Оба умолкли и, не проронив ни слова, шли куда глаза глядят по дорогам, обратившимся в реки жидкой грязи. Сначала спустились к Воре́, потом свернули вправо, на тропинку, пролегавшую между терриконом и каналом.

— Надо же тебе где-то переночевать,— сказал наконец Этьен.— Будь у меня комната, я бы, конечно, повел тебя туда...

И вдруг в приливе какой-то странной робости оборвал свою речь. Вспомнилось прошлое: грубое вожделение и душевная борьба, стыдливость, помешавшая их сближению. Быть может, его все еще влечет к ней; а иначе почему же он так взволнован и в сердце как будто вновь зажглось желание? Мысль о пощечинах, которыми она наградила его в Гастон-Мари, теперь не только не вызывала в нем злобы, но возбуждала его. И опять он поймал себя на мысли, что было бы так просто, так естественно увести ее с собой в Рекильяр. Там он мог бы обладать ею.

— Ну вот... Скажи, куда мне тебя отвести? Значит, ты очень меня ненавидишь, раз отказываешься сойтись со мной?

Катрин медленно брела позади него, отставала, поскользнувшись в деревянных своих сабо, увязала в рытвинах. В ответ на слова Этьена она тихо сказала, не поднимая головы:

— И так мне тяжко, господи боже мой! Не прибавляй хоть ты горя! Ну зачем ты это просишь? Ведь у меня теперь любовник, да и у тебя есть женщина.

Она имела в виду Мукетту, думая, что Этьен живет с ней,— такие слухи ходили в последние две недели. А когда Этьен поклялся, что это неправда, она покачала головой, вспомнив тот вечер, когда видела, как он целовался с Мукеттой около Рекильярской шахты.

Этьен остановился.

— И к чему нам все эти глупости? — сказал он вполголоса.— Такая обида! Ведь мы с тобой жили бы душа в душу!

Чуть вздрогнув, она ответила:

— Полно, не жалей! Немного ты потерял. Если б ты знал, какая я хилая да тощая! Будто кость обглоданная. Да еще и чудная какая-то уродилась! Видно, мне никогда не стать настоящей женщиной!

И она не стесняясь рассказала о своем состоянии, обвиняя себя, словно за какой-то проступок, в том, что так долго не достигает зрелости, хотя у нее уже есть любовник. Это запоздалое развитие казалось ей унизительным, делало ее какой-то девчонкой. А ведь гулять с парнем простительно, только когда можешь родить от него ребенка.

— Бедненькая ты моя! — прошептал Этьен, охваченный глубокой жалостью.

Они стояли у подножия террикона в тени, падавшей от его громады. Черная туча затянула в эту минуту луну, темнота скрыла лица обоих, дыхание их смешалось, губы искали друг друга в жажде поцелуя, томившей их долгие месяцы. И вдруг из-за туч снова выплыла луна, они увидели вверху кручу, залитую белым сиянием, и застывшую, вытянувшуюся в струнку фигуру часового, поставленного у Ворейской шахты. Так они и не обменялись поцелуем — стыдливость удержала их, прежняя стыдливость, в которой был и гнев, и какое-то смутное отвращение, и глубокое дружеское чувство. Они тяжелым шагом двинулись дальше, по щиколотку утопая в грязи.

— Стало быть, решено? Ты не хочешь? — спросил Этьен.

— Нет! — ответила Катрин.— Шаваль, а потом ты, а после тебя еще кто-нибудь? Так, что ли? Нет, мне это противно. Да и нет в этом никакого удовольствия. Зачем же тогда?

Они прошли шагов сто, не обменявшись ни единым словом.

— А ты хоть знаешь, куда сейчас идешь? — заговорил наконец Этьен.— Не можешь же ты провести всю ночь на улице в такую погоду.

— К Шавалю. Он мне вроде мужа. Где же мне еще ночевать, как не у него?

— Он тебя изобьет до полусмерти.

Катрин ничего не ответила, только пожала плечами с покорным видом. Ну да, Шаваль изобьет ее, а когда устанет, перестанет бить. Лучше терпеть побои, чем шататься по дорогам, как потаскушка какая-нибудь. Она привыкла получать пощечины и в утешение себе говорила, что и у других девушек любовники не лучше, чем у нее. Если Шаваль когда-нибудь женится на ней, надо еще спасибо сказать.

Они машинально повернули в сторону Монсу, и чем ближе к нему подходили, тем дольше длились минуты молчания. Как будто они уже расстались друг с другом. Этьен не находил нужных слов, чтоб убедить ее, хоть ему и было очень горько, что она возвращается к Шавалю. Сердце у него разрывалось. Но ведь и с ним ей жилось бы не лучше. Что он мог дать ей? Нищету и мрак подземелья; ночь без грядущего утра, если солдатская пуля пробьет

ему голову. Может, оно и разумнее будет — переносить в одиночестве те страдания, которые выпали ему и ей на долю, не прибавлять к этим мукам другие муки. И, опустив голову, он проводил ее до Монсу, к любовнику; он не возразил ни слова, когда они вышли на Главную улицу и Катрин остановила его у складов, в тридцати шагах от трактира, где жил Шаваль.

— Дальше не ходи. Если он тебя увидит, опять беда будет.

На колокольне пробило одиннадцать часов. Трактир был заперт, но в щели ставен пробивался свет.

— Прощай! — прошептала Катрин.

Она протянула ему руку, он долго не выпускал эту маленькую, холодную руку; Катрин медленным движением высвободила ее и рассталась с Этьеном. Ни разу не оборнувшись, она подошла к калитке, запиравшейся просто на щеколду, и исчезла за ней. Но Этьен все не уходил, стоял на том же месте, не сводя глаз с ее дома, со страхом думая о том, что происходит там. Напрягая слух, он с тоской ждал, что вот-вот понесутся вопли избиваемой женщины. Но в доме было по-прежнему темно и тихо; только осветилось окно на втором этаже, окно это отворилось, и, узнав тоненькую фигуру, высунувшуюся из него, Этьен подошел ближе. А тогда Катрин сказала чуть слышно:

— Он еще не вернулся, я ложусь... Умоляю тебя, уходи!

Этьен ушел. Оттепель усиливалась; с плеском, будто в сильный дождь, с крыш текла вода: насыщавшая воздух влага, словно пот, струилась по заборам, по стенам, по смутно видневшимся во мраке темным строениям этого промышленного городка. Этьен направился было в Рекильяр; разбитый усталостью и мучительной тоской, он хотел лишь одного: скрыться, исчезнуть в своем подземном логове. Но вдруг ему вспомнилось, что завтра в Ворейскую шахту спустятся бельгийские рабочие. Вспомнились товарищи, которые полны гнева против солдат и решимости не допустить чужестранцев в свою шахту. И он пошел обратно по дороге, усеянной лужами от растаявшего снега.

Когда он проходил мимо террикона, лунный свет стал ярче. Этьен поднял голову, посмотрел на небо. Там все так же мчались облака, гонимые яростным ветром, задувавшим в высоте, но теперь они побелели, стали тоньше, прозрачнее, разорвались на узкие полосы, и луна проглядывала сквозь них, словно сквозь волны мутной воды. Они проносились, набрасывая на луну прозрачный покров, но через мгновение она вновь и вновь возникала во всей своей красе.

Полюбовавшись чистым лунным сиянием, Этьен опустил глаза, и вдруг его остановило зрелище, открывшееся перед ним на вершине террикона. Часовой, закоченев от холода и стараясь со-

греться, расхаживал теперь взад и вперед — делал двадцать пять шагов в сторону Маршьена и, поворачивая обратно, проходил столько же в сторону Монсу. Видно было, как блестит штык, торчавший над черным силуэтом солдата, четко выделявшийся на светлом фоне неба. Но Этьена заинтересовал не часовой, а другой силуэт, прятавшийся за будкой, где, бывало, в непогоду укрывался по ночам старик Бессмертный; в этой движущейся тени, в этом подползавшем зверьке, подстерегавшем добычу, он сразу узнал Жанлена. Конечно, это было его узкое, как у хорька, длинное, гибкое, словно бескостное тело. Часовой не мог его заметить, а этот юный негодяй, несомненно, задумал сыграть с ним какую-то злую шутку,— ведь он ненавидел солдат и все спрашивал, когда же наконец шахты избавятся от этих убийц, которым дают ружья и посылают уничтожать людей.

Этьен хотел было окликнуть его, чтобы Жанлен не выкинул какую-нибудь безобразную глупость. Луна скрылась за облаком. Этьен видел перед этим, что мальчишка весь подобрался, приготовился к прыжку, но вот снова показалась луна. Жанлен застыл все в той же позе. Часовой, шагая на посту, всякий раз доходил до будки, круто поворачивался и шел в другую сторону. И вдруг, когда облака затянули луну, Жанлен огромным прыжком, как дикая кошка, вскочил на плечи солдата, уцепился за него и воткнул ему в горло большой нож. Воротник, подбитый конским волосом, не поддавался, Жанлену пришлось нажать на рукоятку обеими руками и повиснуть на ней всем телом. Ему частенько случалось резать кур, которых он ловил на задворках ферм. Все произошло мгновенно, в ночи раздался только короткий стон да, словно железный лом, упав на землю, звякнуло ружье. А в небе опять засияла луна.

Этьен, остолбенев, застыл на месте, широко раскрыв глаза. Окрик замер у него в горле. На гребне терриконa не было никого, ни одной тени не вырисовывалось на фоне бешено бегущих облаков. Этьен взбежал по скату и увидел, что Жанлен стоит на четвереньках возле трупа, который лежал навзничь, раскинув руки. В прозрачном лунном свете на снегу четко выделялись красные штаны и серая шинель убитого. Не вытекло ни одной капли крови; нож, воткнутый по самую рукоятку, еще торчал в горле.

Этьен в безотчетном порыве негодования ударом кулака свалил убийцу на землю возле трупа.

— Зачем ты это сделал? — растерянно бормотал он.

Жанлен приподнялся и пополз на руках, изгибая по-кошачьи свою тощую спину. Злодейство потрясло его, от бурного волнения огнем горели зеленые глаза, пылали большие оттопыренные уши, тряслась выступающая нижняя челюсть, дергалось все лицо.

— Ах ты гадина, зачем ты это сделал?

— Не знаю. Захотелось.

Он уперся на этом, ничего иного не мог сказать. Три дня его преследовало это желание, мучительное желание убить. Он все думал, думал об этом, так что в голове поднималась боль, вот тут, за ушами. А чего с ними стесняться, с этими паршивыми солдатами? Зачем они пришли сюда, не дают житья углекопам? Из неистовых речей, звучавших на сходке в лесу, из призывов к разрушению и смертоубийству ему запомнилось пять-шесть слов, и он повторял их, как мальчишка, играющий в революцию. А больше он ничего не знал, никто его не натравливал, желание убить пришло само собой, как приходило ему желание наворовать луку в крестьянском поле.

Этьена привели в ужас тайные зачатки преступности, давшие ростки в детской душе; он отогнал Жанлена пинком, как бессмысленного зверя. Боясь, что предсмертный крик часового могли услышать на сторожевом посту, он всякий раз, как из-за облаков показывалась луна, смотрел в сторону Ворейской шахты. Но там ничто не шевелилось; и Этьен наклонился, поцупал постепенно холодевшие руки солдата, послушал сердце, не бившееся под шинелью. Клинок ножа не был виден, зато на костяной рукоятке можно было различить простой галантный девиз «Любовь», начертанный черными буквами.

Этьен перевел взгляд на лицо убитого. И вдруг узнал молоденького солдата Жюля, новобранца, с которым беседовал как-то ранним утром. Глубокая жалость охватила его при виде кротких черт этого белесого веснушчатого юноши. Голубые, широко открытые глаза смотрели в небо пристальным, неподвижным взглядом,— вот так же он смотрел, ища вдали свои родные края. Где же этот самый Плогоф, который тогда представал перед взором этого мертвеца, весь залитый солнцем? Далеко, далеко. В эту ночь, должно быть, ревет там море. Ветер, что бушует в высоте, быть может, проносится и над каменистой пустошью. У порога дома стоят две женщины — мать и сестра. Ветер рвет на обеих чепцы, а женщины придерживают их и тоже смотрят вдаль, словно могут увидеть, что делает сейчас «малыш», хотя их отделяет от него столько лье. Теперь им придется вечно ждать. Как это страшно, что из-за богатых бедняки убивают друг друга.

Но нужно было куда-нибудь убрать труп. Сперва Этьен хотел бросить мертвеца в канал. Остановила мысль, что там его наверняка найдут. И в лихорадочной тревоге он ломал себе голову: что делать? Ведь каждая минута дорога. И вдруг его осенила догадка: если удастся донести мертвеца до Рекильяра, там он будет похоронен навеки.

— Иди сюда,— позвал он Жанлена.

Мальчишка недоверчиво мялся.

— Не пойду. Ты меня побьешь. Да и некогда мне, дело есть.

Ведь он назначил Беберу и Лидии свидание в тайном месте их встреч — в норе, которую они устроили себе в Ворейской шахте между штабелями крепежного леса. Они затеяли большую вылазку: удрав из дому, переночевать там, чтобы быть на месте происшествия, когда начнется схватка с бельгийцами. Ведь чужаков забросают камнями, переломают им кости, если они вздумают спуститься в шахту.

— Жанлен, иди сюда,— повторил Этьен,— иди, а не то позову солдат, и тебе отрубят голову.

Мальчишка наконец решился подойти; тем временем Этьен, свернув жгутом свой носовой платок, крепко перевязал им шею убитого солдата, не вынимая ножа, который не давал крови вытекать наружу. Снег таял, на земле не осталось ни кровавой лужи, ни каких-либо следов борьбы.

— Бери за ноги!

Жанлен взял мертвеца за ноги, Этьен подхватил его под мышки, перекинув ружье на ремне себе за спину, и вдвоем они медленно спустились со своей ношей по скату террикона, стараясь не вызвать обвала камней. По счастью, луну заволокло облаком; но, когда они крались по берегу канала, она выплыла и ярким сиянием залила землю,— было просто чудом, что со сторожевого поста их не заметили. Они шли торопливо; труп, качавшийся в их руках, мешал им; через каждые двести шагов приходилось класть его на землю. На углу Рекильярского проезда они услышали топот солдатских сапог, и у них все похолодело внутри; они едва успели спрятаться за забором от проходившего патруля. А дальше наткнулись на какого-то гуляку, но он был очень пьян и прошел мимо, ничего не заметив, осыпая кого-то руганью. Когда добрались до заброшенной шахты, оба были в испарине, задыхались и так дрожали от волнения, что у них стучали зубы.

Этьен заранее предполагал, что протащить убитого по лестницам запасного ствола будет нелегко. Но это оказалось просто мучительной работой. Начали с того, что Жанлен, стоя наверху, осторожно спустил труп в отверстие ствола, а Этьен, цепляясь за корни кустарников, подхватил тело, чтоб протащить его через две первые площадки, где лестницы были сломаны. Затем на каждой лестнице приходилось повторять то же самое: Этьен спускался первым и подхватывал скользивший вниз труп; надо было одолеть тридцать лестниц, спуститься на двести десять метров, и при этом он все время чувствовал, как убитый падает на него. Ружье било по спине; Этьен не позволил Жанлену принести и зажечь огарок

свечи, который берег, как скряга. Зачем зажигать? Свеча только мешала бы им в узком, как кишка, колодце. Но когда оба добрались наконец до рудничного двора, едва дыша от усталости, Этьен послал мальчишку за свечой. Сам же он присел на корточки возле трупа и ждал в темноте, слыша, как сердце неистово колотится в груди.

Лишь только появился Жанлен с зажженным огарком, Этьен стал держать с ним совет: ведь мальчишка облазил все эти старые выработки вплоть до таких щелей, где взрослому человеку невозможно было пролезть. Они двинулись дальше и еще с километр тащили мертвеца по лабиринту разрушенных выработок. Наконец дошли до низкого штрека и поползли на коленях под нависшей осыпающейся кровлей, которую подпирали погнувшиеся стойки. В этот штрек, похожий на длинный ящик, они, как в гроб, положили несчастного новобранца и рядом с ним положили его ружье; потом принялись с размаху бить ногами по деревянным подпоркам, чтобы окончательно сломать их, хотя и сами могли остаться тут навсегда. Тотчас же кровля раскололась, они едва успели выбраться. Когда Этьен обернулся в непреодолимой потребности посмотреть, кровля оседала все ниже под огромным давлением каменной толщи, лежавшей над ней, и сплющивала недвижное мертвое тело. И вот она рухнула. Не было уже ничего, кроме тяжкой массы земных недр.

Возвратившись в свою воровскую пещеру, Жанлен, разбитый усталостью, растянулся в углу на сене и пробормотал, закрывая глаза:

— Плевать! Малыши подождут! Я сосну часок.

Этьен задул свечу — от нее остался крошечный огарок. Он устал, так устал, что все у него болело, но спать не мог — в голове проносились тягостные мысли, кошмарные видения; в висках стучало, как будто в них отдавались удары молота. Вскоре из всех мыслей осталась одна, жестоко терзавшая его,— он все задавался вопросом, на который не мог ответить: почему он не убил Шаваля, когда тот, поверженный, был в его власти? И почему этот мальчик зарезал солдата, не зная о нем ничего, даже его имени? Это переворачивало его взгляды на революционное насилие: «Надо иметь мужество убить, но надо иметь право убить». Но сам-то он не трус ли? Жанлен, зарывшись в сено, вдруг захрапел зычным храпом, как пьяный, словно опьянел от совершенного убийства. Этьену было противно, омерзительно слышать этот храп, чувствовать, что Жанлен находится близ него. Это было мучительно. Вдруг он вздрогнул, затрепетал от страха. Холодное дуновение коснулось его лица. Потом послышался легкий шорох, короткое рыдание, как будто донесшееся из глубины земли. Перед глазами встал

образ молоденького солдата, лежащего со своим ружьем под обвалившимися глыбами, и тогда у Этьена мороз побежал по спине, по шее, зашевелились на голове волосы. Что это? Как будто вся шахта наполнилась гулом голосов? Вот нелепость! Все же пришлось зажечь свечку, и только увидев при бледном ее свете, что кругом никого нет, он успокоился.

Прошло еще четверть часа, он все размышлял, устремив глаза на горевший фитилек, в душе его шла все та же мучительная борьба. Потом фитилек затрещал, опрокинулся, и все утонуло во мраке. Этьена опять стала бить дрожь, ему хотелось больно ударить Жаплена, чтобы он не храпел так громко. Соседство этого мальчишки стало нестерпимым. Этьен убежал, томясь желанием вдохнуть свежего воздуха, и, торопливо пробираясь по галереям, взбираясь по лестницам, он будто слышал, как чья-то тень, запыхавшись, догоняет его, преследует по пятам.

Очутившись вверху, среди развалин Рекильярской шахты, он наконец вздохнул полной грудью. Ну, раз он не смеет убивать, его удел — умереть; и мысль о смерти, мелькавшая у него и прежде, возникла вновь, укоренилась, как последняя надежда. Умереть мужественно, умереть за революцию, и все тогда кончится. За все свои поступки, хорошие ли, плохие, он расплатится, и больше ни о чем не надо будет думать. Если товарищи нападут на тех людей, которых привезли из Боринажа, он будет в первом ряду; ему, конечно, повезет — его убьют. И, возвратившись к Воренской шахте, он уже твердым шагом бродил вокруг нее. Пробило два часа ночи, из комнаты штейгеров, где помещался пост, охранявший шахту, доносились громкие голоса. Исчезновение часового потрясло солдат; пошли разбудили капитана, и в конце концов после тщательного обследования на месте решили, что часовой дезертировал. А Этьен, прячась в темноте, вспоминал, как убитый новобранец говорил с ним об этом капитане и называл его республиканцем: «Он — за республику». Кто знает, вдруг удастся убедить его перейти на сторону народа. Отряд повернет ружья прикладом вверх,— это может послужить сигналом к избиению буржуа. Новая мечта овладела им, и ему уже не приходила мысль о смерти. Долгие часы он провел, стоя в липкой грязи, мерз в промозглой сырости, оседавшей на его плечи мельчайшими каплями, и горел лихорадочной надеждой на еще возможную победу.

Он подстерегал бельгийцев до пяти часов утра. И только тогда узнал, как хитро поступила Компания: их привезли с вечера, и ночь они провели на шахте. Начался спуск: несколько забастовщиков из поселка Двести Сорок, высланные на разведку, растерялись и не предупредили вовремя товарищей. О проделке хозяев со-

общил в поселок сам Этьен. Углекопы бегом бросились на шахту, а он ждал за терриконом, на берегу канала. Пробило шесть часов, ночное небо побледнело. Красноватым светом разгоралась заря, и вдруг на повороте проселочной дороги показался аббат Ранвье в подоткнутой сутане, открывавшей его тощие икры. Каждый понедельник он ходил служить раннюю обедню в монастырской часовне в окрестностях Ворё.

— Добрый день, друг мой! — громко крикнул он, оглядев Этьена горящими глазами.

Но Этьен не ответил. Вдалеке между упорами мостков Воре́йской шахты прошла женщина, и, узнав Катрин, он бросился к ней.

Катрин с самой полночи бродила по дорогам, которые развезло в оттепель. Возвратившись домой, Шаваль поднял ее с постели пощечиной, кричал, чтоб она убиралась сию же минуту; вот дверь — пусть выходит, а не то вылетит в окно. Горько плача, не успев и одеться как следует, вся в синяках от его побоев, она спустилась по лестнице, и он последним пинком вышвырнул ее на улицу. Этот внезапный разрыв ошеломил ее, она села на деревянную тумбу и все смотрела на окно, все ждала, что он позовет ее обратно. Ведь не может так быть, чтобы Шаваль совсем выгнал ее; он стоит, подстерегает и скажет, чтоб она шла в комнату, когда увидит, что она дрожит тут, брошенная, одинокая, бесприютная, потому что ей не к кому пойти.

Два часа просидела она неподвижно, закоченев от холода, словно собака, выброшенная на улицу, и наконец встала и побрела по дороге. Она вышла из Монсу, потом вернулась обратно, но не посмела ни окликнуть Шаваля с тротуара, ни постучаться в дверь. Наконец повернулась и, выйдя на большую дорогу, зашагала по бугристой булыжной мостовой, направляясь в поселок, к родителям. Но когда дошла до их калитки, вдруг ей стало так стыдно, что она бегом побежала обратно вдоль палисадников, боясь, как бы ее кто-нибудь не узнал, хотя во всех домах за запертыми ставнями тяжелый сон сморил голодных людей. А потом она все бродила, бродила, пугаясь каждого шороха, с ужасом думая, что ее могут забрать, как потаскушку, и отвести в Маршьен, в публичный дом,— мысль об этой грозящей ей опасности была ее кошмаром, два месяца неотвязно ее преследовала. Дважды она подходила к Воре́йской шахте и, испугавшись зычных грубых голосов, доносившихся из помещения военного поста, задыхаясь, убегала прочь, поминутно озираясь, не гонятся ли за нею. В Рекильярском проезде было все еще много пьяных мужчин, но она все же пошла по нему в смутной надежде, что ей встретится тот, кого она оттолкнула несколько часов назад.

Утром Шаваль должен был начать работу на шахте,— эта мысль опять привела Катрин туда, хотя она чувствовала, что говорить с ним бесполезно: между ними все кончено. В Жан-Барте добыча прекращена, а в Ворейскую шахту вернуться невозможно: Шаваль обещал задушить ее, если она туда «полезет»,— он боялся, что она будет дурно говорить о нем и повредит ему. Так что же делать? Куда деваться? Подыхать с голоду, уехать куда-нибудь, уступать грубым приставаниям мужчин? Она еле волочила ноги, спотыкалась, попадая в рытвины, и все брела, брела, утопая в слякоти, забрызганная грязью до пояса,— дороги совсем развезло; она шла все дальше, не смея даже присесть на камень и отдохнуть.

Наконец рассвело. Катрин узнала фигуру Шаваля — из осторожности он шел окольным путем, огибая терриkон; потом заметила Лидию и Бебера, выглядывавших из тайника, который они устроили себе в штабеле крепежного леса. Они провели тут всю ночь на страже, не смея уйти домой, так как Жанлен приказал им дождаться его; и пока он спал в Рекильяре, словно в пьяном бреду после своего убийства, двое этих детей мерзли на улице и, чтобы согреться, жались друг к другу. Ветер свистел в щелях между стойками из каштана и дуба, а они лежали, свернувшись в комочек, и им казалось, что они тут как в заброшенной хижине дровосека. Лидия не решалась рассказать, как ей тяжело от того, что Жанлен мучает и бьет ее; у Бебера тоже не хватало смелости пожаловаться на атамана их шайки, а ведь от его оплеух у Бебера вспухали щеки. Право, Жанлен очень уж обижает их, посылает на воровство, за которое им могут кости переломать, а всю добычу забирает себе, с ними не хочет делиться. Возмущение переполняло их сердца, и кончилось тем, что они бросились друг другу в объятия, невзирая на строгий запрет Жанлена, грозившего, что он явится невидимкой и задаст им трепку. Кары этой не последовало, и они продолжали обмениваться тихими поцелуями, не помышляя ни о чем дурном, вкладывая в эти ласки всю свою долгую подавленную любовь, всю нежность исстрадавшегося сердца. Целую ночь они согревали друг друга и были так счастливы в своей темной норе, как никогда еще не бывали, даже в день св. Варвары, когда можно было угощаться оладьями и пить вино.

Внезапно раздалась фанфара горниста. Катрин вздрогнула. Поднявшись на груду бревен, она увидела, что солдаты, охранявшие шахту, встали под ружье. К воротам подбегал Этьен. Бебер и Лидия выскочили из своего тайника.

А вдалеке, по дороге, спускавшейся из поселка, толпой бежали люди — мужчины и женщины, и при свете разгоравшегося дня четко видны были их гневные жесты.

V

Все двери надшахтных строений заперли, и шестьдесят солдат, с ружьем к ноге, преграждали доступ к единственной незапертой двери, за которой узкая лестница вела в приемочную, а также в комнату штейгеров и в раздевальню. Капитан построил солдат в два ряда у кирпичной стены, чтобы на отряд не могли напасть с тыла.

Сперва углекопы, прибежавшие из поселка, держались на некотором расстоянии. Их было человек тридцать, они переговаривались, перебрасывались бессвязными и яростными возгласами.

Жена Маэ прибежала первой, наспех прикрыв косынкой растрепанные волосы, держа на руках успувшую Эстеллу,— теперь она все твердила в лихорадочном возбуждении:

— Никого не впускать и не выпускать! Мы их всех сцапаем!

Маэ соглашался с ней. Но тут пришел из Рекильяра конюх Мук. Его схватили, не хотели пропустить. Он отбивался, кричал, что лошадям-то надо задать овса, им дела нет до революции. А кроме того, на конюшне одна лошадь сдохла, и его ждут, чтобы поднять ее наверх. Этьен высвободил старика конюха, и солдаты пропустили его в приемочную, к клети. А через четверть часа, когда постепенно возраставшая толпа забастовщиков стала угрожающей, в нижнем ярусе приемочной распахнулись широкие двери, и из нее вышли люди, которые волокли за собою околевшую лошадь; вытащив жалкую падаль, стянутую веревочной сеткой, они бросили ее во дворе, прямо в лужу, образовавшуюся от растаявшего снега. Углекопы были так потрясены, что и не подумали задержать их,— они вернулись в приемочную и снова забаррикадировали дверь. Все узнали околевшую лошадь и с жалостью смотрели, как она лежит, согнув закостеневшую шею и прижав к боку голову. Послышались голоса:

— Да это Трубач! Право, Трубач!

— Трубач!

Действительно, это был Трубач. Беднягу спустили в шахту, но он так и не мог с этим свыкнуться, всегда был скучный, вялый, работал без всякой охоты и, казалось, тосковал о солнечном свете. Напрасно Боевая, старейшая лошадь в шахте, дружески терлась о него головой, покусывала ему шею, стараясь передать ему частицу своего смирения, пришедшего к ней за десять лет. Ее ласки только усиливали глубокую грусть Трубача, он вздрагивал всем телом, не принимая утешений товарища по несчастью, состарившегося во мраке; и всякий раз, когда они встречались в квершлаге и фыркали, стоя на разъезде, казалось, они жалуются друг другу: старая

лошадь — па то, что она не помнит прошлое, а молодая — что не может его забыть. В конюшне они были соседями, стояли рядом у ясель, опустив голову или обдавая друг друга шумным дыханием; они делились своими мечтами о солнечном свете, грезами, в которых им виделись зеленые луга, белые дороги, золотистые лучи, бескопечный простор. А когда Трубач, весь в холодном поту, умирал на соломенной подстилке, Боевая в отчаянии обнюхивала его, и ее короткие пофыркивания похожи были на рыдания. Она чувствовала, как тело Трубача холодеет; шахта отняла у нее последнюю отраду — друга, явившегося с далекой поверхности земли, еще овеянного такими славными запахами, напоминавшими старой лошади о невозвратной молодости и вольном воздухе. Заметив, что Трубач не движется, бедняга заржала от страха и сорвалась с привязи.

Мук за неделю предупреждал старшего штейгера, что с лошадью неладно. Но кто стал бы в такую минуту беспокоиться о больной лошади? Господа начальники не любили поднимать лошадей на поверхность. А все-таки пришлось ее поднять. Накануне конюх с помощью двух человек целый час увязывал веревками Трубача. Потом впрягли Боевую, чтобы дотащить труп до ствола шахты. Налегая на постромки, старая лошадь медленно шагала, волоча мертвого своего друга по такому узкому штреку, что тело Трубача ударялось о стенки, и камни раздирали его шкуру; Боевая устало качала головой, прислушиваясь, как шуршит по щебню влекомая ею тяжелая туша, которую ждали на живодерне. У клети Боевую отпрягли, и она мрачным взглядом следила за подготовкой к подъему; тело, обвязанное веревочной сеткой, втащили на решетку, прикрывавшую колодец для стока воды; сетку привязали под клетью. Наконец грузчики кончили свое дело, стволовой просигналил: «Принимай мясо!» Боевая подняла голова, провожая взглядом своего друга,— сначала его поднимали тихонько, потом он вдруг потерялся во мраке, клеть взлетела вверх, и Трубач навсегда расстался с черной бездной. Боевая же все стояла, вытянув шею, и в ее короткой памяти, памяти животного, быть может, возродились картины прежней ее жизни на поверхности земли. Но с той жизнью все было кончено, ничего больше не узнает о ней Боевая,— ведь она тоже поднимется на землю только в виде перевязанного веревками холодного и жалкого трупа. У Боевой задрожали ноги, она учуяла вольный воздух далеких полей, долетавший через ствол шахты, и, задыхаясь, тяжело переступая, словно одурманенная, побрела в конюшню.

А во дворе шахты углекопы мрачно смотрели на мертвого Трубача. Какая-то женщина сказала вполголоса:

— Все-таки человек не спустится, коли не захочет.

Но тут из поселка хлынула новая людская волна. Впереди всех шел Левак, за ним его жена и жилец Бутлу.

— Бей всех, кто из Боринажа! Долой чужаков! Смерть им! Смерть!

Все было ринулись к шахте. Этьену с трудом удалось остановить людей. Он подошел к капитану, командовавшему отрядом, высокому и худощавому молодому человеку лет двадцати восьми, лицо которого выражало отчаяние и решимость; объяснив офицеру, как обстоит дело, Этьен попытался привлечь его на сторону рабочих и, говоря, все время следил, какое впечатление производят его слова. Зачем доводить дело до бесцельной резни? Справедливость, несомненно, на стороне рабочих. Все люди братья. Можно столковаться. Когда он заговорил о республике, капитан нервически дернулся и, сохраняя военную непреклонность, резко сказал:

— Разойдитесь! Не вынуждайте меня прибегнуть к оружию!

Три раза Этьен возобновлял свою попытку. А позади него грозно рокотала толпа углекопов. Прошел слух, что директор находится на шахте, и тогда раздались выкрики: предлагали накинуть ему петлю на шею и спустить на веревке в забой,— пусть-ка он сам рубает уголек. Но слух оказался ложным, на шахте были только Негрель и старший штейгер Дансар; оба они на мгновение показались в окне приемочной; штейгер прятался за спину начальника, чувствуя себя неловко после скандального свидания с женой Пьерона; инженер, наоборот, храбро окинул толпу быстрым взглядом маленьких бойких глаз и улыбнулся с презрительной насмешливостью, относившейся и к людям и к событиям. Начальников встретили свистом, и они исчезли. На их месте теперь можно было видеть только белокурую голову Суварина. Как раз в этот день он был дежурным. За все время забастовки он ни на один день не прекращал управлять машиной, но ни с кем теперь не разговаривал — всецело поглощен был своей навязчивой мыслью, и в холодном взгляде его светлых глаз, казалось, блестело ее стальное острие.

— Разойдись! — громко произнес капитан.— Не желаю вас слушать. Мне дан приказ охранять шахту, и я буду ее охранять. Вы лучше не напирайте на моих людей, а не то я сумею вас отбросить.

Хотя офицер говорил твердым тоном, на душе у него кошки скребли; он побледнел при виде все возраставшей толпы углекопов. Его должны были сменить в полдень, но он боялся, что ему не продержаться, и послал мальчишку-откатчика в Монсу просить подкрепления. А в ответ на требование разойтись понеслись нестовые вопли:

— Бей иностранцев! Бей бельгийцев! Мы хозяева в своем углу!

Этьен в отчаянии отступил. Значит, конец! Остается только вступить в бой и умереть. Он перестал удерживать товарищей, и толпа хлынула к отряду солдат. Собралось человек четыреста. На подмогу уже бежали рабочие из соседних поселков. И все бросали тот же клич. Маэ и Левак в ярости кричали солдатам:

— Уходите отсюда! Мы против вас ничего не имеем. Уходите!

— Вас это не касается,— подхватила жена Маэ.— Не вмешивайтесь в наши дела!

А жена Левака добавляла еще злее:

— Живьем вас, что ли, съесть, чтобы пройти? Вас чёстью просят — проваливайте!

Раздался даже тоненький голосок Лидии, которая пролезла с Бебером в самую гущу толпы:

— Дураки набитые! Солдатня поганая!

Катрин, стоявшая в нескольких шагах, смотрела, слушала, ошеломленная этой новой схваткой, в которую ее втянула злая судьба. Разве мало она еще выстрадала? В наказание за какие грехи не знает она ни минуты покоя? Еще вчера она никак не могла понять ожесточения забастовщиков и думала, что, право, хватит и одного раза. Зачем опять лезть в драку и получать тумаки? Но в этот час у нее самой в сердце рождалась ненависть, ей вспомнилось то, что Этьен когда-то говорил в их доме, когда все собирались и толковали по вечерам; она старалась разобраться в его словах, обращенных к солдатам. Он называл их товарищами, указывал, что они и сами вышли из народа и должны быть заодно с народом — против тех, кто угнетает бедняков.

Но вот толпа, всколыхнувшись, расступилась, и вперед выбежала какая-то старуха. Это примчалась Горелая. Страшная, худая, как скелет, с голой шеей, голыми руками, она бежала так быстро, что седые ее волосы разлетались, падали ей на глаза и мешали видеть.

— Ах, они мерзавцы! — задыхаясь, кричала она прерывающимся голосом.— Я все-таки вырвалась! Пьерон, продажная шкура, запер меня в подвале.— И сразу же, без долгих околичностей, она напала на солдат, из ее черного беззубого рта понеслась брань:

— Подлецы вы этакие! Сукины дети! Лижете сапоги господам начальникам. Зато какие смелые с бедным людом. Нашлись храбрецы! Того и гляди на штыки подденут!

Тогда и другие, присоединившись к ней, принялись осыпать солдат оскорблениями. Некоторые, правда, еще кричали: «Да здравствуют солдаты! Бросай в шахту офицеров!» Но вскоре все

заглушил единый клич: «Долой краснопузанников! Убирайтесь!» Солдаты, которые молча, с бесстрастными, каменными лицами выслушивали призывы к братанию и дружеские уговоры перейти на сторону забастовщиков, хранили ту же немую суровость и под градом ругательств. Капитан, стоявший позади, обнажил саблю и, видя, что толпа надвигается все ближе, того и гляди прижмет весь отряд к стене, скомандовал: «В штыки!» И тотчас два ряда стальных штыков, сверкнув в воздухе, уставили свои острия прямо в грудь забастовщикам.

— Ах, гадины! — взвыла Горелая, попятившись.

Но, отступив немного, все опять двинулись вперед в героическом презрении к смерти. Женщины бросились первыми, жена Маэ и жена Левака вошли в исступлении:

— Убить нас хотите! Убейте! Мы свои права защищаем!

Левак, рискуя пораниться, ухватил руками сразу три штыка и, стараясь вытащить из гнезда, тянул их, дергал и с неистовой силой, удесятеренной бешеным гневом, даже согнул их. Бутлу, уже сожалевший, что пришел сюда вслед за товарищем, стоял в стороне и преспокойно смотрел на старания Левака.

— Ну, что же вы? Убивайте! — твердил Маэ.— Покажите, какие вы молодцы! Убивайте!

Он распахнул куртку, разорвал рубашку, подставляя свою волосатую грудь, как будто татуированную частичками угля, въевшимися в тело. Он сам лез на штыки, и эта дерзкая отвага была такой грозной, что солдаты пятились от него. Один из передних колол его в грудь, и Маэ напирал как безумный, будто хотел, чтоб острие вонзилось глубже и хрустнули в груди ребра.

— Что, трусы, не хватает духу?.. За нами стоят десять тысяч. Убьете нас, а потом придется перебить еще десять тысяч.

Положение солдат становилось критическим,— они получили строгий приказ прибегнуть к оружию лишь в крайнем случае. Но ведь эти сумасшедшие идут напролом и сами напорятся на штыки. Как их отгонишь! А скоро и отступать будет некуда: вот-вот притиснут к стене. Толпа надвигалась неотвратимо, как морской прилив. Однако отряд, то есть горсточка вооруженных людей, преграждавших ей путь, держался стойко, хладнокровно выполняя короткие приказы капитана. Офицер, у которого от волнения блестели глаза и нервно подергивались губы, больше всего боялся, как бы солдаты не рассвирепели от оскорблений, которыми их осыпали. Один сержант, долговязый худой юнец с жиденькими закрученными усиками, как-то беспокойно щурился и моргал глазами. У стоявшего близ него ветерана с нашивками лицо, выдубленное за двадцать кампаний, вдруг побледнело, когда Левак, словно соломинку, согнул его штык; третий,— вероятно, новобранец, в котором

еще чувствовался деревенский парень, побагровел, услыша, как его ругают сволочью и мерзавцем. А злобные нападки не прекращались: на солдат замахивались кулаками, выкрикивали грубейшие слова, на них сыпались угрозы и обвинения, оскорбительные, как пощечина. Только силой приказа, силой военной дисциплины можно было сдерживать солдат, заставить стоять вот с этими каменными лицами, застыв в угрюмом безмолвии.

Столкновение казалось неизбежным; вдруг из двери, отворившейся позади отряда, вышел штейгер Ришом, седовласый старик, похожий на благодушного жандарма, и, весь дрожа от волнения, громко крикнул:

— Ах, черт! Ах, черт! Да что же это за глупости такие! Нельзя же такие глупости допускать!

И он бросился в еще остававшийся промежуток между штыками солдат и толпой углекопов.

— Друзья, послушайте меня! Вы ведь меня знаете, я старый рабочий, я был и остался вашим товарищем. Ну так вот, бросьте это мерзкое дело! Даю вам слово: если с вами поступят несправедливо, я сам выложу господам начальникам всю правду в глаза... Но сейчас довольно... Зачем орать всякие нехорошие слова, обижать славных ребят. Или вы добиваетесь, чтобы вам распороли штыками животы?

Его выслушали и заколебались. К несчастью, вверху опять появилось в окне ехидное лицо Негреля. Несомненно, он побоялся, как бы его не упрекнули, что он, не желая рисковать своей особой, послал вместо себя штейгера. Он попытался выступить с речью, но его голос заглушили таким ужасным ревом, что ему пришлось отступить, и, пожав плечами, он опять отошел от окна. С этой минуты никто не слушал и Ришома; как старик ни уговаривал, ни умолял рабочих от своего собственного имени, сколько ни убеждал, что все должно идти по-хорошему, по-товарищески, его отталкивали, ему не доверяли. Но он заупрямился и остался среди них.

— Нет, черт бы вас драл, не уйду! Пусть лучше мне голову пробьют вместе с вами, а я не могу вас бросить, раз вы совсем одурели.

Он умолял Этьена помочь ему образумить товарищей, но тот только махнул рукой, признаваясь в своей беспомощности. Теперь поздно! Собралось больше пятисот человек,— самые неистовые, сбежавшиеся для того, чтобы выгнать бельгийцев, привезенных на шахту. В стороне стояли любопытные, и среди них были шутники, которых забавляла предстоящая стычка. В одной кучке, стоявшей поодаль, находились Захарий и Филомена,— оба смотрели на происходившие события, как на занятное представление, и были так спокойны, что привели с собою своих детей, Ахилла и Дезире. Из

Рекпльяра примчалась новая толпа, в которой были Муке и Мукетта,— первый тотчас же присоединился к своему приятелю Захарию и хлопнул его по плечу, а Мукетта, разгоряченная, негодующая, ринулась вперед, в первые ряды бунтовщиков.

Капитан поминутно оборачивался, смотрел на дорогу. Затребованное из Монсу подкрепление все не прибывало, а в его отряде было только шестьдесят человек,— дольше он держаться не мог. Наконец ему пришло в голову припугнуть толпу, и он скомандовал солдатам зарядить ружья. Приказ был выполнен, солдаты защелкали затворами, зарядили ружья на глазах у толпы. Но ее возбуждение все возрастало, все громче раздавались задорные выкрики и насмешки.

— Гляди-ка! Бездельники-то уходят, на стрельбище пойдут! — с язвительным смехом кричали женщины — Горелая, жена Левака и другие.

Жена Маэ, у которой грудь прикрыта была маленьким тельцем проснувшейся Эстеллы, подошла к солдатам так близко, что сержант спросил, что ей нужно, зачем она «притащила бедную девчонку»?

— Тебе какое дело? — ответила мать.— Стреляй в нее, коли посмеешь.

Мужчины пренебрежительно покачивали головами. Никто не верил, чтобы в народ стали стрелять.

— У них патроны холостые! — заявил Левак.

— Да мы кто такие? Неприятели, что ли? — крикнул Маэ.— Ведь мы французы. Разве в своих стреляют, черт бы вас драл!

А другие хвалились, что они воевали в Крымскую кампанию и пуль не боятся. И все по-прежнему лезли прямо на ружья. Раздайся в эту минут залп, скосило бы десятки людей. В первом ряду бесновалась Мукетта, задыхаясь от негодования при мысли, что солдаты хотят «дырявить пулями женщин». Она поносила их последними словами, не находила достаточно мерзкой брани, чтобы их уязвить, и вдруг, прибегнув к самому унизительному, смертельному оскорблению, заголилась и показала солдатам свой зад. Подхватив обеими руками юбки, она, наклоняясь, выпячивала ягодицы, чтобы их огромные выпуклости казались еще шире.

— Нате вам! И то еще слишком много чести для таких сволочей!

Она нагибалась, подпрыгивала, поворачивалась в разные стороны, чтобы каждому досталась доля унижения, и при каждом повороте приговаривала:

— Вот офицеру! Вот сержанту! Вот солдатам!

Грянул громовой хохот. Бебер и Лидия корчились от смеха: даже Этьен, застывший в мрачном ожидании, захлопал в ладоши,

рукоплеща этой оскорбительной наготе. Теперь и ожесточенные и шутники дружно освистывали солдат, словно увидели, как их облили нечистотами; молчала лишь Катрин, стоявшая в стороне на старых бревнах; но и у нее кипела кровь и рвались из груди слова ненависти, загоревшейся в душе.

Вдруг произошла свалка. Желая успокоить раздраженных солдат, капитан решил взять пленных. Мукетта увернулась,— одним прыжком перелетела к своим и, юркнув, исчезла в толпе. Из самых ярых бунтовщиков солдаты выхватили Левака и еще двоих, отвели в помещение штейгеров и взяли троих арестованных под стражу. Негрель и Дансар кричали из окна капитану, звали его к себе в приемочную, предлагая запереться вместе с ними. Он отказался, понимая, что в дверях нет крепких запоров, здание сразу же будет взято приступом, а его разоружат — участь, позорная для офицера. В отряде поднимался злобный ропот: нельзя же отступать перед какой-то голытьбой в деревянных башмаках. Шестьдесят солдат с заряженными ружьями по-прежнему стояли устрашающим заслоном.

Толпа сперва отпрянула. Шум сменился глубоким молчанием: забастовщиков ошеломил нежданный арест их товарищей. Потом понеслись истошные вопли, люди требовали выпустить пленников, немедленно возвратить им свободу. Кто-то крикнул, что арестованных наверняка убьют. И тут, не сговариваясь, подхваченные единодушным порывом, одинаковой у всех жаждой возмездия, все побежали к сложенным поблизости штабелям кирпича — того самого кирпича, который выделывали из мергелевой глины, изобилующей в этих краях, и тут же на месте обжигали. Теперь эти кирпичи послужили забастовщикам. Вскоре у каждого лежала в ногах груда метательных снарядов. И началось сражение.

Первой заняла позицию Горелая. Она разбивала кирпичи пополам на своей костлявой коленке и кидала обе половинки правой и левой рукой. Жена Левака так широко размахивалась, что едва не вывихнула себе плечо; она была такая толстая, рыхлая, что не могла швырнуть далеко и попасть в солдат, поэтому она вылезла вперед, несмотря на мольбы Бутлу, который все тянул ее назад, надеясь увести домой, раз Левака забрали. Все пришли в возбуждение битвы; Мукетта разозлилась на то, что до крови ободрала себе руки и толстую свою коленку, ломая на ней кирпичи, и предпочла бросать их целиком, не разбивая. Даже дети вступили в бой; Бебер показал Лидии, как надо правильно бросать камень, напрягая руку не выше, а ниже локтя. Теперь сыпался каменный град — градины были огромной величины и падали с глухим стуком. И вдруг среди разъяренных женщин появилась Катрин — она тоже потрясала в воздухе кулаками, сжимая в каждом по половин-

ке кирпича, и, размахнувшись, изо всей силы швырнула их своими худенькими руками. Она не могла бы объяснить, почему она это делает, но она задыхалась, умирала от желания бить, уничтожать людей. Будь проклята эта страшная жизнь! Всему конец! Так поскорее бы! Хватит, довольно! Любовник избил и выгнал, мерзни всю ночь как бездомная собака, меси грязь на дорогах, не смей попросить у отца корку хлеба, потому что его самого мучает голод. Да и никогда лучше не будет, наоборот,— с тех пор как она себя помнит, все идет хуже и хуже. И Катрин разбивала кирпичи и бросала их с одной только мыслью — всех, всех уничтожить; в глазах у нее потемнело, она даже не видела, кому сворачивает челюсти.

Этьену, все еще стоявшему перед солдатами, чуть не пробили голову,— ухо у него вспухло; он обернулся и вздрогнул, поняв, что кирпич бросила рука обезумевшей Катрин; и, рискуя, что его убьют, он все не уходил, смотрел на нее. Впрочем, и многие, забывшись, стояли, опустив руки, и смотрели на захватывающую картину сражения. Муке вел счет ударам, как будто тут шла игра в кегли: «О-го, вот ловко щелкнул! А этому не повезло,— промазал!» Он посмеивался, подталкивал локтем Захария, а тот ссорился с Филоменой, давал затрещины Ахиллу и Дезире, которые хныкали и просились, чтобы отец посадил их на плечи,— им тоже хотелось посмотреть. Подальше, вдоль дороги толпились другие зрители. А наверху, у въезда в поселок, появился старик Бессмертный; он кое-как дотащился, опираясь на палку, и теперь стоял неподвижно, вырисовываясь на фоне желтоватого, какого-то ржавого неба.

Лишь только полетели кирпичи, штейгер Ришом снова встал между отрядом солдат и углекопами. Он умолял одних, заклинал других, совсем не думая о грозившей ему опасности, и впал в такое отчаяние, что крупные слезы покатились у него из глаз. В диком шуме, стоявшем вокруг, никто не мог различить его слов, лишь видно было, как дрожат пышные седые усы старика.

Град обломков падал все гуще,— вслед за женщинами принялись швырять кирпичи и мужчины. Жена Маэ заметила, что муж стоит позади других, в руках у него ничего нет, и смотрит он мрачным взглядом.

— Что с тобой, а? — крикнула она.— Неужто струсил? Неужто допустишь, чтобы твоих товарищей посадили в тюрьму?.. Эх, если бы не ребенок на руках, ты бы увидел!..

Эстелла, с визгом цеплявшаяся за шею матери, мешала ей присоединиться к Горелой и другим женщинам. А муж словно и не слышал ее упреков; тогда она ногой пододвинула к нему кирпичи.

— Ты что? Почему кирпичей не бросаешь? Или хочешь, чтобы я при всех плюнула тебе в лицо? Может, тогда духу наберешься!

Маэ, побагровев, принялся разбивать кирпичи и бросать обломки. Жена, стоя за ним, подхлестывала его, оглушала своими выкриками, натравливала: «Бей их! Бей!» — и судорожно прижимала к груди Эстеллу, словно хотела задушить ее. Маэ шаг за шагом подвигался вперед, все ближе к ружьям, взятым наизготовку.

За тучей осколков не видно было отряда солдат. К счастью для них, кирпичи ударялись слишком высоко, оставляя царапины на стене. Что делать? У капитана мелькнула мысль уйти. Отступить, показать спину? На его бледном лице вспыхнула краска стыда. Впрочем, это даже было и невозможно: стоит им двинуться, их растерзают. Брошенный кем-то осколок кирпича сломал козырек его кепи и сорвал лоскуток кожи со лба,— из ссадины потекли капли крови. Многих солдат ранило, и капитан чувствовал, что они вне себя, ибо инстинкт самозащиты заговорил в них с такой силой, что они могут внезапно выйти из повиновения. Сержант громко выругался от боли: ему чуть не вывихнули плечо,— кирпич ударился о него с глухим стуком, как валек о мокрое белье. Новобранца задели два раза: разбили ему большой палец на руке и так сильно ушибли правую коленку, что боль жгла его огнем; рекрут возмущался: долго ли еще терпеть такое нахальство? Один камень рикошетом попал ветерану в пах; лицо старого служаки сразу позеленело, ружье задрожало в тощих руках, и дуло вытянулось вперед. Трижды капитан готов был скомандовать: «Огонь!» — и не мог: страх сдавил ему горло. За несколько секунд, казавшихся бесконечными, в душе его произошла борьба: столкнулись его взгляды и долг военного, убеждения человека и понятия солдата. Дождь камней усилился, и капитан открыл рот, хотел крикнуть: «Огонь!» — но ружья вдруг заговорили сами,— сначала раздались три выстрела, потом пять, потом начался беглый огонь, а потом прозвучал одинокий выстрел, когда уже воцарилась тишина.

Все остолбенели. Солдаты обстреляли толпу, она застыла в изумлении, еще не веря случившемуся. Но вот понеслись душераздирающие крики, а горнист затрубил сигнал — прекратить огонь. Началась безумная паника, дробный топот ног, растерянное бегство по вязкой грязи.

Бебер и Лидия упали друг возле друга при первых трех выстрелах — девочке пуля попала в глаз, мальчику под левую ключицу. Лидию убило сразу,— она не шевельнулась. А он корчился в предсмертных судорогах, обхватив ее обеими руками, как будто хотел обнять ее, как обнимал в той темной норе, где они провели последнюю ночь своей жизни. И Жанлен, как раз в эту минуту прибежавший из Рекильяра с заспанным, припухшим лицом, видел в облаке порохового дыма, как Бебер обнял его маленькую возлюбленную и умер.

Пять других выстрелов уложили Горелую и штейгера Ришома,— пуля попала ему в спину в то мгновение, когда он, повернувшись лицом к товарищам, взывал к ним; он упал на колени, потом повалился на бок и захрипел, умирая с глазами, полными слез. Старухе Горелой пробило горло, она рухнула с глухим стуком, как упавшее сухое дерево, и, бормоча последние проклятья, захлебнулась кровью.

А затем раздался залп, который очистил место на сто шагов от схватки, скосив зевак, потешавшихся над ней. Пуля ударила Муке в рот и, размозжив ему голову, опрокинула к ногам Захария и Филомены; их детей обрызгало кровью убитого. В то же мгновение упала и Мукетта — две пули попали ей в живот. Она увидела, как солдаты прицеливались в Катрин, в безотчетном порыве доброго сердца бросилась к ней, крикнув: «Берегись!» — и тут же с громким криком упала навзничь. Подбежал Этьен, хотел приподнять ее, но она слабо махнула рукой: не надо, мне конец. Потом в горле у нее заклокотало, но она все улыбалась Этьену и Катрин, как будто радовалась, что, умирая, видит их вместе.

Казалось, все было кончено, ураган выстрелов пронесся далеко, пули щелкали даже по стенам домов в поселке. И вдруг раздался последний запоздалый выстрел.

Маэ, пораженный в сердце, перевернулся и упал ничком в лужу, черную от угольной пыли.

Жена в ужасе нагнулась над ним:

— Что ты, старик? Вставай. Ты ведь так, ничего, да?

Эстелла связывала ей руки,— матери пришлось взять ее под мышку, чтобы повернуть голову мужа.

— Ну скажи, что с тобой! Где больно?

Глаза у него закатились, изо рта текла кровавая пена.

Жена поняла, что он мертв. Тогда она села прямо в грязь и, держа ребенка под мышкой, как сверток, каким-то тупым взглядом уставилась на убитого мужа.

Итак, шахта была свободна. Капитан, весь бледный, снял и снова надел свое кепи, разодранное осколком кирпича, стараясь в эту минуту крушения своей жизни сохранить бесстрастное спокойствие. Солдаты в угрюмом молчании перезарядили ружья. В окне приемочной показались испуганные лица Негреля и Дансара; за ними стоял Суварин; между бровей у него залегла глубокая складка, как будто навязчивая идея, преследовавшая его, грозной метой перечеркнула его лоб. А в другой стороне, на краю плато, все так же неподвижно стоял старик Бессмертный; опираясь одной рукой на палку, другую он приставил к глазам щитком, чтобы лучше видеть, как убивают его близких. Раненые выли, мертвые постепенно холодели, застыв в неловких позах на размокшей в оттепель зем-

ле; испачканные жидкой грязью, они лежали между черными комьями угля, прорвавшими грязную снежную пелену. То была несказанно скорбная картина: трупы голодных, исхудавших людей, такие маленькие, плоские, а среди них околевшая лошадь, темная, чудовищная, горой раздувшаяся туша.

Этьена миновали пули. Он все ждал минуты смерти, не отходя от Катрин, которая бросилась на землю, разбитая усталостью и душевной мукой.

Отслужив раннюю обедню, возвратился аббат Ранвье.

Воздевая руки к небу, он с пророческим пафосом призывал на убийц гнев божий. Он возвещал скорое пришествие царства справедливости и уже недалекое истребление богачей огнем небесным, ибо они совершают величайшее из всех содеянных ими преступлений — убивают трудящихся и обездоленных мира сего...

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Выстрелы, раздавшиеся в Монсу, докатились до Парижа и отозвались там грозным эхом. Четыре дня кряду все оппозиционные газеты возмущались, помещали на первой полосе подробные сообщения об этом ужасном событии: двадцать пять человек ранено, четырнадцать убито, из них двое детей и три женщины; несколько человек арестовано. Левак стал своего рода знаменитостью: на допросе у следователя он будто бы дал ответ, исполненный величия античных героев. Империя, поражennая этими пулями, попавшими в ее тучное тело, выказывала подчеркнутое спокойствие всемогущей власти, не отдавая себе отчета в том, что ее раны весьма опасны. Ах, оставьте, все так просто,— что-то расклеилось в далеком угольном краю Франции! Случай прискорбный, но произошло это так далеко от Парижа, а ведь именно Париж создает общественное мнение. Все скоро забудется. Компания получила официальное предписание замять дело и покончить с затянувшейся забастовкой, ибо она становилась социальной опасностью.

И вот в среду утром в Монсу прибыли три члена правления. Маленький городок, в котором обыватели до тех пор не дерзали радоваться недавней бойне и все хватались за сердце, вдруг вздохнул с облегчением и возликовал, почувствовав себя спасенным. А тут как раз исправилась погода, засияло солнце. Настали теплые дни, как оно и подобает в конце февраля. На кустах сирени зазеленели почки. В обширном особняке, где помещалась контора Компании, отворились ставни, дом словно ожил, оттуда шли теперь приятнейшие слухи — говорили, что приезжие господа чрезвычайно огорчены прискорбной катастрофой и поспешили на помощь заблудшему населению рабочих поселков. Теперь, когда удар был нанесен, удар, конечно, более сильный, чем правление того желало, его посланцы, не жалея сил, выполняли миссию спасителей, принима-

ли запоздалые, но превосходные меры. Прежде всего были уволены углекопы, привезенные из Бельгии, и по поводу этой огромной уступки своим рабочим Компания подняла шумиху. Затем по ее просьбе убрали войска, охранявшие копи, поскольку забастовщики, потерпевшие поражение, теперь были не страшны. Именно Компания и добилась того, что исчезновение часового, стоявшего у Ворейской шахты, окружили молчанием. Обшарили весь край и, не найдя ни ружья, ни трупа, решили считать пропавшего солдата дезертиром, хотя и подозревали, что он стал жертвой преступления. Да и во всем власти старались затушевать недавние события, дрожа от страха за будущее, считая опасным признать неодолимой ярость толпы, направленную против обветшалых устоев старого мира. Впрочем, труды миротворцев не мешали им успешно вести и чисто коммерческие дела: в городе видели, как Денелен несколько раз приезжал в Монсу, в контору, где он встречался с членами правления и с г-ном Энбо. Переговоры о покупке Вандамских копей продолжались, сведущие люди утверждали, что Денелен готов принять условия Компании.

Но особенно взволновали весь край большие желтые афиши, которые по приказу правления были расклеены повсюду.

Там было напечатано крупными буквами следующее немногословное воззвание:

«Рабочие Монсу! Мы не хотим, чтобы заблуждения, прискорбные последствия коих вы недавно видели, лишили средств к существованию людей рассудительных и благонамеренных. Поэтому в понедельник утром мы откроем все шахты, а когда работа возобновится, мы тщательно и с полной благожелательностью рассмотрим создавшееся положение и те меры, кои способствовали бы его улучшению. Мы сделаем все, что будет справедливо и возможно сделать».

В течение утра перед афишами прошли все десять тысяч углекопов. Никто не произнес ни слова; многие покачивали головой, у других же ни один мускул на лице не дрогнул, и, прочитав, они уходили обычным своим неторопливым шагом.

До сих пор поселок Двести Сорок упорствовал в своем угрюмом сопротивлении. Кровь расстрелянных, обагрившая черную грязь у Ворейской шахты, казалось, преграждала к нему дорогу остальным. Работу возобновили человек десять — Пьерон и подобные ему лицемеры, которых проводили мрачным взглядом, не сделав, однако, ни одного жеста, ничем не пригрозив им. Афиши, наклеенные на стенах церкви, встречены были в поселке с глухим недоверием. В них ни слова не говорилось об уволенных. Что ж, значит, Компания не желает принять их обратно? И боязнь преследований, братское чувство, побуждавшее людей восставать против

увольнения наиболее скомпрометированных, заставляли всех углекопов упорствовать. Тут что-то неладно, надо посмотреть, как дело повернется, пусть хозяева объяснятся начистоту. Гнетущее молчание царило в шахтерских домишках, даже голод был теперь людям не страшен,— пусть хоть все перемрут, раз ветер смерти пронесся над кровлями.

Но во всем поселке самым темным и немым по-прежнему был домик Маэ, где всех придавила тяжкая скорбь о погибших. С тех пор как жена Маэ проводила покойника мужа на кладбище, она не раскрывала рта. После сражения она позволила Этьену привести в дом Катрин, всю испачканную грязью, еле живую. Раздевая ее при Этьене, она увидела у нее на рубашке кровавые пятна и сначала подумала, что и дочь вернулась, раненная пулей. Но вскоре мать поняла, что в этот ужасный день пережитых потрясений для Катрин пришла наконец пора зрелости. Нечего сказать, хорош подарок! Теперь девка может рожать детей для того, чтобы жандармы их потом расстреливали! И мать ни словом не перемолвилась с дочерью, да, впрочем, не разговаривала она и с Этьеном. Он остался в доме, не беспокоясь о том, что его могут арестовать, и, как прежде, спал теперь на одной кровати с Жанленом; ему до такой степени тошно было возвращаться во мрак Рекильярской шахты, что он предпочитал ей тюрьму: его пробирала дрожь при мысли о том, как ужасно было бы прятаться в подземной тьме после всех этих смертей, как он боится, безотчетно боится солдатика, который спит там вечным сном под обвалившимися глыбами. Он теперь даже мечтал о тюрьме как об убежище в буре поражения; но его и не потревожили, и он проводил мучительные часы, не зная, чем заняться, как утомить свое тело. Вдова Маэ, казалось, не замечала Этьена, лишь иногда смотрела на него и на дочь злобным взглядом и словно спрашивала, зачем они тут.

Вновь все спали чуть ли не вповалку; старик Бессмертный занимал ту постель, где прежде спали малыши, а их укладывали вместе с Катрин, которую теперь не толкала в бок своим горбом бедняжка Альзира. Вдова, ложась спать, чувствовала, как опустел ее дом, как холодна постель, слишком широкая для нее одной. Напрасно она брала к себе Эстеллу, чтобы заполнить пустоту, ребенок не заменял погибшего, и вдова часами проливала безмолвные слезы. А дни потекли как прежде: все так же в доме голодали и все не приходила избавительница смерть; они то тут, то там получали милостыню, которая оказывала несчастным плохую услугу, ибо только длила их страдания. Ничего не изменилось в их прозябании, только семья осиротела.

На пятый день, к вечеру, Этьен, которому невмоготу было смотреть на безмолвную вдову, вышел из дому и побрел по моще-

ной улице. Томительное бездействие постоянно побуждало его двигаться, идти куда-то, и он совершал долгие прогулки, шагал, понурив голову, бессильно свесив руки, и все думал об одном и том же. С полчаса шел он так и в тот день и вдруг, почувствовав мучительную неловкость, догадался, что товарищи вышли за порог и смотрят на него; последние остатки прежней его популярности развеялись после расстрела,— теперь стоило Этьену выйти на улицу, жители поселка с ненавистью смотрели ему вслед. Он поднял голову, увидел угрожающие лица мужчин и женщин, раздвигавших занавески на окнах; и, чувствуя пока еще немые их обвинения, еще сдержанный гнев, горевший в этих широко раскрытых глазах, запавших от голода и слез, он горбился, шел неровной походкой, спотыкался. А за его спиной все больше недругов провожало его пристальным взглядом, полным немого упрека. Этьену стало страшно: а что, если возмутится весь поселок, все выйдут из домов и закричат о своих муках? Он задрожал и поспешил возвратиться домой. Но там его ждала тяжелая сцена, которая привела его в полное отчаяние. Старик Бессмертный сидел, не шевелясь, у нетопленой печки, словно прикованный к стулу; таким он стал со дня бойни: две соседки нашли его тогда простертым на земле, возле него лежала его сломанная палка,— он рухнул, как старое дерево, разбитое грозой. Когда Этьен вошел, Ленора и Анри, пытаясь заглушить свой голод, яростно выскребывали ложками донышко старой кастрюли, в которой накануне варили капусту; мать, положив Эстеллу на стол, стояла, выпрямившись во весь рост, грозила кулаком Катрин:

— А ну повтори, проклятая! Повтори, что ты брякнула!

Катрин сказала, что она хочет вновь работать на Ворейской шахте. С каждым днем ее все больше мучила мысль, что она не зарабатывает на хлеб и мать лишь терпит ее в своем доме, будто бесполезное, всем мешающее животное. Если б она не боялась злых выходок Шаваля, то уже со вторника спустилась бы в шахту. Сейчас она повторила, заикаясь:

— Да что ж делать-то! Ведь нельзя прожить без работы. Пойду на шахту, так хоть хлеб у нас будет...

Мать оборвала ее:

— Попробуй только! Кто из вас первый пойдет туда работать,— удушу! Своими руками убью!.. Нет, это чересчур! Отца убили, а теперь на детях наживаться будут, заставят детей горб гнуть! Нет, хватит! Пускай лучше вас всех в гроб уложат и на погост снесут, как отца унесли.

И долгое ее безмолвие сменилось потоком причитаний, в которых прорвался ее гнев. Хороша подмога, нечего сказать! Катрин, дай бог, заработает тридцать су в день. Ну, добавить еще двадцать

су — заработок Жанлена, если господа начальники смилостивятся и дадут этому бандиту какую-нибудь работу. Всего, значит, пятьдесят су. А в доме семь ртов! Малыши только и умеют что есть. Как галчата, рты разевают! У деда, должно быть, в мозгах какое-то повреждение сделалось, когда он упал, и теперь он вроде как дурачок. А может, очень расстроился, как увидел, что солдаты в товарищей его стреляют.

— Верно, старый, я говорю? Совсем они вас доконали. С виду-то вы еще крепкий, а только никуда не годитесь.

Бессмертный смотрел на нее угасшими глазами, не понимая ее слов. Целыми часами он сидел теперь, уставясь в одну точку, ума у него хватало лишь на то, чтобы плевать не на пол, а в миску с золой, поставленную «для чистоты» рядом с ним.

— Насчет пенсии старику еще ничего не решили,— продолжала вдова.— Да наверняка откажут из-за нашей непокорности... Нет, я же говорю: только горя и жди от этих злодеев.

— Все-таки,— осмелилась вставить слово Катрин,— они обещали... В афише сказано...

— Убирайся ты со своими афишами!.. Обещали! Опять приманка! Поймают в ловушку и будут кровь из нас высасывать. Что им стоит теперь добренькими притворяться? Ведь пулями они нас уже угостили!

— Мама, а куда же нам деваться? Где жить будем? В поселке нас, конечно, не оставят.

Мать ответила неопределенным и грозным жестом. Куда они пойдут? Она этого не знала и избегала думать об этом, боясь сойти с ума. Куда-нибудь пойдут в другое место. Скрежет ложек о кастрюлю стал в эту минуту невыносимым, и, бросившись к Леноре и Анри, мать надавала им подзатыльников. Дети заревели, а тут еще ушиблась и завопила Эстелла, которая ползала на четвереньках. Мать успокоила ее шлепком: вот хорошо бы, если б девчонка до смерти убилась! И мать заговорила об Альзире, пожелала всем своим детям такого же счастья. Потом вдруг разрыдалась, уткнувшись головой в стену.

Этьен стоял молча, не смея вмешаться. С ним в доме теперь не считались, даже дети недоверчиво сторонились его. Но от слез этой несчастной женщины у него сердце переворачивалось, и он пробормотал:

— Ну, полно, полно! Мужайтесь! Мы постараемся как-нибудь выкарабкаться.

Вдова словно не слышала его, она причитала теперь тихим протяжным голосом:

— Ах, горе горькое! Да что же это такое! Ведь все-таки жили мы до этих всех несчастий! Хоть и ели сухую корку, а все-таки

были все вместе... Да как это все случилось, боже ты мой! Что мы такое сделали? За какие грехи один в могиле, а другим хочется только одного: поскорее лечь в гроб! Ведь это правда, что нас, как лошадей, запрягли — тащи, кляча, воз, надрывайся. И до чего ж несправедливо на земле устроено: нам голод, мученье, а богачам сладкое житье. Мы для них богатство множим, а сами и надеяться не смеем отведать ничего хорошего. А когда надежды нет — и жить не хочется. Так дальше тянуться не могло. Нужно было передохнуть... Но если б мы знали, что случится! Кто бы подумать мог, что такая беда стрясется за то, что мы искали справедливости!

Она тяжело вздыхала, голос у нее срывался от горьких, мучительных слез:

— Да ведь всегда подвернутся умники и начнут сулить: все уладится, устроится, надо только постараться... Вот и пошла у нас голова кругом. Очень намаялись мы,— как тут не поверить сладким небылицам! Я вот и размечталась, как дура. Все думала: придет такая жизнь, что все люди будут жить в дружбе меж собой. Вознеслась прямо в небеса! А потом как с неба-то на землю в грязь упадешь да спину себе переломишь, поймешь — все это неправда, что мы вообразили себе. Ничего этого нет и не может быть на нашей грешной земле. А есть все та же нищета... Нищеты сколько хочешь, да еще в придачу стреляют в бедняков!

Этьен слушал эти сетования, и каждая ее слеза вызывала у него укоры совести. Он не знал, что сказать, как успокоить вдову Маэ, разбившуюся в ужасном своем падении с высот идеала. Она вышла на середину комнаты и, глядя на Этьена, в бешенстве закричала, говоря теперь с ним на «ты»:

— Так как же? Ты всем нам головы заморочил, а теперь велишь вернуться в шахту?.. Я тебя ни в чем не упрекаю. А только будь я на твоем месте, я бы умерла от стыда, что столько зла причинила товарищам!

Этьен хотел было ответить, но раздумал, только пожал плечами, отчаявшись найти нужные слова. Зачем пускаться в объяснения, которых она в скорби своей все равно не поймет? И с жестокой душевной болью он ушел искать забвения в одиноких скитаниях по дорогам.

Но опять как будто весь поселок ждал его — мужчины у дверей, женщины у окон. Лишь только он появился, зарокотали голоса, толпа увеличилась. Поток сплетен, вздувавшийся четыре дня, вдруг обрушил на него лавину проклятий. Ему грозили кулаками; матери с презрением указывали на него своим детям, старики, поглядев на него, плевались. Вслед за поражением наступил крутой поворот, роковое крушение популярности, лютая ненависть, исходившая из перенесенных бесплодных страданий. Несчастный рас-

плачивался за голод и смерть товарищей. Подходя с Филоменой к дому матери, Захарий толкнул Этьена, спустившегося с крыльца, и злобно ухмыльнулся:

— Гляди-ка, растолстел, краснобай! Кто башку свою сложил, а кто чужой бедой кормится!

Уже и жена Левака выскочила на улицу вместе с Бутлу. Она заговорила о Бебере, о своем сыне, убитом солдатской пулей, она вопила:

— Да, есть такие подлецы, что посылают на верную смерть детей. Пусть-ка этот негодяй сам ляжет в могилу, а мне отдаст моего мальчика! — Она забыла про арестованного мужа, так как не страдала от его отсутствия, ведь ей в утешение остался Бутлу. Однако ей пришла мысль, что следует о нем поплакать, и она продолжала пронзительным голосом: — Иди ты отсюда! Ишь, мерзавец, прогуливается, а честных людей в тюрьме держат!

Этьен свернул было в сторону, чтобы избавиться от нее, но натолкнулся на жену Пьерона, прибежавшую через садик. Распутная бабенка радовалась смерти своей матери, ибо опасалась, что за исступленные выпады старухи отвечать придется ее родным; нисколько не оплакивала она и свою падчерицу: девчонка — сущая потаскушка, хорошо, что избавилась от нее. Но теперь мачеха ударилась в слезы, подлаживаясь к соседкам и желая помириться с ними.

— А моя мать? — кричала она.— Где она, скажи? А дочка где? Люди видели, как ты за их спинами прятался... Вот пули и угодили в них вместо тебя!

Что делать? Придушить жену Пьерона и других женщин? Вступить в драку со всем поселком? У Этьена мелькнула такая соблазнительная мысль. Кровь стучала у него в висках, он мысленно называл товарищей скотами, негодовал,— они так неразвиты, так невежественны, что сердятся на него за вполне логический ход событий. Какие глупцы! Противно было и собственное бессилие: ведь он не мог вновь покорить их. Он ускорил шаг, как будто и не слышал оскорблений. А вскоре отступление превратилось в бегство,— в каждом доме его встречали свистом, улюлюканьем; его упорно преследовали по пятам; все поносили его, и хор проклятий, исполненных ненависти, звучал все громче. Теперь его называли эксплуататором, убийцей, кричали, что он единственный виновник их несчастий. До самого выезда из поселка он бежал как сумасшедший, бледный, растерянный, а за ним вдогонку с воплями неслась толпа преследователей. Наконец на большой дороге многие отстали, однако некоторые, особенно упорные, бежали за ним до самого конца спуска, и тут, около пивной Раснера, им встретилась группа углекопов, возвращавшихся с Ворейской шахты.

В этой кучке были Мук и Шаваль. После смерти своей дочери Мукетты и своего сына Муке старик продолжал работать конюхом, и никто не слышал от него ни единого слова скорби, ни единой жалобы. Но тут вдруг, завидев Этьена, он задрожал от ярости, слезы потекли из его глаз, а из черного рта с кровоточащими деснами, изъеденными табачной жвачкой, полилась отрывочная бессмысленная ругань:

— Сволочь! Свинья! Гадина! Погоди, ты за моих бедных ребят поплатишься, я тебя ухлопаю.

Подобрав с земли кирпич, он разбил его и швырнул в Этьена обе половинки.

— Валяй! Валяй! Прикончим его! — закричал Шаваль и засмеялся, возбужденный, обрадованный этой мыслью.— Каждому свой черед... Приперли тебя к стенке, паршивец?

И Шаваль тоже принялся кидать в Этьена камнями. Поднялся дикий рев, все стали хватать кирпичи, разбивали их и бросали в Этьена, норовя проломить ему голову, так же как стремились они недавно перебить солдат.

Этьен был ошеломлен и растерянно стоял перед ними, даже и не думая бежать, и все пытался успокоить их словами. Вспомнились ему прежние его речи, вызывавшие когда-то горячее восхищение. Он повторял фразы, которыми опьянял толпу слушателей в те дни, когда держал их в своих руках, словно покорное стадо; но власть его умерла, на его речи отвечали градом камней; ему сильно ушибли левую руку у плеча, он попятился и оказался в большой опасности, когда его притиснули к фасаду пивной.

Раснер уже несколько минут стоял у дверей.

— Войди! — коротко сказал он.

Этьен колебался: тяжело было укрываться у Раснера.

— Да входи же! Я поговорю с ними.

Смирившись, Этьен вошел и спрятался в углу, а кабатчик все стоял у двери, загораживая ее своей широкой тушей.

— Ну довольно, друзья! Опомнитесь!.. Вы хорошо знаете, что я-то вас никогда не обманывал. Я всегда призывал к спокойствию, и если бы вы меня послушали, вы бы, конечно, не дошли до такого положения, в каком теперь очутились.

Покачивая плечами и выпятив толстое брюхо, он говорил долго; фразы текли одна за другой, легко, свободно и успокаивали, словно душ из теплой воды. Возвратился прежний его успех, он вновь завоевал популярность и притом без всяких усилий, как будто товарищи и не освистывали его месяц тому назад, не называли его подлым трусом. Теперь он вновь слышал одобрительные возгласы: «Правильно! Верно!» Все были на его стороне. «Вот как надо говорить!» Когда он кончил, раздался гром рукоплесканий.

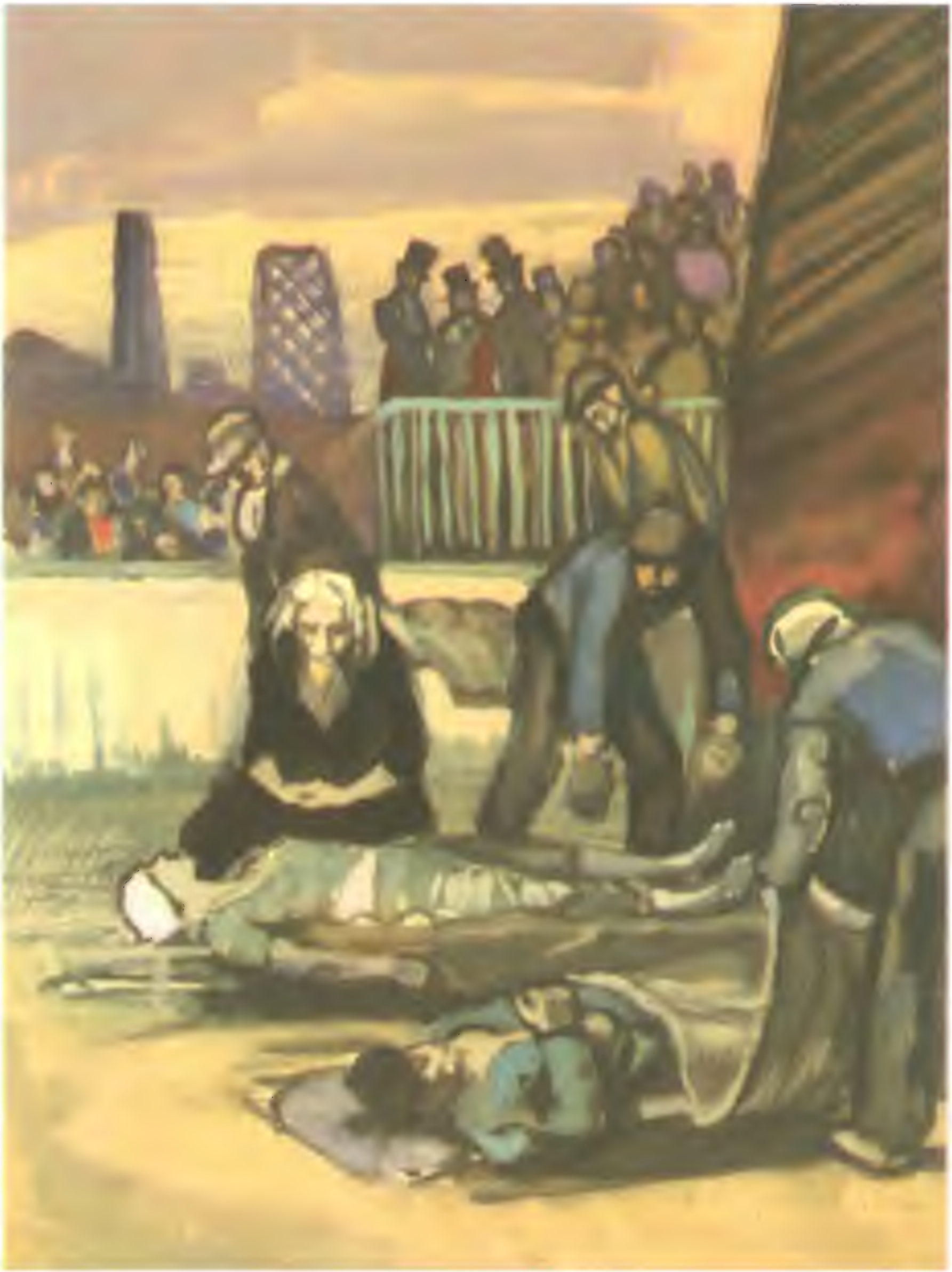
А позади него замирал в тоске Этьен, горечь переполняла его сердце. Ему вспомнилось предсказание Раснера на сходке в лесу,— ведь он тогда грозил, что и Этьена ждет неблагодарность толпы. Ах, сколько в ней глупости и жестокости! Как подло она забывает обо всем, что сделано для нее! Это какая-то слепая стихия, которая постоянно сама себя пожирает... Как не возмущаться, что эти скоты вредят собственным своим интересам! Но за гневом в душе Этьена таилось отчаяние, вызванное крушением его надежд, трагическим концом его честолюбивых планов. Да что же это? Неужели все кончено? Вспомнилось, что в лесу, под буками, он чувствовал, как у трех тысяч человек сердце бьется в унисон с его сердцем. В тот день он обладал великой популярностью; весь этот народ принадлежал ему, Этьен был его властителем и хорошо понимал это. Безумные мечты опьяняли его тогда: Монсу у его ног, а там, вдали, Париж; может быть, он станет депутатом и произнесет сокрушительную речь против буржуа; это будет первая речь, произнесенная рабочим с парламентской трибуны. А теперь всему конец! Он очнулся от своих грез, жалкий и презренный,— народ изгнал его, забросал камнями.

Послышался громкий голос Раснера:

— Никогда насилие не приводило к добру. В один день мир не переделаешь. И кто обещает вам переменить все сразу, тот либо болтун, либо мошенник.

— Верно! Верно! — кричала толпа.

Кто же виноват? Этот вопрос, которым задался Этьен, окончательно придавил его. Неужели правда, что он виноват в бедствиях, от которых жестоко страдает и сам,— неужели по его вине люди живут сейчас в невероятной нищете, а иные расстреляны? Неужели по его вине у этих изможденных, исхудавших женщин и детей нет хлеба? Однажды вечером, перед катастрофой, эта страшная мысль возникла у него. Но тогда стихийная сила подняла его на своей волне, захватила и повлекла вместе с товарищами. Никогда, кстати сказать, он не руководил ими,— они сами вели его, заставляли делать то, что он не решился бы сделать, если б его не подталкивал людской поток, устремившийся по дорогам позади него. Каждый акт насилия бывал для Этьена ошеломляющей неожиданностью — ведь он и не предвидел и не хотел никаких насилий. А мог ли он предполагать, что его верные почитатели когда-нибудь побьют его камнями? Бешеные! Они обвиняли его в том, что он сулил им сытую жизнь и безделье. И в этом стремлении оправдать себя, в рассуждениях, которыми он старался рассеять укоры совести, скрывалось глухое беспокойство, что он не оказался на высоте своей задачи, сомнения недоучки, всегда мучившие его. Он чувствовал, что мужество его иссякло, сердцем он не был с



«Жерминаль».

товарищами,— он боялся их, боялся народа, этой огромной массы, этой слепой, непреодолимой силы, подобной силе природы, сметающей все, не признающей никаких правил и теорий. Мало-помалу она становилась для него чужой: его отдаляла от него брезгливость, изощрившиеся вкусы, постепенно развившееся стремление всего его существа подняться выше — к другому классу.

И в эту минуту голос Раснера заглушили восторженные вопли:

— Да здравствует Раснер! Молодец Раснер! Только ему и можно верить!

Кабатчик закрыл дверь; толпа рассеялась. Бывшие соперники молча переглянулись и оба пожали плечами. В конце концов они выпили по кружке пива.

В этот самый день в Пиолене устроили званый обед в честь помолвки Негреля и Сесиль. Грегуары еще накануне приказали натереть пол в столовой, выколотить пыль из мягкой мебели в гостиной. Мелани, царившая в кухне, надзирала за жарким, готовила соусы, запах которых поднимался до чердака. Решено было определить кучера Френсиса в помощь Онорине,— пусть подает на стол. Жене садовника назначили мыть посуду, а самому садовнику — отворять ворота. Еще никогда в этом большом и богатом патриархальном доме не было такого парадного пиршества.

Все прошло первосходно. Г-жа Энбо была очаровательна и ласково улыбнулась Негрелю, когда нотариус из Монсу галантно предложил выпить за счастье будущих супругов. Г-н Энбо был тоже очень любезен. Его веселый вид поражал гостей; ходили слухи, что он опять вошел в милость у правления и за энергичное подавление забастовки скоро будет представлен к командорскому кресту ордена Почетного легиона. Все избегали говорить о последних событиях, но во всеобщей радости чувствовалось торжество: обед превращался в официальное празднование победы. Наконец-то пришло избавление, можно спокойно есть, спать! Был брошен скромный намек на погибших, чья кровь еще так недавно обагрила грязь у Ворейской шахты,— кто-то сказал, что это был печальный, но необходимый урок, и все умилились, когда Грегуары добавили, что теперь каждый обязан помочь рабочим поселкам залечить раны. Супруги Грегуары обрели прежнее свое благодушие, проща-ли бедных своих рабочих и твердо надеялись, что углекопы будут усердно трудиться в глубине шахт, подавая пример вековой покорности. Важные персоны городка Монсу, теперь не дрожавшие от страха, соблаговолили признать, что вопрос о наемном труде требует весьма осторожного подхода и изучения. За жарким выяснилось, что победа одержана полная: г-н Энбо прочел письмо епископа, сообщавшее о переводе аббата Ранвье в другой приход. Вся местная буржуазия с негодованием осуждала поведение этого свя-

щенника, называвшего солдат убийцами. И когда подали десерт, нотариус решительно выказал себя вольнодумцем.

На обеде присутствовали Денелен с дочерьми. Среди всеобщего веселья он старался скрыть свое уныние,— ведь он был разорен. Как раз в тот день утром он подписал акт о продаже Вандамских копей Компании Монсу. Его припёрли к стене, схватили за горло, и ему пришлось подчиниться всем требованиям приехавших членов правления,— наконец-то они завладели добычей, которую так долго подстерегали. Денелен с трудом выторговал у них сумму, необходимую ему для расплаты с кредиторами. В последнюю минуту он даже принял как неожиданную удачу предложение Компании оставить его на конях в должности инженера,— он смиренно согласился надзирать в качестве наемного служащего за той самой шахтой, которая поглотила все его состояние. Уже раздавался похоронный звон, возвещавший гибель малых единоличных предприятий; вскоре должны были один за другим исчезнуть с арены боя мелкие хозяева, проглоченные ненасытным чудовищем — капитализмом; их захлестывала поднимавшаяся волна крупных акционерных обществ.

Денелену, и только ему одному, пришлось оплачивать убытки, причиненные забастовкой; он хорошо чувствовал, что, поднимая бокалы в честь орденской розетки г-на Энбо, сотрапезники пьют за разорение владельца Вандамских копей; немного утешала его только редкостная стойкость дочерей: Люси и Жанна, такие очаровательные в прошлогодних переделанных платьях смеясь встречали случившуюся беду, так как обладали мальчишеским задором и презирали деньги.

После обеда, когда перешли в гостиную пить кофе, г-н Грегуар отвел своего кузена в сторонку и поздравил его с мужественным решением.

— Ничего не поделаешь! Единственная твоя вина в том, что ты весьма неосторожно вложил в Вандамскую шахту миллион, который выручил за свой пай в Компании Монсу. Сколько тебе пришлось помучиться с этими дьявольскими работами, а миллион твой растаял, тогда как мои акции лежат себе спокойно в несгораемом шкафу и по-прежнему кормят меня, хоть я ничего и не делаю, да еще будут кормить и моих детей, и моих внуков.

II

В воскресенье, уже затемно, Этьен, крадучись, вышел из поселка. С чистого неба, сверкавшего россыпью звезд, на землю падал синий сумеречный свет. Этьен спустился к каналу и медленно

побрел по берегу в сторону Маршьена. Он любил бродить по этой заросшей низкой травкой дороге, проложенной на протяжении двух лье ровно, как по линейке, вдоль геометрически ровной полосы полноводного канала, похожего на длинный расплавленный слиток серебра.

Никогда он не встречал тут по вечерам прохожих. И вдруг, к его досаде, навстречу ему попался какой-то человек. При бледном свете звезд двое любителей одиноких прогулок узнали друг друга, лишь когда сошлись вплотную.

— Ах, это ты! — проговорил Этьен.

Суварин, не отвечая, кивнул головой. Мгновение они постояли, а потом оба пошли рядом по направлению к Маршьену. Каждый, казалось, погружен был в свои мысли, позабыв о спутнике.

— Ты читал в газетах, какой успех имел Плюшар в Париже? — спросил наконец Этьен.— Когда кончилось собрание в Бельвиле, публика ждала его на улице у выхода, ему устроили овацию... Вон как взлетел! А все жаловался, что говорить не может, охрип. Ну, теперь он далеко пойдет.

Машинист пожал плечами. Он презирал краснобаев, ловких молодцов, которые избирают своей профессией политику, как другие избирают адвокатуру, с единственной целью: получать доходы от своего краснобайства.

Этьен в то время увлекался Дарвином. Отрывочное знакомство с учением Дарвина он получал из грошовых брошюр, где оно излагалось вкратце и весьма упрощенно; на основе прочитанного и плохо понятого он составил себе революционную идею борьбы за существование, в которой тощие пожирают тучных, и народ, полный могучих сил, уничтожит худосочную буржуазию. Но Суварин, разгорячившись, обрушился на глупость социалистов, которые почитают Дарвина, меж тем как в своем учении Дарвин — апостол неравенства, и его пресловутый естественный отбор хорош только для философии аристократизма. Однако Этьен упрямо стоял на своем и, принявшись рассуждать, выразил тревожившие его мысли в такой гипотезе: допустим, что старого общества уже нет, его смели начисто. Прекрасно! Но что, если и новый мир будет постепенно заражаться той же несправедливостью, какая царила прежде: ведь одни родятся заморышами, а другие — здоровяками; одни окажутся ловчее, умнее других, приберут все к рукам и окрепнут, а другие, глупые и ленивые, опять станут рабами. Возмущенный нарисованной Этьеном картиной неизбывной нищеты, машинист с яростью крикнул, что, если справедливость для человечества невозможна, пусть тогда человечество погибнет. Сколько ни будет прогнивших форм человеческого общества, все их надо уничтожать,— до тех пор, пока не будет уничтожен последний человек.

После этих слов настало молчание.

Опустив голову, Суварин шел по мягкой траве и, всецело занятый своими мыслями, ступал у самого края берега со спокойной уверенностью лунатика, пробирающегося во сне по крыше вдоль водосточного желоба. Вдруг он вздрогнул, словно ушибся о камень. Он вскинул глаза и, обратив к Этьену бледное как полотно лицо, тихо сказал:

— Я тебе не рассказывал, как она умерла?

— Кто?

— Моя жена. Там, в России.

Этьен сделал неопределенный жест. Срывавшийся голос Суварина и его внезапная потребность открыть кому-то свою душу казались удивительными в этом человеке, обычно таком бесстрастном, стоически переживавшем свои страдания и далеком ото всех. Этьен знал только то, что у Суварина была возлюбленная и что ее повесили в Москве.

— Дело у нас не шло,— начал Суварин, устремив глаза на светлую ленту канала, просвечивавшую сквозь синеватую колоннаду высоких деревьев.— Мы провели две недели в глубокой норе, подводя мину под железнодорожное полотно; но взорвался не царский поезд, а обыкновенный пассажирский... Аннушку арестовали. Она каждый день приносила нам хлеб, переодевшись крестьянкой. Она и зажгла фитиль бомбы, потому что мужчину скорее могли заметить... Судебный процесс занял шесть долгих дней, я все время был в зале суда, затерявшись среди публики...

У Суварина вдруг перехватило горло, он закашлялся, как будто поперхнулся.

— Два раза я чуть было не бросился к ней, перепрыгивая через головы зрителей. Зачем? Одним человеком, то есть одним бойцом, стало бы меньше. И когда я улавливал взгляд ее больших глаз, я читал в них: «Нельзя».

Он опять закашлялся.

— Был я на площади... в последний день. Шел сильный дождь, неловкие палачи растерялись, им мешал этот ливень. Они потратили двадцать минут на то, чтобы повесить четырех приговоренных; веревка оборвалась, им не сразу удалось прикончить четвертого... Аннушка все стояла и ждала. Она не видела меня, искала меня взглядом в толпе. Я взобрался на каменную тумбу, тогда она меня увидела, и мы уже не отрывали друг от друга глаз. И когда ей накинули на шею петлю, она все еще смотрела на меня... Я обнажил голову, взмахнул шапкой... Потом ушел.

Вновь настало молчание. Канал, словно белая дорога, уходил куда-то в бесконечность.

Все так же глухо звучали шаги Этьена и Суварина; оба, каза-

лось, опять замкнулись в себе. На горизонте бледная полоса воды как будто врезалась в небо светлым пролетом.

— Это судьба покарала нас,— продолжал Суварин жестким тоном.— Мы виноваты были в том, что любили друг друга... Да, хорошо, что она умерла... На ее крови вырастут герои, а мое сердце стало неуязвимым. Никого теперь нет у меня: ни родных, ни жены, ни друга... Рука не дрогнет в тот день, когда придется отнять жизнь у других или отдать свою собственную жизнь.

Этьен остановился, его знобило от ночного холода.

Ничего не ответив Суварину, он сказал:

— Мы далеко ушли, давай повернем обратно.

Оба медленно пошли обратно, к Ворейской шахте, и, сделав несколько шагов, Этьен спросил:

— Читал ты новые афиши?

Утром в тот день везде расклеили большие желтые афиши. Компания изъяснялась в них более определенно и более миролюбиво, обещала принять обратно на работу всех, кто спустится завтра в шахту. Все будет позабыто, даже самые скомпрометированные получат прощение.

— Да, читал,— ответил машинист.

— Ну и как? Что ты об этом думаешь?

— Думаю, что все кончено... Стадо вернется в загон. Все вы трусы!

Этьен стал взволнованно оправдывать товарищей: в одиночку человек еще может храбриться, но толпа людей, умирающих от голоду, бессильна. Шаг за шагом они подошли к Ворѐ, и, глядя на черное скопище надшахтных строений, Этьен поклялся, что сам он никогда больше не спустится в шахту, однако готов извинить тех, кто спустится. Затем спросил, верны ли слухи, что плотники не успели отремонтировать как следует сруб шахтного ствола. Как обстоит дело? Правда ли, что под давлением породы стенки сруба так сильно выпятились внутрь, что одно из отделений клети при спуске трется о них на протяжении более пяти метров? Суварин, опять став молчаливым, ответил очень коротко. Вчера было его дежурство, клеть действительно терлась о стенки сруба, приходилось вдвое увеличивать скорость, чтобы пройти этот участок. Однако начальники на все сообщения по поводу сруба раздраженно отвечают одно и то же: нужно начать добычу угля, а сруб укрепят как следует позднее.

— А что, если его разорвет? — пробормотал Этьен.

Глядя на шахту, смутно вырисовывавшуюся в темноте, Суварин спокойно заметил:

— Если разорвет, товарищи узнают об этом,— ведь ты советуешь им спуститься в шахту.

На колокольне в Монсу пробило девять часов. Этьен сказал, что пойдет домой, пора ложиться.

Суварин добавил, даже не протянув ему руки:

— Ну что ж, прощай. Я ухожу.

— Как? Совсем уходишь?

— Да, совсем. Взял расчет. В другое место ухожу.

Этьен был изумлен, взволнован и с укором посмотрел на него. Два часа они бродили вместе, и Суварин только сейчас говорит ему, что уходит, да еще сообщает это совершенно спокойным голосом, а у него, Этьена, сердце ноет при одной вести об этой разлуке. Ведь они так сблизились, вместе мыкали горе, вместе работали; всегда бывает грустно расставаться с другом.

— Так ты уходишь? А куда же?

— Туда... Еще не знаю...

— Но ты вернешься?

— Нет, не думаю.

Оба умолкли и стояли друг против друга, не зная, что еще сказать.

— Так, значит, прощай?

— Прощай.

Пока Этьен поднимался по скату в поселок, Суварин повернул опять к берегу канала и в одиночестве бесконечно долго ходил по дорожке; он шел, опустив голову, затерявшись в темноте, и был словно сгустком мрака ночного, движущейся тенью. Порой он останавливался, прислушиваясь, как вдалеке на колокольне отбивают часы, и считал удары. Когда пробило полночь, он отошел от берега и направился к Ворейской шахте.

В этот час там никого не было; Суварину встретился только заспанный штейгер. Разжигать топки в котельной для спуска паровой машины должны были только в два часа ночи. Суварин сперва поднялся и взял в шкафу куртку, которую он якобы забыл там. В куртке были завернуты инструменты: коловорот, маленькая пила из очень крепкой стали, молоток, стамеска, клещи. Затем он отправился обратно, но, вместо того чтобы выйти через раздевальню, пробрался в узкий коридор, который вел к колодцу с запасными лестницами, и, держа под мышкой сверток, стал без лампы потихоньку спускаться, определяя глубину по количеству пройденных лестниц. Он знал, что клеть трется о стенки сруба на глубине в триста семьдесят четыре метра, в пятом венце нижней части сруба. Сосчитав, что он прошел пятьдесят четыре лестницы, он ощупал стенку рукой и ощутил, что бревна выпятились. Значит, тут. И тогда с ловкостью и хладнокровием умелого работника, долго обдумывавшего свою задачу, он принялся за дело. Сперва выпилил кусок в дощатой перегородке, отделявшей колодец с запас-

ными лестницами от ствола, где двигались клети. Зажигая одну за другой спички, он при коротких вспышках огоньков установил, каково состояние сруба и тех починок, которые недавно в нем были сделаны.

Между Кале и Валансьеном при сооружении шахтных стволов сталкивались с неслыханными трудностями: нужно было вести проходку через подземные воды, пропитавшие на огромных пространствах водоносные слои на уровне самых низких ложбин. Только срубы из бревен, окованных обручами, как бочарные клепки, могли сдерживать эти протекающие в земле ручьи, изолировать шахтные стволы среди подземных озер, чьи глубокие и темные волны бились о стенки колодца. При закладке Ворейской шахты пришлось устанавливать два сруба: один в верхней части ствола, в сыпучих песках и белой глине, соседствующих с известковыми породами, со всех сторон пронизанных трещинами и впитывавших в себя воду, как губка; второй сруб — в нижней части ствола, непосредственно над залежами угля, в желтом песке, мелком, как мука, текучем, как жидкость; именно там и находился Поток — подземное море, ужас угольных месторождений Северного департамента, настоящее море с бурями и кораблекрушениями, море неизведанное, бездонное, катящее свои черные волны на глубине в триста метров от солнечного света. Обычно срубы хорошо выдерживали огромное давление. Для них опасно было лишь оседание соседних участков, сотрясавшихся от непрерывных обвалов пустой породы в заброшенных выработках. При этом опускании породы иногда происходили разрывы, образовывались трещины: удлиняясь, они в конце концов доходили до шахтного ствола и постепенно деформировали срубы, выпячивая внутрь их стенки; это представляло большую опасность — шахта могла быть забита обвалами породы, затоплена подземными водами.

Суварин, сидя верхом на балке в выпиленном отверстии, удостоверился, что пятый венец сруба очень серьезно деформирован. Бревна выпятились из рамы горбом; концы некоторых балок даже вышли из гнезд. Сквозь просмоленную паклю, которой были проконопачены стыки бревен, просачивался обильный «капеж», как говорят углекопы. А крепильщики, делая ремонт наспех, удовольствовались тем, что поставили по углам сруба железные угольники, да еще так небрежно, что завинтили не все гайки. Меж тем за обшивкой ствола, несомненно, происходило значительное перемещение плывучих песков.

Суварин ключом быстро отвинтил от угольников гайки — так, чтобы последний толчок выдернул их все. Работа требовала безумной смелости; раз двадцать Суварин подвергался опасности сорваться и полететь на дно ствола, до которого оставалось сто

восемьдесят метров. Ему приходилось цепляться за дубовые проводники, по которым скользили клети, и, повиснув над пропастью, он лазил по толстым поперечникам, которыми они были на определенном расстоянии скреплены друг с другом; он вытягивался, садился, запрокидывался со спокойным презрением к смерти, опираясь о балку локтем или коленкой; малейшее сотрясение могло его сбросить; три раза он чуть было не сорвался — едва успел ухватиться, но даже не вздрогнул при этом. Сначала он ощупывал сруб рукой, потом начинал работать и зажигал спичку лишь в том случае, если терялся в этом переплетении липких балок. Отвинтив гайки, он принимался за самое бревно, и опасность от этого еще возрастала,— он искал замковую матицу — ту, на которой держались другие балки, и набрасывался на нее, сверлил, пилил, старался сделать ее местами тоньше, чтобы она утратила прочность; а в это время вода сочилась струйками из щелей и трещин и поливала его ледяным дождем. Две спички погасли. Остальные подмокли... Кругом была тьма, бездонная глубина мрака.

И с этой минуты он работал в каком-то исступлении. Эта черная ужасная пропасть, в которой хлестал ливень, рождала в нем яростную жажду разрушения. Он набрасывался на обшивку, бил там, где мог достать, просверливал дыры, работал пилой, чувствуя потребность разворотить всю опалубку над своей головой. Он терзал дерево с такой свирепостью, словно вонзал нож в тело живого, ненавистного ему существа. Погодите, он в конце концов уничтожит Ворейскую шахту, этого злого зверя с разинутой пастью, пожравшего столько человечьего мяса. В темноте было слышно, как вгрызаются в дерево стальные инструменты, а разрушитель все вытягивался, полз, спускался, поднимался, держась каким-то чудом, непрестанно раскачиваясь, перелетая, как ночная птица, с перекладины на перекладину, которые перекрещивались, словно балки на колокольне.

Однако он взял себя в руки, успокоился. Он был недоволен собой. Надо действовать хладнокровно. Он перестал спешить, передохнул, вернулся снова в запасное отделение с лестницами, поставил выпиленную панель на место и заткнул таким образом дыру. Довольно! Если сделать еще больше повреждений, их заметят и тотчас займутся починкой. Зверю нанесена рана в самую его утробу, к вечеру видно будет, жив ли он еще. И пусть объятый ужасом мир узнает, что чудовище погибло не своей смертью,— человек, убивший его, оставил свою метку. Не спеша Суварин аккуратно завернул инструменты в куртку, медленно поднялся по лестницам. Когда он, никем не замеченный, вышел с шахты, ему и в голову не пришло пойти переодеться в сухое платье. Пробило три часа. Он все стоял на дороге и ждал.

В этот самый час в доме Маэ, в темной и душной комнате, Этьен, которому не спалось, услышал шорох. Он прислушался, различил тихое дыхание детей, громкий храп матери и старика Бессмертного, похожее на звук флейты посвистывание Жанлена, лежавшего бок о бок с ним. Нет, верно, почудилось. И он зарылся было головой в подушку, но вдруг шорох повторился. Зашуршала солома в тюфяке, потом кто-то осторожно приподнялся на постели. Этьен решил, что встает Катрин, что ей нездоровится.

— Это ты? Что с тобой? — спросил он шепотом.

Ответа не было, слышалось только дыхание спящих. Минут пять никто не шевелился. Потом скрипнула кровать. На этот раз Этьен был уверен, что не ошибся; он пересек комнату и, протянув руки, нащупал кровать, стоявшую у другой стены. К великому его удивлению, Катрин, проснувшись, сидела на своей постели затаив дыхание; несомненно, она была настороже.

— Ты что? Почему не отвечаешь? Что ты делаешь?

Катрин наконец ответила:

— Хочу вставать.

— Вставать? В такую рань?

— Да. На шахту пойду.

От волнения у Этьена подкосились ноги, и он присел на край постели, а Катрин объяснила ему причину своего решения. Слишком тяжело так жить: томиться без дела и постоянно чувствовать на себе укоризненные взгляды. Лучше уж пойти на шахту, даже если Шаваль изобьет ее; а если мать откажется взять деньги, когда дочь принесет домой получку,— ну что ж, она, Катрин, достаточно взрослая — поселится отдельно и сама будет варить себе суп.

— Ну, уходи, я одеваться буду. И, пожалуйста, не говори никому! Прошу тебя!

Но Этьен все не отходил; охваченный глубокой грустью и жалостью, он ласково обнял ее. Так и сидели они на краю постели, согретой за ночь теплом спящих; оба были в одних сорочках и, прижавшись друг к другу, чувствовали, что у обоих жаром горит тело. Катрин хотела было вырваться, но вдруг, тихонько заплакав, сама обвила руками его шею и прижалась к нему с горьким отчаянием. У них не возникало иного желания, не было того страстного влечения, которое в прошлом несчастная любовь препятствовала утолить. Неужели все кончено? Неужели никогда они не осмелятся любить друг друга? Ведь теперь они свободны. Достаточно было бы крупицы счастья, и рассеялось бы странное чувство стыда и скованности, мешавшее им вместе идти в жизни, чувство, вызванное какими-то смутными мыслями, в которых они и сами не могли разобраться.

— Ступай ложись,— прошептала Катрин.— Я не стану свет зажигать, а то мать проснется... Ступай, мне пора.

Этьен не слушал и крепко сжимал ее в объятиях; его переполняла бесконечная печаль. К сердцу прихлынула жажда покоя, неодолимая жажда счастья; рисовались картины этого счастья: вот он женат, живет в маленьком чистеньком домике, и нет у него никаких честолюбивых стремлений,— только бы жить тут вдвоем с нею, и с ней умереть. И пусть будет бедность, он готов питаться сухой коркой; даже если в доме хлеба хватит лишь на одного,— этот кусок он отдаст ей. Что еще нужно? Разве есть что-нибудь в жизни дороже любви?

Но Катрин разжала свои обнаженные руки.

— Ступай! Прошу тебя.

И тогда, в безотчетном порыве, он шепнул ей на ухо:

— Подожди, я пойду с тобой.

Он сам себе удивился, когда вырвались у него эти слова. Ведь он поклялся, что никогда больше не спустится в шахту,— откуда же пришло это внезапное решение, о котором он и не думал, которое не обсуждал нисколько? Но теперь вдруг стало так спокойно на душе, сразу исчезли все сомнения, и он ухватился за это решение, как человек, по воле случая спасшийся от беды, нашедший наконец единственный выход, избавляющий его от страданий. Поэтому он ничего и слушать не хотел. Катрин, понимая, что он приносит себя в жертву ради нее, встревожилась, боясь, что на шахте его встретят плохо. Он от всего отмахивался: раз афиши всем обещали прощение, этого достаточно.

— Я хочу работать, я сам об этом думал. Давай-ка скорей одеваться. Только не шуметь, никого не будить.

Они осторожно оделись в потемках. Катрин тайком приготовила с вечера свою шахтерскую одежду; Этьен достал из шкафа рабочую куртку и штаны; умываться не стали, боясь звякнуть кувшином о миску. Никто не проснулся. Но еще нужно было пройти через узкий коридор, в котором спала мать. На беду, они, выходя, наткнулись на стул. Мать услышала и спросила сквозь сон:

— А? Кто там?

Катрин, вся трепеща остановилась и замерла, стиснув руку Этьена.

— Это я. Не беспокойтесь,— ответил он.— Очень уж душно в комнате. Хочу выйти, подышать воздухом.

— Ступай, ступай!

И мать опять уснула. Катрин не смела шелохнуться. Наконец она спустилась по лестнице в нижнюю комнату, разделила на две части краюшку хлеба, который прислала из Монсу благотворительница. Затем, неслышно заперев дверь, они ушли.

Суварин стоял на повороте дороги близ заведения Раснера. С полчаса он смотрел, как мимо него проходят во двор шахты углекопы, решившие возобновить работу; в темноте смутно вырисовывались черные фигуры; вразнобой топали деревянные башмаки, казалось, по дороге гнали стадо. Суварин считал проходивших, как мясники пересчитывают скот у ворот бойни; и он был удивлен, что их так много; даже при всем своем пессимизме он не предвидел, что число слабодушных будет так велико. Они все шли и шли бесконечной вереницей. Суварин стоял в напряженном молчании и, стиснув зубы, холодно глядел на них своими серыми глазами.

Но вот он вздрогнул. Среди проходивших, лица которых не видны были в темноте, он все же различил по походке одного человека. Выступив вперед, Суварин остановил его:

— Куда ты?

Этьен, растерявшись, вместо ответа спросил:

— Как! Ты еще не ушел?

Затем признался: он возвращается на шахту. Правда, он поклялся, что не вернется, да только что это за жизнь — ждать сложа руки того, что придет, может быть, через сто лет? К тому же у него есть свои особые причины, по которым он решил вернуться.

Суварин слушал, весь трепеща. Потом схватил Этьена за плечи и повернул обратно к поселку.

— Вернись домой! Слышишь? Вернись сейчас же!

Но тут подошла Катрин. Суварин узнал и ее. Этьен возмутился, заявил, что никому не позволит судить о его поведении. Суварин смотрел то на девушку, то на товарища, а потом, отступив, махнул рукой. Раз в сердце мужчины воцарилась женщина — он человек конченый, и пусть он умирает. Быть может, промелькнула перед ним мгновенным видением его возлюбленная, которую повесили в Москве: в тот час последние плотские узы, связывавшие его, были разорваны, и, став свободным от них, он был теперь вправе распоряжаться своей собственной жизнью и жизнью других людей. Он сказал спокойно:

— Иди.

Этьен в смущении медлил, искал дружеские слова, чтобы не расставаться так сухо.

— Значит, ты уходишь?

— Да.

— Дай же руку, дружище! Счастливого тебе пути! Не поминай лихом.

Суварин протянул ему руку, холодную как лед. Ни друга, ни жены.

— Значит, твердо решил? Прощай-прости?

— Да, прощай.

И, стоя неподвижно в темноте, Суварин проводил взглядом Этьена и Катрин, входивших во двор шахты.

III

В четыре часа начался спуск. В ламповой за столом отметчика сидел сам Дансар, записывал каждого явившегося рабочего и разрешал выдать ему лампу. Он принимал всех, не делая ни малейших замечаний: полагалось выполнить то, что было обещано в афишах. Но, увидев у окошечка Этьена и Катрин, он чуть не подпрыгнул на стуле и, весь побагровев, открыл было рот, чтобы отказать им в приеме; однако передумал и ограничился лишь торжествующей насмешливой улыбкой, ясно говорившей: «Ага! Ага! Самых что ни есть строптивых и тех укротили! Не плюй в колодец! Компания-то пригодилась: грозный разрушитель Монсу пришел попросить у нее хлеба». Этьен молча взял свою лампу и вместе с Катрин поднялся по лестнице в приемочную.

Но именно в приемочной, как опасалась Катрин, у Этьена могли произойти столкновения с товарищами. Войдя туда, он сразу же увидел Шаваля, стоявшего в группе углекопов, которые ожидали посадки в клеть: у подъемника их собралось человек двадцать. Шаваль, рассвирепев, бросился к Катрин, однако, увидя Этьена, остановился и, презрительно пожимая плечами, заговорил с язвительным смешком. Отлично! Наплевать ему на девку, раз другой занял его место, совсем еще теплое. Слава богу, что отвязалась. Пускай новый дружок с ней милуется, коли не брезгует объедками. Но, несмотря на показное презрение, он весь дрожал от ревности, и глаза у него горели. Любопытных он, однако, не привлек,— люди молча стояли, опустив головы. Бросив косой взгляд на вновь прибывших, они этим и ограничились и, подавленные, вялые, опять уставились на отверстие ствола, держа в руках лампу; все ежились, замерзнув в парусиновых куртках на сквозняке, который постоянно дул в приемочной.

Наконец клеть встала на упоры, рукоятчик крикнул: «Залезай!» Катрин с Этьеном забрались в вагонетку, где уже устроились Пьерон и два забойщика. Шаваль, сидевший в соседней вагонетке, очень громко говорил Муку, что дирекция напрасно не воспользовалась случаем избавить копи от смутьянов и бездельников. Но старик конюх вновь превратился в подавленного, равнодушного старика, смирился со своей собачьей жизнью, больше не испытывал гнева из-за смерти сына и дочери и в ответ на слова Шаваля только кивнул головой.

Клеть дрогнула и ринулась в черную тьму. Внезапно, когда пролетели две трети спуска, пошли ужасные толчки, трение; железные полосы заскрежетали, людей швырнуло друг на друга.

— Вот дьявол! — буркнул Этьен.— Этак недолго в лепешку разбиться! Все тут останемся из-за их проклятого сруба. А еще говорят, будто его починили.

Все же клеть одолела препятствие. Теперь она спускалась под проливным дождем, таким сильным, что рабочие тревожно прислушивались к шуму ливня. Верно, на стыках бревен появилась течь.

Спросили Пьерона,— ведь он уже несколько дней как возобновил работу. Стараясь скрыть свой страх, который могли бы счесть дерзким недоверием к дирекции, он ответил:

— Не беда! Опасности нет. Всегда ведь так льет. Наверно, не успели подвесить желоба.

Над их головами как будто ревел поток. Когда спускались к последнему горизонту, это был сущий водопад. Ни одному из штейгеров не пришло в голову подняться по лестницам проверить, что случилось. Чего там, насос работает исправно, а ночью плотники осмотрят все стыки в срубе. В выработках работу приходилось налаживать заново. Хлопот было немало. Прежде чем расставить углекопов по их прежним забоям, инженер приказал, чтобы первые пять дней все занялись неотложными работами по креплению. Всюду угрожали обвалы, откаточные пути на протяжении нескольких сот метров сильно пострадали, приходилось исправлять обшивку, укреплять стойки. На рудничном дворе составляли партии по десять человек: во главе с десятником их посылали в самые угрожаемые места. Когда спуск кончился, подсчет показал, что всего вышло на работу триста двадцать два человека — половина всего числа углекопов, работавших на шахте при полной ее загрузке.

Шаваль попал в ту партию, где работали Катрин и Этьен, что вовсе не было случайностью: сперва он прятался позади товарищей, затем заставил штейгера взять его. Партию послали за три километра расчищать штрек, отходивший от конца северного квершлага,— нужно освободить его от обвалившейся породы, которая закупорила выработку, проложенную в Восемнадцативершковом пласте. Принялись кирками и лопатами сражаться с обвалившимися глыбами, а Катрин и двое откатчиков нагружали вагонетки и подкатывали их к квершлагу. Редко кто перебрасывался словом. Десятник не отходил от них. И все же два соперника едва сдерживались, чтобы не схватиться врукопашную. Шаваль бурчал, что он и знать не желает такую потаскуху, а сам все время исподтишка дергал и толкал Катрин, так что Этьен, не выдержав, пригрозил

ему трепкой, если он не оставит ее в покое. Взглядом они готовы были растерзать друг друга; пришлось их разнять.

В восьмом часу явился Дансар посмотреть, как идет работа. По-видимому, старший штейгер был в отвратительном настроении, он сразу же напустился на десятника: ничего до сих пор не сделано, старую крепь по мере очистки хода следовало заменять новой, а иначе вся работа пойдет к черту. И ушел, пригрозив, что приведет инженера. Он ждал Негреля с утра и не мог понять, почему тот задерживается.

Прошел еще час. Десятник остановил расчистку и поставил всех на крепление кровли. Даже Катрин и два подростка-откатчика теперь не оттаскивали обвалившуюся породу, а подготовляли и приносили стойки и верхняки.

Работая в этом конце квершлага, артель была словно на передовом посту, она очутилась на самом дальнем краю шахты, не имея связи с другими выработками. Три-четыре раза все настороженно прислушивались: издали доносился какой-то странный шум, похожий на быстрый топот. Что там такое? Похоже, что люди кончили работу и бегом бегут к рудничному двору. Но шум терялся вдалеке, снова наступала тишина, и все опять принимались ставить крепь, ничего не слыша из-за оглушительного стука молотков. Потом опять взялись за расчистку и откатку. Из первого же своего путешествия Катрин вернулась перепуганная и сказала, что в квершлаге никого нет.

— Я звала... Не отвечают. Все куда-то убежали.

Все десять человек в переполохе бросили инструменты и помчались, обезумев при мысли, что их бросили тут одних, так далеко от рудничного двора. У каждого в руках была только лампа; все бежали вереницей,— мужчины, подростки, Катрин; десятник, потеряв голову, бросал призывные крики, все больше страшась тишины и безлюдья в бесконечном лабиринте галерей. Что случилось? Почему им не встретилось ни одной живой души? Какое бедствие заставило рабочих бежать отсюда? Все чувствовали, что им грозит что-то страшное, и ужас возрастал от того, что опасность оставалась неизвестной.

Но когда они приближались к рудничному двору, дорогу им преградил поток. Воды было по колено, бежать стало невозможно, они с трудом рассекали темные волны, и каждый думал, что минута промедления — это смерть.

— Эх, дьявол! Видно, сруб разорвало! — крикнул Этьен.— Я же говорил, что мы все тут сдохнем.

С самого начала спуска Пьерон с тревогой видел, что капеж в шахтном стволе все усиливается. Вкатывая вместе с двумя другими стволовыми вагонетки в клети, он то и дело задирал голову

и смотрел вверх, по лицу у него скатывались крупные капли воды, в ушах шумело от грозового гула, доносившегося сверху. Но больше всего он перепугался, когда заметил, что водосборный колодец глубиною в десять метров наполнился и вода брызжет сквозь отверстия дощатого настила, разливается по чугунным плитам,— значит, паровой насос не справляется с откачкой прибывающей воды. Пьерон слышал, как тяжело дышит, захлебывается, всхлипывает насос.

Тогда Пьерон предупредил Дансара, но тот злобно выругался и ответил, что надо ждать инженера. Дважды стволовой обращался к старшему штейгеру, но тот только пожимал плечами с удрученным видом. Ну да, вода прибывает, но что тут можно сделать?

Появился Мук с лошадью, которую он повел на обычную ее работу; но сейчас ему приходилось держать ее под уздцы обеими руками,— старая сонная кляча вдруг заупрямилась, уперлась и, вытянув шею к шахтному стволу, пронзительно ржала, словно чуяла смерть.

— Да что с тобой, умница? Чего ты испугалась? А-а! Дождь тебе не понравился? Пойдем-ка, пойдем, это тебя не касается.

Но лошадь дрожала всем телом и не шла, конюху пришлось силой вести ее на откатку.

И почти в ту самую минуту, как Мук исчез с лошадью в глубине квершлага, в шахтном стволе что-то треснуло и с грохотом полетело вниз. Это оторвалась матица сруба и упала с высоты в сто восемьдесят метров, стукаясь о стенки ствола.

Пьерон и откатчики успели отскочить; дубовая балка сплющила пустую вагонетку. А из ствола, как сквозь прорвавшуюся плотину, потоком хлынула вода и лилась, не останавливаясь. Дансар хотел подняться по лестницам посмотреть, что случилось, но, лишь только он заговорил об этом, обрушилась вторая матица. Поняв, что близка катастрофа, старший штейгер, не колеблясь, отдал приказ подниматься и разослал штейгеров по всем выработкам собирать людей.

Началась паника. Из каждой выработки опрометью мчались вереницами углекопы и штурмовали клеть. Люди дрались, в свалке давили друг друга; каждый стремился немедленно выбраться на поверхность. Некоторые пытались подняться по лестницам, но тотчас спустились обратно и кричали, что проход забит. После каждого подъема клети люди холодели от страха: пройдет ли клеть еще раз среди препятствий, загородивших пролет ствола. Вверху разгром, должно быть, продолжался: слышались глухие раскаты, обшивка и бревна трещали, расшатывались, и все громче раздавался непрестанный плеск проливного дождя. Вскоре одна клеть

оказалась пробитой и вышла из строя, она уже не могла скользить между проводниками, вероятно, тоже сломанными. Вторая клеть продиралась с таким трудом и с такой силой терлась о выпяченную обшивку, что трос наверняка должен был лопнуть. А ведь надо было еще поднять человек сто; все выли, с бранью цеплялись друг за друга; несчастные, окровавленные люди боролись с водой, уже заливавшей их. Двоих убило упавшей балкой. Третий ухватился за крючья клети, сорвался с высоты в пятьдесят метров и рухнул в водосборный колодец.

Дансар пытался внести хоть некоторый порядок. Вооружившись кайлом, он грозил раскроить череп каждому, кто не будет подчиняться; пробовал выстроить людей в очередь, кричал, что стволовые поднимутся последними, после того как посадят в клети всех товарищей. Его не слушали; все же он не дал перетрусившему, побледневшему Пьерону подняться одним из первых. И при каждом подъеме клети Дансару приходилось оплеухой отбрасывать стволового. Но у него у самого от страха стучали зубы — ведь еще минута, и вода его поглотит; вверху все рушилось, вниз смертоносным градом падали балки, низвергался водопад. К клети еще бежали несколько рабочих, но Дансар, обезумев от страха, вскочил в вагонетку, позволив и Пьерону прыгнуть вслед за ним. Клеть поднялась.

В это мгновение примчалась артель Этьена и Шаваля. Они видели, как взвилась и исчезла клеть, бросились к подъемнику и отпрянули: сруб окончательно разрушился, шахтный ствол был непроходим, клеть больше не могла бы спуститься. Катрин рыдала, Шаваль охрип от ругани. У подъемника толпилось человек двадцать. Что ж эти мерзавцы начальники так и бросят их здесь? Мук, который привел из квершлага лошадь, стоял, все еще держа ее в поводу; по-видимому, и старик конюх и животное были потрясены наводнением. Вода поднялась до пояса. Этьен молча, стиснув зубы, взял Катрин на руки. Остальные двадцать, задрав головы, с тупым упорством смотрели вверх, в темноту шахтного ствола, в черную, завалившуюся яму, извергавшую подземный поток; они все еще не верили, что оттуда им нечего ждать помощи.

Поднявшись на поверхность, Дансар увидел Негреля, бежавшего к подъемнику. По роковой случайности он задержался в то утро: г-жа Энбо, лишь только встала с постели, пригласила его посмотреть каталоги магазинов,— пора было подумать о свадебных подарках невесте. Было десять часов утра.

— Ну что? Что случилось? — крикнул он еще издали.

— Погибла шахта! — ответил старший штейгер.

И, запинаясь от волнения, он рассказал о катастрофе. Инженер слушал недоверчиво, пожимая плечами: «Полно! Быть не может!

Разве сруб обрушится так вот, ни с того ни с сего! Это преувеличение. Надо посмотреть».

— Внизу, я полагаю, никого не осталось?

Данеар смутился. Нет, никого не осталось. По крайней мере он на это надеется. Но возможно, кое-кто из рабочих и задержался.

— Да вы что, черт вас побери? — крикнул Негрель.— Почему же вы-то поднялись? Как вы посмели бросить своих людей?

Тотчас он дал распоряжение подсчитать лампы. Утром выдали триста двадцать две, а возвратилось только двести пятьдесят пять; правда, многие рабочие признались, что их лампы остались под землей, выпали у них из рук в свалке во время паники. Попробовали произвести перекличку и все же не могли установить точное число поднявшихся: одни убежали домой, другие не могли расслышать своего имени. Так и не выяснили, скольких человек не хватает,— может быть, двадцати, может быть, сорока. Для инженера одно было несомненно: под землей остались люди. Они кричали, звали, выли. Наклонившись над стволом шахты, можно было различить их вопли сквозь гулкий плеск воды, поливавшей обломки балок.

Негрель тотчас послал за г-ном Энбо и хотел было закрыть доступ к шахте. Но уже было поздно: углекопы, примчавшиеся в поселок с такой быстротой, как будто их преследовал зловещий треск распадавшегося сруба, всех переполошили: женщины, старики, дети с криками, с рыданиями неслись гурьбой по дороге. Пришлось их отгонять; поставили кордон из сторожей, приказав им сдерживать толпу, чтобы она не мешала действовать. Многие рабочие, успевшие подняться на поверхность, все не уходили, забыв о том, что надо сменить мокрую одежду, оцепенев от ужаса, стояли у ствола шахты, глядя на черную дыру, чуть не поглотившую их. Вокруг них теснились обезумевшие женщины, плакали, расспрашивали, умоляли назвать имена. Такой-то был с ними? А такой-то? Спасшиеся не знали, отвечали бессвязно и, дрожа как в лихорадке, отмахивались, словно стараясь отогнать страшную картину, все время стоявшую у них перед глазами. Толпа быстро росла, с дороги доносились громкие причитания.

А вверху, на гребне терриконa, в будке старика Бессмертного, сидел на полу какой-то человек и смотрел на шахту. Это был Суварин. Далеко он не ушел.

— Имена! Имена назовите! — кричали женщины хриплыми от слез голосами.

Негрель показался на минутку и крикнул в ответ:

— Как только узнаем имена, тотчас сообщим. Но еще ничего не потеряно. Всех спасем... Я сейчас спущусь...

И толпа замерла в тоскливом ожидании. Действительно, Не-

грель со спокойным мужеством готовился спуститься... Он приказал отцепить клеть и заменить ее бадьей. Опасаясь, что вода угасит его лампу, он велел привязать вторую под днищем бадьи, которое могло защитить эту лампу.

Десятники и штейгеры, бледные, растерянные, помогали подготовке.

— Спуститесь со мной, Дансар,— коротко приказал Негрель.

Но, видя, что все его подручные перепуганы, что Дансар шатается, как пьяный, от ужаса, он с презрением оттолкнул его:

— Не надо. Только мешать будете... Лучше уж я один...

Он живо влез в тесную бадью, качавшуюся на конце троса, и, держа в одной руке лампу, сжимая в другой сигнальную веревку, сам скомандовал машинисту:

— Помалу!

Машинист пустил в ход барабаны, Негрель исчез в пропасти, из которой еще слышались вопли несчастных.

Вверху ствола все оказалось на месте. Негрель удостоверился, что верхнее звено в хорошем состоянии. Бадья покачивалась посредине ствола. Негрель поворачивался, освещал стенки,— течь на стыках сруба была так незначительна, что лампочка продолжала гореть. Но на глубине в триста метров, когда началось нижнее звено сруба, лампа, как он и предвидел, угасла, а в бадью налилась вода. Теперь ему светила только та лампа, что была подвешена под бадьей и спускалась во тьму впереди него. При всей своей смелости Негрель вздрогнул и побледнел от ужаса, когда перед его глазами предстала жуткая картина разрушения. От сруба уцелело лишь несколько перекладин, остальные балки рухнули вместе со своими рамами; в стенах ствола зияли огромные впадины, из них ползли «плывуны» — мелкие, как мука, желтые пески, и, словно речные волны, прорвавшие шлюзы, изливались воды Потока, подземного моря, страшного своими неведомыми бурями и катастрофами. Негрель спустился еще ниже, теперь он был на самой середине пропасти, в стенках которой все больше зияло пустот; бадья вертелась, ударяясь о стенки ствола, под проливным дождем, которым ее обдавали грунтовые воды; лампа, горевшая красной звездой, спускалась все ниже, но так слабо рассеивала тьму, что Негрелю казалось, будто он видит вдалеке улицы и перекрестки какого-то разрушенного города, и там колышутся большие черные тени. Никакой труд человеческий тут был невозможен. Оставалась лишь одна надежда: попытаться спасти людей от смертельной опасности. Чем ниже он спускался, тем громче становились их вопли; но ему пришлось остановиться,— он натолкнулся на непреодолимую преграду, заполнившую весь пролет ствола,— груду бревен, балок, досок, сломанных проводников подъемной

клети, разбившихся дощатых перегородок, отделявших ствол от колодца с запасными лестницами, и все это перемешалось с сорванными трубами водоотливного насоса. Негрель с болью в сердце смотрел на эти обломки, и вдруг внизу вопли человеческих голосов разом смолкли. Вероятно, несчастные бросились бежать с рудничного двора, спасаясь от быстро прибывавшей воды, если только не захлебнулись в потоке...

Негрелю пришлось отказаться от дальнейшего спуска и дернуть сигнальную веревку для того, чтобы его начали поднимать. Затем он вновь остановился. Он все не мог понять, чем же вызвана эта внезапная и страшная катастрофа. Желая выяснить причины, он принялся осматривать те части сруба, которые еще держались. Даже на расстоянии его поразили видневшиеся в дереве разрезы, дыры, изломы. В насыщенном влагой воздухе огонь в лампочке еле горел. Негрель пальцами ощупал искалеченную балку, распознал борозды, оставленные пилой, дыры, сделанные сверлом, сознательную разрушительную работу. Очевидно, кто-то нарочно подготовил катастрофу. Негрель замер на месте. А вокруг последние, еще не обвалившиеся перекладины трещали, рушились вместе с рамами, грозя увлечь за собою и его самого. Вся его отвага пропала при мысли, что нашелся человек, способный на такое страшное дело; у него волосы зашевелились на голове, он весь похолодел, испытывал какой-то мистический страх, словно перед неким божеством зла, словно тот, кто совершил это безмерное злодеяние, все еще прятался тут, во мраке. И Негрель закричал, яростно дергая веревку. Да и пора было уходить; поднявшись на сто метров, он заметил, что верхняя часть сруба тоже пришла в движение: углы на стыках сруба расщепились, из них уже повыпадали клинья, обмотанные паклей, из щелей ручьями текла вода. Пройдет еще несколько часов, со стенок ствола отпадет вся крепь, и они обвалятся.

На поверхности Негреля в тревоге ждал г-н Энбо.

— Ну как? Что там? — спросил он.

От волнения Негрель не мог говорить и был близок к обмороку.

— Это что-то невероятное, неслыханное, небывалое! Ты осмотрел?

Негрель утвердительно кивнул головой, опасливо глядя на окружающих. Он не хотел давать объяснения при штейгерах, которые настороженно слушали, и отвел дядю шагов на десять в сторону, но и этого ему показалось мало, отошел с ним еще дальше и только тогда рассказал ему на ухо, что катастрофа была кем-то подстроена, балки нарочно просверлены, перепилены; шахте перерезали горло, она в агонии. Директор побледнел и тоже заго-

ворил шепотом, повинуясь безотчетному чувству, побуждающему людей хранить молчание о чудовищных фактах разврата и о чудовищных преступлениях. Но надо было скрывать свой страх от десятитысячной армии углекопов Компании Монсу: позднее все выяснится. И они продолжали шептаться, с ужасом думая, что нашелся человек, который дерзнул проникнуть в шахтный ствол и, повиснув над пропастью, двадцать раз рискуя жизнью, совершил неслыханное преступление. Безумная храбрость разрушителя была для них непостижима, они, вопреки очевидности, отказывались верить, как не верят рассказам о знаменитых побегах узников, словно улетевших из окна темницы, прорезанного на высоте тридцати метров над землей.

Когда г-н Энбо подошел опять к штейгерам, лицо его передергивалось от нервного тика. Он в отчаянии махнул рукой и приказал немедленно всем уйти с шахты. Это было подобие мрачного похоронного шествия, безмолвного расставанья; люди оборачивались, прощальным взглядом окидывали большие, уже опустевшие кирпичные корпуса, пока еще стоявшие строения, которые теперь ничто не могло спасти.

Директор и инженер спустились из приемочной последними, и лишь только они появились, толпа встретила их упорными, несмолкавшими криками:

— Имена! Имена! Скажите имена!

В первом ряду среди женщин была теперь и вдова Маэ. Она вспомнила, что ночью слышала шум: наверно, ее дочь и жилец ушли вместе и, конечно, оба остались под землей. Хотя сперва мать кричала, что так им и надо, что они бессердечные негодяи и вполне заслужили погибель, она все же прибежала и, стоя в первом ряду, трепетала в тоскливом ожидании. Впрочем, она и не смела сомневаться, ей все было известно из разговоров окружающих. Да, да, Катрин осталась под землей, и Этьен тоже,— один из спасшихся видел их. Что касается остальных, тут у говоривших оказались разногласия. Нет, такой-то успел подняться, а такой-то, наоборот, не успел; Шаваль, пожалуй, не выбрался, но кто-то из откатчиков клялся и божился, что поднимался в клети вместе с ним. У жены Левака и жены Пьерона никто из близких не был в опасности, однако они плакали и причитали так же громко, как и другие. Захарий поднялся одним из первых и, хотя он всегда казался насмешником, зубоскалом, которому все нипочем, сейчас со слезами обнял жену и мать; он остался около матери, мерз на холоде вместе с ней, преисполнившись неожиданной нежности к сестре, и не хотел верить, что она под землей, пока начальники бесповоротно не удостоверятся в этом.

— Имена! Имена! Скажите имена!

Негрель в нервном возбуждении громко говорил сторожам:

— Да заставьте же их замолчать! Ведь это такое мученье! Не знаем мы имена, не знаем!

Прошло два часа. В первые минуты смятения никто и не подумал о другой шахте, о старой Рекильярской шахте. Потом г-н Энбо сказал, что надо попробовать повести розыски и спасательные работы с той стороны. И тут как раз оказалось, что по сгнившим лестницам запасного хода этой заброшенной шахты только что выбрались на поверхность пятеро рабочих, спасшихся из затопленных выработок; говорили, что среди них был конюх Мук,— всех это очень удивило, никто не думал, что он находился в шахте. Но после рассказа спасшихся слезы полились сильнее: оказалось, что пятнадцать человек отстали, или же обвалы замуровали их, и помочь им невозможно: Рекильярскую шахту затопило, вода там поднялась метров на десять. Теперь знали имена всех, кто остался под землей; воздух огласили стенания и крики народа, которому нанесли кровавую рану.

— Да заставьте же их замолчать! — твердил в ярости Негрель.— И пусть они отойдут. Да, да, пусть отойдут... Метров на сто, не меньше. Тут опасно стоять. Оттесните их, оттесните!

Пришлось чуть ли не драться с несчастными. Они вообразили, будто их гонят, желая скрыть от них какие-то новые бедствия и новые смерти; штейгерам пришлось объяснять им, что сейчас обвалится шахтный ствол, а вслед за ним и вся шахта. От ужаса все умолкли и в конце концов покорно отступили; но пришлось усилить цепь сторожей, сдерживавших толпу,— люди возвращались против своей воли, словно их притягивал магнит; не меньше тысячи человек теснилось на дороге; прибежали из всех поселков и из самого Монсу.

А тот, кто был на гребне террикона, белокурый человек с девичьим лицом, курил папиросу за папиросой, чтоб набраться терпения, и не сводил с шахты своих светлых глаз.

Началось ожидание. Был уже полдень, люди с утра не ели. Но никто не уходил. В хмуром небе медленно ползли ржавые тучи. За забором Распера без передышки лаял большой пес, раздраженный голосами и запахами огромного скопища людей. Толпа постепенно растекалась по соседним участкам, охватив шахту кольцом на расстоянии в сто метров. В середине пустынного круга четко вырисовывались строения шахты. Там не было ни души, не слышалось ни единого звука; в незатворенные окна и двери виднелись брошенные в беспорядке помещения; забытая рыжая кошка, почуяв какую-то опасность в этой непривычной тишине, спрыгнула с лестницы и исчезла. Должно быть, топки в котельной еще не совсем погасли — из высокой кирпичной трубы к темным тучам

поднимались легкие струйки дыма; на кровле копра пронзительно скрипел на ветру флюгер,— казалось, то была предсмертная жалоба обреченных строений.

В два часа дня ничего нового не произошло. Г-н Эибо, Негрель и другие инженеры, собравшиеся здесь, все в пальто и в черных шляпах, стояли кучкой впереди всех; они тоже не хотели уходить, хотя у них ноги подкашивались от усталости; все испытывали болезненное, лихорадочное возбуждение, сознавая свое бессилие перед лицом такого страшного бедствия; все молчали, лишь изредка шепотом обменивались скупыми словами, словно у постели умирающего. Должно быть, в стволе шахты завершался обвал верхнего звена сруба: иногда раздавался вдруг громкий треск, потом что-то тяжелое с прерывистым шумом падало в глубокую пропасть; затем опять наступила мертвая тишина. Рана все расширялась; обвал, начавшийся снизу, захватывал верхние слои, приближался к поверхности. Негрелю хотелось увидеть, что происходит; в первом нетерпении он вышел вперед и зашагал один в этом жутком пустом пространстве, однако его схватили за плечи, остановили. К чему рисковать? Ведь катастрофы все равно не остановить. А тем временем какой-то углекоп, когда отвернулся сторож, помчался к раздевальне и вскоре спокойно вернулся на место: он сбегал за своими деревянными башмаками.

Пробило три часа. Все еще ничего не случилось. Полил дождь, люди вымокли, но не отошли ни на шаг. Пес во дворе Раснера опять принялся лаять. И только в три часа двадцать минут первый толчок сотряс землю. Строения Ворейской шахты дрогнули, но устояли — они были выстроены прочно. Но вслед за первым последовал второй толчок, и толпа откликнулась на него долгим воплем: у всех на глазах длинный, крытый толем барак сортировочной два раза качнулся и рухнул с оглушительным треском. От огромного давления балки сломались, как спички, и терлись друг о друга с такой силой, что от них брызнули целые снопы искр. И с этого мгновения земля непрестанно сотрясалась; толчки следовали один за другим, шло подземное оседание пород, слышался грозный гул, как при извержении вулкана. Пес вдалеке больше не лаял, а жалобно выл, словно извещал о колебаниях почвы, которые чуял заранее; а женщины, дети, да и вся толпа, взиравшая на шахту, не могли удержать воплей всякий раз, как ее встряхивало от содрогания земли. Не прошло и десяти минут — рухнула шиферная кровля шахтного копра, стены приемочной и машинного отделения раскололись, в них зияла теперь широкая брешь. Затем шум стих, разрушение остановилось; вновь настала глубокая тишина.

Целый час простояла Ворейская шахта еще живая, но изра-

пенная, словно ее бомбардировала из пушек армия жестоких врагов. Смолкли крики, круг зрителей раздался, но никто не уходил, все смотрели. Под грудой балок рухнувшей сортировочной еще можно было различить смятые опрокидыватели, прорванные, искореженные грохота. Но больше всего обломков громоздилось на месте приемочной среди осколков битого кирпича и стен, местами рухнувших целиком и обратившихся в мелкий щебень. Стальная перекладина, поддерживавшая шкивы, изогнулась и до половины опустилась в шахтный ствол; клеть повисла в воздухе, над ней покачивался обрывок троса; а дальше высилась целая гора разбитых вагонеток, чугунных плит, лестниц. Каким-то чудом ламповая осталась нетронутой, и с левой стороны виднелись аккуратные многоярусные ряды начищенных лампочек. А в глубине развороченного машинного отделения видна была паровая машина, плотно сидевшая на массивном кирпичном фундаменте; блестели ее медные части, крупные стальные детали были похожи на несокрушимые мышцы; застывший в воздухе шатун напоминал согнутую в колене ногу великана, спокойно дремлющего, уверенного в своей силе.

К концу этой часовой передышки у г-на Энбо возродилась надежда. Быть может, оседание пород закончилось и есть еще возможность спасти машину и уцелевшие постройки. Однако он по-прежнему запрещал приближаться к шахте, требовал, чтобы потерпели еще с полчаса. Ожидание становилось невыносимым; надежда усилила волнение людей, у всех билось сердце. Черная туча, поднявшаяся на горизонте, ускорила наступление сумерек; кончался роковой день, угасавший над обломками крушения, вызванного подземной бурей. Люди стояли тут семь часов, голодные, изнемогавшие от неподвижности.

И вдруг, когда инженеры начали осторожно приближаться к шахте, страшное содрогание земли обратило их в бегство. Под землей раздался грохот, громовые раскаты, словно какая-то чудовищная артиллерия вела обстрел в недрах земли. А на поверхности опрокидывались, рушились, разваливались последние уцелевшие строения. Какой-то вихрь подхватил и расшвырял обломки сортировочной и приемочной. Раскололась и исчезла котельная. Потом четырехугольная башня, в которой хрипел водоотливный насос, упала ничком, как человек, которого сразило пушечное ядро. И тогда перед всеми предстало ужасное зрелище: паровая машина, растерзанная, четвертованная на своем массивном постаменте, боролась со смертью: она шла, она вытягивала шатун, словно сгибала колено своей гигантской ноги, как будто пыталась подняться; но то были предсмертные судороги,— разбитую, поверженную, ее поглотила пропасть. Только высокая тридцатиметровая труба еще

вздымалась, вздрагивая, подобно корабельной мачте в бурю. Казалось, вот-вот она упадет, рассыплется и рассеется прахом по ветру; но вдруг она вся целиком ушла в землю, растворилась в ней, растаяла, словно исполинская свеча; ничего не осталось над поверхностью земли, даже острия громоотвода. Все кончилось,— злобный зверь, притаившийся в Ворейской лощине, пожравший столько человеческого мяса, издох, не слышно было его шумного, протяжного дыхания. Вся шахта провалилась в бездну.

Толпа с воем бросилась прочь. Женщины бежали, закрывая руками глаза. Ужас гнал людей, как ураган, разметавший кучу сухих листьев. И все они кричали,— не хотели кричать, но не могли сдержать невольных криков ужаса, когда увидели огромную, внезапно возникшую яму. Эта впадина, похожая на кратер потухшего вулкана, глубиной в пятнадцать метров и шириной не менее сорока, простиралась от дороги до самого канала. Вслед за постройками земля поглотила весь двор шахты, гигантские козлы, мостки с проложенными на них рельсами, целый поезд из вагонеток, три товарных вагона; она поглотила, как соломинку, целую рощу заготовленных обтесанных, разрезанных по мерке древесных стволов — все штабели крепежного леса. На дне ямы виднелась куча обломков: бревна, кирпич, железо, штукатурка, балки, разбитые в щепки, развороченные, изломанные, исковерканные, скрученные, истолченные, перемешанные с грязью. Яма приняла округлую форму, от краев ее шли трещины и тянулись далеко через поля. Одна расселина доходила до нивной Раснера, и по фасаду его дома зазмеилась трещина. А что, если и в поселке рухнут дома? До какого же места надо добежать, чтобы оказаться в безопасности в эти последние часы ужасного дня, под этим свинцовым небом, которое тоже как будто хотело раздавить мир.

Но вдруг Негрель вскрикнул, словно от боли. Г-н Энбо попятился и заплакал. Катастрофа еще не завершилась. Берег канала обвалился, и вода из него бурлящими волнами рванулась в одну из трещин кратера. Вода просачивалась туда, низвергалась, как водопад в глубокое ущелье. Шахта задумала выпить реку, и теперь все горные выработки были затоплены на многие годы. Вскоре кратер заполнился водой, и на том месте, где только что была Ворейская шахта, раскинулось озеро мутной воды, подобно сказочным озерам, на дне которых спят проклятые города. Настала грозная тишина; слышно было только, как бурлит и рокочет вода, врываясь в пропасть.

И тогда на гребне дрогнувшего терриконa поднялся на ноги Суварин. Он узнал вдову Маэ и Захария, рыдавших при виде этого обвала, который всей своей тяжестью навис над головами несчастных, умиравших под землей. Отбросив последнюю папиросу, раз-

рушитель пустился в путь и, не оборачиваясь, зашагал в сгустившемся сумраке. Некоторое время он еще виднелся вдалеке, силуэт его становился все меньше, потом слился с черной тьмой. Он и шел в эту тьму, в неведомое. Спокойный, бесстрастный, он шел истреблять,— повсюду, где найдется динамит, взрывать города и людей. Когда в свой последний час буржуазия услышит, как при каждом ее шаге с грохотом взлетают на воздух булыжники мостовой,— вероятно, это будет дело его рук.

IV

Лишь только земля поглотила Ворейскую шахту, г-н Энбо ночью выехал в Париж, желая лично осведомить обо всем правление, пока журналисты еще не разнесли по свету эту весть. На следующий день он вернулся и казался, как обычно, спокойным, учтивым администратором. Очевидно, ему удалось снять с себя ответственность, милость к нему не уменьшилась, даже наоборот,— через день был подписан указ о награждении его орденом Почетного легиона первой степени.

Но если директор выбрался из беды благополучно, положение Компании пошатнулось от этого ужасного удара. Она не только потерпела миллионные убытки,— ей нанесена была опасная рана: из-за того, что какие-то злоумышленники погубили одну из ее шахт, она испытывала глухой, непрестанный страх за свое будущее. Она была глубоко потрясена и поняла, что надо все скрыть. Зачем поднимать шум вокруг таких ужасов? Если преступника обнаружат, из него сделают своего рода мученика, от его устрашающего героизма и у других свихнутся мозги; он породит целый выводок поджигателей и убийц. Впрочем, правление и не подозревало, кто оказался истинным виновником катастрофы, и в конце концов вообразило, что тут орудовала целая армия сообщников; никто и мысли не допускал, что, действуя в одиночку, человек мог найти в себе смелость и силу для такого разрушения; именно эта мысль и преследовала членов правления — мысль о непрестанно возрастающей опасности, грозившей шахтам Компании. Директор получил распоряжение организовать широкую сеть шпионажа, затем постепенно, по одному, без шума уволить неблагонадежных рабочих, заподозренных в причастности к преступлению. Из соображений высокой политики и осторожности пока решили ограничиться лишь этой мерой.

Немедленному увольнению подвергся только один Дансар. После скандала в доме Пьерона держать его на должности старшего штейгера стало невозможно. В качестве предлога воспользовались его поведением во время катастрофы, когда он показал себя

подлым трусом и бросил своих людей, спасая собственную жизнь. Увольнением Дансара хотели также угодить рабочим, дружно его ненавидевшим. Однако в Париж просочились кое-какие слухи о причинах катастрофы, и дирекции пришлось послать в газету официальное опровержение сенсационной заметки, в которой говорилось о бочонке с порохом, подожженном в шахте забастовщиками. После наспех проведенного расследования правительственный инженер представил доклад, в котором пришел к заключению, что обвал шахтного ствола вызван вполне естественными причинами, а именно — оседанием породы в выработках. Компания предпочла держать свои сведения в тайне и безропотно перенесла сделанный ей выговор за недостаточный технический надзор. На третий день парижская пресса нашла в катастрофе обильный материал для отдела хроники; все только и говорили что о рабочих, умирающих в глубине шахты, с жадностью читали телеграфные сообщения, печатавшиеся каждое утро. В самом Монсу буржуа бледнели и лишались дара речи при одном лишь упоминании о Ворейской шахте,— о ней сложилась такая страшная легенда, что самые смелые с трепетом передавали ее друг другу на ухо. Во всем крае выказывали великую жалость к жертвам катастрофы; обыватели устраивали прогулки к разрушенной шахте, многие ходили туда всем семейством, желая испытать острые ощущения ужаса при взгляде на эти развалины, которые придавили своей тяжестью несчастных, заживо погребенных под ними.

Денелен, назначенный участковым инженером, приступил к работе в самый разгар бедствия; и его первой заботой было отвести канал в прежнее русло, ибо этот поток воды с каждым часом усиливал разрушения в шахте. Для этого необходимы были большие работы, и Денелен тотчас поставил сотню рабочих на постройку дамбы. Дважды буйные волны сносили первые заграждения. Потом установили водоотливные насосы, началась ожесточенная борьба, исступленная схватка,— шаг за шагом люди отвоевывали у реки затопленные ею участки.

Но в еще более страстном напряжении держали всех работы по спасению людей. Последняя попытка по-прежнему возложена была на Негреля, и рабочих рук в его распоряжении оказалось более чем достаточно: в порыве братского чувства все углекопы предлагали свою помощь. Они позабыли о забастовке, они не думали о плате,— им могли бы и ничего не платить, они просили лишь одного: разрешить им рисковать своей жизнью ради спасения товарищей, оказавшихся в смертельной опасности. Все явились со своими инструментами и с трепетом ожидали указаний, в каком месте начать работу. Многие заболели после пережитого, их била нервная дрожь, они обливались холодным потом при неотвяз-

ных, страшных воспоминаниях, и все же они поднялись с постели, пришли и больше всех жаждали сразиться с землей, словно хотели ей отомстить. К несчастью, нелегко было разрешить вопрос, куда с пользой направить труд спасателей? Что делать? Как проникнуть в шахту? С какой стороны врубаться в породу?

По мнению Негреля, ни одного из несчастных уже не было в живых, все пятнадцать наверняка погибли — утонули или задохнулись; однако при рудничных катастрофах существует правило: предполагать, что люди, замурованные на дне шахты, еще живы, и Негрель в своих рассуждениях исходил из этого предположения. Прежде всего он поставил перед собой задачу — определить, где они могли укрыться. Штейгеры и старые углекопы, с которыми он советовался, все сходились в одном: убегая от наводнения, товарищи, несомненно, поднимались из выработки в выработку до самых высоких уступов, и, несомненно, вода загнала их в конец самого верхнего пути. Это, впрочем, соответствовало и сведениям, полученным от Мука: из его путаного рассказа все же можно было заключить, что, обезумев от ужаса, люди разбились на маленькие группы, что беглецы терялись или отставали на каждом уступе. Однако мнения разошлись, лишь только штейгеры стали обсуждать вопрос о возможных попытках спасти людей. Самые близкие к поверхности выработки все же находились на глубине ста пятидесяти метров,— нечего было и думать о проходке нового ствола.

Оставалось воспользоваться заброшенной Рекильярской шахтой, только она давала доступ в недра земли, а потому должна была стать исходной точкой для розысков. Хуже всего было то, что Рекильярскую шахту тоже затопило и она больше не сообщалась с Ворейской шахтой; выше уровня воды в ней оставалось лишь несколько отрезков квершлага, обслуживавшего когда-то первый горизонт. Для откачки воды потребовались бы годы и годы; следовательно, наилучшим решением было бы осмотреть уцелевшие верхние выработки, установить, не соседствуют ли они с верхними выработками Ворейской шахты, где могли укрыться жертвы катастрофы. Прежде чем прийти к этому логичному решению, много спорили, обсуждали и отбрасывали всякие неосуществимые замыслы.

А затем Негрель, порывшись в архивной пыли, нашел старые планы обеих шахт, изучил их и определил, с каких точек надо вести поиски. Постепенно спасательные работы увлекли его, он тоже заразился лихорадкой самоотверженности, несмотря на свое иронническое и легкомысленное отношение к людям, да и ко всему на свете. Первой трудностью оказался спуск в Рекильярскую шахту; пришлось расчистить устье ствола, срубить рябину, повыдергивать кусты терна и боярышника да еще починить лестницы. Затем па-

чалось нащупывание. Спустившись с десятью рабочими, Негрель велел им стучать стальными зубками обушков в тех местах угольного пласта, на которые он указывал; а постучав, каждый приникал ухом к пласту, в надежде уловить далекий ответный стук. Но тщетно прошли они по всем еще не затопленным горным выработкам — ни разу не услышали они отклика. Итак, затруднение увеличилось. В каком же месте начать проходку? И все же упорство не ослабевало, в тоске и тревоге люди искали решения.

С первого же дня работ в Рекильяр утром пришла вдова Маэ. Она села на балку у ствола шахты и не трогалась с места до самого вечера. Когда кто-нибудь выходил из колодца, она вставала и безмолвно спрашивала горящим взглядом: «Ничего? Ничего нет?» И снова садилась на старую балку, снова ждала, без единого слова, с каменным, суровым лицом. Приходил в Рекильяр и Жанлен и, видя, что люди завладели его тайником, кружил у входа с испуганным видом хищного зверька, опасавшегося, что обнаружат его нору и отнимут наворованные им запасы; он думал также о молодом солдате, лежавшем в штреке под обвалом, и опасался, что пришельцы нарушат спокойный сон мертвеца; но в этой стороне шахта была затоплена водой, а розыски вели левее, в западном квершлаге. Сначала приходила и Филомена, провожая Захария, который входил в поисковую партию; но потом ей надоело мерзнуть без нужды и без пользы; и она оставалась дома, в поселке, влачила обычное свое существование, вялая, ко всему равнодушная, капляла с утра до вечера. Зато Захарий жил только одной мыслью — найти сестру — и готов был ради этого зубами грызть землю. По ночам он кричал во сне; Катрин снилась ему, он ее видел, слышал: от голода она исхудала, стала как тень, она надорвала себе горло, тщетно взывая о помощи. Дважды он принимался рыть без приказа инженера, заявляя, что Катрин именно там, что он это чувствует, уверен в этом. Инженер больше не разрешал ему спускаться. Но Захарий не отходил от шахты, из которой его изгнали; от волнения он даже не мог сидеть возле матери и, томимый нервной потребностью действовать, все ходил взад и вперед без передышки.

Шел третий день поисков. Негрель, отчаявшись в успехе, решил все бросить вечером. В полдень, после завтрака, когда он вернулся со своими людьми для последней попытки, к великому его удивлению, из шахты вылез Захарий и, размахивая руками, закричал:

— Она там! Она ответила мне! Идите, идите скорей!

Оттолкнув сторожа, он мигом спустился опять по лестницам и клятвенно стал уверять, что вон там, в первом штреке Гильомова пласта, ответили стуком.

— Да ведь мы уже два раза проходили там, где вы говорите,—

недоверчиво заметил Негрель.— Ну хорошо, пойдем еще посмотрим.

Вдова Маэ поднялась, но ей не позволили спуститься. Выпрямившись во весь рост, она стояла у края ствола, устремив взгляд в черную яму.

А внизу Негрель сам постучал три раза, с большими промежутками, и, велев рабочим соблюдать полную тишину, приник ухом к угольному пласту. Ни звука в ответ. Он покачал головой: очевидно, бедному парню почудилось. Захарий в исступлении снова постучал и снова уловил ответ; глаза его блестели, он весь трепетал от радости. Тогда и другие рабочие, один за другим, повторили опыт и все взволновались: они ясно расслышали далекий отклик. Негрель поразился, опять приник ухом к пласту и наконец уловил стук — легкий, как воздух, едва различимый, ритмичный стук, знакомый призыв углекопов, который они выстукивают в час опасности. Каменный уголь передает звук с кристальной ясностью и очень далеко. Штейгер, находившийся тут, полагал, что толща породы, отделявшей их от товарищей,— не меньше пятидесяти метров. Но всем казалось, что они близко, что уже можно протянуть им руку. Все ликовали. Негрелю пришлось отдать распоряжение немедленно начать работу.

Когда Захарий вышел на поверхность и встретил мать, они обнялись.

— Да вы не очень-то радуйтесь,— имела жестокость сказать им жена Пьерона, из любопытства решившая в тот день прогуляться до Рекильярской шахты.— Если Катрин там нет, вам еще тяжелее будет.

И правда, Катрин могла оказаться в другом месте.

— Убирайся ты! — злобно крикнул Захарий.— Она там, я знаю, что там.

Мать снова села возле шахты, безмолвная, с неподвижным лицом, и вновь стала ждать.

Как только слухи о событии долетели до Монсу, оттуда повалили любопытные. Хоть ничего не было видно, они не уходили. С трудом удерживали их на расстоянии. А под землей работы шли и день и ночь. Боясь натолкнуться на какое-нибудь препятствие, Негрель велел вести в пласте три наклонных хода, которые должны были сойтись в том месте, где, по предположениям, замурованы были люди; угольный пласт оказался тонким, врубаться в него, прокладывая ход, тесный, как кишка, можно было лишь в одиночку; забойщиков сменяли через каждые два часа; вырубленные куски угля выносили на-гора в корзинах, составив цепь из людей, удлинявшуюся по мере того, как углублялся ход. Сперва работа шла очень быстро, за день прошли шесть метров.

Захарий добился, чтобы его включили в число избранников, которые вели проходку. Это был почетный пост, люди оспаривали его друг у друга. Захарий возмущался, когда его хотели сменить после установленного двухчасового срока, он воровал очередь у товарищей, отказывался выпустить из рук обушок. Он опередил других, его ход углубился дальше, чем у них; он сражался с углем так неистово, что из узкого, тесного хода доносилось его дыхание, сильное, хриплое, шумное, словно в груди у него работали кузнечные мехи. Выбравшись на поверхность, весь покрытый грязью, черный, пьяный от усталости, он падал в изнеможении на землю, и его спешили закутать в одеяло. А затем он снова вставал на ноги, еще шатаясь, шел к стволу, опять спускался в шахту, и схватка возобновлялась. Слышались глухие звуки ударов, прерывистое дыхание борца, охваченного неистовой жаждой победить врага. Хуже всего было то, что уголь стал тверже. Захарий два раза сломал обушок и был в отчаянии, что не может продвигаться быстрее. Он мучился еще и от жары,— ведь с каждым метром проходки жара все усиливалась, и в глубине этой узкой норы стояла невыносимая духота. Ручной вентилятор работал исправно, но добиться циркуляции воздуха не удавалось. Три забойщика лишились чувств от удушья, пришлось их вынести на поверхность.

Негрель теперь жил под землею вместе с рабочими. Еду ему приносили в шахту, спал он урывками часа два в сутки на охапке соломы, завернувшись в плащ. Но во всех поддерживали мужество все более явственно доносившиеся призывы несчастных, моливших спасателей поторопиться. Выстукивания звучали теперь очень четко и музыкально, словно удары по металлическим пластинкам цимбалов. По этим кристально чистым звукам определяли направление, шли на них, как идут при наступлении на гул пушечных выстрелов. Всякий раз, как сменялся забойщик, Негрель спускался в тесный ход, стучал и прижимал ухом к стенке; и тотчас же ясно слышал ответный, настойчивый стук. Теперь сомнений не было: двигались в верном направлении, но с какой роковой медлительностью! Нет, ни за что не удастся поспеть вовремя. В два первых дня прорубили ход в тринадцать метров, но на третий день — только пять метров, а на четвертый — всего-навсего три. Угольный пласт стал до того плотным и твердым, что дальше с великим трудом удавалось за сутки врубаться в него на два метра. На девятый день, в итоге сверхчеловеческих усилий, было пройдено тридцать два метра и, по приблизительному подсчету, оставалось еще пройти метров двадцать. Для узников шахты начался двенадцатый день заточения, без хлеба, без огня, во мраке и ледяном холоде. От этой страшной мысли слезы навертывались на глаза, и мышцы рук напрягались в неустанной работе. Казалось невозможным, чтобы

несчастные выжили,— далекие удары со вчерашнего дня звучали слабее, и тех, кто боролся за их жизнь, охватывал страх, что призывный стук внезапно оборвется навсегда.

По-прежнему вдова Маэ приходила каждое утро и садилась у ствола шахты. Она приносила с собой Эстеллу, которую не могла оставлять дома одну на целый день. Час за часом она следила за ходом работы, разделяя надежды и уныние спасателей. Кучки зрителей, стоявшие вокруг, и даже обыватели Монсу в своих домах полны были лихорадочного ожидания, судили и рядили о происходившем. Во всем краю люди душой были с теми, чьи сердца бились под землей.

На девятый день в час завтрака Захарий не ответил, когда его окликнули, чтобы сменить; казалось, он сошел с ума,— бурча ругательства, он неистово врубался в пласт. Негрель, которому нужно было подняться ненадолго, не мог заставить его выйти; в шахте оставались лишь три углекопа и штейгер. Захария страшно раздражало, что колеблющийся огонек лампочки не дает достаточного света, что это замедляет работу, и, наверно, он совершил неосторожность — открыл лампу. Меж тем это было строго запрещено, так как обнаружилось сильное просачивание гремучего газа,— он в огромных количествах застаивался в узких коридорах, куда не доходила вентиляция. Внезапно раздался удар грома, из тесного хода вырвался огненный смерч, словно из пушки, заряженной картечью. Все запылало, даже воздух вспыхнул, как порох, во всех выработках. Взрывная волна отбросила штейгера и троих рабочих, пронеслась вверх по стволу и, словно извергнувшись из вулкана, вырвалась на поверхность, выбросив куски породы и обломки деревянного крепления. Любопытные убежали, вдова Маэ поднялась, прижимая к груди испуганную Эстеллу.

Когда Негрель и рабочие возвратились, их охватила ярость. Они били ногами землю, ненавидя ее в эту минуту, как взбалмошную, жестокую мачеху, убивающую своих пасынков из неленой прихоти. Люди работают так самоотверженно, хотят спасти товарищей, а она у них самих отнимает жизнь.

Только через три часа ценою тяжких и опасных трудов проникли в шахту и приступили к подъему жертв нежданной катастрофы. Штейгер и рабочие еще не умерли, но были покрыты ужасающими язвами от ожогов, издававшими запах горелого мяса; они вдохнули пламя, им обожгло и горло и легкие. И теперь несчастные выли, умоляя прикончить их; из трех пострадавших углекопов один был тот, кто во время забастовки последним ударом лома разрушил насос на шахте Гастон-Мари; у двух других на ладонях были шрамы, на пальцах ссадины и порезы — следы сражения, в котором они бросали в солдат обломками кирпичей. Толпа расступ-

нилась, люди, бледнея и вздрагивая, обнажали головы, когда проносили пострадавших.

Вдова Маэ стояла не шевелясь, ждала. Наконец вынесли труп Захария. Огонь уничтожил на нем одежду, обуглившееся черное тело было неузнаваемо. Взрывом разнесло на куски череп,— головы больше не было. Когда эти ужасные останки положили на носилки, мать двинулась вслед за ними; она шагала, как автомат, ни единая слезинка не увлажнила ее воспаленные, покрасневшие глаза. Неся на руках уснувшую Эстеллу, она шла, как трагическое олицетворение человеческого горя, и ветер трепал ее волосы. В поселке Филомена остолбенела, увидев носилки, но тотчас же разрыдалась, и слезы облегчили ее. А мать все тем же мерным шагом пошла обратно в Рекильяр: она проводила мертвого сына и возвратилась, чтобы ждать дочь.

Прошло еще три дня. Спасательные работы возобновили, преодолевая неслыханные трудности. От взрыва гремучего газа проложенная выработка, к счастью, не обвалилась, но воздух, в котором выгорел кислород, стал теперь таким спертым, тяжелым, что пришлось установить дополнительные вентиляторы. Забойщики сменялись каждые двадцать минут. Постепенно продвигались вперед; оставалось пройти, вероятно, не больше двух метров. Но теперь у каждого ужас леденил сердце, и люди врубались в крепкий пласт только из мести: ведь стук прекратился, смолкли звонкие ритмические звуки, призывающие на помощь. Шел двенадцатый день спасательных работ, пятнадцатый — со времени катастрофы; с утра воцарилось мертвое молчание. Новое бедствие усилило любопытство жителей Монсу; буржуа с таким увлечением устраивали прогулки к Рекильярской шахте, что даже Грегуары решились последовать их примеру. Условились побывать там целой компанией. Семейство Грегуаров решило доехать до Воре́ в своем экипаже, а г-жа Энбо пообещала провезти туда в своей коляске Люси и Жанну. Денелен хотел показать им начатые работы, а на обратном пути они собирались заглянуть в Рекильяр, узнать от Негреля, до какого места довели проходку и есть ли еще надежда. Вечером же все должны были встретиться в доме Энбо за обеденным столом.

В третьем часу дня супруги Грегуар и их дочь Сесиль вышли из коляски у провалившейся шахты и встретились с г-жой Энбо, которая приехала первой. Она была в светло-синем платье и защищалась зонтиком от февральского пежаркого солнца. Лазурь безоблачного неба была чиста, в воздухе разливалось почти весеннее тепло. Г-н Энбо тоже был на месте, разговаривал с Денеленом, и г-жа Энбо рассеянно слушала, как Денелен рассказывает о том, что построить дамбу на канале стоило неимоверных трудов.

Жанна, не расстававшаяся с альбомом, делала в нем зарисовки, увлеченная трагическим сюжетом, а Люси, сидя рядом с нею на исковерканной вагонетке, громко восторгалась, находя зрелище «потрясающим».

Еще не законченная дамба пропускала во многих местах воду, и пенистые волны каскадами падали в провал, образовавшийся на месте шахты. Однако кратер постепенно пустел, вода впитывалась в землю, и уровень ее понижался, обнажая ужасающую мешанину обломков на дне озера. Под нежно-лазоревым небом погожего дня громоздились какие-то руины, словно развалины города, рухнувшие в грязь.

— Да стоило ли ехать сюда, смотреть на такую гадость? — воскликнул разочарованный г-н Грегуар.

Пышущая здоровьем, румяная Сесиль с наслаждением дышала чистым воздухом и весело шутила, а г-жа Энбо с гримасой отвращения процедила:

— В самом деле, ничего красивого тут нет!

Оба инженера засмеялись. Они попробовали занять своих посетителей, повсюду водили их, показывали, как работают водоотливные насосы, как вколачивают в землю толстые сваи. Но дамы чувствовали неприятное беспокойство, они с трепетом услышали, что насосам придется действовать долгие годы — шесть-семь лет, пока не восстановят шахтный ствол и не выкачают воду из всех выработок. Нет, лучше думать о чем-нибудь другом, а не то такие ужасы и во сне будут сниться.

— Поедемте! — сказала г-жа Энбо. Жанна и Люси запротестовали. Как! Ехать? Так скоро? Ведь набросок еще не закончен. Обе сестры пожелали остаться, заявив, что отец привезет их к обеду. Г-н Энбо один сел в коляску к жене, так как хотел поговорить в Рекильяре с Негрелем.

— Ну что ж, поезжайте вперед,— сказал им г-н Грегуар.— И мы скоро поедем, только завернем сначала в поселок минут на пять. Поезжайте, поезжайте. Мы вас догоним в Рекильяре.

Он взобрался вслед за женой и дочерью в коляску, и когда экипаж директора покатил по берегу канала, коляска Грегуаров стала тихонько подниматься по склону к рабочему поселку.

Свою прогулку они намеревались завершить добрым делом. Смерть Захария вызвала у них сострадание к трагической судьбе семейства Маэ, о которой шли разговоры во всей округе. Им не жаль было погибшего отца,— так ему и надо, этому разбойнику, этому убийце, напавшему на солдат! Хорошо, что его застрелили как бешеную собаку! Но как не посочувствовать матери, которая потеряла мужа и сына, да, вероятно, потеряет и старшую дочь, ибо та, конечно, обратилась в бездыханный труп, замурованный в

недрах шахты; да говорят еще, что в этой семье старик дед — беспомощный калека, средний сын, подросток, стал хромым, пострадав при обвале, а маленькая дочка умерла от голода во время забастовки. И вот хоть эта семья, можно сказать, справедливо понесла кару за свой крамольный дух, господа Грегуар решили проявить широту истинного милосердия, все великодушно забыть и простить провинившихся бунтовщиков, самолично оделив их милостыней. Для сей цели в коляску под скамейку положены были два аккуратно упакованных свертка.

Какая-то старуха указала кучеру, где живут Маэ — в доме номер шестнадцать, во втором квартале. Но когда господа Грегуар вышли из коляски с привезенными свертками, они долго и тщетно стучались в дверь, а в конце концов даже стали барабанить в нее кулаками. Ответа они не получили: стук отзывался гулко и зловеще, словно в вымершем доме, холодном и угрюмом, давно заброшенном людьми.

— Там никого нет,— разочарованно сказала Сесиль.— Какая досада! Что же нам делать со всеми этими свертками?

Вдруг отворилась дверь с другой стороны дома, и на улицу выскочила жена Левака.

— Ах, извините, сударь, извините, сударыня, извините, барышня!.. Вы к соседке? Ее нет дома, она в Рекильяре...

И в неумолчном потоке слов она принялась рассказывать о злосчастьях соседей, твердила, что людям нужно, конечно, помогать друг дружке, а потому она приводит к себе Ленору и Анри, присматривает за ними, чтобы мать могла ходить в Рекильяр и ждать там. Заметив в руках посетителей свертки, она заговорила о своей овдовевшей дочери, расписывала нищету в своем доме, и глаза ее блестели от жадности. Потом, замявшись, она нерешительно сказала:

— Ключ у меня. Ежели вам угодно, я отворю... Там у них дед.

Грегуары посмотрели на нее с удивлением. Как же так? Дед сидит дома и не ответил? Что же, он спит, что ли? Но когда жена Левака отперла ключом дверь, зрелище, представшее перед ними, приковало их к порогу.

У нетопленой печки, не шевелясь, сидел в одиночестве старик Бессмертный, пристально глядя в одну точку широко открытыми глазами.

Комната как будто стала больше, оттого что в ней теперь не было оживлявших ее прежде часов с кукушкой, натертых воском сосновых стульев и буфета; на зеленоватых голых стенах виднелись лишь портреты императора и императрицы, с холодной благосклонностью улыбавшихся румяными устами. У старика не дрогнул на лице ни один мускул, не прищурились глаза от яркого

света, ворвавшегося в открытую дверь, никакого проблеска мысли не мелькнуло в неподвижном взгляде. У ног его стояла большая плошка с золой, какие ставят для кошек.

— Не обессудьте, пожалуйста, что он такой невежа,— заискивающе тараторила жена Левака,— он у них умом тронулся. Вот уже две недели молчит как пень.

Тут вдруг старик зашелся глубоким, нутряным кашлем и отхаркнул черным плевком, смочившим золу,— он выплевывал теперь черной грязью уголь, весь тот уголь, которого наглотался за долгие годы в шахтах. Потом опять застыл недвижно и лишь иногда наклонялся и сплевывал.

Грегуары смотрели на него с чувством неловкости и отвращения, но все же попробовали подбодрить старика приветливым словом.

— Что, голубчик, наверно, простудились? — произнес г-н Грегуар.

Старик даже не повернул головы, сидел, тупо уставившись в стену. Опять настало тягостное молчание.

— Вам бы нужно попить тепленького... Отвар из трав помогает,— добавила г-жа Грегуар.

Никакого ответа. Старик не пошевельнулся.

— Послушай, папочка,— пролепетала Сесиль,— нам ведь говорили, что он калека, а мы и позабыли...

И, смутившись, она умолкла. Поставив на стол бутылку с бульоном и две бутылки вина, она развязала второй сверток и вынула из него пару огромных башмаков. Этот подарок предназначался для деда, и теперь Сесиль, держа в каждой руке по башмаку, растерянно смотрела на распухшие ноги старика, который больше не мог ходить.

— Что, любезнейший, поздновато они попали к вам? — бодрым тоном заговорил г-н Грегуар, желая внести нотку веселости в мрачную атмосферу.— Ничего, башмаки пригодятся.

Бессмертный не слышал, не отвечал, сидел все так же неподвижно, с холодным, каменным лицом.

Сесиль тихонько поставила башмаки на пол, у стены. Как она ни старалась опустить их осторожно, подковки, которыми они были подбиты, звякнули, и эти бесполезные для калеки башмаки назойливо бросались в глаза в пустой комнате.

— Да чего там, он спасибо не скажет! — воскликнула жена Левака, с глубокой завистью поглядывая на башмаки.— Ведь это все едино, что утке очки подарить, не в обиду вам будь сказано.

И она продолжала в том же духе, всячески стараясь залучить Грегуаров к себе, надеясь их разжалобить в своем доме. Наконец она нашла предлог: принялась расхваливать Анри и Ленору. Такие

милые, такие хорошенькие детки, чисто ангелочки, а какие умные! Что их ни спроси, дичиться не станут, сразу ответят. Если господам что-нибудь угодно узнать, эти маленькие все расскажут.

— Ну как, зайдем на минутку, дочурка? — спросил г-н Грегуар, радуясь, что можно наконец уйти.

— Хорошо, я сейчас... Ступайте,— ответила Сесиль.

И она осталась одна со стариком. Ее удерживала тут странная мысль, которая приводила ее в ужас и сковывала: ей казалось, что она узнает этого старика. Где же она видела это широкое и угловатое лицо с черными точками каменного угля. И вдруг она вспомнила ревущую толпу, теснившуюся вокруг нее, и этого старика, почувствовала, как его холодные руки стиснули тогда ее шею. Да, это он, нет сомнения... И Сесиль смотрела на его руки, большие натруженные руки, лежавшие на коленях, как всегда держат их углекопы, присев на корточки в минуту отдыха, руки, вся сила которых была в кистях, еще крепких даже в старости. Бессмертный словно постепенно пробуждался от сна, наконец заметил ее и тоже устремил на нее пристальный взгляд. Лицо у него вспухло, от нервного подергивания искривился рот, из которого тонкой струйкой текла черная слюна. Они как зачарованные смотрели друг на друга: она — цветущая, пышная, румяная, выросшая в неге, в безделье и благоденствии сытого жития племени богатых трутней, а он — опухший от водянки, безобразный и жалкий, как замученное животное, жертва изнурительного труда и голода, которые из поколения в поколение целое столетие были уделом его рода.

Десять минут спустя Грегуары, удивляясь, что Сесиль все нет, вернулись к Маэ, и тогда раздался истошный крик матери и отца. Их дочь лежала на полу задушенная, с посиневшим лицом. На шее у нее виднелись багровые отпечатки пальцев, словно горло ей стиснула чья-то гигантская рука. Старик Бессмертный не устоял на полумертвых своих ногах и рухнул рядом с удавленной, не в силах подняться. Пальцы у него все еще были скрючены; широко раскрытые глаза смотрели на людей бессмысленным взглядом. Падая, он разбил свою плошку, зола рассыпалась, и мокрая грязь, смоченная черными плевками, забрызгала пол. Пара огромных прочных башмаков чинно стояла у стены.

Так и не могли установить в точности обстоятельства преступления. Зачем Сесиль подошла к Бессмертному? Как мог этот старик, пригвожденный к стулу, схватить ее за горло? А сделав это, он, вероятно, рассвирепел, стискивая пальцы все крепче, заглушая ее крики, упал на пол вместе с ней и душил до тех пор, пока она еще хрипела. Ни малейшего шума, ни одного стона не слышно было сквозь тонкую стенку, отделявшую комнату от

жилья Леваков. Пришлось предположить внезапный припадок буйного помешательства: необъяснимую тягу к убийству, овладевшую больным при виде белой девичьей шеи. Такое зверское преступление немощного старика было просто непостижимым: ведь он всю жизнь прожил так честно, был таким славным и покорным тружеником, чуждался новых взглядов. Какие же давние обиды, неведомые ему самому, накопившиеся где-то в тайниках его существа, постепенно ожесточавшие его, как отрава, бросились ему в голову? Самый ужас этого убийства наводил на мысль, что оно совершено бессознательно,— это было преступление сумасшедшего.

Стоя на коленях, Грегуары рыдали, задыхаясь от горьких слез. Сесиль, обожаемая дочь, долгожданное дитя, взращенная в холе, в довольстве, их дочь, для которой они готовы были отдать все свое достояние, на которую они любовались, когда она спала в своей постельке или кушала за столом, и так боялись, что она мало ест, что она похудеет! Поистине это было крушением всей их жизни: к чему им теперь жизнь без нее?

Жена Левака в ужасе кричала:

— Ах ты старик проклятый! Да что же он натворил! Кто бы мог ждать от него этакого злодейства! А споха-то его только вечером вернется! Обождите, я за ней сбегаю!

Отец и мать, убитые горем, не отвечали.

— Так я сбегаю? Пожалуй, оно лучше будет... Обождите.

Но, направляясь к двери, жена Левака заметила башмаки, принесенные старику. Весь поселок был в волнении, перед домом сгрудилась толпа. Пожалуй, еще украдут башмаки. А в этом-то доме некому их носить, мужчин тут теперь не осталось. И жена Левака потихоньку утащила башмаки. Бутлу они, наверно, будут впору.

В Рекильяре супруги Энбо долго ждали Грегуаров, беседуя с Негрелем. Он нарочно поднялся из шахты и теперь сообщал им некоторые подробности: есть надежда, что к вечеру удастся пробиться к узникам, но, вероятнее всего, спасатели найдут лишь трупы,— ведь там царит теперь мертвое молчание. Мать Катрин, сидевшая на балке, позади инженера, прислушивалась, бледная как полотно, и тут вдруг прибежала жена Левака, рассказала, что сделал старик. Маэ ответила лишь нетерпеливым жестом, но все же пошла за нею.

Госпожа Энбо лишилась чувств. Какой ужас! Бедненькая Сесиль! Всего лишь час тому назад она была такая веселая, оживленная! Пришлось увести г-жу Энбо в лачугу старика Мука. Неумелыми руками муж расстегнул ей лиф, с волнением вдыхая запах мускуса, исходивший от обнажившейся груди. А когда его су-

пруга с рыданием бросилась на шею Негрелю и крепко обняла молодого инженера, потрясенного этой смертью, вдруг расстроившей его брак, обманутый муж смотрел, как они плачут, и в его сердце улеглась тревога. Страшное несчастье все уладило: г-н Энбо предпочитал терпеть возле жены своего племянника, опасаясь, что увидит на его месте собственного кучера.

V

Люди, брошенные в шахте на произвол судьбы, выли от ужаса. Вода доходила им до пояса. Рев потока их оглушал, грохот падавших остатков сруба, казалось, возвещал конец света, и совсем сводило их с ума ржание лошадей, запертых в конюшне, ужасный предсмертный вопль животных, которых убивают.

Мук выпустил Боевую. Старая лошадь дрожала и, широко открыв глаза, смотрела на все прибывавшую воду. Рудничный двор быстро затопило. При тусклом свете трех ламп, еще горевших под каменным сводом, видно было, как вздувается быстро бегущий зеленоватый поток. И вдруг, когда лошадь почувствовала, как эта ледяная вода смочила ей шерсть на брюхе, она понеслась, высоко вскидывая ноги, умчалась бешеным галопом и исчезла в глубине откаточного хода. Вслед за нею бросились бежать и люди.

— Ничего здесь не выйдет! — кричал Мук.— На Рекильяр держите!

Всех окрылила надежда спастись, выбравшись через соседнюю шахту, если только они успеют добраться туда, пока пути не отрезаны. Двадцать погибающих, толкая друг друга, бежали вереницей, высоко поднимая лампы для того, чтобы их не загасила вода. К счастью, выработка полого поднималась, и когда беглецы, боровшиеся с наводнением, прошли метров двести, вода уже не захлестывала их. В душах несчастных пробудились древние суеверия, и они заклинали землю пощадить их. Кто же, как не она, мстил за то, что ей перерезали артерии: оттого и хлынула вода — кровь земли, текущая по ее жилам. Какой-то старик бормотал полузабытые молитвы и выставлял в виде рогов согнутые большие пальцы, желая успокоить злых духов, царящих в шахтах.

У первого же разветвления выработки начались разногласия. Конюх призывал свернуть налево, другие уверяли, что надо идти вправо — так они значительно сократят путь. Потеряли на пререкания целую минуту.

— Ну и подыхайте тут, мне наплевать,— грубо крикнул Шаваль.— Я сюда пойду.

И он двинулся направо, двое углекопов последовали за ним.

Остальные продолжали бежать за Муком, который вырос в Рекильярской шахте. Однако он и сам колебался, не зная, куда сворачивать. У всех в голове помутилось, старые углекопы не узнавали знакомых штреков, которые тянулись перед ними, словно спутанные нити клубка. На каждом перекрестке в раздумье останавливались, а ведь надо было решать немедленно.

Этьен бежал последним, его задерживала Катрин, которую сковывали усталость и страх. Сам он тоже повернул бы вправо, как и Шаваль, считая, что тот выбрал верный путь. И все же он нарочно не пошел с Шавалем, пусть даже из-за этого пришлось бы навеки остаться под землей. А группа спасавшихся все таяла, люди сворачивали по своему разумению в тот или иной ход, и за стариком Муком бежало только семь человек.

— Обхвати меня за шею, я тебя понесу,— сказал Этьен, видя, что Катрин совсем ослабела.

— Нет, оставь!..— тихо ответила она.— Я больше не могу... Лучше сразу умереть.

Они отстали от передних метров на пятьдесят, и Этьен, невзирая на сопротивление Катрин, взял ее на руки, как вдруг проход закрылся: огромная глыба рухнула и отрезала их от остальных. Вода, затапливая выработки, начала подмывать породу, со всех сторон происходили обвалы. Этьену и Катрин пришлось повернуть вспять. Все кончено теперь! Нечего и думать выбраться через Рекильярскую шахту. Единственная надежда подняться к верхнему горизонту: может быть, туда проникнут и освободят их, если вода спадет.

Этьен узнал наконец пласт Гильома.

— Вон что! Теперь я знаю, где мы,— сказал он.— Эх, дьявол, мы ведь по верному пути шли!.. А теперь попробуй-ка попади туда! Слушай, пойдем все прямо, потом поднимемся через печь.

Воды тут было им по грудь, и они шли медленно. Пока у них еще был свет, они не поддавались отчаянию; вторую лампу загасили, чтобы сберечь масло и перелить его затем в первую. Они уже подходили к «печи», как вдруг услышали позади себя шум и обернулись. Кто там? Может быть, и товарищам тоже обвал преградил дорогу и они повернули сюда. Издали доносилось шумное дыхание, они не могли понять, что за буря надвигается на них, поднимая целые столбы брызг. И оба вскрикнули, увидя, как из мрака вырвалось какое-то белое чудище и, борясь с наводнением, старается приблизиться к ним, с трудом продираясь между крепями слишком узкого для нее хода. То была Боевая. От рудничного двора она, обезумев от ужаса, понеслась по темным галереям. Казалось, она знает дорогу в этом подземном городе, где жила одиннадцать лет, что глаза ее хорошо видят в густом мраке, в котором

проходила ее жизнь. Она скакала, изогнув шею, вскидывая ноги, и, пробегая по тесным штрекам, заполняла весь пролет своим большим телом. Улицы следовали одна за другой, пути раздваивались,— ни разу лошадь не останавливалась на перекрестках в нерешительности. Куда бежала она? Быть может, к видению молодых своих дней, к той мельнице, где она родилась, к берегу Скарпы, к смутному воспоминанию о солнце, сиявшем в воздухе, как большая лампа. Лошадь хотела жить, пробудилась ее память; жажда вдохнуть еще раз воздух равнины гнала ее все вперед, вперед — туда, где перед нею, наверное, откроется выход к теплому небу, к свету. Давнюю покорность сменило вспыхнувшее возмущение: ведь шахта не только осленила ее, но еще и вздумала ее убить. Вода преследовала ее, стегала по ногам, хлестала по крупу. Но чем дальше углублялась бегущая, тем теснее становились выработки, тем ниже нависала кровля, тем бугристее были стенки. И все же лошадь скакала, обдирая себе бока, оставляя на сучках креплений лоскутья своей шкуры. Шахта словно сжималась со всех сторон, чтобы схватить ее, стиснуть и задушить.

И вот, когда она была совсем близко от Катрин и Этьена, они увидели, как лошадь застряла между каменными глыбами. Она споткнулась, сломала передние ноги, последним усилием протащилась еще несколько метров и замерла, спутанная, плененная землей. Вытягивая шею, она поворачивала окровавленную голову, искала мутными глазами спасительную расселину. Вода быстро прибывала, заливала ее, и тогда утопающая лошадь заржала, жалобно, протяжно, жутко, как ржали те лошади, что утонули в конюшне. Ужасна была эта агония старого животного, с раздробленными костями, израненного, скованного, боровшегося со смертью в черной глубине шахты, далеко от солнечного света. Ее отчаянный вопль все не стихал, вода покрыла ее холку, шею, а из широко открытого рта все еще неслось надрывное хриплое ржание. Вдруг раздался короткий храп, глухое журчание, как будто вода полилась в бочку. А затем настала глубокая тишина.

— Ах, боже мой! Уведи меня,— рыдала Катрин.— Ах, боже мой! Мне страшно! Я не хочу умирать!.. Уведи меня! Уведи меня!

Она увидела смерть. Обвалившийся сруб, затопленная шахта,— от всего этого не повеяло ей в лицо таким ужасом гибели, как от ржания умирающей лошади. В ушах Катрин все еще звучало это страшное ржание, вызывавшее трепет всего ее существа.

— Уведи меня! Уведи меня!

Этьен схватил ее на руки и понес. Да и нельзя было медлить; мокрые по самые плечи, они стали взбираться по крутому ходу. Этьену приходилось поддерживать Катрин, у нее не хватало сил цепляться за деревянные стойки. Несколько раз Этьен едва успе-

вал подхватить ее, он боялся, что она упадет, утонет в глубоком рокочущем море, которое надвигалось на них. Все же им удалось передохнуть несколько минут на первом встретившемся незатопленном пути. Однако и туда подступала вода; они взобрались выше. И целые часы вода все поднималась, наводнение гнало их из одной выработки в другую, заставляло взбираться все выше. На шестом уступе их охватил лихорадочный трепет надежды: показалось, что вода держится на одном уровне. Но вдруг он стал повышаться еще быстрее, им пришлось взбираться на седьмой уступ, потом на восьмой. Оставался лишь девятый. И, достигнув его, они с жестокой тревогой следили за каждым сантиметром подъема воды. Если вода не остановится, им суждено погибнуть, как той несчастной лошади; вот так же они протиснутся под самую кровлю, захлебнутся и утонут.

Поминутно грохотали обвалы. Сотрясалась вся шахта, неустойчивые породы, размытые прорвавшимся потоком, давали трещины. Вытесняемый воздух скапливался в конце выработки, уплотняясь под давлением, и вырывался грозными взрывами, раскидывая каменные глыбы и сдвигая пласты горных пород. Раздавался ужасающий грохот подземных катаклизмов; шла битва, подобная той борьбе, что происходила в незапамятные времена, когда могучие потопы переворачивали кору земного шара, сбрасывали горы в бездны, поднимали равнины. От сокрушающих толчков Катрин вздрагивала всем телом, в голове у нее мутилось от ужаса, и, сложив молитвенно руки, она все твердила одни и те же слова:

— Я не хочу умирать... Не хочу умирать.

Для ее успокоения Этьен клялся, что вода остановилась и не прибывает; их бегство длится шесть часов; скоро товарищи спустятся в шахту на помощь им. Он говорил «шесть часов» наугад, утратив чувство времени. В действительности же они целый день блуждали по выработкам Гильомова пласта. Промокнув до нитки, дрожа от холода, они наконец примостились в забое; Катрин без стеснения разделась, чтобы выжать одежду, потом натянула ее на себя, и это мокрое тряпье постепенно высохло на ней. Она была босая, Этьен заставил ее обуться в его сабо. Теперь им надо было терпеливо ждать; они прикрутили фитиль лампы, оставив только слабый огонек, как в ночнике. Но у обоих мучительно пыло под ложечкой, и тогда они заметили, что их терзает голод. До этого мгновения они не чувствовали, что живут; катастрофа произошла до того, как они успели позавтракать, и теперь они извлекли свои промокшие, разбухшие бутерброды. Этьен принял свою долю лишь после долгих уговоров,— Катрин даже рассердилась, что он отказывается взять. Поев, она, сломленная усталостью, тотчас уснула прямо на холодной земле, а он не мог спать от жестокого томле-

ния и, оберегая ее, сидел неподвижно, подпирая голову руками и устремив взгляд в одну точку.

Сколько часов провели они так? Этьен не мог бы этого сказать. Он знал только, что к отверстию «печи» опять подкралась черная волна: злобный зверь горбом выгибал спину, стремился подползти к ним. Сперва Этьен увидел лишь узкую полоску — гибкую змею, она все вытягивалась, вытягивалась, потом стала шире, зашипела, заклубилась и вскоре добралась до них, коснулась ног спящей девушки. Этьену стало страшно, и все же он не решался разбудить Катрин. Зачем так жестоко нарушать ее покой, забвенье, забытье, в котором ей, быть может, грезится вольный воздух и солнце? Да и куда бежать? Он ломал голову, ища пути к спасению, и вспомнил, что конец наклонного хода, проложенного в этой части пласта, сообщался с концом наклонного хода, спускавшегося с верхнего уступа. Вот он выход! Он дал Катрин еще поспать, сколько было можно, и, настороженно глядя на поднимавшуюся воду, ждал, когда она их выгонит. Наконец он осторожно приподнял Катрин. Она вздрогнула всем телом.

— Ах, боже мой! Опять? Опять начинается! Боже мой!

Она сразу вернулась к действительности и, рыдая, кричала, что сейчас они умрут.

— Да нет же, успокойся! — говорил Этьен.— Тут можно пройти. Клянусь тебе!

До наклонного хода добирались согнувшись вдвое, но плечи в воде. И опять начался подъем, на этот раз более опасный,— в выработке, сплошь обшитой досками на протяжении сотни метров. Сперва они попытались потянуть трос для того, чтобы закрепить внизу одну из вагонеток: ведь если бы вторая покатилась сверху, навстречу им, их раздавило бы. Но трос не двигался, какое-то препятствие испортило механизм. Они все-таки стали подниматься, не решаясь, однако, держаться за трос, который теперь только мешал им; обломали себе все ногти, цепляясь за гладкую обшивку. Этьен шел сзади и головой поддерживал Катрин, когда ее окровавленные руки срывались с панелей и она соскальзывала вниз. Вдруг они наткнулись на обломки балок, перегородившие ход. Порода здесь осыпалась, обвал не позволял подняться выше. К счастью, рядом оказалась вентиляционная дверь, и они выбрались в штрек. Перед ними замерцал свет лампы. Они были потрясены. Послышался чей-то злобный голос:

— Еще такие же дурни, как я, нашлись!

Они узнали Шаваля,— обвал, засыпавший наклонный ход, преградил ему путь; двоим товарищам, бежавшим вместе с ним, проломило головы, ему разбило локоть; однако у него хватило смелости повернуть обратно, доползти на коленях до места обвала,

обшарить мертвых, взять их лампы и хлеб; он уцелел каким-то чудом: рухнула еще глыба за его спиной и завалила проход.

Завидев людей, словно выросших из-под земли, он поклялся себе, что ни за что не поделится с ними пищей, скорее убьет их. И, вдруг узнав, с кем его столкнула судьба, злорадно засмеялся:

— А-а, это ты, Катрин! Расквасила себе нос и решила к мужу подкатиться. Ладно, ладно! Давай вместе попляшем.

Он делал вид, что не замечает Этьена. А тот, ошеломленный этой встречей, обхватил рукой Катрин, чтобы защитить ее. Она прижалась к нему. Но надо было примириться с создавшимся положением. Этьен спросил товарища, совсем просто, как будто они дружелюбно расстались час тому назад:

— Ты не видел, как там, в глубине? Через забои нельзя пройти?

Шаваль опять ехидно засмеялся:

— Через забои? Как бы не так! Все забои обвалились, мы тут заперты с двух концов. Как в мышеловке. А если хочешь, поворачивай обратно и плыви по наклонному ходу, ежели хорошо умеешь нырять.

В самом деле, вода поднималась, слышно было, как она журчит. Путь к отступлению был отрезан. Шаваль сказал верно: они оказались в мышеловке — обвалы преградили впереди и сзади этот отрезок выработки. Никакого выхода. Все трое были замурованы.

— Ну как? Останешься? — с издевкой спросил Шаваль.— Да, некуда тебе податься. Что ж, если не станешь ко мне лезть, я тебе ни слова не скажу. Хватит тут места для обоих... Скоро увидим, кто из нас первый подохнет. Разве только вот придут и спасут нас... Но это, по-моему, дело трудное.

Этьен сказал:

— Надо стучать. Может быть, услышат.

— Я устал стучать... На вот, сам попробуй... Постучи этим камнем.

Этьен подобрал обломок известняка, уже искрошившийся в руках Шаваля, и, ударяя в угольный пласт, стал выстукивать призыв шахтеров,— сигнал, которым углекопы, оказавшись в опасности, подают о себе весть. Затем он прижался ухом к пласту, прислушался. Двадцать раз он упорно принимался стучать и слушал. Никакого отклика.

Тем временем Шаваль с нарочитым хладнокровием занялся своим хозяйством. Прежде всего поставил в ряд у стены три лампы: горела только одна, две других он оставил про запас. Затем положил на обломок доски две краюшки хлеба. Тут была кладовая. С этой провизией, благоразумно ее расходуя, он вполне мог протянуть два дня. Обернувшись, он сказал:

— Слушай, Катрин,— половина для тебя, если от голода тебе невмоготу станет.

Девушка молчала. Такая страшная беда, да еще жди столкновения соперников!

И потянулись ужасные дни. Шаваль и Этьен сидели на земле в нескольких шагах друг от друга, и оба не раскрывали рта. По совету Шаваля, Этьен погасил лампу — жечь ее было излишней роскошью; и потом уж никто не произносил ни слова. Катрин, встревоженная взглядами, которые бросал на нее бывший ее возлюбленный, легла поближе к Этьену. Шли часы; с тихим плеском непрестанно поднималась вода; время от времени земля сотрясалась и вдалеке раздавался грохот — это завершалось оседание пород в пустотах шахты. Когда в одной лампе выгорело все масло и надо было ее открыть, чтобы зажечь другую, они заколебались, испугавшись гремучего газа, и все же открыли: лучше сразу погибнуть от взрыва, чем томиться во тьме; ничего не случилось, гремучего газа тут не было. Они вновь легли на землю, вновь потекли часы.

Какой-то странный шум взволновал Катрин и Этьена, они подняли головы: Шаваль решился утолить голод и, отрезав половину краюшки, принялся за еду, подолгу прожевывая каждый кусок, чтобы не поддаться соблазну и не съесть весь хлеб сразу. Они смотрели, как Шаваль ест, и обоих терзал голод.

— Ты что ж, отказываешься? — спросил Шаваль, насмешливо глядя на Катрин.— Зря ты это!..

Катрин потупилась, боясь уступить искушению, у нее от голода судорогой сводило желудок, и глаза наполнились слезами. Но она понимала, чего Шаваль требует от нее; утром он обжигал ее шею своим дыханием; опять его охватило неистовое вожделение, когда он увидел Катрин рядом с другим. Взгляды, которыми он призывал ее, горели знакомым ей огнем свирепой ревности,— так бывало и прежде, когда он набрасывался на любовницу с кулаками, обвиняя ее во всяких гнусностях, в сожительстве с жильцом матери. Она не хотела сближения с ним, она трепетала при мысли, что, если вернется к нему, соперники бросятся друг на друга в этой тесной пещере, где им предстояло погибнуть всем троим. Боже мой, разве нельзя кончить жизнь добрыми друзьями.

Этьен скорее умер бы с голоду, чем попросил у Шаваля хоть крошку хлеба. Какой тягостной стала тишина! Одна за другой тянулись минуты, казавшиеся вечностью, без единого проблеска надежды. Целые сутки провели они вместе в заточении. Чуть светился угасавший огонек второй лампы, они зажгли третью.

Шаваль разрезал вторую краюшку хлеба и проворчал:

— Ну иди же, дура!

Катрин вздрогнула. Этьен отвернулся, чтобы предоставить ей свободу. Она не шевелилась; тогда он сказал ей шепотом:

— Иди, детка.

И тут из ее глаз брызнули долго сдерживаемые слезы. Она плакала долго, даже не имея сил подняться, даже не зная, голодна ли она, страдая от какой-то странной боли, разлитой во всем теле. Этьен поднялся и то шагал взад и вперед, то опять выстукивал призыв шахтеров; его приводила в негодование мысль, что последние часы жизни придется прожить бок о бок с ненавистным соперником. Ведь тут не найдется места даже для того, чтобы подохнуть подальше друг от друга. Сделав десять шагов, он вынужден повернуть обратно и, шагая, натыкаться на Шаваля. А несчастная Катрин, которую они оспаривают друг у друга даже в недрах земли, достанется тому, кто переживет врага, и если он, Этьен, умрет первым, негодяй Шаваль опять отнимет ее у него. Один за другим шли часы, бесконечные, томительные часы; тесное соседство становилось все противнее; спертый воздух отравляло дыхание троих людей и смрад испражнений,— ведь им тут же приходилось отправлять естественные потребности. Дважды Этьен бросался на каменные глыбы и бил по ним кулаками, словно хотел их сокрушить.

Прошли еще сутки. Шаваль сидел возле Катрин, деля с нею последний ломоть хлеба. Она жевала с трудом, а он заставлял ее платить лаской за каждый кусочек; охваченный ревностью, он не хотел умирать прежде, чем не овладеет ею на глазах Этьена. Измученная, обессиленная, она покорилась. Но когда он схватил ее в объятия, она застонала:

— О-ох! Пусти! Больно! Ты мне все косточки сломаешь!

Этьен в ужасе припал лбом к деревянной обшивке, чтобы не видеть. Но, услышав голос Катрин, обезумел от ярости и одним прыжком очутился возле них.

— Оставь ее, сволочь!

— А тебе какое дело? — сказал Шаваль.— Ведь она мне жена. Или она не моя, по-твоему?

И назло Этьену опять стиснул Катрин в объятиях, впился ей в губы поцелуем, уколов ей щеки рыжими усами, а потом заявил:

— Оставь нас в покое. Сделай одолжение, сядь в уголок и не мешай.

Но у Этьена губы побелели от ярости. Он крикнул:

— Пусти ее, а не то я тебя удушу!

Шаваль вскочил, поняв по хриплому голосу соперника, что тот действительно его прикончит. Смерть, казалось им, слишком медлила, пусть один из них сейчас же уступит другому место. Былая схватка возобновилась под землей, в которой им вскоре предстояло

уснуть бок о бок вечным сном; а места для поединка было так мало, что они не могли замахнуться на противника, не ободрав себе кулак.

— Ну, держись! — закричал Шаваль.— Теперь-то я тебя ухлопаю.

В эту минуту Этьен обезумел. Глаза его застилал какой-то красный туман, кровь бросилась в голову. Его охватила жажда убить, непреодолимая, физическая потребность, подобно тому как прилив крови к слизистой оболочке в горле вызывает приступ кашля. Потребность убить все возрастала против его воли, под воздействием наследственной болезни. Он схватил выступавшую из стены слоистую пластину сланца, расшатал ее и оторвал большой, тяжелый кусок. Потом обеими руками с удесятеренной силой обрушил этот камень на голову противника. Шаваль не успел отскочить и упал с разбитым лицом, с размозженным черепом. Мозг брызнул в кровлю галереи; из широкой раны полилась алая струя и побежала, как быстрый ручеек. Тотчас натекла лужа крови, и в ней тусклой звездочкой отражался огонек коптившей лампы. Мрак окутывал замурованную пещеру; мертвое тело, лежавшее на земле, казалось черным бугром, кучей угольной мелочи.

Нагнувшись, Этьен смотрел на убитого, широко раскрыв глаза. Смутно вспоминалась ему вся прежняя борьба, тщетная борьба против яда, дремавшего в его крови, в его мозгу, в его мышцах,— яда алкоголя, постепенно отравившего весь его род. Сейчас он был пьян лишь от голода,— всему виной было пьянство его родителей, его предков. У него волосы встали дыбом — таким ужасом наполнило его это убийство, и все же, вопреки взглядам, которые привило ему воспитание, сердце у него билось от радости, от звериной радости утоленного наконец желания. Им даже овладела гордость — гордость победителя. И тогда перед глазами его всплыл образ новобранца с перерезанным горлом, молодого солдата, убитого ребенком. А теперь и он тоже убил. Но тут Катрин, выпрямившись, крикнула:

— Боже мой! Он умер!

— Тебе его жалко? — злобно спросил Этьен.

Задыхаясь от рыданий, она что-то лепетала. Потом бросилась в его объятия.

— Ах, убей и меня! Убей! Умрем вместе.

Она прильнула к нему, цеплялась за его плечи, он тоже сжимал ее в объятиях, и оба надеялись, что сейчас придет к ним смерть. Но смерть не спешила, и они разомкнули объятия. Потом Катрин закрыла руками глаза, а он поволок убитого и бросил его в наклонный ход, чтобы освободить то узкое пространство, где им еще предстояло жить. А жизнь была бы невозможна, останься

труп Шавааля у них под ногами. Ужас охватил их, когда они услышали, как мертвое тело упало в воду, подняв фонтаны брызг. Так, значит, вода затопила и эту нору? И они увидели: вода заливала и их выработку.

И вновь началась борьба. Они зажгли последнюю лампу, стараясь осветить уровень воды, который непрестанно, неуклонно, упорно поднимался. Сперва вода доходила им до щиколоток, потом до колен. Выработка шла в гору, и они укрылись в верхнем конце тупика, это дало им передышку на несколько часов. Но и тут вода настигла их, залила по пояс. Они стояли, прижавшись спиной к каменной глыбе, и смотрели, как вода все поднимается, поднимается. Когда она зальет им рот, все будет кончено! От лампы, которую они подвесили к стене, падали желтоватые блики на быструю рябь мелких волн; огонь потускнел, они различали лишь мерцающий полукруг, а он все уменьшался, словно его пожирал мрак, казалось, сгущавшийся по мере того, как прибывала вода. И вдруг тьма окутала их: лампа погасла, втянув в мгновенной вспышке последнюю каплю масла; кругом был безысходный, беспросветный мрак, подземный мрак, в котором им предстояло уснуть беспробудным сном, навеки простившись с солнечным светом.

— Эх, дьявол! — глухо выругался Этьен.

А Катрин, чувствуя, что тьма словно схватила ее в свои лапы, в испуге жалась к Этьену. Она прошептала поговорку углекопов:

— Смерть задула лампу.

Однако эта угроза пробудила в них инстинктивную страстную жажду жизни, готовность бороться за нее. Этьен принялся рыть рукояткой лампы углубление в пластах сланца. Катрин помогала ему, выдирая камни руками. Они сделали что-то вроде высокой скамьи и, взобравшись на нее, сели, опустив ноги и согнув спину,— нависавшая сводчатая кровля не давала им выпрямиться. Ледяная вода касалась сперва только их пяток, но она поднималась все выше — непреодолимо, непрестанно; прошло немного времени, и холод охватил им щиколотки, икры, колени. Неровная сланцевая скамья стала мокрой, липкой; им пришлось крепко держаться друг за друга, чтобы не соскользнуть. Приближался конец. Долго ли могли они выдержать, забившись в это углубление, не смея пошевельнуться, измученные, изголодавшиеся, без хлеба, без света. Мучительнее всего был этот мрак, мешавший им видеть, как подкрадывается смерть. Кругом царила глубокая тишина; в затопленной шахте земля, насыщенная водой, осела. Теперь они чувствовали только, что из глубины галерей бесшумно надвигается на них волна прилива подземного моря.

Тянулись часы все в той же беспросветной тьме; заживо погребенные не могли определить, сколько времени прошло, они все

больше путались в счете. Мгновения жестокой пытки должны были бы длиться бесконечно, но они проносились быстро. Несчастным казалось, что они не провели под землей и двух суток, меж тем кончались третьи сутки их заточения. Теперь нечего было и надеяться, что их спасут; никто не знал, где они находятся, никто не мог бы к ним спуститься. Если их пощадит вода, их прикончит голод. В последний раз им пришла мысль постучать, позвать на помощь, но камень остался под водой. Да и кто бы услышал их призыв?

Катрин бессильно прислонилась усталой головой к стенке и вдруг вздрогнула, встрепенулась.

— Слушай! — прошептала она.

Этьен подумал, что она говорит о легком журчании поднимавшейся воды, и, желая успокоить ее, сказал:

— Да это я ногами шевелю. Оттого и плеск.

— Нет, не то... Оттуда идет... Слушай!

И она прильнула ухом к угольному пласту. Этьен понял и сделал то же самое. На несколько секунд оба замерли, затаили дыхание. И вот наконец расслышали далекий стук — три удара с большими промежутками. Но они еще сомневались, быть может, у них звенит в ушах, быть может, трещит слюдистая порода. Да и нечем выстукивать ответ.

Этьена осенила мысль:

— У тебя ведь на ногах сабо. Сними их... Стучи каблуком.

Катрин принялась стучать, выбивая призыв углекопов. Потом они прислушались и вновь различили три далеких удара. Двадцать раз они возобновляли призыв и двадцать раз слышали ответный стук. И тут они словно сошли с ума, то смеялись, то со слезами обнимали друг друга, забыв, что могут потерять равновесие и упасть в воду. Наконец-то! Товарищи думают о них, идут к ним на помощь! Радость и любовь переполняли их сердца, забылись муки ожидания, отчаяние долгих тщетных призывов; казалось, спасители совсем близко, стоит только пальцем пошевельнуть — расступится земля и выпустит заточенных.

— Подумай! — весело восклицала Катрин.— Ведь какая это удача, что я прислонилась головой к стене?

— Ну и слух у тебя! — говорил в свою очередь Этьен.— Я-то ведь ничего не слышал.

И с этого мгновения они сменяли друг друга: всегда то он, то она прислушивались, готовясь откликнуться на малейший сигнал. Вскоре они уже различали удары кирки; значит, началась проходка — прокладывают спасательную выработку. Ни единый звук не ускользал от них. Однако радость их померкла. Хоть они и смеялись, обманывая друг друга, постепенно их вновь охватило отчая-

ние. Сначала они пускались в пространные объяснения: очевидно, работы ведут из Рекильяра, выработку прокладывают в угольном пласту, и, может быть, даже несколько выработок, потому что проходку, несомненно, ведут три человека. Потом они говорили меньше, а в конце концов и совсем умолкли, представив себе, какая огромная толща земли отделяет от их спасителей. Они погрузились в безмолвные размышления, подсчитывали, сколько дней прошло и за сколько дней рабочий может пробить ход в этих пластах камня. Нет, не удастся товарищам вовремя добраться до них, до тех пор оба они умрут. Замкнувшись в угрюмом молчании, не смея обменяться словом, чтобы не растравить тоску, они лишь откликались на призыв, выстукивая ответ каблуком деревянного башмака, но делали это без всякой надежды, почти машинально, просто желая сказать, что они еще живы.

Прошли сутки, вторые. Уже шесть суток провели они под землей. Вода дошла им до колен и остановилась — не поднималась и не убывала; ноги у них как будто растворились в этой ледяной ванне. На какой-нибудь час они могли вытаскивать их из воды и держать на весу, но тогда тело бывало в таком неудобном положении, что ноги сводило судорогой и приходилось их опускать. Каждые десять минут, чувствуя, что они соскальзывают со своей скамьи, оба напрягали мышцы, чтобы удержаться. Острые выступы угля врезались им в спину; шея одеревенела, ее стягивала боль оттого, что все время приходилось наклонять голову из опасения разбить череп, ударившись о кровлю. И все возрастала духота: воздух, вытесненный водой, уплотнился в этом своеобразном воздушном колоколе, в котором они были заперты. Голоса их звучали глухо, как будто доносились издали. В ушах шумело,— то им слышались грозные звуки набата, то нескончаемый стук копыт испуганного стада, бегущего под проливным дождем и градом.

Сначала Катрин жестоко страдала от голода. Она судорожно хваталась за грудь жалкими исцарапанными руками, испускала тяжелые вздохи, душераздирающие стоны, как будто у нее клещами вырывали все внутренности. Этьена терзала та же пытка, он лихорадочно обшаривал в потемках стену вокруг себя и вдруг нащупал полусгнившую деревянную стойку; тотчас он искрошил ее ногтями и дал Катрин пригоршню этой трухи; девушка жадно проглотила ее. Два дня они питались этой сгнившей деревяшкой, съели ее всю и в отчаянии, что от нее ничего не осталось, ободрали себе все руки, пытаясь оторвать и раздробить щепки от других, еще прочных, стоек, которые не поддавались их старанию. Пытка усилилась; они приходили в бешеную ярость оттого, что не могут съесть парусину, из которой сшита их одежда. Немного облегчил их страдания кожаный пояс Этьена. Зубами Этьен отрывал от него

маленькие кусочки, и Катрин яростно жевала их и проглатывала. По крайней мере челюсти у них работали, оба жевали, у них создавалась иллюзия, что они едят. Когда с поясом покончили, принялись за парусину и сосали ее часами.

Но вскоре жестокие муки утихли, голод стал тупой болью, сверлившей где-то внутри, медленно, постепенно подтачивая их силы. Несомненно, оба погибли бы, не будь у них вдоволь воды. Стоило нагнуться, и можно было пить сколько угодно, черпая воду горстью; и они пили по двадцать раз в день, томясь такой жаждой, что вся эта вода не могла ее утолить.

На седьмые сутки, когда Катрин наклонилась, чтобы напиться, рука ее наткнулась на что-то плававшее в воде.

— Посмотри-ка, что там такое?

Этьен нащупал в темноте.

— Не понимаю,— сказал он.— Похоже, что занавеска из воздушного хода.

Катрин выпила воды, но когда хотела зачерпнуть еще, о ее ладонь ударилось то, что плавало перед нею. Она издала дикий вопль:

— Боже мой! Это он.

— Кто?

— Он... ты же знаешь... Я нащупала его усы...

Это был труп Шаваля; вода, затопившая наклонный ход, вынесла его снизу, и он плавал у их ног. Этьен нагнулся, протянул руку, нащупал усы, разбитый нос и вздрогнул от ужаса и отвращения. У Катрин тошнота подкатила к горлу, она извергла выпитую воду. Ей казалось, что она напилась крови, что вся эта глубокая река, затопившая штрек, обратилась в кровь Шаваля.

— Погоди,— пробормотал Этьен,— я его отгоню.

Он оттолкнул труп ногой, и тот отплыл. Но вскоре они вновь почувствовали, что он около них: он ударился об их ноги.

— Ах, проклятый! Да убирайся ты!

Но в третий раз Этьену пришлось отступиться. Какое-то течение пригоняло труп. Шаваль не хотел уходить, хотел быть с ними, возле них. Итак, воздух будет окончательно отравлен из-за этого ужасного соседства. Весь день они боролись с мучительной жаждой и не пили воды, предпочитая умереть; на следующий день оба не выдержали пытки и стали пить; прежде чем зачерпнуть воды, они всякий раз отстраняли мертвое тело, но все же пили. Стоило ли разбивать ему череп,— все равно, движимый упрямой ревностью, он возвратился и стоит меж ними. До самого конца он, даже мертвый, будет здесь и не даст им побыть вдвоем.

Прошли сутки, за ними вторые. При каждом колебании зыби на воде Этьен ощущал легкий толчок — прикосновение человека.

которого он убил, словно тот попросту, по-соседски напоминал ему о своем присутствии. И всякий раз Этьен вздрагивал. Постоянно он видел перед собою этот раздувшийся, позеленевший труп с раздробленным черепом и рыжими усами. Потом находило какое-то беспамятство, он забывал, что убил Шаваля, ему казалось, что соперник жив, плавает в воде и вот-вот укусит его. А Катрин теперь все плакала, плакала после этих долгих, бесконечных терзаний и лежала подавленная, полумертвая. А потом ею овладела непреодолимая дремота и она впала в забытье: Этьен будил ее, она бормотала бессвязные слова, даже не открыв глаз, и тут же снова засыпала. Боясь, что она упадет в воду и утонет, он поддерживал ее, обняв за талию. Теперь он вместо нее отвечал на призывы товарищей. Удары кирок приближались, он их слышал, они как будто раздавались за его спиной. Но и сил у него становилось все меньше, у него не хватало энергии стучать. Ведь стало известно, где они, зачем же утомлять себя? Теперь ему было безразлично, придут ли спасители. Целые часы он проводил в тупом ожидании, забывая, чего он ждет.

Произошло, однако, событие, немного приободрившее их. Вода стала спадать и отнесла от них тело Шаваля. Спасательные работы шли уже девять суток, в первый раз Катрин и Этьен сделали несколько шагов по галерее, как вдруг грохнул взрыв и узников сбросило на землю. Они в темноте нашли друг друга и, обнявшись, замерли, обезумев от ужаса, думая, что катастрофа повторилась. Ничто не шевелилось. Стук прекратился.

А в углу, где сидели несчастные, прижавшись друг к другу, раздался тихий смех Катрин.

— Как, верно, хорошо на вольном воздухе!.. Пойдем отсюда!

Этьен сперва боролся против этого бреда. Его мозг был более устойчив, но безумие Катрин и его заразило, он потерял представление о действительности. Обоих обманывали смятенные чувства, особенно Катрин,— она пришла в лихорадочное возбуждение и жаждала излить его в жестах и словах. У нее шумело в ушах, а ей казалось, что это журчит вода, поют птицы; она слышала запах травы, примятой ногами, кругом все было залито светом; перед глазами у нее вращались широкие желтые круги, а ей казалось, что она лежит на солнышке, в хлебах близ канала.

— Что, тепло? Правда? Ну обними же меня, и будем теперь вместе... всегда, всегда!

Этьен сжимал ее в объятиях, а она, прильнув к нему в долгой ласке, лепетала, исходя блаженством:

— Ну какие же мы были глупые! Зачем так долго ждали? Я ведь рада была бы стать твоей, а ты не понимал, ты сердился... А помнишь ту ночь, у нас в доме, когда мы с тобой не спали? Ле-

жим в постелях, прислушиваемся и чувствуем, что оба не спим. Ах, как нас тянуло тогда друг к другу!

Она заразила его своей веселостью, и он тоже принялся шутливо перебирать воспоминания о былых днях безмолвной любви.

— А помнишь, как ты мне надавала пощечин? Да, да, по обеим щекам отхлестала, помнишь?

— Да ведь я любила тебя,— шептала она.— Я, знаешь ли, запрещала себе думать о тебе: не надо, все кончено, а в глубине души знала, что рано или поздно мы будем вместе... Придет какой-нибудь случай, счастливый случай, и сблизит нас... Вот и пришло к нам счастье, правда?

Его бросало в дрожь, он пытался опомниться, очнуться от этого наваждения и все же повторял тихонько:

— Нет, ничто не бывает кончено навсегда. Достаточно искорки счастья, и начнется все заново.

— Так ты меня теперь не оставишь? Никому не отдашь, да? Ах, как мне хорошо!

И почти без чувств она выскользнула из его объятий. Она была так слаба, что голос ее, чуть слышный, совсем затих. Этьен испуганно подхватил ее, прижал к груди.

— Тебе плохо?

Она выпрямилась, сказала удивленно:

— Нет, нисколько! Почему мне может быть плохо?

И вдруг эти слова вспугнули ее грезы. Она с отчаянием посмотрела вокруг, вглядываясь в черную тьму, и, ломая руки, закричала:

— Боже мой! Боже мой! Как темно!

Исчезли зреющие хлеба, исчез запах примятой травы, исчезло пение жаворонков, исчезло яркое золотое солнце; кругом была обвалившаяся шахта, смрадная тьма, сочившаяся вода, сырость могильного склепа, в котором они мучились предсмертными муками столько дней. Помутившееся сознание еще увеличивало ее ужас, возродились суеверия детских лет, она видела перед собою Черного Человека, призрак старика углекопа, который бродит по шахте и сворачивает шею бесшабашным девушкам.

— Ты слышишь? Слышишь?

— Нет, ничего не слышу.

— Да ведь это он.... Черный Человек... Идет сюда... Вот уже совсем близко... Земле выпустили кровь из жил — это она мстит за то, что ее всю изрезали... И Черный тут как тут — погляди, вон он... В темноте и то видно, какой он черный... Ой, мне страшно! Страшно!

И она умолкла, только вся дрожала мелкой дрожью. Потом тихонько шепнула:

— Нет, это опять тот пришел.

— Кто?

— Ну тот, кто с нами, кого нет больше.

Образ Шаваля преследовал ее, и она бессвязно, путано рассказывала о своей ужасной жизни с ним. Только один раз, в шахте Жан-Барт, он был ласков с нею, а то все придирался из-за каждого пустяка, ругал и колотил, а когда изобьет, бывало, до полусмерти, убивает своими ласками.

— Да ведь это он... говорю тебе!.. Опять хочет помешать, чтобы мы были вместе!.. Ревнует... Ох, прогони его, не отдавай меня, ведь я твоя, только твоя.

В безотчетном порыве она бросилась ему на шею, сама искала его губы, прильнула к ним поцелуем в самозабвенной страсти. Мрак сменился для нее светом, она смеялась воркующим смехом влюбленной женщины. Этьен затрепетал, почувствовав, как она прижика к нему, почти нагая, едва прикрытая лохмотьями, и в пробудившемся желании сжал ее в объятиях. Пришла для них ночь любви в глубине этой могилы, где брачным ложем служил им слой грязи; они не хотели умереть, не получив своей доли счастья, они упорно хотели жить и в последний миг зачать новую жизнь. В ночь отчаяния, перед лицом смерти они познали исступление любви. А потом всему пришел конец. Этьен сидел на земле все в том же углу, Катрин лежала у него на коленях, безмолвная, недвижимая. Шли часы за часами. Он долго думал, что она спит, потом потрогал ее,— она была совсем холодная, она была мертва. И все-таки он не шевелился, боясь ее разбудить. Он думал о том, что ему первому она отдалась, став созревшей женщиной, и быть может, понесла от него,— эта мысль вызывала в нем умиленную нежность. Возникали и другие мысли о том, как он уйдет с ней куда-нибудь далеко и как хорошо, как радостно будет им обоим; но такие грезы являлись лишь мгновениями и были совсем смутными, проносились, как веяние ветерка по лбу спящего, как само дыхание сна. Он все больше слабел, у него едва хватило силы медленным движением протянуть руку, дотронуться до Катрин, чтобы убедиться, что она тут, лежит тихонько, будто уснувшее дитя, окоченевшая, холодная как лед. Для него больше ничего не существовало, исчезла и черная тьма и ощущение, что он где-то находится,— он был вне времени и пространства. Что-то стучало, ударяло близ его головы, стук приближался, становился все громче; сначала Этьену было лень отвечать, его сковывала безмерная усталость, а теперь он и не сознавал ничего; ему грезилось, что Катрин идет куда-то впереди него и он слышит, как постукивают ее деревянные башмаки. Прошло двое суток. Катрин не шевелилась,

он машинально протягивал руку, чтобы потрогать ее, и ему приятно было, что она спит так спокойно.

И вдруг его встряхнуло. Загудели чьи-то громкие голоса, к его ногам покатились камни. А потом он увидел огонек лампы и заплакал. Глаза его, отвыкшие от света, моргали, а он все не отрывал от огня взгляда, не мог на него наглядеться, с восторгом смотрел на красноватую звездочку, едва разгонявшую тьму. Потом товарищи подняли его, понесли, по ложечке вливали ему в рот сквозь стиснутые зубы теплый бульон, он ко всему оставался равнодушным. Только в квершлаге Рекильярской шахты, когда его поставили на ноги, он увидел знакомое лицо — перед ним стоял инженер Негрель; и два этих человека, презиравшие друг друга,— бунтовщик рабочий и вечно инспектирующий начальник,— бросились друг другу в объятия и громко зарыдали: так потрясено было в них чувство человечности. Его пробудила глубокая печаль, нищета и тяжкий труд многих поколений, скорбь и безмерные страдания, в которые может превратиться жизнь.

А на поверхности мать, рухнув на землю возле мертвой Катрин, закричала протяжно, громко; потом опять раздался ее крик, за ним второй, третий — долгие, нестихающие вопли. Из шахты были вынесены и уложены в ряд несколько трупов: Шаваль, которого считали погибшим при обвале, подросток-откатчик и два забойщика, тоже с раздробленным черепом, из которого вытек мозг, два страшных мертвеца с вздувшимися в воде животами.

В толпе рыдали обезумевшие женщины, рвали на себе платья, расцарапывали до крови свои лица. Вынесли наконец Этьена, сначала приучив его глаза к свету лампы и немного покормив его. И когда он появился, иссохший, как скелет, и совершенно седой, толпа расступилась, затрепетав от страха при виде этого старика. Мать умершей Катрин умолкла и устремила на него пристальный, лишенный мысли взгляд.

VI

Было четыре часа утра. Перед рассветом апрельский ночной холодок уменьшился, стало немного теплее. В чистом небе еще мерцали звезды, а на востоке его заливала багрецом заря. По черным спящим полям пробегал ветерок, и тогда раздавался чуть слышный шорох — предвестник пробуждения.

По Вандамской дороге широким шагом шел Этьен. Он провел полтора месяца в Монсу на больничной койке. Все еще желтый и очень худой, он выписался, лишь только почувствовал, что может держаться на ногах, и вот уходил теперь. Компания, по-прежнему дрожавшая за свои копи, приступила к постепенному

увольнению неугодных, и Этьен получил предупреждение, что его не могут держать. Впрочем, ему предложили пособие в сто франков и дали отеческий совет бросить шахтерскую работу, теперь для него непосильную. Этьен, однако, отказался от этих ста франков. Его уже звал в Париж Плюшар, который, ответив на письмо Этьена, прислал ему и деньги на дорогу. Итак, его давняя мечта осуществилась. Накануне, выйдя из больницы, он остановился у вдовы Дезир в «Смелом весельчаке». А нынче встал спозаранку — хотелось проститься с бывшими товарищами и поспеть к восьмичасовому поезду, отходившему из Маршьена.

На минутку он остановился и постоял на дороге, по которой разливался розовый свет. Так приятно было подышать чистейшим воздухом ранней весны. Утро обещало быть великолепным. Медленно разгоралась заря; жизнь на земле пробуждалась вместе с солнцем. Этьен двинулся дальше, бодро постукивая кизиловой палкой, смотрел, как вдалеке равнина выплывает из ночного тумана. Он никого не видел до этого дня: мать Катрин один раз навестила его в больнице, а больше не приходила,— вероятно, не могла. Но Этьен знал, что весь поселок Двести Сорок теперь работает на шахте Жан-Барт и что сама Маэ нанялась туда.

Постепенно на дорогах появлялись люди; мимо Этьена то и дело проходили углекопы, молчаливые, бледные. Компания, как говорили, злоупотребляла своей победой. Забастовка длилась два с половиной месяца, и когда рабочие, побежденные голодом, вернулись в шахты, они вынуждены были принять установленные Компанией расценки за крепления, и это замаскированное понижение заработной платы особенно возмущало их, ибо оно было обагрено кровью погибших. Компания теперь ежедневно крала у рабочих час их труда, принудив их нарушить клятву — не подчиняться хозяйскому произволу; и сознание, что они поневоле стали клятвопреступниками, было горьким, как желчь; эта обида комком стояла в горле. Работа возобновилась везде: в Мируˊ, в Мадлен, в Кревкер, в Виктуар. В легкой утренней дымке по дорогам, еще утопавшим в сумраке, шли вереницы людей, все они шагали, понуро опустив голову, словно скот, который гонят на бойню. Дрожа от холода в жиденькой одежде, засовывая руки под мышки, они шли вразвалку, сутулились, и у каждого горбом выпирала на спине краюшка хлеба, положенная между рубахой и курткой. И в этом всеобщем возвращении на шахты, в этом безмолвном шествии черных фигур, двигавшихся без единого слова, без смеха, без единого взгляда по сторонам, чувствовался гнев, от которого люди стискивали зубы, ненависть, переполнявшая сердце, сознание, что смириться их заставил только голод. Ближе к шахте углекопов попадалось все больше; почти все шли в оди-

ночку, а те, кто работал вместе, шагали друг за другом гуськом, и чувствовалось, что они устали уже с утра, что им все опостылело — и жизнь, и люди, и они сами. Этьену бросились в глаза пожилой человек с горящими как угли глазами и молодой, который дышал тяжело, со свистом и совсем задыхался. Многие несли свои деревянные башмаки в руках и шли в одних толстых шерстяных чулках, почти неслышно ступая по земле. Со всех сторон к шахте без конца стекались люди,— то двигалась разгромленная армия; побежденные шли, поникнув головой, затаив неистовую жажду вновь броситься в бой и отомстить врагу.

Когда Этьен подошел к Жан-Барту, шахта только еще выступала из мрака, еще горели фонари, подвешенные к перекладинам копра, но огни их побледнели при свете разгоравшейся зари. Над темными строениями клубился пар и развевался, как белый султан, слегка подкрашенный кармином. Этьен поднялся по лестнице в сортировочную, а оттуда в приемочную.

Начался спуск, из барака к клетям подходили рабочие. С минуту Этьен постоял среди оглушительного шума и суеты. Громыхая, катились вагонетки, сотрясавшие чугунные плиты пола; вращались барабаны, разматывая тросы; стволовые подавали сигналы ударами молота по стальному рельсу; вновь чудовище пожирало на глазах Этьена ежедневную свою порцию человечьего мяса; клеть непрестанно взлетала и опять ныряла в горло прожорливого великана, с легкостью глотавшего живых пигмеев. После катастрофы в Ворейской шахте Этьен видеть не мог, как несется вниз клеть, у него все переворачивалось внутри. С чувством ненависти и страха он отвернулся от шахтного ствола.

Но в обширном, еще темном помещении приемочной, освещенной лишь тусклым светом догорающих масляных фонарей, он не увидел ни одного дружеского лица. Дожидаясь своей очереди, вокруг стояли углекопы, босые, с лампой в руке; тревожно посмотрев на него широко раскрытыми глазами, они опускали головы и пятились, словно стыдились чего-то. Они, несомненно, узнавали его и не таили против него зла,— наоборот, они сами как будто боялись его, опасаясь, как бы он не упрекнул их в слабодушии. От такого их отношения к нему у Этьена щемило сердце, он позабыл, что эти несчастные побивали его камнями; он опять лелеял мечту обратить их в героев, руководить ими, как стихийной силой природы, которую надо направлять, иначе она сама себя погубит.

Партия углекопов погрузилась в клеть и мигом исчезла из глаз, и тогда подошла другая партия. Этьен увидел наконец одного из своих соратников в руководстве забастовкой, отважного человека, клявшегося, что он лучше умрет, а не уступит.

— И ты тоже! — с грустью прошептал Этьен.

Углекоп побледнел; у него задрожали губы; потом он с виноватым видом махнул рукой и ответил:

— Что поделаешь! У меня жена.

Из барака хлынула новая волна людей,— Этьен знал всех.

— И ты тоже? И ты? И ты?

И каждый, дрожа, отвечал глухим голосом:

— У меня мать... У меня дети... Есть нечего.

Клеть все не поднималась, они ждали ее, угрюмые, подавленные, мысль о поражении была так мучительна, что люди избегали глядеть друг на друга и упорно смотрели на устье ствола.

— А вдова Маэ? — спросил Этьен.

Ему не ответили. Один из ожидавших сделал знак, что и она сейчас придет. Люди покачивали головой: «Эх, бедная! Вот у кого горе!» Но словами никто не выразил своих чувств, все молчали. Когда же Этьен протянул руку на прощанье, каждый крепко пожал ее, и в этом безмолвном рукопожатии были и жестокая боль поражения, и страстная надежда победить. Клеть встала на упоры, углекопы вошли в нее и понеслись в поглощавшую их бездну.

Появился Пьерон в кожаной «баретке», к которой прикреплена была лампочка — без предохранительной сетки, как у всех штейгеров. Уже неделю он состоял в должности старшего стволового, и углекопы сторонились его, находя, что он совсем зазнался от такого почета. Появлением Этьена он был весьма недоволен, однако подошел к бывшему товарищу и почувствовал облегчение, когда тот сказал, что уезжает. Они немного поговорили. Пьерон сообщил, что теперь его жена содержит штейгерскую «Прогресс». А все благодаря поддержке господ начальников,— они были очень добры к ней. И тут же, прервав на полуслове свое хвастовство, он обрушился на старика Мука за то, что тот якобы не поднял на поверхность в положенный час навоз из конюшни. Старик слушал понурившись, глубоко обиженный его грубыми и несправедливыми нападками. А перед погрузкой в клеть так же, как и другие, Мук простился с Этьеном долгим рукопожатием, в котором были и сдержанный гнев, и огонь грядущих восстаний. И эта старческая рука, дрожавшая в руке Этьена, этот одинокий старик, простивший ему смерть своих детей, так его растрогали, что он не мог произнести ни слова и молча смотрел ему вслед. Потом, оторвавшись от своих мыслей, он спросил Пьерона:

— А что, вдова Маэ не придет нынче?

Пьерон сперва притворился, что не расслышал,— не следует поминать о чужих несчастьях, а то и с тобой беда стрясется. Затем счел за благо удалиться, будто желая отдать распоряжение, и на ходу бросил Этьену:

— Ты про кого? Ах, Маэ?.. Да вот она.

В самом деле, она вышла из барака с лампой в руке, в мужской одежде, в шерстяном колпаке, плотно облегавшем голову. Компания, сжалившись над судьбой несчастной женщины, которую постигли такие жестокие утраты, соблаговолила, в виде исключения, допустить ее к подземным работам, хотя Маэ исполнилось сорок лет; в этом возрасте неудобно было поставить ее, как в молодости, на откатку, поэтому ей поручили вертеть небольшой вентилятор, установленный в Северном крыле; в выработках, лежащих под Тартаре, поистине было адское пекло, а воздух туда не доходил. Долгие часы Маэ вертела колесо в глубине раскаленного хода, обливаясь потом в сорокаградусной жаре. Зарабатывала она тридцать су.

Когда она подошла, такая жалкая в мужской одежде, огромная, как будто грудь и живот у нее разбухли от сырости, царившей в шахте, Этьен был потрясен; он не находил слов, с трудом объяснил, что хотел перед отъездом проститься с нею.

Она не слушала, только пристально смотрела на него, и наконец произнесла, заговорив с ним на «ты»:

— Ну, как? Удивляешься, что и я тут, да? Ведь я грозилась собственными руками удавить родных детей, если они спустятся в шахту... А вот сама тут работаю. Самой бы надо удавиться, верно? И давно бы руки на себя наложила, да кто же будет кормить старика и ребятишек?

Она говорила тихим, усталым голосом,— не оправдывалась, а просто вспоминала, как все случилось: рассказала, что они едва не умерли с голоду, и тогда она решила пойти на шахту, а иначе ее выгнали бы из поселка.

— Как старик? Здоров? — спросил Этьен.

— Да все такой же, как прежде,— тихий, спокойный, опрятный. Но голова совсем сдала... Его поэтому и не засудили за то, что он тогда натворил. Ты не слыхал? Хотели было отправить его в сумасшедший дом, да я не дала: его бы там били, а то и отравы бы подсыпали... А все-таки наделал он нам беды,— ведь теперь пенсии-то ему никогда не дадут. Тут один начальник сказал мне, что нельзя ему назначить пенсию: это, говорит, будет безнравственно.

— Жанлен работает?

— Да, ему подыскали работу на поверхности. Зарабатывает двадцать су... Нет, я не жалуюсь, начальники добра нам желают,— они сами мне об этом говорили. Мальчишка зарабатывает двадцать су да я тридцать,— всего, значит, пятьдесят. Будь нас поменьше, можно бы прокормиться,— но ведь нас шестеро. Теперь и Эстелла от старших не отстает,— только давай. А хуже всего, что надо еще

ждать года четыре-пять, пока Ленора и Анри немножко подрастут и пойдут на шахту.

Этьен не мог подавить горестного чувства:

— И они тоже?

Кровь прилила к бледному лицу Маэ, глаза загорелись огнем. Но тотчас она как-то поникла, сгорбилась, словно на ее плечи пало неизбывное бремя, назначенное судьбою.

— Что поделаешь. Одни за другими, так и пойдет... Все там жизни решились, теперь их черед.

Она умолкла. Рабочие, катившие вагонетки, согнали их с места. В широкие, запыленные окна проникали первые лучи рождавшегося дня, и померкший свет фонарей казался серым, тусклым; через каждые три минуты гудела подъемная машина, разматывались тросы, клети проглатывали все новые партии людей.

— А ну, кто там прохлаждается? Пошевеливайтесь! — крикнул Пьерон.— Забирайтесь в клеть, а то мы никогда не кончим.

— Так ты, значит, уезжаешь?

— Да, нынче утром.

— Что ж, правильно делаешь... Лучше отсюда подальше быть... если можешь, понятно. Хорошо, что мы с тобой встретились,— ты хоть будешь знать, что я против тебя не держу зла. Было время, когда мне хотелось пришибить тебя, после всех смертей, после этой бойни. А потом стала я думать, думать и поняла, что никто тут не виноват... Нет, не твоя тут вина,— все виноваты.

Затем она заговорила об умерших — о муже, о Захарии, о Катрин; говорила спокойно, и лишь когда произнесла имя Альзиры, у нее на глазах выступили слезы. По-видимому, к ней вернулась прежняя ее выдержка и рассудительность, она высказывала очень разумные мысли.

Не принесет начальникам счастья, что они погубили столько народу, говорила она, когда-нибудь они будут за это наказаны, потому что за всякое злодейство виновных ждет расплата.

В это даже и вмешиваться не придется,— вся их лавочка лопнет сама собой, солдаты будут стрелять в хозяев, как стреляли они нынче в рабочих. И, несмотря на покорность, на унаследованное послушание, опять пригнувшие эту женщину, мысль ее работала теперь именно так, а в душе жила уверенность, что несправедливость не может длиться бесконечно, и если нет больше господа бога, придет другой судия и отомстит за несчастных бедняков.

Она говорила тихо, опасливо озираясь. А когда поблизости показался Пьерон, громко добавила:

— Ну что ж, раз ты уезжаешь, зайди к нам, возьми свои пожитки... Две рубашки твоих у нас остались, три платка, старые штаны.

Этьен махнул рукой, отказываясь от этих тряпок, уцелевших от набегов старьевщика.

— Да нет, чего там... Пусть ребятам останутся... В Париже я достану.

Машина уже два раза спустила клеть, и Пьерон решился поторопить Маэ:

— Эй вы, там! Ведь вас ждут! Скоро кончите болтать?

Но Маэ повернулась к нему спиной. Зря продажная шкура усердствует. Спуск рабочих его не касается. На шахте он заслужил всеобщую ненависть. И Маэ упрямо стояла с Этьеном, держа лампу в руках, и зябла на сквозняке, всегда холодном, даже в теплую погоду.

И она и Этьен вдруг растеряли все слова, только смотрели друг на друга; у обоих тяжело было на сердце и хотелось сказать еще что-то нужное. Наконец Маэ произнесла — просто для того, чтобы не молчать:

— Жена Левака беременна, а сам Левак все еще в тюрьме. Пока что Бутлу в доме хозяин.

— Ах да, Бутлу.

— Слушай, я говорила тебе? Филомена уехала.

— Как? Уехала?

— Ну да, с одним парнем из Па-де-Кале, он тоже углекоп. Я боялась, как бы она не оставила мне своих малышей. Да нет, взяла с собою... Нет, ты подумай! Ведь бабенка кровью харкает. Поглядеть, в чем душа держится... И смиренная такая.

Она умолкла, задумалась. Потом тихонько проговорила:

— А что про меня-то выдумали!.. Помнишь, плели, будто я с тобой живу. Господи боже ты мой! После смерти мужа, конечно, могло бы такое дело случиться, будь я помоложе, верно? Но я рада, что ничего этого не было, потому что мы наверняка пожалели бы, зачем так вышло.

— Да, наверно, пожалели бы,— без обиняков ответил Этьен.

Вот и все,— на этом кончился их разговор. Пора было отправлять клеть. Стволовой сердито звал Маэ, грозил ей штрафом. И она наконец простилась с Этьеном, крепко пожала ему руку Он с глубоким волнением смотрел ей вслед. Какая она измученная, как постарела, жизнь ее теперь кончена! В лице ни кровинки, из-под синего шерстяного колпака выбиваются седеющие волосы, расплывшуюся фигуру много рожавшей женщины безобразно облегают парусиновые штаны и куртка. Но ее прощальное рукопожатие было таким же, как у его товарищей: этим долгим безмолвным рукопожатием все они назначали ему новую встречу — в тот день, когда борьба возобновится. Этьен прекрасно понял ее взгляд, вы-

ражавший спокойную веру в будущее. До скорого свидания,, говорили ее глаза, и уж на этот раз бой будет решающим.

— Экая лентяйка, черт бы тебя побрал!

Протиснувшись в давке и толчее, Маэ вошла в клеть и скорчилась на дне вагонетки вместе с четырьмя другими углекопами. Стволовой дернул веревку, подав сигнал: «Шлем говядину». Клеть сиялась с упоров и рипулась в черный провал: над ним видно было лишь быстрое скольжение стального троса.

И тогда Этьен распрощался с шахтой. Внизу, под сараем сортировочной, он заметил какого-то человечка, который сидел, вытянув ноги, на толстом слое угля. Оказалось, что там пристроился Жанлен, занимавшийся «очисткой». Поставив угольную глыбу между колен, он молотком сбивал с нее осколки сланца; его окутывало густое облако черной, как сажа, пыли, и никогда Этьен не узнал бы его, если б Жанлен не поднял свою обезьянью мордочку с оттопыренными ушами и зеленоватыми узкими глазами. Он насмешливо захихикал и, разбив глыбу последним ударом, исчез в поднявшейся угольной пыли.

Выйдя за ворота, Этьен некоторое время шел по дороге, погрузившись в раздумье. Мыслей было так много, и таких мрачных. Но ведь над его головой блистала чистая синева неба, вокруг раскинулись привольные дали; он полной грудью вдохнул свежий воздух. На горизонте во всей своей славе вставало солнце, настал час ликующего пробуждения природы. По необъятной равнине с востока на запад разливался поток золотых лучей. Волна животворного тепла ширилась, захватывая каждую пядь земли, рождая в полях трепет молодости, обновления, вздохи счастья, пение птиц, журчание вод и шорохи лесов. Казалось, старому миру было радостно жить, и он хотел прожить еще одну весну. Отдавшись светлой надежде, Этьен шел, замедлив шаг, окидывая взглядом поля, простиравшиеся слева и справа от дороги, дышавшие счастьем весеннего возрождения. Он старался разобраться в себе и чувствовал, что стал сильнее, стал более зрелым, пройдя через тяжкие испытания в глубине шахты.

Они завершили его воспитание, он вышел из них, вооруженный опытом борьбы, вышел сознательным солдатом революции, объявившим войну обществу, ибо вынес приговор тому, что ему довелось увидеть в этом обществе. Радуясь, что скоро он присоединится к Плюшару и, так же как Плюшар, будет вожаком, к которому прислушиваются, он обдумывал свои будущие выступления, искал красноречивых, убедительных слов. Теперь Этьен хотел расширить свою программу; приобретенная буржуазная утонченность, поднявшая уровень его развития, усиливала в нем ненависть к буржуазии. Запахи нищенского жилья углекопов теперь были ему

неприятны, но тем больше жаждал он восславить рабочих, показать, что только они велики, только они достойны уважения, только они благородны, только они представляют собою ту силу, которая способна возродить человечество. И он уже видел себя на трибуне, видел, как он торжествует вместе с народом, если только народ не растерзает его.

Высоко в поднебесье звенела песня жаворонка, и невольно Этьен поднял голову. В прозрачной синеве таяли багряные облачка, последние следы ночного тумана; и вдруг в памяти Этьена возникли расплывчатые образы Суварина и Раснера. Нет, решительно все разваливается, когда каждый тянет в свою сторону и хочет властвовать. Вот потому-то и оказался бессильным знаменитый Интернационал, который должен был обновить мир: в его грозной армии из-за внутренних раздоров начался раскол, и она раздробилась. А неужели Дарвин прав, и все в мире — борьба, в которой сильные пожирают слабых, что обеспечивает красоту и сохранение рода? Проблема эта смущала его, хотя, рассматривая ее, он добросовестно применял приобретенные познания. Но вдруг у него возникла мысль, рассеявшая его сомнения и восхитившая его: в первый же раз, как ему придется выступить с речью, надо обратиться к своему давнишнему толкованию этой теории. Если верно, что один класс общества пожрет другой класс, то, конечно, будет так, что народ как жизнеспособный, полный нерастраченной энергии социальный организм пожрет буржуазию, истощившую в наслаждениях свои силы. Для созидания нового общества понадобится обновление крови. Произойдет своего рода нашествие варваров, возрождавшее старые, одряхлевшие нации. Словом, вновь заговорила его несокрушимая вера в недалекую революцию — революцию трудящихся, пожар которой запылает в конце столетия и озарит землю пурпуром восходящего солнца, как тот багряный свет рождающегося дня, что заливал сейчас небо.

Мечтая о грядущем, он шел ровным шагом, постукивая кизиловой палкой о булыжники, и, когда смотрел вокруг, узнавал то один, то другой знакомый уголок. Вот тут, у Коровьей развилки, он возглавил отряд забастовщиков в то утро, когда они разгромили шахты. А теперь в шахтах возобновилась работа — работа отупляющая, убийственная, плохо оплачиваемая. И ему казалось, что он слышит под землею, на глубине в семьсот метров, глухие, мерные, непрерывные удары: это стучали те самые рабочие, которые на его глазах спускались нынче в шахту,— черные, чумазые, грязные, они с молчаливой злобой врубались в уголь. Они были побеждены, они потеряли в сражении свой заработок и многих товарищей, но Париж не забудет выстрелов, раздававшихся в Воре́; этой раны Империи не залечить, теперь кровь потечет из

собственного ее тела. Пусть промышленный кризис близится к концу, пусть вновь заработают одна за другой остановившиеся фабрики, но война объявлена, война продолжается, и отныне заключить мир невозможно. Углекопы подсчитали своих бойцов, попробовали свои силы, когда их поднял на борьбу клич: «Справедливость!», взволновавший рабочих всей Франции. Поэтому их поражение не успокоило врагов, богатые обыватели города Монсу, охваченные глухой тревогой даже в дни победы, сразу после подавления забастовки, со страхом озирались, не таится ли все-таки за этой глубокой тишиной неизбежный их конец. Они понимали, что революция будет возрождаться постоянно и, может быть, вспыхнет завтра, начавшись всеобщей забастовкой, согласованными действиями всех трудящихся; а поскольку у рабочих появились кассы взаимопомощи, они могут продержаться многие месяцы, их не удушить рукою голода, у них будет хлеб. Разваливающееся общество пока еще получило лишь пробный удар плечом, но буржуа услышали треск под своими ногами, почувствовали, как снизу нарастают все новые и новые толчки, буржуа знают, что так будет до тех пор, пока обветшалое здание не расшатается и не рухнет в пропасть, как Ворейская шахта.

Этьен свернул влево, на Жуазельскую дорогу. Ему вспомнилось, как тут он помешал разъяренной толпе ринуться на шахту Гастон-Мари. Вдалеке при ярком свете солнца видны были вышки многих шахт: направо — Мируа, совсем близко одна от другой Мадлен и Кревкер. Всюду шла работа; удары обушков под землею, которые он как будто улавливал, теперь раздавались по всей равнине, из конца в конец. Удар, еще удар, и опять удар один за другим раздавались под вспаханными полями, под дорогами, под деревнями, улыбавшимися солнечному свету; но лишь тот, кто знал, что в черных недрах, придавленных огромной толщей земли и камня, идет безвестная и тяжелая работа, лишь тот мог различить глубокий скорбный вздох, доносившийся с подземной каторги. Этьен думал о ней, но теперь ему казалось, что, быть может, насилие не ускорит освобождения. Перерезать тросы, срывать с путей рельсы, разбивать лампы — какое бесполезное дело! Нечего сказать, стоило из-за этого толпе разрушителей мчаться три мили... Этьен смутно угадывал, что придет день, когда легальные действия окажутся более грозным оружием. В его размышлениях было теперь больше уравновешенности, он не кипел яростной злобой за свои обиды. Да, вдова Маэ, с присущим ей здравым смыслом, правильно сказала: это будет решающий бой. Спокойно встать в ряды бойцов, узнать друг друга, объединиться в союзы, когда это позволят законы; в один прекрасный день, почувствовав, что все товарищи стоят в тесном строю, плечом к плечу, а перед лицом

миллионов трудящихся стоит несколько тысяч тунеядцев, захватить власть и стать хозяевами. Ах, какое славное пробуждение истины и справедливости! Сразу сгинет жестокое божество, которому приносили в жертву столько жизней, безобразный идол, спрятанный в капище, в неведомых далях, где обездоленные откармливали его своей плотью и кровью, но никогда его не видели.

Расставшись с Вандамским проселком, Этьен вышел на шоссе. Справа показалось Монсу, которое спускалось в ложбину и там исчезало из глаз. Напротив лежали развалины Ворейской шахты, проклятая яма, из которой три насоса, работавшие беспрерывно, откачивали воду. Вдали, на горизонте, виднелись другие шахты: Виктуар, Сен-Тома, Фетри-Кантель; на севере в прозрачном утреннем воздухе дымились высокие башни доменных печей и коксовые батареи. Надо было поторапливаться, чтобы поспеть к восьмичасовому поезду,— до станции еще оставалось шесть километров. Этьен пошел быстрее, а под его ногами где-то в глубине по-прежнему раздавались упорные удары обушков. Там были все его товарищи,— он их слышал, они сопутствовали каждому его шагу.

Кто трудится вон там, под свекловичным полем? Наверное, вдова Маэ, сгибая спину, вертит в подземной галерее рукоятку вентилятора, сливая хриплое свое дыхание с его гулом. А дальше — слева, справа — он как будто узнавал других: они стучали под нивами, под кустами живых изгородей, под молодыми деревцами! Солнце, сверкающее апрельское солнце уже сияло в небе во всей своей красе, согревая кормилицу-землю, совершавшую чудо рождения. Из недр ее возникала жизнь, на ветвях лопались почки и снова появлялись молодые листья; на лугах зеленела молодая трава. По всей равнине набухали брошенные в почву семена, и, пробивая ее корку, всходы тянулись вверх, к теплу и свету. Соки земные вливались в новые побеги, слышался тихий шепот; шорохи прорастания все ширились, и казалось, то звучат долгие поцелуи. И снова, снова все явственнее раздавались удары, как будто углекопы, товарищи Этьена, поднимались вверх.

К земле, залитой сверкающими лучами солнца, вернулась молодость, земля была полна этим шумом. Из недр ее тянулись к свету люди — черная армия мстителей, медленно всходившая в ее бороздах и постепенно поднимавшаяся для жатвы будущего столетия, уже готовая ростками своими пробиться сквозь землю.

ПРИМЕЧАНИЯ

ТЕРЕЗА РАКЕН

Двадцать четвертого декабря 1866 года Золя печатает в газете «Фигаро» новеллу «Брак по любви». Сюжет рассказа будет им использован впоследствии в романе «Тереза Ракен». К его созданию Золя приступил в феврале 1867 года. В отличие от «Завета умерших», новый роман писатель предназначал для журнала. «Меня не устраивает задыхающийся, обрываемый изо дня в день фельетон ежедневных газет. Мне хочется давать каждый раз по большой части. Итак, я Вам предлагаю,— обращался Золя в письме от 12 февраля 1867 года к писателю Арсену Уссею — редактору журналов «Артист» и «Обозрение XIX века»,— роман из шести частей, каждая из которых равна по объему моему этюду об Эдуарде Мане. В качестве сюжета я возьму историю, о которой я кратко рассказал недавно в «Фигаро»...

Скажите — да, и я примусь за работу. Я чувствую, что это будет лучшим произведением моей юности. Сюжет целиком захватил меня, я живу вместе с персонажами». 4 марта 1867 года Золя отдал Арсену Уссею первую часть «Брака по любви» (роман сохранил заглавие новеллы).

Золя работал увлеченно. «Я очень доволен психологическим и физиологическим романом, который я скоро опубликую в «Обозрении XIX века»... Мне кажется, я вложил в этот роман свою душу и плоть. Боюсь даже, что вложил в него слишком много плоти и вызову волнение у господина имперского прокурора. Ну что ж! Несколько месяцев тюрьмы меня не пугают» (из письма к А. Валабрегу от 29 мая 1867 г.). Работу над рукописью Золя закончил 4 сентября 1867 года.

После неоднократных оттяжек Арсен Уссей наконец решился опубликовать роман, но не в «Обозрении XIX века», а в «Артисте», в августовском, сентябрьском и октябрьском номерах.

Отдельное издание «Терезы Ракен», вышедшее 7 декабря 1867 года, тотчас же породило ожесточенную полемику. Буржуазно-охранительная критика ополчилась на роман, в котором она увидела образчик ненавистного ей реализма. «Это книга жуткого реализма...— негодует литературный обозре-

ватель газеты «Ле Пэн» Пеллерен в рецензии от 5 января 1868 года.— Я верю, что книгу ждет успех, но этот успех будет отвратителен. Во всяком случае, я полагаю, что разум лучше использовать для чего-либо другого, нежели создание книг, польза от которых, с точки зрения морали, более чем сомнительна».

«В «Терезе Ракен» есть картины, которые достойны быть выставлены как образцы самого энергичного и самого отталкивающего из того, что может породить реализм»,— писал о романе Гюстав Ваперо.

Не менее поверхностно и тенденциозно «Тереза Ракен» была разобрана в статье «Растленная литература» («Фигаро», 23 января 1868 г.), подписанной псевдонимом Феррагюс, под которым выступал буржуазный республиканец Луи Ульбах. «Тереза Ракен», по его мнению, вобрала в себя «все гнилье» «чудовищной школы романистов», к которой он отнес братьев Гонкур, Фейдо и Золя. Ульбах обвинил этих писателей в использовании средств, «которые развращают», в обольщении читателя зрелищем «отвратительного и ужасного», в обращении к самому «низкому... животному инстинкту в человеке». «Что же касается «Терезы Ракен»,— негодует Ульбах,— то это скопище кошмаров, превзошедших все ранее известное».

Обвиняя Золя в смаковании отвратительного, безобразного, Ульбах обнаружил свое непонимание и авторского замысла, и объективного звучания романа. Золя и не предполагал описывать нравственные страдания и раскаяние Лорана, как хотелось бы Ульбаху. Лоран для художника не «человек вообще», а тип современного ему эгоиста, у которого «под черепом» таился идеал рантьерского бытия, ради достижения которого он готов использовать любые средства. Текст романа неоднократно подкрепляет замысел Золя: «Угрызения совести носили у него чисто физический характер. Утопленника боялись одни лишь расшатанные нервы, его тело, трусливая плоть. Совесть же его отнюдь не участвовала в этих страхах, он ничуть не сожалел, что убил Камилла... он снова совершил бы убийство, если бы решил, что того требуют его интересы».

Приписав всему роману те качества, которые особенно проявились в его финале, как дань увлечения Золя физиологизмом, и Ваперо, и Пеллерен, и Ульбах прошли мимо иронии и сатиры, которые в «Терезе Ракен» сильнее, чем в любом предшествующем произведении, били по буржуазному эгоизму и мещанскому ханжеству.

Разоблачительные стороны романа, его антибуржуазный пафос были тонко подмечены русской революционно-демократической критикой. «Первый роман Золя, обративший на него внимание публики — Thérèse Raquin,— отлично задуманный, но чуждый всякого политического элемента,— писал в некрасовских «Отечественных записках» (1873, № 7) А. Плещеев.— Он построен на психологическом мотиве, несколько совпадающем с мотивом «Преступления и наказания» Достоевского... Драма эта производит тем более сильное впечатление, что она совершается среди самой пошлой, буржуазной обстановки, мастерски обрисованной автором. Здесь уже мы встречаем за-

мечательную способность к анализу, энергию, оригинальность формы и обилие характерных деталей, показывающих в Золя большую наблюдательность».

Оценку Плещеева разделял страстный пропагандист творчества Золя в России В. Чуйко. В обширной статье «Современный французский роман» («Искра», 24 мая 1873 г., № 29) Чуйко подчеркивал глубокий характер исследования в «Терезе Ракен» «тех внешних влияний буржуазной среды, которая способствовала развитию таких темпераментов и той мещанской обстановки, которая своим реализмом оставляет такое же глубокое впечатление, как и Madame Bovary Флобера».

У себя на родине Золя встретил поддержку, сочувствие и понимание у самых крупных критиков и писателей эпохи. Виктор Гюго обратился к нему из изгнания: «Дорогой и красноречивый собрат! У Вас точный рисунок, смелые краски, рельефность, правдивость и жизненность,— продолжайте Вашу серьезную работу».

Внимательно следя за развернувшейся атакой на «Терезу Ракен», Гонкуры писали Золя: «На стороне Вашей книги все наши симпатии, мы выступаем вместе с Вами за идеи, принципы, за утверждение прав современного искусства на Правду и Жизнь».

Пространный благожелательный отзыв прислал на роман незадолго до своей смерти Сент-Бев: «Ваше произведение замечательно, добротно, и в некоторых отношениях оно может составить эпоху в истории современного романа».

Совершенно естественно, что роман «Тереза Ракен» был высоко оценен Ипполитом Тэном. Критику-позитивисту была близка натуралистическая концепция Золя, и в его отзыве, по существу, мы находим оправдание наиболее слабых сторон творческого метода писателя.

В предисловии ко второму изданию «Терезы Ракен» Золя заявил о своей принадлежности к «группе писателей-натуралистов» и четко сформулировал характерные черты «научного» метода, примененного им в своем романе. «В «Терезе Ракен»,— писал он,— я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты... Тереза и Лоран — животные в облике человека, вот и все... Любовь двух моих героев — это всего лишь удовлетворение потребности; убийство, совершаемое ими,— следствие их прелюбодеяния, следствие, к которому они приходят, как волки приходят к необходимости уничтожения ягнят».

Понятию типа и социального характера, введенного в обиход еще Бальзаком, Золя противопоставил темперамент, физиологическую конституцию; исследованию страстей и социальных пружин, управляющих человеческой психологией, он противопоставил клинический анализ человека-зверя, подвластного лишь инстинктам. Субъективно писатель полагал, что, вводя в литературу естественно-научные открытия (теорию Дарвина, перенесенную на общественные явления) и данные физиологии, он новаторски продолжает реализм Бальзака и Стендаля. Объективно же натуралистическая эстетиза-

ция примата инстинкта над разумом, подмена, определяющая роль социальных и исторических факторов формирования личности биологической обусловленностью могли завести художника только в тупик.

«Пренебрежение к социальной базе,— справедливо писал Барбюс в книге «Золя»,— и к социальной механике, к потребностям, к целям и подготовительным шагам современного общества, исключение всякой «морали» из отвращения к определенной морали, всякой политики из ненависти к определенным политикам... было серьезным промахом того, кто претендовал «изучить человека наших дней в целом».

Эти промахи лишили бы произведения Золя почти всей их социальной значимости, если бы в ходе своей литературной деятельности он их не исправил».

Не пройдет и года после завершения «Терезы Ракен», как Золя попытается выйти на простор подлинно новаторского искусства реализма. Уже в 1868 году у него созревает план многотомного цикла социальных романов об эпохе «безумия и позора».

Существенно, однако, подчеркнуть, что художник и в «Терезе Ракен» оказал сопротивление схеме натурализма. Идеи, высказанные в предисловии-манифесте, не нашли последовательного воплощения в романе. В «Терезе Ракен» резко столкнулись два противоположных видения мира, два подхода к человеку. Во второй части романа, воссоздающей картину патологических переживаний Лорана и Терезы после свершенного ими преступления, возобладала натуралистическая схематизация. В первой части на передний план выдвинулась правдивая картина быта и нравов парижских чиновников и мелких буржуа.

Не человек убийца по природе, а преступна та мещанская, буржуазная среда, которая порождает лоранов. Эгоизм и погоня за чистоганом, царящие в буржуазном обществе, вызывают нравственную деградацию и одичание человека. Такова идея романа. Его критическая направленность неоспорима. Мрачные краски романа контрастируют с духом парадного карнавала, разыгравшегося в Париже в 1867 году, когда фасад Империи украсила Всемирная выставка. Золя провел читателя в Париж с черного хода, обнажив страсти и преступления, творимые в родившейся из преступления Империи.

На социальный подтекст романа обращал внимание и сам Золя. В ответе Феррагюсу-Ульбаху («Фигаро», 31 января 1868 г.) он отмечал, что «Тереза Ракен» навлекла на себя гнев критики, ибо ей, так же как толпе обывателей, ближе «красивая ложь», «балаганные поделки» и «феерические апофеозы», нежели роман, в котором «правда, как огонь, все очищает».

«Тереза Ракен» в 1873 году была переработана Золя в одноименную драму. Роман неоднократно использовался в XX веке в киноискусстве. 12 октября 1957 года на экранах парижской студии телевидения шла драматическая обработка романа — «одна из лучших» в этом жанре, как писала газета «Юманите».

В России впервые была опубликована драма «Тереза Ракен» в журнале «Дело» (февраль 1874 г.). Роман «Тереза Ракен» вошел в Полное собрание сочинений Эмиля Золя, под редакцией М. В. Лучицкой, Киев, 1903, т. 37. «Тереза Ракен» («Убийцы») издавалась в Петербурге в 1891 году.

В. Балашов

ЖЕРМИНАЛЬ

В письме к своему другу Эдуарду Роду 16 марта 1884 года Эмиль Золя сообщает, что подбор необходимого материала для задуманного им большого «социалистического романа» приближается к концу и в недалеком будущем он намерен начать непосредственную работу над книгой. Третьего апреля он пишет Антони Гийоме, что принялся за роман, действие которого «развертывается на одной из угольных шахт, а его центральным сюжетным узлом является стачка углекопов... Боюсь,— продолжает Золя,— что это сочинение доставит мне немало хлопот».

Первого декабря в письме Эдмону Гонкуру Золя сетует, что он очень занят, так как работа над книгой продвигается с невероятным трудом. «Я предполагаю закончить ее недель через шесть. Это будут тяжелые недели! Но если начало романа вам понравилось, я рад; это свидетельствует о том, что я еще не сошел с ума, как иногда мне кажется».

В приведенных письмах Золя речь идет о романе «Жерминаль» — тринадцатой книге «Ругон-Маккаров».

Писатель работал над «Жерминалем» с большим творческим подъемом и увлечением, хотя и не раз жаловался, что «эта дьявольская книга — трудный орешек!». Наконец 25 января 1885 года он извещает своего издателя Жоржа Шарпантье, что «Жерминаль» закончен. Вместе с письмом он отправляет Шарпантье две последние главы. Судя по письмам, роман, вероятно, был начат во второй половине марта и закончен через десять месяцев, 25 января 1885 года.

Еще до того, как был завершен «Жерминаль», его публикацию предприняла газета «Жиль Блас», правда, роман печатался с сокращениями, которые были отмечены многоточиями. По поводу этих сокращений в письме Анри Сеару от 18 января Золя отмечает, что журнальный вариант не дает истинного представления о книге в целом. Первое отдельное издание вышло в марте 1885 года.

Появление на прилавках книжных магазинов жестокого в своей правде произведения о жизни углекопов и их борьбе за свои права дало официальной критике повод вновь ополчиться против создателя «Ругон-Маккаров». В «Жерминале» была сконцентрирована такая сила идейного и морального воздействия, а убедительность художественных образов и их жизненность столь велики, что он буквально ошеломил читателей. Одних

он заставлял задуматься над тем, о чем они упорно не желали думать, других убеждал в необходимости избавления от невыносимого социального гнета. Сразу же после публикации «Жерминаля» в печати появилось несколько критических статей, стремившихся любыми путями приглушить звучание произведения. Некоторые литераторы из лагеря буржуазной критики, в частности Анри Дюамель, упрекали Золя в том, что он оболгал рабочих, что он искаженно представляет себе жизнь, быт и условия труда шахтеров, и т. д.

Четвертого апреля 1885 года Золя в письме к Ф. Маньяру, отвечая на эти упреки, говорит: «Сегодня утром я прочитал статью господина Анри Дюамеля. Он обвиняет меня в том, что выведенная в моем романе женщина, работающая под землей, не что иное, как плод моей фантазии. Но ведь сам же Дюамель утверждает, что вплоть до 1874 года (19 мая 1874 г. был издан закон, запрещавший женщинам работать в шахте.— *С. Е.*) такие случаи имели место во Франции, а в Бельгии они наблюдаются и по сей день. События, отображенные в моем романе, происходили между 1866 и 1869 годами. Следовательно, я имел все основания использовать существующие факты, которые необходимы были для моей книги. Дюамель утверждает, что в романе не указано время, когда происходят события, что моя забастовка — это прошлогодняя анзенская забастовка углекопов. Господин Дюамель глубоко заблуждается. Я взял и синтезировал все забастовки, которые потрясали конец Империи около 1869 года, и, в частности, забастовки, имевшие место в Обене и Рикамари. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать газеты того времени. Кстати, если Анри Дюамель согласен с тем фактом, что в 1868 году двести женщин были заняты на подземных работах, то, я думаю, мне позволительно было описать хотя бы одну женщину, которая трудилась в забое в 1866 году... Меня упрекают также в неуемном биологизме, в заведомом искажении жизни несчастных тружеников, при мысли о которых мои глаза наполняются слезами. На каждое обвинение я готов ответить документом».

Золя действительно располагал огромным количеством документов. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к его подготовительным материалам, относящимся к «Жерминалю»; они составляют два больших тома [1].

Золя черпал эти материалы из газет «Кри дю пепль», «Эвтрансижан», «Эко дю Нор» и других. Для различных справок он использовал книги: Гюйо «Промышленные кризисы»; Симонена «Подземный мир»; Э. де Лавелей «Социализм»; Жюля Симона «Работница» и другие.

В «Жерминале» как в составной части всей серии «Ругон-Маккаров» должны были найти отображение события времен Второй империи. Однако проблемы, поднятые в нем, свидетельствуют о том, что, создавая историче-

[1] В Национальной библиотеке в Париже хранятся четыре тома рукописей, относящихся к «Жерминалю»: первый и второй тома — текст романа, третий и четвертый — подготовительные материалы.

ское произведение, писатель насытил его животрепещущим материалом, черпая факты из действительности Третьей республики. Поэтому «Жерминаль» вышел за рамки исторического повествования и превратился в политически злободневное для 80-х годов произведение.

Значительному росту капиталистического производства во второй половине XIX века способствовало развитие науки и техники, целый ряд выдающихся открытий в различных областях знаний. Производство железа и стали возросло в три раза, количество паровых двигателей в промышленности увеличилось больше чем в четыре раза, длина железных дорог возросла почти в пять раз. В эти годы завершался промышленный переворот. Однако мелкое производство устранено не было. Шла концентрация и делького капитала, которая вела к сосредоточению огромных богатств в руках немногих.

Золя верно подметил историческую неизбежность гибели мелких предпринимателей, поглощение их крупными акционерными компаниями. «Наступила гибель единоличных предприятий мелкого масштаба, исчезновение в недалеком будущем отдельных хозяев, которых одного за другим пожирает ненасытный капитал, затопляя их мощным приливом крупных акционерных обществ». Он проиллюстрировал эту мысль на примере судьбы мелкого шахтовладельца Денелена, который после упорной, изнурительной борьбы вынужден был сдаться на милость Компании Монсу, уступив ей свои владения за бесценок.

Мелкая буржуазия открыто выражала свою неудовлетворенность существующим порядком вещей, правда, недовольство ее отнюдь не затрагивало, да и не могло затрагивать основ капиталистических правопорядков, которые ее великолепно устраивали,—оно было вызвано угрозой разорения, стремительным натиском крупной буржуазии.

Вместе с тем концентрация промышленности, объединение пролетариев в большие коллективы способствовали сплочению рабочего класса и активизации стачечной борьбы. И не случайно Золя местом действия своего романа избрал угольный район, а героями сделал шахтеров. Изучая документы о рабочем движении своего времени, он увидел, что больше всего стачек и волнений происходило в угольных районах. Это говорило о том, что шахтеры были одной из наиболее революционно активных групп рабочего класса.

Не случайно и действие романа отнесено к 1866—1869 годам, хотя сначала, размышляя над общим планом серии «Ругон-Маккары», Золя предполагал написать роман из жизни рабочих, опираясь на материалы событий революции 1848 года. Оживление стачечного движения в конце 60-х годов не могло пройти мимо зоркого глаза такого художника, как Золя.

Особенно значителен подъем стачечного движения был в 1869 году. Волна стачек и забастовок прокатилась по всей стране. Бастовали горняки Луарского каменноугольного бассейна, продукция которого в эти годы составляла свыше двадцати пяти процентов продукции всей каменноугольной промышленности Франции; горняки Анзенских копей Северного бассейна

на которых было занято несколько тысяч рабочих; горняки каменноугольных копей в департаментах Гар и Тарн. Наряду с шахтерами в стачках участвовали рабочие самых разных профессий. Они требовали повышения заработной платы, сокращения рабочего дня, ликвидации грабительских штрафов и других незаконных изысканий.

В феврале 1884 года, когда писатель уже с головой ушел в работу над романом, в Анзене вспыхнула забастовка углекопов, которая продолжалась около двух месяцев. Золя поспешил отправиться туда, сопровождая депутата Жнара в качестве личного секретаря. Он присутствовал там на собраниях шахтеров, бывал в кафе, которые посещали рабочие, внимательно прислушивался к разговорам углекопов, стараясь возможно больше узнать об их жизни и быте, об их тяжелом труде, об их чаяниях и надеждах. Собранные Золя материалы, касающиеся бытовых условий, условий труда рабочих, профессиональных болезней шахтеров, составляют около ста рукописных страниц. Писатель осмотрел устройство шахт, спускался под землю.

Анзенские события оказали заметное влияние на роман Золя. В этой связи целесообразно привести выдержку из книги французского историка Левассера, в которой говорится о забастовке в Анзене: «Каменноугольная компания в Анзене, доходы которой упали в 1882 году на четыре пятых по сравнению с пятью послевоенными годами, решила в целях экономии возложить работу по креплению шахт на забойщиков, несколько повысив им оплату. До того крепление поручалось специальным ремонтным рабочим, набиравшимся из старых шахтеров, частично утративших трудоспособность. Тяжесть этого мероприятия была усилена одновременным снятием с работы 140 углекопов. Была объявлена забастовка (21 февраля 1884 года). Рабочие протестовали против нового порядка и против условий торгов на забойные участки. Это была одна из наиболее значительных забастовок по числу участников. Она выделялась также своей продолжительностью, затянувшись до второй половины апреля. Длительность забастовки обусловливалась получением нескольких субсидий и возбуждением, посеянным вожаками, призывавшими к сопротивлению администрации. 9 апреля рабочие делегаты постановили не возобновлять работы до восстановления прежних порядков, при условии, что уволенные углекопы будут возвращены на работу, а заработная плата будет выдана за все время забастовки. Однако силы стачки истощились сами собой (18 апреля), Компании не пришлось удовлетворять эти требования» [1].

Сосредоточив свое внимание на изображении подневольной жизни, труда углекопов, Золя на примере нескольких поколений семьи Маэ показал судьбу любой шахтерской семьи того времени. Более ста лет Маэ трудились на угольных копях: и дед Бессмертного — Гийом Маэ, и отец, Никола Маэ, который погиб в шахте сорока лет от роду во время обвала, три брата его и два дяди, которых тоже поглотила шахта.

---

[1] М. К л е м а н. Эмиль Золя. Гослитиздат, 1934, с. 162.

И как параллель потомственным углекопам Маэ Золя вывел в романе семью паразитов — раптье Грегуаров. Он сделал явным скрытый характер эксплуататорской сущности добреньких хозяев Виолены, которые уютно и беззаботно живут за счет труда многих и многих задавленных тяжелой нуждой углекопов.

«...Перехожу к рабочим,— говорит Золя в «Наброске»,— вот главные моменты борьбы. Страшная нужда приводит их к возмущению, они объявляют забастовку. В это время Компания, сама пострадавшая в связи с промышленным кризисом, хочет еще более понизить заработную плату, результатом чего и является бунт».

Воссоздавая картину восстания углекопов, эту знаменательную схватку угнетенных и угнетателей, труда и капитала, писатель стремился раскрыть существо происходивших социальных конфликтов.

«Описание революционного шествия толпы...— Так излагает Золя содержание пятой части книги в своем предварительном плане.— Нестройное пение «Марсельезы», крики: «Хлеба! Хлеба!» Искаженные лица, растрепанные волосы, вся сцена происходит при заходе солнца, которое заливает шествие кровавыми лучами; страшная картина восстания, пробуждения, которое когда-нибудь все сметет... Нужно, чтобы дуновение его сказывалось на лицах («Да здравствует социальная республика! Смерть буржуазии!»)».

Читатель невольно вспоминает все предшествовавшие события, которые переполнили чашу терпения углекопов, объединили их на борьбу за справедливость.

«Свирепость схватки. И в конце концов — голод и поражение: рабочие сдаются и снова принимаются за работу. Однако надо закончить грозным утверждением, что это поражение случайное, что рабочие склонились только перед силой обстоятельств, но в глубине души мечтают только о мести».

Шахтеры потерпели поражение, они вынуждены были возобновить работу, так и не добившись удовлетворения своих требований. Но они не были побеждены. Грозная черная рать готовилась к новым боям, которые в будущем преобразуют этот одряхлевший буржуазный мир. Забастовка углекопов, которая, как отмечал Золя в предварительных материалах, означает «состояние войны между классами», стала и школой формирования политического сознания углекопов, таких, как Этьен Лантье, жена Маэ и другие.

Работая вместе с шахтерами, живя с ними бок о бок, Этьен Лантье все чаще и чаще стал задумываться над тем, почему одни живут в нищете, а другие — в довольстве? Почему одни угнетают других? Долгие и мучительные поиски ответа в беседах с шахтерами, в многочисленных книгах, в размышлениях над жизнью людей труда формировали его сознание. Правда, еще многого он не понимал, но над всем теперь «главенствовала незыблемая идея Карла Маркса: капитал есть результат ограбления, труд имеет право и обязан отвоевать украденное у него добро». Однако в силу того, что

Золя не имел ясного представления о законах исторического развития и путях общественной борьбы, он не смог в своей книге показать вожака-революционера, вооруженного передовым пролетарским мировоззрением, хотя и говорил, что «Этьен готовится к Коммуне».

В рукописях Золя, как об этом свидетельствуют подготовительные материалы, сохранилось около двадцати вариантов названия романа. Все они подчеркивают основную идею книги — идею предстоящей борьбы и неизбежного крушения существующих социальных устоев: «Дом трещит», «Надвигающаяся гроза», «Прорастающее семя», «Сгнившая крыша», «Дыхание будущего», «Кровавые всходы», «Подземный огонь» и другие.

Название «Жерминаль», на котором остановил свой выбор Золя, пожалуй, лучше всего определяет и подтверждает главную мысль, заложенную в романе: «Роман — возмущение рабочих... он... предсказывает будущее, выдвигает вопрос, который станет актуальным в XX веке. В этом все значение книги».

Жерминаль — седьмой месяц (с 21 марта по 19 апреля) календаря, установленного во время французской революции 1789—1793 годов. Месяц, когда начинается весеннее пробуждение природы, когда набухают почки, прорастают семена... Это название утверждает молодость и неистребимость сил народа. «Я хотел бы закончить Жерминалем,— писал Золя.— Все работают в глубине. Мрачная злоба, подземные удары кирок, молчание, таящее бурю будущего... а вверху цветущий апрель, над полями встает солнце. Покой, прекрасное прохладное утро. Затаенный гул земли и семена нового века, еще не взошедшие, но уже пробивающие почву. Они недаром боролись и страдали. Грядущий день». Эта большая вера в будущее переустройство общества выражена в заключительных строках романа.

По предложению театра «Шателе» Золя вместе с Бюзнахом инсценировал «Жерминаль». Создавая сценический вариант, писатель стремился полнее использовать возможности театра для показа массовых сцен. Он предполагал поставить спектакль по античным образцам с введением хора. Работа над пьесой, состоявшей сначала из двенадцати картин, была завершена в августе 1885 года. Однако театр, познакомившись с пьесой, отказался ее ставить из-за трудности найти столь большое количество артистов, которых требовали массовые сцены. Но главным препятствием для постановки оказалась цензура.

Вечером 27 октября, когда Золя был у Шарпантье, «он сообщил нам,— пишет в своем дневнике Ж. Гонкур,— что постановка «Жерминаля» запрещена. Справедливо возмущенный, он заявил, что ни перед чем не остановится, что пойдет на все». Золя вложил много сил и энергии, чтобы добиться разрешения на постановку полного варианта пьесы. Но все было напрасно. Несмотря на протест Золя, пьеса «Жерминаль» была поставлена 21 апреля 1888 года с большими сокращениями. Золя на спектакле не присутствовал.

Во Франции в течение только одного 1885 года разошлось несколько изданий «Жерминаля». В этом же году он был переведен в ряде стран Ев-

ропы. В конце 1885 года редактор брюссельской газеты «Пепль» Жан Вольдер обратился к Золя с просьбой позволить напечатать его роман. На это Золя в письме от 15 ноября ответил: «Берите и печатайте «Жерминаль». Я отказываюсь от вознаграждения... так как ваша газета защищает угнетенных».

Роман привлекал читателей не только новизной темы, но прежде всего смелостью постановки проблем и глубоко правдивым воссозданием жизни шахтеров.

О «Жерминале» было написано много статей. Критики непредубежденные высоко оценивали это произведение. Очерк Жоржа Монторгея о «Жерминале», статьи Анри Сеара и Эдуарда Рода, опубликованные в 1885 году, положительно оценивали роман, отмечая его правдивость и силу художественной выразительности.

Эдмон Дешан, в частности, писал в газете «Происшествия»: «Еще ни один из его романов не был менее похож на роман, чем эта книга, где в каждой строчке видно серьезное изучение социальных наук, знакомство с немецкими и английскими социалистами и философами, наконец, влияние долгих бесед с Тургеневым».

Ги де Мопассан в письме к Золя из Италии летом 1885 года говорит, что, направляясь в Палермо, он взял с собой в дорогу «Жерминаль». Так как сам он из-за болезни глаз читать не мог, книгу прочел ему сопровождавший его друг. «Жерминаль» произвел на Мопассана большое впечатление. «Я считаю этот роман,— указывает он,— самым мощным и самым потрясительным из всех ваших произведений... картины вашего романа стоят перед глазами и мыслью, точно воочию видишь все это.

Добавлю, что здесь, в стране, где вас так любят, я ежедневно слышу разговоры о «Жерминале». Газеты Палермо, Неаполя и Рима страстно полемизируют по этому поводу».

Представители же лагеря реакции пытались принизить значение проблем, поднятых в «Жерминале», обвинить Золя в извращенном, односторонием изображении жизни углекопов, в любовании их невежеством. Так, критик Квидам из «Фигаро» писал: «Я слышал от людей безусловно компетентных, что неумный и грубый натурализм «Жерминаля» совершенно неестествен. Характеры углекопов неправдоподобны. Сведения о населении, местности и быте рабочих, какими их рисует нам Золя, очень спорны и частью неточны... Углекопы сейчас в моде, немало наблюдателей изучают их работу под землей и на земле, их стачки и домашний быт. Им посвящены книги и даже картины, как, например, мрачная «Стачка шахтеров» Ралля или известный роман Жорж Санд «Черный город», где кузнецы в ее изображении составляют такой разительный контраст с углекопами Золя. Они имеются в книге Шербюлье «Оливье Могап», в одном из последних романов Мориса Тальмейера, в такой захватывающей, мощной и печальной книге, где автор говорит о жизни и смерти углекопов — этих рабов угля.

Так что, имея столько данных, мы можем сравнить и сделать выводы...

те, кто видел и кто знает, находят, что рабочий в «Жерминале» не настоящий северный фламандский рабочий».

Нашлись и такие, кто утверждал, что «Жерминаль» — произведение несамостоятельное, что Золя многое позаимствовал из книг других писателей. На эти клеветнические обвинения весьма обстоятельно ответил Морис Фране в «Оторите» 3 мая 1886 года:

«...Что касается господина Золя, то кличка плагиатора ему уже приклеена со времен выхода в свет «Западни», когда его обвинили в том, что он списал «Le sublime» господина Дени Пуло. И вот теперь — «Жерминаль». Ему бросают в лицо обвинение в использовании романа Мориса Тальмейера «Le Grison». Я имею честь лично знать господина Тальмейера, он мне весьма симпатичен, я высокого мнения о его таланте. «Le Grison» — произведение значительное, которое надо читать. Но именно этот случай показывает те превращения, которые может пережить один и тот же сюжет, пройдя через противоположные темпераменты. В самом деле, «Жерминаль» и «Le Grison» — две книги, дополняющие одна другую и объясняющие одна другую. Что же касается книги господина Пулло, это куча курьезных документов, собранных человеком, который хорошо знал народ, но не имел времени или таланта переварить их».

Передовые люди Франции и других стран мира видели в романе Золя произведение выдающееся, которое одухотворено великой идеей гуманизма. Поль Лафарг, прочитав «Жерминаль», отметил: «Указать роману новый путь, вводя в него описание и анализ современных экономических механизмов-гигантов и их влияние на характер и участь людей,— это было смелым решением. Одна попытка осуществить это решение делает Золя новатором и ставит его на особое, выдающееся место в нашей современной литературе» [1].

Жан Жорес, давая 12 февраля 1898 года показания по делу, возбужденному против Золя по жалобе военного министра, заявил: «В его лице они преследуют человека, который дал научное и рационалистическое разъяснение природы «чудес», того, кто в «Жерминале» провозгласил рождение нового человечества, выступление пролетариата, который вырывается из бездонных глубин страдания и идет к солнцу».

В России перевод «Жерминаля» почти одновременно появился в трех журналах: «Наблюдатель», «Изящная литература», «Книжки недели». В 1885 году он вышел отдельной книгой. Это свидетельствует о том, что роман о революционной борьбе французских пролетариев был созвучен идеям и стремлениям русского народа.

В 1892 году в «Вестнике Европы» была напечатана статья В. Андреевича, в которой он писал: «Один роман Золя может сделать больше, чем сделают тысячи статей, исследований и памфлетов. Всякий поймет, прочи-

---

[1] Цит. по книге: М. Клеман. Эмиль Золя. Гослитиздат, 1934, с. 143—144.

тав его, ясно и отчетливо самое важное зло того общества, в котором ему приходится жить... Золя — человек большого ума и огромного художественного таланта, и он написал книгу, которую, конечно, можно назвать одной из самых важных книг конца этого века; та закваска, которую вынесет из «Жерминаля» душа чуткого и впечатлительного читателя, есть самое нужное для того, чтобы наше время было переходной ступенью к лучшему будущему».

В большом очерке, посвященном жизни и творчеству создателя «Ругон-Маккаров», Иван Франко, высоко оценивая общественное значение романа о шахтерах, писал в 1898 году, что роман «Жерминаль» по богатству материалов, по глубине проникновения в сущность жизни углекопов является «самым лучшим и самым могучим созданием Золя».

Консервативная печать России отнеслась к роману отрицательно. В книге шестой за 1885 год журнал «Русская мысль» писал, что «за грязной и звероподобной иногда оболочкой он (Золя.— *С. Е.*) не в силах рассмотреть человека и его души».

«Наблюдатель» в книге одиннадцатой за 1885 год пишет: «Золя имеет смелость думать, что мир одряхлел и что нечто новое стоит за его стенами и ждет агонии пресыщенного жизнью старца, чтобы дать начало новому порядку вещей».

В связи с наложением ареста Казанским комитетом по делам печати на «Жерминаль» (1908 г.) было заведено цензурное дело. Цензор в своем заключении отмечал, что в этой книге в «художественно-беллетристической форме трактуется об отношении труда и капитала, с освещением этого вопроса с точки зрения социалистических учений, то есть рабочие представляются жестоко и нагло эксплуатируемыми богачами, выжимающими из них последние соки». Цензор полагает, что «некоторые эпизоды написаны с целью вызвать ненависть к существующему общественному строю, возбудить одну часть населения против другой, бедных, рабочих — против буржуазии и вообще богатых людей».

Роман «Жерминаль» получил глубоко положительную оценку со стороны большевистской критики. По случаю десятилетия со дня смерти Эмиля Золя газета «Правда» в № 165 от 28 октября 1912 года напечатала статью, посвященную создателю «Ругон-Маккаров». Отмечая значительные заслуги Золя перед человеческим обществом, «Правда» писала: «...лица тех, кто перестроит его (человеческое общество.— *С. Е.*), кто возьмет на себя труд очистки земли от насилия и рабства, Золя все более и более приходит к мысли о рабочих, он дал картину положения и борьбы рабочих в романе «Жерминаль»... и книга эта давно стала любимым чтением западноевропейских рабочих. Ее должен прочесть и всякий русский рабочий. Золя чувствовал, что именно в рабочем классе зреют новые человеческие отношения... Золя не был выходцем из рабочей среды, хотя и начал жизнь голодающим приказчиком в книжной лавке. В его произведениях поэтому часто еще ска-

зывается отношение к рабочему классу просто как к наиболее угнетенному классу, а не как к творцу новой жизни».

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о В. И. Ленине пишет:

«Когда я приехала к Ильичу в ссылку, я с интересом рассматривала его альбом, где были фотографические карточки разных политкаторжан, было две фотографии Чернышевского и между ними — фотография Золя. Я спросила его, почему он хранит у себя в альбоме именно фотографию Золя. Он стал мне говорить о деле Дрейфуса, которого защищал Золя, потом стали обмениваться мнениями о произведениях Золя, и я рассказала ему, какое сильное впечатление произвел на меня роман Золя «Жерминаль», который я впервые читала в то время, когда усердно изучала I том «Капитала» Маркса. В романе «Жерминаль» описывается французское рабочее движение, и, между прочим, там дана фигура русского анархиста Суварина, гладящего ручную крольчиху и в то же время твердящего, что необходимо «все сломать, все разрушить» [1].

В своем романе «Жерминаль» Золя достиг значительной широты в воссоздании действительности и суровой правды в описании жизни людей труда, хотя его мировоззрение не было свободно от иллюзий по поводу возможности мирного разрешения общественных конфликтов.

С. Емельянников

---

[1] «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Гослитиздат, 1960, с. 626.

СОДЕРЖАНИЕ

Два романа Эмиля Золя. *С. Брахман* 5

ТЕРЕЗА РАКЕН. *Перевод Е. Гунста* 25

ЖЕРМИНАЛЬ. *Перевод Н. Немчиновой* 187

Примечания *В. Балашова* и *С. Емельянникова* . . 609

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 86

Эмиль Золя
ТЕРЕЗА РАКЕН. ЖЕРМИНАЛЬ

*

Редакторы М. Вакс мах ер
и А. Парин

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Титова

Корректоры Л. Коншина
и М. Пастер

*

Сдано в набор 10/XI 1974 г. Подписано в печать 17/IV 1975 г. Бумага тип. № 1. Формат 60 × 84¹/₁₆. 39,0 печ. л. 36,39 усл. печ. л. 40,63 уч.-изд. л.+ 8 накидок + 1 вкл. = 41,68 л. Тираж 303 000 (1—153 000) экз. Заказ № 3984. Цена 2 р. 14 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16